

190  
И-32

ИЗБРАННЫЕ  
ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
И ФИЛОСОФСКИЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
УКРАИНСКИХ  
РЕВОЛЮЦИОННЫХ  
ДЕМОКРАТОВ  
XIX ВЕКА





ГОСПОЛИТИЗДАТ

1 9 5 5



ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ АКАДЕМИИ НАУК УССР



ИЗБРАННЫЕ  
ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
И ФИЛОСОФСКИЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
УКРАИНСКИХ  
РЕВОЛЮЦИОННЫХ  
ДЕМОКРАТОВ  
XIX ВЕКА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА · 1955



Общая редакция  
***М. Т. ИОВЧУКА и Д. Ф. ОСТРЯНИНА***  
Примечания составил ***В. Е. Евдокименко***



## РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ И МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ НА УКРАИНЕ В XIX веке



1954 году исполнилось триста лет с тех пор, как два братских народа — русский и украинский — навеки связали воедино свои судьбы. Знаменательный акт воссоединения Украины с Россией имел огромное значение для дальнейшего исторического развития

двух великих народов, «...столь близких и по языку, и по месту жительства, и по характеру, и по истории» \*.

Воссоединение с русским народом спасло украинский народ от иноземного порабощения, обеспечило возможность его национального развития, а также способствовало укреплению Российского государства и подъёму его международного авторитета.

Глубоко оценил значение воссоединения Украины с Россией великий русский революционный демократ В. Г. Белинский. Он писал, что Украина, «слившись навеки с единокровною ей Россиею... отворила к себе дверь цивилизации, просвещению, искусству, науке... Вместе с Россиею, ей предстоит теперь великая будущность...» \*\*.

История русского и украинского народов — это история их совместной борьбы за свободу и независимость,

---

\* В. И. Ленин, Соч., т. 25, стр. 74.

\*\* В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, 1926, стр. 413.

против чужеземных захватчиков, против царизма, помещиков и капиталистов.

«...В революционной освободительной борьбе против царизма и крепостничества, развернувшейся в России в XIX веке, ведущую роль играл великий русский народ.

Первым поколением революционеров — борцов против царизма, продолживших революционные традиции Радищева, — были декабристы, организовавшие в 1825 г. восстание в Петербурге и на Украине (восстание Черниговского полка). Вслед за декабристами на борьбу против царизма и крепостничества выступили великие русские революционные демократы — Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов.

Вопреки царской реакционной политике жестокого национально-колониального угнетения лучшие сыны русского народа признавали право Украины на национальную независимость и вместе с передовыми деятелями украинского народа боролись против позорной политики натравливания народов России друг на друга, которую проводили русские и украинские помещики и буржуазия и их прислужники — великодержавные шовинисты и украинские буржуазные националисты. Революционные деятели России, всегда признавая право украинского народа на свободное национальное развитие, связывали его со свержением царизма и освобождением как русского народа, так и украинского и других народов нашей страны» \*.

Славные и незабываемые страницы в историю совместной борьбы русского и украинского народов против социального и национального угнетения вписали вместе с русскими революционными демократами украинские революционные демократы XIX века — Тарас Шевченко, Панас Мирный, Марко Вовчок, Иван Франко, Павел Грабовский, Михаил Коцюбинский, Леся Украинка и их боевые соратники.

\* \* \*

В истории общественно-политической и философской мысли украинского народа до начала пролетарского революционного движения и распространения марксизма

---

\* «Тезисы о 300-летию воссоединения Украины с Россией (1654—1954), одобрены ЦК КПСС», Госполитиздат, 1954, стр. 13.

самым ярким и наиболее плодотворным был период со второй половины XVIII до конца XIX века.

За это время Украина, как и Россия, прошла ряд стадий исторического развития: стадию разложения феодального строя и зарождения капиталистических отношений, стадию кризиса крепостнического строя и развития в его недрах капиталистического уклада, стадию утверждения и развития капиталистического строя после падения крепостничества. Трудящиеся массы России и Украины совместно боролись против гнёта феодально-крепостнического и самодержавно-колонизаторского, а затем — с 70—80-х годов XIX века — и против капиталистического гнёта. На основе освободительной борьбы крестьян, городской бедноты и разночинной интеллигенции, а в последней четверти XIX века и борьбы пролетариата, который формировался в городе и деревне, развивалась передовая общественно-политическая и философская мысль, направленная против крепостничества, царизма и капитализма.

Из поколения в поколение лучшие представители революционной украинской общественной мысли воспитывали в передовых людях Украины любовь к народу и ненависть к его угнетателям, стремление к освобождению от социального и национального гнёта, чувство дружбы к великому русскому народу.

Передовая общественная мысль на Украине, носившая антикрепостнический, демократический характер, за эти полтораста лет, с середины XVIII века, прошла в своём развитии ряд исторических этапов. На первом этапе своего развития, во второй половине XVIII и первой четверти XIX века, она носила просветительский характер, не поднимаясь ещё до требований революционной борьбы за уничтожение крепостного строя; в области философии, несмотря на материалистические тенденции, эта передовая теоретическая мысль не порвала ещё с философским идеализмом. Наиболее видными прогрессивными мыслителями на Украине этого времени были выдающийся философ и писатель-гуманист Григорий Саввич Сковорода (1722—1794) и замечательный писатель-сатирик и драматург Иван Петрович Котляревский (1769—1838), в своих произведениях обличавшие пороки крепостничества

с просветительских позиций. К этому же периоду относится научная деятельность естествоиспытателей-материалистов Мартына Матвеевича Тереховского (1740—1796), Александра Михайловича Шумлянського (1748—1795), Тимофея Фёдоровича Осиповского (1765—1832) и других передовых учёных.

На следующем этапе исторического развития, охватывающем предреформенное время (1825—1860), на Украине возникло революционно-демократическое направление общественной мысли, родоначальником которого явился великий сын украинского народа — гениальный поэт и пламенный революционер Тарас Григорьевич Шевченко (1814—1861). Главным содержанием этого направления были идеи революционной борьбы против крепостничества и царизма, материалистические и атеистические взгляды, направленные против господствовавшей крепостнической идеологии, религии и философского идеализма.

Революционно-демократические традиции, заложенные Т. Г. Шевченко в украинской общественной мысли, развивались и на следующем этапе общественного развития — после реформы 1861 г., в 60—70-х годах XIX века, когда на Украине, несмотря на значительные остатки крепостничества, быстро рос капитализм, но ещё не сформировался в особый класс промышленный пролетариат. Эти традиции продолжали выдающиеся писатели Марко Вовчок и Панас Мирный — защитники интересов крестьянства, разоряемого капитализмом и остатками крепостничества.

В последние десятилетия XIX века (80—90-е годы) начинается новый этап в истории передовой украинской общественной мысли, который характеризуется дальнейшим развитием революционно-демократической идеологии под влиянием рабочего движения и идей марксизма. Виднейшие представители революционной общественной мысли Украины этого времени — И. Франко, П. Грабовский, М. Коцюбинский, Леся Украинка выступают не только против остатков феодально-крепостнического строя, но и против капитализма, отстаивая интересы и выражая стремления пролетаризирующихся трудящихся масс города и деревни. Эти писатели делают шаг в сторону на-

учного социализма, испытывают влияние идей марксизма, но не становятся ещё марксистами, не соединяют своей деятельности с борьбой революционной социал-демократии, выступавшей под знаменем марксизма-ленинизма.

История общественно-политической и философской мысли на Украине никогда не представляла собой «единого потока» развития, без борьбы классов и партий, как лживо изображали буржуазные националисты. Передовая общественно-политическая мысль Украины, отражавшая на каждом из этапов своей истории интересы трудящихся масс, развивалась в борьбе против реакционно-крепостнических, либерально-монархических и националистических воззрений, отражавших интересы крепостников-помещиков и контрреволюционной буржуазии.

История философской мысли Украины, через которую красной нитью проходит борьба материализма с идеализмом, начисто отвергает измышления украинских буржуазных националистов о том, что материализм на Украину будто бы «занесён извне» и «чужд украинскому народу». Она доказывает, что философский материализм и атеизм, отвечавшие интересам трудящихся масс Украины, развивались в процессе непримиримой борьбы против идеализма, религии, мистики.

История передовой мысли на Украине отнюдь не представляла собой замкнутого, самодовлеющего процесса, изолированного от развития теоретической мысли других народов; она не была также «подражанием» западноевропейской феодальной и буржуазной культуре, «ученичеством», как утверждали фальсификаторы истории украинской культуры. На всём протяжении истории Украины её передовые мыслители внимательно изучали и усваивали исторический опыт революционной борьбы, развития науки и культуры западноевропейских народов, и прежде всего богатейший революционный опыт, достижения культуры, научной и философской мысли русского народа.

Русские и украинские революционные демократы XIX века объединяли свои усилия для борьбы против общих врагов: крепостничества, царизма и его идеологической «основы» — великодержавного шовинизма, который отрицал право украинского народа на самостоятельное

национальное существование, на свободное развитие украинского языка и культуры. Они вместе боролись против украинских буржуазных националистов, пытавшихся отгородить украинский народ от русского народа, утверждавших, что якобы Украина в прошлом не имела «своих», украинских, панов, а в XIX столетии стала «буржуазной нацией» и т. п.

Революционно-демократическое движение на Украине вдохновлялось великими русскими революционными демократами Герценом, Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, которые были вождями и идеологами общероссийской революционной демократии, защитниками интересов трудящихся масс всех народов России.

Русские революционные демократы верно оценили огромное положительное значение того факта, что Россия приняла «в свою исполинскую корпорацию и отторгнутую от неё» \* Украину; вместе с тем они резко осуждали проводимую царизмом политику национально-колониального гнёта и подавления украинской национальной культуры и языка. Н. Г. Чернышевский, отмечая национальные особенности украинского народа, насчитывавшего в то время 13 миллионов человек, с горечью писал, что в условиях царизма он «не удостоен считаться имеющим свою неприкосновенную народность», что язык украинцев не считается чертой их народности \*\*.

Отстаивая права украинского народа на свободное экономическое, политическое и культурное развитие, А. И. Герцен писал польскому революционеру в 1859 году: «Украину следует... признать свободной и независимой страной... не должно быть и речи о том, кому должна принадлежать та или другая часть населённой земли. В Малороссии живут люди, — люди подавленные рабством, но не настолько сломанные правительством и помещиками, что потеряли всякое чувство народности, совсем напротив, родовое сознание у них очень развито... Развяжемте им руки, развяжемте им язык, пусть речь их будет совер-

---

\* В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, 1901, стр. 130.

\*\* См. Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. VII, Гослитиздат, 1950, стр. 844.

шенно свободна, и тогда пусть они скажут своё слово... протянут нам обоим руки на братский союз...»\*.

Н. П. Огарёв, призывая к соединению революционных усилий русского и украинского народов, писал: «...Так много было общего в наших страданиях и так самобытность каждого становится необходимым условием общей свободы»\*\*.

Русские революционные демократы ясно сознавали общность исторических судеб русского и украинского народов, отсутствие каких-либо оснований для розни между ними. Они понимали, что именно на пути революции и социализма трудящихся ожидает великое будущее. Они глубоко верили в социальное и национальное освобождение украинского народа, в грядущий расцвет его богатырских сил, яркой и самобытной национальной культуры.

Важнее всего то обстоятельство, что сама Украина пробуждается, утверждал Чернышевский. Н. А. Добролюбов настойчиво требовал предоставления украинскому, как и всякому другому, народу неограниченного права пользоваться своим языком, развивать национальную литературу и искусство. Высоко ценя творчество Т. Г. Шевченко (особенно его «Кобзарь»), Добролюбов говорил, что оно горит патриотизмом, сверкает славой минувших подвигов народа. Добролюбов осуждал в то же время попытки украинских помещичье-буржуазных националистов, вроде П. Кулиша, идеализировать и приукрашивать прошлое Украины, обособлять украинский народ от русского народа и его культуры.

В свою очередь украинские революционные демократы неизменно обращали взоры к великому русскому народу, к его передовой культуре, к революционным борцам России. Они видели две России — Россию царей, помещиков и капиталистов, угнетающую все народы, в том числе и русский, и Россию революционную, Россию трудящихся масс, родину передовой науки, литературы и искусства,

---

\* А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. IX, 1919, стр. 466.

\*\* Н. П. Огарёв, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, Госполитиздат, 1952, стр. 466.



борящуюся за социальное и национальное освобождение всех народов, в том числе и народа украинского.

Великий украинский писатель-революционер Иван Франко ещё в 1878 году писал: «Разумеется, русское государство, его жандармы и чиновники и подавление ими всякой свободной мысли — одно дело, а русская литература с Гоголями, Белинскими, Тургеневыми, Добролюбовыми, Писаревыми, Щаповыми, Решетниковыми и Некрасовыми — совершенно иное дело» \*. Выражая чувства и мысли украинского народа, Франко подчёркивал, что русский народ создал духовную, литературную и научную жизнь, которая беспрестанно воздействует на Украину. Он писал в 1905 году: «Мы любим великий русский народ и желаем ему всякого добра, любим и изучаем его язык... И русских писателей, великих светочей в духовном царстве, мы знаем и любим... мы чувствуем себя солидарными с лучшими сынами русского народа, и это крепкая, прочная и светлая основа нашего русофильства» \*\*.

Уверенность украинских революционных демократов в общей победе угнетённых народов России над паризмом выразил в одном из своих писем М. Коцюбинский. «...Прежде чем добьёмся спокойной и культурной жизни, — писал он, — будет общее восстание, которое сметёт весь старый политический строй... Все, без различия национальности, накапливают силы, чтобы свалить общего врага» \*\*\*.

Украинские революционные демократы понимали, что социальное и национальное освобождение украинского народа возможно лишь при объединении революционных усилий трудящихся масс Украины и трудящихся масс всей России; только при этом условии возможно низвержение общего врага — царской монархии, создание свободной украинской государственности, расцвет экономики и культуры украинского народа.

Активно участвуя в общероссийском освободительном движении, украинские революционные демократы исхо-

\* Настоящее издание, стр. 214.

\*\* См. *Иван Франко, Про російську літературу*, Львів 1947, стр. 59, 60.

\*\*\* Настоящее издание, стр. 501.

дили из идеологических и теоретических принципов русской революционной демократии. Их взгляды развивались под непосредственным влиянием материалистической философии Герцена и Белинского, Чернышевского и Добролюбова.

\* \* \*

Идейным вождём революционно-демократического движения на Украине против царизма и крепостного строя был Тарас Григорьевич Шевченко. Это движение развернулось в России с 40-х годов XIX столетия, в условиях нараставшего кризиса феодально-крепостнического строя. На Украине, как и в России, социальной почвой революционно-демократического движения была освободительная борьба крепостных крестьян, которая, несмотря на её стихийность, разрозненность и неорганизованность, расшатывала крепостнический строй и подрывала его «устой».

В условиях царизма, когда прямая дорога открытой политической борьбы не могла быть использована в полной мере, огромную роль в революционном воспитании передовых сил общества на Украине, как и в России, сыграла передовая, демократическая литература. Начиная с Тараса Шевченко передовые демократические украинские писатели были активными деятелями общероссийского освободительного движения, глашатаями передовых идей революционной демократии. Украинский революционер П. Грабовский с полным правом мог сказать, что уже поэзия Шевченко показала, чем может и должна быть украинская литература. Поэзия Шевченко, писал он, поставила украинскую литературу «...на высоту общевропейского творчества, внесла в неё богатый запас лучших общечеловеческих идей, из предмета «барской потехи» сделала её живым органом жизни и указала ей единственно достойный путь служения родине... Шевченко шёл рука об руку с лучшими умами и деятелями России в эпоху, предшествовавшую периоду реформ, и делал на Украине то великое общерусское дело обновления, которое без него не имело бы здесь своего апостола» \*.

---

\* Настоящее издание, стр. 457.

Ещё на заре революционного движения на Украине Шевченко обратил свой взор к республиканским, свободлюбивым традициям общероссийского освободительного движения. Его революционным идеалом становятся декабристы, чей героический подвиг он воспел в своих поэтических творениях. В поэме «Сон», называя декабристов аллегорически «царём свободы», Шевченко говорит о них:

Царь всемирный! Царь свободы,  
Царь, клеймом венчанный!  
В муках каторжных — не просит,  
Слёз не проливает!  
Сердце, что добром согрето,  
Век не остывает \*.

Русская революционная демократия 40-х годов, группировавшаяся вокруг «Отечественных записок» и «Современника», в которых главную роль играл Белинский, вдохновила Шевченко на революционную борьбу против царизма, оплодотворила своими идеями его поэтическое творчество. И. Франко в статье «Тёмное царство» пишет об этом: «Невозможно, чтобы Шевченко, живя в то время в Петербурге, не был захвачен также этой великой волной прогрессивного движения, чтобы его пылкая, молодая душа не примкнула также к новому направлению, тем более, что и собственные его мужицкие симпатии издавна влекли его в эту сторону... С начала сороковых годов Шевченко всё определённое и смелее вступает на новую дорогу. Почти каждое его новое произведение — это шаг вперёд по этой дороге» \*\*.

В 1846—1847 годах Шевченко возглавляет революционное крыло Кирилло-Мефодиевского общества, выступая против его либерально-националистического крыла, во главе которого стояли Костомаров и Кулиш.

В 40-х годах петрашевцы надеялись, что в связи с подъёмом революционной волны в России поднимутся революционные силы и на Украине, и связывали эти надежды прежде всего с революционной и поэтической

---

\* Настоящее издание, стр. 65.

\*\* Там же, стр. 235, 236.

деятельностью Т. Г. Шевченко. Как и петрашевцы, Т. Г. Шевченко вынашивал план организации крестьянских восстаний в России и на Украине. М. В. Петрашевский отмечал, что сочинения Шевченко были причиной сильного волнения умов на Украине, находившейся тогда в брожении.

В 1847 году Шевченко был арестован, отдан в солдаты «под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать» и сослан в Оренбургскую губернию. Вернувшись из ссылки через 10 лет, Шевченко с энтузиазмом встретил революционную проповедь Герцена со страниц «Колокола». Прочитав в 1857 году статью Герцена «Крещёная собственность», Т. Г. Шевченко записал в дневнике: «Сердечное, задушевное человеческое слово! Да осенит тебя свет истины и сила истинного бога, апостол наш, наш одинокий изгнанник!» \*.

В свою очередь творчество Шевченко произвело огромное впечатление на Герцена и на других русских революционных демократов, укрепив в них веру в великие силы украинского народа, придавленного, но не сломленного крепостническим и национальным гнётом. Н. П. Огарёв с полным правом мог сказать: «Украина проснулась в Шевченке, и — лучшее доказательство, как сила обстоятельств влечёт к самобытности областей и нераздельности союза, — Шевченко, народный в Малороссии, с восторгом принят, как свой, в русской литературе и стал для нас родной...» \*\*. В России в конце 50-х годов действовало новое поколение революционных демократов во главе с Чернышевским и Добролюбовым. Шевченко, всегда бывший несгибаемым революционером, шёл вместе с ними. Вожди общероссийской демократии Чернышевский и Добролюбов увидели в нём идейного единомышленника и боевого политического соратника. Н. А. Добролюбов в это время писал о Шевченко: «Он — поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов нейдёт с ним в сравнение, потому что складом своих мыслей и даже своими стремлениями иногда

\* Настоящее издание, стр. 145.

\*\* Н. П. Огарёв, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 466.

удаляется от народа. У Шевченка, напротив, весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни. Он вышел из народа, жил с народом, и не только мыслью, но обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан» \*. Как и вожди русской революционной демократии, Шевченко ни на минуту не верил «проектам» освобождения крестьян «сверху», гневно осуждал либеральное словоблудие помещичьих идеологов и политиков, возлагая все свои надежды на всенародное восстание, на крестьянскую революцию. Незадолго до смерти, обращаясь к помещикам и угрожая им революционной расправой и карой со стороны народных масс, он писал:

Не скрыться вам! Ведь вас повсюду  
 Отыщет правда-мечь, а люди  
 Подстерегут, чтобы поймать,—  
 Поймают и судить не будут:  
 Сковав, в оковах, не на суд,—  
 На поруганье поведут  
 И на кресте потом, без ката  
 И без царя вас, бесноватых,  
 Распнут, на части разорвут  
 И кровью вашею, собаки,  
 Собак напоят!.. \*\*

Творчество Шевченко, выражавшее протест крестьянских масс против крепостного гнёта и их непримиримую враждебность всяким господам, независимо от их национальной принадлежности, убеждало Чернышевского и его соратников в правильности их собственных идей об общности интересов простолюдинов различных наций и, наоборот, о противоположности интересов эксплуататоров и трудящихся классов одной и той же нации. Глубокий анализ творчества гениального украинского поэта приводил Чернышевского к выводу, что Шевченко «окончательно разъяснил для нас ту истину, которую давно мы предполагали сами. Вот она... Малорусский пан и польский пан

---

\* Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в шести томах, т. 2, Гослитиздат, 1935, стр. 562—563.

\*\* Т. Г. Шевченко, Собрание сочинений в пяти томах, т. II, Гослитиздат, 1948, стр. 332.

стоят на одной стороне, имеют одни и те же интересы; малорусский поселянин и польский поселянин имеют совершенно одинаковую судьбу» \*. Творчество Шевченко было полной противоположностью буржуазно-националистической публицистике, которая подменяла борьбу классов «борьбой» наций.

Сочинения Шевченко проникнуты братским сочувствием и любовью к трудящимся и угнетённым людям других национальностей. Осуждая межнациональную рознь, он считает, что вина за её разжигание лежит на панах-помещиках, а также на ксендзах и других представителях духовенства. Шевченко писал:

Когда мы были казаками,  
Ещё до унии, — тогда  
Как весело текли года!  
Поляков звали мы друзьями,  
Гордились вольными степями;  
В садах, как лилии, цвели  
Дивчата, пели и любили,  
Сынами матери гордились,  
Сынами вольными... Росли,  
Росли сыны и веселили  
Печальной старости лета,  
Покуда с именем Христа  
Ксендзы, придя, не подпалили  
Наш край, пока не потекли  
Моря большие слёз и крови... \*\*.

Шевченко, выражавшему настроения и мысли трудящихся масс, было чуждо какое-либо чувство неприязни к другим нациям. Он протягивает руку дружбы полякам-трудящимся, полякам-революционерам. Обращаясь к ним, он говорит:

Вот так, поляк, и друг и брат мой!  
Несытые ксендзы, магнаты  
Нас разлучили, развели, —  
Мы до сих пор бы рядом шли.  
Дай казаку ты руку снова  
И сердце чистое отдай! \*\*\*

---

\* Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. VII, стр. 792.

\*\* Настоящее издание, стр. 87.

\*\*\* Там же, стр. 87—88.

Опираясь на творчество Шевченко, которое всем своим революционно-демократическим содержанием опровергало либерально-националистические измышления об идиллическом «единении» украинского крестьянина и украинского помещика, о «вековечной вражде» польского и украинского, украинского и русского народов и т. д., Чернышевский выступил в защиту революционно-демократической позиции по национальному вопросу, против украинских националистов. В своих произведениях, особенно в статье «Национальная бестактность», он бичевал украинских националистов из львовского журнала «Слово», которые пытались помешать единению западных украинцев со всем украинским народом и холопствовали перед Австрийской империей.

Шевченко — единомышленник Белинского и Чернышевского — был решительным противником идеологии и политики украинских буржуазных националистов, типичными представителями которых были в то время П. Кулиш и Н. Костомаров. Шевченко был далёк от какой-либо идеализации феодального прошлого украинского народа, в частности от идеализации гетманщины и казачества, что ему ошибочно приписывали, в том числе и И. Франко, не всегда верно оценивавший ранний период в поэтическом творчестве Шевченко. П. Грабовский был совершенно прав, когда писал: «Историки литературы причисляли Шевченко то к поэтам панславистского направления, кем он никогда не был, то видели в его поэзии апофеоз прошлого, идеализацию гетманства и казатчины, а иные считали его даже политическим сепаратистом (украинским националистом.— М. И.). Последним Шевченко также никогда не был».

Шевченко был последовательным противником и врагом российского царизма, угнетавшего все народы России, в том числе и русский народ; великий поэт-демократ не жалел мрачных красок для того, чтобы заклеить всю гнилость и мерзость царского самодержавия и всего полицейско-крепостнического строя дореформенной России. Иногда поэтическое увлечение приводило его к некоторой односторонности, и он, справедливо нападая на жестокую колонизаторскую политику и варварский режим царизма, не обращал в некоторых своих сочинениях

должного внимания на исторически прогрессивную роль России в отношении других народов. Это проявилось, в частности, в его поэме «Сон», во второй части которой дана односторонняя, а потому неправильная оценка петровских преобразований; это сказалось также в стихотворении «Кавказ», где проявляется непонимание прогрессивного значения присоединения Кавказа к России. Но эти отдельные ошибочные штрихи в его оценке событий истории народов России, навеянные ненавистью революционной демократии к царизму, отнюдь не определяют отношения Шевченко к России и русскому народу. Великий украинский поэт всегда шёл рука об руку с деятелями революционной России. Он был един с ними в резком осуждении крепостнических и либерально-помещичьих проектов освобождения крестьян без земли или с землёй за большой выкуп, в своих надеждах на крестьянскую революцию, в требованиях установления демократической республики и федерации освобождённых славянских народов, т. е. во всех главных вопросах общественного развития.

От сочинений Тараса Шевченко и других украинских революционных демократов, как и от сочинений Чернышевского, веет духом классовой борьбы. Этим духом проникнуты все взгляды Шевченко на прошлое и настоящее человечества. Начиная с Т. Шевченко украинские революционные демократы в своих сочинениях обращаются к истории украинского и других славянских народов, красной нитью выделяя в ней борьбу народных масс против своих угнетателей и иноземных поработителей, обращаясь к таким страницам истории, когда народ с оружием в руках отстаивал свою свободу и независимость («колиивщина» и другие крестьянские восстания, войны украинского народа против турецких, польскошляхетских и других захватчиков). Преклоняясь перед героическими подвигами народных масс в борьбе против поработителей, Т. Шевченко писал: «...Моя прекрасная, могучая, вольнолюбивая Украина туго начиняла своим вольным и вражьим трупом неисчислимые огромные курганы. Она своей славы на *поталу* не давала, ворога-деспота под ноги топтала и — свободная, не растленная — умирала... Не напрасно грустны и унылы ваши песни,



задумчивые земляки мои! Их сложила свобода, а пела тяжкая одинокая неволя» \*.

Отвергая идеалистический взгляд на народ, как на пассивный материал для разных политических комбинаций господствующих клик, Шевченко был убеждён в том, что народ своими силами может покончить с существующим эксплуататорским строем. Вслед за Радищевым и Белинским Шевченко, не возлагая надежд на освобождение «сверху», угрожал помещикам-крепостникам справедливой народной расправой:

...Скоро разорвут оковы  
Скованные люди.  
Суд настанет, грозной речью  
Грянут Днепр и горы,  
Детей ваших кровь польётся  
В далёкое море  
Сотней рек \*\*.

Взгляды Т. Шевченко и других революционных демократов Украины на будущее общества были утопическими. Шевченко мечтал о строе, при котором не будет господ и рабов, люди будут трудиться сообща, на общей земле. Но ясного, научного представления о путях и средствах революционного преобразования старого, эксплуататорского общества в новое общество Т. Шевченко и его последователи в 50—60-х годах ещё не могли выработать. Во взглядах Т. Шевченко содержались верные догадки о решающей роли материальных потребностей и большом значении техники в преобразовании общества. В 1857 году, возвращаясь из ссылки, Шевченко высказал в своём дневнике проникательную и глубокую мысль: «...Пароход, в ночном погребальном покое, мне представляется каким-то огромным, глухо ревушим чудовищем с раскрытой огромной пастью, готовую проглотить помещиков-инквизиторов. Великий Фультон! И великий Уатт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в ско-

---

\* Т. Г. Шевченко, Собрание сочинений в пяти томах, т. IV, Гослитиздат, 1949, стр. 322.

\*\* Т. Г. Шевченко, Собрание сочинений в пяти томах, т. I, 1949, стр. 323.

ром времени пожрёт кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит... То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное, гениальное дитя. Моё пророчество несомненно» \*.

Революционный демократизм Тараса Шевченко и других передовых украинских мыслителей середины XIX века основывается на материалистическом мировоззрении и направлен против господствовавшей религиозной идеологии и идеалистической философии. Если украинские революционные деятели в это время не писали специальных трудов по вопросам философии, то это отнюдь не умаляет глубины и силы их материалистических философских идей, воплотившихся в художественном творчестве, в публицистических статьях, в дневниках, в переписке и т. п. Жгучая ненависть ко всякой схоластике и догматизму, признание вечности, материальности природы, полная жизнеутверждающего оптимизма вера в способность людей познать мир и преобразовать его в интересах народа, признание вечного безграничного движения в природе и обществе, разоблачение религии как защитницы эксплуатации и мракобесия — таковы наиболее характерные черты материалистического мировоззрения Шевченко и его соратников.

Материалистические и атеистические мотивы со всей силой прозвучали в художественном творчестве Т. Г. Шевченко. Хотя в художественных произведениях Шевченко содержатся привычные для крестьянского мировоззрения того времени религиозно-библейские образы («бог», «святые», «апостолы», «ангелы»), но по сути дела в этих произведениях обличается религия, которая освящала и защищала деспотизм и мракобесие. Так, в стихотворении «Юродивый» Шевченко с гневной иронией говорит о «божестве»:

А ты, всевидящее око!  
Знать, проглядел твой взор высокий,  
Как сотнями в оковах гнали  
В Сибирь невольников святых?  
Как истязали, распинали

---

\* Настоящее издание, стр. 141—142.

И вешали?! А ты не знало?  
Ты видело мученья их  
И не ослепло?! Око, око!  
Не очень смотришь ты глубоко! \*

В стихотворении «Когда б вы знали, господа» Шевченко даёт понять, что с помощью веры в «царство божие» на небесах оправдывается произвол царей и помещиков на земле. Он пишет:

Быть может, сам на небеси  
Смёшься, отче наш, над нами,  
Совет держа тайком с панами,  
Как править миром!.. \*\*

Вслед за Шевченко писатель-демократ Панас Мирный также отстаивал материалистический взгляд на мир. В своём произведении «В степи» он говорит о бесконечности вселенной, несотворимости и неуничтожимости материи. «Чем ты измеришь эту бесконечную пустыню, именуемую вселенной?.. — писал он. — А там, за нею, что? — Да ничего, это всё она — бесконечная вселенная, пустыня. Это только мы здесь, на земле, привыкли видеть начало и конец всему и думаем, что всё на свете должно их иметь. Что же такое здесь ты, пылинка мироздания, царь земли — человек?.. Жизнь земли определила твою жизнь, дала тебе пищу, из неё выработала кровь, вылепила в твоей голове мозг, сказала: думай им!..» \*\*\*

Следуя Шевченко, Панас Мирный выступил как атеист-просветитель. В своей драме «Искушение» он призывал народ отбросить религию как химеру, утверждал, что не ошибается лишь разум.

В художественном творчестве Тараса Шевченко, Панаса Мирного, Марко Вовчка, в их эстетических воззрениях воплотились материалистические принципы эстетики русских революционных демократов — реализм, идейность и народность искусства. Тарас Шевченко и его последователи — революционные писатели создали замечательные произведения украинской реалистической ли-

\* Настоящее издание, стр. 99.

\*\* Там же, стр. 94.

\*\*\* Там же, стр. 165—166.

тературы, проникнутые любовью к трудящемуся человеку и ненавистью к его угнетателям. Тарас Шевченко призывал писателей и деятелей искусства следовать бессмертному Гоголю и Салтыкову-Щедрину, поднять голос за «поруганного бессловесного смерда».

Украинские революционные демократы решительно выступали против идеалистической теории «искусства для искусства», против реакционной идеализации прошлого, против умиления красотами природы, «прелестями» «хуторской жизни» и тому подобных отступлений от жизненной правды в искусстве, имевших место в украинской литературе. Решительно осуждая идиллические картинки крестьянского быта на Украине, выходившие из-под пера либералов и националистов, Шевченко писал:

Когда б вы знали, господа,  
Где плачут люди, вы тогда  
Своих элегий не творили б,  
И бога всеу не хвалили б,  
Не умилялись бы всегда! \*

Вместе с русскими революционными демократами Шевченко осуждал космополитов, чуждых своего народа, его культуры и языка, далёких от освободительной борьбы народов. Он писал:

В ком нет любви к стране родной,  
Те сердцем нищие калеки,  
Ничтожные в своих делах  
И суетны в ничтожной славе \*\*.

В поэмах «Еретик» и «Гайдамаки», в драме «Никита Гайдай», во многих своих стихотворениях Шевченко развивал идеи дружбы и совместной борьбы угнетённых народов, и прежде всего народов славянских.

Он мечтал о соединении усилий трудящихся масс славянских народов для революционной борьбы и победы над

---

\* Настоящее издание, стр. 93.

\*\* Т. Г. Шевченко, Собрание сочинений в пяти томах, т. IV, стр. 472.

их угнетателями (российским царизмом, австро-венгерской монархией, султанской Турцией и др.). Шевченко страстно желал,

Чтобы все славяне стали  
Братьями-друзьями,  
Сыновьями солнца правды...  
Принесут они навеки  
Миру мир и славу!\*

Всё творчество Шевченко говорит о его тесных связях с общероссийским освободительным движением и русской демократической культурой, о его горячих симпатиях к деятелям революционной России — начиная от декабристов и кончая Чернышевским и Салтыковым-Щедриным. Тщетны были попытки украинских помещичье-буржуазных националистов отдалить Шевченко от общероссийского революционного движения и противопоставить его передовой русской культуре.

Творчество украинской демократической писательницы Марка Вовчка, писавшей на русском и украинском языках, вдохновлялось революционными идеями Шевченко и русских революционных демократов Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Некрасова. Её «Народні оповідання», «Рассказы из народного русского быта» и другие реалистические произведения, осуждающие крепостнический гнёт и пробуждающие любовь к поработённому народу, получили высокую оценку Герцена, Добролюбова, Чернышевского. Добролюбов отмечает, что в «Народных рассказах» Марко Вовчка раскрываются великие силы, тающиеся в народе, и разные способы их проявлений под влиянием крепостного права. Н. А. Добролюбов, оценивая творчество М. Вовчка, писал: «Сознание великой роли народных масс в экономии человеческих обществ едва начинается у нас, и рядом с этим смутным сознанием появляются серьёзные, искренно и с любовью сделанные наблюдения народного быта и характера. В числе этих наблюдений едва ли не самое почёт-

---

\* Настоящее издание, стр. 69.

ное место принадлежит очеркам Марка Вовчка» \*. Добролюбов увидел и высоко оценил в героях произведений Марка Вовчка внутреннюю и суровую реакцию против посягательств на достоинство и свободу личности, реакцию, которая, по его словам, может достигать размеров поистине сокрушительных и приобретать наступательный характер. Великий русский критик-демократ видел в этом свидетельство того, что «крепостное право приходит к своему концу [и делается достоянием истории; о нём нечего толковать, оно отжило своей век]. Но факты, [тяготевшие над государством] в течение столетий, не проходят даром, не остаются без всякого следа» \*\*.

Выдающийся украинский писатель—реалист и демократ Панас Мирный в своих произведениях развенчивает остатки крепостничества в политической и духовной жизни общества, в его быту и нравах. Вместе с тем он — решительный противник буржуазного строя, мечтает о настоящем народовластии, о республике трудящихся масс. Он утверждает, что конституционным путём её не получить, ибо небольшая кучка богатеев, прикрываясь лживыми фразами о свободе народа, может утвердить вместо самодержавия новую неволю.

В своих произведениях «Разве ревут волю, когда ясли полны?», «Гулящая» и других Панас Мирный ярко отобразил кричащие противоречия, какими была полна жизнь украинской деревни, заклеил сельскую и городскую буржуазию как силу, враждебную и чуждую народу.

Панас Мирный и Марко Вовчок — демократические писатели, продолжавшие традиции Шевченко в украинской литературе,— сыграли большую положительную роль в критике остатков крепостничества в пореформенный период и нового, кабально-капиталистического гнёта в деревне, в пропаганде идей дружбы и единения трудящихся масс Украины с трудящимися массами России. В период первой русской революции 1905 года Панас Мирный писал: «Старый государственный строй, который тяжёлым камнем давил все народы России, всё более развали-

---

\* Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в шести томах, т. 2, 1935, стр. 263.

\*\* Там же, стр. 258.

вается... Тысячи и миллионы людей уже встают на борьбу за свободу... Довольно спать, просыпайтесь все, кто живой, у кого сердце бьётся. Вставайте, уже восходит солнце правды и свободы» \*.

Творчество Панаса Мирного и Марко Вовчка вместе с тем носит на себе печать крестьянской мелкобуржуазной ограниченности. Если Шевченко, живший и творивший в дореформенный период, естественно, не мог ещё видеть организованного пролетариата и обратить свой взор к пролетарскому революционному движению, то Марко Вовчок, умершая в 1907 году, и Панас Мирный, умерший в 1920 году, не сумели понять исторической роли общероссийского революционного рабочего движения; они стояли в стороне от него и в силу этого не смогли подняться в своих общественно-политических взглядах на более высокую ступень.



Творчество революционных демократов конца XIX века — И. Франко, П. Грабовского, М. Коцюбинского, Леси Украинки — представляет собой новый этап в истории борьбы за социальное и национальное освобождение украинского народа, в развитии революционно-демократической мысли Украины.

В последнюю четверть XIX века на Украине, как и во всей России, утвердившиеся капиталистические отношения переплетались с сильными остатками крепостнических отношений; этот период ознаменовался формированием промышленного пролетариата и возникновением революционного рабочего движения.

На юге Украины в это время создаются новые промышленные районы, где развивается тяжёлая индустрия (металлургия, угольная промышленность и др.), принадлежавшая преимущественно иностранному капиталу. На крупных капиталистических предприятиях концентрируются значительные массы рабочего класса из коренного украинского населения и русских рабочих, пришедших из других губерний. За 40 лет после реформы, к началу

---

\* См. «Радянське літературознавство» № 14, Київ 1950 р., стр. 92.

XX века, число рабочих в промышленности Украины возросло с 86 тыс. до 360 тыс. В Западной Украине (Галиция, Буковина), страдавшей под пятой Австро-Венгерской империи и являвшейся её аграрно-сырьевым придатком, создавались капиталистические предприятия по добыче нефти, соли и других естественных богатств.

На западе и востоке Украины под влиянием капиталистических отношений, установившихся в сельском хозяйстве, происходило расслоение крестьянства — выделение сельского пролетариата и полупролетариата, с одной стороны, и сельской буржуазии, кулачества — с другой. Так, в 1882 году число безлошадных крестьян по различным районам Украины колебалось от 36 до 50%. Вместе с тем на Украине сохранялось крупное помещичье землевладение: в 1877 году из 40,7 млн. десятин земли около половины — 16 млн. — принадлежало дворянам-помещикам; широко применялась полуфеодальная отработочная система.

Стихийное возмущение формирующегося пролетариата, а также пролетаризирующихся масс города и деревни на Украине против помещичьей и капиталистической эксплуатации сочеталось с протестом их против национального гнёта царизма, преследовавшего украинскую культуру и язык, попиравшего интересы украинской нации.

Украинские революционно-демократические мыслители долгое время страдали от горького сознания той истины, что на Украине и в целом в России не было организованной социальной силы, которая могла бы сплотить вокруг себя и повести народные массы на революционную борьбу за социальное и национальное освобождение. Такая общественная сила появилась в конце XIX века в лице промышленного пролетариата. Однако украинские революционные демократы Иван Франко, Леся Украинка, Павел Грабовский, Михаил Коцюбинский ещё не выделяли пролетариат из общей массы трудящегося населения, не видели, что решающую роль в социалистическом преобразовании общества призван сыграть именно промышленный пролетариат, концентрирующийся на крупных промышленных предприятиях. Они переоценивали возможности демократической революции, не понимали ещё, что демократическая революция не сможет решить задач



социалистического преобразования страны и что пролетариат призван свершить социалистическую революцию и установить свою диктатуру. Но они всё более приходили к убеждению, что в лице пролетариата рождается и зреет та великая сила, которая может объединить и возглавить революционную борьбу трудящихся классов.

Иван Франко в одной из своих статей писал: «В момент, когда рабочие познают, что в их громаднейшем количестве сила, и протянут руку к захвату в свои руки политической власти, пробьёт последний час капиталистического строя. Общество, т. е. пролетариат, перейдёт в новую фазу истории, в социализм, при котором люди впервые начнут по-настоящему делать историю...» \*

В произведениях Франко «Борислав смеётся», «Воа constrictor» и других, в поэтических произведениях Грабовского, в повести Коцюбинского «Fata morgana» и его новеллах, в сочинениях Леси Украинки обличение всех мерзостей эксплуататорского строя сочетается с призывом к революционной борьбе против него.

В предисловии к сборнику своих рассказов «Борислав смеётся» И. Франко, беря в пример Бориславский нефтяной район, показывает, что капитализм пожирает молодое поколение, отнимает здоровье у широких масс, лишает их уверенности в завтрашнем дне и т. д.

Иван Франко перевёл ряд глав из «Анти-Дюринга» Энгельса, писал статьи о «Манифесте Коммунистической партии», изучал «Капитал» Маркса; всё это свидетельствует о большом интересе украинского революционного мыслителя к научному социализму.

В социализме Франко видит «высокий идеал», «научный принцип», «цель поступательного движения» трудящихся масс и прежде всего рабочего класса. «Социализм и социалистические организации,— писал Франко,— заслуживают пристального внимания каждого сознательного украинца, который интересуется общественными делами и не хотел бы блуждать наощупь в сутолоке новых фактов и противоречивых устремлений и теорий» \*\*.

---

\* См. «Літературно-науковий вісник», т. 25, 1904, стр. 137.

\*\* См. там же, стр. 135.

Однако идеи марксизма преломлялись в мировоззрении Франко сквозь призму мелкобуржуазных утопий и не овладели его сознанием.

Революционный демократ П. А. Грабовский, который 20 лет пробыл в царских тюрьмах и ссылке, в 90-х годах XIX века начинает переходить к марксизму, сочувствует рабочему движению, живёт надеждой на революционное уничтожение капитализма и всех его порождений. Он критикует либерального народника Н. Левитского, прославлявшего так называемое «народное производство» и его «артельные формы», прикрывавшие кулацкую эксплуатацию пролетаризировавшегося крестьянства. Обращая свой взор к марксизму, П. Грабовский пишет: «Теперь всё, что только есть в России живого, подвижного и деятельного, идёт под знаком марксизма...» \*. При этом Грабовский не смешивает революционный марксизм с оппортунистическим «марксизмом» II Интернационала, с экономическим материализмом так называемых «легальных марксистов», с различными реформистскими теориями.

М. М. Коцюбинский в своих произведениях рисует разложение патриархальных устоев крестьянской жизни под влиянием капиталистических отношений, разорение крестьянских масс под гнётом капитализма, рост возмущения народных масс капиталистической эксплуатацией. Устами одного из героев повести «Fata morgana», Хомя Гудзя, он говорит о помещиках-предпринимателях: «Ты думаешь, завод ставят, фольварк строят? Они цепи куют людям, ставят ловушку, чтобы человеческую силу поймают, кровь человеческую выточить... Сколько их — горсточка, а смотри, как насели земле на грудь, как далеко протягивают руки. Сдавили они деревню своими полями, будто петлей шею, загнали в щель — видишь, вон лежат деревни, как кучи навоза на панском поле, а над ними дымят сахарные и водочные заводы да людскую силу перегоняют в деньги...» \*\*.

В своих публицистических произведениях Коцюбинский поднимается до больших социологических обобще-

\* Настоящее издание, стр. 462.

\*\* М. Коцюбинский, Собрание сочинений в трёх томах, т. 2, Гослитиздат, 1951, стр. 57.

ний, раскрывающих переплетение типично капиталистических и помещичье-кабальных приёмов и способов эксплуатации тружеников деревни в царской России, в том числе и на Украине. «Если раньше,— пишет он,— при панщине, эксплуатация крестьянина находилась в стадии, так сказать, «натурального» хищничества, то при росте капитализма она принимает формы острой, смертельной борьбы. Капитализм уже показывает свои когти, они растут и становятся острее. На деревню идут походом новые эксплуататоры, опутывают крестьянина долгами, отбирают у него хату, землю. Они захватывают в свои руки промыслы, строят фабрики, повсюду расставляют свои сети, как паук паутину. Вчера землепашец, хозяин, а сегодня пролетарий — крестьянин неминуемо попадает в эти сети и гибнет в неравной борьбе» \*.

Писатель-демократ, сочувствующий народному протесту против помещичьей и кулацкой кабалы в деревне, Коцюбинский начинает понимать, что обществу необходима сила, способная повести за собой пробуждающуюся деревню, вовлечь её в организованное русло революционной борьбы. В повести «Fata morgana» М. Коцюбинский в образе рабочего Марка Гуци, возглавлявшего крестьянское восстание против помещиков, показывает зарождение этой новой силы, знающей, куда вести революционное дело, показывающей путь борьбы. Коцюбинский верит в наступление нового, социалистического устройства общества, при котором «не будет больше ни бедных, ни богатых», при котором «земля всех кормит. Народ сам станет кузнецом своего счастья, лишь бы не мешали» \*\*.

В творчестве выдающейся революционной писательницы Леси Украинки обличаются эксплуатация и деспотизм во всех их исторических проявлениях: в рабовладельческой форме, в феодально-крепостнической и в «новейшей», наиболее прикрытой и наиболее мерзкой — капиталистической форме. Испытав влияние идей марксизма в конце 90-х годов, Леся Украинка выступает за революционное уничтожение капиталистического строя

---

\* М. Коцюбинский, Собрание сочинений в трёх томах, т. 3, Гослитиздат, 1951, стр. 45.

\*\* М. Коцюбинский, Собрание сочинений, т. 2, стр. 87.

объединёнными усилиями «сословия рабочих» различных национальностей. В послесловии к брошюре Ш. Дикштейна «Кто чем живёт» Леся Украинка пишет: «Сознательные рабочие не должны обращать внимание на то, кто из них какой веры или какой национальности... они должны единодушно держаться вместе, так как у них у всех один враг — класс богачей, капиталистов, который пользуется трудом рабочих. Вот потому-то для каждого рабочего должны быть святы слова: *рабочие всех стран, соединяйтесь!* Ибо только тогда свобода рабочих становится прочной, когда она во всех странах одинакова, когда никто не может придти со стороны и уничтожить её»\*.

Мечтая о социализме и связывая его наступление с революционной борьбой трудящихся, Леся Украинка в произведении «Утопия в беллетристике» считает современное ей социалистическое движение пролетариата результатом эволюции тех зародышей социалистических идей, которые возникли ещё в первой половине XIX века. Отдавая дань утопическому социализму, она не подчёркивает всей глубины принципиального, качественного отличия научного социализма Маркса от социалистических утопий первой половины XIX столетия.

В отличие от Т. Г. Шевченко и других революционных демократов дореформенного периода украинские революционные демократы конца XIX века в условиях господства капитализма смогли обнажить вопиющие социальные противоречия капиталистической действительности, показать расслоение деревни под влиянием капиталистических отношений.

В своих выступлениях против всех мерзостей капитализма они уже не ограничивались присущим утопическому социализму морализирующим осуждением буржуазных порядков, а начали критиковать экономический строй капитализма и все его порождения. Это стало возможным в значительной мере благодаря влиянию идей марксизма; они были уже знакомы с важнейшими произведениями классиков марксизма и переводили некоторые из них на украинский язык. Но украинские революционные демократы не поднялись до научного

---

\* Настоящее издание, стр. 600.

социализма, не усвоили главного в марксизме — учения о диктатуре пролетариата, не провели чёткого различия между революцией демократической и революцией социалистической, не видели ещё, что социалистический строй может победить лишь в результате пролетарской революции и установления диктатуры пролетариата. Они сближались с революционным социал-демократическим движением, содействовали ему, особенно Леся Украинка, но не стали ещё на позиции революционной социал-демократии, на позиции ленинизма. А в новый период освободительного движения в России и на Украине, начавшийся в 90-х годах XIX века, когда руководящую роль в этом движении стал играть промышленный пролетариат, только активная деятельность в рядах революционной социал-демократии, только последовательное проведение принципов научного социализма и внесение их в рабочее движение могли привести к соединению революционной теории с революционной практикой. Эту задачу, как известно, решила в России, в том числе и на Украине, общероссийская марксистская партия нового типа, созданная великим Лениным; эту задачу не могли ещё решить революционно-демократические деятели Украины — Франко, Грабовский, Коцюбинский, Леся Украинка.

В своей политической и идеологической борьбе против царизма и капитализма, в разоблачении великодержавного шовинизма и буржуазного национализма, в пропаганде интернационального единства трудящихся различных наций украинские революционные демократы 80—90-х годов XIX века выступали как предшественники, а затем как союзники общероссийской революционной социал-демократии.

Их большая историческая заслуга перед украинским и общероссийским освободительным движением состоит в том, что они призывали трудящиеся массы к революционной борьбе не только против пережитков крепостничества, но и против капиталистических порядков, обращали свой взор к новой, самой революционной и организованной общественной силе — пролетариату, обличали всю подлость либерализма с его реформистскими «теориями» и добровольным холопством перед российской, австро-венгерской

и другими деспотическими монархиями, критиковали националистические иллюзии, отвергаемые всем ходом реальной экономической жизни, и т. д.

Большой заслугой украинской революционной демократии конца XIX века явилось то, что она, следуя традициям русских революционных демократов и Т. Г. Шевченко, подчиняла цели национально-освободительной борьбы украинского народа общероссийским задачам борьбы против царизма и капитализма. Украинские революционные демократы были свободны от националистической ограниченности, они выступали против буржуазных националистов различных мастей, за братское единение трудящихся различных наций в борьбе против эксплуататоров, независимо от их национальной принадлежности. Они были противниками лживых, космополитических измышлений о том, что свет культуры якобы шёл на Украину от феодального и буржуазного Запада, всегда подчёркивали взаимную связь культуры украинского и русского народов и благотворное влияние передовой культуры русского народа на украинскую национальную культуру.

Иван Франко, живший в Западной Украине (Галиция), оторванной австро-венгерским владычеством от братского русского народа, в своих произведениях показывал постоянное стремление трудящихся Западной Украины к воссоединению с восточной Украиной, с братским русским народом.

Он мечтал о том, что при новом общественном строе

Встанет мать родная Украина  
В счастье беспредельном...  
Сгинут грани, те, что разделяли  
Братьев меж собою... \*

Франко видел, что надежды западных украинцев на важнейшие общественные реформы, особенно аграрные, связаны с упованием на приход русских в Галицию.

В противоположность украинским буржуазным националистам Франко понимал, что политическая свобода и самостоятельность, за которые боролись трудящиеся

---

\* И. Франко, Избранные сочинения, т. I, Гослитиздат, 1945, стр. 110.

массы Украины, вовсе не означали необходимости отделения Украины от России. Политическую самостоятельность, говорил Франко, не стоит понимать как полный сепаратизм от России, как необходимость создания обособленного государства украинского народа. Политическая самостоятельность возможна в связи с Россией, при федеральном устройстве. К такому устройству ведут сами факты экономической жизни. И. Франко решительно осуждал национальный гнёт как австрийской, так и русской монархии, их великодержавно-шовинистическую политику. Он писал по поводу угнетения Австрией славянских народов, что «нация, которая во имя то ли государственных, или каких-либо других интересов, угнетает, душит и останавливает в свободном развитии другую нацию, роет яму сама себе и тому государству, которому будто бы должно служить то угнетение». Совершенно ясно, что здесь Франко клеймил господствующие классы господствующих наций. Эта глубокая мысль Франко явилась пророческой: многонациональное угнетательское государство — Австро-Венгерская империя распалась под ударами войн и революций.

И. Франко не всегда был свободен от национальной ограниченности. Так, в своей статье «Под конец года» Франко высказал неправильную мысль о том, что сильные натуры и золотые характеры Желябовых, Кибальчичей и сотен других украинцев, вместо того чтобы бороться за «украинский национальный идеал», были направлены на борьбу против российского царизма, которая оказалась безуспешной. В действительности же, если деятельность Желябова, Кибальчича и других революционных народников и не могла иметь успеха в силу ошибочности избранной ими террористической тактики борьбы, тем не менее участие этих сынов украинского народа в общероссийском революционном движении, в героической, самоотверженной борьбе против царизма было делом благородным и прогрессивным. Поэтому В. И. Ленин счёл необходимым осудить эту мысль Франко как реакционный довод, допущенный вожаком демократического крыла в украинском движении\*.

\* См. «Ленинский сборник», XXX, стр. 11.

Отдельные срывы и ошибки Франко по национальному вопросу подвергались критике со стороны Леси Украинки, что видно из публикуемой в настоящем издании её статьи «Не так враги, как добрые люди», и со стороны других украинских революционных демократов, более последовательных, чем Франко, в этом вопросе. Леся Украинка справедливо замечает в своей статье, что И. Франко идеализирует галицийских «радикалов», приглашая украинских революционеров следовать их примеру, он не видит, что украинские демократы в своей пропаганде среди народа следовали примеру революционных борцов русского и самого украинского народа, которые действовали, не боясь оков и каторги, и несли незаслуженную кару с таким героизмом, который и не снился украинским «радикалам». Леся Украинка справедливо замечает, что И. Франко неправильно обвиняет Желябова и его товарищей в том, что они якобы изменили направлению своей работы, стремясь завоевать всероссийскую политическую свободу. Вместе с тем следует заметить, что Леся Украинка сама допускает в этой статье некоторые ошибки (например, переоценка роли интеллигенции в революции), преувеличивает роль и значение буржуазно-демократических украинских деятелей — Драгоманова и его последователей, сближая их деятельность с революционно-демократическим движением, тогда как Драгоманов и его группа были представителями националистического буржуазного мещанства, далёкими от революционной борьбы.

Отдельные ошибки Франко в трактовке национального вопроса отнюдь не означают, что он колебался между революционной демократией и буржуазным национализмом, как иногда говорилось в литературе. В действительности он всегда был противником буржуазно-националистических течений и беспощадным критиком «теорий» националистов — П. Кулиша, М. Грушевского, А. Конисского, Ю. Романчука и др.

В статье «Формальный и реальный национализм» Франко выступил против националистов из львовского журнала «Правда». Журнал этот противопоставлял национально-освободительное движение интернационализму и восстанавливал украинскую молодёжь против идей интернационализма. Франко осуждал культуртрегерство



националистов, их игнорирование материальных нужд и политических требований трудящихся масс, их попытки свести освободительное движение к созданию «национальных» театров, концертов, драм и стихов\*. Он разоблачал клевету националистов, будто великорусская «раса» и её интеллигенция стремятся уничтожить украинскую народность, разоблачал их реакционные утверждения о том, что украинцам якобы незачем участвовать в борьбе за достижение политической свободы, а следует пассивно ждать дальнейшего хода событий и т. п.

Решительно выступает Франко против утверждения националистов, будто русская литература и культура для украинского народа — столь же чуждое дело, как культура любой западноевропейской страны. Франко раскрывает роль русской литературы как могучего фактора революционного воспитания передовых людей Украины. «Если произведения литератур европейских нам нравились, волновали наш эстетический вкус и нашу фантазию, — пишет он, — то произведения русских мучили нас, пробуждали нашу совесть, пробуждали в нас человека, пробуждали любовь к бедным и обиженным»\*\*.

Не раз И. Франко выступал против главаря украинских буржуазных националистов М. Грушевского за его лживые измышления об украинцах как якобы «буржуазной нации», за его ориентацию на кайзеровскую Германию и габсбургскую Австрию; он разоблачал попытки украинских националистов поднять на щит фальшивые исторические конструкции Грушевского.

Ещё более последовательным противником буржуазного национализма был П. А. Грабовский. Революционный демократ П. Грабовский, изобличая измышления буржуазных националистов о «единой», «бесклассовой» украинской нации, доказывал, что «...никогда интересы и потребности различных сословий украинского народа не были одинаковы, а, наоборот, были антагонистичны... Сказать, что украинский дворянин, иерарх или казак стремились к той же цели, что и посполитые, что все они были охвачены едиными мыслями и стремлениями,

\* См. настоящее издание, стр. 357.

\*\* Настоящее издание, стр. 364.

одинаково боролись за укр[аинскую] идею, — значит, тешить и себя, и читателей сказками, закрывать глаза на события действительной жизни, затыкать уши, чтобы не слышать голоса науки и разума» \*. Разоблачая украинских националистов-историков \*\*, Грабовский показывает, что украинское дворянство по своим материальным и духовным потребностям и стремлениям гораздо ближе стояло к польскому дворянству, нежели к украинскому простому народу.

В противовес галицийским буржуазным националистам, извращавшим историю и современное положение народа Западной Украины, Грабовский доказывал, что так называемая «Австрийская Русь», оторванная в ходе исторических событий от Киевской Руси, пришла в совершенный упадок, подпав в XVIII столетии под владычество польских магнатов, пока не началось духовное возрождение Западной Украины под влиянием демократической тенденции русской литературы, отразившейся в творчестве Шевченко и других украинских писателей.

Буржуазный национализм так называемых «украинофилов», разжигавших рознь между украинцами и другими народами, идеализировавших «казатчину», т. е. быт и нравы казацкой «старшины», верхов казачества, и вообще патриархально-феодальное прошлое украинского народа, получил гневную отповедь со стороны Грабовского. «...Эти украинолюбцы, — пишет он, — поражали меня своей консервативностью, узостью и нетерпимостью; много разговоров, да мало дела... бесконечная травля евреев... издевательство над несчастною темнотою народной... глупое зубоскальство, взятое взаймы у давнего прошлого, все эти темы, которые уже давно всем надоели и отжили свой век, отсутствие жизненности и серьезного содержания — всё это как-то мало привлекало к себе... я даже враждебно смотрел на украинолюбцев, воодушевлённый идеей общего труда на ниве известного движения...» \*\*\* (речь идёт об общероссийском революционно-демократическом движении, участником которого с юных лет был Грабовский).

\* Настоящее издание, стр. 468, 470.

\*\* См. там же, стр. 467—472.

\*\*\* П. А. Грабовский, Избранное, Гослитиздат, 1952, стр. 353—354.

Под влиянием идей марксизма Грабовский приходил к правильному пониманию прошлого Украины и положения украинского народа в конце XIX века. Марксисты, пишет он, «стоят на почве классовой борьбы, не признают «неделимых наций», пока среди этих наций существует антагонизм с точки зрения классовых интересов» \*.

В одном из своих стихотворений Грабовский в поэтической форме выражает мысль о недопустимости для революционера изолироваться от интернационального освободительного движения:

Всех скорбей моих причина —  
Погружённый в горе мир,  
А не только Украина,  
Всеобъемлющий кумир \*\*.

Украинский писатель-демократ М. Коцюбинский боролся против великодержавного шовинизма; он заклеил подлую выходку буржуазного либерала П. Струве, который в своей статье «Общерусская культура и украинский партикуляризм» пытался оправдать подавление царским правительством культуры и языка украинского народа.

Вместе с тем Коцюбинскому, воспитанному в духе традиций Шевченко и русской демократической культуры, был органически чужд и враждебен украинский буржуазный национализм.

Пламенным борцом за революционное единение и дружбу русского, украинского и других народов, страстным обличителем буржуазного национализма была Леся Украинка. Леся Украинка решительно отвергала попытки украинских буржуазных националистов изолировать украинское освободительное движение от общероссийской революционной демократии и социал-демократии. Она изобличала «народовцев», «самостийников», «украинофилов» и других представителей украинского национализма, которые лживыми фразами о «национальном патриотизме», «национальном идеале» и т. п. хотели увести украинскую молодёжь от революционной борьбы в «тихое болото». Поборница единения украинского и русского народов, Леся Украинка гневно осуждала попытки

\* Настоящее издание, стр. 464.

\*\* П. А. Грабовский, Избранное, стр. 171.

украинских националистов помешать украинскому крестьянину читать русскую книжку, высмеивала доходившую до дикости национальную ограниченность «украинофилов». Подчёркивая коренную противоположность своих революционных, интернационалистских убеждений либеральным и националистическим «теориям» Грушевского и других украинских националистов, Леся Украинка показывает, что буржуазные либералы и националисты, эти «рыцари телячьего ордена», «бараний хлеб», враждебны народу и действуют во вред ему, на пользу его врагам.

В противоположность украинским националистам, которые пускались на всевозможные трюки, чтобы разделить, обособить украинских рабочих и крестьян от русских рабочих и крестьян, ввергнуть их в полное духовное и политическое рабство под эгидой украинской буржуазии, Леся Украинка утверждала, что у рабочих, к какой бы национальности они ни принадлежали, один враг — класс капиталистов. В послесловии к украинскому переводу брошюры Дикштейна «Кто чем живёт» она пишет: «чтобы пробил час полного освобождения всех рабочих из рабства, —

*Рабочие всех стран, соединяйтесь! Соединяйтесь, как свободный со свободным, равный с равным!*» Здесь Леся Украинка ближе, чем кто-либо из украинских революционных мыслителей и писателей XIX века, подходит к правильному, марксистскому пониманию значения интернациональной солидарности рабочих различных наций.

В произведениях украинских революционных демократов, особенно конца XIX века, народ всё более выступает не только как страдающая и угнетённая масса, но и как великая созидаящая и преобразующая сила. Их сочинения проникнуты революционным оптимизмом, верой в победу народа.

П. Грабовский писал:

За годиноу проклятья,  
Муки, крови, кандалов,  
За годиноу чёрной славы —  
Царство вольности придёт,  
И возглавит мир по праву  
Сам трудящийся народ! \*

---

\* П. А. Грабовский, Избранное, стр. 32.

Леся Украинка в стихотворении «Надпись в руине» ярко выразила мысль, что народные массы являются подлинными творцами не только всех материальных, но и духовных благ общества. Она писала, что народ

...Копают землю, тешет камнь,  
Кирпич для стройки делает из глины,  
Возводит стены, статуи большие,  
Сам на себе, запрягшись, возит, строит  
И создаёт великое навеки,  
Прекрасное творит неповторимо —  
Резьбу, картины, статуи, узоры \*.

Революционный демократизм сочетается у И. Франко, П. Грабовского, М. Коцюбинского, Леси Украинки с надеждами на установление социалистического строя революционным путём.

Эксплуататорский строй должен, утверждает И. Франко, пасть и вернуть народу то, что народ произвёл своим трудом. Но произойдёт это только через революцию.

Демократическая революция, по мысли И. Франко, должна привести к коренному преобразованию общества. На основе общественной собственности и коллективного труда свободный народ построит социализм. В одном из стихотворений И. Франко рисует свой социалистический идеал:

Безмежные видел я в мыслях поля:  
Трудом обновлённая общим, земля  
Кормила народ мой, свободный, счастливый \*\*

Революционно-демократические политические взгляды передовых украинских мыслителей конца XIX века тесно связаны с их материалистическим мировоззрением в философии и эстетике, с диалектическим подходом к миру, пронизывающим всё их творчество.

Воинствующий материализм и атеизм русских революционных демократов и Шевченко находят своего горячего продолжателя и поборника в лице И. Франко, который в своих философских сочинениях, в литературно-критических статьях и художественных произведениях выступает

\* Настоящее издание, стр. 517.

\*\* И. Франко, Избранные сочинения, т. I, стр. 182—183.

как решительный враг мистики и агностицизма, в защиту научного знания.

В науке, писал Франко, мы стоим за исследование на основе фактов, за познание природы, т. е. причинной связи явлений в мире материальном, а не за его пределами, за знание положительное, а не за метафизику. Франко подвергает критике реакционные домыслы украинского националиста П. Кулиша о «новой религии», о боге, который «воскреснет в сиянии науки», и т. д.

Развенчивая религиозно-идеалистические измышления о бессмертии души, Франко говорит, что вера в бессмертие души — «бред жестокой дикой фантазии», бессмертна лишь материя. Он утверждает:

Одно лишь вечно, без разрушения  
И без предела — это материя:  
Пред атомом её ничтожны  
Все боги, Ягве и Астарты \*.

Обращаясь в стихотворении «В плен-эре» к природе, Франко писал:

И — главное, — что мы  
Самих себя открыли!  
Открыли нашу душу,  
Раскрыли механизм своих идей,  
Своих желаний, чувств и устремлений,  
И там твою узнали руку, мать,  
Твои законы \*\*.

Вслед за русскими революционными демократами, которые разрабатывали диалектику, рассматривая её как «алгебру революции», как теоретическое обоснование революционных преобразований в обществе, украинские революционные демократы проводят во всём своём творчестве диалектические принципы безграничного движения и развития, борьбы нового против старого и т. д.

И. Франко доказывает в своих сочинениях, что природа, жизнь, общество, наука никогда не могут застыть, остановиться на месте. Он утверждает, что нет и быть не может вечных, раз навсегда данных форм экономической жизни и экономических законов.

\* И. Франко, Избранные сочинения, т. I, стр. 265—266.

\*\* Там же, стр. 369.

В труде народных масс Франко видит могучее средство поступательного движения общества, верное средство против застоя и рутины. Он пишет:

Лишь труд стирает ржавчину густую,  
Живую жизнь вдыхает в грудь пустую,  
Родник иссохший может возродить.  
Лишь труд упорный силы укрепляет,  
Лишь труд вселенную перерождает,  
В труде лишь, для труда лишь стоит жить!\*

Задачу науки Франко видит в том, чтобы объяснить процессы жизни природы и общества, показать, как из разлагающейся и угасающей жизни рождается новая, как вся историческая жизнь народов входит в процесс всемирного развития.

Грабовский, как мы уже видели, с позиций диалектики опровергал метафизические утверждения националистов об отсутствии внутренних противоречий в развитии общества, нации, подтверждал, что классовая борьба была движущей силой истории общества. С позиций диалектики Грабовский подходил и к природе. Он утверждал, что ничто не остановит движения жизни. Нет сил сказать природе: «Стой!».

М. Коцюбинский, проводивший в своих художественных произведениях сквозь рогатки и препоны цензуры революционно-демократические идеи, исходил из положения диалектики о невозможности коренных изменений в жизни общества без революционных переворотов. Он писал И. Франко: «Все у нас надеются лишь на смертельную схватку, в которой либо погибнем, либо победим... Мы живём, как на вулкане, или, лучше, мы сами тот вулкан, жерло которого слепое правительство хочет засыпать щепками и таким образом остановить извержение» \*\*.

Леся Украинка, выступая против либералов и буржуазных националистов и их политики «штопання» старых порядков, исходила из диалектической идеи революционного отрицания старых, отживших порядков, учреждений, идей. Жизнь она считала невозможной без

\* И. Франко, Избранные сочинения, т. I, стр. 147.

\*\* М. Коцюбинский, Собрание сочинений, т. 3, стр. 122.

движения и развития. Сущность и смысл «общечеловеческого развития» она видела в самоотверженной борьбе передовых сил общества за победу нового. Она выше всего ценила такие произведения искусства, в которых правдиво, реалистически раскрыт классовый антагонизм различных групп общества.

Выдающиеся художники слова, классики украинской литературы Иван Франко, Михаил Коцюбинский, Павел Грабовский, Леся Украинка, продолжая традиции Чернышевского и Шевченко, развивали идеи материалистической эстетики, прокладывали новые пути в развитии передового, реалистического, народного искусства. В украинскую литературу, благодаря новому поколению писателей — революционных демократов, входил сельский и городской пролетарий — борец не только против крепостнических, но и против капиталистических порядков. Искусство этих писателей, запечатлевая и прославляя массовое народное движение против новых, капиталистических форм эксплуатации, делало шаг вперёд в развитии художественного реализма.

Враги революционной демократии, особенно украинские националисты, пытались опорочить литературное творчество революционных писателей, они требовали от них отказаться от изображения жизни народа, народного быта, народного творчества и предлагали заняться переводами западноевропейских модернистов.

И. Франко, раскрывая смысл творчества революционно-демократических писателей Украины, писал:

Да, в этих песнях — боль, печаль, забота,  
Так жизнь сошлась, дорога ведь крута.  
Но есть в них, братец, и другая нота:  
Надежда, воля, светлая мечта.  
Я не терплю печалиться без цели,  
Бесплодно слушать, как звенит в ушах;  
Пока я жив, я жить хочу на деле,  
Борьба за жизнь меня не вгонит в страх...  
Какой я декадент? Я сын народа,  
Который рвётся к солнцу из берлог.  
Мой лозунг: труд, и счастье, и свобода,  
Я сам — мужик, пролог, не эпилог \*.

---

\* Настоящее издание, стр. 206.



Классик реалистической украинской литературы И. Франко резко выступал против романтической идеализации «селянского быта», идиллического воспевания красот украинской природы, против равнодушия к нуждам и бедствиям простых людей, против идеализации феодального прошлого, что было свойственно украинским националистам в литературе.

Решительно осуждая противников партийности, тенденциозности литературы, кричавших о том, что литература якобы должна стоять над партиями и подчиняться только одним «чистым» и «высоким» законам эстетики, Иван Франко писал: «Литература, стоящая над партиями, — это только ваш сон, это ваша фантазия, а на деле такой литературы не было никогда. А ваши вечные законы эстетики, это... старый хлам, который спокойно догнивает на свалке истории и который пережёвывают только некоторые наёмные ослы-литераторы... У нас единственный эстетический кодекс — жизнь» \*.

Поэт-революционер П. Грабовский требовал от искусства проповеди революционного оптимизма, который пробудил бы в народе веру в собственные силы. Осуждая уход некоторой части украинских поэтов и писателей в далёкое прошлое, осуждая свойственные их творчеству настрояния пессимизма и уныния, он писал:

Не вспоминай о ночи гробовой,  
Не вспоминай о мёртвом сне могилы;  
Мрак неизвестности развей, о жизни пой  
И пробуди ты дремлющие силы!  
Печали слабому не прибавляй,  
Не добивай неверием усталых,  
А на борьбу их смело увлекай;  
Их жизнь, их счастье — в светлых идеалах! \*\*

В статье «Кое-что о творчестве поэтическом» П. Грабовский вслед за Добролюбовым резко осуждает «птичье чириканье» литераторов, воспевающих красоты природы и равнодушных к страданиям простых людей, отстаивает необходимость выработки деятелями искусства передо-

\* Настоящее издание, стр. 219—220.

\*\* Там же, стр. 422.

вого, научного мировоззрения, направленного на служение трудящимся классам общества.

Украинские революционные демократы конца XIX — начала XX века видели залог развития и расцвета украинской народной литературы в обращении к думам и стремлениям угнетённых народных масс, в тесном взаимном общении с передовой русской народной литературой.

«По нашему глубокому убеждению,— писал М. Коцюбинский,— каждый дальнейший шаг в развитии украинского литературного языка будет достоянием общерусской литературы: совместное существование обеих родственных культур нам представляется могучим условием культурного роста двух взаимно дополняющих одна другую народностей» \*.

Леся Украинка, проявлявшая большой интерес к русской и западноевропейской литературе, выступала не только как литературный критик, но и как вдумчивый и глубокий историк и теоретик искусства. Её перу принадлежат яркие литературно-критические произведения: «Европейская социальная драма конца XIX столетия», «Заметки о новейшей польской литературе», «Украинские писатели на Буковине» и другие. В своих литературно-критических произведениях Леся Украинка ополчается против модернистов, импрессионистов и других представителей реакционного буржуазного искусства; она резко критикует за декадентство в литературе украинского националиста рснегата Винниченко. Она считает, что подлинно художественная литература должна быть народной в том смысле, что она призвана защищать интересы «рабочих классов», воспевать жизнь и стремления этих классов, раскрывать общественные условия жизни людей, показывать борьбу различных общественных групп между собою, вселять в трудящихся веру в свои силы, в победу. С точки зрения Леси Украинки, как правильно указывал И. Франко, литература «для всего общества — воля к борьбе и упрёк всякому ничтожеству; для угнетённых она — горячий призыв к битве за свободу и человеческие права, а для обидчиков — грозный мститель. Везде и

---

\* М. Коцюбинский, Собрание сочинений в трёх томах, т. 1, стр. 8—9.

всюду поэзия — слуга жизненных потребностей, слуга того высшего идейного порядка, который ведёт людей по пути прогресса, к улучшению их судьбы. И если иногда она служит развлечением и игрушкой высших слоёв, то наивысшей силы и достоинства она достигает только тогда, когда становится выразительницей жизни и борьбы широчайших народных масс и вместе с тем боевым кличем за высшие человеческие и общественные идеалы — свободу, равенство и братство всех людей» \*.

Большая дочь украинского народа Леся Украинка видела в искусстве могучее средство революционного воспитания, пробуждения людей к борьбе за народное счастье. В одном из стихотворений она писала:

Слово, оружие, готовое к бою,  
Мы не погибнем напрасно с тобою!  
Может, в руках неизвестных друзей  
Станешь мечом ты на их палачей...  
Мстители сильные вместе с тобою  
Выступят дружно, готовые к бою...  
Слово моё, послужи ты бойцам  
Лучше, чем служишь ты слабым рукам! \*\*

Проникнутое революционными идеями художественное творчество демократических писателей Украины находило могучий отклик не только среди передовых людей Украины, но и среди трудящихся всей России.

«Единство революционно-освободительной борьбы обуславливало укрепление культурных связей русского и украинского народов. Прогрессивная русская культура оказывала благотворное влияние на развитие всей украинской культуры (литературу, театр, живопись, музыку). В свою очередь передовая украинская культура обогащала культуру русского народа и вносила достойный вклад в развитие мировой культуры» \*\*\*.

Художественные, публицистические, литературно-критические сочинения И. Франко, П. Грабовского, М. Коцюбинского, Леси Украинки — всё их творчество

\* Настоящее издание, стр. 392.

\*\* Там же, стр. 511, 512.

\*\*\* «Тезисы о 300-летию воссоединения Украины с Россией (1654—1954 гг.)», стр. 17.

представляет собой высшее достижение украинской демократической культуры XIX века и вместе с тем заключает в себе элементы культуры социалистической, выражающей интересы и точку зрения пролетариата, ибо по ряду вопросов эти мыслители и революционные деятели Украины переходили на сторону марксизма.

«В каждой национальной культуре, — писал Ленин, — есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую» \*.

Демократическая украинская культура сложилась в условиях разложения и падения крепостного строя, на основе борьбы крестьянства и других угнетённых классов Украины против феодального и национально-монархического гнёта, под благотворным влиянием передовой демократической русской культуры, олицетворяемой Белинским, Некрасовым, Чернышевским, Салтыковым-Щедриным и другими великими сынами русского народа. Социалистические элементы в культуре украинского народа возникли и развивались на почве общероссийского революционного рабочего движения, одним из крупнейших отрядов которого был пролетариат Украины; главными проводниками и носителями социалистической культуры на Украине явились представители общероссийской революционной социал-демократии, соединившие научный социализм с рабочим движением, принёсшие в рабочее движение идеи марксизма-ленинизма.

Украинские революционно-демократические писатели конца XIX века, боровшиеся против помещичье-клерикальной и буржуазно-либеральной идеологии, господствовавшей в царской России, в том числе и на Украине, а также в Австрийской империи (под гнётом которой находилась Западная Украина), являлись выдающимися представителями богатой и разносторонней демократической украинской культуры. Вместе с тем в их творчестве появились и росли социалистические элементы, возникшие и развивавшиеся на почве формирования

\* В. И. Ленин, Соч., т. 20, стр. 8.

пролетариата и рабочего движения, под влиянием учения марксизма и деятельности российской революционной социал-демократии. Уже переводы на украинский язык произведений Маркса и Энгельса, сделанные И. Франко и Лесей Украинкой, многие художественные произведения Франко («Борислав сміється», поэма «Моисей» и др.), повесть Коцюбинского «Fata morgana», поэтические произведения и драмы Леси Украинки, в которых отражены картины жизни и борьбы пролетариата, свидетельствуют о появлении зародышей пролетарской, социалистической культуры в демократической культуре украинского народа.

Тенденция роста и развития передовых украинских деятелей революционно-демократической культуры конца XIX — начала XX века, особенно Леси Украинки, П. Грабовского, М. Коцюбинского, была социалистической; они шли и развивались в направлении пролетарской, социалистической культуры.

Украинские демократические писатели и революционные деятели конца XIX — начала XX века И. Франко, П. Грабовский, М. Коцюбинский, Леся Украинка, глашатаи и трибуны народной, демократической революции, явились предвестниками грядущей бури — движения широких трудящихся масс во главе с революционным пролетариатом.

\* \* \*

Лучшие традиции русских и украинских революционных демократов, их борьбу за объединение революционных сил трудящихся Украины и трудящихся всей России продолжила в конце XIX — начале XX века общероссийская революционная социал-демократия, выступившая под знаменем марксизма-ленинизма. Одним из важнейших лозунгов её борьбы стали мудрые слова Ленина, написанные им в 1913 году: «При едином действии пролетариатов великорусских и украинских свободная Украина *возможна*, без такого единства о ней не может быть и речи» \*.

Великий Ленин указал общероссийскому революционному движению, в том числе и революционному движению на Украине, верные пути борьбы, научно обосновал ре-

---

\* В. И. Ленин, Соч., т. 20, стр. 14.

волюционное движение пролетариата и трудящихся масс. Рабочий класс, неотъемлемой частью которого является пролетариат Украины, и руководимые им трудящиеся массы под знаменем марксизма-ленинизма свергли эксплуататорский строй, совершили социалистическое преобразование Украины, воссоединили весь украинский народ, достигли небывалого в истории расцвета украинской государственности, экономики и культуры, о чём мечтали и за что боролись украинские революционные демократы.

Рабочий класс России и его партия всегда высоко ценили реалистическое, народное творчество демократических писателей Украины.

Коммунистическая партия во главе с Лениным изобличала царское правительство, запретившее праздновать 100-летний юбилей со дня рождения Шевченко, и призвала рабочих России изучать его произведения.

В 1913 году «Правда» напечатала на смерть Леси Украинки некролог, в котором говорилось: «Леся Украинка, стоя близко к освободительному общественному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное. Нам надо сказать ей спасибо и читать её произведения... Леся Украинка умерла, но её бодрые произведения долго будут будить нас к работе — борьбе. Добрая вечная память писательнице — другу рабочих!».

Великое наследие Т. Шевченко, И. Франко, М. Коцюбинского, П. Грабовского, Леси Украинки и других украинских революционных демократов, сыгравших большую роль в идейной подготовке общероссийской революции, в развитии украинской демократической культуры, принадлежит всему советскому народу, является его гордостью и славой.

Рамки настоящего сборника «Избранные общественно-политические и философские произведения украинских революционных демократов XIX века» не позволили включить многие крупные сочинения Тараса Шевченко, Панаса Мирного, Ивана Франко, Павла Грабовского, Михаила Коцюбинского, Леси Украинки. В сборник не могли войти целиком такие жемчужины их творчества, как поэма «Гайдамаки», сборник «Кобзарь»,

не вошли «Неофиты» и русские повести Т. Шевченко, роман Панаса Мирного «Разве ревут волы, когда ясли полны?», повесть Ивана Франко «Борислав смеётся», его письма и некоторые философские произведения, многие поэтические творения Павла Грабовского, повесть Михаила Коцюбинского «Fata morgana» и другие его сочинения, драматические поэмы Леси Украинки «Одержимая», «В катакомбах», её публицистические работы и многие другие классические произведения украинской демократической литературы. Но и те сравнительно немногие произведения и отрывки сочинений, которые включены в предлагаемый вниманию читателя сборник избранных произведений украинских революционных демократов XIX века, обрисовывают славный облик выдающихся представителей революционной Украины. Вместе с лучшими сынами революционной России в мрачные годы царизма они выступили на борьбу против самодержавия и крепостничества, против господствовавшей монархической и либерально-националистической идеологии, религиозно-мистического мракобесия и идеализма в философии и эстетике, они внесли большой вклад в дело борьбы за освобождение русского, украинского и других народов России, укрепления их дружбы, в историю передовой общественно-политической и философской мысли.

*М. Иовчук*



ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ  
ШЕВЧЕНКО









\* \* \*



умы мои, думы мои,  
Горе, думы, с вами!  
Что вы встали на бумаге  
Хмурыми рядами?  
Что вас ветер не развеял  
Пылью на просторе?  
Что вас ночью, как ребёнка,  
Не приспало горе?..

Ведь вас горе на свет насмех породило.  
Поливали слёзы... Что ж не затопили?  
Не вынесли в море, не размыли в поле?..  
Люди не спросили б, что болит в груди,  
Почему, за что я проклиная долю,  
Почему томлюся. — Ничего, иди! —  
Не сказали б насмех...

Цветы мои, дети!

Зачем вас лелеял, зачем охранял?  
Заплачет ли сердце одно на всём свете,  
Как я с вами плакал... Может, угадал?..  
Может, карие найдутся  
Молодые очи,  
Что заплачут с вами, думы, —  
Большого ли хочешь?  
Лишь одна б слеза скатилась...  
И... пан над панами!..

Думы мои, думы мои,  
Горе, думы, с вами!..

---

Ради глаз девичьих карих,  
Ради чёрной брови  
Сердце билось и смеялось,  
Выливалось в слове.  
В слове этом возникали  
И тёмные ночи,  
И вишнёвый сад зелёный,  
И ясные очи...  
И поля, и те курганы,  
Что на Украине...  
Сердце млело, не хотело  
Песен на чужбине...  
На совет казацье войско,  
Меж сугробов белых,  
С бунчуками, с булавами  
Сзывать не хотело...  
Пусть на вольной Украине  
Души их витают,—  
Там веселье, там просторы  
От края до края...  
Как та воля, что минула,  
Днепр широкий — море,  
Степь и степь, ревут пороги,  
И курганы — горы.  
Родилась там, красовалась  
Казацкая воля;  
Там татарами и шляхтой  
Засевала поле.  
Засевала трупом поле  
Воля, опочила,  
Отдыхает... Её давно  
Приняла могила.  
И над нею орёл чёрный  
Сторожем летает.  
Кобзари о ней народу  
Песни распевают.  
Распевают про былое,

Убоги, незрячи, —  
Петь умеют... А я... А я...  
Только горько плачу,  
Только плачу об Украине...  
А слов не хватает...

А про горе... Да чур горю!  
Кто его не знает?!  
А кто пристально посмотрит  
На людей душою, —  
Ад ему на этом свете,  
На том же...

### Тоскою

Себе счастья не накличу,  
Коль его не знаю;  
Пускай злыдни живут три дня, —  
Я их закопаю.  
Закопаю, пусть у сердца  
Грусть змей свернётся,  
Чтобы враги не видели,  
Как горе смеётся...  
Дума пусть себе, как ворон,  
Летает и кричит,  
А сердечко соловейком  
И поёт, и плачет  
Тихо, — люди не увидят  
И не посмеются...  
Слёз моих не утирайте,  
Пусть ручьями льются,  
Пусть они чужое поле  
Моют дни и ночи,  
Пока попы не засыпят  
Чужим песком очи.  
Так-то, так-то... Что же делать?  
Тоска не поможет.  
Кто же сироте завидует,  
Карай того, боже!

---

Думы мои, думы мои,  
Цветы мои, дети!

Я растил вас, я берёг вас,  
Где ваш кров на свете?  
В край родной идите, дети!  
К нам на Украину,  
Сиротине ж на чужбине  
Гибнуть мне — судьбина.  
Там найдёте сердце друга,  
Оно не лукаво,  
Там найдёте, дети, правду,  
А может, и славу...

Привечай же, мать-отчизна!  
Моя Украина!  
Моих деток неразумных,  
Как родного сына!

*[1839. Петербург]*





## ГАЙДАМАКИ

(Отрывок из поэмы)

Василию Ивановичу Григоровичу <sup>1</sup>  
в память 22 апреля 1838 года <sup>2</sup>



сё идёт, проходит — без меры, без  
края...

Куда исчезает? Откуда пришло?

Ни глупый, ни умный об этом не  
знает <sup>3</sup>.

Живёт... умирает... Одно расцвело,

Другое завяло, навеки завяло...

Лишь ветер играет сухою листвою.

А солнышко встанет, как прежде вставало,

И ясные звёзды своей чередой

Поплывут, как прежде; и ты, белолицый,

По синему небу выйдешь погулять;

Выйдешь поглядеться в ручеёк, в криницу

И в бездну морскую, и будешь сиять,

Как над Вавилоном, над его садами,—

И над тем, что будет с нашими сынами.

Ты смерти не знаешь!.. Люблю толковать,

Как с братом, с сестрою, толковать с тобою,

Пропеть тебе песню, что ты напептал.

Так вновь посветуй, как мне быть с тоскою?

Я не одинок ведь, я не сирота:

Есть у меня дети, да куда их деть-то?

Взять с собой в могилу?— Грех: душа — жива!

А, может, ей легче станет на том свете,

Если прочитают те слёзы-слова,

Какие когда-то она изливала,

Какими когда-то в тишине рыдала.  
Нет, не схороню их, ведь душа жива!  
Как синее небо — без меры, без края,—  
Так душа рожденья и смерти не знает.  
А где исчезает? Пустые слова!  
Так пусть поминают её на сём свете,—  
Бесславному горько сей свет покидать.  
Дивчата, прошу вас её поминать!  
Она вас любила, ласкала, приветя,  
Любила о вашей судьбе напевать.  
Пока солнце встанет — почивайте, дети!  
А я атамана буду вам искать...

*С. Петербург*  
*7 апреля 1841 г.*





СОН  
Комедия  
(Отрывок)

Дух истины, его же мир  
не может прияти, яко не  
видит его, ниже знает его.

*Иоанна, гл. 14, стих 17*



всякого своя доля  
И свой путь широкий:  
Этот строит, этот рушит,  
Тот несатым оком —  
Озирает землю, нет ли  
Где на свете края,  
Чтоб завладеть и с собою  
Забрать, умирая.  
Тот тузами обирает  
Свата в его хате,  
А тот тихо, в уголочке  
Точит нож на брата.  
А тот трезвенник, смиренный  
Да благочестивый  
Кошечкою подкрадётся,  
Выждет несчастливый  
Миг для тебя и в печёнке  
Как запустит коготь,—  
Пропал: не отмолить жене,  
Детям не растрогать.  
А тот, щедрый,— храмы строит,  
Денег не жалеет;  
И отечество так любит,  
Так о нём радеет,  
Так из него, сердечного,  
Кровь, что воду, точит!..



А братия молчит себе,  
Выпучивши очи!  
Как ягнята.— Может,— молвят,—  
Так и надо это.—  
Так и надо! Потому что  
Бога в мире нету!  
А вы в ярме падаете,  
Ждёте, умоляя,  
Рая где-то там за гробом?  
Нету, нету рая!  
Зря и трудитесь! Очнитесь:  
Все на этом свете —  
В нищих хатах и в палатах  
Адамовы дети.  
И тот... и тот... А я-то что?  
Я, добрые люди,—  
И гуляю и пирую  
И в праздник и в будни.  
А вам скучно! Жалееете?—  
Кричите — впустию!  
Не услышу.— Я свою пью,  
А не кровь людскую!

---

Так пьяный, вдоль плетней, сторонкой  
Идя с пирушки в час ночной,  
Я рассуждал с самим собой  
И вот добрёл к своей хатёнке.  
А у меня там тишь да гладь —  
Дитя не рыдает,  
Жена не ругает,—  
Повсюду божья благодать:  
И в сердце и в хате.  
Так вот и лёг спать я,  
А как подвыпивший заснёт —  
Пускай хоть пушки катят,—  
И усом не моргнёт!  
И сон же, сон, на диво странный,  
Вдруг мне приснился:  
Тут бы и трезвенник напился,  
Скупой дал гривну, чтобы глянуть

На те созданья волшебства —  
Да чёрта с два!  
Смотрю я: словно бы сова  
Летит лугами, да полями, да лесами,  
Да глубокими ярами,  
Да широкими степями,  
Да берегами,  
А я за нею, за совою,  
Лечу, прощаюся с землёю.

— Прощай, край недружелюбный,  
Ты, земля родная!  
Свои муки, своё горе  
Спрячу в облака я.  
А ты, моя Украина,  
Бедная вдовица!  
Прилетать из туч я стану  
К тебе, чтоб делиться  
Грустным словом; буду тихо  
Говорить с тобою;  
Ночью выпадать я буду  
Чистою росой.  
Потолкуем, погорюем,  
Пока день не встанет,  
Пока твои малолетки  
На врага не грянут.  
А теперь прощусь с тобою,  
Вдовою убогой...  
Расти цветок; жива правда  
У господа бога! —

Летим... Смотрю — уже светает,  
Край неба пылает,  
Соловей зарю встречает,  
В роще распевает.  
Тихохонько ветер веет,  
Степи голубеют;  
Меж ярами над прудами  
Вербы зеленеют.  
От плодов деревья гнутся,  
Тополи на воле

Стоят, точно часовые,  
Беседуют с полем.  
И всё это предо мною  
Повито красую,—  
Зеленеет, умываясь  
Мелкою росой,  
Испокон веков ликует,  
Солнышко встречая...  
И нет этому начала,  
Нет конца и края!  
Никто того не изменит  
И не уничтожит.  
И всё это... Душа моя!  
Что же тебя гложет?  
Душа моя несчастная!  
Что ж ты плачешь снова?

О чём сожалеешь? Иль горя людского  
Ты мало видала на этой земле?  
Гляди же! А я полечу и во мгле  
За тучами скроюсь в небесном просторе:  
Там смеха не слышно, не знают там горя,  
Неведомы кара и власть там и суд  
Взгляни: в том раю, что ты бросил навек,  
Рваную одежду сдирают с калеки,  
С кожею сдирают — ведь «гол и разут»  
Княжеский сыночек! А вон — человека,  
Вдову распинают за подать; ведут  
Кормильца, который одной был опорой,  
Одною надеждой, в войско отдают!  
Мало им! А там вон — голодный и хворый,  
Опухший ребёнок сейчас вот умрёт,  
А мать в это время на барщине жнёт.  
А вон — видишь? Очи! Очи!  
Одно горе с вами!  
Лучше высохли бы в детстве,  
Изошли б слезами! —  
Вон девушка с незаконным  
Бредёт, ковыляет.  
И родные и чужие  
Её выгоняют,

Даже нищие обходят,  
А барчук не знает:  
Недоросль, поди, с двадцатой  
Души пропивает!

Видит ли бог из-за тучи  
Наши слёзы, горе?  
Коль и видит — помогает,  
Как и те вон горы  
Вековые, что кровью  
Политы людскою!..  
Душа моя несчастная,  
Горе нам с тобою!  
Так упьёмся ядом, ляжем  
Спать в сугробы эти,  
Пошлём думу прямо к богу,  
Пускай он ответит:  
Долго ль палачам-злодеям  
Властвовать на свете?

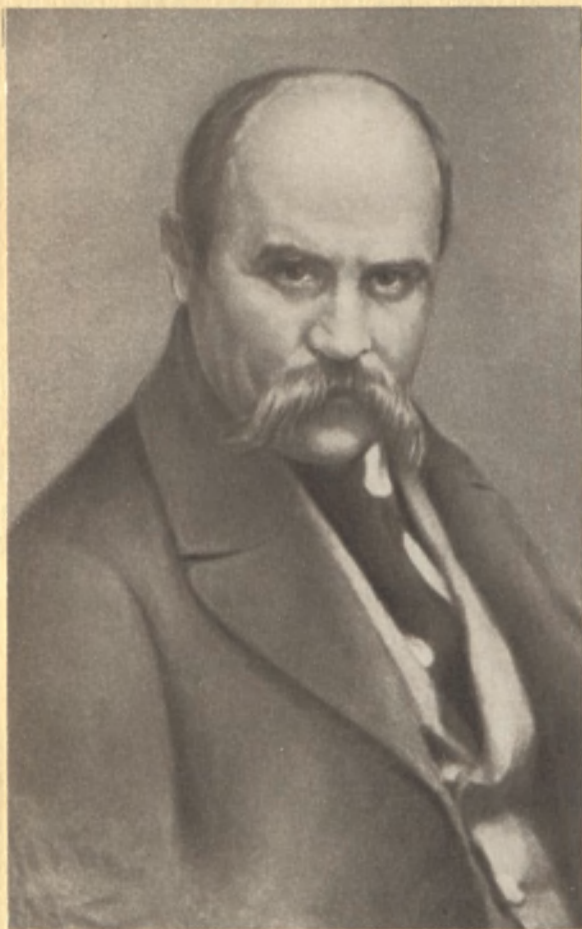
Лети ж, моя дума, моя злая мука,  
Забери все беды, — порожденье зла —  
Товарищей верных! Ты с ними росла,  
Ты с ними любила; их тяжкие руки  
Тебя обвивали. Бери ж их, лети  
И по небу всю их орду распусти!

Пускай, чернея, багровея,  
Всюду пламя сея,  
Трупами устелет землю  
Изрыганье змея!  
А покуда, своё сердце  
Где-нибудь скрывая,  
Я на край земли слетаю,  
Поищу там рая.

И снова над землёй лечу я,  
И вновь прощаюсь с ней тоскуя.  
Горько мать родную бросить  
Среди нищей хаты,  
Но ещё печальней видеть  
Слёзы да заплаты.  
Лечу, лечу, а ветер веет;

Передо мною снег белеет,—  
Леса, болотные места <sup>1</sup>,  
Туман, туман и пустота.  
Людей не слышно — нет и следу  
Злой человеческой ноги...  
Враги мои и не враги,  
Прощайте! В гости не приеду!  
Упивайтесь, веселитесь  
Вы напропалую,—  
Не услышу,— я навеки  
В снегу заночую.  
И пока вы узнаете  
О стране далёкой,  
Ещё кровью неполитой,—  
До этого срока  
Отдохну я... Только слышу —  
Звон цепей неожиданный  
Под землёй <sup>2</sup>... А ну-ка, гляну...  
Род людской поганный!  
Где ты взялся? Чего ищешь?  
Что ты вздумал рыться  
Под землёю? Нет! Уж верно,  
От тебя не скрыться  
И на небе! За что ж кара?  
За что эти муки?  
Что я кому злое сделал?  
Чьи тяжкие руки  
Заковали душу, сердце  
В пепел обратили?  
И галочьем думы  
По ветру пустили?  
За что, не знаю, а терзаюсь,  
И тяжело терзаюсь!  
И когда же избавленье?  
Дождусь ли конца я?  
Не вижу, не знаю!

Пустыня ожила немая...  
Как бы, могилы покидая,  
На страшный и последний суд  
За правдой мёртвые встают.



ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ  
ШЕВЧЕНКО

Не умерший, не убитый,  
Не искать защиты!  
Это всё живые люди,  
В кандалы забиты,  
Из нор золото выносят,  
Чтоб заткнул несытый  
Злую пасть!.. То — каторжники.  
Почему? Бог знает...  
А может быть, что и сам он  
Худо понимает.

Вон там, клеймом отмеченный,  
Вор цепью грохочет,  
Вон разбойник засéченный  
Злобою клокочет, —  
Своего же товарища  
Зарезать он хочет,  
А меж ними, отпетыми,  
В кандалы убранный, —  
Царь всемирный! Царь свободы <sup>1</sup>,  
Царь, клеймом венчаный!  
В муках каторжных — не просит,  
Слёз не проливает!  
Сердце, что добром согрето,  
Вск не остывает.

А где ж твои думы, цветы молодые,  
Любимые дёти, смелые такие.  
Ты кому, кому же, друг, их поручил?  
Иль навеки в сердце их похоронил?  
Не скрывай их, брат мой! Рассыпай повсюду!  
Взойдут, расти станут, да и выйдут в люди!

8 июля 1844  
С. Петербург





\* \* \*



е завидуй богатому:  
Богатый не знает  
Ни любви, ни уваженья,—  
Он их покупает.  
Не завидуй могучему,—  
Тот всех угнетает.

Не завидуй и славному:  
Хорошо он знает,  
Что не его люди любят,  
А тяжкую славу,  
Что добыл он со слезами  
Людам на забаву.  
А сойдутся молодые —  
Любовно, не споря,  
Как в раю, а присмотреться —  
Шевелится горе...

Не завидуй никому ты,  
Приглядишь ты к свету:  
На земле не видно рай  
И на небе нету!

4 октября 1845  
Миргород







## ЕРЕТИК

Шафарику<sup>1</sup>



одожгли соседи злые  
У соседа хату  
И лежат себе, погревшись,  
Мирным сном объаты.  
Да забыли серый пепел  
По ветру развеять.

Лежит пепел на распутье.  
А в том пепле тлеет  
Искра пламени большого  
И не погасает,  
Ждёт поджога, точно мститель,  
Часа ожидает,  
Злого часа. Тлела искра,  
Тлела-ожидала  
На широком раздорожье  
Да и гаснуть стала.

Неметчина так подпалила  
Большую хату. И семью,  
Семью славян разъединила  
И тихо-тихо к ним впустила  
Усобиц лютую змею.

Полилися реки крови,  
Пожар потушили,  
А сирот и пепелище

Немцы поделили.  
И в оковах вырастали  
Славянские дети,  
Позабывши в той неволе,  
Кто они на свете.  
А на старом пепелище  
Искра братства тлела,—  
Дотлевала, ожидала  
Рук твёрдых и смелых,—  
И дождалась... Огонь добрый  
Под пеплом глубоко  
Ты увидел смелым сердцем  
И орлиным оком!  
И зажгёт ты яркий светоч —  
Светоч правды, воли...  
И славян семью большую  
Во тьме и неволе  
Сосчитал ты до едина —  
Сосчитал ты трупы,  
А не славян. И восстал ты  
На крутых уступах,—  
На вселенском раздорожье  
Иезекиилем.  
И, о чудо! Трупы встали  
И глаза раскрыли;  
Обняли друг друга братья  
И заговорили  
Языком любви сердечной,  
Подружась навеки!  
И слились в едином море  
Славянские реки!

Слава тебе, любомудру,  
Чеху-славянину,—  
Что не дал ты захлебнуться  
В немецкой пучине  
Нашей правде! И родное  
Славянское море  
Снова станет многоводным,  
И в его просторе —  
С добрым кормчим, под ветрилom,

Свежим ветром полным,  
Поплывёт наш чёлн по морю,  
По широким волнам!  
Слава тебе, Шафарик наш,  
Вовеки и веки,  
Что в одно собрал ты море  
Славянские реки!

---

Так прими же в своей славе,  
Повстречай приветно  
Эту думу нехитрую,  
Дар мой неприметный,  
Про того святого чеха,  
Мученика Гуса! <sup>1</sup>  
Прими, отче! А я тихо  
Богу помолюся,  
Чтобы все славяне стали  
Братьями-друзьями,  
Сыновьями солнца правды  
И еретиками,  
Вот такими, как Констанцкий,  
Муж великий, правый!  
Принесут они навеки  
Миру мир и славу!

22 ноября 1845  
в Переяславе

Камень, его же небрегоша зиждущии  
сей бысть во главу угла: от господа  
бысть сей, и есть дивен во очесех наших.

*Псалом 117, стих 22*

Кругом неправда и неволя,  
Народ замученный молчит,  
А на апостольском престоле  
Монах раскормленный <sup>2</sup> сидит,  
Он кровью, как в шинке, торгует,  
Твой светлый рай сдаёт в наём!  
О царь небесный! Суд твой всеу  
И всеу царствие твоё,

Разбойники, людоеды  
Правду побороли,  
Осмеяли твою славу,  
И силу, и волю.  
Земля скованная плачет,  
Словно мать по детям:  
Кто собьёт оковы эти,  
Встанет в лихолетье  
За евангелие правды,  
За народ забитый!  
Некому! Неужто ж, боже,  
И не ждать защиты?  
Нет! Ударит час великий,  
Час небесной кары!  
Распадутся три короны  
Высокой тиары!  
Распадутся! Благослови  
На месть и на муки,  
Благослови мои, боже,  
Нетвёрдые руки!..—

Так в келье Гус с неправдой злою  
Бороться думал — разорвать  
Оковы ада!.. И святое,  
Святое чудо показать  
Очам незрячим.

— Поборюсь...

Со мной всевышний!.. Да свершится! —  
И в Вифлеемскую каплицу<sup>1</sup>  
Пошёл молиться добрый Гус.

---

«Во имя господи Христа,  
За нас распятого на древе,  
И всех апостолов святых,  
Петра и Павла особливо,  
Мы отпускаем все грехи  
Вот этой буллою святою  
Рабыне божией...»

— Той самой,

Что позавчера водили  
По улицам Праги.  
Этой самой, что, напившись,  
Слонялась под хмелем  
По шинкам да по казармам,  
По монашьим кельям!  
Эта деньги раздобыла  
Да буллу купила,—  
И — теперь свята!.. О боже!

Великая сила!  
Великая слава! Помилуй людей!  
Отдохни от гнева в светлых сенях рая!  
За что погибают? За что ты караешь  
Своих и покорных, и добрых детей?!

За что ты ослепил им очи  
И вольный разум их сковал  
Оковами крошечной ночи?..  
Прозрейте, люди, день настал!  
Расправьте руки, спать вам будет: —  
Проснитесь, чехи! Вы же люди,  
А не потеха чернецам!  
Злодеи, палачи в тиарах  
Всё обратили в прах и дым,  
Как там, в Московии, татары,  
И догматы свои слепым,  
Нам навязали!.. Кровь, пожары,  
Всё зло на свете, войны, свары,  
Мученья адские, а Рим  
Распутством одержим.  
Вот их и догматы, и слава!  
Чего славней!.. А нынче — вот  
Установление конклава:  
Кто, буллы не купив, умрёт,  
Тот — прямо в ад! А если плату  
Ты внес двойную — режь хоть брата,—  
Всех, кроме пап и чернецов,—  
И в рай ступай в конце концов! —  
И вор у вора без пощады  
Ворует... Тут же, в церкви! Гады!

Насытились ли вы вполне  
Людскою кровью?.. Нет, не мне,  
Великий господи, простому  
Рабу, судить твои дела  
Великие: ведь людям зла  
Не причинишь ты по-пустому!

Молю я, господи, помилуй,  
Спаси ты нас, святая сила!  
Язык мой язвами клейми,  
Но язвы мира исцели!  
Не дай глумиться ты лукавым  
Над вечною твоею славой  
И над смиренными людьми!.. —

И плакал Гус, творя молитву,  
Слезами тяжкими... Народ  
Дивился, молча: что творит он?  
И на кого он восстаёт!

---

Глядите, люди! Вот вам булла,  
Что я читал! — И показал  
Её народу. Всколыхнуло  
Толпу: он буллу разорвал!  
Из Вифлеемской той каплицы  
До самой мировой столицы  
Громами эхо понеслось.  
Монахи скрылись... Грозной карой  
В конклаве эхо отдалось, —  
И зашаталась тиара!

Зашипели в Ватикане

Змеями монахи.

Авиньон с монашьим Римом

Зашептался в страхе,

Зашептались антипапы,

Потолки трясутся

От шёпота. Кардиналы

Гадюками вьются

Вкруг тиары. И украдкой

Меж собой грызутся,

Как коты за мышь... И как же!

Ведь тут одной кожи  
Горы целые... А мяса!!!  
Даже стены в дрожи,  
Как припомнили, что в Праге,  
Уж гогочут гуси <sup>1</sup>  
И летят с орлами биться...  
Всполошился, струсив,  
Собрался конклав... Решили:  
Меж собой, не споря,  
Встать на Гуса и в Констанце  
Воронью быть в сборе!  
Да стеречь везде, повсюду,  
Чтобы всякой мерой  
Не давать в славянском поле  
Скрыться птахе серой.

То не вороньё слеталось —  
Монахи толпою  
Повалили; степь, пороги,  
Точно саранчою,  
Покрылись: герцоги, бароны,  
Псари, герольды, шинкари  
И трубадуры (кобзари),  
Змеятся латников колонны.  
За герпогинями без счёта  
Всё немцы: соколов несут,  
Те едут, те пешком идут...  
Кишмя-кишит. — Все на охоту,  
Как гад на солнышко, спешат!  
О чех! Жива ль твоя душа?  
Глянь, сколько силы повалило,  
Как бы на сарапина в бой  
Иль на великого Аттилу!  
А в Праге ропот, гул глухой,  
И кесаря <sup>2</sup>, и Вячеслава <sup>3</sup>,  
И весь собор тысячеглавый  
Там вслух бранят наперебой,  
В Констанц не отпуская Гуса.  
— Жив бог! Жива душа моя!  
Я смерти, братья, не боюсь!  
Я докажу тем змеям! Я

У них, насытых, вырву жала!..—  
И Гуса Прага провожала,  
Как дочь — отца...

---

На заре Констанц проснулся  
В колокольном звоне.  
Собирались кардиналы,  
Как быки в загоне,  
Краснолицы и дородны;  
Прелатов орава,  
Трое пап, князья, баронство,  
Венчаннные главы,—  
Все собрались, как Иуды  
На суд свой лукавый  
Над Христом. Кричат и воют,—  
Тот слева, тот справа,  
Будто в лагере татарском  
Иль в еврейской школе...  
И вдруг — разом онемели!..

Кедром среди поля  
Ливанского Гус в оковах  
Стал перед собором,  
И окинул нечестивых  
Он орлиным взором  
Задрожали, побледнели,  
Молча взор вперили  
В мученика.— Что ж, меня вы  
Звали спорить или  
Любоваться оковами?..  
Замолкни, чех смелый!  
Всё змеёю зашипело,  
Зверем заревело:  
— Еретик ты! Еретик ты!..  
Ты погряз в расколе!  
Ты усобицы лишь сеешь,  
Ты святейшей воли  
Не приемлешь!..— Одно слово!  
— Господом проклятый,



Еретик ты! Еретик ты!..  
Ревели прелаты.  
— Ты усобник!..— Одно слово!  
— Замолчи, проклятый! —  
Гус взглянул на пап и молча  
Вышел из палаты!..  
— Победили! Победили!..  
Словно озверели:  
— Аутодафе! Аутодафе!..'—  
Разом заревели.

И всласть монашеская братья  
Всю ночь с баронами пила.  
На Гуса сыпались проклятья...  
Но вот гудят колокола.  
Идут монахи в церковь божью  
За Гуса господу молить.  
Уж солнце начало светить,—  
Горит, желает видеть тоже,  
Что станут с праведным творить!..

Загудел Констанц от звона,  
В кандалах, под стражей,  
На Голгофу ведут Гуса...  
И не дрогнул даже  
Перед костром; и на него  
С молитвой стал смело:  
— О господи милосердный,  
Что, скажи, я сделал  
Этим людям? Твоим людям!  
За что меня судят?  
За что меня распинают?  
Вы молитесь, люди  
Неповинные!.. И с вами  
То же, то же будет!  
Лютый зверь пришёл, овечьей  
Шкурою покрытый!  
Когти выпустил... И стены  
От него защиты  
Не дадут вам. Разольётся  
Багряное море

Крови! Крови детей ваших...  
О горе! О горе!  
Вон те звери! В светлых ризах,  
Злостью полон каждый...  
Жаждают крови...— Жги! Пожарче!  
— Крови! Крови жаждут!!  
Вашей крови!.. сизым дымом  
Страдальца закрыло.  
— Молитесь! Молитесь!  
Господи! Помилуй,  
Прости ты им, ведь не знают...—  
И не слышно стало!  
Вкруг огня, как псы на страже,  
Монашество стало.  
Всё боялись, чтоб не выполз  
Он змеем из жара,  
Не обвинил кольцом корону  
Или же тиару.  
Погас костёр; дунул ветер,  
Всюду пепел сея.  
Видели простые люди  
Огненного змея  
На тиаре. Расходились  
И Те deum <sup>1</sup> пели  
Чернецы и за трапезой,  
Вкушая, сидели  
День и ночь — опухли даже.  
Малою семьёю  
Сошлись чехи. Из-под пепла  
Горсть земли с собою  
Взяли в Прагу. Так монахи  
Гуса осудили  
И сожгли. Но божье слово  
С ним не умертвили  
И не ждали, что ринется  
Вместо гуся яро  
Орёл с неба — и расклевывает  
Гордую тиару.  
Да и что им! Разлетелись  
Монахи, бароны,  
Точно с пира кровавого

Алчные вороны.  
Разгулялись по хоромам,  
Даже не помянут!  
Знай, пируют да порою  
Те deum затянут.  
Всё, мол, сделали... Пойдите! —  
Вон над головою  
Старый Жижка из Табора<sup>1</sup>  
Взмахнул булавою.

*10 октября 1845*  
*с. Марьинское*





## КАВКАЗ

Искреннему моему Якову де Бальмену<sup>1</sup>

Кто даст главе моей воду и очесем моим источник слёз, и плачуся и день и ночь о побитых...

*Перемии, гл. 9, стих 1*



а горами горы, тучами повиты,  
Засеяны горем, кровию политы.  
Спокон века Прометей  
Там орёл карает,  
Что ни день, долбит он рёбра,  
Сердце разбивает,

Разбивает, да не выпьет  
Крови животворной,  
Вновь и вновь смеётся сердце  
И живёт упорно,  
И душа не гибнет наша,  
Не слабеет воля,  
Ненасытный не распашет  
На дне моря поля.  
Не скуёт души бессмертной,  
Не осилит слова,  
Не охает славы бога,  
Вечного, живого.  
Не нам с тобой затеять распрю!  
Не нам дела твои судить!  
Нам только плакать, плакать, плакать  
И хлеб насущный замесить  
Кровавым потом и слезами.  
Как издевается над нами,  
А правде — спать и пьяной быть.  
Так когда ж она проснётся?

И когда ты ляжешь  
Опочить, усталый боже,  
Жить нам дашь когда же?  
Верим мы творящей силе  
Господа-владыки <sup>1</sup>.  
Встанет правда, встанет воля,  
И тебя, великий,  
Будут славить все народы  
Вовеки и веки.  
А пока — струятся реки,  
Кровавые реки!..

---

За горами горы, тучами повиты,  
Засеяны горем, кровию политы.  
Вот там-то милостивцы мы  
Отняли у голодной голи  
Всё, что осталось — вплоть до воли, —  
И травим... И легло костями  
Людей муштрованных немало.  
А слёз! А крови! Напоить  
Всех императоров бы стало.  
Князей великих утопить  
В слезах вдовиц! А слёз девичьих,  
Ночных и тайных слёз привычных,  
А материнских горьких слёз!  
А слёз отцовских, слёз кровавых!  
Не реки — море разлилось!  
Пылающее море... Слава  
Борзым, и гончим, и псарям,  
И нашим батюшкам-царям —  
Слава!

Слава синим горным кручам,  
Подо льдами скрытым!  
Слава витязям великим,  
Богом не забытым!  
Вы — боритесь — поборете!  
Бог вам помогает,  
С вами правда, с вами слава  
И воля святая!

Чурек <sup>1</sup> и сакля — всё твоё,  
Не выпрошенное мольбами,  
За хлеб, за жалкое жильё  
Не окуют тебя цепями.  
У нас же! Грамотеи мы,  
Читаем господа глаголы...  
И от казармы и тюрьмы  
Вилоть до высокого престола  
Мы ходим в золоте — и голы.  
К нам в обучение! Мы сочтём,  
Научим вас, хлеб-соль почём,  
Мы христиане: храмы, школы,  
Вся благодать, сам бог у нас!  
Глаза нам только сакля колет:  
Зачем она стоит у вас,  
Не нами данная... и то,  
Что солнце светит вам бесплатно,  
Не нами сделано... зато  
Чурек не кинем вам обратно,  
Как псам... И хватит. Мы не турки,  
Мы христиане. В Петербурге  
Мы малым сыты!.. А зато  
Когда б вы с нами подружились,  
То многому бы научились,—  
У нас же и простор на то,  
Одна сибирская равнина.  
А тюрем сколько! А солдат!  
От молдаванина до финна  
На всех языках все молчат:  
Все благоденствуют! У нас  
Святую библию читает  
Святой чернец и поучает,  
Что царь свиней когда-то пас <sup>2</sup>,  
С женой приятеля спознался,  
Убил его, а как скончался,—  
Так в рай попал. Вот как у нас  
Пускают в рай! Вы не учёны,  
Святым крестом не просвещёны!  
Но мы научим вас!.. Кради,  
Рви, забирай —  
И прямо в рай,

Да и родню всю приводи!  
Чего мы только не умеем? —  
Считаем звёзды, гречку сеем,  
Браним французов. Продаём  
Или за карточным столом  
Проигрываем крепостных —  
Людей крещёных... но *простых*.  
Мы не плантаторы! Не станем  
Мы краденое покупать,  
Мы поступаем по закону!..

По апостольским заветам  
Любите вы брата,  
Суесловы, лицемеры,  
Господом прокляты!  
Возлюбили вы не душу, —  
Шкуре братней рады.  
И дерёте по закону:  
Дочке — на наряды,  
На житьё — сынкам побочным,  
Жене — на браслетки,  
А себе на что — не знают  
Ни жена, ни детки.

За кого же был ты распят,  
Сын единый божий,  
В искупленье нам? За слово  
Истины!.. Иль, может,  
Чтоб глумленье не кончалось?  
Так оно и случилось!  
Часовни, храмы да иконы,  
И жар свечей, и мирры дым,  
И перед образом твоим  
Неутомимые поклоны —  
За кражу, за войну, за кровь, —  
Ту братскую, что льют ручьями, —  
Вот он, дарённый палачами,  
С пожара краденый покров!!

Просветились! И решаем  
Свет открыть и этим,  
Показать им солнце правды —  
Сим незрячим детям!!

Всё покажем! Только дайтесь  
В руки нам, и тут же —  
Как прочнее строить тюрьмы,  
Плеть нагайки туже,  
Кандалы ковать, носить их  
В сибирскую стужу, —  
Всё поймёте, лишь отдайте  
Родимые взгорья.  
Остальное мы забрали, —  
И поле, и море!

---

И тебя загнали, друг и брат единый,  
Яков мой хороший! Не за Украину, —  
За её тирана довелось пролить  
Столько честной крови! Довелось испить  
Из царёвой чаши царёвой отравы!  
Друг мой незабвенный, истинный и правый!  
Ты на Украине душою витай,  
Вместе с казаками мчись над берегами,  
Старые курганы в степи озирай.  
Закрепи слезами дружбу с казаками,  
Меня из неволи в степи поджидай.

А покуда — мои думы,  
Лютые невзгоды  
Буду сеять я. Пусть крепнут  
В споре с непогодой.  
Украинский тихий ветер  
Принесёт с росой  
К дорогому другу думы  
Братскою слезою.  
И когда на них ты взглянешь  
И читать их станешь, —  
Вновь курганы, степи, горы  
И меня помянешь.

18 ноября 1845  
в Переяславе







## ХОЛОДНЫЙ ЯР<sup>1</sup>



сякому своя досада —  
И мне нет отрады:  
У меня хоть займы взята,  
А всё же досада.  
Кажется, к чему бы помнить,  
Что давно минуло,  
То будить, о чём забыто?  
Ладно, что заснуло!..  
Хоть бы этот Яр! Ведь нынче  
Ни одной тропинки  
Нет к нему, придёшь — сдаётся,  
Что никто былинки  
Здесь не тронул; затерялся  
След дороги старой,  
От монастыря Матрёны <sup>2</sup>  
До страшного Яра.  
Там когда-то гайдамаки  
Табором стояли,  
Готовили самопалы,  
Копья заостряли.  
В этот Яр тогда сходились,  
Будто с креста сняты,  
Отец с сыном да брат с братом,  
Требуя расплаты.  
Шли на недругов лукавых,  
На ляхов жестоких.

Так куда же ты девался,  
К Яру шлях широкий?  
Сам зарос дремучим лесом?  
Или засадили  
Каты новые? Чтоб к Яру  
Люди не ходили,  
Не думали бы, что делать  
С добрыми панами,  
С людоедами лихими,  
Новыми врагами?  
Нет, не спрячете! Над Яром  
Железняк витает,  
Он глядит, глядит на Умань,  
Гонту поджидает! <sup>1</sup>  
Вы не прячьте, не топчите  
Святого закона,  
Не зовите преподобным  
Николу-Нерона!  
Не хвалитесь царёвой  
Святою войною,  
Вы не знаете и сами  
Царёва разбоя,  
А кричите, что несёте  
И душу, и шкуру  
За отечество!.. Ей-богу,  
Баранья натура!  
Дурень шею подставляет,  
Сам за что не зная,  
Да ещё ругает Гонту...  
Дрянь-то, дрянь какая!  
«Гайдамаки — не воины,  
Разбойники, воры,  
Пятно в нашей истории!..»  
Врёте, живодёры!  
За святую правду-волю  
Разбойник не встанет,  
За народ, что вами скован,  
Он грозой не грянет!  
Не зарежет он — разбойник —  
Изменника-сына,  
Не отдаст живого сердца

Он за Украинну!  
Вы, разбойники и воры,  
Жадные вороны,  
По какому правдивому  
Святому закону  
И землёй от века общей,  
И людьми живыми  
Торгуете? Берегитесь,  
Встретитесь вы с ними!  
Будет день!.. Ребятюк малых,  
Да тёмного брата,  
Да чужих сбивайте с толку —  
Но не бога, каты!  
Он настанет, день весёлый,  
Вас настигнет кара,  
Новое пожрёт вас пламя  
Холодного Яра!

*Вьюница*  
*17 декабря 1845*



---

## ЗАВЕЩАНИЕ



Как умру, похороните  
На Украине милой,  
Посреди широкой степи  
Выройте могилу,  
Чтоб лежать мне на кургане,  
Над рекой могучей,  
Чтобы слышать, как бушует  
Старый Днепр под ручей.

И, когда с полей Украины  
Кровь врагов постылых

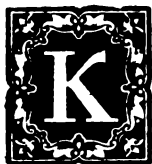
Понесёт он... вот тогда я  
Встану из могилы —  
Подымусь я и достигну  
Божьего порога,  
Помолюся... А покуда  
Я не знаю бога.

Схороните и вставайте,  
Цепи разорвите,  
Злою вражескою кровью  
Волю окропите.  
И меня в семье великой,  
В семье вольной, новой,  
Не забудьте — помяните  
Добрый тихим словом.

25 декабря 1845  
в Переяславе



\* \* \*



огда мы были казаками,  
Ещё до унии <sup>1</sup>,— тогда  
Как весело текли года!  
Поляков звали мы друзьями,  
Гордились вольными степями;  
В садах, как лилии, цвели  
Дивчата, пели и любили,  
Сынами матери гордились,  
Сынами вольными... Росли,  
Росли сыны и веселили  
Печальной старости лета,  
Покуда с именем Христа  
Ксендзы, придя, не подпалили  
Наш край, пока не потекли  
Моря большие слёз и крови...  
Сирот же именем христовым  
Страданиям не обрекли...

Поникли головы казачьи,  
Как будто смятая трава.  
Украина плачет, стонет, плачет!  
Летит на зсмялю голова  
За головой. Палач лютует,  
А ксёндз безумным языком  
Кричит: *Te deum! Аллилуйя!*  
Вот так, поляк, и друг и брат мой! <sup>2</sup>

Несытые ксендзы, магнаты  
Нас разлучили, развели,—  
Мы до сих пор бы рядом шли.  
Дай казаку ты руку снова  
И сердце чистое отдай!  
И снова именем христовым  
Возобновим наш тихий рай.

[1847  
*Орская крепость*]  
14 марта [1858  
*Москва*]





. П. С.<sup>1</sup>



вовсе не сержусь на злого:  
Молва при нём, как страж, стоит.  
Сержусь на доброго такого,  
Что ту молву перехитрит.

И вспомнить тошно мне бывает  
Готический с часами дом,  
Дом над ободраным селом,  
И шапочку мужик снимает —  
Лишь флаг завидит. Значит, пан  
По саду с челядью гуляет.  
Гуляй, откормленный кабан!  
Гуляй, бездельник! Добрый пап,  
Потомок дурня с булавою <sup>2</sup>,  
Он чистокровный патриот,  
И он христианин душою:  
Он в Киев ездит каждый год,  
Он в свитке ходит меж панами,  
В шинке сидит он с мужиками  
И корчит вольнодумца здесь.  
Хоть напечатай, — вот он весь!  
А там в селе своём дивчаток  
Перебирает он, а там  
Своих же байстрюков с десяток  
В году крестить он носит в храм,  
И только-то. Житьё паскуде!  
Зачем не так его зовут?

Зачем его не заплюют?  
И не затопчут? Люди, люди!  
Вам колбасы гнилой подать —  
Так вы свою родную мать  
Уступите... Что мне до злого,  
До пьяного Петра хромого! <sup>1</sup>  
Сержусь безмерно на людей,  
Людей — юродивых детей!

[1848  
*Кос-Арал*]







\* \* \*



вырос я в краю чужом,  
И на чужбине я страдаю,  
И в одиночестве своём  
Я не могу назвать, не знаю  
На свете лучшего, чем Днепр  
И чем родная Украина...

Там хорошо лишь, где нас нет,—  
Я вижу. В тяжкую годину  
Недавно как-то довелось  
Заехать мне на Украину,  
В то благодатное село,  
Где мать качала, пеленала  
Меня, младенца, и в ночи  
На свечку богу добывала;  
Поклоны тяжело кладучи,  
Пречистой ставила, молила,  
Чтоб добрая судьба любила  
Её ребёнка... Славно, мама,  
Что ты так рано спать легла,  
А то б ты бога прокляла  
За мой удел.

Как неприглядно  
Всё в благодатном том селе!  
Земли чернее, по земле  
Блуждают люди; оголились  
Сады зелёные; в пыли  
Погнили хаты, покосились;  
Пруды травкою поросли.  
Село как будто погорело,

Как будто люди одурели,—  
Без слов на барщину идут  
И за собой детей ведут!

.....  
И я заплакал и назад  
Поехал снова на чужбину.

И не одно лишь то село,  
Везде на славной Украине  
Крутое панство запрягло  
Людей в ярмо... И гибнут, гибнут  
В неволе рыцарей сыны!  
А прогоревшие паны  
Ростовщикам — друзьям хорошим —  
Несут последние штаны...

.....  
Куда как тяжело, страх как тяжело  
В пустыне этой пропадать!  
Ещё трудней на Украине  
Всё видеть, плакать и молчать!

Пока не видишь, как ужасно  
То зло, всё кажется прекрасно  
На Украине с давних пор,  
И старый Днепр меж тихих гор,  
Как будто в молоке младенец,

Красуется, любитися  
На всю Украинну.  
А над ним в садах зелёных  
Широкие сёла,  
А в весёлых этих сёлах  
Жизнь людей весёлых.  
Может, так оно б и случилось,  
Если б не осталось  
Злых панов на Украине!

.....

[1848  
Кос-Арал]





\* \* \*



Когда б вы знали, господа,  
Где плачут люди, вы тогда  
Своих элегий не творили б,  
И бога всею не хвалили б,  
Не умилялись бы всегда!  
За что, не знаю, называют  
Мужичью хату божьим раем...  
Там, в хате, мучился и я,  
Там первая слеза моя  
Когда-то пролилась! Не знаю,  
Найдётся ли у бога зло,  
Что в хате той бы не жило?  
А хату раем называют!

Её такую не считаю,  
Не называю тихим раем —  
Ту хату на краю села.  
Там мать моя мне жизнь дала,  
И с песней колыбель качала,  
И с песней скорбь переливала  
В своё дитя. Я в хате той  
Не счастье и не рай святой —  
Я ад узнал в ней... Там забота,  
Нужда, неволя и работа,  
И помолиться не дают.  
Там ласковую мать мою

Свели в могилу молодую  
Труд с непосильною нуждою.  
Отец поплакал, вторя нам  
(Голодным, маленьким ребятам),  
Но панщины ярем проклятый  
Носил недолго он и сам.  
Бедняга умер. По дворам  
Порасползлись мы, как мышата,  
Таскал я воду школярам.  
Покуда братьев не забрили,  
Они на панщину ходили.  
А сёстры... Сёстры! Горе вам,  
Мои голубки молодые!  
Куда, бездомным, вам лететь?  
Росли в батрачках, всем чужие,  
В батрачках до седины дожили,  
В батрачках вам и умереть!

Дрожу, когда лишь вспоминаю  
Ту хату на краю села!  
Такие, боже наш, дела  
У нас в раю, страшней не знаю  
На праведной земле твоей!  
Ад сотворили мы на ней  
И чаем неземного рая!  
В ладу мы с братьями живём,  
Руками братьев нивы жнём,  
Слезами нивы поливаем.  
А может быть... не утверждаю,  
Мне кажется лишь... сам еси...  
(Ведь без твоей же воли, боже,  
В раю нам мучиться негоже!)  
Быть может, сам на небеси  
Смеёшься, отче наш, над нами,  
Совет держа тайком с панами.  
Как править миром!.. Глянь туда:  
Вон видишь, вербы у пруда,  
Сквозь гущину ветвей сверкает  
Вода, белеет полотном,  
А вербы никнут над прудом  
И ветви лёгкие купают,

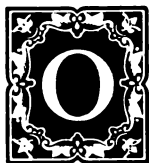
И тихо шепчут... Правда, рай?  
А приглядишься к нему, узнай,  
Что там творится, что бывает!  
Конечно, радость и хвала  
Тебе, единому, за святость,  
За дивные твои дела!  
Нет, боже, не хвала, не радость,  
А кровь, да слёзы, да хула,  
Хула всему, всему! Не знают  
Святого люди ничего!  
Уже — ты слышишь! — проклинают  
Тебя, владыка, самого!

[1850  
Оренбург]





\* \* \*



О пять настало время злое!..  
А было доброе такое;  
Мы собирались расковать  
Невольников, разбить оковы...  
Но глянь!.. Опять струится кровь  
Мужичья! Палачи в коронах,  
Как псы голодные, за кость  
Грызутся снова <sup>1</sup>.

[1854 (?)  
Новопетровский форт]



---

## ЮРОДИВЫЙ



дни фельдфебеля -царя<sup>1</sup>  
Капрал Гаврилович Безрукий<sup>2</sup>  
Да унтер пьяный Долгорукий<sup>3</sup>  
Украйной правили. Добра  
Они изрядно натворили,—  
Немало в рекруты забрили  
Людей сатрапы-унтера.  
Особенно капрал Гаврилыч  
Вдвоём с ефрейтором<sup>4</sup> своим,  
Отменно шустрым и лихим,  
Так весь народ замуштровали,  
Что сам фельдфебель любовались  
Муштровкою и всем другим  
И «благосклонны пребывали  
Всегда к ефрейторам своим».  
А мы смотрели и молчали,  
Да молча мы скребли чубы,—  
Немые, подлые рабы,  
Холопы царские, лакеи  
• Капрала пьяного! Не вам,  
Не вам, расшитые ливреи,  
Доносчики и фарисеи,  
За правду пресвятую встать  
И за свободу! Распинать,  
А не любить учились брата!  
О, род презренный и проклятый,

Когда издохнешь ты? Когда  
И мы дождёмся Вашингтона <sup>1</sup>  
И правды нового закона?  
Дождёмся, верю! Будем ждать!  
Не сотни вас, а миллионы  
Полян, дулебов и древлян <sup>2</sup>  
Гаврилыч гнул во время оно;  
А вас, почтенных киевлян,  
И ваших милых киевлянок,  
Отдал своим профосам <sup>3</sup> пьяным  
В батрачки тот сатрап капрал, —  
Вам горя мало! А меж вами  
Нашёлся всё же некий малый,  
Такой чудак-оригинал,  
Что в церкви... в морду дал капралу <sup>4</sup>,  
И зажило — как не бывало,  
Как на собаке.

Так-то, так!

Нашёлся всё ж один казак  
Из многотысячного люда,  
Что всю империю смутил,  
Сатрапу в морду закатил.  
А вы, юродствуя, покуда  
Был не совсем здоров капрал,  
Юродивым тут нарекли вы  
Святого рыцаря. А бывый  
Фельдфебель ваш Сарданапал <sup>5</sup>  
Послал на каторгу святого,  
А для побитого, седого  
Сатрапа «вечно» пребывал  
Преблагосклонным...

И другого

Не вышло ничего. И драму  
По закоулкам тёмным самым  
На свалку вынесли. А я...  
О, ясная звезда моя! —  
Меня, из пут освобождая,  
Ведёшь на свалку к Николаю,  
Над этой ямой выгребной  
Огонь ты разливаешь свой  
Животворящий. В смрадном хламе



Передо мной встают столпами  
Его безбожные дела...  
Безбожный царь, источник зла,  
Гонитель правды, кат жестокий,  
Что натворил ты на земле!  
А ты, всевидящее око!  
Знать, проглядел твой взор высокий,  
Как сотнями в оковах гнали  
В Сибирь невольников святых?  
Как истязали, распинали  
И вешали?! А ты не знало?  
Ты видело мученья их  
И не ослепло?! Око, око!  
Не очень смотришь ты глубоко!  
Ты спишь в киоте, а цари...  
Да чур проклятым тем неронам!  
Пусть тешатся кандалным звоном,—  
Я думой полечу в Сибирь,  
Я за Байкалом гляну в горы,  
В вертепы тёмные и норы  
Без дна, глубокие, и вас,  
Поборников священной воли <sup>1</sup>,  
Из тьмы, и смрада, и неволи  
Царям и людям напоказ,  
Вперёд вас выведу, суровых,  
Рядами длинными, в оковах...

1857

[Нижний-Новгород]





\* \* \*



, чтоб не сглазить, не хвораю,  
Но за собою замечаю —  
Неладно с сердцем у меня.  
Как бы голодное дитя,  
Чего-то ждёт оно, рыдает,  
Не спит. Быть может, ожидает  
Дурного? Доброго не жди, —  
Напрасно воли поджидаем, —  
Придавленная Николаем,  
Заснула. Чтобы разбудить  
Беднягу, надо поскорее  
Обух всем миром закалить  
Да наточить топор острее  
И вот тогда уже будить.  
А то, пожалуй, так случится —  
До страшного суда заспится, —  
Паны помогут крепко спать:  
Все будут храмы воздвигать,  
Да пьяного царя родного,  
Да византийство прославлять,  
И не дождёмся мы другого.

1858, 22 ноября  
[Петербург]



---



## МАРКУ ВОВЧКУ

В память 24 января 1859



щё недавно за Уралом  
Блуждал я, бога умолял,  
Чтоб наша правда не пропала,  
Чтоб наша речь не умирала,  
И вымолил! Господь послал  
Тебя нам, кроткого пророка  
И обличителя жестоких  
И ненасытных. Жизнь моя!  
Моя ты зоренька святая!  
Моя ты сила молодая!  
Свети и обогрей меня,  
И оживи немолодое  
Ты сердце бедное, больное,  
Голодное. И оживу  
И думу вольную на волю  
Из гроба к жизни воззову;  
И думу вольную... О доля!  
Пророк наш! Дочь моей юдолы!  
Твоею думу назову!..

1859, февраля 17  
С. П. Б.



---

## ИСАИЯ<sup>1</sup> ГЛАВА 35

### Подражание



адуйся, нива неполитая!  
Радуйся, земля, не повитая  
Цветущим злаком! Распустись,  
Невинным крином расцвети!  
И, расцветёшь, благоуханна,  
И, словно берег Иордана,  
Сверкнёшь убранством молодым.  
И честь кармилова и слава  
Ливанова, что нелукава,  
Тебя укроет дорогим,  
Золототканым, хитросшитым,  
Добром и волею подбитым  
Своим покровом пресвятым,  
Чтобы слепцы твои прозрели,  
На божьи чудеса смотрели.

Рабских рук изнеможённых  
Пройдёт утомленье,  
И закованные в цепи  
Отдохнут колени.  
Радуйся же, нищий духом,  
Не страшися дива!  
Судит бог, освобождает  
Долготерпеливых,  
Вас, убогих! Воздаёт он  
Злодеям за злая.

Лишь только, господи, святая  
На землю правда прилетит <sup>1</sup>  
И краткий отдых возвестит,—  
Слепцы прозреют, а хромые,  
Как серны из лесу, умчатся.  
Немых отверзнутся уста,  
Прорвётся слово, как вода,  
И ширь пустыни неполитой,  
Водой целебною омытой.  
Очнётся к жизни. Потекут,  
Взыграют реки, а озёра  
Вокруг лесами порастут,  
Весельем птичьим оживут.

Оживут озёра, степи,  
И не столбовые,  
А широкие, как воля,  
Дороги святые  
Опояшут мир; не сыщет  
Тех дорог владыка;  
Но рабы на тех дорогах  
Без шума и крика  
Братски встретятся друг с другом  
В радости весёлой,—  
И пустыней завладеют  
Весёлые сёла.

25 марта 1859  
[Петербург]





## МОЛИТВА



арям, всесветным шинкарям,  
Дукаты, талеры, рубли  
И путы лютые пошли!

Рабочим головам, рукам  
Средь обокраденной земли  
Свою ты силу ниспошли.

Мне ж, сыну горестной земли,  
Подай любовь, сердечный рай  
И больших благ мне не давай!

24 мая 1860  
С. П. Б.

---

Царей, кровавых шинкарей,  
Ты люто путами окуй,  
В глубоком склепе замуруй!

---

Рабочим людям, всеблагий,  
Сынам ограбленной земли  
Свою ты силу ниспошли!

---

А чистых сердцем — возле них  
Поставь ты ангелов своих,  
Чтоб чистоту их соблюли!

---

Мне ж, господи, любовь подай  
К заветам праведным земли  
И друга верного пошли!

25 мая [1860  
Петербург]

Злоначинающих сдержи,  
Их люто в путы не закуй,  
В глубокий склеп не замуруй!

---

А доброзидущим рукам  
И укажи и помоги,  
Святую силу ниспошли!

---

А чистых сердцем? — Возле них  
Постави ангелов своих  
И чистоту их соблюди.

---

А всем нам, детям сей земли,  
Единомыслие подай  
И братолюбие пошли.

---

27 мая [1860  
Петербург]

Тем несатым очам,  
Тем царям-божествам  
Корабли, и плуги,  
Все богатства земли,  
И хвалы, и псалмы —  
Этим мелким божкам!

---

Работающим умам,  
Работающим рукам —  
Целину поднимать,

Думать, сеять, не ждать,  
Что посеяно — жать  
Работающим рукам.

---

Кротким сердцем, простым,  
Миролюбцам святым,  
Царь небес и земли,—  
Долголетье живым,  
А усопшим твоим  
Рай небесный пошли!

---

Всё на свете — не нам,  
Всё богам, всё царям!  
Корабли и плуги,  
Все богатства земли,  
Друг мой милый!.. А нам —  
Нам любовь меж людьми!

31 мая [1860]  
С. П. Б.







\* \* \*



вете тихий! Свете ясный!  
Свете вольный и прекрасный!  
Что ж тебя, мой свете милый,  
В твоём доме придавило?  
За что тебя опутали,  
Сковали, сжали путами

И покрывами закрыли,  
И распятием добили?

---

Не добили! Встрепенися  
Да над нами засветися!..  
На онучи будем, милый,  
Смело рвать покров постылый,  
Закуривать от кадила,  
Печь топить *святыми* смело,  
Подметать же будем, милый,  
В новых горницах кропилом.

27 июня [1860  
Петербург]





\* \* \*



Архимед, и Галилей  
Вина не видели. Елей  
Достался пресвятым монахам!  
А вы по всей земле без страха,  
Предтечи светлые, прошли  
И хлеб насущный понесли  
Царям убогим. Будет бито  
Царями сеянное жито.  
А люди вырастут. Умрут  
Цари и те, что не зачаты...  
И на воспрянувшей земле  
Врага не будет, супостата,  
А будут сын и мать, и свято  
Жить будут люди на земле.

24 сентября [1860  
Петербург]





## САУЛ<sup>1</sup>



непробуждаемом Китае,  
В Египте тёмном и у нас,  
Над Индом или над Евфратом  
Паслись ягнята и телята;  
Стада на вольном поле пас  
Пастух, живя как в райском крае.

Он, думы-думушки не зная,  
Пасёт себе, доит, стрижёт  
Свою скотину, распевая...  
Как вдруг сам чёрт царя несёт  
С мечом, с законом, с палачами,  
С князьями, с тёмными рабами.  
В ночи подкрались, увели  
Отары с поля, а пасущих,  
Шатры, изодранные кущи  
И всякие дары земли,  
Сестёр и жён уволокли,  
Растлили всё и осквернили,  
И осквернённых, слабосильных  
И нищих сердцем обрекли  
Работе каторжной. Бежали  
За днями дни. Рабы молчали.  
Цари плодились и росли  
И Вавилоны создавали...  
А маги, бонзы и жрецы  
(Как все духовные отцы)

В церквах и пагодах питались  
(Не кабаны ль царям на сало  
Иль на колбасы?). А цари  
Себе самим сооружали  
Кумирни, храмы, алтари —  
Рабы немые поклонялись.  
Завидно иудеям стало,  
Что хоть плюгавого царя,  
Навозного хоть алтаря  
Нет у сердечных. Попросили  
Дряхлеющего Самуила <sup>1</sup>,  
Где хочет, чтоб искал не зря  
И дал бы, старый, им царя.  
И вот премудрый прозорливец,  
Помозговавши, взял елей,  
Отняв от козлиц и свиней,  
Саула нашего, верзилу,  
Помазал сразу же в царя.  
Саул, не будучи дурак,  
Набрал гарем себе, и стал он  
Спокойно царством управлять.  
Дивились пастухи немало  
И говорили простаки:  
Видать, и мы не дураки,  
Уж если господа святого  
Мы умолили дать такого  
Нам самодержца. А Саул  
Берёт и город, и аул,  
Отроковицу, и ягницу,  
Из кедра строит он светлицы,  
Престол из золота куёт,  
Благоволенье раздаёт  
Рабам всеподданнейшим голым  
И в багрянице долгополой  
По храму ходит одинок,  
Пока (был лоб недаром низок),  
Уединясь, средь одалисок,  
С ума не спятил голубок.

Старейшины сошлись в покоях:  
— Панове, общество честное,

Что делать нам? Наш мудрый царь,  
Самодержавный государь  
Свихнулся, бедненький. Панове!  
Ну, стоит ли его лечить?  
Не лучше ли пополучить  
Царя поздоровей?— На слове  
На этом встали, разошлись  
Печально пастыри.

В кедровых  
Палатах новых царь не спит,  
Не ест, не пьёт и не шумит,  
Лишь молча государь могучий  
Дерёт порфиру на онучи,  
К лаптям, как будто бы всерьёз,  
Бечёвки ладит, надевает.  
Про отчего осла вопрос  
Он к новым стенам обращает  
Иль, скипетр взявши, заиграет  
Как на свирели.

Пастухи,  
Вениаминовы внучата,  
Тельца лакеям принесли,  
Чтоб разрешили, не в палатах,  
А хоть в сениях, запеть. Ревёт  
Седоборода, волосата  
Родня саулова пузата  
И гусяра с собой ведёт,  
Ещё безвестного Давида <sup>1</sup>.  
— И выдет царь Саул, и выдет,—  
Пастух поёт им,— на войну...—  
Саул очухался — и ну,  
Что твой солдат, отборным матом  
Всех родственников волосатых  
И вдоль и поперёк честить.  
А гусяра того, Давида,  
Чуть не убил. Когда бы знал,  
Беда какая после выйдет  
Из-за лукавого Давида,  
Не только б гада растоптал,  
И ядовитую б растёр  
Слюну змеи. Ведь до сих пор

То поле плугом не распашешь,  
Проклятое: всё заросло  
Репьём колючим. Горе наше:  
Мельчают люди — и, смотри,—  
Растут и высятся цари!

*13 октября [1860  
Петербург]*





\* \* \*



отя лежачего не бьют,  
Лежать, однако, не дают  
Негодному... Тебя ж, о сука!  
И сами мы, и наши внуки,  
И люди миром проклянут!  
Не проклянут, а только плюнут

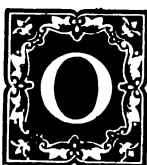
На тех раскормленных щенят,  
Что ты щенила. Мука! Мука!  
О скорбь моя, моя печаль!  
Когда ты сгинешь? Или псамп  
Цари с министрами-рабами  
Тебя затравят, изведут?  
Не изведут! А люди тихо  
Без всякого лихого лиха  
Царя на плаху поведут.

20 октября [1860  
Петербург]





\* \* \*



люди! Простакі слепые!  
На что сдалися вам цари?  
На что сдалися вам псарі?  
Ведь люди вы, не псы борзые!

Иду. Ночная мгла, и сырость,  
И снег, и холод. И Нева

Тихохонько из-под моста  
Выносит тоненькую льдинку.  
А я шагаю над Невой  
Да кашляю в ночи сырой.  
Гляжу: в грязи идут сиротки,  
Бредут, как бы ягнята, кротки,  
А дед (сердешный инвалид!)  
Согбённый сзади ковыляет,  
В овчарню будто загоняет  
Чужих овечек. Где же стыд?!  
О горе! Горе! Правда, где ты?!  
Сирот голодных, neodетых  
Последний гонят долг отдать,—  
Нашлась у незаконных мать,  
Их гонят к ней как бы отару.  
Что ж будет суд? Падёт ли кара  
На головы земных царей?  
Придёт ли правда для людей?  
Должна придти,— ведь солнце встанет  
И зло в лучах его растает.

3 ноября [1860  
Петербург]





\* \* \*



день идёт, и ночь идёт.  
За голову схватившись в муке,  
Всё думаешь: когда ж придёт  
Апостол правды и науки!

5 ноября [1860  
Петербург]





\* \* \*



днажды над Невой иду  
В глухой ночи... И на ходу  
Так размышляю сам с собою:  
— Когда б,— я думаю,— когда б  
Таким покорным не был раб,  
То осквернённых над Невою

Не возвышалось бы палат.  
Была б сестра, и был бы брат.  
А то... Лишь слёз и горя много,  
И нет ни бога, ни полбога...  
Псари с псарятами царят,  
А мы с ухваткой доезжачих  
Борзых собак растим и плачем.—  
Вот так, шагая над Невой,  
И размышлял я сам с собой,  
Тяжёлой думой озадачен.  
А за рекою, как из ямы,  
Глаза кошачьи на меня  
Глядят,— то фонари горят  
Возле апостольского храма.  
Тут спохватился и крестом  
Я осенился, трижды плюнул,  
И снова думать стал о том —  
О том, о чём и раньше думал.

13 ноября [1860  
Петербург]





## ПИСЬМА

### В. Н. РЕПНИНОЙ<sup>1</sup>

Крепость Орская,  
24 октября 1847



О ходатайству вашему, добрая моя Варвара Николаевна, я был определён в Киевский университет<sup>2</sup>, и в тот самый день, когда пришло определение, меня арстовали и отвозили в Петербург 22 апреля (день для меня чрезвычайно памятный<sup>3</sup>), а 30 мая мне прочитали конфирмацию, и я был уже не учитель Киевского университета, а рядовой солдат оренбургского линейного гарнизона!

О как неверны наши блага,  
Как мы подвержены судьбе<sup>4</sup>.

И теперь прозябаю в киргизской степи, в бедной Орской крепости. Вы непременно рассмеялись бы, если б увидели теперь меня. Вообразите себе самого неуклюжего гарнизонного солдата, растрёпанного, небритого, с чудовищными усами, и это буду я. Смешно, а слёзы катятся. Что делать, так угодно богу. Видно я мало терпел в моей жизни. И правда, что прежние мои страдания, в сравнении с настоящими, были детские слёзы: горько, невыносимо горько! И при всём этом горе мне строжайше запрещено рисовать что бы то ни было и писать (окроме писем), а здесь так много нового, киргизы так живописны, так оригинальны и наивны, сами просятся под карандаш, и я одуреваю, когда смотрю на них. Местоположение здесь грустное, однообразное, тощая речка Урал и Орь, обнажённые серые горы и бесконечная киргизская степь.

Иногда степь оживает бухарским на верблюдах караваном, как волны моря, зыблющим вдаль, и жизнь свою удваивает тоску, я иногда выхожу за крепость, к караван-сараю, или меновому двору, где обыкновенно бухарцы разбивают свои разноцветные шатры. Какой стройный народ! Какие прекрасные головы! (чисто кавказское племя) и постоянная важность без малейшей гордости. Если бы мне можно рисовать, сколько бы я вам прислал новых и оригинальных рисунков. Но что делать! А смотреть и не рисовать — это такая мука, которую поймёт один только истинный художник, и я всё-таки почитаю себя счастливым в сравнении с Кулешем и Костомаровым <sup>1</sup>. У первого жена прекрасная, молодая, а у второго бедная добрая старуха-мать, а их постигла та же участь, что и меня, и я не знаю, за какое преступление они так страшно поплатились. Вот уже более полугода я не имею никакого понятия о нашей бедной новой литературе, и я просил бы вас, добрая Варвара Николаевна, ежели достанете последнее сочинение Гоголя *«Письма к друзьям»* <sup>2</sup>, то пришлите мне, вы сделаете доброе дело, и, если можно, *«Чтение московского археологического общества»* <sup>3</sup>, издаваемое Бодянским. Я мог бы выписать всё это сам, но... пришлите, добрая Варвара Николаевна, это будет вернее, и бог вам заплатит за доброе дело. Адрес мой сообщит вам Андрей Иванович. Моя сердечная благодарность княгине Варваре Алексеевне и всему дому вашему моя любовь и уважение, прощайте, желаю вам всех благ и иногда вспоминать бес-таланного

Т. Шевченка.

Княжне Варваре Николаевне.

В. Н. РЕПНИНОЙ

(Отрывок)

Оренбург, 7-го марта 1850

Все дни моего пребывания когда-то в Яготине есть и будут для меня ряд прекрасных воспоминаний. Один день был покрыт лёгкой тенью, но последнее письмо ваше и это грустное воспоминание осветило. Конечно вы забыли?

Вспомните! Случайно как-то зашла речь у меня с вами о *«Мёртвых душах»*, и вы отозвались чрезвычайно сухо; меня это поразило неприятно, потому что я всегда читал Гоголя с наслаждением и потому, что я в глубине души уважал ваш благородный ум, ваш вкус и ваши нежно возвышенные чувства. Мне было больно, я подумал: я так груб и глуп, что не могу ни понимать, ни чувствовать прекрасного? Да, вы правду говорите, что предубеждение ни в каком случае не позволительно, как чувство без основания. Меня восхищает ваше теперешнее мнение — и о Гоголе, и об его бессмертном создании! Я в восторге, что вы поняли истинно христианскую цель его! Да!.. Перед Гоголем должно благоговеть, как пред человеком, одарённым самым глубоким умом и самою нежною любовью к людям! Сю<sup>1</sup>, по-моему, похож на живописца, который, не изучив порядочно анатомии, принялся рисовать человеческое тело, и, чтобы прикрыть своё невежество, он его полуосвещает. Правда, подобное полуосвещение эффектно, но впечатление его мгновенно! — так и произведения Сю, пока читаем — нравится и помним, а прочитал — и забыл. Эффект и больше ничего! Не таков наш Гоголь — истинный ведатель сердца человеческого! Самый мудрый философ! И самый возвышенный поэт должен благоговеть перед ним, как перед человеколюбом! Я никогда не перестану жалеть, что мне не удалось познакомиться лично с Гоголем. Личное знакомство с подобным человеком неопцененно, в личном знакомстве случайно иногда открываются такие прелести сердца, что не в силах никакое перо изобразить!

Я сделался настоящим попрошайкой! Что делать? Оренбург такой город, где и не говорят о литературе, а не то чтобы можно было в нём достать хорошую книгу. Вся та речь к тому, чтобы вы мне (наивсепокорнейше прошу) прислали *«Мёртвые души»*. Меня погонят 1 мая в степь, на восточный берег Каспийского моря в Новопетровское укрепление, следовательно, опять прервут всякое сообщение с людьми. И такая книга, как *«М[ёртвые] д[уши]»*, будет для меня другом в моём одиночестве...

А. КОЗАЧКОВСКОМУ<sup>1</sup>

(Отрывок)

14 апреля 1854 г.

...Давно у меня вертится в голове мысль перевести на наш прекрасный украинский язык «Слово о полку Игоря». Да нет у меня подлинника, а перевода не уразумею. Так вот что я думаю. В вашей семинарской библиотеке наверно есть издание *Шишкова*<sup>2</sup> или *Максимовича*<sup>3</sup> «Слово о полку Игореве» перевод с текстом, так ты, ради великой моей любви, попроси какого-нибудь скорописца переписать для меня один экземпляр текста с переводом этой небольшой, но премудрой книги, а я тебе за это... что же я, бедный, тебе сделаю? Поблагодарю от чистого сердца, и больше ничего. Вонми гласу моления моего, друг мой единственный, пришли мне текст «Слова о полку Игоря», а то на твоей душе будет грех, если не будет оно, это слово переведено на наш задушевный, прекрасный язык.

Недавно опубликован в газетах перевод «Слова о полку Игоря» Н. Гербеля<sup>4</sup> и его же издания перевод с текстом и с рисунками какими-то, а продаётся по 3 рубля серебром — ах, чтоб он сказывся и со своею книжкою и с рисунками, исключая святого текста.

Ради текста думал было выписать сию хитро напечатанную книгу, но когда подсчитал свои деньги, то и рукой махнул, спасибо тебе, что ты мне помог, а то... да ну его, и рассказывать даже тошно.

Оставайся здоров, друг мой милостивый, поцелуй за меня свою жену и своих маленьких деточек, вспоминай иногда бесталанного

Т. Шевченко.

Пиши к Бодянскому О. М. и кланяйся ему от меня.

Н. О. ОСИПОВУ<sup>5</sup>

(Отрывок)

20 мая [1856]

...Я очень рад, что случай привёл вас увидеть хоть один экземпляр амфибий, между которыми я прозябаю столько лет. Но заметьте, что вы видели лучший экземпляр, экземпляр, одушевлённый чем-то походящим на

мысль и чувство. Доказательство, что он из линейного батальона переведён в армию. Это самая блестящая рекомендация. Но если бы вы увидели однородных с ним... Но нет, боже вас сохрани и во сне увидеть такое нравственное безобразие человека. Геты, между которыми на берегах Дуная влачил остаток дней своих Овидий Назон<sup>1</sup>, — наисовершеннейшее создание всемогущего создателя вселенной, — были дикие варвары, но не пьяницы, а окружающие меня и то и другое. Однажды я сказал Дармограу<sup>2</sup>: вот настоящие гомерические питухи. Нет, отвечал он, если бы Гомер увидел этих богатырей, так он бы покрутил свой седой ус и принялся переделывать свою славную эпопею от начала до конца. Кстати о Дармограе: вы сделали замечание на его «Княгиню», совершенно согласное с моим замечанием; недостаток отделки в подробностях, и то большой недостаток. Но этот рассказ один из первых его ученических этюдов. Попишет ещё годок-другой, даст бог, этот недостаток уничтожится. Покойный Карл Павлович Б[рюллов]<sup>3</sup> говорил, чем малосложнее картина, тем тщательнее должна быть окончена, и это глубоко верно, а всё-таки просите графиню Н... И... о напечатании этого незрелого творения; это польстит самолюбию творца и, может быть, из этой шутки выйдут результаты серьёзные. Ведь и столпы всемирной литературы, я думаю, так же начинали, как и мой бедный protégé, а это действительно так. Кроме меня, у него совершенно никого нет, к кому бы он мог обратиться. Он, что называется, круглый сирота. Прислал он мне ещё один рассказ под названием «Варнак». Этот уже кажется немного круглее, но всё-таки замечен тот же недостаток. Он, кажется, вовсе не читает великого шотландца<sup>4</sup>. Да и где его взять в этом богом забытом краю? Выписать? Он беднее меня, а выпросить не у кого. Скифы, варвары и вдобавок пьяницы. Но довольно о литературе. Поговорю о более сердцу близком искусстве и его жрецах. Мир праху умерших, слава и долголетие живым. Вы говорите, что Логановский<sup>5</sup> имел для московского храма работы на 80 000 руб. На какую же сумму имеют другие достойнейшие художники, как, например, Пименов<sup>6</sup> и Рамазанов<sup>7</sup>? О, как бы мне хотелось взглянуть на эти колоссальные работы!

Не знаю, участвует ли хоть один иностранец в этих работах или К. И. <sup>1</sup> сдержал своё слово; он когда-то говорил покойному моему великому учителю, что он ни одного немца и близко к храму не допустит. Похвальный патриотизм, и тем более похвальный, что у нас свои есть и Прадье, и де ла Круа, и де ла Рош <sup>2</sup>, а о Жакке и Ля Дурнере <sup>3</sup> и говорить нечего. Но у нас есть и шишка предпочтения немцев всему отечественному; например, старик Мельников <sup>4</sup> так и умер в забвении, построивши единоверческую церковь во имя св. Николая на Грязной улице, а Сенат поручили выстроить какому-то инженеру Шуберту; проект же Мельникова, великолепнейший проект, нашли неудобоисполнимым. Диво, да и только! Если случится вам быть в Киеве, обратите внимание, что я говорю внимание?— взгляните на Институт благородных девиц <sup>5</sup>. Казармы, да ещё казармы самые неуклюжие, а местность самая восхитительная, и так бесчеловечно обезображена, и тоже инженером. Да и мало ли у нас на Руси подобных немецких безобразий, а мы уже, слава богу, не варвары готических времён. Я, кажется, немного увлёкся духом патриотизма. Оставим это до другого раза и обратимся к моей бедной прозе...

### М. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ •

8. XII. 1856

Любий мій єдиний Михайле!

Вместе с последними пятью главами сего произведения получил я и письмо от Дармограя, в котором он просит меня, а я тебя прошу, сделать его этюду такое заглавие:

МАТРОЗ <sup>7</sup>,

или старая погудка на новый лад

*Рассказ (а не этюд)*

Часть первая.

Первая часть рассказа включает в себе десять глав, а как будет велика вторая часть, этого он не пишет; может быть, и сам ещё не знает. Ещё просит он поправить ошибку, правду сказать, довольно грубую. Он написал, что



местечко Лысянка замечательно месторождением знаменитого Богдана Хмельницкого. Неправда: в Лысянке родился не знаменитый гетман, а отец его, чигиринский сотник Михаил Хмельник, или Хмельницкий, и не по словам летописи Самовидца <sup>1</sup>, как он написал, а по словам профессора Соловьёва <sup>2</sup>, который ссылагается на киевские акты. Ещё тоже не помню, на которой странице, он сделал пробел, а за ним и я; нужно было написать фамилию знаменитого череполога *Лаватера* <sup>3</sup>, но он, вероятно, забыл, как прозывался этот мудрёный немец, и я тоже не вспомнил. Больше он ничего не замечает. Я тоже больше ничего не замечаю, и он передаёт мне, а я, переписавши на досуге, передаю его новорождённое детище в полное ваше покровительство и распоряжение. Ещё он пишет мне, что если и будет вторая часть этого рассказа, то не весьма скоро. Поэтому я и думаю, что лучше не писать: часть первая. Тепер от що я тебе проситиму, друже мій єдиний: як би ти сам побачився з Писемським <sup>4</sup> — (за знаомство з ним не будеш мене лаять) та спитав би його, чи бачився він з графинею Т.<sup>5</sup> і що вона сказала йому про «*Нягиню*» К. Дармограя і чи получила вона мої письма, і що він тобі скаже, напиши мені, друже мій єдиний. Кланяюсь Василеві, Федорові й Семенові. Оставайтесь здорові, іскренні друзи мої. Не забувайте сироту на чужині.

## Н. О. ОСИПОВУ

Нпжний Новгород, декабрь 23, 1857

Незабвенный Николай Осипович! Сегодня я получил письмо от моей святой заступницы графини Н[астасии] И[вановны] <sup>6</sup>, и только сегодня из её бесценного письма узнал ваше мирное местопребывание и сегодня же пишу вам, сколько время позволяет. Дело, изволите видеть, предпраздничное, я же жду к себе из Москвы дорогого гостя на праздник, даже сегодня. И кого бы, вы думали, я так трепетно дожидаю? 70-тилетнего знаменитого старца и сердечного друга моего, Михаила Семёновича Щепкина<sup>7</sup>. Не правда ли, дорогой гость у меня будет? Да ещё какой дорогой, единственный! И действительно, это единственный и счастливейший человек между людьми: дожить

до дряхлости физической и сохранить всю юношескую свежесть нравственную! Это явление необыкновенное! Мы не видались с ним с 1847 г. и, как мне воспрещён въезд в столицы, то он, старец-юноша, несмотря на мороз и вьюгу, едет ко мне единственно для того, чтобы поцеловать меня! Не правда ли — юноша? И какой сердечный, пламенный юноша! Я горжусь моим старым, моим гениальным другом, и горжусь справедливо.

Не по причине сей великой гордости, а по причине великого недосуга вы извините меня, что я на сей раз пишу вам мало; моя история вот в чём: в первых числах августа оставил я ненавистное Новопетровское укрепление с намерением пробраться прямо в Академию художеств; но на перепутье, т. е. в Нижнем Новгороде, меня полиция остановила и объявила, что въезд в обе столицы мне воспрещён и, вдобавок, что моя особа поручена её непосредственной опеке, т. е. надзору. Я и застрял в Нижнем и пробавляюсь теперь чем попало, в ожидании будущих благ.

Последнее письмо ваше из Курска я получил и ответ свой адресовал на имя графини; но, вероятно, моё письмо не дошло к вам, потому что с тех пор уже прошло полтора года, а сегодня только получил от вас известие. Не забывайте же меня, добрейший Николай Осипович, пишите мне хоть изредка, а пока остаюсь вашим аккуратнейшим корреспондентом и сердечно преданным вам

Т. Шевченко.

С. АКСАКОВУ<sup>1</sup>

16.II. 1858

Чтимый и многоуважаемый Сергей Тимофеевич!

Ради всех святых, простите мне моё грешное, но неумышленное молчание. Вы так сердечно-дружески приняли мою далеко не мастерскую *«Прогулку»*. Так сердечно, что я, прочитавши ваше дорогое мне письмо, в тот же день и час принялся за вторую и последнюю часть моей *«Прогулки»*. И только сегодня кончил. А как кончил? Не знаю. Судите вы меня, и судите искренно и милостиво. Я дебютирую этой вещью в великорусском слове. Но это не извинение. Дебютант должен быть проникнут своей

ролью, а иначе он шарлатан. Я не шарлатан, я ученик, жаждущий дружеского, искреннего суда и совета. Первая часть *«Прогулки»* мне показалась растянутою, вялою. Не знаю, какою покажется вторая. Я ещё не читал её, как прочитаю, так и пошлю вам. Нужно работать, работать много, внимательно, и, даст бог, всё пойдёт хорошо. Трудно мне одолеть великороссийский язык, а одолеть его необходимо. Он у меня теперь как краски на палитре, которые я мешаю без всякой системы. Мне необходим теперь труд, необходима упорная, тяжёлая работа, чтобы хоть что-нибудь уметь сделать. Я десять лет потерял напрасно, нужно возвратить потерянное, а иначе будет перед богом грешно и перед добрыми людьми стыдно. Я сознаю и сердцем чувствую потребность работы, но в этом узком Нижнем я не могу ни один день спрятаться от невинных моих друзей. Собираюсь выехать в Никольское к моему великому другу Михаилу Семёновичу<sup>1</sup>. Дожидаю только товарища из Петербурга. Не знаю, получил ли Михайло Семёнович мои *«Неофиты»* от Кулиша. Мне бы сильно хотелось, чтобы он прочитал вам это новорождённое хохлацкое дитя. На-днях послал я ему три или, лучше сказать, одно в трёх лицах тоже новорождённое чадо<sup>2</sup>. Попросите его, пускай прочтёт.

Кончили ли вы печатать вашу книгу<sup>3</sup>? Если кончили, то ради самого Аполлона и его прекрасных бессмертных сестёр, пришлите мне экземпляр. Я теперь читаю так, что попало, здесь даже порядочно читать невозможно. Старыми разбитыми журналами пробавляюсь, и за то спасибо добрым людям.

Ещё раз прошу вас, мой чтимый, мой искренний друге! Простите мне моё невольное прегрешение. Не поставьте в вину мне моё долгомолчание. Я хотя и представил вам причину моего тупого безмолвия, но никакая причина не извиняет невежливости. Ещё раз простите и любите сердечно глубоко полюбившего вас

Т. Шевченка.

Нижний Новгород 1858,  
февраль 16.





## ДНЕВНИК

1857 год

(Отрывок)

13 июня



Сегодня уже второй день, как сшил я себе и аккуратно обрезал тетрадь для того, чтобы записывать, что со мною и около меня случится. Теперь ещё только девятый час, утро прошло, как обыкновенно, без всякого замечательного происшествия, — увидим, чем кончится вечер? А пока совершенно нечего записать. А писать охота страшная. И перья есть очинённые. По милости ротного писаря я ещё не чувствую своей утраты. А писать всё-таки не о чем. А сатана так и шепчет на ухо:

— Пиши, что ни попало, ври, сколько душе угодно. Кто тебя станет поверять. И в шканечных журналах врут, а в таком, в домашнем, и бог велел.

Если бы я свой журнал готовил для печати, то, чего доброго, пожалуй, и искусил бы лукавый враг истины, но я, как сказал поэт наш <sup>1</sup>,

Пишу не для мгновенной славы;  
Для развлеченья, для забавы,  
Для милых, искренних друзей,  
Для памяти мпнувших дней.

Мне следовало бы начать свой журнал со времени посвящения моего в солдатский сан, сиречь с 1847 года. Теперь бы это была претолстая и прескучная тетрадь. Вспоминая эти прошедшие грустные десять лет, я сердечно радуюсь, что мне не пришла тогда благая мысль обзавестись записной тетрадью. Что бы я записал в ней?

Правда, в продолжение этих десяти лет я видел даром то, что не всякому и за деньги удастся видеть. Но как я смотрел на всё это? Как арестант смотрит из тюремного решётчатого окна на весёлый свадебный поезд. Одно воспоминание о прошедшем и виденном в продолжение этого времени приводит меня в трепет. А что же было бы, если бы я записал эту мрачную декорацию и бездушных, грубых лицедеев, с которыми мне привелось разыгрывать эту мрачную, монотонную десятилетнюю драму? Мимо, пройдем мимо, минувшее моё, моя коварная память! Не возмутим сердца любящего друга недостойным воспоминанием, забудем и простим тёмных мучителей наших, как простил милосердный человеколюбец своих жестоких распинателей. Обратимся к светлому и тихому, как наш украинский осенний вечер, и запишем всё виденное и слышанное и всё, что сердце продиктует...

(Отрывок)

14 июня

Солдаты — самое бедное, самое жалкое сословие в нашем православном отечестве. У него отнято всё, чем только жизнь красна: семейство, родина, свобода, — одним словом, всё. Ему простительно окунуть иногда свою сирую, одинокую душу в полштофе сивухи. Но офицеры, которым отдано всё, все человеческие права и привилегии, чем же они разнятся от бедняка солдата? (Я говорю о Новопетровском гарнизоне.) Ничем они, бедные, не разнятся, кроме мундира. И добро бы ещё были так называемые старые *бурбоны*. А то ведь юноши и воспитанники кадетских корпусов. Хорошо, должно быть, воспитание? Бесчеловечное воспитание. Зато дешёвое. А главное, скорое. Восемнадцатилетний юноша, уж он офицер. Восторг и загляденье матери и опора дряхлого отца. Жалкая мать и глупый отец.

Кажется, Казак Луганский<sup>1</sup> написал книгу под заглавием «Солдатские досуги». Заглавие ложное. У русского солдата досуга не имеется. А если же солдат и встречается с ним иногда, то непременно в кабаке. Какая же, спрашивается, была цель прославленного сочинителя писать подобные досуги? И что нравственного в подобных

досугах, если они написаны с натуры (я книги не читал)? А если же это просто сочинение, т. е. фантазия, то опять — какая цель подобной фантазии? А не лучше ли бы сделал почтеннейший автор сих ненужных фантастических досугов, если б написал истинные досуги линейных, армейских и даже гвардейских молодых офицеров. Этим он оказал бы величайшую услугу чадолюбивым и эпопелюлюбивым родителям.

18[июня]

Сегодня я, как и вчера, точно так же рано пришёл на огород. Долго лежал под вербою, слушал иволгу и, наконец, заснул. Видел во сне Межигорского спаса<sup>1</sup>, Дзвонковую криницу<sup>2</sup> и потом Выдубецкий монастырь<sup>3</sup>. А потом — Петербург и свою милую Академию. С недавнего времени мне начали грезиться во сне знакомые, давно невиданные предметы. Скоро ли увижу всё это я наяву? Сновидение имело на меня прекрасное влияние в продолжение всего дня, а тем более, что сегодня гурьевскую, т. е. оренбургскую, почту ожидали. К вечеру действительно почта пришла, но ни мне, ни обо мне ничего не привезла. Опять я спустил нос на квинту. Опять тоска и бесконечное ожидание. Неужели от 16 апреля до сих пор не могли сделать в корпусном штабе насчёт меня распоряжения? Холодные, равнодушные тираны! Вечером возвратился я в укрепление и получил приказание от фельдфебеля готовиться к смотру. Это результат давно ожидаемой почты и с таким трепетом ожидаемой свободы. Тяжело, невыразимо тяжело! Я одурею, наконец, от этого бесконечного ожидания.

Как быстро и горячо исполняется приказание арестовать. Так, напротив, вяло и холодно исполняется приказание освободить. А воля одного и того же лица. Исполнители одни и те же. Отчего же эта разница? В 1847 году, в этом месяце, меня на седьмые сутки доставили из Петербурга в Оренбург. А теперь дай бог на седьмой месяц получить от какого-нибудь батальонного командира приказание отобрать от меня казённые вещи и прекратить содержание. Форма. Но я не возьму себе в толк этой бесчеловечной формы.

19[июня]

Вчера ушёл пароход в Гурьев и привезёт оттуда вторую роту и самого батальонного командира, а по случаю прибытия сюда этой важной особы остающаяся здесь рота, к которой принадлежу и я, готовится к смотру. Для этого важного грядущего события мне сегодня пригоняли амуницию. Какое гнусное грядущее важное событие! Какая бесконечная и отвратительная эта пригонка амуниции! Неужели и это ещё не в последний раз меня выведут на площадь, как бессловесное животное, напоказ? Позор и унижение! Трудно, тяжело, невозможно заглушить в себе всякое человеческое достоинство, стать навтыяжку, слушать команды и двигаться, как бездушная машина. И это единственный, опытом дознанный способ убивать разом тысячу себе подобных. Гениальное изобретение! Делающее честь и христианству и просвещению.

Странно, что даже благоразумные люди, как, например, наш лекарь Никольский, любят посмотреть, как вытягивает носок посиневший от напряжения человек. Не понимаю этого нечеловеческого наслаждения. А наш почтенный Гиппократ, несмотря на зной и холод, целые часы просиживает у калитки и любит унижением себе подобного. Палач ты, как видно, по призванию и только по названию лекарь.

В детстве, сколько я помню, меня не занимали солдаты, как это обыкновенно бывает с детьми. Когда же я начал приходить в возраст разумения вещей, во мне зародилась неодолимая антипатия к христолюбивому воинству. Антипатия усиливалась по мере столкновения моего с людьми сего христолюбивого звания. Не знаю, случай ли, или оно так есть в самой вещи, только мне не удалось, даже в гвардии, встретить порядочного человека в мундире. Если трезвый, то непременно невежда и хвастунишка. Если же хоть с малой искрою разума и света, то также хвастунишка и, вдобавок, пьяница, мот и распутник. Естественно, что антипатия моя возросла до отвращения. И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито, злобно посмеяться надо мною, толкнув меня в самый вонючий осадок этого христолюбивого сословия.

Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный оренбургский корпус солдатом. Вот где причина моих невыразимых страданий. И ко всему этому мне ещё запрещено рисовать. Отнять благороднейшую часть моего бедного существования! Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительною точностью.

Август-язычник, ссылая Назона <sup>1</sup> к диким гетам, не запретил ему *писать и рисовать*. А христианин N <sup>2</sup> запретил мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин, и христианин девятнадцатого века, в глазах которого выросло огромное государство в мире, выросло на началах христовой заповеди. Флорентинская республика — полудикая, иступлённая средневековая христианка, но всё-таки как материальная христианка она поступила с своим строптивым гражданином Дантом Алигиери <sup>3</sup>. Боже меня сохрани от всякого сравнения себя с этими великомучениками и светочами человечества. Я только сравниваю материального, грубого язычника и полуозарённую средневековую христианку с христианином девятнадцатого века.

Не знаю наверное, чему я обязан, что меня в продолжение десяти лет не возвели даже в чин унтер-офицера. Упорной ли антипатии, которую я питаю к сему привилегированному сословию? Или своему невозмутимому хохлацкому упрямству? И тому, и другому, кажется. В незабвенный день объявления мне конфирмации я сказал себе, что из меня не сделают солдата. Так и не сделали. Я не только глубоко, даже и поверхностно не изучил ни одного ружейного приёма. И это льстит моему самолюбию. Ребячество, и ничего больше. Майор Мешков, желая задеть меня за живое, сказал однажды мне, что я, когда буду офицером, то не буду уметь в порядочную гостиную войти, если не выучусь, как следует бравому солдату, вытягивать носка. Меня, однакож, это не задело за живое. И бравый солдат мне казался менее осла похожим на человека. Почему я и мысли боялся быть похожим на бравого солдата.



Вторая и не менее важная причина моего неповышения. Бездушному сатрапу и наперснику царя <sup>1</sup> пригрезилось, что я освобождён от крепостного состояния и воспитан на счёт царя, и в знак благодарности нарисовал карикатуру своего благодетеля. Так пускай, дескать, казнится неблагодарный. Откуда эта нелепая басня — не знаю. Знаю только, что она мне не дёшево обошлась. Надо думать, что басня эта сплелась на конфирмации, где в заключении приговора сказано: *«Строжайше запретить писать и рисовать»*. Писать запрещено за возмутительные стихи на малороссийском языке. А рисовать и сам верховный судия не знает, за что запрещено. А просвещённый блюститель царских повелений непояснённое в приговоре сам пояснил, да и прихлопнул меня своим бездушным всемогуществом. Холодное, развращённое сердце. И этот гнилой старый развратник пользуется здесь славою щедрого и великодушного благодетеля края. Как близоруки или, лучше сказать, как подлы эти гнусные славельщики. Сатрап грабит вверенный ему край и дарит своим распутным прелестницам десятитысячные фермуары, а они прославляют его щедрость и благодеяния. Мерзавцы!

(Отрывок)

20[июня]

Всё это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания грошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе. Опыт, говорят, есть лучший наш учитель. Но горький опыт прошёл мимо меня невидимкою. Мне кажется, что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моём внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины души благодарю моего всемогущего создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться своими железными когтями моих убеждений, моих младенчески светлых верований. Некоторые вещи просветлели, округлились, приняли более естественный размер и образ. Но это следствие невозмутимо летущего старика Сатурна, а никак не следствие горького опыта.

## (Отрывок)

25 [июня]

Все эти подтвержденные, так называемые господа дворяне, с которыми я теперь представлялся пред лицо отца-командира, все они — люди замечательные по своим нравственным качествам, но последний субъект, под названием Порциенко, всех их перещеголял. Все их отвратительные пороки вместил в своей подлой двадцатилетней особе. Странное и непонятное для меня явление этот отвратительный юноша. Где и когда успел он так глубоко заразиться всеми гнусными нравственными болезнями? Нет мерзости, низости, на которую бы он не был способен. Романы Сю со своими отвратительными героями — пошлые куклы перед этим двадцатилетним извергом. И это сын статского советника, следовательно, нельзя предполагать, чтобы не было средств дать ему не какое-нибудь, а порядочное воспитание. И что же? Никакого. Хорош должен быть и статский советник. Да и вообще должны быть хороши отцы и матери, отдающие детей своих в солдаты на исправление. И для чего, наконец, попечительное правительство наше берёт на себя эту неудобоисполнимую обязанность? Оно своей неуместной опекой растлевает нравственность простого хорошего солдата и ничего больше. Рабочий дом, тюрьма, кандалы, кнут и неисходимая Сибирь — вот место для этих безобразных животных, но никак не солдатские казармы, в которых и без них много всякой сволочи. А самое лучшее — предоставить их попечению нежных родителей, пускай спотешаются на старости лет своим собственным произведением. Разумсется, до первого криминального проступка, а потом отдавать прямо в руки палача.

До прибытия моего в Орскую крепость я и не воображал о существовании этих гнусных исчадий нашего православно-общества. И первый этого разбора мерзавец меня поразили своим зловредным существованием. Особенно, когда мне сказали, что он тоже несчастный, такой же, как и я, разжалованный и, следовательно, мой товарищ по званию и по квартире, т. е. по казармам. Слово *несчастный* имело для меня всегда трогательное значение, пока я его не услышал в Орской крепости. Там оно для меня

опошлело, и я до сих пор не могу возвратить ему прежнего значения. Потому что я до сих пор вижу только мерзавцев под фирмою несчастных.

По распоряжению бывшего генерал-губернатора, довольно видного политика Обручева <sup>1</sup>, я имел случай просидеть под арестом в одном каземате с колодниками, и даже с клеймёнными каторжниками, и нашёл, что этим заклеянным злодеям слово *несчастный* более к лицу, нежели этим растленным сыновьям безличных эгоистов родителей.

(Отрывок)

26[июня]

Надеждою живут ничтожные умы, сказал покойник Гёте. И покойный мудрец сказал истину вполнину. Надежда свойственна и мелким, и крупным, и даже самым материальным положительным умам. Это наша самая нежная, постоянная, до гробовой доски неизменная нянька-любовница. Она, прекрасная, и всемогущего царя, и мирового мудреца, и бедного пахаря, и меня, мизерного, постоянно лелеет доверчивое воображение и убаюкивает недоверчивый ум своими волшебными сказками, в которые всякий из нас так охотно верит. Я не говорю — безотчётно. Тот действительно ничтожный ум, который верит, что на вербе вырастут груши. Но почему же не верить мне, что я хотя к зиме, но непременно буду в Петербурге, увижу милые моему сердцу лица, увижу мою прекрасную Академию, Эрмитаж, ещё мною невиденный <sup>2</sup>, услышу волшебницу оперу. О, как сладко, как невыразимо сладко верить в это прекрасное будущее. Я был бы равнодушный, холодный атеист, если бы не верил в этого прекрасного бога, в эту очаровательную надежду.

Материальное своё существование я предполагаю устроить так, разумеется, с помощью друзей моих. О живописи мне теперь и думать нечего. Это было бы похоже на веру, что на вербе вырастут груши. Я и прежде не был даже и посредственным живописцем. А теперь и подавно. Десять лет неупражнения в состоянии сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного, кабашного, балалаешника. Следовательно, о живописи мне и думать нечего. А я думаю посвятить себя безраздельно гравюре

акватинта<sup>1</sup>. Для этого я полагаю ограничить своё материальное существование до крайней возможности и упорно заняться этим искусством. А в промежутке времени делать рисунки сепией с знаменитых произведений живописи, рисунки для будущих эстампов. Для этого, я думаю, достаточно будет двух лет прилежного занятия. Потом уеду на дешёвый хлеб в мою милую Малороссию и примусь за исполнение эстампов, и первым эстампом моим будет «Казарма» с картины Теньера<sup>2</sup>. С картины, про которую говорил незабвенный учитель мой, великий Карл Брюллов<sup>3</sup>, что можно приехать из Америки, чтобы взглянуть на это дивное произведение. Словам великого Брюллова в этом деле можно верить.

Из всех изящных искусств мне теперь более всего нравится гравюра. И не без основания. Быть хорошим гравёром, значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит быть распространителем света истины. Значит быть полезным людям и угодным богу. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравёра. Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галлерейх без твоего чудотворного резца? Божественное призвание гравёра!

Кроме копий с мастерских произведений, я думаю со временем выпустить в свет, в гравюре акватинта, и собственное чадо «Притчу о блудном сыне», приноровленную к современным нравам купеческого сословия. Я разделил эту поучительную притчу на двенадцать рисунков, они уже почти все сделаны на бумаге. Но над ними ещё долго и прилежно нужно работать, чтобы привести их в состояние, в котором они могут быть переданы меди. Общая мысль довольно удачно приноровлена к грубому нашему купечеству. Но исполнение её оказалось для меня не по силе. Нужна [насмешка] ловкая, меткая, верная, а главное — не карикатурная, скорей драматический сарказм, нежели насмешка. А для этого нужно прилежно поработать. И с людьми сведущими посоветоваться. Жаль, что покойник Федотов<sup>4</sup> не наткнулся на эту богатую идею, он бы из неё выработал изящнейшую сатиру в лицах для нашего тёмного полутатарского купечества.

Мне кажется, что для нашего времени и для нашего среднего полуграмотного сословия необходима сатира,

только сатира умная, благородная. Такая, например, как «Жених» Федотова или «Свои люди — сочтёмся» Островского <sup>1</sup> и «Ревизор» Гоголя. Наше юное среднее общество, подобно ленивому школьнику, на складах остановилось и без понуканья учителя не хочет и не может перешагнуть через эту бестолковую *тму-мну* <sup>2</sup>. На пороки и недостатки нашего высшего общества не стоит обращать внимания. Во-первых, по малочисленности этого общества, а, во-вторых, по застарелости нравственных недугов, а застарелые болезни если и излечиваются, то только героическими средствами. Кроткий способ сатиры тут недействителен. Да и имеет ли какое-нибудь значение наше маленькое высшее общество в смысле национальности? Кажется, никакого. А средний класс — это огромная и, к несчастью, полуграмотная масса, это половина народа, это сердце нашей национальности, ему-то и необходима теперь не суздальская лубочная притча о блудном сыне, а благородная, изящная и меткая сатира. Я считал бы себя счастливейшим в мире человеком, если бы удался мне так искренно, чистосердечно задуманный мой бессознательный негодяй, мой блудный сын.

Свежо предание, а верится с трудом. Мне здесь года два тому назад говорил Н. Данилевский, человек, стоящий веры, что будто бы комедия Островского «Свои люди — сочтёмся» запрещена на сцене по просьбе московского купечества. Если это правда, то сатира, как нельзя более, достигла своей цели. Но я не могу понять, что за расчёт правительства покровительствовать невежеству и мошенничеству. Странная мера!

(Отрывок)

29[июня]

О, святые, великие, верховные апостолы! Если бы вы знали, как мы запачкали, как изуродовали провозглашённую вами простую, прекрасную, светлую истину. Вы предрекли лжеучителей, и ваше пророчество сбылось. Во имя святое, имя ваше так называемые учителя вселенские подрались, как пьяные мужики, на Никейском вселенском соборе. Во имя ваше папы римские ворочали земным шаром и во имя ваше учредили инквизицию и ужасное автодафе. Во имя же ваше мы поклоняемся безобразным

суздальским идолам и совершаем в честь вашу безобразнейшую вакханалию. Истина стара и, следовательно, должна быть понятна, вразумительна, а вашей истине, которой вы были крёстными отцами, минает уже 1857 годочек. Удивительно, как туго человечество.

5[июля]

Голенький ох, а за голеньким бог. Из моей библиотеки, которую я знаю наизусть всю и которую уже давно упаковывал в ящик, не нашлось книги, достойной сопровождать мне в моём радостном одиноком путешествии по Волге. Ригельмана <sup>1</sup> «История Донского войска» показалась мне слишком старою спутницей, и я упаковал её на самый спуд. Что же делать без книги в таком медленно-спокойном путешествии, как плавание по Волге от Астрахани до Нижнего? Это меня беспокоило. И в самом деле, что я буду делать целый месяц без хоть какой-нибудь книги? Но фортуна — эта гордая повелительница повелителей мира, эта безглазая царица царей — сегодня мой лакей, хуже — бердичевский фактор.

Насладившись прекрасным свежим утром на огороде, я в девятом часу пошёл в укрепление. Мне нужно было взять хлеба у артельщика и отдать высушить на сухари для дороги. Прихожу в ротную канцелярию, смотрю, на столе рядом с образцовыми сапогами лежат три довольно плотные книги в серой подержанной обёртке. Читаю заглавие — и что же я прочитал: *Estetyka czyli umnictwo piękne przez Karola Libelta* <sup>2</sup>. В казармах — эстетика! — Чьи это книги? — спрашиваю я писаря. — Каптенармуса, унтер-офицера Кулиха. Отыскал я вышерекомого унтер-офицера Кулиха. И на вопрос мой, не продаст ли он мне «*Umnictwo piękne*», он отвечал, что оно принадлежит мне, что Пшевлоцкий, уезжая из Уральска на родину, передал ему, Кулиху, эти книги с тем, чтобы они были переданы мне, и что он, Кулих, принёс их с собою сюда, положил в цейхгауз и забыл про их существование и что вчера только они попались ему на глаза и что он очень рад, что теперь может их препроводить по принадлежности. Для вящей радости, я послал за водкой, а книги положил в свою дорожную торбу,

Видимое, осязательное дело услужливой факторши фортуны! Итак, по милости этой слепой царицы царей, я имею в дороге чтение, на которое вовсе не рассчитывал. Чтение, правда, не совсем по моему вкусу, но что делать: на безрыбьи и рак рыба. Я, несмотря на мою искреннюю любовь к прекрасному в искусстве и в природе, чувствую непреодолимую антипатию к философиям и эстетикам, и этим чувством я обязан сначала Галичу<sup>1</sup> и окончательно почтеннейшему Василию Ивановичу Григоровичу, читавшему нам когда-то лекции о теории изящных искусств, девизом которых было: *побольше рассуждать и поменьше критиковать*. Чисто платоновское изречение.

С Либельтом я немного знаком по его «Деве Орлеанской» и по его критике и философии. На первый взгляд он мне показался мистиком и непрактиком в искусствах. Посмотрим, что дальше будет. Боюсь, как бы вовсе не раззнакомиться.

10[июля]

Ветер всё тот же. Тоска та же самая. Дождь продолжает омы́вать новую луну. Такие длинные любезности здесь с ним редко случаются. Я недвижимо пролежал весь день в беседке и слушал однотонную тихую мелодию, производимую мелкими и частыми каплями дождя о деревянную крышу беседки. Принимался несколько раз дремать, но неудачно. Проклятые мухи со всего огорода слетелись в беседку и не дают покоя. Принимался несколько раз строить воздушные замки на своих будущих эстампах акватинта — так же неудачно. «Гензерих» и «Осада Пскова» Брюллова мне особенно не удавались. Нужно избегать на первый раз наготы. Нужен опыт и опыт, а иначе эта очаровательная брюлловская нагота выйдет в эстампе безобразие. Я не желал бы, чтобы мои будущие эстампы были похожи на парижский эстамп акватинта с картины «Последний день Помпеи». Топорный, безобразный эстамп. Поругано, обезображено гениальное произведение.

В таком скверном настроении унывающей души вспомнил я про «Umnićtwo pićkne» Либельта, принялся жевать: жёстко, кисло, приторно, — настоящий немецкий суп-вассер. Как, например, человек, так важно трактующий о

вдохновении, простосердечно верит, что будто бы Иосиф Вернет <sup>1</sup> велел себя во время бури привязывать на марсах к мачте для получения вдохновения. Какое мужицкое понятие об этом неизреченно божественном чувстве! И этому верит человек, пишущий эстетику, трактующий об идеальном, возвышенно-прекрасном в духовной природе человека. Нет, и эстетика сегодня мне не далась. Либельт, он только пишет по-польски, а чувствует (в чём я сомневаюсь) и думает по-немецки, или, по крайней мере, пропитан немецким идеализмом (бывшим, — не знаю как теперь?). Он смахивает на нашего В. А. Жуковского <sup>2</sup> в прозе. Он так же верит в безжизненную прелесть немецкого, того, длинного идеала, как и покойный В. А. Жуковский.

В 1839 году Жуковский, возвратившись из Германии с огромною портфелею, начинённою произведениями Корнелиуса <sup>3</sup>, Гессе <sup>4</sup> и других светил мюнхенской школы живописи, нашёл Брюллова произведения слишком материальными, придавляющими к грешной земле божественное выпренное искусство и, обращаясь ко мне и покойному Штернбергу <sup>5</sup>, случившемуся в мастерской Брюллова, предложил зайти к нему полюбоваться и поучиться от великих учителей Германии. Мы не преминули воспользоваться сим счастливым случаем и на другой же день явились в кабинете германофила. Но, боже! Что мы увидели в этой огромной, развернувшейся перед нами портфели. Длинных безжизненных мадонн, окружённых готическими тощими херувимами и прочих — настоящих мучеников и мучеников живого улыбающегося искусства. Увидели Гольбейна, Дюрера <sup>6</sup>, но никак не представителей живописи девятнадцатого века. До какой степени, однакож, помешались эти немецкие идеалисты-живописцы! Они не заметили, что в архитектуре Кленца <sup>7</sup>, для которой они творили свои готические безобразные творения, и тени нет напоминающего готическую архитектуру. Странное, непонятное затмение.

«Umnictwo piękne» Либельта спрятал я в дорожную торбу и снова привёл свою фигуру в горизонтальное положение. Что дальше будет, не знаю.

Незабвенные золотые дни, мелькнули вы светлым, радостным сновидением передо мною, оставив по себе неизгладимый след чарующего воспоминания. Мы были тогда



с Штернбергом едва оперившиеся юноши и, рассматривая эту единственную коллекцию идеального безобразия, высказывали вслух своё мнение и своим простодушием довели до того кроткого, деликатного Василия Андреевича, что он назвал нас испорченными учениками Карла Павловича и хотел было уже закрыть портфель перед нашими носами, как вошёл в кабинет князь Вяземский<sup>1</sup> и помешал благому намерению Василия Андреевича. Мы продолжали с невозмутимым равнодушием перелистывать портфель и были награждены за терпение первоначальным эскизом «Последнего дня Помпеи», ловко начерченным пером и слегка попятнанным сепиею. За этим гениальным очерком, почти не изменённым в картине, следовало несколько топорных чертежей Бруни<sup>2</sup>, которые ужаснули нас своим заученным однообразным безобразием. И где, и из какого тлетворного источника почерпнул и усвоил г. Бруни эту ненатуральную манеру? Неужели это одно желание быть оригинальным так страшно обезобразило произведения неутомимого Бруни? Жалкое желание. Грустный результат. И этот человек мечтал ещё равняться с Карлом Великим! (Так обыкновенно называл Брюллова В. А. Жуковский.)

Один мой знакомый, не художник и даже не записной, а так просто любитель изящного, смотря на «Покров божией матери», картину Бруни в Казанском соборе, сказал, что если бы он был матерью этого безобразного ребёнка, что валяется на первом плане картины, то он не только взять на руки, — боялся бы подойти к этому маленькому крестину. Замечание чрезвычайно верное и ловко высказано. А «Медный змий» его? Это — толпа безобразных и самых бесталанных актрис и актёров. Я видел эту картину в подмалёвке, и она меня ужаснула. Неприятное, но всё-таки впечатление. Оконченная же эта огромная картина не произвела на меня даже и этого неприятного чувства. А ведь цель её была уничтожить «Последний день Помпеи». Колоссальное, но, увы, неудачное намерение.

(Отрывок)

11 [июля]

Заказавши торбу для сухарей, я окончательно упаковал свою мизерию, взял второй том Либельта и три оставшиеся сигары из числа тех 25 сигар, что прислал мне

Лазаревский вместе с сепиею. Отличные сигары — настоящие гаванские. Возвратившись на огород, я, по обыкновению, до обеда лежал под своею любимую вербою и читал Либельта. Сегодня и Либельт мне показался умеренным идеалистом и более похожим на человека с телом, нежели на бесплотного немца. В одном месте он (разумеется, осторожно) доказывает, что воля и сила духа не может проявиться без материи. Либельт решительно похорошел в моих глазах, но он всё-таки школяр. Он пренаивно доказывает присутствие всемогущего творца вселенной во всём видимом и невидимом нами мире и так хлопчет об этой старой, как свет, истине, как будто бы это его собственное открытие.

*(Отрывок)*

12[июля]

Попробовавши дорожного продукта и найдя оный более нежели удовлетворительным, я самодовольно успокоился под своей фавориткою-вербою и принялся за Либельта. Он сегодня мне решительно нравится: или он в самом деле хорош, или он мне только кажется таким, потому что мне вот уже другой день даже вовсе непривлекательные предметы кажутся привлекательными. Блаженное состояние! Либельт, например, весьма справедливо замечает и высказывает эту, правда, не совсем моложавую, истину коротко, изящно и ясно: что религия и древних и новых народов всегда была источником и двигателем изящных искусств. Это верно. А вот это так не совсем: он, например, человека—творца в деле изящных искусств вообще, в том числе и в живописи, ставит выше природы, потому, дескать, что природа действует в указанных ей неизменных пределах, а человек-творец ничем не ограничен в своём создании. Так ли это? Мне кажется, что свободный художник настолько же ограничен окружающею его природой, насколько природа ограничена своими вечными, неизменными законами. А попробуй этот свободный творец на волос отступить от вечной красавицы-природы, он делается богоотступником, нравственным уродом, подобным Корнелиусу и Бруни. Я не говорю о дагерротипном подражании природе: тогда бы не было искусства, не было бы творчества, не было бы истинных

художников, а были бы только портретисты вроде Зарянка <sup>1</sup>.

Великий Брюллов черты одной не позволял себе провести без модели, а ему как исполненному силою творчества казалось бы это позволительным. Но он как пламенный поэт и глубокий мудрец-сердцеведец облакал свои выпренные, светлые фантазии в формы непорочной вечной истины. И потому-то его идеалы, полные красоты и жизни, кажутся нам такими милыми, такими близкими, родными.

Либельт сегодня мне решительно нравится. В продолжение десяти лет я, кроме степи и казармы, ничего не видел и, кроме солдатской рабской речи, ничего не слышал. Страшная, убийственная проза. И теперь случайный собеседник Либельт — самый очаровательный мой собеседник. Искренняя сердечная моя благодарность унтер-офицеру Кулиху.

27 [августа]

Ночи лунные, тихие, очаровательно-поэтические ночи! Волга, как бесконечное зеркало, подёрнутая прозрачным туманом, мягко отражает в себе очаровательную бледную красавицу ночи и сонный обрывистый берег, уставленный группами тёмных деревьев. Восхитительная, сладко-успокоительная декорация! И вся эта прелесть, вся эта зримая немая гармония оглашается тихими задушевыми звуками скрипки. Три ночи сряду этот вольноотпущенный чудотворец безмездно возносит мою душу к творцу вечной [красоты] пленительными звуками своей лубочной скрипки. Он говорит, что на пароходе нельзя держать хороший инструмент, но и из этого нехорошего он извлекает волшебные звуки, в особенности в мазурках Шопена <sup>2</sup>. Я никогда не наслушаюсь этих общеславянских, сердечно-глубоко-унылых песен. Благодарю тебя, крепостной Паганини <sup>3</sup>, благодарю тебя, мой случайный, мой благородный! Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный, мрачный, глубокий стон миллионов крепостных душ. Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего свинцового уха, наш праведный, неумолимый, неублажимый боже?

Под влиянием скорбных, вопиющих звуков этого бедного вольноотпущенника, пароход, в ночном погребальном

покое, мне представляется каким-то огромным, глухо ревущим чудовищем с раскрытой огромной пастью, готовую проглотить помещиков-инквизиторов. Великий Фультон <sup>1</sup>! И великий Уатт <sup>2</sup>! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрёт кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное, гениальное дитя. Моё пророчество несомненно. Молю только многотерпеливого господа умалить малую часть своего бездушного терпения. Молю его коснуться своим свинцовым ухом хоть одной полноты этого душу раздирающего вопля своих искренних, простосердечных молителей.

*(Отрывок)*

29[августа]

Выше Камышина, в 60 верстах, на правом берегу Волги, лоцман парохода показал мне бугор Стеньки Разина. Это было на рассвете, и я не мог хорошо рассмотреть этой замечательной, но неживописной местности. Исторический бугор этот, — я не знаю, почему его называют бугром, — он и на вершок не выше окружающей его местности. И если бы лоцман мне не указал его, я не заметил бы этой ничтожной твердыни славного лыцаря Стеньки Разина, этого волжского барона и, наконец, пугала московского царя и персидского шаха. Открытые большие грабители испугались скрытого ночного воришки <sup>3</sup>; так белоголового великана-хищника беркута пугает иногда ничтожный нетопырь.

Самое плоское суздальское изображение прославленного предмета так же интересно, как и самое изящное произведение живописи. Сознывая эту истину, мне ещё досаднее, что я не мог сделать ниже слабого очерка с этого весьма прославленного бугра. Солнце ещё не всходило, а бугор оставался за нами верстах в десяти; и [я] должен был довольствоваться небольшим фантастическим рассказом неслогоохотливого лоцмана.

Волжские ловцы и, вообще, простой народ верит, что Стенька Разин живёт до сих пор в одном из приволжских ущелий близ своего бугра и что (по словам лоцмана)

прошедшим летом какие-то матросы, плывшие из Казани, останавливались у его бугра, ходили в ущелье, видели и разговаривали с самим Семёном Степановичем Разиным<sup>1</sup>. Весь он, сказывали матросы, оброс волосами, словно зверь какой, а говорит по-человечьи. Он уже начал было рассказывать что-то про свою судьбу, как настал полдень и из пещеры выполз змий и начал сосать его за сердце, а он так страшно застонал, что матросы от ужаса разбежались куда кто мог. А за то его, прибавил лоцман, ежедневно змий за сердце сосёт, что он проклят во всех соборах, а проклят он за то, что убил астраханского архиерея Иосифа. А убил он его за то, что тот его волшебству сопротивлялся.

По словам того же рассказчика, Разин не был разбойником; а он только на Волге брандвахту держал и собирал пошлину с кораблей и раздавал её неимущим людям; коммунист, выходит.

*(Отрывок)*

2[сентября]

Сегодня в 7 часов утра случайно собрались мы в капитанской каюте и слово за слово из обыденного разговора перешли к современной литературе и поэзии. После недолгих пересудов я предложил А. А. Сапожникову прочесть «Собачий пир» из Барбье<sup>2</sup>, Бенедиктова<sup>3</sup>, и он мастерски его прочитал. После прочтения перевода был прочитан подлинник, и общим голосом решили, что перевод выше подлинника. Бенедиктов, певец кудрей и прочего тому подобного, не переводит, а воссоздаёт Барбье. Непостижимо! Неужели со смертью этого огромного нашего Тормоза, как выразился Искандер<sup>4</sup>, — поэты воскресли, обновились? Другой причины я не знаю. По поводу «Собачьего пира» наш добрый, милый капитан, Владимир Васильевич Кишкин, достал из своей заветной портфели его же, Бенедиктова, «Вход воспрещается» и с чувством поклонника родной обновлённой поэзии прочитал нам, внимательным слушателям. Потом прочитал его же «На новый 1857 год». Я дивился и ушам не верил. Много ещё кое-чего упруго-свежего, живого было прочитано нашим милым капитаном. Но я всё своё внимание и удивление сосредоточил на Бенедиктове, а прочее едва слушал...

(Отрывок)

5[сентября]

Мне теперь много нужно прочитать. Я совершенно отстал от новой литературы. Как хороши «Губернские очерки», в том числе и «Мавра Кузьмовна» Салтыкова<sup>1</sup>, и как превосходно их читает Панченко (домашний медик Сапожникова): без тени декламации. Мне кажется, что подобные глубоко-грустные произведения иначе и читать не должно. Монотонное, однообразное чтение сильнее, рельефнее рисует этих бездушных, холодных, этих отвратительных гарпий. Я благоговею перед Салтыковым. О, Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостью возрадовалася бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного бессловесного смерда.

(Отрывок)

19[сентября]

Берега быстро меняют свои контуры. Пролетаем мы мимо красивого по местоположению села Зименки помещика Дадьянова и замечательного по следующему происшествию. Прошедшего лета, когда поспели жито и пшеница, мужичков выгнали жать, а они, чтобы покончить барщину за один раз, зажгли его со всех концов при благополучном ветре. Жаль, что яровое не поспело, а то и его бы за один раз покончили бы. Отрадное происшествие!

11[октября]

А сегодня, с горем пополам, отправился поутру рисовать Архангельский собор, озяб до слёз и ничего бы не сделал, если бы не попался мне на глаза генерал Веймарн, командир учебного карабинерного полка и, разумеется, главный хозяин в казармах, под которыми я расположился рисовать. Я рассказал ему о своём горе, и он обязательно позволил мне поместиться у любого окна в казармах, чем я и воспользовался с благодарностью. Поработавши, отправился я обедать к Н. К. Якоби. Вместо

десерта он угостил меня брошюрой Искандера лондонского второго издания «Крещёная собственность». Сердечное, задушевное человеческое слово! Да осенит тебя свет истины и сила истинного бога, апостол наш, наш одинокий изгнанник!

(Отрывок)

16 [октября]

У Якоби же встретился я и благоговейно познакомился с возвращающимся из Сибири декабристом, с Иваном Александровичем Анненковым<sup>1</sup>. Седой, величественный, кроткий изгнанник в речах своих не обнаруживает и тени ожесточения против своих жестоких судей, даже добродушно подтрунивает над фаворитами коронованного фельдфебеля, Чернышёвым<sup>2</sup> и Левашёвым<sup>3</sup>, председателями тогдашнего верховного суда. Благоговее перед тобою, один из первозванных наших апостолов!

Говорили о возвратившемся из изгнания Николае Тургеневе<sup>4</sup>, о его книге, говорили о многом и о многих и в первом часу ночи разошлись, сказавши: до свиданья.

(Отрывок)

23 [октября]

При свете великолепного пожара, вечером, часу в 9 встретился я с К. А. Шрейдерсом. Он сообщил мне, что обо мне получена форменная бумага на имя здешнего военного губернатора, от командира Оренбургского отдельного корпуса. Для прочтения сей бумаги зашли мы в губернаторскую канцелярию к правителю канцелярии, милейшему из людей, Андрею Кирилловичу Кадинскому. Бумага гласит о том, что мне воспрещается въезд в обе столицы и что я обретаюсь под секретным надзором полиции. Хороша свобода! Собака на привязи. Это значит — не стоит благодарности, ваше величество.

(Отрывок)

3 [ноября]

У него же, у Гранда, и в первый же раз увидел я «Полярную звезду» Искандера за 1856 год, второй том. Обёртка, т. е. портреты первых наших апостолов-мучени-

ков<sup>1</sup>, меня так тяжело, грустно поразила, что я до сих пор ещё не могу отдохнуть от этого мрачного впечатления. Как бы хорошо было, если бы выбить медаль в память этого гнусного события. С одной стороны — портреты этих великомучеников с надписью «Первые русские благовестители свободы», а на другой стороне медали — портрет неудобозабываемого Тормоза с надписью «Не первый русский коронованный палач».

7 [ноября]

На-днях как-то проходил я через кремль и видел большую толпу мужиков с открытыми головами перед губернаторским дворцом. Явление это показалось мне чем-то необыкновенным, и до сегодняшнего дня я не мог узнать его содержания, а сегодня Овсянников рассказал мне, в чём было дело.

Крестьяне помещика Демидова, того самого мерзавца Демидова, которого я знал в Гатчине кирасирским юнкером в 1837 году и который тогда не заплатил мне деньги за портрет своей невесты, теперь он, промотавшийся до снаги<sup>2</sup>, живёт в своей деревне и грабит крестьян. Кроткие мужички, вместо того чтобы просто повесить своего грабителя, пришли к губернатору просить управы, а губернатор, не будучи дурак, велел их посечь за то, чтобы они искали управы по начальству, т. е. начинали со станового.

Интересно знать, что дальше будет.

1858 г.

(Отрывок)

29 [марта]

Вечером отправились мы в цирк-театр смотреть и слушать живописную лекцию геологии профессора Роде. Лекция мироздания прекрасна, и астрономические картины почти не лишни, но к чему эти аляповатые, суздальские виды городов и зданий, оскорбляющих искусство? И к чему эти живые, вертящиеся ситцевые узоры, оскорбляющие науку? Странно! А ещё более странно то, что публика рукоплещет этой балаганной пошлости. Толпа. Да ещё столичная толпа!



*(Отрывок)*

30 [марта]

Вечером графиня Н. И. [Толстая] представила меня своим знакомым, собравшимся у неё в этот вечер порядочной толпой. Они приветствовали меня как давно ожидаемого и дорогого гостя. Спасибо им. Боюсь, как бы мне не сделаться модной фигурой в Питере. А на то похоже.

*(Отрывок)*

31 [марта]

С художником Лукашевичем был в Эрмитаже. Новое здание Эрмитажа показалось мне не таким, как я его воображал. Блеск и роскошь, а изящества мало. И в этом великолепном храме искусств сильно напечаталась тяжёлая казарменная лапа неудобозабываемого дрессированного медведя<sup>1</sup>.



---

## АВТОБИОГРАФИЯ



Тарас Шевченко, сын крепостного крестьянина Григория Шевченко, родился в 1814 году февраля 25 в селе Кирилловке<sup>1</sup>, Звенигородского уезда, Киевской губернии, в имении помещика Василия Васильевича Энгельгардта. На восьмом году, лишившись отца и матери,

приютился он у дьячка в школе в виде школяра-попыхача. По многотяжком двухлетнем испытании прошёл он грамматику, часословец и, наконец, псалтырь. Дьячок, убедившись в досужестве своего школяра-попыхача, посылал его вместо себя читать псалтырь по усопших крепостных душах, за что и платил ему десятую копейку, яко поощрение. Но, несмотря на столь лестное к себе внимание сурового спартанца-учителя, в один из многих дней и ночей, когда спартанец-учитель со своим другом Ионою *Лыма-рем* были мертвецки пьяны, школяр-попыхач без зазрения совести, обнажив задняя своего наставника и благодетеля, всыпал ему великую дозу берёзовой каши. Помстившись до отвалу и похитивши какую-то книжечку с *куништыками*, в ту же ночь бежал в местечко Лысянку, где и нашёл себе учителя живописи отца диакона, тоже спартанца. Терпеливо бродяга-школяр носил из Тикича три дня вёдрами воду и растирал медянку на железном листе и на четвёртый день бежал. Бежал он в село Тарасовку к дьячку-малюру, славившемуся в околотке изображением великомученика Никиты и Ивана Воина; у последнего для боль-

шего эффекта рисовал он на левом рукаве две солдатские нашивки. К сему-то Апеллесу обратился школяр-бродяга с твёрдым намерением перенести все испытания, только бы хоть малость научиться его великому искусству. Но, увы! Апеллес посмотрел внимательно на левую ладонь бродяги, отказал ему наотрез, не находя в нём таланта не только к малярству или к шевству, но и к бондарству.

Потеряв всякую надежду сделаться когда-нибудь хоть посредственным маляром, с сокрушённым сердцем бродяга возвратился в своё родное село с намерением наняться в погонючи или пасти громадную *ватагу* и, ходя за стадом овец и свиней, читать краденую книжечку с *кунишыками*.

И это не сбылось. Помещику Павлу Васильевичу Энгельгардту, только что наследовавшему достояние побочного отца своего, понадобился расторопный мальчик, и оборванный школяр-бродяга попал прямо в тиковую куртку, в такие же шаровары и, наконец, в комнатные казачки. В должности казачка он втихомолку срисовывал украденным у конторщика карандашом картины суздальской школы, украшавшие панские покои. Странствуя с обозом за своим *дидычем* в Киев, Вильно и в Петербург, на постоялых дворах крал он изображения разных исторических героев, как то: Соловья-разбойника, Кульнева<sup>1</sup>, Кутузова<sup>2</sup>, казака Платова<sup>3</sup> и прочих, с намерением скопировать их на досуге точь-в-точь.

Случай и досуг представился в Вильне. Это было в 1829 году, декабря 6. Пан и пани уехали в *ресурсы*<sup>4</sup> на бал, в доме всё успокоилось, уснуло. Тогда он развернул краденые сокровища и, выбрав из них казака Платова, принялся благоговейно-тщательно копировать. Уже дошёл до маленьких казачков, гарцующих около дюжих копыт коня казака Платова, как растворилась дверь — пан и пани возвратились с балу. Пан с остервенением выдрал его за уши, надавал пощёчин за то, дескать, что он мог не только дом — город сжечь. На другой день пан велел кучеру Сидорке выпороть его хорошенько, что и было исполнено сугубо.

В 1832 году в С.-Петербурге, по неотступной его просьбе помещик законтрактовал его на четыре года разных живописных дел цеховому мастеру, некоему Ширяеву. Ширяев был ретивее всякого дьячка-спартамца. Но,

несмотря ни на какие стеснения, он в светлые летние ночи бегал в Летний сад рисовать с безобразных неуклюжих статуй (достойное украшение Петрового сада!). В этом саду и в то же время начал он делать этюды в стихотворном искусстве. Из многочисленных попыток он впоследствии напечатал только одну — балладу «Причинна». В один из этих сеансов познакомился он с художником Иваном Максимовичем Сошенком<sup>1</sup>, с которым и до сих [пор] в самых искренних братских отношениях. По совету Сошенка он начал пробовать портреты с натуры акварелью. Для многочисленных проб терпеливо служил ему моделью его земляк и друг Иван казак Нечипоренко, дворовый человек того же Энгельгардта. Однажды тот же Энгельгардт увидел у Нечипоренка работу своего крепостного артиста, которая ему, верно, очень понравилась, потому что он начал употреблять его для снятия портретов с своих любимых любовниц, за которые иногда и награждал рублём серебра, не более.

В 1837 году И. М. Сошенко представил его конференц-секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу с целью освободить его от горестного состояния. В. И. Григорович просил о нём В. А. Жуковского, и В. А. Жуковский, предварительно узнавши цену от помещика, просил К. П. Брюллова<sup>2</sup> написать его, В. А. Жуковского, портрет для императорской фамилии с целью разыграть его в лотерею в царском семействе. Великий Брюллов охотно согласился. Портрет написан. В. А. Жуковский с помощью графа М. Ю. Виельгорского<sup>3</sup> устроили лотерею в 2 500 рублей ассигнациями, и этою ценою была куплена свобода Тараса Шевченко в 1838 году, апреля 22.

С того же дня начал он посещать классы Академии художеств и вскоре сделался одним из любимых учеников и товарищей великого Карла Брюллова.

В 1844 году удостоился он звания свободного художника, а в 1847 году был арестован вместе с Костомаровым, Кулишем и многими другими по доносу студента Киевского университета, некоего Петрова. Без суда и следствия разослали их в разные крепости, а 30 мая того же года из каземата третьего отделения Т. Г. Шевченко был сослан в Орскую крепость и потом в Новопетровское укрепление с строжайшим запрещением писать и рисовать.

В 1858 году 22 августа по ходатайству графини Анастасии Ивановны Толстой освободили его из Новопетровского укрепления. И по её же ходатайству всемилостивейше повелено быть ему под надзором полиции в столице и заниматься своим художеством.

В 1859 году летом, после долгой и тяжелой разлуки, увидел он свою прекрасную родину, крепостных братьев, сестру и благополучно осенью возвратился в Академию художеств, где благодаря правящим Академиею с любовью истинного художника занимается гравюрою акватинта и аквафорта.

После долгих двухлетних проволоч Главный цензурный комитет разрешил ему напечатать только те из своих сочинений, которые были напечатаны до 1847 года, вычеркнувши из них десятки страниц (прогресс!).

*1860 года в первой половине января.*







ПАНАС  
МИРНЫЙ









## ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПОЛТАВЫ В ГАДЯЧ

(Отрывок)



от недавно мне пришлось проехать от Полтавы до Гадяча. Ехал я и в хорошую, и в дождливую погоду и всего изведаль.

Собираясь в дорогу, я думал поглядеть, как живёт народ, проникнуть в его сокровенные чаяния, распознать его надежды на

«лучшее время», которыми он себя тешит и бережёт для своих сыновей и внуков, ознакомиться с его удачами и неудачами, с его горем и счастливой долей... Было такое намерение, но путешествие окарнало его. Ехать на почтовых и знакомиться с народом — это не дело. Проведя полчаса на станции, пока вам запрягут лошадей, вы не успеете даже разговориться с незнакомым человеком, а не то что расположить его к себе, чтобы он исповедовался вам в своих грехах и тайных помыслах. Проезжая через село или местечко, вы разве только на глаз прикините, больше ли стало людей или меньше: то есть прибавилось ли новых хат или и те, что стояли, развалились. Остаются одни ямщики. Правда, вам приходится ехать с каждым по два-три часа; вы их спрашиваете-расспрашиваете, сколько вздумается, но всё же, как незнакомые люди, они таятся от вас. Разве уж натолкнётесь на разговорчивого да ещё на такого, у которого душа нараспашку, тогда уже вам повезло, залезаете ему в самую душу и вытягиваете из него тайную исповедь, которая хоть и не вполне, но всё же, как у человека близкого к народу, показывает вам,

чем он живёт, чем болеет и на что надеется. Но это бывает очень редко.

Путешествие, однако, дало мне возможность увидеть и услышать кое-что любопытное, о чём, поскольку у меня язык не на привязи, и хочу с вами поделиться. Говорят, что только дурной человек выносит сор из избы, но что поделаешь, если его набралось столько, что нельзя и дышать свободно.

Выехал я как раз в страстную пятницу. Стояла ясная погода. Весенние дожди давно уже прекратились; земля ссохлась, окаменела, потрескалась; буйный ветер мёл по тракту серую пыль.

Взяв на станции лошадей, я приказал ямщику гнать ко мне домой, так как нужно было кое-что взять в дорогу. Ямщик, доставшийся мне, был здоровенный мужчина, лет пятидесяти, в порванном подмышкой кожухе, в выбойчатых штанах и огромных сапогах. По виду он напоминал «русака». Длинное, обветренное лицо, редкие усы, редкая бородёнка клином, уже запорошённая сединой, греческий, с горбинкой, нос, глаза глубоко впавшие под насупленными бровями. Только чёрные волосы указывали, что если это и «русака», то южанин; на деле же он оказался обрусевшим украинцем, которых вы весьма нередко можете здесь встретить.

— Войдите-ка в дом,— говорю я ему, когда лошади остановились у моего жилья,— и выпейте рюмку водки.

— Спасибо, паныч! — отказался он.

— Почему? Может быть, греха боитесь, ведь сегодня страстная пятница. Так это же в дороге, а путнику всё дозволено.— И рассказал ему, как одна баба в светлое воскресенье, когда зазвонили к заутрене, схватила кулич, выскочила на улицу и, бегая взад и вперёд, уплетала его за обе щеки. А тут как раз идут люди. «Что, тётка,— спрашивают,— разве уже освятили?» — «Вот ещё! — отвечает баба.— Неужто не знаете, люди добрые, что в пути всё можно?»

Ямщик только усмехнулся.

— Нет, паныч, я совсем не пью.

— Совсем не пьёте? И никогда не пили? — удивлялся я.

— Нет, пил когда-то,— отвечает он, укладывая соломой в повозку,— и здорово пил! Бывало, целыми неде-

лями по шинкам таскался; месяцами люди трезвым меня не видели, пока однажды не приснился мне диковинный сон. Снится, будто сижу у себя в хате на скамье. Голова с похмелья болит, прямо раскалывается, сердце ноет-сосёт. Вот, думаю, коли бы хоть полчарочки, опохмелиться. Откуда ни возьмись дивчина, вся в зелёном и сама зелёная. Держит в руках бутылку и чарку и наливает мне, из бутылки тянется что-то густое, как постное масло, зелёное, как рута. Налила. «Выпей», — говорит. «Что же это?» — спрашиваю. «Горилка». — «Что же это за горилка зелёная и густая?» — «Это, — говорит, — не наша горилка, издалеца эта горилка, с самого Иерусалима, настоенная на волшебном зелье». Я взял и выпил. Как выпил — у меня так всё вокруг и завертелось. Кружится всё в глазах да кружится, сижу и ничего не вижу. Не знаю, куда и дивчина делась... Просыпаюсь, а солнце уже высоко, жена у печи возится. «Спи, — говорит, — спи, ещё не доспал!» Молчу я, весь трясусь, руки дрожат, в голове туман. Кое-как поднялся, встал на ноги, кости болят, будто поломанные. Всё же взял шапку да поскорей в шинок опохмелиться. Выпил чарку, да как начало меня рвать, чуть всего не выворотило. И вот с той поры — как рукой сняло! На горилку и смотреть противно, а как почую её запах — так к сердцу что-то и подступит и давит-давит, пока не стошнит.

Что это, — задаёте вы себе вопрос, — правда или враньё? В самом ли деле этого человека запой вылечил от запоя или это одни только «шалопутские» побасенки, только туман, который они напускают в глаза свежнему человеку?

Шалопуты!.. Что за диковинное слово! — спрашиваете вы. Откуда оно? Прозвище ли это человека или кличка зверя, и что под этим названием кроется?

Шалопуты — здешние раскольники. Некоторые приравнивают их к русским «скопцам», «беспоповцам», «людям божьим». Но что это за секта, по-настоящему никто не скажет. Её формы и принципы, если они только существуют, ещё не изучены. Эти люди отличаются от православных тем, что водки не пьют, не курят, не живут с женщинами, не бреют бороды. Собираются иногда в какой-нибудь хате, а то и в лесу, молятся, поют духовные

песни. Вот и всё, что о них здесь знают, и величают их — шалопутами.

И эти шалопуты, чем дальше, тем больше множатся, ширятся, и порой причиняют немало хлопот местной власти, которая в образе грозного станового налетит на смиренных бородачей, накричит, наорёт, заглянет в карманы широких штанов — нет ли там табаку? Дознается обо всём, да и снова умчится надолго, надолго... А иногда (не найдя табака) соберёт целую толпу мужчин и женщин, да и гонит партию в город «освидетельствовать», действительно ли они мужчины и женщины или, может, звери какие заморские? И странно: как ни разглядывает их лекарь, как ни осматривает, что с ними не делает, а на поверку получается всё то же, что это мужчины и женщины. Почему же у них нет детей с тех пор, как они стали шалопутами? А потому что шалопуты — ответят, и снова молва о шалопутах затихнет надолго.

Однако как же эти шалопуты пустили корни в таком народе, как украинский, где секты почти отсутствуют? Пустили, укоренились и всё больше разрастаются?

Чтобы хоть немного выяснить этот вопрос, необходимо трезво взглянуть на жизнь народа, разглядеть безотрадную картину его быта. А ради этого мы покинем на время странного ящика с его чудотворными лечебными средствами.

Первое, что вам бросается в глаза, это деление народных масс на два слоя, так как народный характер выковывался в неодинаковых бытовых условиях и вылился в две различные формы. Это — горожане и крестьяне.

Первые, живущие в городе и находящиеся под влиянием различных ненародных элементов — правительственных чиновников, обрусевшего панства, купцов и ремесленников, оторванных от народной почвы, стали терять свои типические национальные черты, — глумиться над ними, как над чем-то мужицким, пренебрегать ими. Заглянем внутрь, в душу. Что там? Может, найдём гармонию? Ничего подобного! Навоз, грязь невылазная, потеря чести, правды, веры на слово, обман друг друга, хвостовство этим и ко всему — пьянство и пьянство. Горькое, непробудное пьянство! Пьют не только мужчины, женщины, — пьют девушки, дети. Муж тащит от жены шин-

карю Гершке свой заработок, жена урвёт что-нибудь от своего убогого хозяйства и тащит туда же, о батраках и батрачках — говорить нечего. Все пьют, все напиваются допьяна и не стыдятся друг друга. Отец, не стыдясь детей, поднимает в хате пьяный шум, бьёт окна, миски, ломает ложки, скамьи, калечит жену; жена, пьяная, валяется в канаве; дочка — при отце или матери милуется с солдатом, сын — изобьёт порой и того и другую... Не одурели, не обезумели ли, чего доброго, народ, спрашиваете вы себя. Погодите! Вот выступают перед вашими глазами два чисто городских типа: «босьяк» и «проститутка». Первый — всегда в лохмотьях, его раздуло от водки, изуродовало; глаза как у сумасшедшего, мутные, воспалились, нос разбит, рожа исцарапана. Зимой и летом он проводит дни далеко за городом, на каком-нибудь пустыре, как зверь в берлоге. Там он спит, пока не зайдёт солнце. Едва солнце село, он расправляет свои одеревенелые ноги и плетётся в город... Берегись тогда, запоздалый гуляка, крепко держи портсигар или верхнюю одежду, берегись и ты, утомлённый ездой «Ванька», не спи; не успеешь и оглянуться, как придётся вести домой лошадь без уздечки.

А вот и проститутка. Днём сидит она у своего хозяина, по большей части еврея-шинкаря, и дремлет. Морда у неё испитая, в синяках, глаза заплывшие. Сидит и тоже дожидается, пока сядет солнце, а там — причесалась, нарядилась, умылась, набелилась и понесла своё грешное тело на широкую улицу... Стоит или ходит, не пропустит встречного-поперечного, распевает хриплым голосом зазывные песенки, пока не отыщет знакомого, какого-нибудь истаскавшегося чиновника-сорви-голову, которому всё равно, что жить, что умереть, или тайком сбежавшего из казармы волокиту-солдатика. Вот встретились, пошли... Немного погодя слышите плач, крик: «Босьяк, (такой, сякой) сын! Ой, спасите! Босьяк! Что ты мой платок берёшь? Спасите!...». Потом удары тяжёлой руки по щекам, глухой звук упавшего на землю тела, плач, вопли, крики — точно режут кого-то... И всё это разносится по улицам сонного города, и никто не спешит на помощь. Все хорошо знают, кто это и что это. Иногда на этот крик отзовется свисток ночного сторожа (знак, что он ещё не спит), болезненно резнёт он ваше ухо, промчится и затихнет где-то

далеко-далеко на выгоне. Порой случается, что всё обходится мирно. Тогда проститутка, как тень, быстро крадётся тёмными улицами за город, к самому крайнему шинку какого-нибудь Гершки или Лейбы, несёт свою убогую добычу. Сюда же сошлись уже и подруги, и они принесли свои «заработки». Вот входит Иван или Грицько, и они несут кто портсигар, кто уздечку, торбу с овсом... Всё принимает добрейший Гершка и расплачивается водкой, настоящей на дурмане, гнилой рыбой или заплесневелыми колбасами. И Гершке хорошо, и людям не плохо: Гершка купил всё за бесценок, люди напились и наелись... Пошли песни, танцы, с вывертами и выкрутасами, ругались одинаково: мужчины и женщины. И только на рассвете все уходят в свои норы и берлоги. Порождение тьмы — они боятся дня, как совы, и поскорей бегут от ясного света. Порой бывает: уморившаяся проститутка или босаяк не в состоянии уже добраться до своего логова, и утром вы видите, валяются, точно раскиданные колоды, в укромном местечке под плетнём или в бурьяне под деревом спящие люди — это они. Народ идёт на базар, обходит их, не глядит, не отплёвывается и не смеётся... Со всяким такое может случиться!

Если на горожан — людей совсем иного склада — зачатки другого быта, других обычаев, других житейских бурь накладывали свои следы, чеканили и выковывали свои образцы, то крестьяне как застыли на одном месте после казацких неурядиц, когда улеглись жестокие распри и началась тихая невозмутимая жизнь, так до сих пор и остались. В беспросветном мраке бьются они до сих пор со своей злосчастной долей, с холодом и голодом и порой запивают всё это «живительной влагой». Всё лето — на работе, на своём поле или на чужом — на заработках; всю зиму — лёжа на печи или слоняясь по шинкам. Гершка, носом чуя поживу, пристроился и здесь со своим советом да утехой. И хорошо ему, — за бесценок у него есть и куры, и гуси, и масло, и яйца, и всевозможные овощи и хлеб. А порой закинет удочку в мутную водицу, да и вытянет не козух, так свитку — и всё это незамедлительно отправится в город на базар... А Грицько или Иван, выспавшись хорошенько под лавкою, встанут, оглядятся по сторонам — ни свитки, ни козуха, ни денег



ПАНАС МИРНЫЙ

с мощной, если были — всё к чёрту пошло; почешет он свою взлохмаченную голову, хлопнет руками по карманам и поплетётся домой слушать женину брань или детские вопли.

— Вот так-то меня чёрт обморочил! — рассказывает он соседу через неделю-другую, очухавшись от хмеля и хорошо отлежавшись на печи.

— А может, мы этому чёрту за ворот зальём? — смеясь, отвечает вопросом сосед. — Ведь сегодня праздник.

— И я бы не прочь, да не при деньгах, — говорит незадачливый кутила, почёсывая затылок, — да...

— Подумаешь! Хватим по маленькой! — хитро играет сосед на слабой струнке соседа.

И глядишь — потащились вдоль плетня прямёхонько к Гершке. Там соберутся ещё трое-четверо. Выпили, закусили, разговорились. Жалуются на жизнь, потягивают трубки.

— Трудно стало жить. Ох, как трудно! — скажет один и сплюнет.

— Людей расплодилось столько, что и земле не под силу, — ввернёт другой.

— Да и порядки!.. — процедит сквозь зубы третий, не выпуская люльки изо рта.

— А тут ещё и крепаки, они нас зарезали!.. — забубнит четвёртый.

После слов этого четвёртого вам сразу уже становится ясным, кто беседует: казаки, государственные крестьяне, только не бывшие крепостные, крепаки. Между теми и другими идёт своя домашняя вражда... Вы спросите, почему? Потому, что колесница истории, освободив крепостных, круто повернула, точно переехала экономический быт народа, ломая в щепы его патриархальный уклад. Появились вдруг миллионы свободных рук, без кола и двора, без хлеба, без денег. Нужно было что-нибудь делать, чтобы есть. И вот эти рты и руки разбрелись по своим и чужим краям в поисках заработка, в надежде стать вскоре такими же хозяевами, как их вольные братья. Вот откуда и началась борьба за кусок хлеба, за жилище, за семью, за хозяйство. Каждый хорошо знает, что это за борьба...



Вот казаки, сходясь, и толкуют о том, что много нашего брата расплодилось, трудно стало жить, и идут искать простора за Кубань.

Крепостные тоже сетуют, только по-иному. Если их послушать, то беда не в том, что «наплодилось много нашего брата», а в самом укладе общественного быта.

— К чему земство? — рассуждают они. — Только лишние ссоры. А мировые? Если он добрый — то хорошо и нам, он и расскажет и объяснит, а злой — так хоть плюнь! То же и волостные. Налетел посредник или исправник, а у старшины и язык отнялся. Про писаря и говорить нечего: тот целится только на наш карман, как бы из него на сороковку за паспорт вытянуть. Пиявки! Что же нам делать, что говорить людям тёмным?

Как видите, жизнь не весёлая. Где же тот путь, по которому можно выйти из-под её гнета?.. Казаки нашли его за Кубанью и потянулись туда; им туда можно, — распродал своё — да и на все четыре стороны. Нужда крепостного не те песенки поёт: у него ещё нет ничего своего, у него всё казённое, за это ещё деньги выплачивать приходится. Оттого ему и нельзя на Кубань... И вот слабеет народ, кружась на одном месте, точно в омуте. А душа? И она просит пищи, и ей нужен хлеб. А где же ты для неё хлеба отщипнёшь? Куда приткнёшь, чтобы не торчала одна-одинёшенька в пустыне, как былинка? Вот тут-то и загвоздочка, да не какая-нибудь... Понемногу Гершка заливает эту душу своим пойлом, понемногу жизнь подтачивает молодую силу, и понемногу уходит душа сама в себя, ищет утехи не вокруг, а в себе, так в поисках и окунётся в шалопутство...

Вот потому-то и заинтересовал меня мой ямщик. И борода его, и «чудо», после которого он и в рот не брал хмельного, — всё рисовало в моём воображении шалопута, но я ошибался.

...Э-гей, ну! Гей, вы, удалые! — крикнул он зычным молодым голосом, размахнувшись над тройкой кнутом, и понёсся во весь дух по глухой и кривой улице.

— Что это за улица такая, глухая и кривая? — спрашиваю. — Почтовая, что ли?

— Нет. Это на Заичинцы. Сюда ближе, хоть и гора по дороге, да ещё и большая.

«Заичинцы, Заичинцы»... — вертится в уме.

— Это где Гнидка жил? — спрашиваю.

— Они самые.

Гнидка — это почти на всю Полтавщину известный разбойник, года два тому назад осуждённый на каторжные работы. Гнидка — тип исключительно интересный и для этнографа и для психолога.

Каким образом мирный пахарский быт с его поэтическим чувством, с его человечностью породил такого злодея, которому ничего не стоит проткнуть ножом горло младенцу, когда тот, проснувшись, начинает кричать в люльке; организаторские способности которого таковы, что в короткое время он сумел собрать целую банду разного народа и за полгода вырезать вместе с ней до двадцати душ в Зеньковском, Полтавском, а кажется, и Переяславском уездах?.. Вопрос, на который должен ответить наш этнограф. А психолог пусть разъяснит, какие чувства управляли этим разбойником, когда он омывал руки в горячей человеческой крови и вместе с тем сердечно любил свою молодую жену?

С моей точки зрения, Гнидка — бесталанное детище своего времени, искалеченное порождение своего быта, угнетённого всяким панством, где всё живое стало и стоит неподвижно на одном месте, пока не начало гнить в самом корне. Где загнивает одно и заражается другое, своим гноем заражая третье, — там в зловонной духоте, распространяемой гнилью, тяжело становится жить новорождённому, нечем дышать, некуда убежать, чтобы не загнить самому... И вот он начинает борьбу за своё место, за своё право на жизнь; начинает искать для себя путь. А как найти его без образования, как найти его в том непроглядном мраке, который окутывает всё и всех? А тут встаёт такой вопрос: не я задавлю, меня задавят! И бросается человек, как хищный зверь, на всё, купается в крови людской и находит в этом утеху, поддержку своему горячему сердцу... Если кого любит, то любит во всю мочь, как Гнидка свою жену; что возненавидит — ураганом сметёт со своего пути и удивляет людей безумными поступками.

И в самом деле, Гнидка удивил всю Полтавщину, всколыхнул снизу доверху мирную жизнь хлебопашца;

его имя разнеслось от села к селу, от города к городу и, ширясь, обрастало такой славой, какая, может быть, Гнидке и не снилась.

Одни рассказывают, будто Гнидка ещё сызмалу, когда был подпаском, приучал себя к этому ремеслу. Бывало, поймает ягнёнка, снимет заживо с него шкуру, да и примется подгонять кнутиком... Другие болтают, будто он издевался над своею матерью: поставит на горячую сковороду и поджаривает, чтобы чего-нибудь не рассказывала. Третьи — как любил свою жену, только в её присутствии хватило у него сил рассказать о своих преступлениях; говорит, а сам горько-горько плачет.

Так народная фантазия начинает украшать, хоть и жестоким, но всё же поэтическим вымыслом своего лютого врага. И кто знает, кто поручится, что лет через двадцать — тридцать разбойник Гнидка не займёт место рядом с каким-нибудь Кармелюком, Гаркушею, Засореным, которые прославились по всей Украине как защитники убогих и бесталанных от зависти и гнёта богатых и счастливых? Народ чувствует глубоко... Он прощает своим самым лютым убийцам и очень часто называет их несчастными, бесталанными, не прощает только своим исконным врагам, гнетущим и разоряющим его бесприютную жизнь...





## В СТЕПИ

(Отрывок)



там, над вашей головой, чёрным шатром расстилается тёмносинее небо с золотыми звёздочками. Сколько их там? И каких только нет? То разбежались далеко в разные стороны, стоят и мигают вам своим светом, то сбились в кучки и поблёскивают неясным сияньем, а то слились в длинную-предлинную вереницу и беловатым поясом перетянули всё небо. Песку, кажется, меньше на земле, чем звёздочек этих в какой-нибудь части неба. И всё это живые существа, как и наша земля; каждая из них живёт своей жизнью, тянется к своей подруге, как наша земля к солнцу. И всем им есть место в том бесконечном краю. Каким же огромным должно быть пространство, разместившее их у себя? Чем ты измеришь эту бесконечную пустыню, именуемую вселенной? И мыслью не постигнешь эту громадину без конца и края!.. А там, за нею, что? — Да ничего, это всё она — бесконечная вселенная, пустыня. Это только мы здесь, на земле, привыкли видеть начало и конец всему и думаем, что всё на свете должно их иметь. Что же такое здесь ты, пылинка мироздания, царь земли — человек? Если твой разум не в состоянии постичь этого простора вселенной, твои глаза не могут проникнуть в его пустоты, твоя мысль — долететь до его края, скажи же мне, что ты такое со своими высокими мыслями, со своим горделивым разумом? Куда ты тянешься с ними, куда лезешь?.. Жизнь земли

определила твою жизнь, дала тебе пищу, из неё выработала кровь, вылепила в твоей голове мозг, сказала: думай им!.. И ты, двуногое животное, высоко подняв голову, возгордился. Этот бесконечный свет-мир — только для тебя. Всё живое, всё, что родит и плодит сыра земля, — твои слуги, тебе на потребу!.. Опомнись и оглядись вокруг! Та земля, что твою жизнь зародила, она её и разорит, согнёт её страданием, подкосит болезнями, уничтожит смертью! «Земля еси — в землю отыдеш!» и твой гордый разум — мозг, источит гадкий червь, которого ты при жизни своей топтал ногами. Что же ты за царь такой, — скажи мне? Что ты за сила такая, если себя ни от чего не можешь защитить? Брось же свои высокие мысли, гордые намерения и оглядись вокруг. Обрати взор свой назад, в прожитые тобой века, в свои минувшие столетия... Что ты там видишь?.. Смуты и междоусобицы, битвы и сечи... Кровь братская краснеет на тебе до сих пор... Зачатый в крови, вскормленный и вспоенный ею, ты ею живёшь и по сегодня; построив свою жизнь на хищничестве, ты эти хищные замыслы перенёс и на общественные дела: разделил братьев на лагеря, разбил их на колена, поставил одно против другого и радуешься их препирательствам, позабыв о братстве. Были у тебя свои вожаки, появлялись пророки, были и пророки великие. Взывали они к тебе своим огненным словом, но ты не проникся их святой верой; ты принял мираж за душу и, прикрывшись сверкающими нарядами, согревал в сердце свои хищные замыслы. Жизнь твоя и поныне — прежняя! А взгляни на мир, на его пышную красу, на его беспредельные пространства. Кажется, всего много — и красоты, и богатства. Для всех они одинаковы, всем бы их хватило...





## СОН



Серый туман клубился над нашей землёй; тяжёлые, грязные тучи устилали высокое небо; холодный ветер перегонял их с одной стороны на другую, от его дуновения время от времени эта грязная завеса разрывалась и из-за неё украдкой выглядывал небольшой краешек голубого неба, чтобы через минуту снова скрыться за тучей, потонуть в её серой бездне... Солнца не видно, не хватает света... Серо, дымно, тягостно!.. Разве только глубокой ночью ударит крепчайший мороз и, разогнав тучи и белым инеем разостлав по земле туман, усест небо светлыми звёздами, и мерцают они, поблёскивая, как голодные волчьи глаза.

И это длилось долго. Годы брели своей тихой поступью, десятки, сотни лет тянулись чередой, и не приносили они ни минуты ясной, ни света весёлого. Тяжёлый мрак стоял над краем и своей темнотой покрывал его.

Мрак — это враг мира. Во мраке заводилась только всякая нечисть, пакостившая и землю тучную и людей, придавленных темнотой. Землю устилали сплошные сорняки и лягушечьи норы, а в душах человеческих вили гнёзда силы тёмного царства: злая зависть, слепая вера и безнадёжность извечная.

Злая зависть будила вражду между людьми и мешала им придти к согласию, единодушно за что-нибудь постоять; слепая вера губила душу, не давая возможности подняться вверх, увидеть иные миры; а безнадёжность извечная

связывала силы, мешая добиться лучшей участи... Не удивительно, что в этих условиях люди чахли, спали.

Спал и я. Спал тяжёлым, беспробудным сном. Иногда во сне зарождались в голове крошечные ростки каких-то таинственных помыслов, чего-то такого, что не удавалось ни умом охватить, ни глазом окинуть. Потом эти ростки, цепляясь один за другой, сплетались в обрывки чего-то, где-то виденного или давно слышанного, а ещё немного погодя эти обрывки мыслей, связываясь один с другим, развёртывали перед сомкнутыми глазами прекрасную картину какой-то иной жизни, — сокровенной, как и этот сон, блестящей и радостной, как и его порождение.

Мне привиделось: солнце тёплое и ясное, небо высокое и голубое, убранный среди ночи тысячами тысяч звёзд, сиявших своими весёлыми глазами и проливавших в душу тихую отраду.

В этом светлом мире, под этим небом, высоким и чистым, купалась в довольстве блаженная страна; высоко вздымались тёмные леса; колыхались длинным колосом всякие полезные злаки; зеленели вокруг сады-вертограды, и поблёскивали из-под зелёных одежд высокие нарядные домики сёл и городов.

И людей я видел — не хмурых и неприветливых, не согбённых и придавленных нуждой и бедностью, не боязливых и грязных, а высоких и статных, со светлыми и весёлыми глазами, облачённых в чистую и хорошую одежду, каких-то в одно и то же время и горделивых и приветливых. Вероятно, им хорошо жилось среди этих полей широких, лесов зелёных, садов кудрявых.

— Кто вы такие? — расспрашивал я в удивлении.

— Ты хочешь знать, кто мы? Пойдёшь с нами — тогда сам увидишь.

И они повели меня с собой.

Я видел их домики, утопавшие в садах, высокие, просторные и чистые; чистые и снаружи и внутри.

В каждом таком домике жила семья: отец и мать со своими детками. Пока дети были маленькими, они находились на попечении матери; она же и за домашним хозяйством присматривала; а отец, отдав положенное время работе, помогал ей, потому что и вокруг дома

должно быть чисто, и в саду как следует прибрано — дорожки подметены, плодовые деревья обмазаны и подрезаны; клумбы привлекали взоры своими пышными, душистыми цветами, а на огороде не было места сорнякам, чтобы не глушили они полезные растения, чтобы созревали на солнце всякие овощи... Работы немало! Когда же дети подрастали, тогда и они, вернувшись из школы домой, помогали отцу и матери в их трудах.

— Вот так мы и живём семьями, — рассказывали они мне. — Когда кто-нибудь из детей достигнет зрелости и пожелает жениться или выйти замуж, то мы тут же отделим их, чтобы не тесниться и чтобы молодая пара строила свою жизнь по своему желанию, как хочет. Отведём в поле участок земли под усадьбу, всем обществом построим домик, разобьём садик... С богом, детки, обживайте новое жилище!

— Это хорошо у вас заведено, что всем обществом вы своей молодёжи помогаете стать на ноги, — говорю я им.

— А как же иначе? — спрашивают они.

— У нас это по-другому делается: только свои родные помогают, — говорю я.

— А разве мы чужие друг другу? Мы же все одного общества; сообщая обо всём общественном и заботимся. Молодые, когда подрастут, уже не только дети своего отца-матери, но становятся такими же, как и все, гражданами. Устроить как следует их жизнь — это дело общества.

— А у нас, — отвечаю, — на это по-другому смотрят: зачем я буду тратиться на чужого, надо о своём позаботиться!

— Но у нас, — говорят они мне, — нет ничего *своего*, всё — *наше, общественное*.

— Как? — удивился я. — И эти домики с садами? И эти поля, которые я видел? Всё общее, общественное?

— Всё, всё! — ответили они. — У нас нет ничего такого, что было бы *моё* или *твоеё*, но всё для всех, общественное.

— Вот как! — удивился я. — А у нас говорят: своя рубашка ближе к телу!

— И мы так думали прежде, у каждого своё было, каждый глядел за своим. Но когда увидели, что это ведёт



только к несправедливости — одному даёт много, а другому мало, — то и отказались от этого. Нет ничего лучше и правильнее, если всё, что у кого есть, является не твоим или моим, а всех сообща. Тогда не будет ни богатого, ни бедного, все будут равны. Пока ты жив и здоров — работай и живи на свои заработки. А когда стар стал, обессилен — о тебе общество позаботится. Для этого у нас особые учреждения созданы.

— А у кого же я заработаю? — поинтересовался я.

— Как у кого? — переспросили они меня. — Разве в общественном хозяйстве мало работы? Бериись за то дело, какое ты знаешь, и работай. Вот тебе из общественных средств и заплатят, сколько полагается за такую работу. Общественная работа у нас ведётся так, чтобы она не лишала человека здоровья и силы, но укрепляла бы их, потому что без работы, как и без разума, сила вянет. Тяжёлая работа — на неё и времени меньше определено, а на лёгкую — больше. И плата за работу не одинаковая: за тяжёлую работу — большая плата, а за лёгкую — меньшая, однако всё же такая, которая обеспечивает тебе жизнь без нужды и недостатков.

— Это хорошо, — говорю я, — что вы так свою жизнь наладили. Недаром все вы такие бодрые и весёлые!

— Ну, пойдём, — говорят, — посмотришь наши общественные учреждения.

И они повели меня по селу, в самый его центр.

На просторной круглой площади высоко вверх поднималось много огромных домов. Верхушка церкви чуть не под самым небом поблёскивала на солнце своими золотыми куполами и крестами, огромное трёхэтажное строение привлекало взор своей круглой формой, в самой середине, на широком постаменте, возвышалась статуя красивой женщины, держащей в одной руке раскрытую книгу и показывающей пальцем другой руки на книгу малышам, стоящим перед нею.

— Это наша школа, — рассказывали мне, — здесь наша детвора учится всему; набирается ума. Здесь и грамоте обучают, и тому, как надо на свете жить, как с людьми себя вести, и ремеслу всякому, чтобы каждый, окончивший школу, имел возможность заняться делом, к которому у него лежит душа. Если же молодёжь захочет дальше

учиться, то для этого при школе создано высшее учреждение, где видные учёные рассказывают обо всём подробнее и обстоятельнее.

Я заметил в больших окнах этого здания группу стриженных и с косами детских головок и спросил:

— У вас мальчики и девочки учатся вместе?

— Конечно, вместе!

— И взрослые вместе?

— И взрослые. Каждому надо знать всё то, что знает другой.

— А если... — начал я и запнулся. — Если случится... девушка полюбит юношу?

— Но разве стыдно любить?

— Конечно, — отвечаю, — не стыдно; а если, бываст... — согрешат? Кажется, лучше бы уберечь от греха, — продолжаю дальше.

— Разве запретом от этого уберёжешься? — говорят мне. — Прежде, когда мальчики и девочки учились раздельно, больше этих грехов случалось, а когда стали вместе учиться, тогда это как-то само собой вывелось. Молодёжь увидела, что не следует идти этой дорожкой, и сама себя сдерживает. Ведь кто лучше всего в состоянии себя сдерживать, как не сам? Своя воля и своё желание — основа сдержанности!

— Конечно! — согласился я, удивляясь, что у нас люди не дошли ещё до этого.

Мы пошли дальше. Два прекрасных дома со стеклянными крышами стояли один возле другого, поражая своей красотой. Первый был кругом обведён портиком с высокими каменными колоннами, разукрашенными всякими искусными орнаментами, а другой привлекал внимание разными фигурами и на стенах, и над окнами, и над дверями. Высокая башня, стоявшая на широкой арке, перекинутой с одного дома на другой, высоко поднималась вверх и соединяла оба дома в одно строение. Под остроконечной макушкой этой башни находились огромные круглые часы, а под ними в нише стояла статуя другой красивой женщины в длинной одежде.

— Этот первый дом, — рассказали мне, — школа, где учат рисовать, а второй — тоже школа, где обучают пению и игре на разных инструментах. В этом втором доме

есть большой зал, где мы собираемся, чтобы и свои общественные дела обсудить и душу отвести, потешить себя всякими развлечениями — музыкой, пением, представлениями, — а их у нас устраивают каждое воскресенье или в праздники то свои ученики, то свои или приезжие актёры.

— Как видишь, — добавили они, — всё это — учреждения для ума и для души, чтобы и она сиротой не прозябала. А вон там, подальше, — это уже всё необходимое для повседневной жизни. — И они повели меня дальше.

Длинные и просторные, словно манежи, здания стояли одно возле другого; они были обращены на улицу своими большими окнами.

— Это что же, магазины? — спросил я.

— Нет, это мастерские. Вот здесь из дерева изготовляют повозки и колёса и мебель всякую, рамы оконные — всё, всё, что требуется в доме или в поле. Вон там, где чернеют трубы на крыше, вырабатывают изделия из железа или меди, там и куют и отливают. А тут — камень обрабатывают, пилят, обтачивают, вырезают из него всякие фигуры; здесь из глины посуду изготовляют; там пряжу прядут и ткут, там одежду шьют всякую; там кожаные изделия вырабатывают, сапоги шьют, башмаки. По эту сторону — магазины, куда на продажу поступает всё, что в мастерских изготовят; в том здании, которое тянется до самой церкви, больница, где всякие болезни излечивают и калеки и инвалиды на общественный счёт живут. А там, в самом центре сада, видишь — вон высокая труба, там у нас паровая машина, которая и воду с большой глубины из-под земли достаёт, и по трубам куда надо подаёт, и энергию для всяких станков в мастерских производит, и электрический свет даёт, освещает повсюду, где нужно.

— Ну и денег же тут вложено! — с удивлением воскликнул я. — Сколько же их понадобилось, чтобы построить всю эту громадину, да ещё пустить её в ход. И где вы столько денег добыли?

Те, кто сопровождал меня, улыбнулись.

— Этими вот руками и этими головами, — ответили они. — Самый главный капитал в этом деле — свой разум и свой общественный труд. Только этим мы всего и достигли.

— Как, и без денег? — даже вскрикнул я.

— Хотелось бы тебе сказать, что без денег. Да только люди ещё не отвыкли переводить свой труд на деньги, вот без них и не обошлось. Не всё, что нам понадобилось, можно было самим изготовить. Вот хотя бы некоторые машины — их и пришлось покупать; а всё остальное своими руками делали.

— Но ведь вы платили тем, кто всё это делал? — расспрашивал я.

— Конечно, платили. Мы же тебе сказали, что, пока люди свой труд переводили на деньги, и нам приходилось платить работникам за их труд деньгами.

— Ну, то-то и есть. Откуда же вы эти деньги взяли?

— Частично из общественных средств взяли, частично сами граждане свои сбережения сложили, а часть заняли у соседей на выплату. Конечно, всё это не сразу делалось. Сначала одно сделаем, а там надумаем другое, обсудим хорошенько, как его лучше сделать, и за другое принимаемся. Вот так полегоньку да помаленьку всё это и создавалось. Теперь у нас уже всего достаточно, что нам нужно, ещё и излишки на сторону продаём.

— А сами-то вы всё даром получаете? — спросил я.

— Кое-что даром. Например, все учатся — даром, лечим всех — даром, калек и престарелых содержим — даром; остальное же даём за деньги. Сначала думали своим всё давать даром, потому что каждый на благо общества трудится, но увидели, что это дело не подходящее, ведь нужно было считаться с тем, что каждый хочет того, что ему нравится. Одному по вкусу ржаной хлеб, а другому булку подавай; тот в сапогах ходит, а этот в башмаках; тот привык к простой одежде, а этот шёлковую полюбил да ещё со всякими затеями. А ведь цена-то на всё это не одинаковая. Вот мы тогда и условились: чтобы не было споров, почему тому такое дают, а этому — другое, лучше сам себе выбирай, что тебе нравится, только за всё плати деньги. Правда, для своих всё идёт по своей цене, во что оно себе обошлось; излишки же сбываем с накидкой, потому что ещё не весь капитал выплатили, который заняли, и сами должны проценты платить на этот капитал.

— Ну, а как же у вас ведутся полевые работы? — поинтересовался я.

— Так же, как и в мастерских, сообща. Сообща землю обрабатываем, сообща хлеб убираем и в общественные амбары засыпаем, пока не перемелем; а там — часть на себя уходит, а избытки продаём. На полях у нас хутора заведены, чтобы не приходилось далеко перевозить. Там, в этих хуторах, и амбары, там и машины всякие для полевых работ — паровые плуги, сеялки, жатки, молотилки; там и скотина находится и из молока сыр, масло изготавливаются. Всё, что для себя понадобится, завозим в магазины, а остальное продаём. Вот так, как видишь, мы всё сообща и делаем, ну и живём понемножку, никого не трогаем и ни с кем не тягеемся, потому что всё состояние у нас общее, а не *моё и твоё*, ну и не из-за чего спорить.

— Хорошо, — говорю, — у вас. Видать, у вас хорошие начальники, заботятся о вас.

Они так и рассмеялись.

— Какие начальники?

— Как, — говорю, — какие? Те, что над вами стоят, судят, порядки устанавливают.

— Ну надо же такое придумать, прямо не по-людски! — отвечали они. — Мы таких, которые бы во всяком деле распорядились, сами из своей среды выбираем на год или на сколько там определено; а таких, которые бы над нами стояли, нам не нужно, потому что мы все — сообща — всему голова, и над нею никто не должен начальствовать.

— Но бывают же у вас разные преступники, грабители, воры? Надо же таких наказывать, а для этого нужен суд.

— У нас грабителей и воров нет. Если каждый удовлетворён всем, что ему надо, так зачем же ему у другого силой или тайком брать? Этого у нас не водится. Нет и тяжких преступлений, но, конечно, бывает же у людей, иной раз кто-нибудь не сдержится, когда его насмех поднимут, обругает, а то и ударит. Ну, такого судят. Прежде всего, свои же товарищи, своим судом, а если он их решения не послушается, тогда выносят на суд общества, и что общество постановит — так уж тому и быть!

— А если, — спрашиваю, — такой не подчинится и решению общества?

— Ну, если не подчинится, то такой недостоин быть в обществе. Пускай себе другое место ищет.

— А свободы никого не лишаете?

— Свобода, уважаемый, — обернулся ко мне один старичок, — самое главное и самое святое право человека, и никто её у тебя отобрать не может. Хочешь ты быть заодно с нами — так и будет по твоей воле, и никто тебя к этому принуждать не имеет права, а не хочешь — ищи себе такую компанию, где тебя примут. Если люди уважают твою волю, то этим самым заставляют и тебя уважать волю людей, волю общества, потому что это — воля не только твоя, но воля всех. Тот, кто не считается с волей другого, не найдёт правды на свете, и будет жить одной кривдой, и только навредит себе и людям. Знай, сынок, — выкрикнул этот старичок, — всё, что ты здесь видел, всё наше достояние и согласие между нами мы добыли только одной волей. Она, святая, помогала нам до всего этого дойти. Уважай же её, сынок!..

Перед глазами у меня что-то повернулось, и все эти видения исчезли. Я остался один и, удивлённый и зачарованный тем, что мне привиделось, стал складывать песню о воле. «Воля-волюшка! Святая и тихая, приди к нам! — звал я. — Помоги нам искоренить неправду, что гнездо свила в душах наших и, как шашель, источила наше сердце. Приди же к нам, правда святая, и помоги устроить нашу горькую жизнь!»

И вот... опять мерещится мне страшная тьма, как глубокой ночью или в могиле... Тихо... глухо... страшно, прямо сердце стынет. Всё спит мёртвым сном. Вот послышалось — где-то зашуршало... Заскреблось... Что это? Отвратительный червь начал точить глухой гроб или хитрый вор полночный — мышь прогрызает себе лазейку в гроб?.. Вот откуда-то сверкнул свет... раз... и второй... И как бабахнет! Заколыхалась тьма и вихрем закружилась; сизой молнией взвился свет перед глазами, ослепил... я в беспамятство впал... Когда я очнулся и взглянул, то увидел, что всё вокруг меня вертелось и рушилось... Прогнившие замки некогда добротного рубленой хаты разошлись, стены стали разваливаться; потолок закачался и, завалившись набок, кувырком полетел прочь. Через развёрстую крышу какое-то чёрное чудище влетело в комнату и опустилось перед моей постелью.

Я увидел перед собой женскую фигуру, злую и страшную. Нечёсанные волосы на её голове, словно включенная кудель, разлетались во все стороны; глубоко запавшие глаза из-под бровей, стоявших торчком, светились хищным огнём; ввалившиеся щёки чернели жилками; губы синие, как печёнка, крепко стиснуты; нос острой иглой наклонился вниз, а подбородок кривым шилом поднялся вверх. Сухое, как скелет, её тело было прикрыто такими лохмотьями, что они от дуновения лёгкого ветерка распадались, осыпались, как пепел, на пол. На левой руке у неё висела перепиленная цепь, на обеих ногах лязгали обрывки железных оков.

— Кто ты и чего тебе надо от меня? — испуганный, едва вымолвил я.

— Иди за мной! — прошипела она, как змея, и схватила меня своей рукой, холодной как лёд, с острыми чёрными когтями.

Я поднялся с постели и, весь дрожа, кое-как поплёлся за нею.

Она привела меня на высокую гору и поставила на самой вершине.

— Гляди! Посмотри! — ткнула она пальцем.

Я посмотрел... Вокруг, сколько глазом окинешь, раздавался треск пожара; чёрный дым огромными клубами стлался по земле, а высокое небо покраснело, как раскалённое железо. Слышались безумные крики людей — одни выли и причитали, другие хищно хохотали.

— Что же это такое? — не проговорил, а выкрикнул я.

— Это правда карает за все обиды, какие люди причинили людям! — прошипела она.

— А это что? — чуть не плача спросил я. — Я вижу схватку ужасную, побоище злое. Люди схватились с людьми, кровь льётся рекой... Она залила всю землю.

— Это люди за меня дерутся! — сказала она.

— Кто же ты, такая злая и страшная? — вне себя воскликнул я.

— Сво-бо-да! — протяжно проговорила она.

— Ты... свобода?.. — начал было я.

Она приставила к моему рту свою руку, сухую, с крючковатыми пальцами, и зло прошипела:

— Тс-с! Молчи!.. Я всё знаю. Ты думал увидеть меня молодой и нарядной... с весёлым лицом и добрыми глазами,— и она хищно, как сова, захохотала.

— Я была когда-то такой,— начала она опять.— Но люди на долгие века упрятали в неволю... гноили меня в сырых погребах под землёй... томили по каменным темницам, заковывали в такие тяжёлые цепи, что я в три погибели сгибалась. Погляди, что стало с моими пышными и богатыми нарядами? Одни истлевшие лохмотья! Взгляни на мою красу пригожую, какая она теперь стала? Одни кости, обтянутые кожей, огрубевшей, как кора!.. Грызла меня нечисть всякая, черви гадостные, да... да... не догрызли, не источили... выбралась я всё же! — громко вскрикнула она, хищно сверкнув глазами.

Потом тяжело вздохнула и опять тихо начала:

— Ты думаешь, что это меня так, подобиру-поздорову пожалели и выпустили на волю? Нет, у тех, кто надо мной измывался, нет жалости в сердце к такой особе, как я! Только отверженные жизнью по своим запустелым домам вспоминали меня и в своих книжках, которые немногие могли прочесть, возносили мне хвалу и в мыслях своих строили для меня роскошные палаты к тому времени, как я приду... И правда, отверженные! И такие же отвергнутые певцы складывали обо мне громкие песни, как будто песнями можно добыть свободу! Да ещё убогие хлебоборобы, и те, что с голоду пухли, вздыхали по мне... Вот они-то теперь и зашевелились и встали... Не удивляйся же, что они, тёмные и необразованные, с такой яростью взялись за дело... Пойдём поможем им! — вскрикнула она и потянула меня за собой.

Голова у меня закружилась... Я упал и... проснулся. Всё моё тело дрожало, покрылось холодным потом; сердце бешено стучало, а душа страшно ныла. Я едва дышал.







## РАБОТА

(Набросок)



ет, не Слава — эта пьяная шинкарка<sup>1</sup> — не-  
удержимо влекла меня в мои молодые годы  
к работе. Моё маленькое сердце ещё с дет-  
ских лет пестовала любовь к тебе, мой обез-  
доленный край! Эта любовь навевала плени-  
тельные мечты и будила мысли к работе. Как  
маленькие ласточки, они носились и щебетали мне гром-  
кие песни о седой старине, о том, как когда-то наши деды  
бились с вражьей силой за правду и волю.

Очарованная этими битвами и восхищённая рыцарской  
борьбой, моя душа рвалась к делу, чтобы хоть чем-нибудь  
послужить тебе, мой родной край!

— Долби, долби, юноша! — что-то тихонько нашёпты-  
вало мне в уши. — Знай, что дождевая капля долбит и  
твёрдый камень...

Кончились эти чарующие сны и детские песни-забавы,  
едва лишь настоящая жизнь встала перед моими глазами,  
с её убожеством и с темнотой порабождённого народа, ко-  
торый прозябал в нищете и лишениях, растеряв славных  
некогда заступников своих по глухим просторам России  
и в глубоких снегах Сибири... Опустел, пришёл в упадок  
родимый край, и внуки этих заступников, отшатнувшись  
от своих и пристав к чужим, способствовали его упадку.  
Чёрной стаей хищного воронья покрыли они вольные сте-  
пи и, поделив их между собою, густо засеяли поля злыми  
семенами тяжкой неволи...

Страшным видением эта нынешняя жизнь предстала передо мною и страшила мою юную душу своими злодейскими повадками...

— Что будет? и как же дальше будет? — допытывалась моя утращённая душа, но, приучившаяся ещё сизмальства к работе, она пересилила ужас и — тайком от всех, тёмными ночами — собирала свои ясные мысли, напрягала ослабевшую силу и стала излагать происшествия этой злой жизни частыми строками на бумаге.

То было утешением для меня среди этой убогой жизни. И когда узнали о том сторонние люди, когда прочитали они грустные рассказы о горе людском, о горестной доле порабощённого края, сразу воскликнули: «Да ведь это жизнь, сама жизнь встала перед нами и колет глаза нам злыми своими причудами. Слава рукам, которые описали её! Слава труженику, который извлёк это из тайников человеческого духа и вывел на белый свет как горькую укоризну нам, что мы не жили, а прозябали, что заботились не о единопдушии и общем благе, а об одной только своей корысти!»

Возбуждённые и ободрённые такими возгласами, мысли за клубились в моей голове и ещё неудержимее влекли мои руки к работе. Сладким хмелем веселили они моё сердце, запахами родных цветов пьянили мою душу, жалобными напевами очаровывали мои чувства... Зачарованный и опьянённый, я брался за свою работу, радуясь, что хоть малую, чуть приметную каплей она пойдёт на пользу родимой стране и её порабощённому народу.

Незаметно промелькнула и эта летняя пора моей тихой жизни, как всё на свете проходит. Всё, что довелось накопить за это время, — сложено в копны, свезено, обмолочено, провеяно... Чистое зерно пошло людям, остались только солома и мякина... Подползает осень с её ненастьем — эта стариковская пора, с её недомоганиями и болезнями. Мысли, которым годы подрезали крылья, не поднимаются высоко, не возносят желаний в широкие просторы ясного неба, а обвивают побелевшую голову тяжкой печалью и мелкими заботами стариковской жизни...

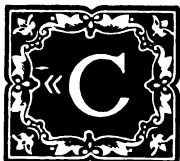
Тоскливо, безрадостно!..

И только ты, моя давняя привычка к работе, приносишь моей душе утешение, а сердцу — радость, только ты среди непроглядного тумана-тоски, окутывающей меня, указываешь полоску света на застланном тяжёлыми тучами нынешнего времени небосклоне!



---

## РОДНОЙ ЯЗЫК



амое большое и самое дорогое достояние каждого народа — это его язык, этот живой тайник человеческого духа, его богатая сокровищница, в которую народ складывает и свою прошлую жизнь и свои надежды, разум, опыт, чувствования.

Учась с малых лет разговаривать, мы вместе с теми словами, которые приходится запоминать, приобретаем и понимание того, что эти слова означают — название какого-либо предмета или мысль о чём-нибудь. Иначе говоря, мы вместе со словами набираемся и ума, перенимаем чужие мысли, научаемся сами думать и излагать эти мысли словами. Наши дети в свою очередь прибавляют к полученному от нас богатству языка свои выражения того, что им привелось в своей жизни узнать, передумать, пережить... Таким образом и складывается человеческий язык, который с каждым новым поколением всё больше и больше ширится — вырастает.

Когда люди открыли способ обозначать слова знаками, когда у людей возникла письменность, тогда она ещё больше помогла им развить свой язык, потому что в народе появились такие мастера, которые всю жизнь свою посвятили этому делу. Одни сочиняли звучные стихи, прибавляя этим красоты и выразительности языку; другие писали яркие рассказы, обогащая язык неумирающими образцами; третьи — учёные — объясняли всякие тайны, которых

так много на свете! — и этим ширили человеческие знания.

Многие такие мастера-писатели помогали своему народу развивать его язык и этим высоко подымали его среди других народов, ибо немало славится среди людей тот народ, у которого язык развит и обогащён произведениями литературы. Если мы с этой стороны станем рассматривать свой родной язык, то должны будем отметить, что, хотя у нас тоже есть немало писателей, обогащающих его своими произведениями и работающих не покладая рук на взрыхлённой уже письменностью ниве родного слова, — всё же положение нашего языка не достигает той высоты, при которой и другим народам пришлось бы широко пользоваться его богатствами.

Нечего и удивляться этому, так как [наши] писатели начали прикладывать свои руки к родному слову немногим более сотни лет назад, тогда как у других народов они работают больше тысячи. Нужно отметить ещё и то, что вначале за это дело брались одиночки-народолюбцы, а остальные, воспитанные в школах, куда родной язык и близко не подпускался, считали его языком неуклюжим, мужицким, который до известного времени должен служить для домашнего обихода, но не для широкого поля просвещения и науки. И теперь ещё немало есть своих умников, которые, забыв, какого они роду и племени, пренебрегают своим родным языком, пророчат ему короткий век, до той поры, как простой народ просветится учением и отбросит тогда свой язык, как ненужный, пренебрегая им, как ни на что не пригодным.

Такие вещи мы слышим уже давно. Но не остановили они любви подлинных народолюбцев к родному слову, не затмили их веры в будущее своего языка, который и без литературы, но одной творческой силой народного духа создал такие яркие образцы нежных песен, глубоких дум, интересных сказок, пословиц. И эта же творческая сила влекла искренних народолюбцев к родному слову, вдохновляла их на труд, помогала выполнять свои творческие замыслы.

Время шло, а число этих народолюбцев-писателей, невзирая на всякие притеснения и пророчества своих и чужих умников, всё больше и больше возрастает; труды их

занимают всё более широкую полосу, и мы теперь видим, что и другие народы начинают интересоваться произведениями наших выдающихся писателей и переводить их на свой язык, чтобы познакомиться с их самобытной творческой силой и теми приобретениями, которые они присоединяют к тому всемирному благу, которое учёные называют культурой.

А это показывает, что мы после долгого сна пробудились и начинаем видеть и доказывать миру, что мы, как и другие, хотим жить и умножать это всемирное благо — культуру. И на этом пути не остановят нас пророчества умников, потому что творческая сила ожила и воскресила родной язык.

А чтобы наши умники знали, что такое «родной язык», мы должны привести здесь перевод небольшого по размеру, но безмерно глубокого по содержанию произведения великого писателя братского нам народа, Тургенева, который вот что сказал о родном языке:

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! — Не будь тебя — как не впасть в отчаяние, при виде всего, что совершается дома? — Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»<sup>1</sup>







ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ  
ФРАНКО







---

## ПРОГРЕССИСТ

Фадей роди Ивана,  
Иван роди Петра:  
От дедушки болвана  
Какого ждать добра?

*А. С. Пушкин*



обрейший человек — и каждый это знает!  
Чужого не возьмёт, своё не уступает  
С давнишних пор!

Он скажет каждому в глаза легко и смело:

«То так, а это так!» и «Не твоё, мол, дело»,  
И — «Кончен спор!»

Честнейший человек! Учёностью напитан,  
Так убедительно и веско говорит он,  
Что просто страх!

Он будет вас корить, не думая нимало  
О том, что логика отнюдь не ночевала  
В его словах.

Да только вот беда, что этакий мальчишка,  
С губ молока ещё не вытер, а мыслишка  
Уж в нём сидит:

Едва усвоил он познания начатки,  
А думает, что все разрешены загадки,  
И вот шумит, шумит.

Теперь пожалуйста! Он знает всё, что будет  
И про любой вопрос авторитетно судит —  
Что ни задашь.

Невольно думаешь: «Премудрость в нём отколе?  
Не с тех ли дней, когда ещё твердил он в школе  
Аз-буки-паш?»

Нет, шутки в сторону! Он рассуждает здраво.  
Наш общий труд ему пустейшая забава  
И суетня!

Он перерос давно наивные идеи:  
«Работать на других? Нелепая затея!  
Кто будет на меня?»

Ничуть не Цицерон, не декламатор славный,  
Он бережёт слова, но ненавидит явно  
Бунтовщиков:

«Я потихонечку. Я по пути прогресса!..  
А эти крайности!.. Зачем? Какого беса!..  
Я не таков!

Я свой народ люблю! Но ежели кто сдуру  
Народное словцо ввернёт в литературу —  
Тому я враг.

Желаю я, чтобы всем жилось легко и мило,  
Но я не допущу, чтоб нынче этак было,  
А завтра — так!

Я свой народ люблю! Но эта речь... — ни слова!  
Ведь от неё совсем разрушится основа  
У нас в дому!

Прогресс — пожалуйста, но чтобы основ не  
рушить!  
А им сто раз тверди — они не будут слушать!»  
Не будут ни за что — затем, что ни к чему.

1876





## БАТРАК



клонённый над сохой, тоскливо напевая,  
Встаёт он предо мной;  
Нехватки, и труды, и мука вековая  
Избороздили лоб крутой.  
Душой младенец он, хоть голову склонил,  
Как немощный старик,—

Ведь с детства трудится и, не жалея сил,  
К невзгодам он привык.

Где плуг его пройдёт, где лемехами взроет  
Земли могучий пласт,

Там, колыхаясь, рожь поля волной покроет,  
Земля свой клад отдаст.

Так отчего на нём рубаха из холстины,  
Заплатанный армяк?

Зачем, как нищий, он прикрыл отрепьем спину? —  
Работник он, батрак.

С рожденья он — батрак, хоть вольным окричали  
Властители его;

В нужде безвыходной, в смиреньи и печали  
Сам гнётся под ярмо.

Чтоб как-нибудь прожить,— он жизнь, и труд, и  
волю

За корку хлеба продаёт,  
Но горький этот хлеб его не кормит вволю  
И новых сил отнюдь не придаёт.  
Тоскует молча он и с песней невесёлой  
Землицу пашет — не себе,

А песня — кровный брат, снимая гнёт тяжёлый,  
Не хочет уступить судьбе.  
А песня, как роса, живящая растенья,  
Когда сжигает зной;  
А песня та — как гром, как гул землетрясенья,  
Растущий под землёй.  
Но буря та пока не грянет, грозовая,  
Томится он, не смея глаз поднять,  
И землю пестует, как мать свою лаская,  
Как сын — родную мать.  
И что ему с того, что над чужою нивой  
Он пот кровавый льёт,  
И что ему с того, что, страдник терпеливый,  
Он власть хозяевам даёт?  
Ведь лишь бы те поля, где приложил он руку,  
Вновь дали урожай,  
Ведь лишь бы труд его, ему несущий муку,  
Другим дал — светлый рай.

Батрак тот — наш народ, чей пот бежит потоком  
Над нивою чужою.  
Душою молод он, в стремлении высоком,  
Хоть обойдён судьбою.  
Он счастья своего ждёт долгие столетья,  
И всё напрасно ждёт;  
Татарский плен изжил, Руину, лихолетье  
И панцины жестокий гнёт.  
И всё-таки в душе, изнывшей от невзгоды,  
Надежда теплится, горда,—  
Вот так из-под скалы, из-под крутого свода  
Бьёт чистая вода.  
Лишь в сказке золотой, как будто сон прекрасный,  
Он видит счастье лучших дней,  
И, тяжкий груз влача, он, хмурый и бесстрастный,  
Живёт мечтой своей.  
В глухие времена одна его спасала —  
К родной земле любовь;  
Толпа его детей в страданьях погибала —  
Он возрождался вновь.  
Любовью этой твёрд, он — как титан былого.  
Непобедимый сын земли,

Который, падая, вставал опять и снова,  
И снова шёл в бои.  
И что с того — кому, под песню вековую,  
Он плуг ведёт в поля;  
И что с того, что сам нужду он терпит злую,  
Хозяев веселя.

Паши и пой, титан, опутанный в оковы  
И нищеты, и тьмы!  
Исчезнет чёрный мрак, и бремя гнёта злого  
Навеки уничтожим мы!  
Недаром в оны дни, униженный врагами,  
Ты силу духа воспевал,  
Недаром ты легенд волшебными устами  
Его победу прославлял.  
Он победит, прервёт твой плен, пусть крепко спаян, —  
И над землёй один  
Ты плуг свой поведёшь, — своих трудов хозяин,  
В своём жилище — властелин!

10 октября 1876





## ТОВАРИЩАМ ИЗ ТЮРЬМЫ



вутся старые наши оковы,  
Что привыкли мы в жизни носить:  
Расковаться и мысли готовы —  
Будем жить, братья, будем мы жить!

Будем жить жизнью новой и полной,  
Добрых чувств согреваясь огнём:  
По бурливым и сумрачным волнам  
Мы к счастливым краям поплывём.

Через волны несчастья и рабства,  
Мимо бурь озлоблённых речей  
В край святой поплывём мы, где братство  
И согласие живут меж людей.

К битвам новым лежит нам дорога —  
Не за царство тиранов, царей,  
Не за церковь, попов или бога,  
Не за власть кровопийц-богачей.

Наша цель — это счастье людское,  
Светлый разум без веры в богов,  
Братство крепкое и мировое  
И свободные труд и любовь!

Нужно твёрдо в бою нам держаться,  
Не смущаясь, что пал первый ряд,



ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ  
ФРАНКО



Хоть по трупам вперёд продвигаться,  
Ни на шаг не ступая назад.

Это бой наш последний! Тут в споре  
Человек против зверя встаёт,  
Тут свобода неволю поборет,  
«Царство божье» на землю сойдёт.

Но просить мы не станем у бога:  
«Да придет к нам царство твое!» —  
Там молитва плохая подмога,  
Где лишь разум крепит бытие.

Даст не бог это царство нам сразу,  
Не святые с небес принесут,  
Утвердит его властный наш разум,  
Наша воля и общий наш труд.

1878



---

## КАМЕНОЛОМЫ



видел странный сон. Казалось, предо мною

Необозримые раскинулись края,  
А я стою в цепях над площадью глухою,  
Под высочайшею гранитною скалою,  
И рядом тысячи похожих на меня.

И каждое чело невзгоды жизни взрыли,  
У каждого в глазах огонь любви горит,  
И каждого из нас оковами сдавили,  
И плечи мы свои под тяжестью склонили,  
И некий страшный груз — один — всех тяготит.

У каждого в руках железный тяжкий молот,  
И голос прогремел, как будто гром в горах:  
«Врубайтесь в горный склон! Да не смутит  
вас голод,  
И жажда, и труды, и душный зной, и холод!  
Дано вам превратить скалу вот эту в прах!»

Мы все тогда слились как бы в одном  
дыханьи,  
Взлетели молоты, раздался грозный стон;  
Отчаяньем сильны, гранит железом рая,  
Мы с тысячи сторон его дробили грани,  
И камни брызнули на тысячи сторон.  
Как водопада рёв, как гул и клики боя,  
Так наши молоты гремели каждый раз;

Мы медленно вели дорогу пред собою.  
Хоть не один из нас раздавлен был горою,  
Но удержать ничто уже не смело нас.

И каждый твёрдо знал, что славы нам не будет,  
Что люди предадут забвенью страшный труд,  
Что лишь тогда пройдут дорогой этой люди,  
Когда сквозь скалы путь пробьют им наши груди  
И наши кости здесь, среди камней, сгниют.

Но не герои мы, и ни в какие годы  
За славой не гнались. Один лишь зная гнёт,  
По воле собственной оковы и невзгоды  
Мы сами выбрали — невольники свободы:  
Каменоломы там, где к правде путь пройдёт.

И всем нам верилось, что нашими руками  
Мы разобьём скалу и камни раздробим;  
Что кровью собственной, своими костяками  
Дорогу укрепим и в новый день за нами  
Иная жизнь придёт, и станет свет иным.

Мы знали хорошо, что там, на дальнем свете,  
Который мы навек покинули для мук,  
Горюют об отцах и матери, и дети,  
Что недруг нас клянёт за труд и мысли эти,  
Что нас за них клянёт и самый близкий друг.

Мы знали, и не раз душа у нас болела,  
В тоске сжималась грудь, и сердце страх терзал,  
Но раны жгучие измученного тела,  
Но смех и клевета не помешали делу,  
И молота никто из рук не выпускал.

Вот так мы все идём, в одно мечтою слиты,  
А молоты в руках, и думается нам:  
Пусть мы прокляты и светом позабыты,  
Но мы дробим скалу, готовя путь открытый  
Счастливым, что пройдут по нашим костякам.





## ПАУКА



усть палача к ней тянется рука,  
Жандармы в гроб её запрятать рады,  
Пусть ждут её гоненья и преграды, —  
Она живёт и будет жить века.

Пусть злобы вихрь над ней не утихает,  
Пусть в гнѣве поп анафѣмы ей шлѣт,  
Пусть деспот вновь её побѣги рвѣт, —  
Она опять повсюду вырастает.

Пусть часто мы неверными путями  
Бредѣм во тѣмѣ, она — как проводник  
Ведѣт нас всех, кто к рабству не привык.

Пусть люди в горѣ чѣрными словами  
Еѣ клянут — она не замечает,  
Для блага всех живѣт и побеждает!

1878





## ГИМН

*Вместо пролога*



Вечный революционер —  
Дух, зовущий нас к походу  
За прогресс, добро, свободу, —  
Он — бессмертия пример.  
Ни поповские проклятья,  
Ни тюремные объятья,  
Ни штыки отрядов царских,  
Ни разгул плетей жандармских,  
Ни шпионы всей земли  
В гроб титана не свели!

Он не умер, он живёт!  
Сотни лет назад рождённый,  
Он восстал, освобождённый,  
Силой собственной идёт.  
Он окрепнул, он шагает  
В те края, где рассветает,  
Словом зычным, как трубою,  
Миллионы кличет к бою —  
Миллионы вслед за ним:  
Голос духа слышен им!

Голос духа слышен всем:  
В избах, к нищете привычных,  
В грохоте машин фабричных,  
Всюду, где тоска и темь.

И, вселенью духа внемля,  
Горе покидает землю,  
Мощь родится и упорство —  
Не сгибаться, а бороться,  
Пусть потомкам, не себе,  
Добывая жизнь в борьбе.

Вечный революционер —  
Дух, наука, мысль, свобода, —  
Он не прекратит похода,  
Неуклонности пример.  
Опрокинута плотина,  
С места тронулась лавина, —  
Где найдётся в мире сила,  
Чтоб её остановила,  
Чтоб опять свела на нет  
Пламенеющий рассвет?

1880



---

## МОЯ ЛЮБОВЬ



ак хороша она, и так  
Сияет чистой красотой,  
И так слились в её чертах  
Покой с любовной добротою.

Так хороша, но так грустна,  
Так много ведала кручины,  
Что тихой жалобой полна  
Любая песня Украины.

Как смог бы я, её узнав,  
Не полюбить её сердечно,  
От праздных не уйти забав,  
Дабы служить любимой вечно?

А полюбивши, мог ли я  
Прекрасный, чистый образ милый  
Стереть в душе, боль бытия  
Не вытерпеть вплоть до могилы?

И разве ты, моя любовь,  
Враждебна той любви высокой  
Ко всем, кто льёт свой пот и кровь,  
В оковах мучимый жестоко?

Нет, кто не любит всех равно,  
Как солнце — горы и долины, —  
Тому любить не суждено  
Тебя, родная Украина!

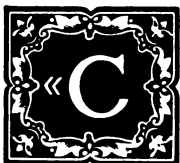
*27 июня 1880*







О. О.



лишком хмуры ваши песни,  
Всё лишь горе да неволя,  
Словно только сорняками  
Поросло родное поле.

Чёрным траурным покровом  
Свет небесный вы затмили,  
Злобу в сердце человека  
И тоску лишь вы открыли.

Зависти пожар зловещий  
Человечеству несёте,  
Вместо радости и счастья  
Всех на смертный бой зовёте.

Грязью будничной пятная  
Чистой красоты святыню,  
Вы с небес в кабак швырнули  
Музу — светлую богиню!»

Так волнуются эстеты,  
Произносят речи злые  
И скорбят, что прежних песен  
Сохнут воды ключевые.

«Ах, засохло, онемело  
Поэтическое слово,  
И без нашего участия  
Не воскреснет больше снова».

Всё гнусавят про красоты  
Эстетических канонов,  
Лепят и кроят усердно  
Мир грядущий из картона.

А ведь жизнь своей дорогой  
Мчится, мысли поднимая,  
Этим жалобам унылым  
И канонам не внимая.

1881





## ИДЕАЛИСТЫ



од пнём перегнившим, в разросшейся тине,  
Пигмеев-червей копошатся клубки.  
В трясине рождённые, гибнут в трясине,  
Их телом другие живут червяки.

П снится им, бедным, во тьме бесконечной,  
Что солнце сияет над их головой,  
Что, солнцем согретые, в радости вечной  
Они веселятся беспечной гурьбой.

И сны свои черви сложили в системы  
С таким заключеньем: «Нет доли светлей»;  
Читали доклады, строчили поэмы  
О жизни болотной счастливой своей.

Но люди однажды тот пень повалили,  
И солнце, сверкая, возникло вдали,  
И разом подошли рождённые в гнили  
И злое светило, кончаясь, кляли.





## ПОКОЙ



то ж, покой — святое дело,  
Если мирно день идёт;  
Кто же в час войны и боя  
Стал глашатаем покоя —  
Трус или предатель тот.

Если мирные народы  
Трудятся, чтоб у природы  
Вывать тайну не одну,  
Ту, что свет во тьму вливает, —  
Горе тем, кто начинает  
Самовольную войну.

Но когда порой рабочей  
Вор забраться к нам захочет,  
В доме шарить, в кладовой,  
Нас имущества лишая,  
Цепи нам приготовляя, —  
Разве свят тогда покой?

Если, нашу скромность видя,  
Дух наш, род наш ненавидя,  
Он нас топчет нипочём —  
Горе, горе миротворцам,  
Тем, кто к топору не рвётся.  
Не отвечает мечом!

*15 июля 1883*



---

## ДЕКАДЕНТ

*В. Щурату*



декадент? Вот это вправду ново!  
Подметил ты всего один момент  
И, модное найдя, пустое слово,  
Провозгласил: «Смотрите, декадент!»

Да, в этих песнях — боль, печаль,  
забота,

Так жизнь сошлась, дорога ведь крута.  
Но есть в них, братец, и другая нота:  
Надежда, воля, светлая мечта.

Я не терплю печалиться без цели,  
Бесплодно слушать, как звенит в ушах;  
Пока я жив, я жить хочу на деле,  
Борьба за жизнь меня не вгонит в страх.

Нередко хрен с горчицей я глотаю,  
Не раз и прел, и хрипнул я, и стыл,  
А всё-таки изжогой не страдаю,  
Катар кишок покуда не добыл.

Какой я декадент? Я сын народа,  
Который рвётся к солнцу из берлог.  
Мой лозунг: труд, и счастье, и свобода,  
Я сам — мужик, пролог, не эпилог.

Я за столом не пропущу стакана,  
Зато и в драке — тоже не смолчу,  
На жизненном пиру скучать не стану,  
И в нищете — лица не опущу.

Не паразит я, одуревший с жиру,  
Который в будни помнит лишь процент,  
А в праздник на «ура» настроит лиру...  
Так, чёрт возьми, — какой я декадент?



---

## СЕДОГЛАВОМУ



ы, братец, любишь Русь,  
Я ж не люблю, бедняга!  
Ты, братец, патриот,  
А я — всего дворняга.

Ты, братец, любишь Русь,  
Как любишь хлеб и сало,—

Я ж лаю день и ночь,  
Чтоб сном не засыпала.

Ты, братец, любишь Русь,  
Как пиво золотое,—  
Я ж не люблю, как жнец  
Не любит в поле зноя.

Ты, братец, любишь Русь,  
Одетую картинно,—  
Я ж не люблю, как раб  
Не любит господина.

Ведь твой патриотизм —  
Одежда показная,  
А мой — тяжёлый труд,  
Горячка вековая.

Ты любишь в ней господ  
Блистанье да сверканье,—



Меня ж гнетёт её  
Извечное страданье.

Ты любишь Русь, за то  
Тебе почёт и слава,—  
А предо мною Русь  
Избита и кровава.

Ты, братец, любишь Русь,  
Как заработок верный,—  
Я ж не люблю её  
Из-за любви чрезмерной!





## ЛИТЕРАТУРА, ЕЁ НАЗНАЧЕНИЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЧЕРТЫ



щё на моей памяти блаженные времена, когда, бывало, сходились мы, несколько горячих патриотов-идеалистов, и заводили речь о литературе, о её высоком назначении и направлении, о высоких идеалах, которые она должна указывать человеку, о совершенстве художественной формы и о влиянии, какое оказывает литература на самую «передовую» часть общества. Мы говорили громко и горячо, спорили о вопросах смежных и более отдалённых, но в главном все сходились, а именно в том, что влияние это огромно и благотворно, что идеалы эти высоки и цели также высоки. Правда, говоря о столь высоких материях, мы, кроме Шевченка, не находили никого, кто мог бы послужить примером (да и Шевченко — каждый по совести чувствовал это — как-то не подходил сюда, как-то не «приставал», словно гранёное к круглому), и потому обычно брали за образец писателей чужих — Гомера, Данте, Шекспира, Гёте, — то есть таких писателей, о которых знали, что они «великие», «гении», но не знали толком, в чём состоит их величие, в чём проявился их гений. Опираясь на эти великие имена, как на костыли, мы плели несусветную тарабарщину о литературе (так я думаю теперь о тех беседах), устанавливали и сокрушали «вечные, неизменные эстетические правила», а кто погорячее, тот спешил и на примерах собственных сочинений доказать справедливость и неизменность свежуутверждённых правил. Ах, это была пора святой благонамеренности

и патриотических порывов, молодая пора, когда всё блестящее было золотом, всё рифмованное — поэзией, всё надутое — величественным и достойным уважения. И что же,— блаженные эти времена прошли, пропали! Взгляды изменились, неизменные и вечные законы эстетики растаяли, как снег на солнце, литература предстала моему взору уже не издалека, не с высоты, как во дни оны, а вблизи, в домашнем, так сказать, убранстве, за кулисами, а все её идеалы, великое назначение, художественность формы, всё это — да что и говорить!.. Да и прежние друзья (хотя бы кое-кто из тех, что остались) совсем уже не стремятся поговорить о «возвышенном», — а если порой и зайдёт речь о литературе, то сейчас же выдвигают против неё, как стенобитный таран, проклятое «Зачем?» и если принимаются спорить, то разве о том, — нужна ли вообще литература или нет? Правда, как страшно изменились времена и за какой короткий срок!..

Я бы и не вспоминал теперь об этой поре, если бы не одно обстоятельство. Вот я прочитал в начале второй книжки «Литературної Правди»<sup>1</sup> за этот год статью, должно быть программную статью редакции (без подписи автора), и, поверите ли? — увидел в ней почти воочию всё то, что мы когда-то говорили о литературных «принципах» и «идеалах». Я не стану вам говорить, какие милые воспоминания вызвала во мне эта статья (к тому же она написана очень хорошо, видимо, вышла из-под пера кого-то из наших наиболее почтенных литераторов и читается с большим удовольствием), — но передам вам вкратце её содержание.

Автор статьи (так же, как и мы когда-то в наших беседах) выдвигает вначале первое неизменное и вечное правило, — нет, догму, — а именно, что Украина и Россия не могут иметь общей литературы. Эта мысль (помимо других, до которых мы скоро дойдём) проводится и доказывается на протяжении всей статьи, доказывается множеством доводов, и, признаться по правде, автору удаётся вполне убедить каждого, якобы это действительно так, якобы литература русская нам вовсе ни к чему, и наша русским также совершенно ни к чему. Ну, конечно, всякий, знающий дело (а только для таких, думаю, и написана статья), знает уже давно, что так оно и есть, и знает даже, почему оно так есть и так должно быть (об этом автор статьи, как

видно, забыл упомянуть), — да что поделаешь, не мешает и лишний раз правду сказать<sup>1</sup>. Свою мысль г-н автор подтверждает прежде всего историей нашей древней, церковно-схоластической литературы и видит, что она могла быть общей обоим народам именно потому, что была церковно-схоластической, то есть чуждой и тому, и другому народу. Но тут же г-н автор и обрушивается на русских историков литературы: какое право имеют они старинные памятники древнерусской, киевской литературы втаскивать в свои истории, и замечает, что это они делают «бесстыдно». Помоему, ни к чему г. автору сердиться на это. Ведь, во-первых, так или иначе, а та литература была чужда народу, значит, бери её всяк, кто хочет, и обрабатывай, а если и намизнѣе кое-что пригодится, то и мы почерпнѣм, — а второе и ещё более важное то, что, — говорим против волка, скажем и за волка, — всё-таки русские учёные и поработали над изданием и научным истолкованием этих памятников, если не больше наших, так по крайней мере столько же, сколько и наши, — значит и право какое-то имеют на неё. Усиленное отрешивание от русской литературы приводит г-на автора ещё и к другому интересному высказыванию. Он говорит (и справедливо), что украинская литература при русском правительстве не могла и не может хорошо развиваться, испытывая всяческие притеснения, а в противовес этому вспоминает галицкую литературу, которая-де «развивалась самостоятельнее и нормальнее, потому что здесь не было великорусской литературы» (стр. 10). Г-н автор, должно быть, украинец, а не галичанин, и наверно знает галицкую литературу только по рассказам, если может говорить о её самостоятельном и нормальном развитии. Впрочем, в том-то и вопрос, — что понимать под самостоятельным развитием? Если понимать под самостоятельным развитием пустую болтовню о самостоятельности, а под нормальным развитием — неотягощение головы ни знаниями, ни собственной мыслью, — ну, тогда я готов признать, что наша галицкая литература в таком развитии ушла очень далеко. Очевидно, русский гнёт (правительственный или литературный?) дал себя так крепко почувствовать г-ну автору, что навёл его на мысль, совершенно одностороннюю и неправильную, будто там, где нет русского гнёта, там нет никакого гнёта,

там будто бы всё живёт и развивается! Если бы г. автор был в Галиции и видел у нас свой гнёт и гнётники, то понял бы скоро, что этак-то самостоятельно и нормально и нам некуда развиваться. Разумеется, редакция «Правди», в иных случаях такая проворная на примечания, не сказала здесь от себя ничего и не исправила ошибку автора, потому что ошибка эта — всё-таки комплимент её собственной хвалёной и провозглашаемой всюду «самостоятельности»!

— Но что же это вы нападаете на самостоятельность? Что вам далась самостоятельность? Разве вы возражаете против неё, разве и вы хотите «единого литературного языка»? — так спросят нас иные. Этот вопрос, по сути вещей, очень наивный, детский и ничего не значащий, но он в наших условиях мог бы дать основание для криков, упреков, подозрений и т. д., потому-то мы и хотим высказать по этому поводу своё мнение.

Начнём с литературы. Г-н автор статьи в «Правді» старательно доказывает, что украинская литература должна быть совершенно самостоятельной и обособленной от русской. Для кого должна существовать эта обособленная литература? Для одной ли интеллигенции? Очевидно — нет, потому что интеллигенция, если уж она хочет быть интеллигенцией, не может замкнуться в тесном кругу одной литературы, но обязана изучать, читать и сравнивать и произведения других литератур, русской, немецкой, французской и проч. Значит, здесь обособленности не проведёшь, потому что здесь главная цель — именно возможно больший интернационализм мысли и научной работы. Значит, такая обособленная литература возможна только для народа, для массы, не знающей другого языка. Но именно оттого, что масса эта не знает никакого другого языка, — никакая другая литература для неё невозможна, потому что масса её попросту не поймёт. Значит, нечего и доказывать самостоятельность и необходимость самостоятельности, поскольку она доказана тем самым фактом, что так есть и иначе быть не может. Такое доказательство или очень наивно, вроде доказательства того, что днём действительно светит солнце, — или показывает, что самому доказывающему этот вопрос неясен, что сам он не верит в него и старается убедить себя, что оно так, а не

иначе, — как известно, в доказательстве нуждается лишь то, что может быть таким, но может быть и иным.

Пойдём дальше. Г-н автор, очевидно, в своей статье кое-где смешал литературу с государством, то есть с правительством и жандармами, — и именно там, где он говорит об угнетении Россией Украины. В чём же тут повинна русская литература (понимаем под литературой её самую передовую, самую благородную часть, о которой только и возможна у нас речь: доносы разных Катковых и разглашательства славянофилов мы сюда не включаем и подражать им никому не советуем)? Но если русская литература на вас, украинскую интеллигенцию, оказывала какое-то влияние, если она вас куда-то вела, то сами на себя пеняйте, что не выработали своих собственных, более сильных течений мысли, и разберитесь, было ли влияние чужого хорошим или дурным. А такого разбора у г. автора нет, хотя влияние русской литературы на украинскую интеллигенцию он, очевидно, признаёт. Разумеется, русское государство, его жандармы и чиновники и подавление ими всякой свободной мысли — одно дело, а русская литература с Гоголями, Белинскими, Тургеневыми, Добролюбовыми, Писаревыми, Щаповыми, Решетниковыми и Некрасовыми — совершенно иное дело. И что ещё удивительнее! У г. автора мы видим (не ясно, а как бы сквозь сито) такое понимание: восстаём не против русского государства, чиновников и жандармов, а против русского общества и русских писателей, которые-де и по духу и по мыслям чужие нам. Это звучит так, как если бы кто-нибудь предложил оставить в покое того, кто нас бьёт, а трепать того, кто хоть и сам слаб, но стремится нас защищать. Вот до какой логики доводит языковая и литературная самостоятельность. Почему? Потому что у неё нет глубокого фундамента, который один мог бы придать ей серьёзное значение, а такой фундамент — самостоятельность политическая.

Нас очень удивляет, что наши и украинские народы<sup>1</sup>, так давно толкующие о самостоятельности, и доныне не сумели или не посмели договориться до ясного и открытого заявления о своём праве на самостоятельность политическую, как свободного, объединённого общества трудящихся людей — украинского племени среди других

славянских и неславянских племён. Если они думают, что такая самостоятельность невозможна, тогда и вся их болтовня о любой иной самостоятельности не стоит мешка соломы, потому что достаточно будет российскому или какому-нибудь другому чужому правительству указом запретить литературу, — и вся самостоятельность пропала. Но, может быть, они только не в меру совестливы, не в меру боятся беззакония и не смеют даже тем стать в оппозицию власти, чтобы открыто и явно, как другие славяне, высказать своё право на политическую самостоятельность? Ну, если так, то от страха и лекарства нет, — только странно, к чему же тогда так упрямо геройствовать в вопросах языка и литературы, где такое геройство, правда, дёшево стоит, но и ни на что не пригодно. По-нашему, если вы говорите о самостоятельности, то договаривайтесь уже до самых окончательных выводов, а не обрывайте на полуслове; если же нет — так лучше вовсе не говорить, а взяться за более реальный, более научный и более полезный для народа труд. Самостоятельность не там, где больше крика, а там, где больше самостоятельного, разумного труда, — а где пойдёт речь о таком труде в полном смысле этого слова, там надо прежде всего добыть себе полную свободу политическую и общественную, без которой и труд — свободный и широкий — совершенно невозможен.

Но, помимо этого вопроса, г. автор затронул в своей статье ещё и другой вопрос, а именно: какова должна быть новая литература каждого самостоятельного народа? Какова должна быть новая украинская литература? Ах, вот уж разлюбезный, чисто галицкий вопрос, как живо напоминает он мне беседы с моими приятелями об этом самом предмете! Правда, у нас ответы на эти вопросы не одинаковы. Мы обычно отвечали, что она должна быть «высокая», «серьёзная», «идеально-устремлённая», — а г. автор «современного литературного направления» отвечает, что она должна быть «реалистическая, национальная и народная». Не в том дело, на чьей стороне правда, а в том, что г. автор стоит на той же самой позиции, как и мы когда-то, то есть не спрашивает: «Для кого должна создаваться литература? Обязана ли она приносить какую-нибудь пользу, отстаивать чьи-то интересы, или нет?» Ему до

этого дела мало, — ему только бы знать, какая должна быть литература, какая форма красивее, какое стихосложение больше подходит для лирической, а какое — для эпической поэзии. Правда, таким образом и наши прежние, и г. автора выводы получаются какими-то случайными, ни с чем не связанными и в основе своей пустыми и чисто формальными. Рассмотрим их по очереди.

Литература должна быть *реалистической*. Не возражаем против этого, но посмотрим только, что понимает г. автор под реализмом. «Реалистическая литература должна быть отражением подлинной, реальной жизни... должна быть зеркалом, в котором отражалась бы подлинная жизнь...»

Истинная правда! Но, увы, автор отделяет такую реалистическую литературу от другой, «ультрареалистической», которая творит-де только простые копии натуры, простые фотографии, и только. А разве зеркало не показывает простой копии? Разве «отражение берега в воде» чем-то больше фотографии? И чем копии и фотографии *просты*, а «отражения» да «зеркала» *не просты*? Почему «ультрареалистические» фотографии очень односторонни, очень прозаичны, будничны, сухи и жёстки? Чего же им недостаёт, чтобы стать «отражениями» и «зеркалами» по вкусу г. автора? А вот чего: «прекрасного духа идеализма, фантазии, сердца, прекрасного духа истинной поэзии». Вот вам и воз, и перевоз! Реализм г. автора — туда верть, сюда верть, — и заехал назад в старый идеализм, и в старую фантастику и сентиментальность. Что ж, эти «прекрасные дýхи» и вправду «витают» в нашей галицкой литературе, только не надо принимать их за какие-то «новые направления». Они — старый и негодный мусор и никого теперь не поведут вперёд. Одним словом, реализм, как литературный принцип, неясен г. автору, который напрасно старается скрыть эту неясность за громкими фразами. Из того, что он говорит о реализме, каждый может вывести, что ему понравится, поэтому мы оставим его и перейдём к другим великим литературным принципам, выдвигаемым г. автором.

Литература должна быть *национальной* — это раз; литература должна быть *народной* — это два. Принцип национальности складывается из двух признаков: «народного



языка и глубоко национального психологического характера народа». Принцип народности складывается также из нескольких элементов, из которых первый — народный язык, а второй, видите ли, также «глубоко национальный психологический характер народа», откуда, в конечном счёте, вытекает форма народной поэзии и её дух. Иной подумает, что мы подшучиваем над автором, выписывая одинаковые определения двух (по его мнению) разных принципов. Но нет, это не шутка, а правда. Г. автору совершенно неясны эти «принципы», и, таким образом, выходит, что вся его работа была очень плохо продумана. Иначе и не могло получиться, когда человек, взявшись судить о таком деле, сразу же ставит его вверх ногами и начинает с пустейших, формальных вопросов. Разумеется, что тогда до основных вопросов он не дойдёт, но и самые формальные перепутает. А уж те места, где г. автор старается доказать различие характера народных песен великорусских и украинских (в чём никто никогда не сомневался и о чём не спорили), вызывают попросту лишь смех, и к научной аргументации нечего их пришивать. Мы выскажем свой взгляд на эти литературные принципы, потому что они в последнее время становятся у нас костью раздора между некоторыми людьми, впрочем, честными и работающими.

Но прежде всего вывернем наизнанку метод г. автора и вместо прямого вопроса: какую должна быть литература? — спросим: что такое литература и каким целям она должна служить?

Вместо того чтобы заранее давать определения, как некую догму, — взглянем сначала на факты, на примеры из всех литератур просвещённых народов и спросим себя: как мы смотрим на эти литературы? Что мы ценим в них? Мы смотрим на них, как на более или менее детальное и живое отражение современной жизни народной; ценим их тем выше, чем яснее и сознательнее они показывают эту жизнь. Тысячи эстетических правил возникали и исчезали на протяжении столетий — для нас они пропали совсем и стали пустой формой; главное дело — жизнь. Значит, литература и жизнь должны стоять в какой-то тесной связи. Об этом во все века свидетельствуют физиология и психология, которые говорят, что каждый человек может

делать, говорить, думать лишь то, что сначала в форме впечатлений дошло до его сознания, и уже тогда эти элементы может комбинировать, складывать, делить и преобразовывать; но чего-то *совершенно нового*, совершенно оторванного от мира его впечатлений человек никогда не мог и не может создать. Это и есть тот невольный, неосознанный реализм, неизбежный во всех литературах, неизбежный в каждой строке каждого писателя. Другое дело — новейший литературный реализм, сведённый в точную науку, обработанный и сформулированный совершенно сознательно. Главное его основание — именно вопрос: чему должна служить литература? И в первую очередь ответ даёт история всех литератур: литература данного времени должна быть отображением жизни, труда, языка и мышления этого времени. Эту формулу в её чистейшем виде мы находим осуществлённой у русских реалистов школы Писарева, у Решетникова, Островского, Н. Успенского (не «Чепенского», как прочитала редакция «Правды», так же, как в прошлом году из Добролюбова сделали Достоелюбова). Это тот, неприятный г. автору «ультрареализм», который, однако, при всей своей односторонности совершил великий переворот в русской литературе и внёс в неё больше демократического духа, больше стремления познать народ, чем кое-где за целые долгие периоды идеальных и сентиментальных литератур.

Однако у литературы, несомненно, есть ещё другие, более важные задачи для *своего* времени и для того народа, среди которого она возникла. Она обязана при всём реализме изображения также анализировать изображаемые факты, раскрывать их причины и их неизбежные результаты, их постепенное развитие и упадок. Для такой работы уже недостаточно верного глаза, который подметит и опишет наималейшую подробность, — здесь уже необходимо знание и образование, чтобы уметь разглядеть самую суть факта, чтобы уметь привести в порядок и составить из частей целое не так, как кому нравится, но с помощью твёрдого и ясного научного метода. Такая работа лучше всего характеризует всю новую реалистическую литературную школу, вовлекая в литературу и психологию, и медицину с патологией, и педагогику, и другие науки. Научная подкладка и анализ и составляют глав-

ную ценность этой новой литературы в сравнении со всеми прежними, они обеспечивают долговечность произведениям таких писателей, как Диккенс, Бальзак, Флобер, Золя, Додэ, Тургенев, Лев Толстой, Фрейтаг, Шпильгаген и другие.

А какова цель такой работы? Цель её, очевидно, такова: коренным образом раскрывать хорошие и дурные стороны существующего порядка и создавать в интеллигентной среде людей, готовых всеми силами служить поддержанию хороших и устранению дурных сторон жизни, — следовательно, сближать интеллигенцию с народом и поддерживать её стремление — служить его интересам. Без этой культурной и прогрессивной цели, без этой научной подкладки и метода (их у г. автора «Новых направлений» нет и в мыслях) литература станет пустой игрушкой интеллигенции, никому ни на что не нужной, ни чьему добру не служащей, а пригодною разве лишь богачам для развлечения после хорошего обеда. Так понимали её назначение все реалисты, и потому-то их произведения при всём их реализме и правдивости всегда выходят глубоко тенденциозными, то есть они подают факты и образы из жизни не просто, как они есть, ради того, что это факты, но потому, что из них логично и непременно вытекает такой-то и такой-то вывод, — и стараются эти факты без извращений и натяжек так сгруппировать, чтобы вывод складывался сам собою в голове читателя, возникал естественно и ясно и будил в нём самом определённые чувства, определённые силы для действия в желательном направлении.

— Ах, но в таком случае литература должна быть тенденциозной, партийной! Она, которая должна стоять над партиями и подчиняться только одним чистым и высоким законам эстетики! — такие выкрики слышу я уже заранее из среды наших «эстетов-писателей». Но я «не устрашаюсь».

— Погодите, господа! — отвечаю преспокойно. — Литература, стоящая над партиями, — это только ваш сон, это ваша фантазия, а на деле такой литературы не было никогда. А ваши вечные законы эстетики, это, да простит всевышний меня и вас любезных, — старый хлам, который спокойно догнивает на свалке истории и который пережёт-

вывают только некоторые наёмные ослы-литераторы, сочиняющие построчно повести и фельетоны для немецких и французских газет. У нас единственный эстетический кодекс — жизнь. Что она свяжет — то и будет связано, а что она развяжет — то и будет развязано.

А теперь соберём вместе всё сказанное о литературе, чтобы закончить этот и так уже затянувшийся разговор о статейке «Современное литературное направление».

Литература, как и современная наука, должна быть труженицей на ниве человеческого прогресса. Её тенденция и метод должны быть научными. Она собирает и описывает факты повседневной жизни, обращая внимание только на правду, а не на эстетические правила, — а заодно анализирует их и делает из них выводы, — *это её научный реализм*; она таким образом показывает недостатки общественного строя там, куда порою не может добраться наука (в повседневной жизни, в психологическом развитии страстей и человеческих характеров), и старается пробудить в читателях желание и силу для устранения этих недостатков — *это её прогрессивная тенденция*. Разумеется, это последнее она может делать различными способами: то влияя на умы и убеждения (реалисты французские), то на чувства (Диккенс, Дженкинс и большая часть русских реалистов, так же, как и из наших Марко Вовчок и Федькович). Разумеется также, что уже самое понятие «правды» требует, чтобы в литературе изображались и все национальные особенности данного народа, а сама цель литературы — служить народу — требует, чтобы она была для него понятной. Таким образом, оба провозглашённые г. автором «принципа» — народность и национальность — так же, как и его самостоятельность, — вещи необходимые и естественные, но вовсе не руководящие принципы, подобно тому, как принципом нельзя назвать сон, еду, дыхание и т. п., хотя это также вещи очевидные, естественные и для человека необходимые.





## КАТОЛИЧЕСКИЙ ПАНСЛАВИЗМ

Не всегда ж нам слёзы горькие  
Лить о бедствиях существенных,  
Но на время позабудемся  
Чарованием красных вымыслов!



в самом деле, если бы кто взял на себя труд сопоставлять самые противоречивые понятия и создавать из них самые фантастические образы, то навряд ли мог бы найти что-нибудь более противоречивое и фантастическое, чем сочетание этих двух слов: «католический панславизм». Сколько помнит история, католицизм всегда был заклятым врагом славянства, и кто знает, не принёс ли он больше ему вреда, чем все кровавые войны с мадьярами, немцами и татарами! Вспомним только о католических орденах «Крестоносцев» и «Братьев меченосцев», которые проливали реки крови славян и литовцев у Балтийского моря, стёрли с лица земли племя пруссов. Вспомним коварную политику пап и интриги иезуитов при дворе польских королей и вельмож, которые привели к злосчастной религиозной унии, к преследованию украинского народа сначала за его веру, а потом и за народность, довели его до крайнего истребления, до больших и кровавых казачьих войн! Вспомним о сожжении Гуса, о Белой Горе, о страшном разорении чешской страны и жизни чешского народа главным образом усилиями католического духовенства! Вспомним об одурманивании славянских народов этим духовенством, о разжигании взаимного несогласия и даже ненависти между славянскими племенами (украинцами и поляками, сербами и хорватами). Вспомним о многовековом равнодушии и молчании католической церкви по поводу угнетения и надругательств, которые приду-

найские славяне испытывали со стороны турок! Вспомним и то, что ещё в последнем восстании этих славян и войне за свою свободу глава католической церкви видел богопротивный мятеж и преступное сопротивление законной турецкой власти. А вспомнив все эти события, с тысячу лет разъедавшие и разъедающие славянскую семью, не должны ли мы признать, что слова «католический панславизм» — это только сочетание пустых звуков без значения и содержания, это «красная выдумка» вроде белого угля или жареного льда?

А между тем выдумка эта висит ныне, как туча, над славянством, а кое-кому кажется, что она вот-вот станет правдой, осуществится на деле! А между тем выдумкой этой забавляется ныне и сам глава католицизма и немало других высших и низших католических голов, и даже чуть ли не вся политиканствующая Европа. Забавляется мир божий, рассматривая эту новую игрушку со всех сторон... Так почему бы в таком случае и нам не позабавиться ею, не взглянуть на неё со своей точки зрения?.. Попробуем — может быть, и в самом деле найдём какую-то невидаль! Но прежде всего расскажем, что это за история случилась с католицизмом.

Нашим читателям известно, должно быть, что ещё до того, как исчезла с лица земли светская власть начальников католицизма, «наместников Христа» — римских пап, их нравственная власть и влияние давно уже и безвозвратно лежали в гробу. Страшные злоупотребления властью, тирания и ограбление итальянского народа, мерзкие поступки пап (вспомним только Александра VI), злоупотребления религиозными обрядами и церковными почестями — всё это подорвало нравственную силу католицизма. Реформация Лютера, Кальвина и Генриха VIII английского сузила его границы, вытеснив его из большей половины стран, заселённых германскими племенами. А новейшая наука медленно, но верно и беспощадно подрывала самые основы уже не только католицизма, но и всякой веры в откровение и, невзирая на пытки, муки, тюрьмы, огненные костры (вспомним Джордано Бруно, Кампанеллу, Галилея), шаг за шагом шла вперёд, суживая то поле, которое до того занимала слепая вера. Последние тяжёлые удары нанёс этому всемогущему некогда католицизму XVIII век, и именно в той стране, где до

того была его самая крепкая опора, — в «наихристианнейшей» Франции. Учения французских «просветителей и энциклопедистов» (в значительной части — отзвук учений английских натуралистов и скептиков Локка и Юма), особенно Вольтера и Руссо, в значительной части отвлекли французскую и европейскую интеллигенцию от католицизма, а великая французская революция свалила и последнюю его опору — самодержавное королевство и в радикальнейшем разбеге на короткое время уничтожила было даже христианство.

Не помогли ни папские буллы, ни конкордаты, ни анафемы — влияние и сила папства и католицизма падали в Западной Европе всё ниже; а если временами (как при Наполеоне III) они тесно объединялись со светской властью для подавления новых идей и затемнения народа, то это влекло за собой ещё худшие последствия, ибо с упадком этой светской власти и католицизм получал ещё более тяжёлые и неизлечимые раны. Даже в Италии, в этом главном гнезде католицизма, народ издавна ненавидел католических попов и папскую власть и на призыв Гарибальди охотно, толпами спешил на борьбу с этой властью, пока, невзирая на отчаянное сопротивление, не свалил её совсем.

Очевидное дело, что после такого разгрома на западе Европы католицизм должен был обратить свои взоры на восток, на славян. Разумеется, он не имел в виду делать добро, способствовать развитию, прогрессу славян, — римские папы только и заботились о том, чтобы приобрести своему престолу новых слуг, новую опору, а для этой цели все пути хороши. Началась и здесь та же двуличная папская политика, с помощью которой папство в своё время умело властвовало в миру: с одной стороны, кокетничанье с некоторыми славянскими народами, особенно преданными католицизму, щедрая раздача им папских благословений, а с другой стороны, кокетничанье с иноплеменными угнетателями этих народов, с властями государств, в которых они жили, и очень часто натравливание одних на других, чтобы таким образом и из тех и из других извлекать пользу. Ещё там, где католицизм принял формы и правила, в какой-то степени сходные с духом народа и времени, как, например, у нас и у чехов, — там он не принёс такого вреда и даже содействовал у чехов развитию

народности; зато кое-где результаты его одурающего учения и деяний были и остаются очень вредными для прогресса и развития славянских народов.

Таким-то образом изготовлен из воздуха тот фантастический призрак, который мы называли католическим панславизмом и который теперь по случаю праздника Кирилла и Мефодия в Риме впервые так отчётливо проклюнулся на свет. Поскольку в эту папскую манифестацию вмешались и украинцы и даже украинские мужики, стоит присмотреться поближе, каковы её цели, стоит подумать над её значением для славянского мира, а в особенности для нас.

Прежде всего, справедливо ли называть римский кирилло-мефодиевский праздник всеславянским праздником, всеславянской манифестацией. Нам кажется, что нет. Правда, были там представители чуть ли не всех славянских народов: епископы украинские, польские, хорватский патриот епископ Штросмайер, епископы болгарский, черногорский, были попы чешские, были даже простые люди разных славянских племён, хотя, конечно, больше всего было богатой шляхты и высшего богатого духовенства. Простой народ, бывший в Риме, ничем о себе публично не заявил, разве только своими славянскими костюмами, вызывавшими насмешки итальянцев, да ещё своей совершенно азиатской набожностью — они, как мы слышали, падали ниц на римских площадях и дорогах, — чем опять вызвали к себе презрительное отношение итальянцев. Ни о каких славянских делах, ни о каких интересах этих народных масс, населяющих славянские земли, не было на этом празднике и помину. Папа только задал себе много труда, чтобы широко распространяться (по-латыни!) о благодеяниях, которые веками текли из Рима к славянам, и очень горячо заклинал собравшихся твёрдо держаться этого Рима, не отвращать от него своих взоров и слушаться всех его приказов. Папа, как видим, совсем не скрывал того, что его во всём кирилло-мефодиевском празднике интересуют не славяне, не их благополучие, но приобретение для римской курии нескольких десятков миллионов верующих, падающих ниц слуг и не менее значительного «*świętopietrza*»<sup>1</sup>. И для этой-то цели были использованы имена двух славянских апостолов, которые как раз больше всего испытали гонений со стороны Рима и католиче-



ских попов и метод учения и проповедничества которых был прямо противоположен римско-католическому!

Но не только по одному этому мы считали римский кирилло-мефодиевский праздник не всеславянским праздником, что там не было разговора о славянских делах, не поднимались голоса в защиту угнетённых и оскорблённых племён славянских (украинцев в России, Галиции, Венгрии, словаков в Венгрии, поляков в России и пр.). Верховодили на этом празднике люди, которым ни один сторонник славянского народного дела не может верить, — верховодили высшие попы и шляхта. Оба эти сословия более или менее тяжким бременем навалились на каждое славянское племя, оба они в настоящий момент в Австрии взяли за руки и открыто выступили на борьбу против просвещения и благосостояния рабочего народа. И могут ли славянские народы поверить, что те самые люди, которые в сеймах и государственных советах голосуют за сокращение обучения в народных школах и за увеличение мужицких податей и бремени, — что эти самые люди в Риме громко поведают миру об их обидах и желаниях, станут их заступниками и представителями? Нет.

Но ещё и с другой стороны мы не можем считать римский праздник праздником всеславянским, народным, демократичным (хотя бы и с церковной окраской). Это был праздник скорее политического характера, рассчитанный скорее на *государства*, чем на *народы*. В своей приветственной речи к славянским богомольцам папа только раз упомянул о России, выразив пожелание, чтоб и этот самый многочисленный славянский народ, до сих пор оторванный от единения с Римом, быстро вступил с ним в тесную связь. Но из всей совокупности этого праздника, из впечатления, которое он вызвал в Петербурге, видно, что эта будто бы всеславянско-католическая демонстрация направлена была против православной России, что вожаки этого праздника хотели показать России, что вот, мол, славяне пробудились, поняли, кто им друг, и перестали тянуться к северу и зато в религиозном отношении тянутся на юг. А в политическом — куда?.. Об этом ещё меньше упоминали на кирилло-мефодиевском празднике. Но по всему радостному приёму австрийских славян и по тому, что на последнее место ставили и даже

полностью замалчивали сербов и болгар (хотя и те и другие имели там своих представителей, которые сами противились вперёд), видно, что римский праздник не стоит вне связи с новым поворотом австрийской политики в сторону будто бы автономистскую, славянскую. Правда, большинство австрийских славян издавна заявляло и заявляет, что не верит в искренность этого поворота, что рабочий народ в «новой эре» не чувствует себя ни в чём более счастливым, скорее наоборот, — но, известное дело, в высокой политике и речи нет о мечтах и чувствах народа, но идёт речь о втирании очков другим высоким политикам, «миру». Вот к этому-то делу римский папа и соизволил приложить свою святейшую руку и всем распорядком римского праздника постарался показать «миру» австрийских славян единодушной силой, всем сердцем преданной Австрии, т. е. постарался представить Австрию новым центром, к которому теперь тяготеют славяне наперекор России, представить Австрию государством *par excellence* славянским и католическим наперекор славянской, но не католической России. Славяне же — священники, шляхта и народы и даже святые славянские апостолы — были здесь только шахматными фигурами на политической шахматной доске и больше ничем.

Но ещё одно и очень важное обстоятельство бросает яркий свет на этот всеславянско-католический праздник — то, что одновременно с приёмом славянских богомольцев в Риме папа Лев XIII издал энциклику, т. е. круговое послание ко всем католическим епископам всего мира, послание чисто политического характера об отношении властей государственных к народам и народов к властям. «Русские события, — говорит папа (убийство царя Александра II), — наполнили мир тревогой перед страшной разрушительной силой, которая хочет сокрушить всякий общественный порядок. Эта революционная сила порождена ослаблением светской власти духовенства, а также и ослаблением всякой светской власти. Этому способствовал больше всего XVIII век и его учёные, которые фальшивым мудрствованием дошли до той мысли, что всякая власть происходит от народа, что властители удерживают эту власть только именем народа и что, таким образом, народ может при желании и отобрать её. Против этой страшной,

революционной мысли единственной опорой является католицизм, который говорит, что всякая власть от бога, и приказывает народам подчиняться этой власти, какова бы она ни была. Народ никому не может предоставлять власть, ибо сам не имеет её,— он всегда должен подчиняться и слушаться, и голос его в делах власти не является никаким голосом, не заслуживает никакого внимания». Могла ли римская двуличность проявиться более неприятно, чем в этой энциклике и одновременно в кирилло-мефодиевском празднике? С одной стороны, папа собирает и обласкивает славян, пророчит им великую будущность и уверяет их в своей благосклонности, а одновременно, с другой стороны, отказывает им во всяком праве голоса в самых важнейших общественно-политических вопросах, превращает их в бестолковое стадо, пригодное только для стрижки шерсти и для ярма. Мы не знаем, с каким чувством славянские епископы и паны, прочитав эту энциклику, могли смотреть на «святого отца», могли поклоняться ему и целовать его туфлю, которую он протягивал им «с добродушной улыбкой». И перед этой папской энцикликой чем же оказывается кирилло-мефодиевский праздник и весь «католический панславизм», как не простой комедией,— дай бог, последней из тех бесчисленных комедий, которые веками устраивал католицизм над народами и из-за которых пролилось море человеческой крови...

А для нас, украинцев, этот кирилло-мефодиевский праздник мог бы иметь ещё и более худшие последствия, чем для кого-нибудь другого, если бы из него получились какие-нибудь последствия. Даже если бы намерения римской курии были искренними, каковыми они не были, то тесная связь с Римом могла бы быть только вредной для развития нашего народа. Разлагающее и злосчастное влияние Рима быстро бы подорвало и без того небольшую нравственную силу нашего духовенства, сделало бы его слепым орудием в руках людей чужих, не знающих нашего народа и не заботящихся о его благе. Надеемся только, что этого скорее не будет. Не только этот один кирилло-мефодиевский праздник, которому мы не придаём никакого серьёзного значения, но и десять таких праздников не смогут сделать того, о чём так шумно говорил папа,— не смогут обратить сердца славян к Риму. И ведь никто не станет

принимать всерьёз этих славянских «представителей», никем на представительство не избранных. Меньше всего можно принимать всерьёз наших представителей, хотя поляки быстро поспешили сделать это, и в совместном путешествии в Рим или присоединяли украинцев к себе, или считали их сговорчивость с поляками в дороге признаком согласия и единения обоих народов. Самый высший по чину представитель украинцев в этом путешествии — митрополит Сембратович, человек, может быть, и набожный и богомольный, но ни к какой политике, ни к какому практическому делу не способный, ни в каких светских делах не сведущий, и кто знает, не Рим ли надо за всё это благодарить? Его расположение к Риму — это факт почти единичный не только среди галицко-украинского народа и духовенства, но и среди высших украинских попов, — так можно ли его поездку считать знаком благосклонности целого народа к Риму? А из числа прочих наших богомольцев одни ехали из любопытства, чтобы увидеть Италию и Рим, другие — чтобы подольститься к митрополиту, приобрести протекцию и т. д. Мы очень подозреваем, что так оно или почти так было и повсюду. Значит, опять-таки, можно ли тут говорить о каком-то представительстве?

Таково наше мнение о римском празднике. Мы удовлетворены больше всего тем мнением, что все громкие слова, высказанные в Риме, останутся всё же громкими словами без содержания, что никаких серьёзных последствий (кроме затраченных денег) из этого не получится и что многие славянские «отцы» на этом случае убедились, между прочим, с какой приязнью вспоминает, как приветливо встречает итальянский народ своих католических попов, своих бывших повелителей, забрасывая их грязью и камнями. А если бы против всякого ожидания наши «святые» пастыри захотели и наш народ повести на этот скользкий путь, ведущий к Риму, то мы знаем, что в самом народе найдётся сила сопротивляться этому и наглядно показать римской курии, что её господство не только на Западе, но и в Славянщине окончится и назад не вернётся.

1881 г.





## МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН)



писать о жизни Щедрина и давать ему оценку, это означало бы писать историю и давать оценку всему развитию России за последние тридцать лет», — сказал один из наших писателей. И в самом деле, жизнь и творчество Щедрина так же тесно, так же неразрывно связаны с развитием всей общественной жизни России, как следствие с причиной, как отражение в зеркале с подлинным лицом. Все его сочинения — это материалы для биографии не столько самого писателя, сколько того великого чудища, которое зовётся Российской империей. В ярких, хотя и сквозь призму карикатуры пропущенных образах он показал его рождение и рост в прошлом («История одного города»), раскрыл его внутреннюю механику, как бы физиологические функции его организма («Губернские очерки»), показал, откуда берёт оно жизненные соки для своего существования и как ассимилирует их («Господа ташкентцы», «Помпадуры и помпадурши»), показал, наконец, разнородные слои и массы народа, живущие под гнётом этого чудища («Благонамеренные речи», «Современная идиллия» и др.). Первый после Гоголя сатирик в русской литературе, он, однако, характером своего юмора и приёмами своей сатиры в корне отличен от него так же, как в корне различен характер украинца от характера великоросса. Если юмор украинца более мягок и при всей едкости и остроте более человечен, то юмор

великоросса остаётся хмурым и терпким даже там, где взрывается громким смехом. И если у украинца сквозь смех виднеются слёзы, у великоросса виден гнев. В этом смысле Щедрин является одним из главных представителей новой, великорусской школы в русской литературе. Кроме этого глубокого племенного различия, Щедрин ещё и тем разнится от Гоголя, что если тот был преимущественно художником и каждую свою сатирическую картину подавал в законченном, художественно-совершенном виде, то в Щедрине преобладает публицист, — его фигуры только намечены, но не закончены, не выписаны «во весь рост», в его писаниях часто бо́льшую половину занимают исследования и теоретизирования (достаточно вспомнить почти совсем в духе исследования написанные «Признаки времени» и «Письма из провинции»), художественная сторона отходит в сторону, так же, как и у другого современного представителя великорусской литературы, Глеба Ивановича Успенского. Правда, в последнем своём большом произведении «Убежище Монрепо» Щедрин, говорят, пробовал написать и художественно законченную картину. Насколько это ему удалось, не знаем, потому что это произведение пока ещё не дошло до нас.

Как бы то ни было, всё же Щедрин, хотя он художественностью таланта не сравнялся с Гоголем, оказал большое влияние на русское общество. Один его сатирический очерк, — говорил несколько лет тому назад г. Драгоманов, — способен сделать больше для развития свободной мысли в России, чем сделала вся украинская литература с шестидесятых годов и донныне. Хотя характеров, индивидуализации в его произведениях очень мало, но зато в них метким словом очерчена каждая ступень развития общественной жизни, каждый сорт и разновидность паразитов, сосущих пот и кровь рабочего люда в России. Названия, которые он им даёт, становятся терминами нарицательными, родовыми: ташкентцы, помпадуры, историографы, балалайкины, тряпичкины (название взято у Гоголя) и так далее. Сатира его, в большей мере чем у Гоголя, политическая, в условиях современного гнёта становится единственным прозрачным покровом, под которым в России можно высказывать суждение о политике и общественном неустройстве так же, как некогда Эзоп

только под видом басен мог высказывать свои мысли об отношении рабов к господам.

Михаил Евграфович Салтыков родился 15 января 1826 года в Тверской губернии, в селе Спас-Угол, где у отца его было имение. Получив дома заботливое воспитание, он поступил в 1836 году в московский дворянский институт, а оттуда через два года перешёл в лицей. Окончив обучение в 1844 году, получил место в канцелярии военного министерства в Петербурге, где прослужил до 1848 года. В этом году он напечатал в «Отечественных записках» свою первую повесть «Запутанное дело»; цензура усмотрела в этой повести «неблаговидный дух», и молодого автора выслали в Вятку, где он пробыл до 1855 года. Затем его снова перевели в Петербург, в канцелярию министерства внутренних дел, откуда он позднее вышел вице-губернатором в губернии Тверскую и Рязанскую.

Оказавшись таким образом в провинциальной чиновничьей среде, Салтыков получил прекрасную возможность приглядеться к ней и отсюда черпать материал для своих сатир. Уже в следующем (1856) году он начал печатать в «Русском вестнике» очерки, которые впоследствии вышли отдельным изданием под названием «Губернские очерки» и сразу поставили их автора в первый ряд русских сатириков. Критики, а особенно Добролюбов, высоко ставили эти работы, тем более, что быт чиновников (кроме «Ревизора» Гоголя) нигде ещё не был так глубоко рассмотрен и во всей полноте показан, как в этой книге. Под «Губернскими очерками» автор впервые подписался псевдонимом «Щедрин», и этот псевдоним сохранился и по сей час.

Большой успех первых работ побудил автора больше заниматься литературой. Он печатал свои труды в разных журналах; из них в 1863 году составились две книги: «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы». В этих двух книгах, как в зеркале, показана пресловутая «эпоха реформ», та эпоха, когда в России, усыпленной николаевским автократизмом, вдруг повеял «либеральный» дух и вызвал огромное смятение в умах и в экономической жизни всего государства. Генерал-автократ, которого внезапный наплыв либерализма и реформ доводит до сумасшествия и смерти (Зубатов), и помещик-крепостник,

который после отмены крепостного права восхваляет вольнонаёмный труд, не имея ни малейшего понятия вообще ни о каком труде,— вот основные, с неумолимой правдой выхваченные из жизни типы «Невинных рассказов».

В том же 1863 году Салтыков оставил государственную службу, вошёл в состав редакции «Современника»<sup>1</sup> и целиком отдался литературе: писал сатирические очерки, рецензии, научные статьи, фельетоны и театральные рецензии. Когда же в 1866 году «Современник» был закрыт, Щедрин стал сотрудником «Отечественных записок», перешедших тогда в собственность Некрасова, чтобы продолжать дело, начатое «Современником». После смерти Некрасова в 1878 году Щедрин сам стал владельцем и издателем этого, несомненно, самого передового теперь в России журнала. С 1863 года открылась новая полоса в сатирической деятельности Щедрина, началась его борьба против явной и тайной, чиновничьей, правительственной и газетной реакции,— его сатира стала глубже и острее. Основные его сочинения этих лет изданы в следующих книгах: «Для детей», «Признаки времени» и «Письма из провинции», затем проба большой исторической сатиры «История одного города», далее наиболее значительные: «Господа ташкентцы», «Помпадуры и помпадурши», «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», в двух томах, «В среде умеренности и аккуратности»; не изданы отдельно: «Современная идиллия» («Отечественные записки», 1877) и «За рубежом» (там же, 1880), и в заключение два его новейших романа: «Убежище Монрепо» и «Круглый год».

Салтыков и поныне работает неутомимо, и чем дальше, тем сатира его становится глубже, хотя, конечно, и ему не раз случается отклоняться от прямого пути. Однако мы надеемся, что он обогатит ещё русскую литературу не одним прекрасным и памятным произведением.





---

## ТЁМНОЕ ЦАРСТВО

(Отрывки)

И сонные волны, и мутное небо,  
На берегу в далёкой мгле  
Камыш, как бы навеселе,  
Без ветра гнётся. Боже! Где бы  
Узнать, придётся ль долго мне  
В моей незапертой тюрьме  
Над никудышным этим морем  
Тоской томиться, мыкать горе?  
Молчит засохшая трава,  
Лишь гнётся, будто бы жива,  
Не хочет правду мне открыть...  
А больше некого спросить <sup>1</sup>.

*Т. Шевченко*

### I



Начало сороковых годов было очень важным временем в поэтическом творчестве Шевченко, временем великого перелома в его мыслях. Уже при разборе «Гайдамаков» я старался отметить этот перелом, который хотя и отрицательно повлиял на цельность и художественные достоинства этой поэмы, но зато был безмерно важен как для самого поэта, так и для художественного достоинства его позднейших произведений.

Чтобы вполне оценить, что это был за перелом, надо вспомнить, что Шевченко жил тогда в Петербурге, вращался в кругу высокообразованных людей, свободный и любимый своими земляками и чужими. Надо вспомнить, чем было для русской литературы начало сороковых годов и какие мысли занимали тогда умы передовых русских людей, высказывались в передовой русской печати. Три великих русских писателя — Пушкин, Грибоедов и Лермонтов — все преждевременно сошли уже в могилу, но творения их, особенно те, которые могли считаться последним словом каждого из них («Горе от ума» Грибоедова, «Евгений Онегин» Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова), жили среди читателей и оказывали

большое влияние на мысли и убеждения, тем более, что смелое, горячее слово Белинского прибавляло им ясности и широты. Четвёртый великий поэт и гениальный писатель русский, Гоголь, именно тогда находился в высшем расцвете своего поэтического творчества, писал или задумывал писать тогда свои лучшие произведения — «Ревизор» и «Мёртвые души». И сам Белинский, неутомимо трудясь над развитием своих идей, начинает оставлять позиции эстетической критики, начинает видеть цель всего культурного труда человечества в том, чтобы осчастливить всех людей, дать всем возможность всестороннего развития всех врождённых сил, и, в частности, цель искусства в том, чтобы правдиво показывать действительность с её недостатками и задатками лучшего будущего, пробуждать в людях охоту к устранению этих недостатков и веру в возможность их устранения. Завершению этого поворота в Белинском, перемене взглядов всего интеллигентного русского общества немало содействовали свободомыслящие и радикальные деятели — писатели Герцен и Бакунин<sup>1</sup>, которые за границей, в Германии и Франции, внимательно следили за духовным развитием родной страны и поддерживали живые связи с передовыми людьми в России. И вообще во всей Западной Европе шло тогда большое прогрессивное движение. Французская романтическая школа от радикализма чисто эстетического переходила к радикализму политическому (Виктор Гюго) и религиозному (Ламенне<sup>2</sup>); наряду с романтиками, хотя и под их влиянием, возникали новые направления. Жорж Санд уже начала пылкими словами проповедь равенства и свободы женщин; она и весьма популярный у читателей Эжен Сю (Eugène Sue) были виднейшими представителями сен-симонизма во французской литературе. А в это же время уже Бальзак, а перед ним Стендаль закладывали фундамент новой, реалистической школы. Такой же поворот к реализму и к постановке общественных вопросов в литературе осуществляли в Англии Диккенс («Рождественские рассказы») и Теккерея, в Германии — Ауэрбах («Dorfgeschichten»), не говоря уже о Генрихе Гейне, который одновременно с Шевченковым «Сном» (1844) своей поэмой «Германия, зимняя сказка», по форме и направлению во многом сходной с

Шевченковым «Сном», сильно и удачно ударил по прогнившему политическому строю Германии.

Произведения этих европейских писателей, в особенности Жорж Санд, Бальзака, Сю, Диккенса, переводились и читались многими в России и должны были также оказать немалое влияние \*.

Но не только в изящной литературе, а также в философии и других науках с началом сороковых годов наблюдаем общее стремление к реализму, к обоснованию общих выводов на фактах, на опыте, на статистике. Одновременно с ростом реализма в искусстве и науке идёт рост демократизма, республиканизма и социализма в вопросах политических и общественных...

Уже Пушкин в «Онегине» и Лермонтов в «Герое нашего времени» в ярких картинах показали всё духовное и моральное ничтожество господствующего класса в России. Эти произведения, наряду с сатирами Гоголя, разбили слепое самодовольство русского интеллигентного общества, заставили глубже присмотреться к себе и к существующему строю. Всё это вместе взятое должно было вызвать новый поворот в литературе. Вскоре появятся на свет «Мёртвые души» Гоголя, а за ними пойдут «Записки охотника» Тургенева, первый открытый удар по огромной, наболевшей язве русского общества, по крепостному праву.

Невозможно, чтобы Шевченко, живя в то время в Петербурге, не был захвачен также этой великой волной прогрессивного движения, чтобы его пылкая, молодая душа не примкнула также к новому направлению, тем более, что и собственные его мужицкие симпатии издавна влекли его в эту сторону. Не удивительно поэтому, что перед наплывом этих новых идей прежние его староказацкие идеалы бледнеют, что его узкий украинский национализм<sup>1</sup> постепенно претворяется сам собой, перерождается в любовь ко всем славянам, угнетённым чужаками, а далее в любовь ко всем людям, угнетённым путами общественного неравенства, неправды и неволи.

---

\* Замечу попутно, что произведений Бальзака и Диккенса Белинский первоначально вовсе не признавал и ставил их ниже, например, Эжена Сю.

С начала сороковых годов Шевченко всё определённое и смелее вступает на новую дорогу. Почти каждое его новое произведение — это шаг вперёд по этой дороге. Великое несчастье, которое, как гром, грянуло над ним в минуту высшего расцвета его поэтических сил (его арест и осуждение на пожизненную солдатчину в 1847 году), не только не могло изменить этого направления, а, наоборот, утвердило в нём поэта: освободившись из десятилетней страшной неволи, он создаёт свои бессмертные поэмы: «Цари», «Неофиты» и «Марию», в которой, отбросив рамки украинского национализма, на общечеловеческой основе рисует картины тиранства и борьбы за правду, рисует высокий, ещё и в наши дни едва достижимый, идеал женщины-матери.

Чрезвычайно интересно проследить шаг за шагом развитие нашего поэта в этот второй период его поэтического творчества. Задумав сделать это в своих «Материалах», я уверен, что только таким способом, рассматривая внимательно каждый шаг, не скрывая недостатков и не преувеличивая заслуг (в таком преувеличении Шевченко вовсе не нуждается), мы получим возможность надлежащим образом понять значение творений нашего гениального кобзаря, а также понять то направление мыслей, которое завело его в неволю, уяснить и истолковать идеи, за которые он страдал и содействовал осуществлению тех идеалов, которые ему, хотя, может быть, ещё в неясных очертаниях, виделись в минуты вдохновения.

В «Гайдамаках», написанных в 1841 году, я отметил первый робкий и почти бессознательный шаг нашего поэта по этому новому пути. Правда, казачий патриотизм преобладает ещё, но по неясности концовки, по частым взрывам чисто человеческого, национальными рамками не стеснённого чувства, по неуверенности и несмелости в изображении страшных картин резни и войны, которые поэт то так, то этак старался смягчить, как бы набросить на них прозрачную завесу, по всему этому видно было, что узкий национализм, искание идеалов в прошлом допевает здесь последнюю свою песню, и что отныне пойдут у поэта другие песни. Так и случилось. Уже в предисловии, написанном по окончании

поэмы («После слова — предисловие»), поэт совсем недвусмысленно прощается с прежним казацко-патриотическим направлением, с прежними воинственными героями.

«Весело послушать слепого кобзаря, как запоёт он думу про то, что давно деялось, как боролись ляхи с казаками, весело... а всё-таки скажешь: — *Слава богу, что миновало*, а особенно, как вспомнишь, что мы одной матери дети, что все мы славяне. Сердце болит, а рассказывать надо: пускай знают сыны и внуки, что *отцы их заблуждались*, пускай братаются снова со своими врагами. Пускай житом-пшеницею, как золотом покрыта, не размежёванною останется навеки от моря и до моря — славянская земля». Как мы видим, поэт отчётливо указывает тут, что ему противны все эти войны и убийства, в которых он когда-то видел славу Украины, что все эти кровавые события он считает великой ошибкой предков, а не борьбой за правду. И хотя ещё позднее, в 1845 году, в поэме «Холодный яр», он защищает гайдамачину от обвинения, будто бы «Гайдамаки не воины — разбойники, воры», но, несмотря на то, что такое обвинение, с точки зрения исторической, совершенно пусто и незначительно, защита Шевченка очень слаба и безосновательна. «За святую правду-волю разбойник не встанет», — говорит он, хотя сам перед этим назвал гайдамачину ошибкой <sup>1</sup>. — «Не зарежет (разбойник) лукавого сына, не разобьёт живое сердце за свою Украинну». Тут прежде всего Шевченко защищает гайдамачину не историческую, а ту, какую он описал в своей поэме, а его доказательство того, что Гонта убил собственных сыновей, лишено исторической ценности, ибо никаких своих сыновей Гонта в действительности не зарезал, убийство же сыновей за то только, что они не по своей вине были католиками, нельзя назвать делом патриотическим. Только фанатическое ослепление порождает такие поступки. И не надо быть героем для того, чтобы «разбить живое сердце». Во времена великого фанатического ослепления людей мы видим много таких случаев, от которых содрогается сердце позднейших поколений, но которые, однако, никто не думает причислять к деяниям геройским. Героизмом можно назвать лишь такое дело, когда мука

и страдания единицы добывают или искупают благо для всего народа, всего человечества.

«Гайдамаки» представляются нам как бы широким прудом в излучине степной реки. Кажется, та же вода, которая влилась в него, та и вытекает; только по вкусу ощущаешь, по её свежести заключаешь, что она не совсем такая же, что она изменилась, освежилась невидимыми подземными источниками. Да и вытекает она уже в другом направлении, не в том, откуда влилась, вытекает более быстрыми, более сильными волнами. Из «Гайдамаков» вылились две таких струи, которые породили лучшие произведения Шевченка. Кажется, точно составные части, смешанные ещё в «Гайдамаках», чем дальше, тем больше распадаются, делятся и очищаются. С одной стороны, украинский национализм, освободившись от староказацкой закваски, расширяясь и углубляясь, превращается в подлинный украинский патриотизм, в подлинную «гражданскую скорбь» над печальной судьбой Украины того времени, в могучий гнев против её угнетателей. Но это уже не тот формальный патриотизм, какой мы видели в первом периоде шевченковского творчества. Этот новый патриотизм нашего поэта состоит уже не из воспоминаний о «славном прошлом», гетманских булавах, жупанах и войнах. Он основывается сознательно и твёрдо на любви ко всем людям, на стремлении к общечеловеческому братству, на сердечном расположении ко всем угнетённым и обиженным, среди которых ближе всех сердцу поэта его родная Украина. Этот высокий патриотизм излился огненным словом в поэмах «Сон» (1844) и «Кавказ» (1845), разбору которых я и посвящаю эту статью. А вторая струя, которая вытекла из этого общего резервуара и шла параллельно первой, а также параллельно общему в Европе повороту к реализму, — это было стремление изобразить в правдивых картинах жизнь украинского народа и его обиды. Эта струя породила такие прекрасные жемчужины нашей литературы, как «Катерина», «Батрачка», «Ведьма», «Марина», «Петрусь» и «Княжна». Но в обеих этих струях течение общее и дно общее — протест против мерзости современного поэту строя, основанный на сильном и не ослеплённом чувстве гуманности.

Статье, посвящённой разбору «Сна» и «Кавказа», я дал заглавие: «Тёмное царство». Это заглавие проистекает из самой сути дела. Ибо действительно в этих двух поэмах поэт нарисовал картину великого царства — Российской империи, *того царства тьмы*, которое душит Украину, которое абсолютизмом и произволом царя и чиновников душит и вяжет не только дела, но даже мысли и стремления каждой свободной единицы. Читателям, знакомым с русской литературой, известна статья Добролюбова под таким же заглавием, посвящённая разбору бытовых драм Островского. Избрав то же заглавие для своей статьи, я отнюдь не хочу соперничать с лучшей работой самого большого русского критика. Такая мысль, помимо неравенства сил, тем более далека от меня, что и предмет обеих статей принципиально различен. Ибо, если Добролюбов под названием тёмного царства изобразил на основе бытовых драм Островского великую неправду и мерзость не всего общественного строя, а в основном семейной жизни одного слоя великорусского народа, купечества, — я хочу на основе Шевченковых поэм изобразить мерзость и неправду, которые лежат преимущественно в политическом устройстве русского государства, разумеется, не без экскурсов в область общественности.

Но слагается ли из этих двух поэм такое целое, чтобы их можно было рассматривать вместе, не смешивая разнородного? Ведь написаны они не в одно время, так нет ли между ними различия в отношении настроения и взглядов поэта? Разумеется, различие видно, но, однако, мне думается, различие это довольно поверхностно, не задевает основного взгляда поэта на представленное им «тёмное царство». Вот чем, по-моему, отличается «Сон» от «Кавказа». В «Сне» Шевченко стоит ещё скорее на национальной украинской почве (поэма написана раньше). Украина вспоминается ему всегда и везде; её горем изболелась вся его душа; тех, кто терзает и терзал её, он проклинаяет со всем пылом страдающего сердца. «Сон» — это великое обвинение «тёмному царству» за все нынешние и прежние обиды *Украины*, обвинение, направленное преимущественно, хотя не исключительно, с частных позиций — украинства. Наоборот, «Кавказ» построен уже на

более широкой, можно сказать, общечеловеческой основе. Всякая борьба за свободу, всякое выступление против «тёмного царства» находит сочувствие в нашем поэте. «Кавказ» — это пламенная инвектива против «тёмного царства» с позиций общечеловеческих; это, может быть, лучшее свидетельство могучего, всеобъемлющего, искренно человеческого чувства нашего поэта. Каждый увидит далее, что указанное здесь различие между двумя поэмами не только не препятствует нам объединять их в одно целое, но, наоборот, понуждает к этому. Именно из-за этого различия позиций в освещении одной вещи *обе поэмы взаимно дополняют одна другую.*

Ещё менее важно различие между этими двумя поэмами в смысле их художественной отделки. С этой точки зрения «Сон» — одно из наиболее слабых произведений Шевченка. Самая основа поэмы — поэт во сне пролетает над Россией, в частности, над Петербургом, и рисует картину за картиной так, как они приходят ему на глаза, — грешит отсутствием внутренней логической связи, так же как вообще всякое описание путешествия, где картины случайно чередуются и сменяются, ничем или мало чем связанные между собой. Конечно, у Шевченка, так же как и в аналогичной поэме Генриха Гейне, где описано подлинное путешествие поэта из Парижа в Гамбург, под этим случайным чередованием картин лежит в основе более глубокая идейная связь, и это вполне заменяет отсутствие композиции. Наоборот, «Кавказ», представляющий собою как бы один огромный взрыв чувства, и по форме мы должны признать одним из лучших творений Шевченка. Но, как я уже говорил, различие в исполнении тут мало важно. И ту, и другую поэму надо считать произведениями преимущественно лирическими и оценивать их значение не мерой более или менее реального содержания, а мерой выраженного в них высокого гуманного чувства. Это могучее чувство поэта, как молния, озаряет густой, вековой сумрак «тёмного царства», пишет огненным перстом таинственные слова над пирующими тиранами, а дело критики — охватить в целом и ясно показать этот образ, прочесть и истолковать эти слова.



## II

От молдаванина до финна  
На всех языках все молчат<sup>1</sup>.

*Т. Шевченко*

...Знал наш поэт, что, изливая на бумаге свои наболелые чувства, свои политические мысли и чаяния, он не только не возвратит этим свободы Украине,—

Напрасно воли поджидаем,—  
Придавленная Николаем  
Заснула...<sup>2</sup>—

но даже не сможет сказать это своё слово публично, в печати, и что его поэмы в лучшем случае смогут дойти до общества только в рукописных копиях. Да что там — он знал и то, что за одно написание подобных стихов, за одно проявление подобных «неблагодумных» чувств ждёт его такая же участь, как и всех почти передовых поэтов и писателей России, как того вольнодумца, которого он такими горячими и страшными словами описал в своём «Сне»:

Вон там, клеймом отмеченный,  
Вор цепью грохочет,  
Вон разбойник засеченный  
Злобою клокочет,—  
Своего же товарища  
Зарезать он хочет,  
А меж ними, отпетыми,  
В кандалы убранный,—  
Царь всемирный! Царь свободы,  
Царь, клеймом венчанный!  
В муках каторжных — не просит,  
Слёз не проливает!  
Сердце, что добром согрето,  
Век не остывает<sup>3</sup>.

Видел ясно поэт, какая участь ждёт его,— она его действительно не минула,— и всё же не захотел молчать и «усыплять в себе» свои думы, не захотел покориться перед произволом, подчиниться «тёмному царству», и не только сам метал в него громы своих дум («Лети ж, моя

дума, моя злая мука!)), но и других призывал к борьбе с ним. «А где ж твои думы, цветы молодые?» — говорит он терзаемому вольнодумцу. — «Не скрывай их, брат мой! Рассыпай повсюду!»

Посмотрим теперь, что натравило мысль поэта на написание этих политических поэм? Какой внутренний процесс — помимо посторонних влияний — породил в нём этот горячий протест против «тёмного царства»? Прежде всего, здесь надо назвать именно его национализм<sup>1</sup>. В предшествующих своих поэмах из истории Украины ему часто приходилось говорить о врагах Украины... чувствуя себя украинцем, он вместе с тем чувствовал себя их противником. Этот с детства привитый и в течение долгих лет неволи укреплявшийся оппозиционный дух сразу объясняет нам, почему протест вылился у Шевченка с такой беспримерной в России силой. А с другой стороны, его симпатии к мужикам, обиженным и ограбленным, заставили его стать на общечеловеческие позиции, поднимать протест не с позиций только украинства, а с позиций всего попранного человечества. А условия в России в то время ещё сильнее толкали поэта к такой позиции. «От молдавана до финна на всех языках все молчат», — говорит едко поэт, высказывая этими словами, что не только Украина в Российской империи угнетена и что он желает свободы и свободного слова не только для Украины, а для всех народов, придавленных слепым царским произволом. Это глухое, мёртвое молчание — не от благоденствия, как иронически добавляет поэт, а по принуждению, это первый и главный признак «тёмного царства». Чтобы всех людей превратить в «холопов» и «лакеев» или в бездушные, работающие и покорные машины, — ибо только для этих двух видов тварей земных есть место в «тёмном царстве», — нужно прежде всего не дать людям думать по-людски и обмениваться этими мыслями, нужно не дать им высказываться свободно, а предпочтительно — заставить их «молоть пустяки» (по выражению Щедрина). А особенно нельзя давать голос людям, которые зовут других: «Опомнитесь, людьми будьте!»<sup>2</sup>.

А среди этого молчания, среди этого всеобщего приглушения человеческого чувства — что же делать чело-

веку, у которого чувства горячи и сердце полно любви? Что делать поэту, живому среди мертвецов? Тоска и отчаяние охватывают его. Сидя в Петербурге, в самом центре политического гнёта и политической темноты, глаз на глаз с тою огромной машиной, которая душит Украину и всю Россию, поэт пытается, как говорит он сам о себе, заглушить в себе боль, забыть своё и людское горе. «Я гуляю и пирую и в праздник и в будни», — конечно, чтобы не слышать людских стонов. «А вам скучно! Жалеете? Кричите — впустую! Не услышу». Он знает, что таким способом не утишит боли в сердце, а наоборот, таким вынужденным молчанием, таким самооглушением он сам себя пожирает, сам пьёт свою кровь. Но пускай и так! Он гордится хотя бы тем, что «я свою пью, а не кровь людскую!», тогда как о большинстве окружающих его людей и обо всём тёмном царстве надо бы сказать как раз обратное.

Страшно становится, когда вдумаясь в значение этих немногих слов в зачине «Сна», где поэт, кинув общий взгляд на борьбу и порядки «тёмного царства», коротко и едко представив основные его язвы, показывает нам своё собственное нутро, раскрывает психологические причины, по которым он берётся петь песню о «тёмном царстве». «Кругом неправда и неволя, народ замученный молчит». Немногие честные и смелые борцы за свободное слово или страдают среди преступников с клеймом на лбу, или пьют свою кровь, тоскуя и изнывая в вынужденном молчании. Возвратились и ожили в полной мере времена Нерона, о которых писал Тацит: «Время, которое мы переживаем, так ничтожно-жестоко, что наши потомки не захотят поверить, будто бы когда-то жили люди, которые могли пережить это время». Но, несмотря на то, что «сжедневно Нероны распинают, морозят, жарят на огне», несмотря на то, что Прометею-человечеству орёл-тиранство «что ни день долбит рёбра, сердце разбивает», — «разбивает, да не выпьет крови животворной», «не скуёт души живой и слова живого». Оно должно вырваться на волю, должно хотя бы во сне высказать себя, разбить лёд вынужденного молчания.

В таком душевном настроении наш поэт ложится спать под хмельком, едва добравшись до своего дома. А дома,

известно, «божья благодать», то есть пусто, тихо, мертво. Нет ни жены, ни детей, некому развлечь и утешить, нет искреннего друга и не с кем поделить накипевшее на сердце горе. Но едва поэт заснул, едва дух его освободился от пут гнетущей тоски и забытья, он тотчас порывается лететь прочь, рвётся от земли и, прощаясь с ней, кидает ей в глаза все муки, какими она питала его. Жаль ему только родимой матери-Украины, вдовы бесталанной, которую оставляет он без помощи и утешения. Но ведь и он не может помочь ей, а может только горевать с нею и подавать ей надежду, что настанет когда-нибудь и для неё день правды, что её малые дети вырастут и пойдут на врага, чтобы завоевать ей свободу и самостоятельное развитие.

Вот исходная точка политической поэзии Шевченка, и она резко выделяет его среди остальных русских поэтов, выступавших на этом поприще. Праведный гнев против «тёмного царства», мерзость которого известна ему во всей полноте, долго сдерживаемое чувство, которое насильно рвётся на волю, хотя поэт ясно знает, что ждёт его за это, — с такой позиции и в таких условиях пропетая политическая песнь становится уже не эстетической или какой-нибудь иной игрушкой, а серьёзным гражданским делом, смелым манифестом вольного слова против «тёмного царства». Я не знаю ни в одной европейской литературе такого стихотворения, написанного в таких условиях. Ведь «Германия» Гейне, написанная в Париже в 1844 году, и «Бичевания» («Les châtiments») Виктора Гюго, написанные в Брюсселе в 1853 году, возникли — первая под влиянием свободного парижского воздуха, а вторые — в изгнании, в свободном краю, когда самим поэтам ничто не грозило со стороны тех властей, против которых они метали свои громы.

## III

Взгляни:

Рваную одежду сдирают с калеки,  
С кожей сдирают — ведь «гол и разут»  
Княжеский сыночек! А вон — человека,  
Вдову распинают за подать; ведут  
Кормильца, который одной был опорой,  
Одною надеждой, в войско отдают!  
Мало им! А там вон — голодный и хворый,  
Опухший ребёнок сейчас вот умрёт,  
А мать в это время на барщине жнёт.  
А вон... девушка с незаконным  
Бредёт, ковыляет.  
И родные и чужие  
Её выгоняют,  
Даже нищие обходят,  
А барчук не знает:  
Недоросль, поди, с двадцатой  
Души пропивает! <sup>1</sup>

*Т. Шевченко*

И снится поэту его родная Украина, украшенная садами, омытая росой, сияющая непорочной красотой. Жаль ему покидать родимую, но тут у него перед глазами встают ужасающие картины жизни украинского народа. Тёмное царство — это паразит, живущий соками и кровью народа. Чтобы поддержать своё существование, оно должно сдирать последнее с нищего рабочего люда, должно распинать за подушное, должно для своей обороны заковывать детей человеческих и обучать их убивать людей, проливать кровь. «Накормлены и здоровы, и закованы в оковы, — маршируют» — приучаются к слепому послушанию, чтобы тем легче могли стать бездушным и могучим орудием угнетения, чтобы могли стать огромным рычагом, который, по воле царя-самодержца и его подручных блюдолизов, душит и чужих, и своих.

Но на этом не кончается гнёт. Рука тёмного царства простирается ещё дальше над народом. Оно, усыпив добытую кровью волю украинского народа, отдало его с землёй в собственность ничтожным панам-выродкам, которые издеваются над ним, «землёю, всем данною, и несчастным людом торгуют», «продают или за карточным столом проигрывают крепостных — людей крещёных... но

*простых*»<sup>1</sup>, которые пожирают его труд, затаптывают в грязь самые священные его чувства. Ребёнок умирает под плетнём с голоду, а несчастная мать не смеет и взглянуть на него, потому что жнёт пшеницу на панском поле. Не только земля, «всем данная», не только труд и заработанное добро, но также личность и честь человека отданы в неограниченную власть осатаневших помещиков. Они проигрывают людей в карты, без стыда берут самых красивых девушек в свои покои для удовлетворения своей животной похоти, а потом насмеваются над обесчещенными. Всё отдано на произвол панов! Да это и вполне естественно, ибо произвол высшей главы этого тёмного царства, царя, что же иное может породить, как не произвол его подчинённых, его блюдолизов, «княжеских сыночков», которые, по слову поэта, «рваную одежду сдирают с калеки, с кожей сдирают», чтобы им было во что обуться.

Отрывок из шевченковской поэмы, приведённый в эпиграфе этой главы, а также позднейшие поэмы, где поэт шире развивает эту же тему («Ведьма», «Марина», «Княжна»), — это бесспорно первый в России смелый и прямой удар по гнили и неправде *крепостничества*<sup>2</sup>. В политических, а также в названных здесь эпических поэмах, выступая против крепостного права, поэт старался разительным словом показать и разительными, хотя, может быть, иногда и исключительными, а не типическими фактами доказать, что всякое рабство оказывает вредное, деморализующее и убийственное влияние не только на угнетённых, но также, и притом в далеко большей мере, на угнетателей. Русские помещики-крепостники изображены в поэмах Шевченко в самом отвратительном виде, как выродки, тираны и пьяницы, и если мы сравним его описания с действительностью, насколько она известна нам из других, не поэтических источников, то мы убедимся, что поэт действительно не намного преувеличил, рисуя их такими красками, а ошибся, может быть, лишь в том, что рисовал случаи исключительные, зверства отдельных выродков, а не повседневный, обычный и потому непрестанный гнёт, для массы народа намного более тяжкий и губительный, чем эти единичные, исключительные случаи зверства и произвола. Правда,

в те времена, когда Шевченко писал свои поэмы, понятие реализма в поэзии не так ещё утвердилось, чтобы поэт мог изображать стихами будничную жизнь, с её по виду мелкими и малозначительными происшествиями, которые не в отдельности, но в общей сумме слагаются в то невыносимое бремя, под которым стонет трудящийся люд. Такое изображение мы увидим уже гораздо позднее в мастерских картинах Марка Вовчка («Институтка», «Лентяйка»).

Эти страшные картины народного несчастья и политического гнёта снова приводят поэта в отчаяние. Он рад бы «упиться отравой», заснуть во льдах, лишь бы избавиться от этих страшных дум. Поэтому он летит дальше, летит в пустыню, в снега и горы, лишь бы укрыться от людей. Но напрасно! Среди снегов и болот загремели кандалы, и в поэте снова пробуждается злая дума, снова перед ним вплотную предстаёт новая мерзость тёмного царства. «Живые люди, в кандалы забиты, из нор золото выносят, чтоб заткнул несытый злую пасть...» Это каторжники! Это воры и разбойники, которых общество гнётом своего неравенства, своих внутренних противоречий столкнуло с простой честной дороги, которых оно само восстановило против себя, а затем само же страшно покарало за это сопротивление. Это каторжники! Между ворами и разбойниками в кандалах и муках также смелые борцы за свободу, неутомимые сеятели широких, светлых дум, самые упорные, прирождённые враги тёмного царства \*. Жертвы неправды общественной и неправды политической рядом, скованные одною цепью, втоптанные в бездну страданий одной тяжкой пятой самовластия и тиранства.

---

\* Между такими русскими вольнодумцами, которые в конце XVIII и в первой половине XIX века в Сибири на каторге расплачивались за своё вольнодумство, следует вспомнить Радищева, автора «Путешествия [из Петербурга] в Москву», далее 120 главных так называемых декабристов, из которых 5 главнейших повешены в Петербурге в 1826 году, а остальные сосланы в Сибирь. Почти одновременно с киевским Кирилло-Мефодиевским кружком понёс в Петербурге тяжкую кару кружок Петрашевского, к которому, между прочим, принадлежал также гениальнейший русский писатель Фёдор Достоевский.

Хто вони? Як жили? Що кохали?  
І яка лиха доля нараз  
Тут їх пхнула в сніжні завали?  
Годі знать! Пути всіх порівняли,  
Порівняв «височайший указ» \*.

А когда поэт подлетает к большому русскому городу (Петербургу), то и тут его глазам прежде всего представляются картины гнёта и неправды. «Как журавли», муштруются солдаты под городом. Поутру, когда поэт осматривает город, он прежде всего видит «голытьбу, спешащую на работу», видит «девиц заспанных», которые идут «домой, а не из дому: на всю ночь девицу посылала мать трудиться, чтоб хлебом разжиться»<sup>1</sup>. Шестнадцать лет спустя, в ноябре 1860 года, поэт также бродил по ночному Петербургу, кашляя, надломленный многолетней неволей, испытал на себе весь страшный гнёт тёмного царства, и снова ему представился тот же образ:

Гляжу: в грязи идут сиротки,  
Бредут, как бы ягнята, кротки,  
А дед (сердешный инвалид!)  
Согбённый сзади ковыляет,  
В овчарню будто загоняет  
Чужих овечек<sup>2</sup>.

Все основные неправды тёмного царства: порабощение мысли и слова, изнурение трудящегося люда податями, солдатчиной, произволом судов и каторгой, крепостное право, нищета и проституция,— всё это бесконечной, тяжёлой тучей проходит перед душой поэта, увеличивая его боль и душевную муку. А вдобавок ко всему этому надо же ещё, чтоб поэт, летая над Петербургом, остановился перед гигантской статуей Петра Великого<sup>3</sup>, где всё, сама медная статуя, и крепость с церковью (Петропавловская) на острове напротив, и гранитом мощённые берега Невы,— всё напоминает поэту, сколько горя людского, сколько мук и крови стоили все эти игрушки и блёстки, сколько костей людских легло в этом болоте, пока на их фундаменте не воздвиглись эти церкви и дворцы. И вспоминается ему, как Пётр Великий посылал тысячи украинских казаков копать эти каналы и осушать

\* Из моей неопубликованной поэмы «Снежная сказка».



эти болота, как он замучил голодом в тюрьме последнего украинского гетмана Павла Полуботка; вспоминается ему, как и «Вторая» (Екатерина) доконала свободу Украины, уничтожив Запорожскую Сечь и закрепостив украинский народ,— и во имя этого печального прошлого, во имя этих тысяч свободных людей, замученных тиранами, во имя всех этих бед и страданий украинского народа он кидает страшное проклятие этим распинателям народным, этим палачам-людоедам, этим чистокровным представителям, а в значительной мере и творцам тёмного царства.

## IV

Часовни, храмы да иконы,  
И жар свечей, и мирры дым,  
И перед образом твоим  
Неутомимые поклоны —  
За кражу, за войну, за кровь,—  
Ту братскую, что льют ручьями,—  
Вот он, дарённый палачами,  
С пожара краденый покров!!<sup>1</sup>

*Т. Шевченко*

Что ж это за машина такая, которая может так ужасающе подавлять многомиллионную массу народа? Конечно, эта масса беспомощна, оглушена и опутана, не сознаёт своей силы, безоружна и разъединена, значит, подавлять её — не велико искусство. Но всё же интересно посмотреть, как изобразил Шевченко этого сторукого полипа, который питается соками, кровью и потом этой массы, как изобразил это «чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лайй» \* — основу и деятелей тёмного царства? Кто они? Чего они хотят? В чём их сила? А зная это, мы, пожалуй, сможем хотя приблизительно ответить на вопрос: «Долго ли ещё на этом свете палачам хозяйничать?»

Начнём с самых маленьких колёсиков этой огромной машины и продвинемся постепенно вверх, к самой высшей и всемогущей пружине. Эти маленькие колёсики, это «братия», мелкие чиновники и писаря, которые «киснут

---

\* Это начальный стих поэмы про пербера, написанный гекзаметрами русским поэтом и профессором университета Тредьяковским...

в чернилах», не зная ничего, кроме русского языка, да проклинаят отцов, которые не выучили их в молодости «болтать по-немецки». Они давно забыли о том, что «может, отец последней лишился коровёнки, чтоб они русской грамоте научились», — забыли, чьи они дети и чей хлеб их кормил и кормит, забыли, что они всего лишь мелкие колёсики в машине, что они «рабов рабы». Всё забылось, едва им стало вольно драть последнее добро с бедного народа. Перед высшими они привыкли гнуться до самой земли, превращаться в пылинку; зато перед низшими они всеильные господа, они надуваются толще слона. «Мы, брат, просвещённые», — тычут они гордо в глаза каждому низшему своё надменное невежество, и, понятно, за счёт того, что мы просвещённые — «не поспешишь полтинкою!» Это те мелкие пиявки, из которых каждой, кажется, не много крови людской нужно, чтобы насытиться, но тысячи их живо выпьют всю кровь даже из великана.

Поэт с отвращением вспоминает о них, как они поутру идут «в сенат скрипеть перьями за плату, драть с отца и брата». Но он не забывает, что и эти жалкие пиявки — такие же рабы тёмного царства и его невольные создания. Он не проклинаят их, но оплакивает. Слёзы жалости набегают на его гневные глаза особенно тогда, когда среди этого стада он видит земляков-украинцев. «Плачь, Украина! Сирая вдовица!» — вздыхает он. «Это твои дети, чернилами политые цветы молодые, под царёвой беленою заглохшие». Не будь этой «белены», этого одуряющего и оупляющего зелья, и они не были бы тем, чем стали, не были бы пиявками, а выросли бы честными, трудолюбивыми и полезными для общества людьми. Высокое, чистое, гуманное чувство Шевченка и тут яркой звездой сверкает среди сумрака тёмного царства.

Над этим слоем мелких пиявок и червей высится другой слой больших пиявок, «превосходительных» и «высокоблагородных». «В серебре и злате, как откормленные боровы, пузатые, мордастые», они стоят вокруг царя, «все в поту, но толпятся, чтобы только поближе стать к самим». То же явление, что и внизу: лакейство и самоунижение перед высшими, высокомерная гордость по отношению низших, ложь и обман в отношении равных.

«Отечество» у каждого то и дело на языке, да только под отечеством они понимают «новые петлицы да новости муштровки», а из несчастного народа пьют кровь, как воду. А меньшая «братия», разумеется, не хочет и не смеет даже запретить им это, «молчат, выпучив глаза, как ягнята...» «Пускай,— говорит,— может, так и нужно!» Так оно и есть. «Змея, как говорит Некрасов, родит змеёнышей», рабство и произвол порождают подобных им детей. Там, где высшая власть, высший законодатель попирает всякое право, а вернее, устанавливает права только для других, а не для себя, там и другие, меньшие господа, «княжеские сыночки» смогут каждый в своём, более широком или более тесном, окружении поставить и себя выше закона. Известен восточный рассказ, кажется, о персидском царе Хосрове Нуширване, который приказал взять у бедняка яйцо, а слуги похватили всех кур, а когда он приказал сорвать одно яблоко,— слуги срубили и яблоню.

Но чтобы наглядно показать слепой произвол высшего главы тёмного царства, Шевченко ведёт нас «на парад» в царские палаты. Окружённый блюдолизами, облитыми золотом, царь разгуливает и лопочет, разумеется, «об отечестве», а блюдолизы-холопы толпятся вокруг него, все в поту. Они знают, каков будет конец этого парада, и царскую оплеуху, царский кукиш под нос считают величайшей милостью для себя. «Может, соизволят дать плюху или кукиш сунуть — полкукиша! — лишь бы прямо ткнули к морде самой!» И вот «царь подходит к главному да ... Тресь его в морду! Облизнулся тот, бедняга, да младшего в брюхо — только гул пошёл! А этот как отвесит плюху меньшему тузу; а меньший — меньшему немного; этот — мелочи»<sup>1</sup>. На всех разлилась царская благодать! «Пир, пир у батюшки царя», — кричат радостно сквозь слёзы «недобитые православные». Пир у батюшки, и счастлив тот, на чьих скулах очутилась эта «высочайшая» рука. Только «главный» удостоился чести получить удар непосредственно от царя. Меньшие, а тем паче «мелочь», должны принимать тумак и затрещины от «своих непосредственных настоятелей» и, безусловно, чем ниже по этой лестнице, чем дальше от «самых», а ближе к «недобитым православным», тем и удары, и

тумаки сильнее, чувствительнее. Ведь и камень, катящийся с горы, чем ниже падает, тем быстрее и с большей силой летит.

В такой, наполовину только фантастической картине изобразил Шевченко безграничный произвол царя, не связанный никакими нормами и тем менее нормами здравого рассудка. Этой картиной всеобщего мордобития Шевченко очень удачно заклеил господствовавшую при царе Николае систему, при которой царская воля и грубая сила были всем, а человеческое чувство и справедливость ни во что не считались.

Вот машина, которая душит Россию, душит и Украину. Духовное ничтожество, моральная грязь при грубой силе — вот вся суть этой машины, вот и единственное условие её существования. Не станет хоть одного из этих условий, и вся машина заскрипит и распадётся. Вот почему рост просвещения, распространение чувства справедливости и гуманности и ослабление господства грубой силы и темноты — основные враги её. Кто ей служит, должен служить присущим ей способом, иначе вместо услуги принесёт ей вред. Ведь и вся литература, хотя, может быть, и не имела мысли повалить тёмное царство, всё же то и дело наносила ему удары уже самым своим существованием и своим свободным словом. Оттого-то она и должна была испытать от него немало; оттого-то вся она — великий ряд мучеников за свободу слова и мысли. Наоборот, церковь, хотя и высказывающая иногда вольные мысли, стала тут вся к услугам тёмного царства, сделалась рассадником темноты и опорой всей мерзости существующих в России порядков.

У нас  
Святую библию читает  
Святой чернец и поучает,  
Что царь свиней когда-то пас,  
С женой приятеля спознался,  
Убил его, а как скончался,—  
Так в рай попал. Вот как у нас  
Пускают в рай!\*

---

\* Заметим, что эти строки поэмы Шевченка «Кавказ» относятся к израильскому царю Давиду, который, как известно, приказал убить воина Урию, чтобы взять в жёны его жену Батсебу. Эти строки

Из этого следовало бы, что и небо благоприятствует распинателям народным и обидчикам, что и на небе — так поучает «святой чернец», служащий тёмному царству, — сидят убийцы. Небо выслушивает молитвы тиранов «за кражу, за войну, за кровь», принимает от них дары, «с пожара краденый покров». Вот каких учителей посылает «тёмное царство», чтобы «просвещали» народ, чтобы учили его, что «рви, забирай — и прямо в рай, да и родню всю приводи!» А наряду с этими «духовными» учителями идут и другие учителя-цивилизаторы, идут господа ташкентцы всяких рангов. Те уж научат тёмный народ, «как строить тюрьмы, плести нагайки туже, кандалы ковать, носить их в сибирскую стужу». А что ещё нужно для мирного, «цивилизованного» жития в тёмном царстве?..

## V

Пустыня ожила немая...  
Как бы, могилы покидая,  
На страшный и последний суд  
За правдой мёртвые встают <sup>1</sup>.

Т. Шевченко

Мы видели устройство машины, которая верховодит тёмным царством, видели её действие: сверху разбой, грабёж и поддержка дикого автократизма; внутри рабство, темнота, бедность и деморализация. Нет в этом царстве места для свободного, честного и разумного человека. Ему приходится молчать и каменеть да, в лучшем случае, *надеяться*. Но на что и на кого надеяться, если тёмное царство, словно море, заливают землю, да, кажется, уже и небо захватило, и «бога в шкатулку спрятали»? На что надеяться, если, кажется, свет навсегда забит досками? Но нет! «Не умирает воля!» Если не станет живых, то и мертвецы встанут за правду. Но такого чуда вовсе даже и не нужно. Машина тёмного царства, к

---

можно считать зачатком позднейшей поэмы Шевченка «Цари», в которой на основе библейских рассказов описаны непристойные похождения израильских царей Саула и Давида, а к ним добавлен также рассказ о похождениях русского князя Владимира с Рогнедой и её отцом Рогволодом.

счастью человечества, так устроена, что раньше или позже должна сама собою остановиться, своею силой распасться. На этот тяжёлый, но неизбежный процесс исторического самоубийства вся надежда честных и разумных людей. Чтобы ускорить его, они жертвуют своим личным счастьем, своею кровью и своею жизнью, ибо знают, что это не напрасная жертва, что каждая капелька их крови ляжет на чашу весов, пока не наполнится чаша добра, а неправда и неволя не полетят прочь.

Машина тёмного царства так и устроена, что должна раньше или позже сама распасться. Ведь основные её пружины — несправедливость, деморализация, обман и произвол — это отнюдь не законы природы, вечные и неизменные, это лишь временные недуги человечества, вслед за которыми и должно наступить выздоровление. При этом, хотя они и создают звенья одной цепи, хотя все скованы между собою путами причин и следствий, однако противостоят враждебно друг другу и сами себя пожирают. Произвол, доведённый до такой крайности, как в тёмном царстве, не терпит наряду с собой ничего и сметаёт всё, что могло бы стать помехой его безудержному полёту. Тем самым он изолирует себя и сам себя лишает основы, подрубает свои собственные корни. Деморализация также истощает свои собственные силы. Обман и несправедливость не смогут поддержать машину, лишённую главных своих пружин, и настанет день после ночи тёмного царства. Разумеется, не без тяжкой борьбы, не без великих жертв!

Это саморазрушение и показал нам Шевченко в заключительном отрывке «Сна». Господа блюдолизы снова стоят смиренно перед дверьми царской спальни. «Вот и *сам*, словно из берлоги медведь, вылез. Еле-еле подымает ноги, весь одутловатый, даже посинел; не в духе с перепоею. Да как гаркнет вдруг на толстобрюхих, — и пузатые все сразу в землю провалились! Выкатил глаза на лоб он — в дрожи все забились, кто остался. Он на младших гаркнул ещё строже — и те в землю; он — на мелочь, эти — в землю тоже; он — на челядь; и вся челядь, и челядь пропала; на солдат он — и солдаты — только застонало, ушли в землю». Катастрофа наступила. Её причины, помимо царского беспричинного крика, мы и

не видим, но как раз этот беспричинный крик доказывает, что причиной катастрофы был именно этот безудержный царский произвол. Все пропадают перед царём, исчезают перед ним, покидают его. Он, неограниченный самодержец, стоит теперь действительно один посреди безграничного простора. Но тут и в нём самом должен наступить решительный переворот. Теперь он должен увидеть, что один он без этих своих рабов-блюдолизов, скованных с ним кандалами рабства и проклятия, один он без них — ничто, что вместе с ними, с этими мерзкими орудиями его произвола, исчезла его сила. «Стоит себе, голову понуро опустил. Куда девалась медвежья натура? Как котёнок, такой чудной!..» И поэт не может удержаться, чтобы не захохотать при этой перемене. Царь отзывается окриком на этот смех, и на том кончается поэма.

Но каков же конец тёмного царства? Что же случилось с царём-медведем?

О конце тёмного царства уже не приходится сомневаться, если поэт в последнем отрывке «Сна» раскусил наибольшую его загадку — всемогущество царя. Откуда исходит это всемогущество? Из подлинной ли силы самодержца? Отнюдь нет. Его сила именно в тех, кто видит в нём свою силу, в его рабах и орудиях. Без них он бессилен, без него — они бессильны. Итак, в чём же состоит их общая сила? В тех самых путах, которые сковывают их друг с другом. *Они сильны тем, что они рабы и вырождающиеся.* А едва только и в их сердцах оживёт человеческое чувство, пробудится желание свободы, тогда и страшная их сила развеется, тогда настанет конец тёмного царства, не станет «ни власти, ни кары», возникнет новое царство, царство братства людей.

Нагуевичи,  
10—25 октября 1881





## МЫСЛИ ОБ ЭВОЛЮЦИИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

### Введение



каждой партии есть своё мировоззрение, свои понятия о всемирной истории. Правда, нам ещё в школах забивают голову немецкой метафизической фразой: история — наука беспристрастная, она не может вмешиваться в споры партий, она должна стоять над партиями. Словно это было возможно, словно историк не был человеком, сыном определённого времени, определённого народа, воспитанным в определённых понятиях и взглядах, влияния которых ещё никто в мире не избежал. Словно метафизик, абстрагируя понятие от предметов, а слово — от понятия, мог абстрагироваться и от себя самого. Величайший, прирождённый враг метафизики в Германии, Гёте, был именно врагом этой «беспристрастной» истории; его взгляд выражен в словах «*Parteigeist ist des starken Manns Behagen*», т. е. сильный человек, — мы добавим: и сильная партия, — избрав партийность по духу, и должен быть партийным перед другими, если только он выработал своё мировоззрение, отличное от других.

Взглянем на историю и спросим: кто же это из историков является примером такой беспристрастности? Не говорим уже о древних, у которых политические и общественные симпатии и антипатии видны на каждом шагу, — но возьмём новейших, возьмём тех же самых немцев. Разве у каждого из них не пробивается всюду его собственное мировоззрение, дух той партийности, того совре-



менного направления, к которому принадлежит автор? Разве Моммзен <sup>1</sup> в римской истории не монархист и буржуа, так же как Зибель <sup>2</sup> в истории Французской революции или Гервинус <sup>3</sup> в истории XIX века?

Конечно, нам надо здесь заметить, что именно мы понимаем под историей. У нас обычно привыкли называть историей факты (и к тому же обычно только «важнейшие» факты), т. е. войны, трактаты, революции и т. д. Разумеется, если считать историю собранием только таких фактов, то приведённое нами выше утверждение окажется совсем неприменимым к ней. Да и как же быть партийным, например, в толковании иероглифов, регистрации королей и трактатов? Точно так же, как нельзя быть партийным (а можно быть только несведущим), например, при составлении календаря. Но только, понятно, календарь такой не будет историей, — в самом лучшем случае он может стать летописью. Под историей мы понимаем прослеживание внутренней связи между фактами, т. е. такое группирование отдельных важнейших и мельчайших фактов, при котором из них получался бы какой-то «смысл», т. е. чтобы видны были точные основные законы природы, управляющие этими фактами и вызывающие их. Но ведь законы эти одни везде и всегда, скажут некоторые, значит, и действие их одно, и взгляд на это действие должен быть один, так же как, например, на математику или астрономию, или физику никто не стремится иметь взгляды, отличные от тех, которые приняты наукой. Здесь взгляды у всех партий одни, — почему же в истории не так?

Признаём справедливость такого упрёка, но только попросим тех, кто делает упрек, сказать нам, где и когда история доходила до такой степени точности, как математика или астрономия? Не только не доходила, но можем сказать с уверенностью, что и не дойдёт никогда и не может дойти, ибо тысячи и миллионы её источников исчезают бесследно, тысячи и миллионы фактов, жизней человеческих и даже целых племён прошли и проходят незарегистрированными, не оставляя прямого, непосредственного следа своей деятельности. История никогда не станет и не может стать полной, законченной, такой, о которой можно было бы сказать: это здание готово, все

кирпичи в нём на месте. История навсегда останется большим отрывком, в котором многочисленные ошибки и пробелы должно восполнять собственным умом, собственной логикой и собственным чутьём историка. А как их восполнить, это и зависит именно от того, под какими влияниями развились его ум и чутьё. История навсегда останется таким зданием, которое каждое новое поколение в большей или меньшей части перестраивает и переделывает соответственно своим собственным потребностям, своим собственным взглядам.

Такая переделка происходила уже несколько раз. Начало истории состояло из бессвязных записей о царях, войнах, полководцах, полах и т. п. С них пошли первые летописные списки («повести временных лет», — по удачному выражению Нестора), писанные обычно или людьми, близкими ко всяким князьям и царям, рыцарями и воинами, или *монахами* и попами; отсюда двойкий их характер: царский или поповский. Основа этой первоначальной истории была (по нашим понятиям) очень узка, поэтому следующее историческое поколение должно было её перестраивать в значительной мере. А это следующее поколение составляли граждане, республиканцы, конституционалисты или греческо-римские или нового времени. Они создали историю на более широкой основе; сохраняя ещё на первом месте царей, князей, консулов и разных олигархов, они ввели в обработанное ими историческое и то, что именно больше всего их занимало в повседневной жизни: жизнь свободных, богатых граждан, учреждения, свободы и конституции гражданские. На этой фазе обычно стоит большинство наших историков. Однако уже народилось новое поколение, идущее на смену старому; это народная (демократическая) партия или, лучше сказать, это народ в лице немногих пока своих учёных представителей. Для него слишком тесны основы, на которые историческое здание поставлено гражданскими историками, и он вынужден снова в значительной мере перестраивать всё здание, закладывать его ещё шире. Цари, князья и попы отходят с первого плана, перестают быть двигателями истории, — на их место становится сам народ, его экономические отношения, его труд и развитие. Правда, древние материалы, достояние предыдущих ве-

ков, не выбрасываются, — они все найдут достаточно места в новом здании, только группирование их теперь должно быть совершенно иным, взгляд на них — совершенно отличным.

И опять же мы не утверждаем, что и этот пересмотр был абсолютно правилен и окончателен, что после этого переворота будущим поколениям ничего не оставалось делать, как только собирать факты и пополнять ими это самое здание. Кто знает, может, позднее появится потребность в новом перевороте. Мы только утверждаем, что народная партия — народ, как партия — ставит историческую науку на самой широкой в сравнении с прежними основе, значит, ставит её наиболее основательно и наиболее крепко. Понятно, окончание всего здания на этой основе — это уже такое дело, которое не выполнить одному человеку, — это дело всего общества учёных людей. Но когда весь народ, вся масса станет сознательным и мыслящим обществом, тогда и это дело вместе со множеством других больших дел будет выполнено совершеннее и лучше, чем до сих пор можно было предполагать.

И ещё одно. Демократическая, народная история находит в новейшее время новую, сильную поддержку, которой не имели предыдущие истории, находит такого союзника, который подготавливает для неё самую стойкую основу. Этот союзник — естественные науки. Их огромное, невиданное развитие во второй половине нашего столетия не может не оказать большого влияния на все прочие отрасли человеческого знания, а потому и на историю в самом широком значении этого слова. Обнаруживая всюду единство природы, единство её законов во всех самых разнородных проявлениях, естественные науки подтянули и человека и общественность человеческую под те же законы, научили его считать себя единым с природой, её прямым творением, фазой в развитии всеобщеестественной жизни. Наука о развитии, которая стала таким сильным двигателем в естествознании, перенесена теперь в историю и, конечно, двинет и её вперёд. Человек как создание природы стал предметом отдельной науки — *антропологии*, которая следит за всякими проявлениями его тела и духа. Человек как *ζῷον πολιτικόν* (общественное животное) стал предметом другого ряда отдельных

наук — *социологических*, которые исследуют его в общественной связи, исследуют развитие общественного труда, взглядов, верований и прочей культуры. Все эти науки, с одной стороны, непосредственно примыкают к естественным наукам, с другой стороны, непосредственно примыкают к истории и частично входят в её объём. Располагая такими союзниками, история может смело смотреть в будущее.

Материала для этой новой истории до сих пор уже накоплено огромное множество, но его целостной обработки мы дождёмся ещё не скоро. Более или менее удачные попытки обработки отдельных частей, с более или менее широкими выводами, мы видим, например, у Бокля<sup>1</sup> («История цивилизации Англии»), Маркса («Развитие капиталистической продукции»<sup>2</sup>), Лёббока<sup>3</sup>, Тейлора<sup>4</sup>, Мэна<sup>5</sup>, Спенсера<sup>6</sup>, Мак-Леннана<sup>7</sup> и др. (о началах человеческой культуры и человеческих верований), Лекки<sup>8</sup> (история обычаев в первые века христианства, история вольнодумства) и у некоторых других. Но все эти труды, как ни много в них накоплено и использовано материала, как ни много в них важных и поучительных выводов, всё-таки больше показывают необработанного ещё поля, незатронутых вопросов, чем сами дают положительных результатов. Читая эти труды, прежде всего приходишь к познанию того, на какой безмерно широкой основе заложена демократическая история и сколько ещё необходимо трудиться целым поколениям, чтобы двинуть её вперёд. Эти труды подобны телескопу, который, знакомя нас со многими небесными явлениями, показал среди них такое множество совсем ещё неизвестных явлений, которые прежним астрономам и не снились.

Надеемся со временем познакомить читателей «Світа» с главными достижениями этих трудов. А пока мы на их основе и на основе современных естественных исследований попытаемся, хотя бы в беглом очерке, показать цельную картину развития человечества, — показать как бы скелет всеобщей истории, так, как её понимает новая, демократическая школа. Мысли, которые мы здесь выскажем, высказывались уже не раз, — они понемногу становятся уже общим достоянием; предметы и факты, которых мы здесь коснёмся, будут ещё не раз обсуждаемы в

«Світі», поэтому для большей связности и краткости мы не будем приводить целой массы фактов, на которые опираются наши выводы, а удовлетворимся лишь некоторыми примерами для пояснения аргументации.

С малых лет, дома и в школе, нам говорили, что господь бог, создав первых людей и изгнав их из рая, сам научил их добывать хлеб; что прародители были хлебопашцами, один их сын пастух, их внуки уже знали обработку металлов и разные механические хитрости. Больше того, прародители в раю имели представление о боге и о мире более совершенное, нежели мы сейчас, в моральном отношении они равнялись со святыми ангелами, и только после того, как согрешили, помрачился их разум и обратилась ко злу их воля. Позже мы слышали то же самое, если ещё не лучше, в греческой и римской мифологии, с удовольствием читали прославленное Овидиево «*Aurea prima sata est aetas*» и следующее затем идиллическое описание первобытных времён, когда мёд капал с дубов, реки текли чистым молоком, а люди питались желудями и кореньями. И если нам теперь эти рассказы представляются простыми сказками, то не будем забывать, что они были и являются ещё до сих пор живой верой миллионов людей, что они были живым убеждением многих мыслителей и учёных, что ещё в середине прошлого века насмешник Вольтер, читая «*Contrat social*»<sup>1</sup> Жан-Жака Руссо, говорил, что при чтении этих древних идиллий ему и самому хочется снять с себя одежду и ползать на четвереньках; что, наконец, ещё в 30-х годах нашего столетия Жозеф де Местр<sup>2</sup> говорил: «Мы все исходим из той широко распространённой гипотезы, что человек поднялся *постепенно* от варварства к просвещению и цивилизации. Эта любимая мечта, это прямое заблуждение — величайшая бессмыслица нашего столетия».

Этот взгляд на историю, считающий её как бы постепенным всё большим вырождением людей, называется в науке *теорией дегенерационной*. Нельзя сказать, чтобы эта теория ещё и сейчас не имела сторонников, особенно

среди теологов. Правда, они уже не идут против очевидных фактов, не приписывают прародителям совершенное знание и математики, и астрономии, и различных искусств, но считают всё-таки, что человек первоначально стоял на средней ступени цивилизации и что потом развитие его шло двумя направлениями: одним — вниз, к состоянию нынешних дикарей, другим — вверх, к нынешней цивилизации.

Понятно, что наука, опирающаяся на целую массу весьма убедительных доводов, должна откинуть и этот взгляд, хотя не может отрицать, что в нём есть крупица правды. В истории мы в самом деле не раз встречаем племена вырождающиеся, теряющие по разным причинам прежние познания, прежнюю культуру и опускающиеся на низшие ступени цивилизации. Поэтому и крайне противоположный взгляд, что якобы развитие человечества от самых низших ступеней дикости до самой высокой цивилизации — это один целостный и непрерывный прогресс, хотя и содержит в себе много верного, но всё-таки не охватывает всех фактов. Чтобы одним взглядом охватить все факты истории, надо стать на высшую точку *всеобщей эволюции*. Эволюция (развитие), исходя от первобытной дикости человека, включает в себе прогресс как *главную* и вырождение (дегенерацию) как побочную, *подчинённую* составную часть. «Можем себе представить цивилизацию, — говорит Тейлор, — как она собственной персоной идёт по земле; она то останавливается по пути, то отдыхает; порою сбивается на окольные пути, по которым с большим трудом возвращается обратно на то же самое место, которое давно прошла; но прямо ли или блуждая, её тропинка всё же идёт вперёд; а если она временами и сделает несколько шагов назад, то её движение вскоре становится беспомощным шатанием. Это не соответствует её природе, её ноги не так устроены, чтобы идти назад, она своим обращённым вперёд взором и своей устремлённой вперёд поступью является настоящим подобием человека».

Дальше мы видим, что в понятии эволюции рядом уместаются два противоположных друг другу процесса: движение вперёд и движение назад. Движение вперёд есть проявление первоначальное, преобладающее и нор-

мальное; движение назад — проявление позднейшее и болезненное.

Чтобы основательно понять весь ход эволюции в истории человечества, чтобы превратить её в крепкую путеводную нить при разборе, группировании и оценке исторических фактов, необходимо прежде всего познаться с общими законами эволюции в органической природе, необходимо познать её *движущие причины* и *главные формы*, в которых она проявляется. Ни минуты не колеблясь, мы назовём эти две точки основой познания всякой органической жизни. Как раз именно эти основы были открыты и познаны в середине нашего столетия двумя учёными англичанами — Дарвином и Спенсером. Спенсер открыл, что во всей природе развитие идёт от разрозненных однородных частиц к совокупным разнородным. Это значит, что в каждом развитии (в восходящем или в дегенерационном) идут рядом и смешиваются два течения: *расслоение* (дифференциация) частей однородных и *объединение* (интеграция) частей разнородных. Дарвин же показал, что движущей причиной этой эволюции в органическом мире является борьба за существование и вытекающие из неё явления: естественный и половой отбор, изменяемость и наследственность организмов. А так как благодаря исследованиям учёных, начиная от Гёте и до Дарвина и Гексли, оказалось опрокинутым разделение человека от животного, и человек из цели и венца всех творений природы стал лишь одним из звеньев её бесконечной цепи, то и не удивительно, что как раз те же самые биологические законы, открытые в зоологии, смело применимы и к человеку, и к обществу человеческому со всеми его материальными и духовными приобретениями.

Только следует сказать, что не всегда рядом со смелостью шло надлежащее знание и понимание. Каждая наука, как бы ни была она нова и разработана, разрастается сейчас так быстро и разносторонне, что человек в одиночку не в состоянии постигнуть несколько наук сразу. Можно быть учёным и даже гениальным естествоиспытателем, но очень мало знать общественные науки. И, наоборот, можно быть хорошим экономистом, правоведом или историком, но не знать наук естественных.

Так было и здесь. Естествоиспытатели принимались судить о вопросах общественных, перенося сюда живьём свои теории, не считаясь с различием почвы, и наделали много зла. С другой стороны, экономисты, историки и пр., не зная наук естественных, а видя только эти неудачные вылазки естественников на ниву наук общественных, свысока решили, что до всего этого естествознания, до эволюции и дарвинизма, им нет никакого дела.

Такой разлад должен был, конечно, привести к взаимному вреду и для естествоиспытателей и для социологов. Ведь если, с одной стороны, эволюционное учение именно в истории человечества находит для себя одну из самых сильных опор, несравненную по богатству фактов и наиболее удобную для всесторонних исследований, то, с другой стороны, науки общественные никоим образом не могут отрываться от почвы общего естествознания, потому что только на этой почве и возможен их рост. Это и постигли сразу же многие передовые учёные, а именно Спенсер, Маркс, Тейлор и др., и старались каждый по-своему работать в направлении объединения этих разных частей науки и взаимного оплодотворения. Маркс был одним из первых социологов, который, опираясь на эволюционную теорию и признавая, что движущей причиной в развитии человечества является борьба за существование (т. е. повседневное экономическое состояние народа), принялся исследовать одну фазу этого развития — начало и развитие капиталистического строя. Спенсер в своей социологии задумал на эволюционной основе показать начало человеческого общества вообще, — но ему не хватает смелости доводить свой собственный принцип везде до крайней последовательности, и поэтому он часто заблуждается. В новейшее время всё больше социологов становится на этот путь; вспомним здесь хотя бы Альберта Шеффле<sup>1</sup>, который, задумав описать «строение и жизнь общественного тела», погрешил вдвойне: во-первых, тем, что не тело он свысока считает индивидуально-человеческим телом, чего о теле общественном нельзя сказать, а, во-вторых, тем, что описывает это тело в состоянии покоя, не в развитии, не генетически. Но всё это, как сказано, только попытки, порою хотя и неудачные, но тем не менее характерные и указывающие путь



новым исследователям, которые, видя, где их предшественники сбивались с верного пути, быстрее и легче попадут на прямую дорогу.

## II

Мы говорили, что борьба за существование является главной движущей силой эволюции в мире органических существ. Что же такое борьба за существование, откуда она возникает и как проявляется?

Доказано, что каждое органическое существо производит за время своей жизни больше семян, чем на данном пространстве может выжить. Растения, например, производят столько цветочной пыльцы, что если бы каждая пылинка оплодотворилась и выросла, то один род в скором времени покрыл бы всю землю. Некоторые рыбы за один год мечут икры от 100 до 200 тысяч штук. И о высших зверях, птицах и млекопитающих можно сказать то же самое, хотя в далеко меньшей степени: все они производят семян, плодят молоди больше, чем в данное время на данном пространстве может выжить. Что же из этого вытекает? Вытекает та простая вещь, что обычно одна часть семян или молодых существ гибнет, чтобы могли удержаться остальные. Здесь безразлично, как гибнет. Слабое растение засыхает, не найдя себе достаточно соков; много растений (обычно тоже молодых) поедают животные; много цветочной пыльцы разносит ветер, смывает вода, убивает мороз, забирают пчёлы, осы, шмели и другие насекомые; много икры остаётся неоплодотворённой, много её съедают раки, лягушки, утки; много мальков съедают другие рыбы и водяная птица; много рыбы истребляют выдры, водяные мыши, люди; много зверей гибнет от мороза, голода или от других хищных зверей; да и между людьми разве по-иному происходит? Правду поют в песне:

Не все сады родят,  
Что весной цветут,—

к этому можно смело добавить: не всё то, что родится, живёт. Но что же живёт? Понятно, если коршун упадёт с высоты на перепелят, то пожалуй из них тот останется

в живых, который сумеет быстрее убежать и спрятаться; если рак найдёт рыбью икру, то останутся лишь те зёрнышки, которые так или иначе были лучше спрятаны или вообще лежали в более выгодном месте; если скотина съедает молодую поросль, то останется несъеденной та ветка, которую скотина не могла достать; если пчела забирает пыльцу с цветов, то она, правда, заберёт и переработает на воск зёрнышек, пусть 1000,— но всё-таки три-четыре зёрнышка попадут на женский орган цветка (пестик) и оплодотворят семя. Что же остаётся живым среди всего этого уничтожения? Остаётся живым то, что так или иначе выгоднее расположено, сильнее, устойчивее, разумнее,— одним словом то, что *лучше приспособлено к окружающим условиям*. Всё это *Дарвин* назвал борьбой за существование; название, как видим, образное, а не точное, так как, говоря о борьбе, мы обычно понимаем под нею какую-то деятельность, основывающуюся на воле, а между тем в органической природе, как мы видели на приведённых примерах, не всегда можно говорить о деятельности. Лучше поэтому определять этот процесс так, как это сделал *Спенсер*: *из всех созданий природы дольше существуют, выдерживают и размножаются те, которые в данное время лучше всего приурочены и приспособлены к окружающим условиям* \*.

\* В этом строго научном определении понятие борьбы за существование распространяется действительно на все создания природы, органические и неорганические, так как и среди неорганических созданий происходит вечное изменение, вечное перемещение сил, вечное движение, а среди этого изменения, конечно, удерживается дольше всего то, что может оказывать ему наибольшее сопротивление. Этот взгляд нашёл уже применение в астрономии и, можно надеяться, принесёт для этой науки немалую пользу. Молодой немецкий учёный *Ди-Прэль* в своей книге «*Kampf ums Dasein am Himmel*» очень остроумно показал, что и наша планетарная система сначала не была такой, какой является ныне, и что правильное обращение планет вокруг солнца не было вначале таким правильным, но образовалось со временем через приспособление планет к окружающим условиям. Некоторые планеты, говорит *Ди-Прэль*, не попадали сразу в правильный круг обращения и, сбившись с правильного пути, должны были раньше или позже столкнуться с какой-либо другой планетой. Такой удар должен был сбить и движение другой планеты; обе эти планеты или сбивались вместе и летели уже иным путём, или разбивались на отдельные части, которые и поныне не-

Мысль эта, правду говоря, такая же простая и близкая уму человеческому, как и все широкие и правильные мысли, к которым разум человеческий обычно приходит позже всего. Но посмотрим, каково её значение. Дольше всего существуют те, которые лучше всего приспособлены к окружающим условиям, т. е. наиболее сильные, наиболее способные, наиболее разумные\*.

В холодной стране дольше всего просуществует то растение, которое может лучше других переносить стужу; в жаркой стране — то, которое может лучше других переносить жару и засуху. На пастбище будет расти только то растение, которое, будучи объединенным с верхушки, может восстановить свои побеги, а всякое другое растение, которое не может этого, будучи раз объединенным с верхушки, засохнет и погибнет. Рыба в воде просуществует дольше всего та, которая быстрее и безопаснее сумеет найти себе пищу: из щук та переживёт других щук, которая быстрее, сильнее и проворнее ловит, например, мелкую плотву; из плотвы та переживёт своих товарищей, которая сможет быстрее и лучше прятаться и уплывать. Плотва слабее щук, но зато размножается она значительно больше, так что хотя щуки и всякие другие хищники уничтожают плотвы немало, однако её много и вырастает. Зверь, который не может взять силой, берёт хитростью или численностью. Мыши все давно бы погибли от кошек, сов и ястребов, если бы не прятались в норы; зайцы — если бы не убегали с такой быстротой. Отсюда неизбежно следует, что каждый зверь, каждое существо, которому дорога жизнь (а это можно сказать и о растениях), по своим возможностям

---

счётными массами блуждают в просторе и время от времени попадают на другие, большие планеты. Из такой вот смеси, из такого беспорядка возникает то, что мы зовём небесным порядком и что до сих пор совсем ещё не такое правильное, как нам кажется, так как процесс разрушения недостаточно приспособленных небесных тел происходит ещё и до сих пор и, повидимому, не прекратится никогда.

\* Кое-кто мог бы на это заметить, что ведь живут нередко и калеки, дурачки и идиоты. Конечно, живут, но живут, пожалуй, только в человеческом обществе, где условия очень уж сложны, как увидим это далее. Но уже и здесь можно так же по-простому ответить, что живут не собственной силой, не собственным трудом, и что, если бы общество от них отступилось, они скоро бы погибли. А это, может быть, не относится к вышеизложенному закону.

стремится всё лучше приспособляться к окружающим условиям. Стремление это не следует брать непременно таким, как оно проявляется у человека и высших животных, т. е. с определённым размышлением и т. д. Приспособление у низших существ совершается несознательно, в силу так называемого *естественного и полового отбора*, и основывается на двух признаках всех органических существ: на *изменяемости и наследственности*.

Каждое существо, приспособляясь к данным условиям, может под их влиянием, за время своей одиночной жизни, изменяться, правда, не сильно, но между тем и не так уж незначительно, как покажется кое-кому. Почти каждое существо чем-либо не похоже на другое, а откуда же такая несхожесть? Каждый, например, знает, как сильно может измениться человек под влиянием своего занятия, ремесла и т. д. Не только черты лица, величина и сила мышц, но даже и полнота и форма кости — всё в нём изменится за соответственно недолгое время. Правда, есть границы этим изменениям, но верно и то, что в этих границах каждое существо может изменяться, приспособляясь к окружающим его условиям.

Эти изменения, приобретённые в течение всей жизни, каждое существо может передавать в определённой степени своему потомству. Как это происходит — наука до сих пор не установила, но что это происходит — это верно. Каждый ребёнок чем-нибудь похож на своих родителей; часто даже слабости родителей переходят к детям.

Каково же значение этих природных способностей в борьбе за существование? Наиболее сильные и способные существа, которые, как мы видели, переживают своих менее способных товарищей, имеют наибольшую возможность произвести многочисленное и сильное потомство и продлить свой род, из которого снова наиболее способные переживут менее способных — это отбор естественный.

Самые сильные, самые способные, а значит, и самые красивые самцы будут иметь наибольшую возможность добыть себе наиболее способных самок и этим ещё более укрепить своё потомство, передавая ему сумму полезных изменений отца и матери. Если им придётся добывать таких самок силой — они победят силой и, значит, будут

в длинном ряду поколений вырабатывать в себе силу; если придётся приобрести расположение самок красотой и блеском окраски, то снова в длинном ряду поколений этого рода начнёт образовываться красивая и блестящая окраска.

Обратим внимание ещё на одну важную вещь. Окружающие условия, т. е. совокупность явлений климатических и географических, не остаются одинаковыми, но в большей или меньшей мере беспрестанно изменяются; поэтому и приспособление живых существ никогда не может дойти до конца, стать совершенным, ибо, пока ещё завершается приспособление к одним условиям, эти условия уже изменились. Если бы ещё животные и растения постоянно жили на одном месте, то эти изменения совершались бы медленнее, но именно сама борьба за существование гонит их то и дело на новые места, где условия для них более полезны. Эти непрерывные перемещения животных и растений в большой степени являются причиной, которая вызывает быстрые и глубокие изменения во всей органической природе.

А теперь спросим: что это за изменения, в каком направлении и по каким законам они совершаются?

Конечно, эти изменения идут прямо или косвенно на пользу организму. Самые низшие и простейшие организмы, о которых мы теперь знаем, так называемые *монеры*, — это простые комки протоплазмы (белковой материи, из которой состоит всякое органическое тело) без какого-либо следа каких-нибудь конечностей, плёнки и пр. Они двигаются очень мало, питаются так, что своей массой обливают те частицы материи, которые служат им пищей, и постепенно превращают их в массу, подобную своей, оставляя в стороне непереваренные части, а размножаются так, что взрослая монера распадается на две или больше частей, из которых каждая с того момента живёт сама по себе, как отдельная, готовая монера. Из этого видим, что к такому живому существу не легко даже приложить название «организм» в обыденном его значении — «существо с определёнными органами, т. е. орудиями»: никаких таких органов у монер нет, они только своим химическим составом отличаются от существ неорганических да ещё и тем, что могут другие тела (органические или неорга-

нические) приспособлять (ассимилировать) к своему телу. Вот от такого-то или подобного начала и развились все органические существа на земле: растения, животные и люди. Рассмотрим, как более или менее происходило это развитие.

Мы сказали, что первичные живые существа — монеры или как они там называются — были существами почти расплывающимися и очень мало подвижными. Конечно, в первоначальных, первозданных водах этим существам не легко было найти себе пищу, потому что эти воды не были так, как нынешние, полны разлагающихся органических частиц. Монеры должны были преимущественно черпать свою пищу из частиц неорганических — углерода, азота и кислорода, которые имеются в воде, — и только иногда им удавалось захватить какую-либо другую монеру, которую вода столкнула с её места и свободно несла с собою. Здесь во всяком случае полезнее было для таких монер *самим* плавать свободно, так как тогда легче им было натолкнуться на добычу. Но такой переход от жизни, так сказать, оседлой к подвижной должен был повлечь за собой большие изменения в составе монер. Прежде всего они не могли уже оставаться такими расплывчатыми комками протоплазмы — поверхность их должна была приспособиться к воде, сквозь частицы которой им надо было пробираться; она должна была по-немногу окрепнуть и округлиться — она покрылась тоненькой плёнкой; точно так же для плавания должен был выработаться какой-нибудь орган, обычно в виде тоненькой ниточки, которая, извиваясь во все стороны, подталкивает такое маленькое создание вперёд. Значит, строение первичной монеры при первом же изменении условий должно было *видоизмениться*, должны были образоваться *определённые части для определённой работы, т. е. первое разделение труда*.

Это разделение, эта дифференциация идёт всё дальше. Если у первобытных оно ещё неясное и нестойкое, если там одна часть ещё может выполнять разные работы (например, плавающая ниточка может быть в любой момент втянута обратно внутрь и служить органом пищеварения и пр.), то со следующим шагом далее видим уже более отчётливое разделение. Первичная клетка, состав-

ляющая одно существо, делится на несколько клеток, которые всё ещё составляют одно существо. Эти клетки выполняют вначале одинаковую работу, но со временем приспосабливаются каждая к другой работе и каждая соответственно этому изменяется. У животных образуются уже отдельные нити или рычаги для захвата добычи, отдельное отверстие — рот, отдельные приспособления для пищеварения, а у животных подвижных даже отдельные точки на теле, в которых находится большое количество красителя, очень чувствительного к свету, и потому эти точки исполняют роль позднейших глаз (это так называемые глазные точки «ocelli»).

Точно так же изменяется и первоначальный способ размножения. Вместо простого деления материнской клетки на две самостоятельные новые клетки теперь от материнского существа отрывается одна частичка, которая сама по себе не является ещё новым самостоятельным существом, а только как бы семенем, зародышем (spora), и только после какого-то времени развивается в существо, подобное матери. Так размножаются некоторые низшие растения и низшие животные. Дифференциация на этом не останавливается. Две такие споры сливаются воедино и создают только-только зародыш нового существа; споры эти, вначале одинаковые, разнятся чем дальше, тем больше; для их создания образуются отдельные органы — половые, мужской и женский. Вначале оба эти органа помещаются на одной особи — организм размножается через самооплодотворение; но скоро обнаруживается, что для организма значительно полезнее оплодотворяться семенем другой такой же самой особи, и вновь организмы создают разнородные способы для достижения такого перекрёстного оплодотворения.

Таким образом, основываясь на самых простых, механических законах, можем уяснить себе начало всех разнородных форм живых существ, развитие их отдельных органов и функций, навыков и образа жизни. Эти функции, чувства и органы развивались долгие миллионы лет у низших родов, пока не перешли к высшим, у которых развились ещё далее. Многие из этих функций перешли от животных и к человеку, который и телесно и духовно во многих отношениях только увеличил, усовершен-

ствовал и пустил в рост талант, полученный от своих предков — зверей.

Мы не без причины задержались так долго на борьбе за существование, не без причины старались показать на примерах её значение и влияние на развитие живых существ. В развитии людей она также не теряет своего значения; её законы и в истории человечества проявляются отчётливо и будут проявляться до тех пор, пока будут люди на земле, — конечно, не в одинаковой форме. Попробуем поэтому, в заключение этого раздела, сформулировать эти законы ясно и кратко; в целом наша задача будет состоять только в том, чтобы на основании исторических данных показать эти новые формы борьбы за существование между людьми, показать начало, развитие и причины этих форм, и, может быть, таким образом из истории, так понятой, нам удастся извлечь какое-нибудь определённое учение и для настоящего и для будущего.

1. Борьба за существование, насколько мы её пока поняли, состоит в стремлении каждого живого существа сохранить себя в жизни и размножиться.

2. Так как живых существ возникает слишком много, они уничтожают одни других, — перевес остаётся за теми, которые лучше всего приспособлены к окружающим условиям.

3. Приспособление к окружающим условиям, такое необходимое для жизни организмов, приводит к дифференциации, к разделению труда, к изменениям, полезным для организма, к непрерывному развитию.

Можем ещё добавить:

4. Из двух ветвей развития та перерастёт и победит другую, которая достигает полезных изменений более лёгким путём и с меньшей затратой сил организма. Это первобытная, самая простейшая «животная» форма борьбы за существование. Посмотрим, как далась она человеку.

### III

Когда, где и каким появился человек на земле, этого до сих пор наука не знает. Только знает определённо, что живёт он на земле значительно дольше, чем до недавнего времени люди предполагали, и что не каких-нибудь



6 000, а, наверное, больше 100 000 лет прошло со времени его «сотворения». Выдающиеся учёные, как Дарвин, Катрфаж<sup>1</sup> и другие, пришли к мысли, что человек появился ещё в третичном периоде, хотя до сих пор не удалось найти следа человека той древнейшей эпохи. Первобытный человек своим видом и образом жизни должен был мало отличаться от своих непосредственных предков и родичей — третичных обезьян. Предки эти жили преимущественно на деревьях, избегая страшных хищников того времени; вероятно, так должен был жить и первобытный человек. Обезьяны питались преимущественно плодами, не отказываясь при удачном случае и от птичьих яиц и от мяса зверей; такой же должна была быть и пища первобытного человека, — конечно, сырая, так как человек открыл огонь гораздо позже, только в четвертичном периоде. Во многих местах обнаружены остатки костей и пищи первобытных людей уже из четвертичной формации, без какого-либо следа, который наводил бы на мысль, что эти люди знали огонь. В самую древнюю эпоху своей жизни — а эпоха эта, вероятно, была более продолжительной, чем все позднейшие вместе взятые, — человек жил настоящим зверем, в лесах, на деревьях и скалах, не зная ничего, не думая, не сосредотачиваясь ни на чём, без языка, без верований, без самого малого следа какой-нибудь культуры, жил изо дня в день в непрестанной, неимоверно тяжёлой борьбе за существование. Не удивительно поэтому, что от того отдалённого времени не осталось почти никаких следов, не осталось даже упоминаний в сказках и тёмных поверьях древнейших народов, так как дитя не помнит ничего о первом периоде своей жизни.

Как же тогдашний человек был приспособлен к борьбе за существование? Можем сказать, что условия были для него очень неблагоприятны, и поэтому долгие тысячи лет всецело над ним господствовали. Вокруг него жили страшные, огромные хищники, звери, теперь уже погибшие, но и сейчас своими окаменелыми останками приводящие нас в страх и изумление. С этими зверями первобытный человек не мог равняться силой — о борьбе с ними он не мог и думать, — а спастись от них не всегда удавалось. С другой стороны, в третичной формации, как известно, и растительной пищи было ещё не так много; цветущие,

плодовые деревья образовались впервые только в третичной формации и начинали впервые разрастаться в такое множество родов, какое видим сейчас. К тому же, кроме рук и ног, у человека не было никакого оружия, никаких орудий, которыми он мог бы помогать себе в борьбе за существование.

Все эти, как видим, крайне плохие и неблагоприятные для человека условия должны были вначале подавить его своей тяжестью. Прежде всего они задерживали размножение людей; людям приходилось жить разобщённо, потому что так удобнее было им скрываться от страшных врагов — зверей; маленькие дети, совершенно беспомощные и неспособные ни убежать, ни прятаться, чаще всего становились добычей хищников; затем и недостаток пищи, несъедобность и непригодность той пищи, которая была, также неизбежно задерживали размножение людей. Вторым, ещё более важным следствием этой первобытной борьбы за существование было то, что и духовные способности человека долгие тысячи лет дремали нетронутыми, не могли развиваться и приносить ему пользу в борьбе за существование. Причиной этому послужила именно эта первобытная разобщённая жизнь в лесах, пещерах и дебрях, — известно ведь, что духовные способности могут развиваться лишь в большой общине и хиреют и исчезают при одинокой жизни. Причиной этому было и то, что у человека, вечно занятого поисками пищи или приюта, не было и времени на размышления, а тяжёлые труды, тревоги и сырая, твёрдая пища отнимали у него последние силы, не оставляя ничего для мозговой работы.

При таком преобладании над человеком в борьбе за существование внешние условия должны были гораздо больше изменять человека, чем это может происходить сейчас, когда чаша весов наклонилась в другую сторону, т. е. когда в борьбе за существование человек всё больше берёт верх над внешними условиями. В первобытные, беспросветные времена человек в большой степени был отдан на волю природы, которая изменяла его по-разному в разных странах, образуя множество рас людей, более или менее несходных между собой.

Из каких начал и как создавались эти расы человеческие, этого до сих пор также определённо никто не знает.

Некоторые учёные, следуя библейским преданиям (да и то, как известно, очень неясным и двусмысленным), утверждают, что род человеческий со всеми своими расами произошёл в одном месте и из одного корня, от одной пары. Другие же считают, что этих корней было больше, и утверждают, что в силу одинаковых условий в разных частях земли параллельно возникли люди, конечно, кое в чём непохожие одни на других, и от них образовались различные расы на земле. Но доказать это ничем нельзя. Твёрдо знаем только то, что на заре исторической эпохи, каких-нибудь 4 000 лет тому назад, род человеческий уже делится на расы так же, как теперь, и что негры изображены на древних египетских памятниках точно такими же, как и современные. Более того, в древнейших доисторических останках, раскопанных до настоящего времени, где человек ещё почти совсем дикий, не знает ни огня, ни одежды и никакого оружия, кроме каких-нибудь грубо наколотых камней и деревянных палок, — и там уже можно увидеть человека в различных, не одинаковых видах, можно наблюдать человеческие расы. Эти расы значительно различаются между собой, так что, например, череп неандертальской расы отличается от черепа расы Фурфос <sup>1</sup> больше, чем череп нынешнего негра от черепа европейца. Таких доисторических рас в одной Европе до сих пор обнаружено пять, и всё это только в четвертичной формации! В последнее время обнаружены в Италии и Испании кое-какие следы человеческой деятельности (резные кости и пр.), которые отнесены учёными к третичной формации, но прямых останков человеческого тела, которые давали бы представление о его строении, до сих пор не найдено. Во всяком случае расовые различия в строении доисторических людей из четвертичной формации дают нам возможность предположить, что человек существовал уже за долгие тысячи лет до того, как эти различия образовались, а более точное исследование доисторических черепов и их сравнение с черепами ныне живущих рас даёт кое-какие основания для предположений о том, от одного ли или от большего количества корней произошли люди на земле. Конечно, принимать для каждой расы отдельное начало в той стране, где она находится, как это делают некоторые, особенно американские,

учёные, нельзя. Такой факт, как образование человеческой расы, требовал одновременного появления столь многих благоприятных условий, что ни времени, ни мест таких на земле не могло быть много. Последние исследования учёных всё более ясно подтверждают следующие предположения:

1. Все человеческие расы возникли не в одно время, но более или менее в одном месте, лежащем между Восточной Африкой и Индией, к югу от Персии и Аравии, там, где теперь находится Индийский океан. Ещё в древних индийских и персидских преданиях сохранилось известие, что там давно когда-то была суша, которую нынешние учёные называли Лемурией. Из этой-то предположительной Лемурии и произошли люди в доисторическую эпоху и расселились по всем частям света.

2. Антропологические исследования показывают, что все человеческие расы, доисторические и нынешние, можно разделить на две большие группы по очень важному анатомическому признаку, а именно — по строению черепа. Одна группа — это расы так называемые *длинноголовые* (dolichoscephal), у которых череп продолговатый и значительно подан назад; к этой группе относится самая древняя из известных до сих пор рас — раса неандертальская, и относятся также нынешние самые низшие расы: негры, бушмены, папуасы и пр. Эти длинноголовые расы по различным предположениям — самые древние; они вышли из прародины раньше и расселились широко по Европе, Азии и Африке до прихода рас короткоголовых; в Европе и Азии позднее они погибли и остались лишь в Африке и Австралии. Позднее образовались и позднее вышли из прародины расы *короткоголовые* (brachycephal), у которых череп выдаётся больше вперёд, а поэтому и более развита передняя часть мозга. К этим расам относятся некоторые доисторические расы, а из нынешних — раса кавказская, монгольская, малайская, индийская и др. Остаётся поэтому для решения этого вопроса или принять двоякое начало людей, или опять же, что раньше выделились из обезьяны люди длинноголовые, а из тех на протяжении тысяч и тысяч лет образовались люди короткоголовые. Эти две ветви в тяжёлой борьбе за существование, перемещаясь всё далее

по земле, распространяясь в различных климатах и в различных условиях, должны были дифференцироваться всё больше, приспособляясь каждый раз к иному окружению и разделяясь на всё новые расы.

Так объясняет себе нынешняя наука начальное, стихийное и бессознательное развитие человеческого рода<sup>1</sup>. Основное явление той эпохи — грубая, звериная борьба за существование, борьба всех против всех, единиц с единицами. Видимо, такая борьба, хотя и образовывавшая (пусть в преобладающей части) человеческие расы, всё же не могла развить человека духовно, не могла быть основой того, что мы называем сознательным прогрессом, историей человечества. И именно потому-то заблуждаются многие дарвинисты, что в истории и во всей современной жизни общества они хотят видеть только такую борьбу, что считают эту *форму* борьбы за существование вечным и неизменным законом природы, принимают одну форму за самую сущность явления. Форма борьбы одиночек за существование вовсе не закон, она не вечная и не всеобщая, и этой формой мы не смогли бы выяснить ни начала истории, ни развития человеческой культуры, хотя бы нам даже захотелось признать, по примеру некоторых психологов, что человек обладает врождённой склонностью к общительности (*Geselligkeitstrieb*). Правда, склонность эта у современного человека есть, и где человек попросту не может вырваться из общества, там психологу вольно говорить, что эта склонность врождённая. Но всегда ли это было так? Не следует ли считать эту нынешнюю человеческую склонность к общительности более поздним результатом самой борьбы за существование, историческим приобретением человека? На этом теперь нам необходимо остановиться.

## V

Перейдём теперь к человеку и посмотрим, как зародились человеческие общества.

Аристотель называет человека ζῷον πολιτικόν, т. е. животным общественным; некоторые из нынешних учёных также приписывают человеку врождённую общительность (*die Geselligkeit*). Нам кажется, что лучше будет,

вместе с Кантом, отказать первобытному человеку в этой общительности<sup>1</sup> и принять то, что жил он, прячась среди скал и в пещерах, в одиночестве, а также во временных сообществах, поскольку это нужно было для размножения. Общительность, склонность к жизни в общинах и государствах, выработалась у человека позже, конечно, под влиянием той же борьбы за существование, которая до сих пор была его проклятием и мукой.

Первые зародыши общественной жизни, несомненно, появились в форме временного союза — стадного. Напал медведь или иной хищный зверь, — люди из соседних убежищ сбежались в самое лучшее убежище или на открытое место для защиты. Со временем люди начали кое-когда также сходиться большими группами, но уже не для защиты, а для ловли добычи. Следы такого союза (конечно, временного) каменного периода есть во Франции близ местечка Солитрэ. Там среди обширной долины возвышается отлогий ряд скал, как бы широкая стена, с одной стороны снижаясь до уровня долины, а с другой стороны поднимаясь высоко и заканчиваясь стремительным обрывом. В ту первобытную эпоху на равнине Солитрэ паслись стада допотопных, теперь вымерших, диких лошадей, за которыми охотился человек того времени. Группа людей окружала такое стадо лошадей и старалась загнать его на скалистую стену. Как только это удавалось, так сразу группа разделялась: одни бежали под крутой обрыв, а другие гнали туда лошадиное стадо. Кони, домчавшись по скале до обрыва, пугались, метались туда и сюда, но тут же, устрешённые стрелками, прыгали вниз, где их другие стрелки добивали камнями и палками. После такой охоты совершался общий пир, после чего, вероятно, большая группа распадалась.

Постепенно, однакоже, собирались такие союзы, которые уже не распадались, а держались сообща. Главным их занятием сначала и в течение долгого времени была охота. Но как ни опасно и тяжело ещё было жить человеку в таких союзах, всё-таки они имели очень большое влияние на его развитие и развивали в нём много таких способностей, которые раньше или позже должны были превратить борьбу за существование в полезное дело. Прежде всего надо вспомнить о некоторых усовер-

шенствований материальной культуры. Особенно важным в этом отношении для человека было открытие и употребление *огня*. В самой древней из открытых эпох, так называемого «отщепного кремня», обнаружены следы людей, которые, очевидно, не знали ещё употребления огня. Только с открытием огня человек, с одной стороны, научился лучше готовить пищу, делать её более съедобной и полезной для своего организма и тем самым более подходящей для развития своих духовных сил. С другой стороны, с помощью огня человек научился и лучше изготавливать себе оружие: заострять палки, расщеплять камни, а в конце концов добывать и употреблять металлы: медь, бронзу и железо. Дальнейшим и очень важным результатом жизни в стадах и общинах была *выработка речи*. Правда, человек и до того, как только стал ходить на двух ногах, обладал способностью издавать разные звуки и крики, которые могли служить для объяснения, например, детей с матерью или мужчины с женщиной и т. д. Обладая способностью издавать различные звуки, первобытный человек издавал их после каждого сильного потрясения: звуки голоса явились для него средством выражения всяких сильных духовных побуждений. Такие естественные звуки («*Naturlaute*») вначале могли получаться и одинаковыми при одинаковых впечатлениях. Но хотя постепенно и утвердилось множество таких одинаковых звуков для выражения одинаковых естественных впечатлений, но всё же это ещё не была речь, т. е. система голосовых знаков для выражения уже не простых впечатлений, но самых разнообразных мыслей и абстрактных понятий. Только когда человек начал жить общинами, у него появилась потребность постоянно понимать различные вещи и выработалась система таких голосовых знаков, значение которых нередко было чисто условным, т. е. голос сам по себе не выражал ничего, но только люди молчаливо согласились, что он должен обозначать то-то и то-то. Таким образом из чисто наследственных, естественных (ономатопэтических) голосовых знаков выработалась постепенно речь, в которой звуки стали независимыми от подражания природе, а дальше — больше и слова стали независимы от предметов, которые первоначально обозначали, и стали употребляться для

обозначения всё более общих понятий. Таким образом речь постепенно способствовала развитию мышления, памяти и вообще самых высших духовных способностей человека, которые и принесли ему окончательный перевес над природой в борьбе за существование.

В заключение следует вспомнить ещё об одной полезной стороне общинной жизни, а именно — о выработке *общественных наклонностей* (Socialinstinct), которые со своей стороны способствовали всё большему росту и укреплению общественной жизни. Уважение жизни сограждан, их личной собственности, чувство собственного долга, любовь к своей семье — все эти привычки и чувства, являющиеся основой общественной жизни и теперь могущие считаться у человека врождёнными, выработались со временем, в результате долгого и тяжёлого развития, на заре дружной жизни людей и утвердились затем в человеческой натуре естественным отбором.

## VI

Если в каком-нибудь роде животных появится какое-либо изменение, полезное для этих животных, для отдельной особи или для всего рода, то это изменение имеет возможность не только утвердиться в этом роде, но укрепляться всё больше, совершать всё более глубокие изменения в организации или в жизни этих животных \*. Животные, сначала случайно наделённые таким полезным изменением,

\* Это последнее видим ярче всего у человека. Все изменения общественного строя, хотя неизмеримо важные в борьбе за существование как каждой особи, так и всего человеческого рода, имеют относительно небольшое влияние на организацию человека, а только на образ его жизни. Самая главная причина здесь, повидимому, та, что, если животные ко всяким новым условиям должны приспособляться своим телом (организмом), человек приспособляется к ним многочисленными *орудиями*, которые и составляют главный признак его образа жизни. Кажется, что тот поворот в развитии людей, т. е. общее употребление и усовершенствование орудий, служащих человеку в борьбе за существование, был главной причиной того, что с этого времени борьба за существование не была в состоянии образовать хотя бы одну новую расу людей (так называемые расы смешанные, появившиеся уже в исторические времена, образовались не прямо в борьбе за существование, а через смешение людей различных рас).



лучше могут действовать в окружающих условиях, побеждают своих соперников в борьбе за существование и имеют возможность скорее, чем слабые животные из того же рода, оставить по себе потомство и передать ему это полезное изменение. Со временем животных с этим полезным изменением станет больше, чем без него, а затем более слабая порода и совсем вымрет, и останутся животные, наделённые полезным изменением, которое теперь уже не является ни изменением, ни отклонением от нормы, но само является нормой. Целый род таким образом изменился, стал более или менее непохожим на свой предыдущий тип, и всё это не каким-то чудом божьим, а чисто механическим, так сказать, случайным образом. Этот механизм Дарвин назвал *естественным отбором*, и открытие его является главной заслугой этого мыслителя \*.

И человек, как животное по своей организации, даже как животное общественное, находится под воздействием этого закона. Только влияние его, говоря об общественной жизни человека, нужно искать уже не в изменённой организации, не в приспособлении тела, а в изменении образа жизни, в изменении общественных учреждений (причину мы дали в примечании). Здесь уже естественный отбор из области биологической переходит в область социологическую, и понятно, что в этой новой области он должен принять и новый вид, не изменяя, впрочем, своего существа.

Посмотрим же теперь, как проявлялся естественный отбор и к чему вёл людей с самого начала их общественной жизни.

Мы видели уже, как под влиянием борьбы за существование после долгих веков разобщённой жизни люди начали сходитьсь вместе, общаться. Мы отметили, что только с этой поры началась человеческая культура, ибо общественная жизнь повлекла за собой выработку речи, общественных обычаев и нравственности. Очевидно, что вскоре эти новые приобретения человеческого духа показали себя полезными прежде всего для укрепления общественной связи, а косвенно и для лучшей жизни всего

---

\* Известно, что закон естественного отбора открыли одновременно и независимо друг от друга Дарвин и Уоллес (Wallace).

человеческого рода, и потому в силу естественного отбора они должны были всё более укрепляться. После первобытной, совершенно тёмной эпохи разобщённой жизни людей начинается поэтому другая эпоха, которой Спенсер присвоил название «господство церемоний и обрядов».

Во всех проявлениях человеческой жизни мы видим в эту эпоху стремление к содружеству, к тесному единению, к интеграции. Люди, прежде разобщённые, объединяются в большие или меньшие стада, общины, — те в свою очередь под угрозой опасности (войн и пр.) объединяются между собой в большие группы, вырабатывают у себя общую речь, одинаковые обычаи, одинаковый образ жизни и благодаря таким теснейшим связям вырастают и силой и численно, разрастаются в племена и народы. Внутри отдельных общин и целых племён вырабатываются общие верования и взгляды, одинаковые обряды, приветствия, знаки уважения и почестей, победы и рабства. Начинаются первые попытки устройства жизни семейной, общинной и племенной, первые следы торговли и межобщинных, межплеменных отношений. Намечаются первые зародыши государств, ещё теснее связывающие воедино общины и племена. Все эти общественные учреждения, сначала слабые, неопределённые, случайные, крепнут и расширяются в силу естественного отбора; борьба за существование начинает проявляться уже в двух формах: борьбы каждой личности с окружающей природой за свою жизнь и борьбы целых групп между собой за своё существование, за свою обособленность, за свой выработанный внутренний строй. Первая из этих форм постепенно приводит людей от охоты, рыболовства и звероловства к жизни пастушьей и земледельческой; толкает их к усовершенствованию своих рабочих орудий, к заселению беспредельных пустошей, вырубке лесов, осушению болот, приручению различного скота и всё более лучшему устройству своих экономических отношений. Вторая форма борьбы за существование вызывает всё большие войны и хоть нередко уничтожает и разрушает достояние и уносит жизни многих единиц, но зато способствует усилению общественных связей, укреплению государственной организации; сталкивая одни племена с другими, война расширяет мировоззрение и круг зна-

ний одиночных племён, учит людей обмениваться плодами природы и труда разных стран; создавая более или менее обособленное военное сословие, война делает первый шаг к разделению общества на сословия; вначале она очень часто берёт под свою опеку торговлю, промысла и международные отношения и даже, требуя множество всякого оружия, сама вызывает определённые большие отрасли промыслов и не мало способствует усовершенствованию человеческого познания и использованию металлов.

В семейной жизни вместо первобытного беспорядочного и простого звериного спаривания мы видим теперь несколько очень интересных фаз развития. Так, в первых человеческих общинах все женщины считаются общим достоянием всей общины, каждый член общины имеет одинаковое право на них всех. Обычай этот ведёт за собой другие обычаи, характерные и для нынешней семейной жизни диких народов, как, например, тот обычай, что наименование матери (не отца) переходит на детей, что родственники матери считаются более близкими, чем родственники отца, и т. д. Из того первобытного *общезнства* выработались и другие фазы: экзогамия (где жениться можно только на девушках из других племён) и *позиция девушек* из чужих племён (когда какой-либо член общины, не удовлетворившись общинным общезнством, желал обосновать себе своё отдельное семейное гнездо), *многоженство*, *многомужество* и, наконец, *одноженство* \*.

В экономическом отношении мы видим также сначала большое стремление к общности и содружеству в труде. Земля, которая не была чьим-либо владением в первобытную, дикуую эпоху, становится теперь общей собственностью племён и общин то ли охотничьих, то ли пастушьих, то ли земледельческих. Охота, скотоводство, полководство сначала ведутся также совместно, общинами. Из больших общин уходят группы людей поменьше на выселки, основывают так называемые «пригороды» с таким же самым внутренним распорядком, какой оставили в главной общине. Такие же группы поменьше направляются в

\* О первобытной семейной жизни самые лучшие исследования: Мак-Леннана «Primitive Mariage» и Леббока, в его «Origine of civilisation».

соседние страны и племена в торговых целях, общинами ставят большие строения, памятники, курганы и пр. \*

Вообще следует отметить, что в эту первобытную эпоху общественной жизни всякая деятельность человека была обрядом, что вся его жизнь, как и жизнь современных более развитых «дикарей», связана и опутана была обрядами и церемониями. Это вытекало прямо из закона об естественном отборе. Раз эти обряды, эти обычаи оказались хорошими для тесного сближения людей, — они должны были после того увеличиваться, укрепляться и шириться до крайности, должны были быстро охватить все стороны личной и общественной жизни людей. А во время этого процесса и с ними самими произошла серьёзная перемена, которая придала им ещё больше силы, сделала их из случайных формальностей, так сказать, обязательными путами для каждого. Понятно, что простой, «дикий» человек по самому складу своего ума склонен всё, что вначале покажется ему полезным, со временем считать уже не просто полезным, а святым, данным от бога для его нужд (вспомним здесь только обычные у людей поговорки: святой хлеб, святой день, святой дождь и пр.). Точно так было и со всеми человеческими обычаями. Вначале — обычные формы человеческого содружества, в дальнейших поколениях они приобретали неизмеримо большую силу, как установления древние, наследие предков, больше того — данные людям самими богами, т. е. святыне и для каждого обязательные. И если вначале исполнение или неисполнение этих обычаев было делом чистой случайности или потребности единиц, то теперь это стало обязанностью каждого, обязанностью, которую надо было исполнять, не думая о том, нужна ли она и разумна или нет. Вот поэтому-то Спенсер и назвал эту эпоху первой человеческой интеграции господством церемоний. Товарищеские, экономические и междуплеменные отношения людей в ту эпоху находились под непрерывным влиянием этих церемоний; никто не смел уйти из-под их власти. Совесть, нравственность,

---

\* О первобытном общественном хозяйствовании у различных племён см. исследования Мэна об общинах индийской, яванской, сербской, книги Лавлея о первобытной собственности на землю и др.

религия ещё совершенно тонули и исчезали в мраке церемоний и лишь постепенно начали из него выделяться, различаться. Церемонии вначале являлись всем, составляли всё; исполняя их, человек был и нравственен и религиозен, они были первобытной религией, были начальной школой, в которой дух человеческий учился истинной религиозности, слепой, покорной вере во всякий, хотя бы самый пустой и противный разуму, авторитет.

Мы сказали, что церемонии были начальной школой религиозности. Здесь необходимо пояснить, что мы понимаем под религиозностью. Уже с древнейших времён, ещё в звериную, разобщённую эпоху своего существования человек должен был иметь какие-то тёмные верования о душе в себе самом и о духах своих предков, о духах убитых им зверей и т. д. Но эти верования были скорее неясными суевериями, которые будили своего рода страх в человеке, но не были религией в том значении, в каком это понимается сейчас, т. е. не заставляли человека почитать какие-либо высшие силы, умилять их молитвой и жертвами, быть послушным их воле. Вот такому почитанию, такому покорному послушанию воле высших существ человек научился уже в общественной жизни, в эпоху господства обрядов и церемоний. Не удивительно поэтому, что в эту эпоху развиваются и усиливаются также первобытные религии, которые постепенно вовлекают в свою сферу и большую часть обрядов (обряды при рождении и смерти человека, во время болезней и недугов и т. д.) и таким путём забирают в свои руки власть над всеми поступками, над всей жизнью человека.

Рядом с религией, а кое-где и совместно с нею создаётся и первобытная политическая *власть*, власть царей и господ. На первой стадии общественной жизни человеческой не было того, что мы называем *властью*, т. е. господства людей над людьми. Когда первобытные охотники, рыбаки вступали во временный или постоянный союз, то вступали для взаимной помощи, обороны и пр.; сходились как равные с равными. Каждый в этом союзе занимал одинаковое место, а если даже в общих походах, во время охоты и пр. один становился впереди, вёл и управлял всеми, то был это самый сильный, самый

опытный, самый смелый; он при удачном улове мог получить немного большую часть добычи, но над своими товарищами он по окончании того дела, в котором предводительствовал, не имел никакой власти. Так же делалось и позже, когда одиночные группы первобытных дикарей сложились в племена и начали воевать между собой. На время войны такое племя выбирало себе или одного верховного вождя, а тот своей властью ставил низших вождей (разумеется, только на время этой одной войны), или всё племя выбирало сразу много своих самых способных людей, чтобы те предводительствовали ими в войне. Когда же заключался мир, прежние вожди становились снова простыми гражданами, а в общинных советах голос их значил столько же, сколько и голос каждого другого гражданина и даже кое-где меньше, так как в этих советах больше всего значил голос *старейших*.

Но постепенно обстоятельства начали складываться не в пользу этого первобытного общинного и племенного самоуправления людей. Частые войны, возникавшее с ними, с одной стороны, рабство, а с другой стороны, обогащение воинов вносили в эту первобытную однородную общину новый составной элемент — экономическое неравенство. Кроме того, чем более продолжительными и частыми становились войны, тем скорее должно было совершаться также разделение человечества на отдельные слои: земледельческий и военный. А с тех пор как воины почувствовали себя обособленным и притом более сильным, вооружённым и более богатым слоем, они начали добиваться захвата в свои руки постоянного господства над прочими согражданами — земледельцами, ремесленниками и купцами. В особенности вожди, которые не раз отличились в войнах, больше других обогатились награбленным добром и работавшими на них рабами, начали добиваться не только того, чтобы удержать в своих руках господство и власть над целым племенем на всё время, но даже чтобы эту власть сделать наследственной в своём роду. Это был весьма важный шаг в развитии политической власти \*. Потому что если до сих пор власть (времен-

\* Очень хорошо это показал Спенсер в своей недавней статье о развитии политической власти, см. «*Staatliche Einrichtungen*», «*Kosmos*», 1881 г.

ная или постоянная) зависела от личной силы, способностей, опыта, заслуг, то это непременно требовало, чтобы был кто-то способный оценить эти заслуги и чтобы кто-то располагал властью и силой в награду за эти заслуги делать одного человека вожаком всех. А такой властью и силой обладал не кто другой, как только всё племя, народ, община. Вожаки только из рук народа получали свою власть и всегда знали, что эти самые руки при пером случае могут и отобрать её у них. Не удивительно поэтому, что они всеми силами стараются избавиться от этой неудобной им народной власти, стараются из первоначальных слуг народа сделаться его господами. Выделение и обособление отдельного воинского сословия даёт им для этого сильную опору, материальное основание: имея за собой войско, они могут усмирить или совсем уничтожить тех граждан, которые оказались бы недовольными их властью. Но религия до конца завершает это дело, и завершает его путём гораздо более лёгким и более удобным, чем сила оружия.

С развитием и ростом обрядов, церемоний и верований среди народа по необходимости появлялись люди, мысль которых главным образом работала в этом направлении, которые лучше всего понимали эти многочисленные обряды и верования, по собственной охоте следили за строгим исполнением их другими людьми и постепенно приобретали славу людей «знающих», «ведающих», «вещих», «пророков» и т. д. Постепенно у народа выработалась вера в то, что такие люди общаются с духами, от них получают свои знания и даже приобретают различными способами власть над ними. А так как и сами люди «вещие» то ли из врождённого себялюбия и самохвальства или по другим причинам (галлюцинаций, снов и т. д.) не только не возражали против этого, но, наоборот, подтверждали это, то, конечно, из всего этого должна была выработаться вера, что эти люди с помощью духов обладают сверхъестественной силой и над людьми, могут им помогать или вредить. К этому нужно прибавить, что такие люди обычно занимались и лечением больных, которое первоначально не было вовсе медициной в нашем понимании, но так же, как и всё прочее, только ворохом различных обрядов и церемоний. Всё это больше всего содействовало образованию внутри племён группы людей, занимающих

обособленное и в значительной части привилегированное положение, людей, окружённых подлинным страхом, преклонением и ореолом некой сверхъестественной силы, которая подчиняет им добрых и злых духов и, следовательно, даёт им возможность помогать или вредить людям.

Но когда такой «вещий» человек был одновременно военным вождем и героем, тогда его уважали вдесятеро больше. Тогда он мог спокойно издавать какие угодно постановления и налагать бремя на народ, прикрываясь в каждом случае духами предков или волею богов, с которыми имел сношения и которые-де требуют того или иного. Такой приказ не мог уже встретить сопротивления, и поэтому-то вожди быстро привыкли к этому — издавать все приказы именем бога и, больше того, даже считать свою власть данной им от богов, а затем и род свой прямо вести от богов. А где вожди сами не были людьми «вещными», там старались завязать тесную связь с такими людьми, привлечь их на свою сторону, уступить им даже часть власти, чтобы затем пользоваться услугой, которую посредством «вещных» могла им оказать религия. А коль скоро военные вожди сделались доверенными, избранниками, а то и просто потомками могучих духов-богов, то уже само собою вытекало, что власть их — это божья власть, что люди поэтому не могут её ни предоставлять, ни отбирать и что она, уже невзирая на заслуги, должна оставаться в роду избранников и родичей божьих.

Таким образом, с помощью религии и обрядов слуги народа сделались господами народа! Таким образом, первобытные самоуправляющиеся и народоуправляющиеся общины сами из себя создали абсолютных владык: королей, царей, князей. Военное сословие, обогащённое войнами, расселось вокруг верховного владыки, сделалось рыцарями, боярами, господами. Значит, и первобытной общинной и племенной общности наступил конец.

Здесь следует ещё несколько задержаться. Обычно люди, мало понимающие в общественно-политическом развитии человечества, говорят, что нынешний социализм и коммунизм — это только повторение той первобытной «общинной» общности, о которой мы здесь говорили. Они так и называют её — «первобытным коммунизмом». А из этого заключают они следующее:



1. Современный социализм и коммунизм — это стремление к возвращению той прадавней, забытой и пережитой общности, давно отвергнутой и похороненной дальнейшим прогрессом, потому это стремление реакционное, антипрогрессивное, ведущее к варварству, к одичанию человечества.

2. Так же, как «первобытный коммунизм» не мог устоять против прогресса, так и современный социализм, хотя бы и осуществлённый на деле, по тем же причинам долго не устоит и должен будет уступить место какому-то другому строю.

На это приходится нам ответить следующее. Хотя первобытную общинную общность иногда и можно называть коммунизмом, но тем не менее совсем нельзя считать её одинаковой с современным социализмом, который опирается именно на самые главные приобретения всего прошлого развития человечества, как это, впрочем, будет рассказано подробнее в конце этой статьи. А уступит ли социализм когда-нибудь место какому-то другому общественному строю, этого мы теперь не можем знать, и это нас, правду говоря, ничуть не беспокоит. Судя же по прошлому развитию, это, впрочем, и можно допустить, так как известно, что и социализм, как всякое человеческое дело, не будет делом без недостатков, не сделает из людей бесплотных ангелов, не отбросит поэтому ни одного основного закона человеческого развития. Но только, как сказано, до этого нам и дела нет. А чтобы яснее показать различие между современным социализмом и первобытной общиной, мы посмотрим, на чём основывалась первобытная община и на чём основывается теория социалистического строя? Первобытная община основывалась на самой простейшей форме производительного союза: земля была общая, и люди работали на ней так, что каждый член общины одинаковыми и очень простыми ручными орудиями делал одинаковую работу. О более тесной кооперации, об обобществлении орудий и централизации рабочей силы не было здесь и речи. Это была общность отдельных рабочих единиц, как бы пучок прутьев, поверху связанный верёвкой. Не удивительно поэтому, что, когда верёвка порвалась, прутья рассыпались; когда первобытная общинная общность начала расслаиваться

на отдельные общественные сословия, т. е. когда отдельные личности, до сих пор равные со всеми остальными, начали экономически ли, политически или в религиозном отношении перерастать выше обычной меры, то должна была пасть и общинная общность. Между тем современный социализм основывается именно на том, чего не хватало первобытной общине — на комбинированном союзе, на строгой организации труда, на централизованной (в машинах и машинных системах) рабочей силе и на строгой федерации всех людей в один рабочий союз (с соответствующим разделением труда) и в одно политическое тело, основанное на полном самоуправлении и свободе его отдельных членов: племён, народов, общин. Это уже даёт возможность судить о том, как поверхностно и с лёгкой руки многие люди судят о социализме, не утруждая себя ни тем, чтобы рассмотреть самые фактические основы этой теории, ни тем, чтобы проследить её развитие до окончательных результатов.

Резюмируем теперь в нескольких словах весь ход развития, который мы видели в эту первую эпоху человеческой общественной жизни. Борьба за существование создаёт общность. Общность создаёт обряды, церемонии и верования, которые укрепляют её. Обряды, церемонии и верования, разрастаясь всё больше, создают отдельное сословие людей «вещих» (колдунов, лекарей, попов), а косвенно создают абсолютных владык с наследственной (не народной, а антинародной) властью. Абсолютная власть отвергает и уничтожает первобытную общность. То, что вначале укрепляло общность, в дальнейшем развитии уничтожает её, — разумеется не совсем, уничтожает только одну форму общности, чтобы ввести другую. Это как бы подобие того змея, который кусает собственный хвост, но именно это, как увидим далее, и является всеобщим законом исторического развития, по крайней мере в предшествующей истории.

## VII

Таким образом первобытное содружество людей, само, силой собственных, в нём лежащих следствий, породило опять разобщённость, неравенство между людьми. Человек

по своей природе стремится к всё лучшему обеспечению жизни и размножения. Земледелие, ремёсла, купечество приобретают всё большую силу, а так как первобытный общинный строй давал членам общины при совершенно неорганизованном способе труда недостаточно пользы, но зато во многом связывал их свободу в хозяйственных делах, то община постепенно распадалась. (Разумеется, что там, где польза от общинного хозяйствования уравновешивалась с невыгодами или даже превышала их, оно удержалось и доньше, как на острове Яве, в Индии, России и т. д.) Для надлежащего развития хозяйства сверх общинного нужно, чтобы хозяйствующие лица могли свободно распоряжаться всем, вводить новые способы труда, новые орудия по своей воле, обрабатывать поля и держать скот по потребности, а не столько, сколько заведено в общине. При этом сам характер первобытных ручных орудий, приспособленных для единоличного пользования, тянул к одиночному труду, к разделению и раздроблению труда. То же самое происходило и с ремёслами, которые с самого начала были делом отдельных единиц и не могли быть делом общественным, общинным. Так же распадалась постепенно и общины купеческие по мере того, как с укреплением политической власти и ростом военных сил дороги и торги становились более безопасными, и потому становилось полезнее и выгоднее ездить небольшими группами, с небольшим припасом и лёгким снаряжением или даже и в одиночку. Так же и в семейной жизни, как мы об этом уже раньше упомянули, общее владение жёнами прямо толкнуло сначала немногих, более смелых, к похищению девушек из чужих общин в частную собственность, а дальше и к общим обычаям экзогамии (женитьба на чужеплеменных) и запрещения женитьбы на близких родственниках. Повсеместное затем появление этой второй эпохи в человеческой истории — это разобщение, разделение «на ся», новая дифференциация в делах хозяйственных, семейных и общественных. В делах хозяйственных — это период раздроблённой частной собственности не только на орудия и результаты частного труда, но и на землю, леса, шахты и т. д., период единоличного, мелкого способа производства. В делах семейных — это переход от

общности жён, многоженства и многомужества к единоженству и отдельной, тесно в себе (во власти отцовской) замкнутой семье. В обществе в целом — это пора разделения на слои и касты, нередко очень строго отделённые одна от другой (князья с семьями, рыцари, попы, воины, купцы, ремесленники, земледельцы, рабы и т. д.).

Но это разделение внутри общества — это уже не та раздроблённость первобытных дикарей, которую мы видели перед общественным объединением. *Это разделение происходит уже на основе достижений предыдущего периода*, на основе общественного единения. Общественная и племенная связь остаётся и даже укрепляется в государственных связях. Политическая власть достигает в этот период наивысшей степени силы и могущества, становится тиранией божьей милостью. Как перед богами все люди ничтожны, бессильны и неправы — ведь право-то всё-таки бог дал, бог может и взять, — так же ничтожны, бессильны и неправы все люди в государстве перед наивысшей единицей — царём-тираном. Он, как потомок богов или нередко и сам бог, волен делать с людьми, что ему понравится: человеческая единица перед ним исчезает, уменьшается до бесконечности, превращается ни во что. И это именно тогда, когда эти человеческие единицы силой самого развития разрывают стесняющую их общину, домогаются большей свободы и самостоятельности личности в экономических делах. В политических делах все они — равно богатые и бедные — составляют одну неправую и бессильную массу, руководимую только волей или прихотью царя-бога. Политическое бесправие и бессилие не препятствует единицам создавать в обществе всё большее имущественное неравенство, которое в конце концов должно опрокинуть и тиранический политический строй.

Но пока ещё тирания в полной силе. История оставила нам примеры таких тираний, а именно тираний больше светских в Вавилоне, Ассирии, Мидии, Персии, Македонии (Филипп II и Александр В.) и тираний больше религиозных (теократических) в Египте, Иудее, Перу. У греков и римлян мы видим в начале их истории также тирании, пока различия экономические, порождённые внутри самих народов, не свергают тиранического правления

и не ставят на его место тирании плутократической, т. е. господства богатых над бедными. А в конце древней истории видим, что бывшее явление тиранов снова возвращается в форме римских цезарей, первым делом которых было сделаться богами, склонить на свою сторону попов всех верований и заложить даже огромный храм, где были бы размещены и почитаемы все боги их царства (Пантеон). И снова мы видим то же, что и в начале этой эпохи: политические права единиц перед волей или самовластием цезаря исчезают совершенно. Цезарь — это бог, и потому это неограниченный господин достояния, доброго имени и жизни каждого из своих «подданных», «подвластных». Он как бы частный владелец целого государства со всеми землями, полями, лесами, городами, сёлами, людьми и их имуществом. Он говорит: государство — это я, это моя собственность; и говорит это с большим основанием, чем говорил в XVIII веке Людовик XIV во Франции.

Но только под блеском этой политической власти, которая, кажется, не знает и не ставит себе никаких границ, кроются семена великих раздоров, семена нового общественного строя. Семена эти — экономическое неравенство, которое не могла сравнять никакая тираническая власть. Наоборот, тираническая власть помимо своей воли и сознания содействовала увеличению этого неравенства. Отнимая у своих подданных всякое значение, всякую свободу в политических делах, тираны оставляли им полную свободу в экономических делах, поддерживали торговлю и промышленность предоставлением привилегий и, собирая под свою власть всё больше племён и стран, нагромождали также в своих сокровищницах неисчислимые сокровища. Тиран, кроме политического властвования, становился и самым крупным богачом и любил собирать вокруг себя и отмечать не только главных рыцарей и попов, но также и главных богачей страны. Кроме того, он мог и сам обогащать своих любимцев, отдавая им или в управление обширные области (сатрапии), или во владение громадные земли, сёла и города. С другой стороны, частые войны превращали множество «свободных» людей в рабов. Такие рабы становились собственностью господ, богачей и царей и должны были работать на них, как скот, и служить им в качестве

слуг. Как все свободные в государстве не имели никакого политического права перед царём, так и рабы не имели никакого, даже человеческого, права перед своими господами. Тирания распространялась сверху донизу, и чем ниже, тем становилась всё тяжелее и жесточе, когда переходила из области политической в экономическую. Таким образом, тирания, развившись до своих крайних пределов, создала, с одной стороны, неограниченное самовластие владык, а с другой стороны, безграничное угнетение подданных и рабов в политико-правовом отношении; с одной стороны, несметные богатства царей, сатрапов и царских прислужников, рыцарей и вельмож, а с другой стороны, безграничную нужду рабов и свободных пролетариев в экономическом отношении. Значит, в обоих этих отношениях, в политическом и экономическом, она создала неизгладимые противоречия, взрастила силы, которые рано или поздно должны были её самой свергнуть. И в самом деле, уже к концу римской республики мы видим одновременно и войну рабов и морских разбойников за своё общественное и политическое равноправие, а также большие движения римских пролетариев (под водительством Гракхов) за экономическое обеспечение. Римские цезари хотя и старались порой сгладить этот антагонизм и противоречия, но не могли решиться на коренное переустройство всего общества. Они не излечили общественный недуг, а лишь загнали его внутрь общества. Господство римских цезарей — это было большей частью господство отпущенных рабов (либертинов) и наёмных воинов-преторианцев. Чем бы закончилось это развитие, если бы шло и дальше нормально, — неизвестно. Но вот налетела буря с севера и востока и развалила громадное здание римской державы, а потому и свернула общественное развитие в сторону, примешав к составным частям римского общества новые, собственно — первобытные общинные составные части.

### VIII

Мы уже во введении к этой статье сказали, повторив Тейлора, что история человечества не является однородным и прямым развитием, что в ней встречаются и откло-

нения, как бы зигзаги. Одним из самых известных таких отклонений в истории является переход от древнего мира к средним векам, является тот период истории, который обычно именуется великим переселением народов. В течение древней истории оно внесло новую струю и вместе с влиянием только что возникшего христианства разрушило последнее великое создание древней культуры — Римскую империю, и повернуло всё течение истории в другую сторону.

Чтобы понять, что же нового внесло в историю человечества переселение народов и последовавшее за ним господство германских порядков в Западной Европе, необходимо уяснить себе противоположность этих порядков древним порядкам, а особенно римским. Ведь известно, что римское государство образовалось на основе тесной семейной организации, в которой до наивысшей степени была доведена автократическая власть главы семейства. Между тем германская военная организация образовалась из общественной организации, в которой, как и во всех первобытных общинах, автократическим господином являлась совокупность всех свободных членов общины. Лишь в многолетних войнах с Римом эти удельные германские общины начали соединяться в большие, тесно слившиеся целостности — государства. И если римляне, захватывая какую-нибудь область (в начале своего расширения), присваивали себе прежде всего *землю*, которая или делилась между отдельными римскими семействами как собственность частная, или оставлялась в собственности государства как *ager publicus*, то германцы, забирая чужую область, старались присвоить себе прежде всего её население, которое становилось *крепостным* завоевателей и соответственно — отдельных вождей. Это простое разграничение даёт нам ключ к пониманию всей истории, всего развития средних веков.

И в экономическом, и в политическом отношении средневековые порядки обнаруживают смешанный характер. С одной стороны, общественное равенство и общность полудиких племён; с другой стороны, крепостное рабство (*Leibeigenschaft*), собственность частная и власть монархическая — продукты разбитой древней культуры, ожившие на её развалинах. Из этих разнородных составных

частей образовались основные общественно-политические учреждения средних веков. Вся земля в государстве считалась вначале собственностью государства, а соответственно — её представителя, цезаря (и то не личной собственностью, а собственностью *короны*). Цезарь, а соответственно корона, — это верховный узел в государстве, в котором сходятся все его нити. Одной ступенью ниже его стоят равные и свободные его дружинники (*sodales*), благородные, бывшие завоеватели. Они обязаны лично служить государству (короне) в военном деле, а чтобы они могли нести свою службу надлежащим образом, а также в награду за прежние услуги, получают от цезаря (короны) землю во владение и пользование (*feudum*) на такое время, какое будет продолжаться их служба, а следовательно, — пока будет жить их род, затем земля переходит снова в прямую собственность короны. Эти дружинники, получив большие просторы земли во временное ленное (*Lehn big leihen*, брать в долг) владение, делят свой лен снова на части, которые на таких же условиях отдают в ленное владение *своим* дружинникам, обязанным служить им, а с ними — и государству. Эти также могут свои куски отдавать в ленное владение ниже их стоящим свободным дружинникам и т. д. Таким образом от самого высшего предводителя и представителя государства идёт целая лестница с всё более низшими ступенями *свободных* людей, обязанных нести военную службу. Но на какой же основе стоит эта лестница? Понятно, на основе *крепостничества* и *подданничества* ремесленников и земледельцев. Трудящийся народ здесь считается неотъемлемой частью того куса земли, которая даётся и берётся в лен, считается как бы живым инвентарём, без которого сама земля для благородного военного дружинника, рыцаря, не имеет никакой ценности. Кажется, не требуется и отмечать, что высшее духовенство и монастыри в этом ленном порядке стоят наравне с прочим дворянством, берут и раздают лены и обязываются хотя и не лично, но косвенно к военной службе.

Но этого недостаточно. Такая военная организация всей страны, вызванная именно постоянной опасностью во время многовекового переселения народов, требовала ещё одного звена для своей целостности. Приходи-



лось укреплять границы, оборонные, торговые и общественные места крепкими стенами и рвами, о которые разбивался бы натиск хищников. Уже римляне во всей Западной и Средней Европе заложили много таких укреплений, которые со временем разрослись в *города* (от слова городить, укреплять). Такие города в случае нападения должны были служить местами сбора и защиты для окрестного народа со всем его достоянием, какое только можно туда перенести. Так как в них за крепкими стенами и военной силой было гораздо безопасней, нежели на открытом просторе, то они превратились также в центры науки, ремёсел, торговли и промыслов. Эти города редко бывали во владении отдельных ленников; чаще всего они оставались прямой собственностью короны — под управлением цезаря. Труд ремесленный и научный, купечество и промысел в городах — всё было организовано также наподобие той феодальной лестницы, которая господствовала во всём государстве. Управление городом, а также суд были в руках бургомистра и советников (членов суда), избранных горожанами. Каждое ремесло было организовано в цехи, купцы — в *гильдии*, научные учреждения также имели свои соответствующие организации (буршеншафты). У каждой такой организации были свои строго определённые права и обязанности, была определённая власть, свои суды и т. д.

Из этого беглого очерка средневековых феодальных порядков уже можно увидеть, чем они отличались от порядков древних и куда должно было идти дальнейшее их развитие. В сравнении с древними порядками это был отчасти регресс, а отчасти и прогресс. Регресс постольку, поскольку уничтоженные в римском государстве международные и межклассовые перегородки здесь снова возродились, притом с удвоенной силой. Ведь если развитие древнего мира, достигнув своей вершины в римском государстве, начало уже все междучеловеческие противоречия сводить к самым основным общественно-экономическим и политическим вопросам: *равенству* экономическому и правовому и *свободе* политической (слова, личности, веры и мнений), — то здесь, чем дальше, тем больше дело запутывалось и затемнялось из-за кромсания общества на разнородные слои, подчинённые один другому не в силу

разума или хотя бы состоятельности, а в силу благородства рода, традиции; раскромсанность общества и строгая замкнутость каждого слоя в его границах породили узость взглядов, своекорыстие, враждование и войны из-за мелочей, нетерпимость слова, веры и мнений, темноту и застенчивость в старых, отживших формах.

Но, с другой стороны, есть и прогресс в этом строе перед древним. Крепостничество, в каких бы диких и грубых формах оно нередко ни проявлялось, всё-таки является прогрессом гуманности перед древним рабством. Сам феодализм со своей сложной лестницей общественных подчинений как, с одной стороны, ограничивает автократическую власть монарха, так и, с другой стороны, ограничивает и частное право земельной собственности. Разделение общества на резко разграниченные слои с определёнными для каждого отдельными функциями соответствует разделению труда в мануфактуре, где каждая рабочая единица выполняет одну какую-нибудь мелкую специальную функцию и где лишь труд всех единиц создаёт законченный продукт. При таком разделении труда, правда, свободное развитие индивидуума страдает, он хиреет в некоторых отношениях, но зато до высокой степени развивает своё специальное умение. Так было и здесь. Отдельные слои, замкнутые каждый в себе, должны были обратить главные свои силы на внутреннее развитие. И это был большой прогрессивный момент в истории средних веков. Ведь известно, что иногда и самый малый одушевлённый слой, самое дряхлое учреждение может существовать долгие века, если только имеет возможность жить паразитическим способом, черпать со стороны ежечасно новое подкрепление, новые соки. Но когда придётся ему жить и развиваться собственными силами, то здесь сейчас же обнаружится его дряхлость, и оно быстро должно распасться. Так было и с феодализмом. Каждый слой в сложной общественной лестнице должен был развиваться сам в себе, воспитывать и до наивысшего разрастания доводить те зародыши, какие в нём были заложены.

Итак, мы видим, что цезари, и вообще монархическая власть, стремятся к всё большему укреплению. В разных странах она идёт к этому разными путями, потому и приходит к разным концам. Во Франции короли входят в

связь с сильным духовенством и стараются угнетать и урезывать дворянство; королевская власть доходит до наивысшей силы, доводит народ до самого большого упадка и бедности и вызывает революцию 1789 г. В Англии королевская власть опирается именно на дворянство, но слишком рано должна допустить его к участию в управлении — попытки противоположных стремлений заканчиваются революциями, — и слишком рано Англия уже становится дворянско-конституционным государством. В Германии же монархическая власть вступает в долгую и упорную борьбу с духовенством, но в этой борьбе впадает в крайности и попадает в руки феодалам: дворянству, мелким князьям и попам. Во всех этих трёх феодальных государствах монархическая власть с началом нашего века *de facto* исчезает в силу развития то ли из-за атрофии (истощение сил), то ли из-за гипертрофии (излишек сил).

Не менее интересно развитие рыцарства, дворянства. Постоянно совершенствуясь в военном ремесле, дворянство должно было искать войны, чтобы всё время добывать новую славу, а также и новые ленные владения. И действительно, средние века — это века войн *par excellence* \*. Войны тянутся и по 100 лет, вспыхивают из-за всяких пустяков. Но, конечно, в этих войнах погибало много дворянских родов. Опять же, если войн не было, дворянство по необходимости пускалось на разбой и грабежи (*Raubrittertum* \*\*), что должно было вызывать сопротивление им других слоёв (особенно монархов и городов). В Англии, где власть дворянства усиливалась всё больше за счёт королевской власти, уже в XIV веке из родовых магнатов начали образовываться денежные магнаты — капиталисты. Во Франции великая революция сокрушила безвозвратно пышное когда-то здание дворянского величия, а на его развалинах заложила фундамент не менее пышного здания мещанского (*bourgeois*, буржуа) величия. В Германии старый феодализм удержался дольше всего, но всё же блеск его уже в XVI веке начал меркнуть перед быстрым развитием городов. Уже в нашем

---

\* *Par excellence* (франц.) — по преимуществу.

\*\* *Raubrittertum* (нем.) — разбойничье рыцарство.

веке там совершается тот же самый перелом — превращение родового дворянства в поместное дворянство.

Но уж, несомненно, интереснее всего — развитие городов. Их обеспеченное положение позволяло здесь больше, чем где-либо, развиваться мирной культуре, промышленности, науке и искусствам. С начала средних веков города стремятся ко всё большему расширению своей автономии; из собственности государственной они превращаются в «вольные города» с собственным управлением, собственной казной и собственной военной силой, которая вскоре становится грозной для спесивого дворянства и слабосильного монархизма. И действительно, то дворянство, то короли схватывались с ними в междоусобной борьбе; то те, то другие предоставляли городам новые вольности и привилегии. К тому же широкие торговые связи расширяли всё больше кругозор, увеличивали богатство горожан. Восстановление греческой науки и искусства внесло новую жизнь в города; открытие Америки и морского пути в Индию увеличило их богатство; изобретение оружейного пороха дало их хорошо вооружённым и умело управляемым войскам перевес над закованными в железо рыцарями; изобретение книгопечатания расширило их духовный кругозор, оживило мысль и критику и укрепило стремление к свободе. Революционные идеи мыслителей XVIII века были только ясным и систематическим изложением того мировоззрения и тех стремлений, которые с XVI века вырабатывались и дозревали среди горожан. Скорее всех развились города Северной Италии и повели в союзе с духовенством борьбу против немецких императоров; борьба эта окончательно подорвала императорскую власть в Германии. Угасавшая императорская власть держалась там ещё некоторое время именно на городах, рассыпая им щедрой рукой привилегии и способствуя этим их росту. Во Франции мещанство разрасталось также во время борьбы королей с дворянством; впоследствии оно долгое время добивалось равноправия с дворянством, пока великая революция сразу же не поставила его в господствующее положение на развалинах дворянских замков. Наконец, в Англии развитие мещанства шло рядом с развитием дворянства; конституционализм этой страны, свобода личности, своевременная

ликвидация крепостничества, т. е. наличие именно того, чего добивалось во Франции мещанство в XVIII веке, больше всего способствовало его развитию и обогащению.

«А вы, плебеи-гречкосеи?» Как развивались вы? Что приобрели и что потеряли вы в эту тяжёлую, но и важную эпоху исторического развития? Удивительная вещь! Чем ближе к нашим временам, тем судьба трудового народа (сельского и городского) становилась в *правовом отношении* более лёгкой (хотя и незначительно и не везде), зато в *экономическом* — всё более тяжёлой, тем тяжелее, чем живее и в среде беднейших людских масс разгорается сознание своего достоинства и желание свободы. И не удивительно поэтому, что вступление в новейшие века ознаменовано почти везде кровавою чертой так называемых «крестьянских бунтов». Правда, людские массы, выросшие в многовековой темноте и гнёте, не имели ясного представления о своих интересах, не знали, куда клониться и куда направляться. Потому чаще всего их бунты и войны имели только негативное значение — протестов угнетённого и униженного человечества против господствующих общественных порядков, а если у них проявлялись порою и позитивные стремления народа, то стремления эти бывали обычно реакционные, а не прогрессивные. Лишь уничтожение крепостничества и признание политической свободы трудового народа внесло новый свет в их жизнь. Правда, экономические отношения трудового люда признанием их формальной свободы не улучшились, а, наоборот, ухудшились, но это ухудшение было необходимым, как мощный толчок к дальнейшему развитию.

Обобщим теперь всё сказанное о средних веках и постараемся из этой массы запутанных и противоречивых стремлений отыскать ведущую прогрессивную нить.

Средние века мы назвали бы эпохой преобладающей дифференциации. Всё здесь разветвляется, раздробляется, разграничивается. Политические и общественные силы как бы распадаются, замыкаются каждая в себе и каждая для себя, но лишь для того, чтобы затем снова сойтись более совершенными и созревшими и померяться силой в новой, великой, прогрессивной борьбе. Средние века были переходной эпохой от первобытной дикости, от эпохи звериного господства физической силы среди людей

к эпохе новой культуры, к эпохе господства разума среди людей. И не удивительно поэтому, что в них скрещиваются такие противоречия. Должны же в переходной эпохе встречаться остатки пережитого прошлого и зачатки новой будущности; чем резче они различаются друг от друга, чем более односторонне развитие каждого из них, тем быстрее засохнут старые остатки, тем более бурно вырастут новые поросли. Военная организация общества и автократическая власть людей над людьми — это были те старые остатки, которые несовместимы с дальнейшим ходом человеческого развития и осуждены на гибель. Мы видим, что именно они были основой всех средневековых порядков. Но всё же сама их сила, собственной природой развития, и разрушила их. Военная организация общества создала укрепленные города; укрепленные города содействуют развитию мирного труда и обогащению невоенных людей — горожан; обогащение горожан порождает у них желание свободы и равноправия и отвращение к войнам и родовым привилегиям; эти стремления ведут к революции и к свержению феодализма.

## IX

Известное дело, что в определённых границах (с начала общественной жизни), чем ниже ступень развития, на которой стоят люди, тем упрямее мысль их устремляется в сверхъестественный, сверхчувственный мир. Живя под тягчайшим гнѐтом материальных условий, они творят тысячи сказок о душах и духах, о чудовищах и богах. Вся их земная жизнь становится зависимой от существ неземных, т. е. прямо от созданий их собственной фантазии. Освобождение человечества от этой самими людьми сотворённой власти — это процесс очень длительный и тяжѣлый, он продолжается до наших дней, и мы не дожѣмся его окончательного и бесповоротного решения. Это освобождение и есть борьба истинного знания, *науки*, с мнимым знанием, с верой, религией. Очевидно, эти две враждебные силы стоят друг к другу в обратном отношении: чем больше науки, тем меньше веры, так как наука не есть вера, но сомнение, критика; чем больше веры, тем меньше науки. И снова очевидное дело, что

отношение это в большой мере зависит от данных экономических и политических условий, т. е. от человеческой (индивидуальной и общественной) борьбы за существование. Чем тяжелее экономические и политические условия, чем труднее борьба за существование, тем наука слабее, а вера сильнее — народы, обессилевшие материально и духовно, возвращаются назад, к временам анимизма и фетишизма. И наоборот, чем лучше складываются экономические и политические условия, чем больший итог политической свободы и экономического благосостояния в обществе, тем сильнее и прямее развивается наука, тем больше бледнеет и слабеет вера, религия. Поэтому очевидно и то, что, когда *все люди* на земле придут к тому, что будут иметь раз навсегда в высшей степени обеспеченное материальное благосостояние и политическую свободу (как это может получиться, об этом поговорим дальше), тогда наука станет верховным принципом истории, станет достоянием всех людей, руководителем их жизни, труда и борьбы за существование, а вера, религия сойдёт к нулю, т. е. перестанет существовать как составная часть исторического развития. «День, егоже чаем сидящи во тьме, в егоже пришествие веруем, егоже стези уготовляем...»

Как с наукой вообще, так обстоит дело в особенности и с учением о человеческой жизни, о человеческом благосостоянии, с социологией и общественной экономией. Чем беднее живёт большинство людей, чем больше благосостояние единиц урезано привилегиями других единиц или самовластием всемогущих владык-царей, тем меньше у людей желания задумываться над своей жизнью и её возможным (а для них и совершенно невозможным) улучшением. Лишь когда общество, по крайней мере одна его (до этого непривилегированная) часть, дойдёт до определённого материального благосостояния, среди этой части сначала начинается размышление о жизни, а дальше и борьба за уравнивание прав (а собственно за уравнивание привилегий) с другими, привилегированными сословиями, борьба во имя уже не каких-либо родовых титулов, но во имя экономического превосходства. Так происходило везде на западе Европы, когда под прикрытием феодализма росли и развивались города, а в этих городах

богатые купцы и ремесленники. В различных странах различными путями они шли к тому, чтобы сравняться с господствующими сословиями (дворянством и духовенством), они встали дружно, как *третье сословие*, которое добивается также своих прав, — и завоевали их. Мы уже видели, как в различных странах шла эта борьба. В Англии прежняя, феодальная аристократия слилась с более поздней аристократией — денежной, феодализм там не рухнул резким падением, — он только изменил форму, понемногу переродился и доживает свои дни и поныне. Во Франции бешеное сопротивление дворянства, попов и королей привело к революции, которая одним махом развалила феодальный строй, а на его место ввела господство третьего сословия. В других странах Европы (Германия, Австрия) хотя и были революции, ставившие своей целью равноправие, но всё-таки они не обладали той силой и резкостью и не смогли сразу разрушить старый феодализм. Правда, и помимо этого экономическое развитие здесь пошло своим путём, встав на совершенно новые основы, что в конце концов должно было оказать обратное влияние и на общественно-политический строй. И всё-таки эти страны представляют собою того удивительного, воскресающего Лазаря, который верхней частью тела уже вылез из гроба, а нижней — ещё в нём: положение с обеих сторон невыгодное: и новый экономический строй не приносит им никакой пользы, и старые феодальные тяготы давят на них всей силой отживших и переживших остатков.

Посмотрим же теперь, как шло развитие человечества на западе Европы после свержения феодализма?

Мы видели уже, что в действительности этот переворот совершился во имя экономического преобладания «третьего сословия». Богатства страны, торговля, фабричное производство — всё на деле было уже в его руках, оно начало добиваться и признания всех своих *прав*. Главным принципом, в который уже заранее была включена сумма этих прав, была *свобода*. «Свобода, это неотъемлемое естественное право каждой человеческой личности», — под таким лозунгом совершилась великая французская революция, тот же самый лозунг полностью и был введён в жизнь в Англии ещё несколько сот лет тому назад.



Этот принцип, хотя он и должен был вначале послужить только «третьему сословию», т. е. богачам и капиталистам, был всё же великим посевом и на дальнейшее будущее, посевом, который созреет в позднейшие времена, когда никакого капитализма не будет на свете.

Свобода личности, которой домогалось «третье сословие», не была требованием теоретическим; напротив, она преследовала весьма практические цели. Она была опорой всего нового производства, которое постепенно развивалось из производства цехового, хотя и совершенно наперекор всем цеховым порядкам. Это было *мануфактурное* производство.

Большое развитие наук в XV и XVI веках и последовавшие за ним изобретения и открытия не только значительно расширили духовный кругозор людей, но, бросая в международную торговлю большую массу неслыханных до этого богатств, ввозя массу редких до этого заграничных изделий, увеличили потребности и желания людей (конечно, богатых), дали толчок к большому росту промышленности. Заграничные товары, ввозимые в Европу, начали здесь перерабатываться, приспособляться к потреблению. Частые и оживлённые сношения с самыми далёкими странами света, основание там колоний (итальянских, испанских и португальских, а потом голландских, английских и французских) — всё это положило первую основу современной большой торговле, «всемирному рынку». Не только в Европе, но и во всех других частях света открылось широкое поле для продажи европейских изделий.

Совершенно очевидно, что средневековые цехи со своей узкой, раздроблённой организацией оказались неспособными удовлетворить всем тем новым потребностям, неспособными вести новое, мировое производство. В цехах не только каждое ремесло было организовано отдельно и раздельно, но со временем организовались раздельно даже незначительные оттенки одного ремесла (например, отдельно кузнецы, делавшие гвозди, отдельно — делавшие хозяйственные предметы, отдельно — ковавшие грубое железо: полосовое, жёсть и т. д.). Чтобы приобрести какое-либо готовое изделие, например телегу, нужно было обойти до десяти, пятнадцати цехов, везде собирать

по частице — это и потеря времени, и неудобство, и трудности... А между тем новое производство, как раз наоборот, требовало, чтобы возможно большая масса товаров вырабатывалась как можно быстрее.

Противоречие заключалось именно в том, что цехи сложились и выросли на том, что делали на заказ для потребления самих заказчиков, делали, как у нас говорится, *на случай*; новое же производство потребовало изделий именно не для потребления самими заказчиками, а *для продажи, на рынок*; для него изделие было не целью, а только средством обмена\*.

Рождение этих новых потребностей и всемирного рынка принесло смерть цеховому производству. Рядом с цехами, разделёнными и разрозненными, должны были оборудовать общие станки, как бы несколько цехов под одной крышей. Одни рабочие давали одну часть, другие — вторую, третьи — третью, — готовое изделие получалось, лишь пройдя через руки всех. Работа, как и в цехах, была раздроблённой; один рабочий всю жизнь делал только гвозди; разделение труда идёт здесь ещё дальше: в изготовление шпильки вкладывалась работа более десятка отдельных рабочих; одно только их сближение под одной крышей, в одной мастерской, производило переворот в производстве, создавало *мануфактуру*. Способ труда в ней сразу же изменился: те же самые мелкие, ручные инструменты, та же самая монотонность, однообразие и совершенствование рабочего в одной незначительной специальности, с пренебрежением и подавлением прочих его духовных и физических сил. Но безмерно

\* Эту разницу показал убедительно Маркс в следующей формуле. Назовём деньги буквой Д, а товар Т. Обыкновенный человек, чтобы достать денег, продаёт какое-нибудь своё изделие потребителю, а на вырученные деньги покупает себе товар, нужный для потребления. Т—Д—Т. Деньги здесь при этом только звено, посредник при обмене двух товаров, двух потребительских стоимостей. У торговца-капиталиста не так. Он покупает у фабриканта товар за деньги и затем перепродаёт его тоже за деньги — Д—Т—Д — здесь поэтому товар является звеном, посредником при обмене денег на деньги. Ясно, говорит далее Маркс, что такая формула была бы бессмыслицей и что она имеет значение лишь тогда, когда в ней первое Д не будет равно второму Д, т. е. когда формула будет не Д—Т—Д, а Д—Т—Д<sub>1</sub>, т. е. когда этот обмен принесёт торговцу прибыль.

изменились другие, важные обстоятельства. При цеховом порядке каждый рабочий-подмастерье мог питать надежду, что по истечении какого-то времени и сам станет «самостоятельным» мастером, заведёт свой собственный станок и будет работать полностью на себя. В мануфактуре же каждый рабочий знал, что сама мануфактура и все орудия труда — собственность одного предпринимателя-капиталиста и что рабочий никогда таким собственником не станет. Цеховые мастера, чтобы не снижать цены своих изделий, ограничивали число своих учеников, затрудняли поступление ученика на работу, освобождение подмастерья, инсталляцию\* мастерской. Мануфактура, наоборот, уничтожила все цеховые формальности, принимала к себе всяких людей, и было много случаев, что даже насильно и под угрозой законов сгоняли не желающих работать сельских людей в мануфактуры (примеры у Маркса). Большая специализация работы облегчала каждому и неумеющему быстро научиться, фабриканты даже охотнее принимали людей не ремесленных, так как им можно было меньше платить. Они беспокоились не о том, чтобы удержать высокие цены на свои изделия; наоборот, чем дешевле они могли продавать их, тем на больший сбыт могли надеяться, т. е. и на большую прибыль. А чем больше людей у них было в мануфактуре, чем больше рабочих стремилось к ним на работу, тем больше они могли снижать плату рабочим, тем дешевле стоило их изделие, тем дешевле они могли его продавать. А чтобы у мануфактур было вдоволь занятых и ищущих места рабочих, для этого нужна была именно *свобода личности*.

До тех пор, пока мужик-хлебопашец не свободен, закрепощён, он не может свободно двигаться с места, не может заключать самостоятельно договоры с фабрикантом, т. е. не может быть тем, что нужно фабриканту — рабочим. Но также до тех пор, пока мужик является хлебопашцем, пока у него есть своя земля и свои хозяйственные орудия, он также по доброй воле не станет мануфактурным рабочим. Он должен быть поэтому свободным не только в правовом отношении, но и экономически,

---

\* Инсталляция — установка оборудования (франц.).

т. е. должен быть не только не крепостным, но и пролетарием. Это двойное «освобождение» наиболее полно осуществлено в Англии ещё с XV века, и потому там наиболее широко и мощно развился новый строй, господство богатства и денег, *капиталистический* строй. Там не только своевременно уничтожено крепостничество и барщина, но люди освобождены без земли, разрушены постепенно сёла и хутора, а народ загнан многочисленными добровольными и принудительными способами в мануфактуры\*. То же и во Франции, хотя крестьяне там во время революции и освобождены с землёй, однако сразу же были разорены огромными контрибуциями, и притом у них отобраны старинные общинные леса и пастбища и распроданы за бесценок всяким пройдохам-спекулянтам.

Из этого уже можно видеть, что, основываясь на *свободе*, капиталистический строй односторонне понимает эту свободу, т. е. даёт действительную свободу только имущим, богатым, а бедным за номинальную свободу даёт незавидную судьбу пролетария-рабочего, который за нищенское пропитание должен продавать себя самого и ценой собственной бедности давать прибыль и обогащать предпринимателя-капиталиста, *должен*, под угрозой голодной смерти. Однако слово свобода — обоюдоострый меч: оно слишком глубоко западает в сердце каждого человека, бедного и богатого, слишком много тяжёлых и высоких чувств будит в каждой груди, чтобы оставаться монополией одного класса. Раз вызванное и провозглашённое, оно уже не пропадёт, а класс, который написал его на своём знамени, должен или снять его, или допустить к соучастию и другой класс — рабочих.

Но пока рабочим приходится ещё много страдать, много бороться. Ещё больше и тяжелее, чем организация мануфактур, на рабочих и на всё производство повлияло изобретение различных (и особенно паровых) машин и устройство фабрик. Машина принципиально тем отличается от орудия, что если орудие *помогает* руке, машина *заменяет* руку; если орудием человек *владеет*, машине он только *служит*. И когда изобретение машин для произ-

---

\* Об этом смотри весьма интересный раздел в Марксовом «Kapital» — под заголовком «Der Accumulationsprocess des Kapitals».

водства, гесп.\* для капиталистов, принесло огромную выгоду, работая неизмеримо быстрее, правильнее и дешевле, чем человеческие руки, то они стали новым и страшно мощным средством угнетения и эксплуатации рабочих-пролетариев. Машинное производство требует относительно меньше рабочих рук, чем мануфактурное, притом для обслуживания машин нужно ещё меньше специального, ремесленного приспособления, — значит, заработная плата может быть ещё ниже. Рабочий здесь низводится до положения чисто механической вспомогательной машины, которая собственного дела не делает, а только подкладывает огонь, подсовывает пряжу, наблюдает и т. д. Ни его духовные, ни физические силы не могут при этом развиваться, — доходит до того, что труд женщин и детей в этой области вытесняет труд мужчины. И если машинная фабрикация, делая более доступными цены изделий, облегчает их сбыт, обогащает фабрикантов-капиталистов, разоряя окончательно мелких ремесленников, которые не могут ни производить так совершенно, ни продавать так дешево свои изделия, и накапливает в руках богачей всё большие богатства, то, с другой стороны, это же машинное производство, делая рабочего только помощником машины, изнуряя его тело и дух, привлекая к убийственному труду женщин и детей и выбрасывая мужчин, накапливает на долю рабочих всё больше нужды, бедности и унижения.

Но не только прежние ремесленные работы вливаются теперь в фабрики. И хлебопашество всё больше, всё полнее начинает производиться машинами, фабричным способом. И здесь пар всё больше заменяет движущую руку человека (паровые плуги, молотилки, мельницы, соломорезки и т. д.), и здесь машина всё больше делает прежнего рабочего-пахаря прислужником — машинистом. Потому и здесь раньше или позже должны вполне проявиться все далеко идущие последствия этого переворота.

Мануфактура и фабрика — это общий производственный фон, это основной звук всей музыки нашего времени, капиталистического строя. Посмотрим теперь, каким представляется нам на этом фоне развитие человеческих учреждений, всей человеческой жизни.

---

\* Respectif — соответственно (франц.).

Начнём с семейной жизни. Мы уже видели, что у пролетариев-рабочих, работающих на фабриках, нет и речи о собственно семейной жизни. Рабочий не может и думать об обеспечении своей семьи, о надлежащем воспитании своих детей. Ведь он весь день должен тяжело работать только ради того, чтобы обеспечить кусок чёрного хлеба себе и семье. Да и семья эта, т. е. жена и дети, должна посильно помогать ему. Они идут на фабрику, к машинам, весь день работают, разлучённые — что же это за семейная жизнь? И даже часто жена и дети лишают работы своего мужа или отца: его работа у машины ничем не лучше их работы, только их работа дешевле, причина достаточная для капиталиста, чтобы прогнать мужа и нанять жену и детей. Можем поэтому смело сказать, что *капитализм прямо подрывает и уничтожает семейную жизнь рабочих-пролетариев* \*.

Но лучше ли устроена семейная жизнь и у собственников-капиталистов? Кажется, что не многим лучше. Брак по расчёту, без любви — у них вещь обычная. Накопление огромных богатств в руках единиц невольно ведёт ко всякого рода разврату; накопление нужды, необеспеченности и испорченности в рабочих семьях порождает проституцию, которая, как бы мстя богатым за собственное падение, высасывает из них [богатых] живые соки, в свою очередь приводя их к падению. И снова осмеливаемся сказать, что и здесь капитализм как раз из-за накопления в руках единиц несметных богатств (добытых чужим, не индивидуальным, а общественным трудом) оказывает деморализующее влияние и разъедает семейную жизнь.

В общественной, товарищеской жизни капитализм оказывает двойное влияние. Богачи-капиталисты, находясь между собой в непрестанной конкурентной борьбе, привыкают к взаимному недоверию и зависти, к обману и неискренности — одним словом, капитализм разъединяет капиталистов. У рабочих наоборот. Общий труд на

---

\* Говорим это для душевного назидания тем нашим столпам общественного порядка, которые, сваливая вину с больной головы на здоровую, утверждают, будто бы социалисты стремятся к уничтожению семейной жизни.

фабриках и у машин, общая нужда и борьба за повседневный хлеб сближает их, объединяет вместе, сплачивает в товарищества и союзы. Товарищество заменяет рабочему семью и школу, — там он и развлекается и учится, там находит утешение в пережитом горе и укрепление надежды на будущую лучшую судьбу.

В жизни государственной (политической) изобретение пороха произвело большой и очень важный переворот. Ряды закованных в железо могучих рыцарей оказались бессильными против небольших свинцовых пуль. Вместо благородных, отличающихся личной смелостью рыцарей обнаружилась потребность в многочисленных, муштрованных войсках и учёных военачальниках. Прежде всего во Франции, а затем и в других государствах произошла организация *постоянных* армий. Эта организация сразу изменила облик государственной жизни в Европе, так как сделала ненужным весь ленный, феодальный строй. Большую массу постоянной армии нельзя было содержать никакими ленами; для этого нужны были деньги, много денег. Приходилось облагать подданных большими налогами, а когда и их не хватало, занимать деньги у богачей-капиталистов. Это не только положило начало огромным и всё увеличивающимся государственным долгам, но изменило, особенно после революции, значение государственной власти. Из самовластного господина политическая верхушка превратилась теперь только в слугу верховной власти — капитала и косвенно — в слугу капиталистов. С другой же стороны, вступая с капиталистами в кредиторские отношения, связанная с ними общими интересами, политическая власть превратилась также в капиталиста. Капиталисты из подданных стали равными, кредиторами, соучастниками в делах; власть политическая стала частью их власти, не удивительно поэтому, что и они должны были принимать в ней главное участие. Отсюда необходимо вытекает *конституционализм* государств нового времени, неизвестный в прошлом, так как неизвестен был современный капитализм. Конституционализм, так же как и капитализм, опирается на свободу, но он ещё не является свободой. Свобода здесь только ещё в теории, равенство здесь только ещё в букве права, а на деле гнёт сильнеешего над

слабым, неравенство экономическое. В теории капитализм знает только свободные личности, конституционализм знает только свободных граждан, а на деле видим совсем не то, видим два враждебных лагеря: богатей и бедных, т. е. экономически сильных и слабых, т. е. свободных и рабов.

А теперь окинем взглядом общий ход развития в капиталистической формации.

Угнетение средневековыми привилегиями непривилегированных классов вызывает у этих последних желание свободы, и это желание вместе с развитием соответствующих экономических условий так или иначе приводит к упадку средневековый феодализм и даёт господство капиталистам. Развитие милитаризма, при котором вся армия становится огромным капиталистическим предприятием, делает всё государство капиталистом, помощником и исполнителем воли капиталистов. Развитие крупной промышленности, мануфактур и фабрик сосредоточивает в руках капиталистов огромные богатства, а с другой стороны, лишает собственности тысячи мелких собственников, ремесленников и хлебопашцев, делает их рабочими и слугами, пролетариями... Разделение всего общества на два огромных лагеря становится всё более отчётливым. В большой, на вид беспорядочной общественной массе, которая осталась после свержения феодальных перегородок, начинают различаться два класса. Но внутри каждого класса идёт непрерывное живое сплочение. Пролетарии объединяются всё теснее. Фабрики, повседневный труд учат их общности, равенству, дружбе; рабочие товарищества, местные, краевые, национальные и международные, становятся центрами и двигателями рабочей мысли и рабочего братства. А с другой стороны, капиталисты накапливают всё большие богатства, всё большую экономическую силу. Общественное богатство, созданное руками миллионов рабочих, становится собственностью немногих единиц. Непрерывная конкурентная борьба постоянно подрывает и разоряет более слабых капиталистов к выгоде более сильных; централизация собственности идёт всё далее. Государства, верные своей роли капиталистов, берутся ускорить этот процесс. Милитаризм поглощает всё большее число миллионов общественного богатства, но постоянные армии, ко-



торые должны служить опорой капитализму, — это обоюдо-острый меч: они состоят из пролетариев, рабочих, и достаточно только им прийти к сознанию, и они станут пагубой для капитализма. Однако пока ещё постоянные армии, с одной стороны, пожирая огромные деньги, доводят рабочий народ до всё большей бедности, до конца разрушают мелкую собственность, а с другой стороны, не хуже фабрик приучают народ к сплочению, к общему действию и товариществу, к общей и бесстрашной борьбе. Правда, пока ещё они не знают, за что борются, но когда узнают всё, то эта буря будет последней бурей для господства капитализма. «Экспроприаторы будут экспропрированы». Капитал — достижение общечеловеческого, общественного труда, и он будет общественной собственностью. Власть политическая, как власть людей над людьми, сойдёт к нулю и останется только как управление результатами человеческого труда, как администрация.

Во имя свободы, равноправия и братства «третье сословие» — мещанство, буржуазия, подняли борьбу против феодализма. Но когда пришли к власти, то захотели сохранить свободу, равенство и братство только для себя, а рабочим бросить кусок чёрного хлеба, уродство духа и тела, проституцию и безмолвствование. Во имя свободы, равенства и братства подняли и рабочие голову, начали борьбу, из которой рано или поздно должны выйти победителями. И тогда свобода, равенство и братство станут всеобщим достоянием всего человечества, ибо рабочие — это человечество. Когда падут привилегии капитала, тогда останется в мире только народ, трудящиеся люди — и ни выше их, ни ниже их не будет другого класса. Рабочее единение между людьми дойдёт до наиболее совершенной, *ныне нам известной* степени.

## Х

Каждая историческая эпоха — это дерево. Корнями оно стоит глубоко в прошлых временах, а его самые высокие побеги вырастают столь же далеко в будущее. Мы видели, что в нашей капиталистической эпохе живёт ещё немало порослей прошлых времён. Современная наука открывает в нашей жизни остатки не только средневековых, но и

неизмеримо древнейших, первобытных исторических эпох. Но мы видели также немало разрастающихся зародышей нового века в нашей жизни. Наверное, не только интересно, но и неизмеримо важно собрать эти зародыши в одно целое, угадать в них направление будущего развития и выработать себе хотя бы приблизительно верную картину будущего общества. Конечно, это будущее устройство не обязательно должно быть везде одинаково, — в деталях оно, несомненно, будет различно в каждой стране, у каждого народа, и потому мы в своих мечтах не должны вдаваться в детали. Речь у нас идёт только об освещении главных принципов, которые, добытые из критики современного порядка, правдоподобно лягут в основу будущего устройства людей. Что такая *constructio in futuro*, помимо всей своей необязательности, имеет неизмеримое значение для каждого человека, который болеет за благо людей и за улучшение судьбы всех неимущих и обиженных, что она показывает прямой и широкий путь в современной, всё более усиливающейся общественной борьбе, что идеал будущего, понятый насколько возможно совершенно и научно, должен стать тем высоким знаменем, вокруг которого силы рабочие сплотятся на великий бой, — об этом, кажется, и говорить много нечего.

Нередко случается слышать упрёк, брошенный рабочим и их вождям, что они поднимают борьбу во имя идеала, для них самих неясного, не разработанного во всех деталях. Упрёк этот совершенно безоснователен. Переломы в истории никогда не совершаются во имя каких-либо идеалов, возникших в головах человеческих и не вызванных условиями действительной жизни. Если бы это было возможно, то, несомненно, это должно было бы удалиться прежде всего Платону. В своём «Государстве» он создал действительно абсолютный, во всех деталях законченный идеал общественного строя: политические условия, особенно в Сицилии, способствовали тогда в самом деле великим реформам, их даже добивались; сама личность Платона, его учение и значение, его энергия и твёрдая вера в совершенство и полезность его идеала — всё это позволяло надеяться на его успех, а между тем ему не удалось ни одного человека склонить к серьёзному осуществлению его идеала, хотя книга его у всех вызвала и поныне ещё вызывает удивле-

ние. А во имя какого же это идеала, кроме всеобщего принципа свободы, подняло борьбу «третье сословие»? Обладало ли оно хоть десятой частью такого ясного понимания хода истории и развития человечества, каким обладают теперь рабочие благодаря большому росту современной науки? Идеал рабочих тем велик и важен, их основные принципы тем живы и живительны, что разработаны именно на критике существующего строя, исходят из чувства и понимания народных потребностей и исторического развития; это не платоновские или какие-нибудь иные утопии, — это только вывод из предшествующих исторических данных, вывод, который должен войти в жизнь, будем ли мы за него или против, приятен ли он нам или неприятен. Одно, что мы можем сделать, это ускорить и облегчить его приход и помочь его осуществлению в разумной форме, без насильственных и кровавых потрясений.

Принципы, на которых основывается рабочий идеал будущего строя, — это те же революционные принципы *свободы, равенства и братства*, но только понятые широко, во всей чистоте. Все они самым тесным образом связаны между собой, обуславливаются взаимно. Без свободы нет ни равенства, ни братства; без равенства нет свободы; без братства, содружества — равенство и свобода ни к чему не пригодны.

Буржуазия (богачи), которая, подняв в конце прошлого столетия революцию, написала те же принципы на своём знамени, теперь или открыто отрекается от них (равенства), или принимает их только в очень узком понимании. Итак, хотя буржуазия и возится больше всего со словом «свобода», хотя ею охотнее всего привыкла называться («либералы»), но всё-таки о подлинной и полной свободе ей и говорить страшно. Свобода совести, «свободное» соглашение между капиталистом и рабочим, т. е. свобода эксплуатации рабочего капиталистом, — вот и вся свобода, на которую капиталисты соглашаются. А свобода слова, печати, образования, товариществ, союзов — всё это для них далёкие-далёкие, а то и очень неприятные идеалы. А что же значит свобода совести без свободы образования, слова, печати и т. д.? Что значит свобода договоров между капиталистом и рабочим без их экономического равенства? Что значит равенство перед правом без

экономического равенства и равного образования? А братство сытых и голодных — это просто фраза, горькая насмешка, не более.

Каждому известно, что во всей Европе и в Америке идёт теперь и в науке, и в парламентах, и в повседневной жизни борьба в пользу рабочих против господствующего теперь капиталистического строя. Почти во всех европейских странах рабочие имеют свои издательства, свои товарищества и различные кассы, своих представителей, например, социал-демократов в парламентах\*; в более свободных странах (как Швейцария, Англия, Франция, Бельгия) ежегодно происходят съезды (конгрессы) представителей рабочих из всех стран Европы. Знаменитые современные нам писатели-экономисты развивают в серьёзных статьях теорию будущего общественного строя.

Даём нашим читателям в маленьких рамках главные основы *научной теории общества*, которую отстаивают рабочие.

«Для осуществления истинной свободы и братства между людьми,— говорят экономисты и рабочие<sup>1</sup>,— нужно прежде всего осуществление *экономического равенства*. А осуществление экономического равенства возможно только тогда, когда весь капитал, все орудия труда, земля и фабрики, т. е. все продукты *общественного труда*, перейдут в *общественную* собственность, т. е. не будут делиться между единицами, а останутся в их *общем*, общественном пользовании. Общность потребления капитала— это единственное средство против неравенства, единственная гарантия удовлетворения всех потребностей всех трудящихся, т. е. единственный фундамент истинной свободы и истинного братства. Вот потому-то от этого основного принципа общественной общности рабочие и называют себя *общественниками* (социалистами)».

«Однако не надо думать, что на общем труде общественность уже и закончится и что рядом с общим трудом в буду-

---

\* В австрийском парламенте первым представителем рабочих является депутат социал-демократ Кронавсттер. В сербском парламенте (скупшине) есть несколько десятков депутатов социал-демократов («радикальные странке»).

щество смогут уцелеть некоторые нынешние учреждения, не имеющие прямой связи с трудом. Принцип общности, а собственно экономического равенства, должен пронизывать собой все семейные, общественные, государственные и культурные отношения».

«Семья, основанная не на расчёте, а на личной любви и склонности, свободная от нынешнего экономического гнёта, от обязанности волей или неволей воспитывать детей, продолжать супружескую жизнь и тогда ещё, когда пропала соединяющая супругов любовь, — семья обновится и станет для людей не бременем, не источником грызни и ссор, а отдыхом после трудов и украшением жизни. Воспитание детей в главной основе возьмёт на себя общество, и, конечно, особенно тогда, когда родители по каким-либо причинам к тому не способны; общество будет руководить воспитанием детей и даст будущим своим членам достойное, подлинно человеческое образование и развитие».

«Общественная жизнь, основанная на экономическом равенстве всех граждан, мужчин и женщин, на тесном содружестве и общности труда, разовьётся гораздо лучше, нежели может развиваться теперь. Общество будет стараться развивать каждого своего члена согласно его врождённым способностям и в меру его развития и сил использовать его для общественного блага, а значит, для его же собственного блага. Оставляя каждому неограниченную свободу слова, образования, образа жизни, соседства и перехода из общины в общину, — всё общество будет наблюдать только за теми условиями, которые необходимы для поддержания человеческой жизни и развития, т. е. труда и справедливости. Общество охватит, таким образом (конечно, поручит выборным), управление общественным трудом и улаживание возможных споров между гражданами, а также в случае необходимости оборону от постороннего врага. Обычно упрекают общественников, что их будущий строй уничтожает личную свободу человека, делает его бездушным орудием, *рабом общества*. На это общественники отвечают, что люди, упрекающие в этом, забывают: 1) что общество — те же личности, которым необходимо согласие не в своих личных, а в общих, общественных делах; 2) что нынешний строй, как и все его

предшественники, далеко не даёт личности — рабочему — той свободы, которую давал бы общественный строй. А что некоторые людишки не могут понять, как люди захотят работать, имея свободу работать или не работать, то этот упрёк прямо смешон. Кто не работает вместе с обществом, тот не член общества, значит, и не может в обществе пользоваться общественными благами (если только он не калека или не больной). Впрочем, обязанность работать и жить честно с людьми — не упраздняет ещё личной свободы!»

«Каждое общество в стране, так же как и каждая личность в обществе, является свободной единицей, устанавливает только свой порядок у себя дома, и никто не имеет права навязывать ей свыше какие-либо правила. Потому-то каждое общество имеет право устанавливать связи и дружбу с другими обществами, с которыми, как и когда захочет, может соединяться то ли для больших общих работ, то ли для обмена изделиями, то ли в целях просветительных и т. д. Только это и является истинным братством (федерация), и только оно одно может утвердить порядок и доброе согласие между обществами».

«Как отдельные общества, так и большие союзы обществ имеют неограниченную свободу работать и устанавливать порядки у себя по-своему. Никто и никоим образом не может ставить им границ и никаких уставов, никто не может силой заставлять какое-нибудь общество принадлежать к тому, а не к иному союзу. Само собою разумеется, что когда такие союзы создадутся прежде всего из отдельных народностей, то и им будет предоставлено полное право самостоятельно управляться, развиваться и жить, без какого-либо главенства одной народности над другой, большей над меньшей. Неограниченная свобода слова, образования и веры, притом же заведения научные и просветительные, основанные силами и трудом всех обществ, которые этого захотят, — всё это является порукой тому, что наука и просвещение, до этого развиваемые только относительно немногими единицами, тогда войдут в массы народа, станут настоящим достоянием всего человечества и по праву вместе со всеми высокими искусстваами займут место нынешней религии».

«И снова отдельные большие, национальные или краевые союзы могут по собственному желанию и потребности

общаться между собой, улаживать возможные международные споры, вести через выборных дела международного обмена и т. д. На этом закончится вся власть в общественном строе. Там государства в нынешнем понимании не будет, так как над народом не будет управления сверху, но сам народ снизу (т. е. от обществ) управляет сам собою, работает сам на себя, сам просвещается и сам защищается».

«Как в этом будущем строе будут устроены разные детали, например, раздел сообща изготовленных продуктов, обмен, образование и т. д., — это дело менее важное. Всё это будет улажено *по-человечески*, коль скоро люди перестанут быть господами и слугами, а станут *только людьми*».

1881—1882

Журнал «*Світ*», Львов.



---

## «ХУТОРСКАЯ ПОЭЗИЯ» П. А. КУЛИША

### I

Правду говори во благовремени  
и без времени.

*Апостол Павел*



Не знаю, кому бы это золотое правило великого пропагандиста, взятое нами эпиграфом для этой статьи, следовало крепче помнить, как не поэтам. Блестящая форма, свобода и широкий размах мысли слишком легко увлекают человека, уводят его за пределы правды и логики, и он сам не замечает в пылу своего воображения, что переступил эти пределы. И чем больший у поэта талант, чем совершеннее владеет он даром слова и даром увлекать сердца человеческие, тем опаснее его творения, особенно для читателя, недостаточно критически настроенного, — тем легче такой читатель устремится за поэтом именно по его неверным следам, тем вернее застрянет он на них.

Возьмём для примера одно из поистине чудесных и горячих стихотворений Шевченка, его «Послание и живым, и мёртвым, и нерождённому». Поэт бесспорно хорошо продумал главную основу этого произведения, прежде чем приступить к нему, но в пылу самого творчества к этой основе примешались другие мотивы. Огненное слово полилось бурным потоком и выступило из берегов: поэт, который в основном стоит на почве прогрессивной и даже радикальной, который наивысшим девизом и задачей своих земляков считает: чтобы людьми были, то есть, чтобы были гуманными и совершенными, насколько это возможно для человека, следовательно, чтобы стремились подняться на вершины гуманности, на вершины науки и общечелове-



ческого прогресса,— этот самый поэт и в этой же самой песне доходит до того, что упрекает своих земляков за то, что они изучают философию и астрономию, но не за то, что изучают их недостаточно, урывками, не вдумываясь в последние достижения этих наук, а за то, что это науки *чужие*, немецкие. «Когда б учились вы, как надо,— говорит он,— и мудрость бы была своя». Сколько раз наши не критически мыслящие читатели и критики умилялись этой фразой, как и другой, равносильной ей: «В своём доме — своя правда, и сила, и воля», — и никто за блестящими словами не заметил того, что в этих будто бы патриотических и мудрых словах таится изрядная доля славянофильского (в духе московских славянофилов) мистицизма и ретроградства<sup>1</sup>. Какая это «своя» мудрость и «своя» правда? Правда, то есть всеобщие законы природы и жизни, для всех людей во всём мире едина и делить её по народностям нельзя. Мудрость, то есть определённая, для данного времени высшая сумма образования и знания, действительно не одинакова, но изменяется с историческим развитием науки. Следственно, мудрость, измеряемая этой общенаучной мерой, будет так же интернациональна, как и наука. Правда, можно измерять мудрость и национальной мерой. Среди диких готтентотов мудрым будет колдун, знающий силу некоторых трав и лечащий наговорами и тем, что подует и поплюёт,— но консилиум наших врачей назовёт его шарлатаном и дураком. Среди неграмотной части украинского народа мудрым назовут попа Наумовича<sup>2</sup>, который лечит гомеопатией и магнетизмом, пишет для простых людей на их языке, для попов — вавилонским языком «Слова»<sup>3</sup>, который в народе украинском и на языке украинском пропагандирует в пику этнографам и историкам единство этого народа с великорусским. Что сказал бы покойный Тарас, если бы ему самому пришлось довести до такого заключения свою мысль о «своей» мудрости? Да и слова: «В своём доме — своя воля» — не выдерживают критики. Не говоря уже о прошлом, об истории: у нас доньше никогда не было в своём доме своей воли. Но и в будущем воля в нашем, украинском доме невозможна без одновременной воли во всех соседних с нами славянских домах, и эта в свою очередь невозможна без свободы всей Европы, всего человечества. Значит, и воля, свобода, если говорить о подлинной,

полной воле у нас, должна быть основана на свободе международной, общечеловеческой.

Мы не без умысла начали критический разбор «Хуторской поэзии» Кулиша замечаниями по поводу шевченковского «Послания». Независимо от различия талантов поэтических, основных взглядов, образования и эпохи — «Хуторская поэзия» г. Кулиша не что иное, как расширенное шевченковское «Послание», и мне кажется, что сравнение обоих этих поэтических произведений будет одновременно лучшей их критикой.

Шевченко пишет своё «дружеское послание» своим землякам «живым, мёртвым и нерождённым, на Украине и не на Украине сущим». Надо ли эти слова понимать буквально, то есть, хотел ли Шевченко в своём послании обратиться к минувшим, нынешним и грядущим поколениям украинского народа, или, может быть, эти слова надо понимать аллегорически, то есть, что живые означают тех, которые действительно живут самостоятельной духовною жизнью и действуют в соответствии с теми мыслями, в которых поэт видит подлинную жизнь, а мёртвые означают духовно и морально погибших, всяких оборотней и пиявок, нерождённые же — это народ, не пробудившийся ещё от вековой темноты к национальной и общественно-сознательной и свободной жизни, — повторяю, так или этак надлежит понимать адрес шевченковского «Послания», — об этом я спорить не буду. Мне кажется, что весь тон и все слова «Послания», обращённые исключительно к людям современным, говорят скорее об аллегорическом, нежели буквальном, смысле заголовка... Рамки «Послания», как сказано, у г. Кулиша расширены: кроме дел чисто домашних, украинских, он особое внимание обращает на отношения украинского народа к соседям — полякам и русским. Ради чего г. Кулиш назвал свою музу «неведомой», это его тайна: мы с давних пор хорошо знаем её, и даже если бы он и не поставил своего имени на этой книжке, каждый сразу узнал бы, какого гнезда эта птица. Чрезмерная ли поэтическая скромность или всё та же мистика заставили г. Кулиша написать следующие слова для объяснения заглавия «Хуторская поэзия»: «Книжку свою, — говорит г. Кулиш, — назвал я так в знак того, что если бы ни в одном городе и ни в одном селе не нашлось уже живого

зерна, чтобы засеять национальную ниву, то рука божья нашла бы его в хуторах и широко засеяла бы даже и еврейское поле на Украине, а не только то, которое принадлежит нашим перевертням». Г-н Кулиш, видимо, без чуда и без руки божьей не может себе представить возрождения и пробуждения украинского народа, и в этих своих словах предстаёт нам, как человек, который лет двадцать и не слыхивал даже об украинской литературе, а не слыхав ничего, подумал, что и вправду ничего в ней нет, никто ничего не делает, не думает, не учится, и надобны трубы иерихонские, чтобы прогнать эту всеобщую спячку, надобен мессия с хутора, который пошёл бы с проповедью по городам и сёлам. Но только спячка эта существует лишь в воображении г. Кулиша: здесь, как и повсюду в мире, ни чудес, ни рук божьих не требуется, а только руки и разум человеческий; города и сёла Украины, слава богу, не спят и здоровым зерном не оскудели; мы видим там и таких сеятелей украинского зерна, которые весь свой талант и всю свою силу отдали только этому севу, и хотя писанием на другом, например, русском, языке, быстро могли бы заслужить и больше славы, и больше денег, они всё же дали обет писать только по-украински. Всего этого г. Кулиш как будто и не знает и, в надежде на руку божью и на хутор, взывает ко всем «во имя бога всеблагого». Мы увидим сейчас, что проповедь г. Кулиша во имя бога всеблагого получается совершенно такую же, как и все проповеди, то есть получается вовсе не всеблагою.

Известно, что киевский кружок украинофилов<sup>1</sup> 1846—1847 годов был насквозь религиозным, что участники его читали и глубоко чтити священное писание и т. п. По крайней мере об этом с достоверностью говорится в «Жизни Кулиша» («Правда», 1868). Что касается г. Кулиша, то это несомненная правда. В своём почитании священного писания и в религиозном мистицизме г. Кулиш с 1847 по 1882 год продвинулся далеко вперёд и теперь уже, во благовремени или без времени, всюду суёт цитаты из священного писания и расписывается в своей вере в чудеса, совершенно ненужные и неправдоподобные. Мог ли бы биограф Кулиша с такою же определённою сказать это о Шевченке, который в 1860 году писал «Свете ясный, свете тихий», «Саула» и «Царей», — в этом я хочу усумниться.

По крайней мере в своих стихах сороковых годов Шевченко никогда не доходит до такого мистицизма, как Кулиш, а слова «бог», «божий» и т. п. являются у Шевченка скорее поэтической фразой, образным выражением, а не имеют никакого догматического, религиозного значения.

И с этой точки зрения, значит, рамки поэзии Кулиша шире, чем в шевченковском «Послании», только, разумеется, в ущерб себе. Г-н Кулиш явно втаскивает вопросы религиозно-догматические в сферу своей поэзии. «Я атеист, который знает только бога», — говорит г. Кулиш в своём удивительно путаном стихотворении «На исповеди». Хорош атеист, нечего сказать! Да и удивителен этот бог г-на Кулиша! Наполовину догматически-христианский, который правит миром и природой, — вопреки механическим и несознательным силам природы, — а наполовину какой-то рационалистический, который, по пророчеству г. Кулиша, «воскреснет в сияньи науки». Хотелось бы знать, какая же наука воскресит его? Не геология ли, которая изгнала его из числа создателей земли? Или биология, которая изгнала его из числа создателей живых существ? Или психология, которая изгнала его из всех проявлений психических? Или философия, которая изгнала его за пределы нашего опыта, мышления и понимания? Может быть, г. Кулиш своим пророческим духом и знает что-нибудь о такой науке, которая воскресит бога, — мы о такой науке ровно ничего не знаем.

Но и на этом атеизм г. Кулиша не кончается! Хоть он и сам говорит, что «не верит в чертей и святых», но тут же признаёт, однако, что «черти и святые существуют». И знает, что есть, а не верит! Это уже большее неверие, чем у Фомы неверного. А к чему, впрочем, свелось это неверие? К тому, что г. Кулиш несколькими строками ниже начинает петь гимны этим святым. Какие это святые — увидим дальше.

Вот какими особенностями характеризуется исходная точка г. Кулиша в сравнении с Шевченко и его «Посланием». Впрочем, предмет «Хуторской поэзии» тот же, что и предмет «Послания»: обращение к панам и отступникам из украинцев, набросок основных взглядов на народ, на прошлое Украины, на задачи образованных слоёв и писательства. О том, что ошибок Шевченка г. Кулиш не испра-

вил, свидетельствует уже сама его мистическо-религиозная позиция; «своя правда» Шевченка нетронутою фигурирует и у г. Кулиша, как «не занятый у немца украинский разум». Правда, г. Кулиш не попрекает своих земляков за философию и науку, — но только кто же эти земляки и можно ли их попрекать такими высокими вещами? Ведь эти земляки, эти «дочери, сыны и внуки» Украины, это «черви — отвратительные, как ехидное вероломство, мерзкие, как измена, коварная, лукавая», это — «...подлая грязь кабацкая, самопожиратели, ничтожные гайдамаки» (стр. 53). Понятно, где уж таким до философии и науки! Они «темнотою и москаля посрамят», — но удивительно, что ещё в 1845 году Шевченко в своём «Послании» смеялся над их гегельянством: «и мы не мы, и я не я», — значит, у них ещё тогда хоть мозг был человеческий, а теперь и того не стало!

Теперь рассмотрим по очереди взгляды г. Кулиша на наши народные и международные отношения, чтобы увидеть, в чём и насколько далеко ушёл он за круг мыслей шевченковского «Послания».

## II

So kann man zuverlässig jedes poetische Gemälde, das in kleinen Zügen überladen und in grossen fehlerhaft ist, für eine Verunglückte Nachahmung halten, es mag sonst so viele kleine Schönheiten haben, als es will.

*Lessing, Laokoon, V \**

Если Шевченко рыдает, вспоминая незабвенные дела предков наших, готовый отдать полжизни своей, чтобы их позабыть, — то г. Кулиш попросту плюёт на эти дела и на всё наше прошлое. «Народ без пути, без чести и уважения, без правды в заветах предков диких, ты, который возник из безумной отваги горьких пьяниц и разбойников великих!»

---

\* Так можно считать неудачным подражанием любую поэтическую картину, перегруженную мелочами и ошибочную в основном, хотя бы она обладала множеством мелких достоинств (*Лессинг, Лаокоон, V*).

Вот как обращается народолюбец к народу «во имя бога всеблагого»! И если бы ещё хоть правда была в этих словах! Ну, подумайте сами, можно ли так говорить о народе, который, каковы бы ни были его грехи, — у каждого народа, как и у каждого человека они есть, и кто знает, не больше ли, чем у нашего, — а всё же своею кровью и своими костями писал историю своей борьбы за волю и в тягчайшую пору татарских погромов и великого разорения не утратил мысли о свободе; о народе... который в своих пословицах, песнях и сказках воздвиг стойкий памятник своей здоровой, умной, честной мысли, своей тяге к свету и справедливости; о народе, который вопреки многовековому гнѣту и разорению не утратил своих национальных особенностей, не утратил чувства человеческого достоинства, не склонился ни перед одним из победителей-тиранов? «Во имя бога всеблагого» г. Кулиш разошёлся здесь с истиной и притом совершенно ненужно и необоснованно. Просто удивительно, как это г. Кулиш, историк, мог написать такую несурезицу? Что это за упрёк народу за то, что он возник из чьей-то «дикой отваги»? Виновен ли народ в том, что его предки (да и все ли?) были «пьяницы и разбойники»? На подобный упрёк наши люди отвечают вот каким присловием: «Однажды новопосвящённый епископ справлял свой первый обед. Гостями его были одни только видные паны и попы, а епископ был из мужиков и в детстве пас свиней. Вот один из панов стал втихомолку высмеивать недавнего свинаря. Епископ услышал это и после обеда встал и говорит: «Не то стыдно, мои панове, что из свинаря вышел большой пан, а то стыдно, когда из большого пана выходит свинарь!»

Хмельницкий у Шевченка — только «неразумный сын», повредивший Украине не столько по злой воле, сколько по неразумию<sup>1</sup>; у г. Кулиша он «самодур страшнейший», который «прославленным именем освятил адское предательство», который «служил магнатам службу против казачества, султану присягал, братался с москалями, казацкими детьми платил Орде за дружбу, молился мощам и совещался с ведьмами». И, навалив на Хмельницкого столько прегрешений, г. Кулиш призывает всю Европу взирать на него, как на неслыханное диво, и сетует, что «великий воин» Чарнецкий «опоганил руки рыцарские», сжигая кости Богдана! Да только по заслугам ли возвёл г. Кулиш

такие обвинения на Хмельницкого? Кого это он так адски предал? Таким предателем Кулиш мог бы назвать, например, Кромвеля или Бонапарта, однако ни англичане, ни французы не выставляют этих своих героев на позорище всему миру. Того, что Хмельницкий проводил двуличную политику, объединяясь при необходимости то с татарами, то с русскими, может статься, никто не захочет считать таким страшным проступком, тем более, что для политика наши частно-моральные законы не писаны. Впрочем, не один из нынешних дипломатов по части двуличности десятерых Богданов за пояс заткнёт. Платил ли Хмельницкий казацкими детьми татарам за службу, этого мы, как не историки, не знаем, и пока ещё не случилось нам о том слышать. А что Хмельницкий молился мощам и совещался с ведьмами,— это, по-нашему, ничуть не провинность, а общая черта тех веков — и не такие люди бывали тогда суеверными. Итак, мы видим, что обвинения г. Кулиша распыляются, как пар, и что вовсе уж не такая большая беда и позор для культурных людей, как кажется г. Кулишу, в том, что в Киеве ставят статую Хмельницкого! И опять-таки, ради чего пришла г. Кулишу охота плеснуть лишний раз грязью на «козацкого батьку» и обвинить его преимущественно в том, что не было его личной виной, а было или общей бедой того времени, или диктовалось необходимостью, историческим ходом народного развития. Как историк, должен же был г. Кулиш дойти до понимания и объяснения исторических событий, а это привело бы его к терпимости, приличествующей историку.

Больше того! «Во имя господи всеблагого» г. Кулиш забрасывает грязью и другие стороны нашего прошлого. Он ставит в вину украинскому народу, этому «прелюбодейному и людоедскому племени», и усобицы древних князей, и отступничество панов, и то, что «владыки неграмотные, как торгаши, архиерейство покупали, кладовые сундуками, подвалы вином, а кошели и сумы деньгами начиняли», что «прожорливое духовенство к нам свободных наук не допускало: чтобы утвердить навеки лихоимство, за чудотворные иконы спряталось. А диких разбойников за приношения с пожарищ бесстыдно называло рыцарством славным, хотя те и басурман, и христиан терзали, торгуя в Крыму пленниками православными!» Если бы все эти

упрёки и были справедливы, то в чём тут виноват *народ*, которого никто не спрашивал, как поступить? Уж не за то ли он заслужил название «бесчестного, прелюбодея и людоеда»? Но разберёмся в этих упрёках.

В самом деле, случалось, что неграмотные владыки покупали архиерейство, но случалось уже во времена господства просветителей Украины, поляков <sup>1</sup>. Во-вторых, всё-таки у нас это были случаи единичные, исключительные; симония <sup>2</sup> у нас никогда не расцветала так пышно, как в Германии, Франции, Италии, а между тем г. Кулиш не называет те племена «людоедами», а, наоборот, преклоняется перед ними. Значит, и они были свинарями, а теперь стали панами. А когда это прозорливое духовенство не допускало к нам свободных наук, этого мы опять-таки не знаем. Уж не тогда ли, когда Пётр Могила <sup>3</sup> основывал в Киеве академию? Когда церковные братства старались распространить грамотность в народе? Когда Скорина <sup>4</sup> переводил библию на язык, понятный народу? Когда готовился перевод евангелия в Пересопнице? <sup>5</sup>... Говоря о чудотворных иконах, г. Кулиш, кажется, имеет в виду книгу Галытовского <sup>6</sup> «Чудо преславно», — но забывает, что почти в то же самое время вышли такие, как «Апокризис» <sup>7</sup> и «Литос, или камень из пращи» <sup>8</sup> и другие книги, способные в большей мере рассеять веру во всякие чудеса и догмы, чем книга Галытовского способна была её утвердить. Только ли за приношения с пожарищ казаки заслужили титул славного рыцарства, — об этом мы не берёмся судить; но мы были бы рады узнать, сколько и какие приношения получил от казаков Кромвель, который так величает Хмельницкого:

«*Dei gratia ecclesiae generalissimus Graecorum, imperator omnium cosacorum Zaporoviensium, terror et exstirpator nobilitatis Poloniae, fortalitorumque expugnator, exterminator sacerdotum Romanorum*» и т. д.\*

Жаль, очень жаль, что г. Кулиш хоть и много наприводил мест из священного писания перед каждым своим стихом, но и здесь позабыл слова святого Павла, призывав-

---

\* «Киевская старина», ч. 1, 1882. «Божиею милостью генералиссимус православной церкви, вождь всех казаков запорожских, гроза и искоренитель польского дворянства, завоеватель крепостей, истребитель римского [католического] духовенства» (лат.).



шего говорить правду, — а здесь как раз правда была бы очень «во благовремении».

Но этого мало. Г-н Кулиш не преминул забросать грязью и наши песни и думы народные, «в которых пьяные кобзари на корчемных пирушках разбой, пожары, хищничество прославляли». Странно слышать такое суждение из уст человека, который в своё время собирал материалы к «Запискам о Южной Руси»<sup>1</sup>. В каких же это думах или песнях украинский народ прославил разбой, пожары и хищничества? Смеем сказать, что нам известна большая часть собранных доньше дум и песен народных, но такой песни, какими г. Кулиш считает все наши песни, мы не встречали. Да хоть бы г. Кулиш и напал где-нибудь на одну-другую песню такого пьяно-разгульного характера, какие, впрочем, встречаются — и в значительно большей пропорции — у каждого народа, то это ещё не даёт г. Кулишу права называть произведениями пьяными и разбойничьими такие высоко гуманные и даже художественные творения нашей народной музыки, как «Дума о побеге трёх братьев из Азова», «Про Самойла Кошку», «Про Марусю Богуславку», или как в новейшие времена сложенные «Про наймита», «Про бурлака» и множество других. Если бы автор таких слов был нам неизвестен, мы посоветовали бы ему заглянуть во все основные сборники наших песен, хотя бы и в «Записки о Южной Руси», — а о г. Кулише с таким его суждением и сами не знаем, что подумать.

Зато Чарнецкого, которого Шевченко называл «скверным Степаном», того, который в злобе сжёг кости Богдана Хмельницкого, Кулиш превозносит как «великого воина». Зато в вину украинскому народу ставится и то, что «такие русские люди, как Замойские и Жолкевские, примкнули к культурному кругу» поляков. «К стыду нашему, — говорит г. Кулиш, — мы не создали у себя под византийским влиянием культуры, равноценной римской». Не смешотворен ли этот упрек в устах историка? Как будто это от нашей воли зависело? И как будто Замойские, Сапеги и Жолкевские<sup>2</sup> потому примкнули к польскому культурному кругу, что он был *культурный*, а не потому, что он был *господствующий*?

Зато симпатии г. Кулиша откровенно обращены в сторону бывших «просветителей Украины», польский язык у

него именуется «деликатным», и украинец, желая ужиться с поляком, прежде всего оставляет «свой прежний нрав прустецкий»!

Вот мы и перебрали, с божьей помощью, ряд чертей, которые налицо, но которых не признаёт наш атеист. Мы видим, что таким чёртом, прежде всего, является для него его родной народ, его прошлое с его героями, его песни и нравы.

А вторым чёртом для г. Кулиша является Москва, является русское государство с его царями, кроме Петра Великого и Екатерины II. А самым главным чёртом в этом обществе является царь Николай, «в тісних, мов та неволя, шпаннях, що вчив народ марширувати і парив у холодних банях. Свободи ворог, ворог житті, він був великий душегубець, катюга розуму в отчизні, на сході сонця — мраколюбець». Вот этого-то чёрта проклинаяет изо всех сил г. Кулиш. Не знаем, как он на это осмелился: ведь сам он поучает всех: «Не пошатните золотых столпов!» Ну, да это не первая и не последняя непоследовательность Кулиша!

Следующие черты г. Кулиша — это «адское отродье», паны, которых «предок сидит в таинственной преисподней», которым «сам Вельзевул начертал права главенства». В гневе своём на них г. Кулиш куда острее Шевченка, потому что, если Шевченко и к ним обращается: «опомнитесь, людьми станьте», и дальше: «сбросьте цепи, станьте снова братьями», то есть «обнимите и меньшого брата!», — то г. Кулиш и знать ничего не хочет о них, боится даже их прикосновения<sup>1</sup>. «Навеки до дня страшного суда грешники отделены от святых бездною разлуки», — говорит он с пророческим пафосом, и сам не видит, как далеко ушёл он с таким приговором назад от Шевченка, как мало соответствует такой приговор законам гуманности, к которой он хочет обратить нас, «разбойничьих потомков без пути и без чести», а приличествует разве только попу-фанатику, проповедующему «во имя бога всеблагого» распри, войну и мучительство...

## III

Я демагог, мовляв, що тільки й дбає,  
Як царську силу силою зломить...

*П. А. Кулиш*

Да, да,— не пугайтесь, уважаемые читатели,— это лишь первая половина мысли г. Кулиша поставлена эпиграфом этой главы, а вторая половина, как обычно, побивает первую! «Душа моя,— говорит он дальше,— где царь умом сияет, ты как раба готова там служить». Вот так демагог! Таких демагогов царям только подавай. Где царь умный, там они готовы служить как рабы. А где царь неразумный? Там они, чтобы «не пошатнуть золотых столпов»— будут молчать!..

...Святыня г. Кулиша — Екатерина II, «супруга сумасшедшего царя, как ангел хороша, хитра словно лисица, как демон зла, мудра, как змий. Перед святыми небо отворила, лукавцев обошла лукавством, она премудро злых злодеев душила, а нам повелела не помнить зла». «Несытую разбоем и разрухою гадюку за Порогами убила и голову ехидны ядовитой железною пятою раздавила. Хвала ж тебе за зло для злых, царица, и за добро для добрых и спасённых!» — провозглашает г. Кулиш, который «не пренебрегает великими заслугами государей прошлого!» Ну, конечно, не пренебрегает, а, пожалуй, даже и преувеличивает. Ведь создав однажды из своего родного народа и его прошлого образ чёрта и людоеда, он, наверно, рад будет каждому, кто сильною рукою подавит и укротит этого чёрта. Но рассмотрим каждый лучик того блестящего ореола, каким окружил г. Кулиш свою «святую» Екатерину. Что она была «супругой сумасшедшего царя», это ещё для неё «туда-сюда», но что она приказала задушить этого царя, да притом тогда, когда он совершенно не мог быть ей помехой, и что по её повелению безоружного человека почти три часа истязали, пока не задушили, это, видимо, один из признаков её святости! Что она «лукавцев обошла лукавством», это ещё была бы только ветхозаветная добродетель вроде той, которая гласит «око за око, зуб за зуб»; но что она умела и честных и преданных ей обойти лукавством, умела воспользоваться их доброй волей и приязнью,

чтобы потом отшвырнуть их, как выжатый лимон,— этого г. Кулиш не хочет видеть, хотя мог прекрасно убедиться в этом, хотя бы, например, из воспоминаний княгини Дашковой, которая в основном и посадила эту мудрую змею на царский престол. Что она «премудро злых злодеев душила», против этого не возражаем, но что она едва ли не более премудро новых и ещё более яростных злодеев плодила, против этого не смог бы возразить и г. Кулиш, если бы ореол святости, которым он наделил Екатерину, не препятствовал ему видеть правду. Что же, к примеру, Радищева, автора «Путешествия [из Петербурга] в Москву», и писателя Княжнина, автора трагедии «Вадим», которых за честно и смело высказанную правду по приказу Екатерины пытали в Тайной канцелярии,— что же, и этих писателей также г. Кулиш причислит к «лютым злодеям»? А вот маленький пример того, как спасали «украинский народ от сотни маленьких тиранов», чтобы дать ему их тысячу.

«Что ты ходишь, повеся нос?»— спросил однажды граф Завадовский или Зорич, словом, один из «наложников» царицы Екатерины II, почтенного дворянина, состоявшего при нём в качестве шута.

Собеседник, к которому относился вопрос, был человек необыкновенно толстый и прожорливый, всегда обедавший у графа. Когда граф бывал особенно весел, он давал знак рукою, лакей надевал на голодного шута хомут и, затянув шею, пускал его на еду.

Дворянин бился в хомуте, как зверь, бросался нарочно на блюдо, давился, был очень гадок, словом, усердно тершил своего покровителя, хохотавшего до слёз.

— Поневоле повесишь нос, — отвечал упряжной дворянин, — ваше сиятельство изволите всех щедротами своими награждать, один я, несчастный, забыт вами.

— Как так?— спросил граф.

— Ваше сиятельство всем пожаловали вотчины в Малороссии, а мне хоть бы какую-нибудь сотню дрянных казаков.

— Каков малый! — отвечал сквозь хохот граф, — губа-то не дура. Так и тебе казаков захотелось?.. ха, ха, ха! Чем же ты заслужил казаков?

— Да помилуйте, ваше сиятельство, — отвечал шут, — ведь, я и не бог знает чего прошу: чего вам, граф, стоят казаки? а мне милость была бы дорога, и я до гроба молился бы об вашем здравии.

— Ещё лучше! — заметил весёлый граф. — Да он совсем не так глуп, как кажется; в самом деле, чего жалеть казаков. Ну, так и быть, дам тебе казаков.

— Ваше сиятельство, ваше сиятельство! — говорил тронутый шут и полз на коленях приложиться к графской ручке, — неужели и вправду?

— Ну, полно, полно, — отвечал граф, милостиво протягивая руку, — говорю тебе, будут у тебя казаки.

Это было в самое то время, когда Екатерина II вводила крепостное состояние в Малороссию. Одержимая ненасытимой <нимфоманией, запятнанная> всеми преступлениями, эта «мать отечества» дала одним своим <любовникам> более трёхсот тысяч душ мужского пола \*.

Кулиш мог бы обстоятельно познакомиться с этими благодеяниями Екатерины хотя бы из небольшой, под царской цензурой напечатанной статейки г. Семевского «Раздача населённых имуществ при Екатерине II» («Вестник Европы»). Да куда там, г. Кулиш заранее уже расправился с подобными свидетельствами науки. Что ему наука, когда идёт речь о святых? Наука не доросла до них. «Наука, от неблагодарности ослепши, с Невежеством по-братски обнялась и, ведя его, как пьяный ведёт пьяного из кабака, вместе с ним в одной луже улеглась...» Что подразумевал г. Кулиш под этими словами, — бог его знает, — мы ничего не понимаем. Обязана ли наука за что-нибудь Екатерине и из благодарности должна делать её святой? Или наука, не признав в Екатерине святой, по одному этому должна вместе с невежеством завязнуть в грязи? И как может наука завязнуть вместе с невежеством, если она, как современная историческая наука, опирается не на спекуляции, не на откровения, а на документы? Что г. Кулишу, пожалуй, больше понравилось бы, если бы она опиралась на откровения, а именно, на его откровения, это ясно, — но ясно также, что наука перестала бы тогда быть наукой. Наука никому не обязана, она не знает ничьих

---

\* Герцен, Крещёная собственность, Сочинения, т. V<sup>1</sup>.

«прекрасных глаз», а знает только критику, знает только факты. Странно представляет себе г. Кулиш науку и учёных, если он говорит, что «учёные молодцы (историки) сгребают отовсюду грязь, чтобы удовлетворять дурной вкус людей». Будто бы уж таков вкус в наше время, чтобы Екатерина обязательно предстала в чёрном свете? Да ведь нам Екатерина ни сват, ни брат, и судим её мы не по её «ангельской» красе, а по её делам, поскольку историческая критика раскрывает их нам. Пойдём дальше. Каким святым отворила небо Екатерина, — этого мы вовсе не знаем, а где и как повелела нам «не помнить зла», — мы рады были бы получить от г. Кулиша какое-нибудь доказательство этому. А что она «железною пятою раздавила гадюку за Порогами», за это г. Кулиш может славословить Екатерину только в том случае, если забудет, что она одновременно с этим ввела крепостное право на Украине.

Г-н Кулиш называет ещё Екатерину «любомудрой жрицею науки». Вероятно, он мог сделать это, только не читавши ни одного произведения этой «жрицы», из которых половина украдена у французских философов, а другая — намеренная фальшь и ложь. Мы советовали бы г. Кулишу прочесть хотя бы статью Добролюбова <sup>1</sup> о произведениях этой «жрицы», и надеемся, что после этого он хоть немного изменит свой «гимн единственной царице».

Вот какие святые у нашего атеиста, вот каким мудрым царям готов рабски служить наш демагог!

#### IV

Кто старое помянет, тому глаз вон!

*Русская пословица*

Чтобы лучше понять, как представляет себе г. Кулиш международные отношения украинского народа, в особенности его отношения с поляками, мы попробуем проанализировать его стихотворение, озаглавленное «Компромисс с ляхами». Мнение г. Кулиша о наших отношениях с поляками может иметь для нас немалое значение, хотя бы уже потому, что на него обратила внимание польская пресса и провозгласила: вот, мол, мнение украинца, хотя и недружелюбного к нам, но всё же честного и правдивого, знаю-

щего народолюбя, — совсем не такое как у здешних, с виду народовцев, а на деле московских наймитов. И ещё по одной причине важно для нас мнение г. Кулиша, высказанное в этом стихотворении, а именно, — по причине своего кажущегося радикализма. Выдвигая программу согласия и дружбы обоих братских племён на основе будто бы радикальной, г. Кулиш при неясности его высказываний мог бы ввести в заблуждение кое-кого из нашей молодой ещё радикальной общественности, и потому нам следует проанализировать его мысли и проследить их главную линию, чтобы показать, в чём и насколько отличается наш «Компромисс с поляками» от кулишовского.

Г-н Кулиш желает братства между галицкими украинцами и поляками. Хорошо, и мы его желаем, так же как желаем искреннего братания нашего народа с каждым другим. Но только кого же подразумевает г. Кулиш под именем «поляки», «ляхи»? Удивительное дело! Можно подумать — польский народ? Куда там! Он подразумевает панов, собственников, а простой народ ему безразличен. «Коли хочеш, лях, на деле с русинами побрататься, должен *из пана* человеком общественным стать». Выходит, каждый поляк, по мнению Кулиша, — пан. Это первый сучок.

Мы до сего времени, думая и рассуждая о согласии между украинцами и поляками, всегда имели в виду только народы, то есть совокупность трудящихся людей той и другой народности. Нужен ли между ними какой-нибудь компромисс, мы не знаем, — думается, нет, ведь живут они не с сегодняшнего дня, где вперемешку, где в близком соседстве, и живут в мире и в согласии. Думая о том согласии, какое нам необходимо в будущем, мы понимаем под ним общее и дружное взаимопонимание в больших общественных и общечеловеческих делах, в великой борьбе труда и правды с бездельем и кривдой, в борьбе именно с теми, с кем г. Кулиш желает навязать нам свой компромисс.

Но пойдём дальше. Какого же компромисса жаждет г. Кулиш? На каких условиях он должен быть заключён? А вот смотрите: «Грубый русин с мягким поляком побратался, деликатной речи у него научился, перенял у побратима быт его панский и оставил свой прежний нрав простецкий». Значит, компромисс будет неравный: русин должен отречься от своего нрава и даже от своего языка.

Как же после этого понимать слова автора в том же самом стихотворении, что «Русь Русью будет»? И как это русин, не ставши паном, переймёт «быт панский»? Всё это загадки, завершающиеся самою главною загадкою в конце стихотворения, что, мол, подлинная гуманность обеспечит «и беззаботное счастье панское и простецкую долю». Значит, и по заключении компромисса паны останутся панами, то есть блаженствующими бездельниками, а простаки, независимо от перенятого панского быта, так и останутся простаками. Но причём же тут гуманность? Нам кажется, что гуманность стремится не к тому, чтобы обеспечить с одной стороны «счастье панское», а с другой стороны «простецкую долю», а, наоборот, чтобы сравнять между ними пропасть, то есть, *чтобы панов и простой люд превратить в разумных, развитых тружеников*. А чтобы достигнуть такой «гуманной» цели, нужны не такие компромиссы, какие навязывает г. Кулиш, — для этого необходим дружный, разумный труд обоих народов или хотя бы даже отдельных, наиболее светлых и сердечных единиц между ними. Это уже будет не компромисс, не минутное соглашение между какими-то враждебными лагерями — это будет подлинная ассоциация, подлинное братство сознающих свои общие цели и свои пуги братьев. Зачатки такой ассоциации г. Кулиш как раз и мог бы увидеть во Львове, где украинские и польские рабочие, сознавая свои национальные особенности, совместно состоят в рабочих товариществах и совместно издают рабочую газету «Ргаса»<sup>1</sup>, в которой рядом с польскими помещаются украинские корреспонденции, вокруг которой украинцы работают дружно с поляками, и за это никому и в голову не приходит называть тех или других наймитами. И вообще, скажем ещё раз, для единства с польским рабочим народом нам не нужно никаких компромиссов: для такого единения, для полного, искреннего и тесного братства мы уже создали хотя бы небольшие основы, и, бог даст, дело пойдёт чем дальше, тем лучше. А с панами, с богатеями, с бездельниками и расточителями народного добра рабочему люду не то что не нужно, а и невозможно примириться, потому что в этом случае согласие было бы подчинением, склонением шеи под ярмо.

Но почему же г. Кулиш непременно домогается компромисса, а не братства, как этого желал уже Шевченко?



Ясное дело, потому, что считает поляков и галицких украинцев какими-то воюющими между собой ордами, какими-то враждебными лагерями. К такому взгляду его привела история. Г-н Кулиш, как известно, историк, автор трёхтомной «Истории воссоединения России», в которой он исследовал историю казачества. Мы, признаться, ни этого труда, ни заметок о нём других историков не читали, не по присущей нам лениности, а по той простой причине, что самой книжки не могли нигде раздобыть. Значит, не будем спорить с г. Кулишом об истории. Допустим, что казаки были разбойники, грабители и т. д., допустим и то, что войны казацкие больше повредили Украине, чем помогли, что украинцы больше ущерба нанесли полякам, чем поляки украинцам, — так что же из всего этого получится? Значит, мстить друг другу или покориться? \* Иного выхода, кажется, г. Кулиш и не намечает.

Если таким должен быть для нас вывод из всей нашей истории, то лучше бы забросить её ко всем чертям. Счастье наше, что всё обстоит не так. Ни «поповская интрига», ни война с Польшей не были основными нитями нашей истории. Все эти внутренние войны и беспорядки, которые испокон века, и под Польшей и под Москвой, возмущали жизнь нашего народа, происходили преимущественно из источника не национального, а общественного и экономического, были выражением не врождённой национальной вражды, а исторически создавшихся общественных и экономических противоречий. Поэтому напрасно удивляется

---

\* Уже после «Хуторской поэзии» г. Кулиш издал «Крашанку русинам и полякам», в которой опять-таки, начав с необходимости согласия, не высказав даже, каким же должно быть согласие, излагает обстоятельно историю нашего раздора между народами. И вот что самое любопытное в этой «Крашанке»: что причиной всей беды являются попы, и православные, и католические! Станный же историк-социолог г. Кулиш, если он может причиной такого глубокого в общественной и экономической жизни обоих народов разительного факта считать исключительно какую-нибудь поповскую болтовню! Это всё та же, давно известная повесть о «московской» или «польской» интриге, только с тем изменением, что г. Кулиш торжественно прокламирует «поповскую интригу». Нам, простым людям, казалось бы, что специалист-историк должен глядеть глубже в суть дела, а не подводить такой огромный и сложный факт, как историческая вражда Украины с поляками, под одну какую-нибудь рубрику.

г. Кулиш, что казацкие войны велись по сути против украинских панов: Острожских, Замойских, Сапег и др. Велись не потому, что это были украинские или польские, а потому, что это были паны. Напрасно также горевать о том, что Украина утратила этих панов... а что паны чуждались украинского народа, это, по-нашему, не позор, и не вред, как считает г. Кулиш, а наоборот — польза. Не имея панов, мы не имели и меценатов и неразлучного с ними лакейства и прихлебательства в литературе и нравах, не было у нас и не будет панской литературы, паны не уведили и не уведут нашу литературу и духовную жизнь на такие гнилые бездорожья, как, например, польскую литературу. Наша литература без панов должна была с самого начала стать народной, простой, мужицкой, и тем самым популярной, а затем и радикальной, — потому что с простым человеком надо и говорить попросту, откровенно.

Не беда для нас, что нет у нас панов <sup>1</sup>, а наоборот, может быть, именно это является залогом и прямого прогресса и развития нашего народа.

## У

На мій першодвіт вдарили морози,  
Заціпило мені від холоднечі,  
Не докотившись застигали сльози,  
В сумне стогнання обертались речі.

*П. А. Кулиш*

Если бы даже г. Кулиш в этой действительно хорошей строфе и не признался нам в неблагоприятном влиянии обстоятельств на его талант и мышление, — мы с совершенной очевидностью убедились бы в этом из предыдущего разбора его основных взглядов...

Сходство замысла и тона натолкнуло нас на сравнение «Хуторской поэзии» с «Посланием» Шевченка. Мы не сравнивали их во всех деталях, а лишь осветили некоторые точки, где г. Кулиш выходит за рамки «Послания». Конечно, мы и не думали сравнивать талант Кулиша с талантом Шевченка, не думали искать сходства между горячим, от сердца идущим словом Тараса и правильно размеренным, выутюженным и холодным словом Кулиша. Мы сравнивали только широту и зрелость самих мыслей, безотносительно к их поэтическому выражению, и увидели, что г. Ку-

лиш не удержался и на том уровне, на котором стоял Шевченко ещё в 1845 году. Ошибки и непродуманности Шевченка разрослись у г. Кулиша до огромных размеров, усилились его собственными ошибками (например, тем неверием в собственный народ, которое в «Хуторской поэзии» довело его до прямого, бездоказательного надругательства над этим народом) и заслонили хорошие и сильные места его поэзии. Во всём сборнике из двадцати пяти вещей мы не могли найти ни одной, которую *целиком* можно было бы назвать хорошей и ясной по мысли, хотя отдельные места и попадаются порою очень хорошие, а форма всех стихотворений отличается отделанностью. Это последнее обстоятельство позволяет нам надеяться, что перевод произведений Шекспира, который вскоре обещает нам дать г. Кулиш, получится хороший и что г. Кулиш несравненно лучше послужит им украинской литературе, чем своею «Хуторскою поэзией».

Пора нам закончить эту статью, — она и так разрослась чрезмерно. Надеемся, никто не осудит нас за то, что мы здесь, может быть, слишком строго, слишком резко говорили о таком летами и трудами почтенном человеке, как г. Кулиш. Мы говорили с болью сердца, с печалью и сожалением, — а сожаление не отягощает. То, что мы сказали о «Хуторской поэзии», ещё не означает, что мы забрасываем камнями старших и несомненно заслуженных тружеников нашей бедной литературы. Но, может быть, каждый признает за нами право и обязанность — осуждать и отбрасывать те мысли и те взгляды, которые, по нашему убеждению, расходятся с правдой. Здесь, как и вообще всюду в жизни и литературе, мы стремимся идти по слову великого проповедника: «Правду говори во благовремени и без времени», — и если в чём и ошибаемся — ибо кто на свете не ошибается? — то по лучшем рассмотрении дела, мы первые готовы взять назад и выправить свою ошибку. Это мы считаем первым и неперменным признаком каждого образованного человека и гражданина.





## ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

### I



дивительное, необычайное и болезненное явление представляет собой история великорусской литературы, нет, великорусского общества, или, скорее, той образованной части общества, которая до недавних пор одна только создавала литературу и росла вместе с нею.

В начале XVIII века вырванная из векового сна могучей рукой Петра Великого и втолкнутая в «Европу», эта привилегированная часть русского общества с лихорадочной поспешностью бросается хватать в западноевропейской культуре всё, что блестит, что бросается в глаза, что необычно и ново. Не давая себе труда ни разжевать, ни переварить того, что в Европе было добыто тяжким, вековым трудом, русская интеллигенция цивилизуется лишь поверхностно: под модной причёской и модным фракком сидят прежние варвары; культура пристала к ним лишь сверху, но не вошла в плоть и кровь; купленная за деньги, нахватавшая мимоходом, по пути, она стала их добычей, а не собственностью, не хлебом насущным. Но это ещё не всё: как чужеземная пленница, введённая в дом дикого варвара, хоть и не становится ему родной, а всё же ослепляет своей красотой его непривычные глаза, зовёт его позабыть обо всём, что делается в доме, и только на неё любоваться, — так и здесь получилось. Для «культуры», для «европеизма» якобы образованные россияне начали больше интересоваться тем, что делалось в Париже и Берлине, а не тем,

что творилось в их собственном доме. Вот и получилась та странная раздвоенность в их привычках, какую мы можем проследить со времён Екатерины, которая переписывалась с Вольтером и энциклопедистами о всех новейших течениях западноевропейского либерализма и одновременно подписывала грамоты, раздаривая тысячи вольных казаков и огромные пространства украинской земли своим прихлебателям и любовникам, или посылала на муки многих вольнодумных людей, осмелившихся родиться в её окружении (писателя Радищева). Как чёрная нить тянется это внутреннее раздвоение в характерах русских интеллигентных людей вплоть до нынешних дней. Оно составляет основную ноту почти всей русской литературы, которая во многих, подлинно мастерских творениях увековечила целый ряд типов, выросших на этой гнилой почве, — весь долгий процесс мучительного и тяжкого развития великого недуга, от которого Россия ещё доньше не оправилась, невзирая на множество порою даже героических лекарств.

Благодатная земля русская! Зачатков силы в ней много, и щедро одаряет она этими зачатками бесчисленные свои создания. Растите и развивайтесь! Наслаждайтесь жизнью и великим и плодотворным трудом воздавайте мне сторицей то, что от меня получили! Куда там, какая-то роковая сила отрывает эти пышные создания от родной почвы ещё до того, как они развились, окрепли и расцвели. Они бегут насытиться хлебом европейской культуры, но потом не могут его переварить. Они отрываются от своего родного корня, от своего народа, становятся ему чужими, закрывают лицо перед его невзгодами и его страданиями, — а потом бьются, как рыба об лёд, не будучи в состоянии найти себе нигде подходящего дела, не будучи в состоянии попасть назад, к тому живительному корню, от которого оторвались. И выходят из этих пышных зачатков — пустоцветы, красивые порою, но вовсе бесполезные, вытянувшиеся в какую-то одну сторону и поблекшие именно там, где бы должны были всего лучше развиваться. В них развивается впечатлительность и раздражительность, всеразъедающая рефлексия и копание в своём собственном нутре, но зато засыхает и хиреет энергия и охота к практической деятельности, стойкость и постоянство в решениях. И из многих подающих надежды зачатков выходят

люди, «о которых, — по слову Лермонтова, — друзья их говорят, что они могли бы стать великими людьми, но о которых потомство скажет, что не были ничем». Пушкин первый в своей великой поэме «Евгений Онегин» вывел на сцену и нарисовал в полный рост этот тип, этот пышный пустоцвет русской интеллигенции. Но здесь этот тип ещё не развился всесторонне, не развился, так сказать, в сторону внутреннюю. Культура, правда, оторвала его от родной почвы, взяла из него энергию и дала ему вместо неё большой запас чувства, с которым он вовсе не знает, что начать и куда деваться. Без цели, без службы и без дел он слоняется по свету; мимоходом его занимают то какие-то абстрактные мысли, то любовные интриги, но ничто не в силах укрепить его душу, толкнуть его на какой-нибудь решительный шаг; таким мы застаём его в начале, таким покидаем его в конце поэмы. Он томится, чувствуя бесцельность своего существования, но мысли его не проникают ещё в глубину сердца, не доискиваются, откуда это идёт. Он даже не пытается искать цели, а плывёт по волнам жизни с иронической, но притом и глупой усмешкой, глупой потому, что он не видит бесчисленных и безмерно тяжких людских мук, честных, хотя и мелких стремлений, — не видит, потому что не хочет видеть, чтобы только ему одному иметь право жаловаться на пустоту и «бессодержательность» этой жизни, чтобы иметь право свысока смотреть на людей, которым он, однако, со всеми своими способностями и со своим образованием не достоин «развязать ремень обуви».

Дальнейшую фазу развития этого типа представил Лермонтов в своей повести «Герой нашего времени». Печорин, главная фигура этой повести, — это тот же Онегин, которого одолела рефлексия, который мучает других, но мучает и самого себя, копаясь непрестанно в собственном нутре. Он знает и никогда не забывает, что у него есть способности и образование, и потому ценит себя высоко, даже слишком высоко. Но вместе с тем он знает, что при всём этом он бессилён, что у него подрезан самый нерв твёрдых решений, что он капризное, плаксивое дитя, которое самому себе ничем не может помочь, а хотело бы, чтобы весь мир плясал вокруг него и прислуживал ему. И за это он презирает сам себя, презирает жизнь, но презирает в своём

нервном раздражении и всех людей. Для малых дел он слишком велик, а великих дел у него нет, да если бы и нашлись, то он наверняка оказался бы для них слишком мал. Личное раздражение, любовные интриги, оскорблённая честь или что-нибудь подобное способны порою на минуту взволновать его кровь, пробудить энергию; но это будет минутный порыв, физический акт. Никакого идеала у него нет, для этого он слишком скептик, слишком холоден. Ни в какое будущее он не верит и ни к каким идейным устремлениям, связанным с жертвою своими личными выгодами, он не способен. Мир для него был бы очень хорош, если бы только ежеминутно давал ему всё, чего он ни пожелает. Но поскольку он знает, что этого ни теперь и никогда быть не может, вот он и становится в оппозицию и настоящему и будущему, и замыкается от них в тесную скорлупу своего холодного, безграничного эгоизма.

Дальше в том же направлении развиваться русскому интеллигентному человеку было некуда. Оторванность от народа, бывшая источником всего этого патологического отклонения в его развитии, в лице Печорина и ему подобных выродилась в презрение к людям и к себе, в совершенное отрицание. Зачем в самом деле жить? — решат более пылкие, дойдя до этой фазы, и пальнут себе в лоб или растратят свои силы и своё здоровье в разврате. Зачем думать и анализировать, и мучить себя самого? — решат другие, похолоднее. До правды, до идеала мы так или иначе не дойдём, ну и чёрт с ними, — попробуем жить, не думая. И одни из них начнут жить, лёжа целыми днями на диване, плюя в потолок и вздыхая, что, мол, мир не понял их, — а другие пойдут служить, засядут по канцеляриям да конторам, чтобы обдирать народ, не поверивший в их таланты, сколачивать состояние и высмеивать всякие идейные порывы. Это будут настоящие нигилисты, циники, заскорузлые в своём безысходном нигилизме и не признающие ничего за пределами своей скорлупы. Это будут герои романов Гончарова, разные Обломы и Адуевы, это будет тот либеральный навоз, который, возможно, и готовит землю под будущий посев, но для современников страшно и нестерпимо смердит.

...Хорошо господам Печоринным презирать мир и людей, когда у них всего в достатке и за жизнь свою им не

приходится бороться. Хорошо господам Обломовым лежать на диване и философствовать, поплёвывая в потолок, когда у них есть свои Захары, готовые к любым услугам, которых они могут даже для своего развлечения приказывать разложить и попарить в холодной бане. Но если человек этого именно типа окажется вдруг без этих материальных выгод и привилегий, интеллигентным пролетарием? Если судьба заставит его жить, как и все люди, добывать хлеб, зависеть от милости других? Очевидно, презрение к людям уступит тогда место другому чувству, по крайней мере, не будет выступать наружу, в байронических тогах, а укроется где-то в глубине души. Печоринство развернётся в иное направление. На словах, хотя бы, оно откажется от эгоизма, на словах, хотя бы, плюнет на своего байронического предшественника и попытается идти в другом направлении, в направлении к простому народу, от которого исходит всякая сила и всякий успех. Это будет первая серьёзная волна в истории новой России, волна перелома. Печорин превратится в Рудина.

Огромное, культурно-историческое значение Тургенева, по-нашему, именно в том и заключается, что он в целом ряде художественных очерков дал нам историю этого перелома в жизни русской интеллигенции: от крайней оторванности от народа к служению этому же народу и к труду над его возвышением. Мастерский резец Лермонтова в начале сороковых годов выдвинул на небосклон русской литературы высокую, демоническую фигуру Печорина, как последний отпрыск того отчуждения от своей родни, к которому под влиянием истории пришла русская интеллигенция. Печорин почти совершенный чужак на русской почве, — лицо его отвращено от России, хотя каждое его слово, каждое движение, каждая мысль свидетельствуют об его русском происхождении. Дойдя до этого предела, русская интеллигенция должна была устраситься тёмной и холодной пустоты, которая обступила её, — должна была повернуться в другую сторону. Поворот этот был трудный, мучительный, не так, может быть, сам по себе, как скорее потому, что выпал на долю людей, морально немощных, более рефлексивных, чем активных. Сколько мук душевных, сколько боли он принёс! Скольким нежным сердцам пришлось разлучиться, скольким нервам расстроиться,



скольким неокрепшим характерам сломиться, пока из этого мягкого материала могли выработаться крепкие и стойкие основы «новой России».

Как всякий внутренний, глубокий переворот, тот, что завершился в сороковых и пятидесятых годах, не оставил после себя в мировой истории почти никакого следа, не возвестил о себе никакими фактами, прежде всего потому, что основное его назначение было — именно перековывать людей мягких в крепких, людей рефлексивных в активных. Эта эпоха ещё не дошла до дел, и если бы не появился такой историк-психолог, как Тургенев, умевший подсмотреть и увековечить в живых типах все фазы этого тихого и мучительного процесса, — он погиб бы для нас, и итоги и следствия его были бы для нас непонятны.

В следующем очерке мы постараемся на героях тургеневских повестей показать в общих чертах, как возник и развился тот переходный тип русского интеллигентного человека, творцом которого в литературе был Тургенев, тип человека с широким размахом мыслей, с пылкой проповедью новых идеалов, человека, великого на словах, но слабого, нерешительного, непоследовательного на деле, и как из этого типа постепенно в шестидесятых годах рождаются новые люди, современные нам, реалисты телом и душою, на словах и на деле «свирѣпѣи челоѡвѣцѣ», как Базаровы, Мышкины, Желябовы и братья их.

## II

«Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить её к нашему быту, да не её одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию... скажу более — науку?

Он подпрыгнул на постели и забормотал вполголоса, злобно стиснув зубы:

— А, вот как, вот как!.. Так зачем же ты таскался за границу? Зачем не сидел дома да не изучал окружающей тебя жизни на месте? Ты бы и потребности её узнал, и будущность, и насчёт своего, так сказать, призвания тоже в ясность бы пришёл...»

Это собственные слова «Гамлета Щигровского уезда», такого же Печорина, только обнищавшего материально и «заеденного рефлексией». Первый прилив раздумья показал ему страшную пропасть под ногами, страшную тьму перед глазами. «Куда же мы идём?» — этот вопрос должен был возникнуть у него. Европейское образование дало ему массу понятий и желаний, — но действительная жизнь в России, в каком-нибудь глухом Щигровском уезде, не даёт ему ничего, что могло бы ответить этим желаниям, не даёт ему поля ни для какой деятельности. Да нет, поле, может быть, и нашлось бы, но разве он знает, где его искать, как и за какое дело браться? Школа познакомила его с Гегелем, с философией, со множеством абстракций, — жизнь осталась для него книгой за семью печатями. Зачем же я учился? На что мне дался Гегель и вообще вся наука? И, раз напавши на этот фатальный вопрос, словно попав в тупик, бедный уездный Гамлет всю свою жизнь не умеет из него выбраться, бьётся в нём, словно рыба об лёд. Вся жизнь его отравлена и разбита. Это первая жертва, но и первый шаг нового поворота общества от Печорина в другую сторону. Общество убеждается на таких уездных Гамлетах, на таких спившихся теоретиках, что одна теория, одна абстрактная наука не даёт ещё человеку того, что ему в жизни нужнее всего, не даёт ему внутренней силы, уверенности в своих целях и своём пути, не даёт ему характера.

Тот патологический процесс, который мы видим в уездном Гамлете, доходит до крайности в другом типе, представленном Тургеневым в очерке «Дневник лишнего человека». Герой этого очерка Чулкатурии уже не спрашивает себя: на что ему далась наука? не мечется гневно, не бьётся в своей клетке. Он сломлен совершенно, видит ясно своё бессилие, бесполезность своего существования на свете. «Сверхштатный человек — вот и всё, — говорит он самому себе. — На моё появление природа, очевидно, не рассчитывала и вследствие этого обошлась со мной, как с неожиданным и незванным гостем». И затем иллюстрирует свой вывод следующей картинкой:

«Помнится, однажды ехал я из Москвы в дилижансе. Дорога была хороша, а ямщик к четвёрке рядом припрёг ещё пристяжную. Эта несчастная, пятая, вовсе бесполезная лошадь, кое-как привязанная к передку толстой, ко-

роткой верёвкой, которая немилосердно режет ей ляжку, трёт хвост, заставляет её бежать самым неестественным образом и придаёт всему её телу вид запятой, всегда возбуждает моё глубокое сожаление. Я заметил ямщику, что, кажется, можно было на сей раз обойтись без пятой лошади... Он помолчал, тряхнул затылком, стегнул её в затылку раз десяток кнутом через худую спину под раздутый живот — и не без усмешки промолвил: «Ведь вишь, в самом деле, приплелась! На кой чёрт?»

И я вот также приплёлся...

На примерах уездного Гамлета и Чулкатурина мы можем увидеть, как мучились и погибали первые ряды людей «новой очереди»: только по их трупам общественная мысль могла пойти дальше. И она пошла дальше. В поэтическом творчестве Тургенева типы «лишних людей» преобладают на протяжении около десяти лет, то есть с 1844 по 1854 годы. Они впервые уступают во второй половине пятидесятых годов место новому человеку — Рудину.

Рудин — на самом деле новый человек. Таким он хотя бы кажется нам при первом взгляде. Натура широкая и пылкая. Слова его льются широкими, могучими волнами; в них звучит уже унылая, безысходная тоска по живой жизни, по настоящему и полезному делу.

Рудин нашёл такое дело, — то есть нашёл его хотя бы на словах. У него есть идеалы, и он горячо, с пылом проповедует их. Правда, идеалы эти ещё туманны, далеки, — но после предшествовавшей тьмы даже самый слабый проблеск нового рассвета наполняет сердце радостью и надеждой, придаёт новых сил, вливает новую жизнь в людей. В каком кругу ни покажется Рудин, он приносит с собой какую-то таинственную силу; к словам его прислушиваются, как к некоему новому евангелию, но разобраться в них, проверить их правильность и реальность, никому на ум не приходит. Да и к чему, если от этих слов, от этой пылкой проповеди новых, высоких идеалов как-то легче, светлее становится на душе. До критики ли в такую минуту человеку? Рудин вносит струю свежего воздуха в сырую, затхлую тюрьму.

Но это всё только одна, лицевая сторона характера Рудина. Он новый человек только на словах; зато в будничной, практической жизни он так же беспомощен, непосле-

дователен и даже бесхарактерен, как любой Гамлет Щигровского уезда. У него нет выдержки, нет постоянства, нет твёрдости воли и смелости в решениях так же, как и у его предшественников — лишних людей. Теория, идеалы, к которым порывается его проповедь, у него совершенно ещё оторваны от реальной жизни. Он не может ещё найти дороги к ним, хотя у него для этого достаточно желания и охоты. Он ищет великого дела, прямых путей:

Книги читает да по свету рыщет —  
Дела себе исполинского ищет,

как сказал Некрасов. Возможно, что если бы в минуту пробудившегося воодушевления, в минуту прилива сил такое дело и подвернулось ему под руки, он и совершил бы его. Но Россия для таких дел не открыла ещё поприща Рудиним. Она требовала медленной, систематической, тяжёлой чёрной работы, требовала труда бесшумного, но томительного, требовала терпения, нестигаемой воли и самоотречения. А именно всего этого у Рудиных и не было. Он при всей своей идейной проповеди — эгоист и себялюб и скорее погибнет на баррикаде за дело совершенно ему чужое и далёкое, лишь бы только на эту баррикаду и на его смерть были обращены взоры всей Европы, чем решится, например, замкнуться в убогой крестьянской школе в глухом закутке России и обратить свой пыл и свою учёность на просвещение тёмных и на поддержку падающих. И Рудин в самом деле погибает на баррикаде.

Как повесть, как произведение поэтическое «Рудин» несомненно принадлежит к лучшему из всего, что написал Тургенев и чем гордится русская литература. Но он имеет также огромное историческое значение, как широкая и верная картина целой эпохи в развитии русского общества, эпохи, опередившей отмену крепостного права. Рудин — это человек, не только обладающий определёнными идеалами, но и проповедующий их во всеуслышание, ищущий их осуществления, но в будничной жизни слабый, непостоянный, а порою и бесхарактерный; такой человек был лучшим цветком, какой только мог вырасти на почве крепостничества. Цельный, полноценный здоровый человек не мог вырасти на этой гнилой, нездоровой почве. И если мы в эту интересную эпоху встречаем других людей, таких, как

Шевченко, Добролюбов, Чернышевский, которые ясно видят перед собою новые идеалы и не менее ясно видят пути к их достижению, — которые ищут и находят для себя дело в жизни и, проповедуя идеалы, также и в повседневной жизни остаются чистыми и верными себе, — то такие люди выросли именно не на почве крепостничества, вышли не из помещичьей усадьбы. Это были или настоящие крепостные, как Шевченко, или мещане, как Чернышевский, или «разночинцы», то есть мелкие чиновники, беднота, как Решетников и Помяловский. Впрочем, — правду не спрячешь — и у этих людей встречаются в частной жизни большие или меньшие следы современного общественного недуга, который можно было бы назвать рудинством.

### III

Да и появилось их немало! Во всех сферах жизни интеллигенции, во всех сословиях, куда ни глянь — всюду Рудины. Конечно, одни более талантливы, другие менее, одни более честны, а другие просто шарлатаны. Раздвоение между миром идей и миром действительности, между мыслями и словами и делами, между буйным полётом стремлений и жалким проявлением энергии, — это мучительное раздвоение проводит Тургенев перед нашими глазами в целом ряде типов, обрисованных кистью художника. Он показывает нам это раздвоение во всех его формах, во всех — то болезненных, то трагикомических — его проявлениях. Рудинство означает собою целую переходную полосу в общественной жизни России, а Тургенев — самый достоверный историк этой эпохи. Рассмотрим хотя бы важнейшие типы этой галлерей болеющих рудинством людей, которую Тургенев описал на вечную память всему миру.

Посмотрим прежде всего на богатого дворянина Лаврецкого, героя повести «Дворянское гнездо». Образованный и выросший в достатке, он женится молодым и живёт года два счастливо, не думая даже, что его жена — великосветская кокетка и обманывает его. Случайно узнав об этом, он впадает в гнев и отчаяние, — его счастливые мечты рассыпаются, но его вера в людское добро не пропадает. Он едет

в своё имение, желая заняться каким-нибудь делом, которое принесло бы всем пользу, но и сам не знает, что бы такое сделать. При этом работа, которая тогда была единственно возможной, работа над поднятием материального благополучия и просвещением крестьян — работа трудная и тяжёлая, требовавшая отречения от всяких барских прихотей, — на это у Лаврецкого недостаёт силы. Несмотря на разочарование, он снова ищет счастья и влюбляется в девушку хотя и не очень развитую, но с характером чистым и светлым, как золото.

Что же, по вашему мнению, следовало бы сделать в этом случае Лаврецкому? Очевидно, только одно — разорвать узел, который связывает его с неверной женой, разгуливающей с кавалерами по Европе, и жениться на чистой и притом достойной его девушке! Куда там, Лаврецкий раздумывает, тянет почему-то, не смеет и не решается, пока, в конце концов, как гром с ясного неба, не обрушивается на влюблённую пару законная, хоть и неверная жена и не разбивает в зародыше их счастье. Бедная девушка, сломленная в самом расцвете молодости, замыкается в монастыре, а Лаврецкий — ну, Тургенев говорит, что он только теперь отрезвел сердцем и начал под конец жизни делать то, что должен был делать с самого начала — стал трудиться над улучшением судьбы своих крестьян. Лаврецкий, как-никак, самый привлекательный из всей галереи Рудиных, — если же и он в делах своих оказывается нерешительным и нетвёрдым, то в этом проявляется именно недуг всей исторической эпохи.

В том же «Дворянском гнезде» мы находим и другой мастерски обрисованный тип, заражённый каплей рудинства, — это чиновник Паншин. На вид он человек образованный и либеральный, — когда же дойдёт до дела, тут и оказывается, что он человек пустой и бесхарактерный.

Но если Лаврецкий представляет собою один, наиболее симпатичный вариант Рудина, а Паншин — другой, далеко не симпатичный, то в повести «Дым» Тургенев показал нам карикатуры на этот же самый тип. «Дым» переведён на украинский язык, и потому мне достаточно будет указать на типические фигуры Бамбаева и Губарёва, чтобы читатели могли ясно представить себе, до каких пределов доходило вырождение этого типа! «Дым» был написан

уже много позже «Дворянского гнезда», когда тип Рудина изжил уже себя и на смену ему пришёл новый тип — Базаров.

Однако хотя Рудины и перевелись быстро, за какие-нибудь десять — пятнадцать лет, но в их потомках не могла сразу возникнуть совершенно новая натура, в них перешло по наследству также немало капель рудинской крови. Эту наследственность Тургенев показал в своей последней большой повести «Новь». Герой этой повести — Нежданов, хотя и живёт в середине семидесятых годов, всё же сохраняет в своей крови много капель крови Рудина. Мы видим его среди бушующего водоворота новых движений. Молодёжь «идёт в народ» проповедовать великие (из Западной Европы наскоро нахвачанные) мысли о социальной революции. «В народ, в народ!» — звучит во всех концах России, — ну и Нежданов тоже идёт в народ. Он уезжает под видом домашнего учителя к одному помещику, чтобы здесь, попав в деревню, начать пропаганду. Но его барские нервы не позволяют ему этого, он влюбляется в первую встречную девушку, и оказывается, как известный осёл, между двумя вязанками сена: он и в любви не может добиться успеха и среди народа не знает, что делать, о чём говорить и как вести себя. Он ранит сердце девушки, которая его полюбила, а попав в среду мужиков, которым он хотел проповедовать «слова братства и любви», одного только добивается — опьянев от нескольких рюмок водки, валится без памяти под стол. Размах чересчур велик, а сил слишком мало.

#### IV

Но Нежданов при всей правдивости этого типа не был последним словом в развитии русского общества, хотя можно сказать, что явился последним словом в развитии русского дворянства. В нём, как и вообще во всех людях рудинского типа, видна скудость жизненных соков, недостаток той энергии, какую даёт детям рабочая, трудовая семья. Русское дворянство, из поколения в поколение вырастая в лени, безделье и разврате, должно было оставить своим потомкам мягкие и слабые мускулы,

тонкую кость, бледную кровь, но зато чрезмерно развитые нервы, которые в тяжёлых и трудных обстоятельствах, требующих твёрдости и труда, становятся поистине проклятием человека. Тип Рудина, как видим, физиологически был основан на всём прошлом развитии русского дворянства, но не менее верно подметил Тургенев и происхождение следующего, совсем нового типа, Базарова.

Что русское дворянство не может породить новое, цельное поколение со здоровой кровью и крепкими рабочими руками, — это показала вся русская беллетристика, и отрицательно, как Пушкин в Онегине, Лермонтов в Печорине, Гоголь во множестве типов обыкновенных русских дворян и Тургенев в Гамлетах, Чулкатуриных, Рудиных, Губарёвых и Неждановых, — и положительно. Где только русским писателям приходится показывать человека с крепкой волей и сильным, деятельным характером, там они выводят на сцену немца (Гончаров, например, Штольца в «Обломове») или какого-нибудь другого иностранца (таков Костанжогло во второй части «Мёртвых душ» Гоголя и Инсаров, болгарин, в «Накануне» Тургенева). Эта убеждённость русских беллетристов в вырождении русского дворянства доходит до такой степени, что, например, Тургенев, желая мотивировать наличие хоть какой-нибудь силы и привлекательности характера Лаврецкого (героя «Дворянского гнезда»), даёт ему в матери крепостную женщину, то есть укрепляет его выродившуюся дворянскую кровь свежей струёй здоровой, трудовой мужицкой крови.

Не удивительно поэтому, что и герой нового, реалистического движения в русском обществе — Базаров происходит не из дворянства, а из так называемого низшего сословия, из-под убогой кровли мещанина. Базаров — это импонирующая гранитная фигура, почти единственный среди типов Тургенева, у которого натура здоровая, нервы сильные, мысли и дела — в полной гармонии, раздвоенности и следа нет. Он с презрением глядит на «отцов», то есть на Рудиных, которые, попрыгав в своей мелодости более или менее на либеральной ноге, под старость осели на уютных нарах. С не меньшим презрением глядит он на их эстетические причуды, их деликатные приёмы, их



условную фальшь. Всё, что не приносит прямой, реальной пользы, чего нельзя осязать, измерить и взвесить, — всё это для Базарова — «дело девятое». И любовь для него не является тем, чем была для либералов из дворян: главной целью и украшением жизни. Цель жизни Базарова — упорная, хотя и мелкая, но общепользная работа, и к этой цели он стремится всю свою жизнь, ей посвящает всё, из-за неё и гибнет, порезавшись при анатомировании трупа. Но сердцем он, однако, не жесток и не безучастен, — наоборот, он умеет любить глубоко и страстно, всей силой здоровой, неиспорченной натуры; только он не ставит любовь превыше всех благ земных, не поклоняется ей, как идолу, но считает её делом частным.

Повесть «Отцы и дети», героем которой является Базаров, несомненно наиболее известная из всех повестей Тургенева. Прозвище «нигилист», как в этой повести называет себя сам Базаров, стало наименованием для всего молодого поколения людей шестидесятых и семидесятых годов. Повесть эта вызвала великое множество критических отзывов и обвинений по адресу автора: молодое поколение обрушилось на Тургенева за то, что он будто бы в Базарове высмеял новые стремления и новых людей. С другой стороны, прогрессивный критик Писарев до небес возносил тип Базарова, видя в нём подлинный идеал нового человека-реалиста. В самом деле, Базаров у Тургенева обрисован не совсем верно психологически, — он, например, дерётся на дуэли из-за какого-то пустяка с каким-то глупым дворянином, что вовсе не подходит к его характеру, — и порою Тургенев говорит о нём как бы со скрытым недоброжелательством; но при всём том это всё же исторически самый интересный и психологически самый цельный тип во всей обширной галлерее людей, изображённых Тургеневым. Если Тургенев, рисуя этого гордого и могучего плебея, чувствовал порою к нему некое недоброжелательство, то это была скорее всего зависть дворянина, которого плебей превосходит и перерастает на целую голову. Всё же художественное чутьё Тургенева было слишком верно и сильно, чтобы это недоброжелательство к своему герою могло заставить его исказить его характер. Базаров действительно исторический тип,

столь же верный и столь же важный в истории развития русского общества, как Рудин.

Спустя более чем двадцать лет<sup>1</sup> после «Отцов и детей» Тургенев попытался в повести «Новь» описать другой тип реального русского человека — Соломина. Но этот тип получился гораздо бледнее и Базарова, и гоголевского Костанжогло, на которого он кое в чём очень походит.

## V

Мы в своих очерках коснулись всех основных произведений Тургенева, стараясь показать главным образом их историческое и социальное значение. Кроме этих повестей, наибольшую известность принёс Тургеневу ряд коротеньких повестей, изданных под общим заголовком «Записки охотника». Это было первым делом Тургенева, делом безмерного значения в истории России, потому что в них он впервые всесторонне и в ярких образах показал всю мерзость крепостничества и обратил внимание всех мыслящих людей на необходимость его отмены. «Записки охотника» поставили Тургенева в один ряд с первыми борниками эмансипации, с американской писательницей Бичер Стоу, с нашим Марком Вовчком и с англичанином Диккенсом, «Рождественские рассказы» которого (они переведены и на украинский язык) «больше способствовали улучшению жизни английских рабочих, чем все постановления и реформы английского парламента того времени». Если бы Тургенев не написал больше ничего, кроме «Записок охотника», он и тогда остался бы бессмертным в русской литературе. Надо ли здесь упоминать ещё о том, что Тургенев имеет право и на нашу благодарность за перевод на русский язык тех несравненных жемчужин нашей литературы, которые называются «Народные рассказы» Марка Вовчка<sup>2</sup>? Правда, в некоторых своих повестях — особенно в Рудине — он не очень приязненно отзывался о нашей литературе и даже поднимает её на смех, — но не забудем, что и великий критик Белинский впадал в такое же заблуждение и что Тургенев достаточно смыл с себя эту провинность, трудясь над переводом нашего наилучшего прозаика на русский язык.

На украинский язык из произведений Тургенева (кроме «Дыма» в «Библиотеке выдающихся повестей» и «Несчастной» в «Зорі») переведены были два лучших очерка из «Записок охотника»: «Хорь и Калиныч» и «Бежин луг», которые вместе с прекрасной биографией и оценкой творчества Тургенева напечатаны были в «Правді» в 1873 году<sup>1</sup>. Честь и слава памяти великого поэта и человеколюбца!

1883





## ФОРМАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ



первые за многие годы в литературе нашей возник спор по принципиальному вопросу. Как понимать национализм? С лёгкой руки возбудил этот вопрос [львовский журнал] «Правда»<sup>1</sup>, толкуя национализм как нечто враждебное так называемому интернационализму. Предостережения, которые эта редакция по поводу интернационализма сочла нужным сделать галицко-украинской молодёжи, вызвали среди неё справедливое возмущение, которое и проявилось в ответе «Одного из молодёжи», напечатанном по-украински и украинскими буквами в краковском «Ognisko»<sup>2</sup>. Одновременно и г. Чудак<sup>3</sup> в «Зорі» разобрал этот вопрос и принципиально и практически, с точки зрения Галичины и [надднепрянской] Украины, в частности, с точки зрения украинской литературы. Вся читающая публика должна быть благодарна редакции «Зорі» за помещение этих весьма ценных статей г. Чудака, которые, помимо множества нового материала, отличаются также смелым и глубоким анализом различных важных и насущных вопросов нашего духовного и литературного развития. Тем интереснее было для нас прочитать в двух последних выпусках «Правды» несколько статей и заметок, которые прямо или косвенно поднимают дискуссию по тому же вопросу; мы думаем, что и для читателей «Зорі» не лишне будет познакомиться несколько подробнее со взглядами того журнала, который собирался стать органом, связывающим интеллигенцию украинскую с галицкой, а ту и другую

вместе — с духовными интересами демократической и прогрессивной Европы.

К великому сожалению, почти с самого начала редакция «Правды» сама для себя сделала невозможным выполнение этой задачи, сосредоточив обсуждение исключительно на формально-национальном пункте, меряя все вопросы абстрактной национальной меркой. Мы далеки от того, чтобы отрицать важность *национального* вопроса, то есть развития *народности* во всех присущих ей *формах* (язык, обычаи, одежда и т. д.); но всё же мы не хотим никогда забывать, что *развитие народности — это лишь одно из проявлений развития народа*, наряду с развитием экономическим, общественным, развитием просвещения и т. д. Ясное дело, оно тесно связано со всеми этими проявлениями развития; но именно потому нельзя его принимать за нечто кардинальное, наиболее важное и исключительно определяющее: развитие народности без развития *живого народа*, его благосостояния, просвещения, равенства общественного и прав гражданских — это либо пустая мечта, доктринёрство, либо искусственное тепличное создание. *Национальная литература, искусство и так далее должны быть следствием живой потребности* нации и удовлетворять эту потребность. Нации, которая умирает с голода, в которой девяносто процентов людей не умеют ни читать, ни писать и не имеют де-факто никакой политической свободы, — такой нации нужны хлеб, азбука и конституция; театрами, концертами, «национальными» романами и стихами очень мало ей поможешь.

К несчастью, редакция «Правды» или не видит этого, или если видит и отмечает факты, то не делает из них простейших выводов, чтобы привести их к органической цельности. Так, например, она считает украинскую штунду «вполне логичным результатом всей суммы тех жизненных условий, к каким привело украинский народ *общерусское благо*» («Правда», X, 65) — то есть попросту следствием «обрусения», а не следствием развития религиозной мысли, которое началось ещё в XVI и XVII веках и было только *приостановлено* обрусением и царской централизацией, — а также развития социальных условий, которое с обрусением не имеет ничего общего. Далее, редакция «Правды», хотя и приводит немало фактов экономической

нищеты и разорения украинского народа, однако почему-то ни разу не приходит к позитивной мысли, как устранить эту нищету и это разорение, и не приходит именно потому, что все эти факты, чисто экономические, то и дело и вовсе некстати приправляет национальным соусом. Наконец и в самом национальном вопросе редакция «Правди», хотя и видит ясно, что основная беда украинского дела в России заключается теперь в отсутствии *политической свободы*, но всё же, разразившись громкими и довольно фразистыми обвинениями по адресу деспотизма, она ни разу не поставила вопроса о том, что надо делать украинцам, чтобы повалить этот деспотизм и добыть политическую свободу. Наоборот, то и дело повторяя, что украинцам в России теперь *ничего делать нельзя*, что там не только правительство, а и вся (или чуть ли не вся) интеллигенция и «раса» великорусская стремятся уничтожить украинскую народность, редакция «Правди» словно бы старается доказать, что украинцы за политическую свободу бороться не думают и что даже достижение политической свободы Украине ничем не поможет, ибо укрепит силу её завязтых врагов, прожорливых москалей. А в таком случае мы видим для русской Украины только два выхода: либо погибать, не обращая внимания на все и всякие вопли о полной самостоятельности, либо ждать какого-нибудь чуда, какой-то европейской катастрофы, которая оторвала бы Украину от России и сделала бы из неё нечто похожее на теперешнюю Болгарию. В обоих случаях программа «Правди» сводится к азиатскому, фаталистическому слову *«ждать»*. Для органа, который намерен быть посредником между Украиной, Галичиной и Европой, это довольно странно выглядит.

Не менее интересен и следующий факт. В самых принципиальных статьях «Правди», как, например, в статье «Национальный вопрос в России» и в ответе «Зорі» на статьи г. Чудака, мы не видим того, что называется историческим и сравнительно историческим фундаментом. Обычно указывается то или иное явление, даётся этому явлению то или иное наименование, упоминается порою и о том, что такое явление существует уже годы или столетия, но никогда даже не ставится вопрос: какова причина этого явления? Откуда оно взялось и чем поддерживается? Существуют

ли такие или сходные явления в других краях и как они там проявляются? Между тем вопросы эти очень важны, едва ли не наиболее важны для настоящего понимания данного явления!

Возьмём примеры. В статье «Национальный вопрос в России» говорится, что Россия — неизвестно, одно ли правительство или всё русское общество — угнетает с давних пор и продолжает угнетать Украину, не даёт развиваться её национальной жизни. По правде говоря, нового в этой статье не сказано ничего; нов здесь разве один только метод: писать статью о национальном вопросе в России почти по одному лишь Каткову. В самом деле, три четверти этой статьи составляют пространные выписки из катковских статей, которые печатались в «Московских ведомостях», «Современных известиях», «Русском вестнике» 1863—1866 годов. Кого думал автор поучать этими выписками о вещах, молотых и перемолотых и в России и у нас, — трудно понять. Но что выписками этими он затемнил дело, давая повод предполагать в одном случае, что это были взгляды правительства, а в другом — что так думало всё русское общество, — это совсем нехорошо. Нехорошо и то, что, приписывая такие взгляды правительству ли или русскому обществу, он не спросил себя: а какова была причина этих взглядов? Откуда у Каткова и его товарищей возникла эта идея «государственности» и что в этой идее такого, что придавало ей весу? Ведь надо же признать, что каков бы ни был Катков, всё же он глупым невеждой не был, а в молодости прошёл либеральную школу вместе с Герценом, Белинским и прочими. Даже если предположить, что идею «государственности» он подхватил и развивал ради личной карьеры (это не совсем верно, ибо идея эта была краеугольным камнем гегельянской философии, которою Катков проникся в молодости в кружке Станкевича), то всё же хотя бы у людей, которые прислушивались к его словам и признавали их правильными и следовали за ними, надо признать какие-то убеждения, нечто большее, чем страх за свою шкуру и чем желание карьеры. И дальше: думает ли автор, что один только Катков и есть во всём свете, что одно только русское общество боится идеей «государственности», то есть государственной цивилизации и нивелляции? Разве он не видит, что творится сейчас в

конституционной Германии? Разве он не знает, как поступает Бисмарк с поляками и эльзасцами? Разве он не слышал никогда, что немецкий философ Гартман (тот самый, который выдумал «Киевское княжество»<sup>1</sup>) выдумал также слово «ausrotten»\*, как суть обращения германского правительства с поляками? Не могу допустить, чтобы автор не знал этого, — ведь он и «Revue Contemporaine» в оригинале цитирует, значит, всё-таки знает кое-что о Европе. А если знает, то почему не упоминает об этих фактах, столь необходимых для оценки российской катковщины? Вот то-то и есть, что и Бисмарк и его Гартман, уничтожая поляков в Познани, разоряя Эльзас только для того, чтобы искоренить французский элемент и симпатию к Франции, делают это исключительно во имя излюбленного редакцией «Правды» национализма, во имя «чистоты расы» и «однородности национального государства», то есть во имя таких вещей, о которых редакция «Правды» вздыхает как о высших идеалах человеческой цивилизации и политического прогресса.

Не мешает обратить внимание на статейку «О национально-политическом воспитании», где редакция с той же меркой исключительного национализма подходит к делам галицко-буковинским. Скелет аргументации этой статейки совершенно догматичен. «У каждого народа были и имеются свои ренегаты, свои предатели, свой, так сказать, мусор». Есть такой мусор и в галицко-украинском обществе, и таким, ясное дело, являются так называемые «общероссы». Это явление патологическое — «результат патологического положения и национального украинского общества, и правительственных сфер», — значит, к дезинфекции и оздоровлению редакция «Правды» призывает и общество и правительственные сферы.

Общество должно «вооружаться просвещением, свободным словом, смелой мыслью и солидарностью», а правительство не должно благоприятствовать росту того, что мы называем «нашим украинским мусором», потому что «ни от кого другого, как от правительства, зависит обеспечить школу теми или иными преподавателями, теми или иными учебниками». Мы не знаем, будут ли благодарны галицкие власти редакции «Правды» за её мудрый совет; но нам ка-

---

\* Ausrotten (немецк.) — искоренить.



жется, что совет этот не столь уже и мудр, а к тому же не совсем чист. Редакция «Правды» не совсем верно думает, что «ни от кого другого, как от правительства, зависит обеспечить школу теми или иными преподавателями». Может быть, в России и так, а у нас не совсем так. У нас есть положение, которого власти обязаны придерживаться при обсуждении преподавательского состава, и если из двух претендентов на какое-нибудь место учитель-«объединитель» окажется более квалифицированным и более заслуженным, чем учитель-«украинофил» (в конечном счёте при обсуждении кандидатур власти даже не имеют права спрашивать кандидатов об их политических взглядах), то власти без нарушения закона и справедливости не смогут дать это место украинофилу, а должны будут дать его объединителю. Советуя правительству поступать наоборот, редакция «Правды» в своём великом либерализме толкает его на путь протекции, nepoтизма и несправедливости, и всё это во имя единого, нерушимого принципа национализма! И напрасно редакция предостерегает против «такой дезинфекции, какая была осуществлена процессами Ад. Добрянского \* и компании», — ибо, призвав однажды власти вмешиваться в наши партийные отношения, судить, что у нас является «мусором», а что — чистым зерном, протектировать одних и не давать хода другим, — редакция создаёт такой прецедент, после которого дезинфекция вроде процессов Добрянского — всего лишь простой логический вывод.

Да и самые эти клички «мусор», «ренегаты», «запроданцы»! Как легко ими бросаться, как трудно придти с ними к какому-нибудь толку! Уже одно то, что в Галичине обе «партии» украинские яростно швыряют друг в друга этими прозвищами, должно было бы заставить редакцию «Правды» быть осторожнее. Ведь что означает слово «ренегат»? Оно означает человека, который отрицает, отбрасывает то, что до него считалось как *positum*, как нечто нерушимое. В этом случае Шашкевич <sup>1</sup>, отбрасывая нерушимую до его времени церковщину и этимологию, с полным правом мог быть назван ренегатом, и каждое направление,

\* Процесс Добрянского — А. Добрянский, его дочь Ольга Грабарь и другие в 1881 г. были обвинены в шпионаже в пользу русского правительства.

которое свои принципы считает за *positum*, за вещь, обязательную для всех, — точно так же вправе назвать ренегатами всех тех, кто не придерживается его принципов. Значит, ценность этого названия чисто субъективная: я прилагаю к другому свою личную мерку, и, если он под неё не подходит, — значит он и ренегат. А то, что кое-кто из наших «ренегатов», из этого нашего «мусора» (например, Наумович, Дидыцкий <sup>1</sup> и другие), сделали для развития галицко-украинского общества и простого народа в десять раз больше, чем сотни и тысячи самых лучших неренегатских ортодоксов, вместе взятых, это редакции «Правды» не касается, ибо это не подходит под мерку исключительно национальную. И снова нам приходится повторить здесь то, что мы сказали выше. Редакция «Правды» смело возглашает: ренегаты, мусор, запроданцы, — и даже не подумает о том, чтобы спросить себя: а откуда они взялись? Что их породило? И что их держит на свете? Правда, редакция «Правды» склоняется к признанию, что, кроме «запреданства», то есть рублей, есть тут нечто иное, есть «соответствующая почва», есть «атмосфера, которая способствует росту бурьяна». Какая это почва, какая атмосфера — редакция не объясняет, хотя это, вероятно, и должно было быть первым её делом, если она хочет давать рецепты оздоровления. Что почва такая действительно есть, и не среди одной только интеллигенции, а и в простом народе, и не только в тёмном и неграмотном, а и в грамотном, на это мы приведём редакции «Правды» следующий факт, — пусть разжёвывает. Было время, когда «Наука» <sup>2</sup> Наумовича имела около трёх тысяч подписчиков, число, которого никогда не достигала ни одна «укаинофильская» газета. «Наука» существует и поныне, народ её читает с удовольствием, несмотря на процессы, эмиграцию Наумовича, церковные запреты и т. д. «Правда русская» Гр. Купчанка <sup>3</sup> расходуется в народе также в весьма большом числе; мы знаем факты, что даже в сёлах, по нашим условиям наиболее просвещённых, мужики подписываются на неё тайком, боясь священника-народовца и церковного запрета, и хотя имеют читальню, но газету Купчанка читают частным образом у себя дома и прячут её, точно нивесть какое сокровище, — и это те же мужики, которые устраивают торжественные вечера в память Шевченка и Шашкевича. И не

забудем, что среди интеллигентных галицко-украинских «запроданцев» находятся люди (может быть, их больше даже, чем среди правоверных народовцев), которые ради мужика или по вопросу о языке и письменности украинской в десять раз смелее выступают, в десять раз скорее заявляют протест властям и всяким «сильным мира сего», чем многие народовцы. Не забудем, что между этими «запроданцами» находились и находятся люди, которые весь век живут в самых скромных условиях, в тесноте и нужде, служа делу, которое им кажется справедливым, и которые не поколеблются наложить на себя руку, если увидят, что дело, в котором они видели силу и честь народа, приходит в упадок (Балюх). Когда я слышу, что к таким людям прилагают слово «запроданцы», мне всякий раз вспоминаются бывшие ведьмы и колдуньи, которых всяческие ортодоксы сжигали на кострах за то, что они «продались чёрту», хотя эти несчастные «запроданцы» жили обычно в самой великой нищете и никакой корысти от этого запроданства не имели.

С такой же точно формально-национальной меркой редакция «Правди» подходит к вопросу об отношении галичан к русской литературе. «По совести говоря, мы хорошо не понимаем, что в этом деле неясного и что надо выяснить? Отношение галицко-украинской (но не «общерусской») интеллигенции к русской литературе и к великорусскому или русскому народу должно быть в точности таким же, как и ко всякой другой литературе, будь то французская или шведская, как и к любому из соседних народов: кто хочет и имеет на это возможность, пусть читает, пусть изучает какую угодно литературу». И, высказав эту непоколебимую догму, редакция «Правди» полагает, должно быть, что высказала небывало мудрую фразу, хотя в самом начале этой мудрой фразы сама поставила фатальные слова: «мы хорошо не понимаем». А если не понимаете, так зачем же догмы устанавливаете и другим в них верить приказываете? *И зачем, не понимая хорошо дела, подаёте перед всей Украиной донос на общество имени Шевченка, что вот, мол, оно в своём органе устами г. Чудака пропагандирует «общерусскость»?* Хорошо ли это? К лицу ли это украинско-европейскому органу?

А что это действительно так, что редакция «Правди» не понимает и не хочет понять того, по поводу чего

взялась отвечать «Зорі», это видно уже из вышеприведённых слов её доктринёрской и пустой догмы. Г-н Чудак в «Зорі» привёл множество фактов, чтобы доказать, что литература русская для галицких украинцев имеет совсем иное, особое значение, нежели все прочие литературы европейские; отвечая «Зорі», редакция «Правди» должна была бы прежде всего остановиться на этом пункте, разобрать и взвесить факты. Но нет, редакция «Правди» вместо этого провозглашает свою догму и думает, что ею она сразу покрыла все аргументы г. Чудака. Но для нас, галицких украинцев, которые на самих себе убедились, какое безмерно различное влияние имели на нас произведения Ауэрбаха, Шпильгагена, Дюма, Диккенса и прочих европейцев, — и произведения Тургенева, Толстого, Щедрина, Успенского, Решетникова, Некрасова и других, — для нас эта догма редакции «Правди» только набор пустых слов и больше ничего. А если редакция «Правди» не понимает хорошо, почему это так, то мы ей скажем. Если произведения литератур европейских нам нравились, волновали наш эстетический вкус и нашу фантазию, то произведения русских мучили нас, пробуждали нашу совесть, пробуждали в нас человека, пробуждали любовь к бедным и обиженным. Вот именно это, а не пропаганду общерусскости имели целью прежние статьи г. Украинца в «Правді» — это доказывает и статья г. Чудака в «Зорі».

Конечно, статьи эти, кроме общечеловеческой, демократической стороны, имеют ещё и политическую сторону, и ред[акция] «Правди» снова отгородилась от неё догмой: отношение галичан к русскому народу должно быть таким же, как и ко всякому другому народу. Если бы это сказал ученик, который в первый раз узнал, что дважды два — четыре, и в великой радости прилагает эту аксиому всюду, где нужно и где не нужно, — мы бы не удивлялись. Удивительно нам, что это говорит редакция органа *политического*, которой должны быть известны факты и обстоятельства, а в числе их и такие, что большая часть украинцев живёт в России, непосредственно связана с народом русским, что этот народ русский создал великое государство, на которое так или иначе обращены взоры всего Славянства, что это государство охватывает с двух сторон и галицкую Украину, что этот русский народ создал духовную,

литературную и научную жизнь, которая также тысячами путей непрестанно влияет и на Украину и на нас. Зачем далеко ходить! Возьмём пример Венгрии, и пусть редакция «Правди» скажет по совести: разве закарпатские украинцы меньше ориентируются на мадьяр, чем на Россию? А всё-таки, пока закарпатские украинцы обращали свои взоры на Россию, у них проявлялась хоть какая-то народная жизнь, были хоть какие-то писатели, газеты, начиналось и движение народное, пробуждалось и «народовство» среди молодёжи. А теперь, когда связи с Россией оборвались, когда взоры закарпатской интеллигенции обратились к Пешту, — что там осталось?

Пора нам кончать эту заметку. С сожалением мы должны сказать: совсем не того мы ждали от «Правди», совсем не на это надеялись в то время, когда она основывалась и когда и сами мы готовы были помогать её росту. И если бы мы должны были считать «Правду», какова она теперь, мерой того, чем стала украинская интеллигенция и к чему пришла её политическая и общественная мысль, — нам осталось бы только руки ломать с горя. К счастью, это не так, и в самой «Правді» некоторые статьи (например, очень интересная во многих отношениях статья «Славянским гостям») показывают, что там не перевелись ещё люди, у которых слово украинское служит не только для того, чтобы молотить ни к селу ни к городу всё, что только на язык придёт, — про Сербию, про Занзибар, про шведскую конституцию, про штунду, про швейцарские альменды и про колонизацию украинцев в Галиции, — но служит для выражения серьёзных и глубоко продуманных взглядов. Нам остаётся только пожелать, чтобы такие серьёзные люди взяли в редакции «Правди» верх над теми, кто, по слову старика Софокла, «должно быть, ветряными мельницами родились — вот и мелют».



---



## ТАРАС ШЕВЧЕНКО



Около 1840 г. в общеевропейской литературе случилось событие, хотя, может быть, и не столь громкое, но характерное и важное. В литературе появился *мужик*, простой сельский мужик. До этого времени поэты и повествователи не видели его совсем, если же и вводили его в свои произведения, то лишь как декорацию, как безмолвную фигуру, как бесцветную серую массу или в лучшем случае как постороннюю, эпизодическую фигуру, или как элементарную силу, слепо разрушающую и недоступную никаким глубоким человеческим чувствам. Вспомню только о справедливо осмеянных фигурах сентиментальных, идиллических французских пейзазов XVIII в., о верно и с могучим натурализмом схваченных, но эпизодичных, как бы калейдоскопических фигурах мужиков у Шекспира, и у немецкого писателя XVIII в. Гриммельсгаузена, и в трагедии Гёте «Cötz von Berlichingen», вспомню о хороших, хотя также больше анекдотичных рассказах из жизни украинских мужиков в латинской поэме польского писателя Кленовича «Roxolania» (1584), декоративную трактовку мужицких фигур в таких поэмах, как «Zamek Kaniowski» Гоцинского и «Pan Tadeusz» Мицкевича,— и думаю, что достаточно мотивированным будет утверждение, что старая литература мужика не знала и жизнь его никогда не ставила главным предметом поэтических произведений. Это, впрочем, и не удивительно, ес-

ли учтём, что и в большинстве европейских стран этот мужик был невольником и с общественной, и с политической, и с юридической точки зрения почти не считался человеком или по крайней мере не был полноправным существом.

Но около 1840 г. начинают почти во всех литературах Европы появляться произведения, в которых мужик становится героем, жизнь его делается главным предметом, канвой талантливых литературных произведений. Во Франции с произведениями этого рода выступает женщина, одна из самых гениальных защитниц женщин — Жорж Занд, издавшая «*La Mare du Diable*»\*, «*François de Champi*»\*\* и другие прекрасные новеллы из крестьянской жизни. В Германии в 1838 г. Бертольд Авербах начинает публикацию своих больше захваленных, чем ценных «*Schwarzwälder Dorfgeschichten*»\*\*\*. В польской литературе того времени появляются сельские повести Крашевского, а именно «*Ułana*», «*Jermola*» и др. В русской литературе только во второй половине 40-х годов выступают сразу Тургенев с первыми рассказами из своих «Записок охотника», Григорович с «Антоном Горемыкой» и Достоевский с «Бедными людьми». Наконец, в литературе украинской, маленькой, слабой, как бы загнанной в какой-то угол, на которую мало кто обращал внимания, появляются значительно быстрее, чем где-нибудь, — ещё в 1829 г. — рассказы Квитки-Основьяненко, почерпнутые исключительно из народной жизни, а в 1840 г. всплывает на поверхность явление почти совсем (исключая шотландца Бернса) новое в мировой литературе — мужик, более двадцати лет тянувший ярмо крепостной неволи. Выступает он уже не как герой повести или поэмы, но как живой деятель, как работник и борец за поправленные человеческие права всего поработщённого крестьянства, всего обобранного и униженного многовековой историей украинского народа, как защитник всех обиженных, угнетённых и преследуемых. И что больше всего интересно: сразу после первого появления в печати его произведений этот мужик, недавний невольник, по общему мнению своих земляков становится

---

\* «Чортово болото».

\*\* «Франсуа де Шампи».

\*\*\* «Шварцвальдские деревенские рассказы».

признанным проповедником, первоядным светилом украинской литературы. Тот самый, который ещё несколько лет назад должен был дрожать перед грозным взглядом своего пана и только случайно спасшийся от лютых розог эконома Прехтеля, тот самый, которым торговали, которого оценили и продали за 2 500 рублей, как какую-нибудь породистую лошадь, — теперь становится признанным проповедником целого народа. С неслыханным энтузиазмом приветствует его молодёжь, принимают и чествуют как равного себе те самые помещики, которые преспокойно держат у себя в неволе сотни и тысячи его братьев — мужиков. Его наперебой приглашают к себе, всячески угощают, а песни его вскоре уже становятся предметом народной гордости. В самом деле, в истории мировой литературы немного найдётся примеров подобного внезапного изменения судьбы. Этим избранником судьбы, которому суждено было с самого тёмного дна общества всплыть на его солнечную поверхность, чтобы через несколько лет широкой, свободной жизни снова с растерзанной душой и надломленной надеждой провалиться в тёмную пропасть и опять через десять лет всплыть из неё на короткое время и тогда умереть, — этим в самом деле необыкновенным, высокотрагическим явлением был Тарас Шевченко, до сих пор крупнейший и в своём роде единственный украинский поэт.

1891





---

## СЛОВО О КРИТИКЕ



елая более внимательно и систематически, чем это было до сих пор в «Житті і слові», заняться обзором нашей беллетристической продукции, мы должны прежде всего сказать несколько слов о том, как мы понимаем задачи и метод литературной критики. У нас часто ещё можно услышать голоса, что из-за недостатка критики наша литературная продукция идёт самотёком, что критика должна давать направление литературной продукции, руководить ею, будто бы воспитывать литераторов и беллетристов. Нам кажется, что такие желания так же несправедливы, преувеличены, так же основываются на ошибочном понимании задачи критики, как, например, мнение, что грамматика должна научить нас чистому и правильному языку. Когда-то и критики и грамматик, может быть, и думали, что они могут командовать, одни — в области поэзии, другие — в области языка, но это мнение давно отвергнуто. Гомер стал несравненным мастером греческого языка, ни крошечки не зная грамматики, и несравненным поэтом в те времена, когда не было никаких критиков, кроме той публики, для которой он пел и декламировал свои эпосы; наоборот, время, когда преобладает командующая критика и командующая грамматика, — это обычно время узкого педантизма, схоластики, упадка творчества и упадка хорошего стиля в языке. При этом история литератур всех народов доказывает нам одно общее

правило, что каждый великий талант опрокидывал установленные правила в критике, создавал вместе с великими произведениями и новые критические мерки для них, указывал новые точки опоры, новые горизонты для критики, — значит, критика никогда не была руководителем литературного творчества, а всегда ковыляла за ним, подытоживала готовые уже достижения, объясняла их, так сказать, разжёвывала публике, популяризовала для широкого круга. Вольно или невольно, она должна быть не догматической, а аналитической, не дедуктивной, а индуктивной. Перед литературным произведением критик не судья, не Зевс-громовержец, а проникновенный истолкователь. Он рассматривает произведение со всех возможных сторон, и по существу с той стороны, с какой ему хочется, и излагает публике то, что видит. Он один из публики, и голос его имеет принципиально не больше значения, чем голос любого другого читателя. Если какое-то произведение бездарное и жалкое, критик свободен, так же как и любой читатель, или совсем не читать его, или по прочтении нескольких страниц бросить его с возмущением, или высмеять, или изругать, — одним словом, он свободен публично сделать то, что каждый читатель может сделать с этим произведением у себя дома. Нет ничего более фальшивого, чем говорить: не критикуйте слишком остро, ибо этим вы отбиваете охоту у молодых работников. Это означает совершенно то же самое, как если бы сказали публике: не покупайте эту книгу, не читайте её слишком внимательно, ибо вам может стать скучно, вы можете рассердиться или возмутиться и потому не купите другой книги этого автора, а ему это будет очень неприятно. Ну да, но ведь книги для того и пишутся, чтобы их читали, а для того они и читаются, чтобы поразмыслить о прочитанном, и если это прочитанное глупо, скучно или гнусно, то человек был бы бревном, а не человеком, если бы не зевнул, не плюнул, не возмутился. Такое же точнёхонько право имеет и критик, только на этом его праве лежит бременем ещё и обязанность мотивировать, объяснить, почему он зевает, почему злится, почему возмущается. Значит, он должен сделать то, к чему обыкновенный читатель иногда бывает неспособен, а иногда только не имеет времени: то, что общество (или самая образованная, наиболее впечатлительная часть общества)

чувствует, он должен высказать словами, обосновать аргументами, подвести под какие-то высшие принципы, *язык чувства переложить на язык разума*.

Так мы понимаем значение и задачи литературной критики и в таком духе желали бы её проводить. Поучать авторов, даже молодых: вы должны писать так, идти туда, на это обращать внимание, а этого остерегаться — не наше дело. Пускай авторы сами работают над собой, сами развивают свой талант, сами ищут себе таких троп, которые наиболее соответствуют их таланту, — это, впрочем, и без того обычно так делается; о менторстве же критики можно сказать то же, что сказал Гёте о педагогии вообще:

Selbst Pallas kommt als Mentor nicht zu Ehren;  
Am Ende treiben sie in ihrer Weise fort,  
Als wenn sie nicht erzogen waren!\*

Мы пишем не для писателей, а для публики, а если какой-нибудь автор может из нашей критики кое-чему научиться, то этому же он, несомненно, научился бы, выслушав мнения других своих интеллигентных читателей.

Но у критика, как человека интеллигентного, живущего в определённом национальном и общественном окружении, имеющего определённые готовые взгляды, вкусы и симпатии, есть ещё одно право. Читая какое-нибудь литературное произведение, он не должен тонуть в нём, углубляться в него настолько, чтобы уже не видеть ничего за рамками того мира, который создала фантазия автора данного произведения. Он не должен становиться духовным невольником автора, не должен покорно следовать туда, куда его ведёт автор. Он может, если захочет, спорить с автором, противопоставлять его фиктивному миру свой собственный идеальный или действительный, реальный мир, может брать под сомнение и исходную точку, и почву, и способ поведения автора. Он не обязан к такой же объективности, как научный критик; он может противопоставить авторскому субъективизму свой субъективизм, — понятно, без искажения автора, без подсовывания ему того, чего автор не говорил, без злобной несправедливости.

---

\* Саму Палладу не почтили, как наставницу; в конце концов её изгоняют её же методом, как ничему не научившихся.

Современная литературная теория и практика безмерно расширили границы литературного творчества, приобрели для него обширные пространства, ещё недавно ему совсем недоступные, и вместе с тем обнаружили ничтожество всех старых, так называемых эстетических формул, литературных видов и категорий. Мы поняли, что то, что нам не так давно (да ещё и до сих пор) преподносилось в школах как правила и определения эпоса, драмы, баллады и т. д., — полнейший вздор и, соответственно, несуразное описание одного какого-либо произведения или выражение взглядов на творчество в какой-нибудь один исторический момент, которое уже совсем не подходит для определения других подобных произведений из других времён. Определение гомеровской эпоса совсем не подходит для характеристики ни «Энеиды», ни «Шах-наме», ни «Песни о нибелунгах», ни «Песни о Роланде», ни «Божественной комедии», ни «Беовульфа»; каждая данная эпопея требует особого определения; это значит, что каждое определение эпоса, обобщённое для всех эпосов, будет глупостью. То же самое нужно сказать и обо всех других наших книжных категориях. Каждое время, каждое общество имеет свои особые эстетические мерки для литературных произведений, а принуждая, например, молодёжь оценивать произведения древней литературы эстетической меркой «тех времён и того народа, где они возникли», т. е. такой меркой, которую ни ученики, ни учителя и вообще никто в мире обычно не понимает и не может вполне понять, — это значит заглушать у молодёжи собственное эстетическое чувство, убеждать её, что ей должно нравиться, собственно, то, что противно её естественному вкусу. На деле все мы измеряем древние и новые произведения одной нашей собственной эстетической меркой, и если не хотим быть фарисеями, то скажем, что скучные места у Гомера так же наводят на нас зевоту, как скучная болтовня в «Вильгельме Мейстере» Гёте, что пустопорожние речи Цицерона так же надоедают нам, как и пустопорожние места в наших современных обзорах заграничной политики. Чувствовали ли так и все эти древние греки и древние римляне, читая древние произведения, — до этого пусть докапываются археологи; если мы будем читать древние эпосы, драмы и поэмы, то будем искать в них то, что нас двигает в жизни, что от-

вечает нашим эстетическим чувствам, ибо чужими чувствами мы чувствовать не можем.

Ломка эстетических рамок и схоластических ларцев — что это значит? Это значит признание полного, неограниченного права индивидуальности, личности автора в той наиболее личной, индивидуальной человеческой функции, какой является литературное творчество. Пусть личность автора, его мировоззрение, его способ восприятия внешнего и внутреннего мира, его стиль выступают в его произведении наиболее полно, пусть произведение имеет в себе как можно больше его живой крови и его нервов. Только тогда это будет произведение живое и современное, настоящий документ самых сокровенных движений и чувствований современного человека, а вместе с тем и материал к познанию этого человека в его самых высоких и самых тонких противоречиях и желаниях, а вместе с тем материал к познанию времени и общества, среди которых он вырос. Полное освобождение личности автора от схоластических рамок, полный разрыв со всякими шаблонами, самое полное выражение авторской индивидуальности в его произведениях — это характерный, господствующий призыв нашего времени. Но этот триумф индивидуализма в современном литературном творчестве придаёт этому творчеству вместе с тем большое социальное значение. Даже в тех своих оттенках и проявлениях, которые самым систематическим образом избегают всяких социальных тем, самым упорным образом отрешиваются от связи с обществом, самыми радикальными путями идут или стараются идти вразрез с его избитыми представлениями, с его вкусами и верованиями, мы видим если уже не совсем бесцельное и бездарное искание оригинальности, «*quand même*» \*, — хотя бы это была лишь такая оригинальность, чтобы ходить не на ногах, а на голове, если уже не болезненные заскоки испорченного вкуса, не попытки лазить на стены («рисовать словами», «сделать музыку словами» и т. д.), то во всяком случае документы определённых общественных процессов, симптомы болезней (современный декадентизм — симптом болезненного разнервирования, безидейности и осознанной бесцельности жизни среди буржуазной молодёжи

---

\* Даже в крайнем случае (*франц.*).

разных стран) и духовных надломов, распространение которых много шире, источники которых много глубже, чем это хотят и частенько умеют сказать те писатели, которые дают им литературное выражение в своих произведениях.

Но, оставляя в стороне эти литературные аберрации, нужно сказать, что никогда ещё литература не была в такой живой и тесной связи с общественным развитием, с руководящими общественными противоречиями, с кипучей классовой борьбой, как в наш век, никогда она не была таким правдивым, сознательным и живым выразителем интересов, вкусов, взглядов и чувствований общества, не была таким сильным двигателем прогресса и развития, как в наш век. Если кто говорит, что поэзия, литературное творчество в наш реальный и практический век приходит в упадок, то говорит это или слепой, имеющий глаза и не видящий, или человек, не желающий видеть того, что совершается вокруг. И если кто говорит, что поэту не следует заниматься пропагандой каких-то идей или идеалов, что общественная борьба, национальные распри, те или другие реформы не его дело, то это говорит только его собственное бессилие. Всё вольно поэту; он человек, и ему вольно интересоваться, увлекаться всем, чем интересуются люди. Наоборот, чем шире, разностороннее будет круг его интересов, чем богаче сокровищница его наблюдений и чувствований, тем большим талантом мы будем его считать, тем теснее и разностороннее будет его связь с обществом, тем крепче и продолжительнее будет его влияние на общество. И никакие правила и ограничения для него не обязательны, кроме правил хорошего вкуса; всякое произведение будет хорошим, кроме скучного и бесхарактерного.





## ЛЕСЯ УКРАИНКА



ассматривая литературный облик Леси Украинки, мы видим, что она завершила только ещё первый этап своего развития, её талант только что стряхнул с себя пелёнки несамостоятельности, связывающей каждого поэта на первых его шагах. Талант её только что

впервые широко и смело взмахнул крыльями для своего полёта, только что проявил себя в полной силе и показал нам, чего мы можем ждать в будущем от этой писательницы. Пожалуй, в таком случае критику лучше всего было бы погодить, пока этот талант не пройдёт большой участок пути, ярче покажет себя, проведёт, так сказать, свою собственную борозду на нашей литературной пашне. Ясное дело, мы охотно погодили бы со своим очерком, если бы знали, что судьба позволит этому таланту пройти всё то поле, какое он наметил себе. Но, к сожалению, условия нашего литературного труда столь тяжелы, а личные обстоятельства писательницы сложились так печально<sup>1</sup>, что мы вряд ли дождёмся от Леси Украинки всего того, что она могла бы дать нашей литературе. Разумеется, мы горячо желаем, чтобы она дала как можно больше; каждое новое произведение, выходящее в последнее время из-под её пера, обогащает нашу литературу новой жемчужиной. Но, к несчастью, последние её творения — это такой громкий и страшный вопль измученной души, какого не слышно было у нас ещё со времён киргизских думок

Шевченка. Этот вопль тем страшнее, что он истекает не из какого-то пессимистического мировоззрения, не является доктриной, но есть лишь выражение безмерно тяжких условий, в каких живёт поэтесса и в каких находится украинское слово и всякая свободная, гуманная мысль в России. Такое состояние для историка — одна минута, переходная ступень, но для человека, наделённого горячим чувством и пылкой фантазией, оно очень опасно. В таком вдвойне безрадостном состоянии самые сильные, даже гениальные натуры порою ломаются и падают. Критика может тут совершить иногда доброе дело: поддержать писателя, согреть его, заверив, что его горькие рыдания не поняты неверно и что его слово пробудило в сердцах именно такой отклик, какого он и желал. Мы хотели бы, чтобы и наш краткий очерк о поэтической деятельности Леси Украинки был не только интерпретацией её таланта для более широких кругов читателей, но также словом искреннего признания и поощрения писательницы, поддержкою её на трудном пути.

## I

Для критика нет ничего интереснее, как проследить шаг за шагом развитие автора, прислушиваться, как в его слове исподволь крепнут, получают перевес, а затем и полное, гармоническое господство тона, присущие его таланту. Бывают авторы, которых так исследовать невозможно: они начали писать уже зрелыми людьми и сразу вполне обнаружили своё литературное лицо. Бывают другие, также талантливые люди, у которых развитие не идёт как бы по ступеням вверх, а какими-то зигзагами: раз, другой такому автору удаётся написать что-нибудь хорошее и красивое, а до и после этого тянутся долгие пространства, покрытые пустоцветом. Бывают, наконец, и такие таланты, которые в начале своей карьеры блеснут, словно метеор, а в дальнейшем вся их деятельность — медленное угасание, иной раз полное дымом и чада. Леся Украинка принадлежит к тем талантам, которые вырабатываются медленно, которые тяжёлым интенсивным трудом доходят до овладения формой и содержанием, языком и идеями. Десятилетие, прошедшее с опубликования её первых произведений, поз-



воляет нам проследить это развитие от первых, почти детских порывов до полного мастерства, от детски-примитивных форм до блестящих и вполне гармоничных, от детского импрессионизма до широкой идейности и могучего страстного огня. И если мы одновременно будем помнить о тяжёлых условиях, в каких происходило это развитие, и до крайности печальное состояние той общественной и духовной почвы, на которой вырастает наша писательница, то самый факт её постоянного развития, да ещё *такого* развития, будем считать доказательством необычайной силы её таланта и притом одним из любопытнейших явлений нашей новой литературы. Ведь сколько молодых писательских сил на Украине за этот десяток лет блеснуло и пропало, сколько их сломилось или сошло на такие пути, которые не приносят большой чести Украине!

Изданный в 1893 году сборник стихов Леси Украинки «На крыльях песен» включает в себя всё, что до того времени написала поэтесса. Она не откинула и первые пробы своего пера, которые были написаны ещё до 1887 года и выглядят, как примитивно уложенные в стихи детские впечатления:

На зелёном бугорочке  
Вишен белые цветочки,  
Хатка там стоит меж вишен,  
Словно бы ребёнок вышел  
И глядит с холма далече,—  
Не идёт ли мать навстречу.  
Словно мать пришла к ребёнку,  
Солнце белую хатёнку  
Ясным светом озарило,  
Как дитя, развеселило.

В таком же детски-наивном тоне написаны стихотворенья «Лето красное минуло», «Мама, зима настаёт», «Тішся, дитина, поки ще маленька». Здесь есть, конечно, некоторая, хотя не новая, но довольно поэтическая наблюдательность, однако выражение её, писательская техника, язык — ещё очень примитивны и шаблонны. Строгий критик, который только за вполне законченными и характерными произведениями признаёт право на существование, должен бы возражать против помещения этих бумажных цветов в букет; историк литературы благодарен за это

поэтессе, потому что они позволяют ему видеть то скромное начало, из которого она вышла.

Насквозь' условно, не в народном стиле, как сказано в заглавии, а по старому романтическому шаблону сложена и поэмка «Русалка», напечатанная впервые в женском альманахе «Первый венок». Казак любит девушку Ксению и хочет на ней жениться, но к осени забывает о ней и женится на другой. Невеста зовёт Ксению в дружки, но Ксения вместо свадьбы идёт на реку и топитя. Она стала русалкой, но и в воде не утопила своего горя. По ночам она приманивает к себе казака; тот начинает тосковать и сохнуть, и когда однажды хочет подойти к любимой русалке, выскакивают другие русалки и защекочивают его до смерти. Поэма оканчивается плачем русалки над телом её бывшего возлюбленного. Слабенький отзвук шевченковских баллад без их широкой мелодии, без крепкого фундамента житейских наблюдений и социальных контрастов, которые придают этим романтическим балладам значение и привлекательность вечно живых произведений. В «Русалке» Леся события не мотивированы, социальных контрастов нет, психологические конфликты едва намечены неумелой, ещё детской рукой. Однако в этой поэме есть одно место, где слышатся новые, нешаблонные, хотя очень ещё робкие интонации; это песня русалки, которую она завлекает казака:

Любий козаче, чого ти ходиш  
Смутний по темному гаю?  
Слухай, козаче, пісню русалки!  
Тож я для тебе співаю<sup>1</sup>.

Она напоминает ему о себе, о своей искренней любви:

Як не забув ти, ходи до мене,  
Я твоя першая мила!  
Зраду забуду, любити буду  
Тебе, як перше любила.

В мене палати кращі од царських  
Из дорогого кришталю,  
В мене віночок з чистого злата,  
З перлів дрібних і коралю<sup>2</sup>.

Хотя и здесь ещё нет особого мастерства, но всё же в этой песне виден первый взмах крыльев светлого лирического таланта.

Насквозь условна и несамостоятельна и вторая поэмка, помеченная 1888 годом — «Самсон». В середине восьмидесятых годов среди русских писателей появилась мода перепевать библейские мотивы. Отзвуком этой моды было также очень слабое стихотворение Олены Пчилки «Дебора», написанное в 1887 году и напечатанное в «Первом венке». По примеру матери и Леся изложила в стихах библейский рассказ о Самсоне. Сравнение этих двух произведений между собой и с библейскими первоисточниками было бы очень интересно. Обе поэтессы обращаются с библейским текстом очень свободно, вернее, совсем и не смотрят на него, а берут только некоторые мотивы, очищенные от тех мощных наростов, которые связывают их с древнееврейской жизнью и дают им бессмертную силу. Дебора Пчилки — просто какая-то тень, а не живой человек; Самсон Леся — шаблонный воитель и патриот, наделённый чудесной силой, а совсем не тот, полуюмористический, полутрагический герой, какой изображён в книге Судей. И в рассказе о Деборе и в рассказе о Самсоне библейские первоисточники бесконечно поэтичнее и живее того, что из них сделали наши поэтессы. Леся, например, старается углубить библейский рассказ, анализируя психологию Самсона и Далилы, но этот анализ лишает рассказ его героического характера. Самсон возвращается после битвы, в которой он победил филистимлян; его приветствуют «цветами и венками», как римского триумфатора; вместе с другими женщинами навстречу ему выходит и его жена Далила, которую он силою взял в стране филистимлян. Она славит Иегову за победу своего мужа, а на его вопрос, не жаль ли ей родного народа, она отвечает:

Чужа для мене мого люду доля,  
Твої для мене стали рідні люде,  
Твоя, Самсоне, лиш єдина воля  
Для мене завжди наймиліша буде,  
Для тебе відпуралась я родини<sup>1</sup>.

Самсон хочет отблагодарить её за такую безграничную любовь, и она допытывается, откуда у него такая сила, что он смог разорвать льва и побить множество врагов

ослиною челюстью. Самсон не хочет открыть ей эту тайну, она умоляет, потом плачет, и вот Самсон раскрывает ей всю правду: он назарей, его волосы обладают большой силой, и если кто-нибудь обрежет их, он станет слабым, как малое дитя. Далила во время его сна обрезает у него волосы и зовёт филистимлян. Те связывают его, а Далила говорит:

— Прощай, Самсоне! — крикнула зрадлива: —  
Ти думав, що для тебе я забуду  
Родину? Ні. Ти гинеш, — дяка се правдива  
Від мене за погибель мого люду<sup>1</sup>.

Значит, Далила не меньшая, но даже большая патриотка, чем Самсон. Первоисточник об этом ничего не знает. Там Самсон вовсе не предводитель евреев, он сражается с филистимлянами, как одиночка, нечто вроде «поляницы удалой» в древнерусских былинах. В честь его никто не устраивает триумфа. Далила не жена его, она случайная возлюбленная, вероятно, не филистимлянка, а еврейка. Зная, что Самсон бывает у неё, вожак филистимлян подкупают её большой суммой денег, чтобы она выпытала, в чём таится его сила. Самсон трижды обманывает её и только на четвёртый раз говорит ей правду. Как видим, ни герой, ни обстоятельства, выведенные в библейском рассказе, не подходили для патриотической поэмы в нашем современном стиле; вместо того чтобы углубить факты, данные первоисточником, поэтесса должна была перекраивать, изменять, ослаблять их и вместо живого содержания наполнять свои стихи довольно жиденькой фразеологией. Конец поэмки ещё слабее. Сцена смерти Самсона в книге Судей описана так: «Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас».

А те, что были на пиршестве, говорили: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас!» И призвали Самсона из дома узников, и он должен был плясать перед ними. Вот поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы я мог ощу-

пять те столбы, на которых утверждён дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин; там были все владельцы филистимские, а на плоской кровле собралось до трёх тысяч мужчин и женщин, смотревших, как пляшет Самсон. И воззвал Самсон к господу и сказал: «Господи, боже! Вспомни меня и дай мне силу хоть на этот раз, о боже, чтобы мне отомстить филистимлянам хоть за один свой глаз!» Тогда Самсон обхватил оба столба, на которых утверждён был дом, один правою рукою, а другой левою, и упёрся в них. И воскликнул Самсон: «Пусть погибну я сам с филистимлянами!» И всею силою своею покачнул те столбы, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нём. И, умирая, он умертвил больше народа, чем умертвил за свою жизнь».

Несомненно, чрезвычайно трудно перерабатывать старинное поэтическое произведение в новое; переработка очень часто получается водянистой и стирает характерные детали оригинала. Так получилось и здесь. Поэтесса без надобности перенесла пиршество на военное время, — будто бы филистимляне вновь напали на Палестину; в библии катастрофа происходит в Газе, одном из главных городов филистимлян. Затем поэтесса ослабила сцену надругательства над Самсоном; в поэме он только стоит с поникшей головой и своим видом забавляет врагов. Нашей поэтессе принадлежит насмешка Далилы, насмешка вялая, как и все обращения филистимлян к Самсону.

Хотя мы и очень не высоко ставим «Самсона», но всё же должны сказать, что при сравнении с «Деборой» Олены Пчилки уже здесь видно, что талант дочери выше таланта матери. Действие в «Самсоне» развивается довольно драматически, а лирические места (Самсон в тюрьме) обнаруживают известную силу и пластичность изображения.

В том же 1888 году появился цикл лирических и описательных стихов под общим заглавием «Путешествие к морю». Талант поэтессы заметно крепнет, растёт, она обретает свою естественную интонацию, меньше зависит от чужих образцов, и мы встречаем в этом цикле первые проблески сильного, самостоятельного таланта, первые картины и поэтические обороты, которые выявляют руку мастера. Вначале идут тонко очерченные пейзажи, ещё несколько

шаблонные и бледные (I, III, IV), но среди них прорываются новые, необычные черты.

Далі, все далі! Он латані ниви;  
Наче плахти, навкруги розляглись,  
Потім укрили все хмари ті сиві  
Густого диму, з очей скрився ліс,  
Гори веселі й зелені долини  
Згинули раптом як любії сні.  
Ще за годину і ще за хвилину  
Будуть далеко, далеко вони! <sup>1</sup>

Совсем как волны бывшего счастья! — рождается отзвук в душе поэтессы при виде этого пейзажа. Раздумье, ещё робкое, но, чем дальше, оно будет возникать всё чаще, сильнее, пока своим огнём не расплавит все впечатления, все ощущения поэтессы, пока физический глаз и физическое ухо не станут вполне органом её поэтической души.

Вот она в большом городе над морем — в Одессе.

І все чужина! Ох біда самотньому  
У місті широкім  
Себе почувать одиноким!  
І добре, хто має к багаттю чийому  
Склонитися слухом і оком! <sup>2</sup>

Поэтесса находит здесь подругу; они вместе по вечерам любят морем, мечтают о счастье. Но где оно? На небе или в море?

Ні, думко! даремне в світовім просторі  
Притулку шукати,  
В безодню дарма поринати;  
Любов і надія не в зорях, не в морі!  
Між людьми поради питати! <sup>3</sup>

Так впервые в стихах Леси Украинки звучит социальная нота. До сих пор она любовалась природой, витала в сферах каких-то абстрактных человеческих отношений и абстрактного патриотизма; теперь она начнёт внимательнее присматриваться к действительной жизни и к тем реальным общественным отношениям, из которых вырастают и повседневное горе и высокие идеальные устремления к свободе и равенству. Правда, условия, в каких жила поэтесса, не благоприятствовали такому повороту её музыки. Обес-

печенное материальное и общественное положение не вынуждало её пускаться в бурное море социальных контрастов, с другой стороны, слабое здоровье требовало лечения в тёплом климате, среди прекрасной природы Крыма. И вот она плывёт из Одессы в Крым.

Далі, далі від душного міста!  
Серце прагне бують на просторі.  
Бачу здалека — хвиля іскриста  
Грає вільно по синьому морі <sup>1</sup>.

Вся эта вещица (VI) — подлинная жемчужина. Художественная форма превосходно гармонирует с содержанием, с описанием морского плавания и светлым, радостным настроением. Поэтесса всеми силами гонит от себя все неприятные воспоминания.

Я жадаю на час, на годину,  
Щоб не бачить нічого на світі,  
Тільки бачить осяйну долину  
І губитись в прозорій блакиті <sup>2</sup>.

Здесь нет ни одного лишнего слова, ни одного шаблонного или манерного оборота, — всё здесь просто, ясно и сильно, впервые талант поэтессы сверкает в полной красоте. Следующая вещица (VII) в общем слабее; она слишком многословна; описание аккерманских башен недостаточно пластично, размышления о казацкой славе слишком уж пережёваны, но есть и здесь отдельные строки, брошенные рукою большого мастера. Особенно хороша вот эта строфа:

Виросла там квітка у темниці, в ямі, —  
Ми її зірвали, нехай буде з нами.  
Квітка тая, може, виросла з якого  
Козацького серця щирого, палкого?..  
Чи гадав той козаченько, йдучи на чужину,  
Що вернеться з його серця квітка на Україну? <sup>3</sup>

Как мы видим, наша поэтесса росла очень быстро. Мы не знаем, к какому времени относятся её первые стихотворные опыты, но в 1888 году она уже в некоторых вещах поднимается до подлинного мастерства. Нет сомнения, что это было результатом весьма интенсивного духовного труда над собственным образованием, над овладением языком и стихотворной техникой, — но, ясное дело, и сама жизнь,

и внешнее влияние сильно подгоняли её вперёд. Не знаю наверно, но, кажется, не ошибусь, если среди этих влияний поставлю на первое место влияние её дяди, незабвенного сеятеля живых и широких идей в нашем обществе, Михаила Драгоманова<sup>1</sup>. Леся вела с ним оживлённую переписку, и покойный тогда уже с большой надеждой смотрел на её талант и, конечно, не упускал ни одного случая, чтобы осветить и направить его на лучший путь, всё к более высоким целям.

## II

Жизнь Леси Украинки сложилась так, что о непрерывном, так сказать, прямолинейном развитии её не приходится говорить. После минут мощного размаха, гармонического настроения, самостоятельного взлёта наступает ослабление, упадок, опять побеждают шаблон и манерность. Для этого были, как мне кажется, две причины: поэтесса духовно ещё не была вполне подготовлена и закалена, а в состоянии здоровья её происходили тяжкие кризисы. Так я объясняю себе тот факт, что после 1888 года она создаёт немало произведений довольно слабых и манерных. На первое место я поставил бы среди них «Лунную легенду», самую длинную и самую слабую из вещей, помещённых в сборнике «На крыльях песен». Поэтесса посвятила её своей матери, может быть, невольно свидетельствуя о том, под чьим влиянием возникла эта поэма. Это история художника, не то певца, не то поэта. Ещё ребёнком он слышал во сне пение ангелов и вырос певцом. Но вскоре слава отвернулась от него; неизвестно, то ли он потерял голос, то ли что-то случилось с ним, но он живёт в одиночестве в родном доме и сетует на судьбу и на людей. Но вот однажды, проходя по селу, он услышал песню лирника о панщине, о сиротке и о правде и увидел, как люди плакали от этих песен. Он идёт в лес; ему хочется ещё раз запеть «на всю страну» и «выразить горькую тоску». Сияние проникает в его сердце, и голос его возвращается, он снова чудесно поёт и возвращается в мир. Поэма заканчивается описанием концерта, на котором наш певец поёт не столько хорошую, сколько длинную песню собственного сочинения. Какое впечатление произвела она на слушателей — поэтесса не



говорит. Как видим, композиция совсем не оригинальна, отдельные главы разорваны, мотивировка их слаба или её вовсе нет, разработка многословна, стихотворная форма вялая и монотонная. Леся Украинка, видимо, и сама не была удовлетворена своей поэмкой, если позднее вернулась к этой теме и в поэме «Старая сказка» изобразила нам художника-певца, но уже совсем иными красками и на совсем ином, широком, социальном фоне.

Большинство стихотворений в сборнике «На крыльях песен» не имеет дат, потому-то мы и не можем с полной уверенностью сказать, когда творчество поэтессы поднималось выше, а когда она опускала крылья. Но достаточно сказать, что между 1888 и 1893 годами у неё были колебания, возникали вещи такие слабые, как «Лунная легенда», «Звёздное небо», «Звезда», «Моему фортепьяно», «В цветочном магазине», «Сон в летнюю ночь», «На старый мотив», а наряду с ними такие сжатые, сильные и характерные, как «Песни brioso», «Rondeau», «Contra spem spego», «Слёзы-перлы». Мы коротко охарактеризуем первую группу названных здесь стихов. Об их содержании можно с небольшим изменением сказать то, что говорит Калхас в «Прекрасной Елене»: «Trop de fleurs! Trop de fleurs!»\*. Цветы и звёзды, звёзды и цветы — вот и всё содержание этих стихотворений. А если прибавить к этому однообразие формы, многословие и отсутствие рельефных картин и отсутствие ярко выраженного, сильного чувства, — то не приходится удивляться, что стихи эти не пробуждают в нас никакого настроения и читаются без удовольствия, как ремесленная работа, порою хорошая и старательная, но всё-таки без души. Рядом с ними находим несколько талантливо задуманных, но слабо выполненных вещей, как «Узник», «Когда я утомлюсь привычной жизнью», «Предрассветные огни». В этой последней вещи некоторые строфы очень хороши, например:

Вставайте, живые, в ком дума возсталась!  
Пора для работы настала!  
Гони предрассветную соню,  
Зажги предрассветный огонь,  
Покуда заря не взыграла.

\* Слишком много цветов (франц.).

В поэме «Узник» чересчур густо положены чёрные краски: муж сидит в тюрьме, жена с ребёнком страдают от голода, ростовщик за долг продал последнюю корову, — но контраст заключённого в тюрьме отца и ребёнка, который во дворе зовёт его: «Ку-ку! Ку-ку! Где ты? А, вот где — вижу!» — действительно трогает за сердце, так же, как и та чёрточка, что

Отец расцеловал дитя родное  
И поделился коркою сухою.

Растянута и местами слащаво-сентиментальна вещьца «Певец», но в ней есть прекрасные строфы:

Огненных слов отчего я не знаю,  
Горячих, живых?  
Зиму прогнать из любимого края  
Сумела б я вмиг.

Вообще надо сказать, что среди этих колебаний в творчестве нашей поэтессы всё чаще прорываются смелые ноты, стремление к жизни и борьбе, а вместе с тем расширяется её мировоззрение, становится глубже понимание жизни и её антагонизмов. Чудесным запевом, под мелодию народной песни, звучит песня нашей поэтессы:

Ревёт-гудит погодушка —  
Мне в ненастье горя мало.  
Пускай пришла б невзгодушка,  
Я б кручиниться не стала.  
Ой вы, грозные вы тучи,  
Чары у меня могучи,  
Стрел волшебных я добуду  
И метать их в песнях буду.  
Дожди-то ваши мелкие  
В мелкий жемчуг обернутся,  
А молнии-то стрелкою  
Серебряной изогнутся.  
Я ж пушу свою невзгоду  
Да на быстрюю на воду  
И развею все печали  
Вольной песней в тёмной дали.

Это же мужественное, бодрое настроение видно и в прекрасном стихотворении «Contra spem spero»:

Нет, и в горе я петь не забуду,  
 Улыбнусь и в ненастную ночь.  
 Без надежды надеяться буду,  
 Буду жить! Прочь, печальные, прочь!

Увы, не так сложилась жизнь нашей поэтессы, чтобы она могла совсем отогнать печальные мысли. Наоборот, чем глубже проникают эти мысли в жизнь, тем печальнее становятся они, но душа поэтессы от них уже не отвращается и не размягчается, не поддается пессимизму. Она исподволь достигает того, что может вложить в песню самые тяжёлые, горестные рыдания и этою песней не будить в сердцах отчаяния и неверия, — ибо у неё самой в душе горит могучее пламя любви к людям, к родному краю и широким человеческим идеалам, светится сильная вера в лучшее будущее. Соловьиные песни, весенние цветы теперь утрачивают для неё свою привлекательность.

Вільні співи гучні, голосні  
 В ріднім краю я чути бажаю, —  
 Чую скрізь голосіння сумні.  
 Ох, невже в тобі, рідний мій краю,  
 Тільки й чуються вільні пісні  
 У сні?<sup>1</sup>

(«Rondeau»)

Поэтесса не стыдится плакать, особенно с теми, кто плачет, но если услышит свободную песнь, то откликается и на неё:

Тогда тоской, от всех её тая,  
 Не отравлю свободной песни я.

(«Мой путь»)

И в прекрасном цикле «Слёзы-перлы» она горестно рыдает, но уже не о своей доле и не о доле какого-то героя или причудливого художника, а о всей родной стране, о народе, закованном в цепи. Таких рыданий много было в нашей поэзии, особенно после Шевченка. Леся Украинка первая и единственная сумела выразить здесь широкий диапазон чувств от тихой грусти до бешеного отчаяния и мужественного, гордого проклятья, являющегося естественной реакцией на холодное неверие.

Когда же это минет? Иль счастья не стало?  
Проклятье рукам, онемевшим в бессильи!  
Зачем и рождаться, и жить, как в могиле?  
Уж лучше б смертельною мглою застало  
Печальные очи, чем жить нам в позоре!

Поэтесса спрашивает себя, к чему эти слёзы, сжигающие душу, но бессильные помочь родному краю, и отвечает чудесным стихом:

Все наши слёзы мукой огневою  
Падут на сердце, сердце запылает...  
Пускай пылает, не даёт покою,  
Пока душа себя преодолагает.

А если сил не хватит, если мука  
Ударит в сердце бешеным ударом,—  
Тогда душа воспрянет от недуга  
И ото сна пробудится не даром.

Она размечет все свои преграды,  
Она заснует, как прежде, не сумеет,  
Она бороться будет без пощады,  
Она погибнет или одолест.

Со времён шевченковского: «Схороните и вставайте, оковы порвите!..» Украина не слыхала такого сильного, горячего и поэтического слова, как из уст этой слабой, больной девушки. Правда, украинские эпигоны Шевченка не раз «рвали оковы», возвещали «свободу», но всё это были обычные фразы, было пережёвывание не столько мыслей, сколько поэтических оборотов и образов великого кобзаря. Лесья Украинка не претендует на шевченковский пафос, не пережёвывает его терминологии; у неё есть свой пафос, своё собственное слово. Если в «Русалке» она находится под влиянием шевченковского романтизма, то здесь она давно освободилась от него, она не нуждается в заимствовании чужого стихотворного аппарата, потому что у неё самой есть что сказать читателю, у неё самой наболело на душе немало, у неё самой поэтическое слово созрело и сыплется, как золотая пшеница.

В 1890 и 1891 годах сложился цикл «Крымских воспоминаний», в которых мастерство Леси Украинки обнаруживается в полном блеске. Очень характерен для мировоззрения нашей поэтессы «Запев», написанный, повидимому,

позднее, чем большая часть стихов этого цикла. Она радостно вспоминает прекрасные крымские края:

Где дней когда-то провела немало,  
А счастья ни минуты не знавала.  
За это укоризненного слова  
Не брошу я тебе, мой край прекрасный!  
Не виноват ты в том, что нет мне доли,  
Не виноват и в том, что я несчастна!

Это признак, что талант нашей писательницы достигает полной зрелости, при всей своей лирической экспансивности восходит к тому объективизму, который уместно отличить собственное горе от окружающих событий и идей, не впадает в чёрный пессимизм под влиянием собственного страдания. Отсутствие этого объективизма у некоторых гениальных поэтов причинило много зла в сфере мысли и настроения целых поколений; вспомню только итальянца Леопарди <sup>1</sup>, у которого неизлечимая физическая болезнь породила пессимистическое мировоззрение, окрасившее все его произведения; вспомню целый ряд французских поэтов-сатанистов, неокатоликов и декадентов-неврастеников, у которых поэзия была выражением их собственных нервных и психических болезней и к тому же обобщением этих болезненных явлений. Наша поэтесса свободна от такого обобщения. У неё больное тело, но душа её здорова и мысль светла. Собственные страдания не заслоняют перед нею ни красоты природы, ни тех роскошных мечтаний, какие навевает эта красота («Морская тишина», «На челне», «Байдары», «Бахчисарай»), ни красоты, покоя и счастья других людей («Татарочка»); они не заглушают у неё желания свободы и добра всем людям, наоборот, укрепляют это её желание, хотя одновременно и окутывают его лёгким туманом грусти и безропотной покорности.

Средь тумана и злой непогоды  
Всю-то ночь будет чёлн мой кружиться;  
А поднимется солнце свободы —  
Вечным сном суждено мне забыться.

Станет рвать непогода ветрила,  
Закружит мой челнок одиноко...  
О когда бы мне доля судила  
Хоть увидеть зарю издалёка! <sup>2</sup>

После 1893 года Леся Украинка не опубликовала ни одного большого сборника своих произведений, но из того, что она публиковала с тех пор в наших периодических изданиях, мы видим, что талант её всё крепнет, ставит себе всё более трудные и широкие задачи. Из этих её позднейших произведений мы рассмотрим здесь лишь поэму «Роберт Брюс», напечатанную в «Хлеборобе» в 1894 году, поэму «Старая сказка» («Життя і слово», V, 1896) и стихи, напечатанные в «Житті і слові» в 1897 году и в «Літературно-науковому віснику» в 1898 году.

«Шотландская легенда» о Роберте Брюсе написана в 1893 году. Композиция этого произведения не блестяща, эпический тон поэтессе не удаётся ещё, описания битв довольно бледны и условны, государственные дела в её стихах рисуются довольно наивно и сухо, без поэтической пластики. Вообще «Роберт Брюс» это как бы pendant \* «Самсону», хотя и виден значительный прогресс в эпическом стиле. Нет здесь уже такого многословия и растянутости, как в «Самсоне», поэтесса говорит просто, ясно, порою поднимается до подлинного воодушевления, как, например, в речи Брюса, обращённой к шотландским крестьянам:

Ни рыцарей нету у нас, ни дворян —  
Служить англичанам готовы;  
Но есть ещё в сёлах шотландский народ,  
Носить не привыкший оковы.

Так встанем немедленно все, как один,  
За общее братское дело!  
Оружье скуём из плугов! Что пахать?  
Чтоб нива в неволе хирела?

В поэме «Старая сказка» поэтесса снова поднимает тему, затронутую в «Лунной легенде», но поднимает значительно удачнее, ставит её широко и разрабатывает мастерски. Эта тема — отношение поэта к обществу, точнее — значение поэзии в личной и общественной жизни. Поэтесса показывает нам это на судьбах двух человек — безымянного поэта и гордого рыцаря Бертольда. Занятый своими повседневными забавами, гордый рыцарь не обра-

\* Подстать (франц.).

щает внимания на поэта, смеётся над ним, считает его нищим, а в лучшем случае — чудаком или даже сумасшедшим. Но полюбив, этот рыцарь начинает чувствовать потребность в поэзии, чтобы пробудить любовь в сердце любимой девушки, и здесь поэт становится ему нужным. Но вот рыцарь отправляется на войну, войско, утомлённое тяжёлыми переходами и лишениями, подымает бунт, рыцарь мог бы погибнуть, но снова песни поэта выручают его, поднимают боевой дух у воинов и ведут к победе. Таким образом, рыцарь становится великим властителем и через некоторое время начинает притеснять и обижать своих подданных. Тогда песни поэта поднимаются против него, говорят народу о свободе и равенстве, призывают его к бунту. Рыцарь вначале хочет подкупить поэта, затем грозит ему — всё напрасно. Тогда он бросает его в тюрьму, где поэт и умирает. Но слово не умерло. Народ восстаёт и убивает угнетателя-властелина. Однако его владения и его спесь переходят к наследникам, так же как после смерти одного поэта являются новые, проникнутые теми же мыслями:

А борьба не прекратилась  
До сих пор в родимом крае,  
И сейчас она ведётся,  
Страшная и затяжная.  
Живы графские потомки,  
Всюду тюрьмы воздвигают,  
А наследники поэта  
В песне слово закаляют.  
Слово песни призывает  
Добывать на счастье право.  
Беспощадна эта схватка,  
Хоть она и не кровава!  
И когда трубой победы  
Боевая песня грянет —  
Сказка старая замолкнет,  
Правда новая настанет.

На этом заканчивается поэма Леси, несомненно, — одно из лучших и наиболее характерных украшений нашей новой литературы. В наше время, время всеобщей нервозности и экстравагантности, время, когда всюду слышится пронзительный клич «искусство для искусства», даже как-то странно из уст поэта услышать такие трезвые и здорové взгляды на задачи и значение поэзии, какие высказы-

вает здесь наша поэтесса. По её мнению, поэзия для массы трудового народа — утешение в горе, отдых после работы; для каждого человека — естественное выражение пробуждённого чувства и высших стремлений; для всего общества — воля к борьбе и упрёк всякому ничтожеству; для угнетённых она — горячий призыв к битве за свободу и человеческие права, а для обидчиков — грозный мститель. Везде и всюду поэзия — слуга жизненных потребностей, слуга того высшего идейного порядка, который ведёт людей по пути прогресса, к улучшению их судьбы. И если иногда она служит развлечением и игрушкой высших слоёв, то наивысшей силы и достоинства она достигает только тогда, когда становится выразительницей жизни и борьбы широчайших народных масс и вместе с тем боевым кличем за высшие человеческие и общественные идеалы — свободу, равенство и братство всех людей.

Если оставить в стороне некоторую растянутость, некоторые вялые и штопанные строфы (например, первая из приведённых выше) и некоторую недоработанность стиха, то поэму в целом надо признать отличной. Композиция её проста и ясна, без лишних эпизодов, конфликты между обоими героями обозначены выразительно, глубокими чертами, хотя и не подчёркнуты крикливыми красками, характеры обрисованы живо и верно, и хотя поэма в целом имеет символическое значение, зато её герои нигде и ни в чём не похожи на мёртвые абстракции и символы, а живут полной, индивидуальной жизнью. Это большой триумф таланта Леси Украинки; её произведение высоко идейно и вместе с тем не тенденциозно <sup>1</sup>.

Ещё одно важное свойство своего таланта обнаружила наша поэтесса в этой поэме — юмор. Справедливо сказано, что юмор — неотделимая особенность каждого подлинного таланта. У Леси Украинки мы пока почти не замечали юмора; только порою в её стихах блеснёт что-то слегка, словно едва заметная улыбка на заплаканном лице. «Старая сказка» вся, с начала и до конца, выдержана в лёгком тоне юмора. Это — юмор всегда добродушный, сердечный, вытекающий не из затаённой злости, не из зависти, а из глубокой любви, из светлого, спокойного взгляда на жизнь и на жизненную борьбу. Даже там, где сам ход повествования приобретает кровавый оттенок, напри-



мер в бунтарской песне поэта, автор умеет своим юмором позолотить эту кровавую струю, придать ей подобие наивной шутки. Я не сомневаюсь, что этот полный юмора тон и есть главная основа высокого достоинства поэмы, что только с его помощью поэтесса избежала фальшивого пафоса, который так портит «Лунную легенду», и сумела придать своему рассказу живость и привлекательность. И если принять во внимание тяжёлое настроение, которое уже тогда угнетало душу Леси Украинки и которое выливалось почти одновременно в других её стихах, то мы должны быть благодарными какой-то счастливой таинственной минуте, которая смогла вызвать из-под её пера эту поэму, такую здоровую, ясную и полную жизненной радости.

В стихах, помещённых в «Житті і слові» за 1897 год, особой художественной и необычайной силой отмечены те, где поэтесса рисует печальное и безотрадное политическое положение своего родного края и ту безнадежную борьбу, которую ведёт горсточка смелых, пылких душ с мрачным колоссом. Особенно яркими красками эта борьба изображена в стихотворениях «Fiat pox» и «Грешница». Поэтесса хотела бы и сама включиться в эту борьбу, но она чувствует своё бессилие и хочет, чтобы хотя бы слово её было твёрдой сталью и ранило врага. Слово поэтессы действительно становится звонким, острым, как сталь, но звучит оно страшным отчаянием:

О, горе тем, что родились в темнице,  
Что мир увидели в тюремное окно.  
Тюрьма — кольцо проклятой чаровницы,  
Не разомкнётся никогда оно.

И поэтесса заканчивает словами, полными безграничного горя:

О, горе нам! Прочь совесть, честь, стремленья,  
Лишь пала бы она — тюремная стена!  
Пушай она падёт, и тяжкие каменья  
Покроют нас и наши имена!

Перед нами возникает фигура Самсона, нарисованная когда-то нетвёрдою ещё рукою нашей поэтессы. Насколько же несравнимо более мощно и правдиво её слово здесь, где она сама вместе со своим поколением чувствует себя

в роли Самсона, но без всяких романтических прикрас, без цветов и венков, с одной перспективой страшной смерти, бесславной и позорной, смерти, которая уничтожает не только тело, но даже совесть и добрую славу среди людей. А современные русские отношения не раз вызывали такую горестную мысль у поэтов; вспомним хотя бы стихотворение Некрасова на смерть Писарева, где он от подлинного героя нового времени потребовал пожертвования даже личной честью:

Тот герой, кто и честь свою губит,  
Когда жертва спасает людей<sup>1</sup>.

К сожалению, эта мысль очень опасна и двуостра; жертва личной честью и совестью обычно никогда не спасает никого, и против этого некрасовского призыва и его практического применения на пользу освободительному движению семидесятых годов поднялся трезвый и непобедимо светлый голос Драгоманова с призывом: «Чистое дело требует чистых рук». Вот потому-то мы, воздавая всемерную похвалу стихам Леси Украинки «Минута отчаяния» за их силу, красоту и поэтичность, должны предостеречь против их практической философии. Сама поэтесса, повидимому, также хорошо понимает их практическую невозможность, если дала им такое заглавие, которое заранее характеризует их как минутный взрыв тяжкой боли и неверия.

Из стихотворений Леси, помещённых в «Віснику», лучшее и наиболее характерное — «Мечта», чудесный рассказ, наполовину воспоминания и наполовину призыв к тяжкому бою, с резким, мужественным проклятием в заключение:

Будь проклята кров ледача,  
Не за чесний стяг пролита!<sup>2</sup>

Ещё раз повторяю: читая мягкие и расслабленные или холодно резонёрские сочинения современных молодых украинцев-мужчин и сравнивая их с этими бодрыми, сильными и смелыми и вместе с тем такими простыми, такими искренними словами Леси Украинки, невольно думаешь, что эта больная, слабая девушка — едва ли не единственный мужчина во всей современной Украине.

И всё же она девушка, у неё мягкое женское сердце, и мы узнаём впервые его робкие порывы в двух стихотворениях, помещённых в «Віснику». Оба эти стихотворения имеют восточную окраску: «Восточная мелодия» и «Еврейская мелодия», и в обоих видно за туманом тоски и безропотной покорности бесконечно нежное, искреннее чувство, и притом такое богатство колорита, какого не устыдился бы и настоящий восточный поэт.

Мы перебрали все важнейшие поэтические произведения Леси Украинки. Мы не скрывали недостатков её первых опытов, судили их строго, полагая, что автор такого масштаба, как она, не нуждается в скидках. Позднейшие произведения её нашли у нас полное признание и восхищение. На Украине, на наш взгляд, нет сейчас поэта, который мог бы силою и разносторонностью своего таланта равняться с Лесей Украинкой.

Мы умышленно оставили в стороне её прозаические опыты: «Такова её доля», «Беда научит», «Горе» и её переводы из Гейне и Виктора Гюго. Не в новеллах её сила, а переводы, хотя некоторые из них и очень удачны, не прибавят свежих листков в её лавровый венок. Её талант — лирический, но не узко субъективный; ей удаются и эпические, и драматические формы, но лишь тогда, когда они являются только формами её могучей лирики. Чистая эпика и чистая драма не входят, как нам кажется, в сферу её таланта.

### III

Я хотел бы закончить свой критический очерк несколькими общими замечаниями. Я не сомневаюсь, что у нас найдутся люди, которые, прочитав мои заметки и прочитав те стихи, которые я считаю наилучшими в поэтической сокровищнице Леси Украинки, скажут: «Э, знаем! Ему нравится всё тенденциозное и публицистическое, но это ещё вовсе не говорит о поэтической ценности этих произведений». Разумеется, сфера мыслей и эстетических вкусов — республика без жандармов и без диктатора. Я также не жандарм и не диктатор и никому не хочу навязывать мысли и вкусы, но вместе с тем считаю, что моё право и обязанность высказывать свои собственные мысли и вкусы и

отстаивать их с такой горячностью и с таким пониманием, каким только располагаю.

Я уже сказал и повторяю ещё раз: самые лучшие творения Леси Украинки идейны, но совсем не тенденциозны. В чём здесь разница? В том же, как и между индукцией и дедукцией в логике, между синтезом и анализом в химии. Поэтическое произведение я называю идейным тогда, если в его основе лежит некий живой образ, факт, впечатление, чувство автора. Углубляясь фантазией в этот образ, автор обрисовывает его, освещает его с разных сторон и старается всеми способами, какие даёт ему поэтическая техника, вызвать его по возможности в той же форме, с той же силой, с тем же колоритом в душе читателя. Углубляясь фантазией в этот образ, автор стремится сконцентрировать его, отыскать, почувствовать его суть, его значение, его связь с полнотой жизни, то есть исключить из него всё случайное и отобрать всё типическое, идейное. Разумеется, и его поэтическая картина будет иметь целью передать читателю именно это более глубокое, идейное основание данного живого образа. Поэтическая техника, опирающаяся на законы психологического восприятия и ассоциации, говорит нам, что это лучше всего достигается самыми простыми способами, комбинациями конкретных образов, но так составленными, чтобы они как бы невольно затрагивали самые сокровенные струны нашей души, чтобы открывали нам широкие горизонты чувства и житейских отношений. Без этой, так сказать, подспудной гармонии поэт может рисовать очень красивые и пластические картины, но они в нашей душе не оставят глубокого следа, прошумят, как случайно услышанные, хотя порою и удачно сложенные анекдоты. О таких произведениях мы скажем: они оставляют нас холодными.

Только тот поэт достоин называться истинным поэтом, который, рисуя нам конкретные и яркие образы, одновременно умеет коснуться тех тайных струн нашей души, которые звучат только в минуты нашего собственного непосредственного счастья или горя. Он обладает ключом к сокровищнице наших глубочайших ощущений, он пробуждает в нашей душе такие силы и такие порывы, которые без него, может быть, дремали бы вечно на дне или поднялись бы только в какие-то необычайные минуты. Он обогащает

нашу душу впечатлениями могучими и вместе с тем чистыми от примеси будничности, случайности и эгоизма, делает нас гражданами высшего, идейного мира. Это и есть идейность его произведений. Она не является какой-то искусственной примесью, её нельзя «вложить в произведение», она является тем, что немцы называют *impatient* \*, является следствием того, а не иного способа мышления, видения и чувствования автора, проявлением и выражением его души, отражением его индивидуальности. Само собой разумеется, что если индивидуальность поэта не выработана, не высока, бесхарактерна и не гармонична, то и его поэзия, даже при большом таланте, не поднимется высоко, не всколыхнёт нашей души.

Тенденциозная поэзия исходит из иной основы и приходит к иной цели. Тенденциозный поэт исходит из некоего социального, политического или вообще теоретического тезиса, который ему хочется выразить, распространить между людьми. Вместо доводов разума он подбирает для него какие-то поэтические образы, как бы иллюстрации к печатному тексту. Иллюстрации могут быть очень хороши, но они существуют в книге не сами по себе, а лишь для пояснения текста. Тенденциозный поэт может быть замечательным виртуозом поэтической техники, и всё же его произведение светит, но не греет, значит, не достигает того, чего должна достичь подлинная поэзия. Оно не достигает и той цели, которую наметил автор, потому что для пропаганды его тезиса надобны были доказательства, объяснения, а поэтическая форма не может заменить их. Чем больше таланта потрачено на такое произведение, тем хуже, потому что сердце читателя осталось холодным, а его разум вместо подлинного прояснения в лучшем случае взбаламучен.

Может быть, это покажется кое-кому парадоксом, если я скажу, что многие из поэтов нового времени, старающиеся быть безидейными, чтобы, дескать, служить искусству ради самого искусства, красоте ради красоты, невольно впадают в тенденциозность. Не обладая или не желая обладать никакими живыми человеческими интересами, желая якобы стоять вне будничной борьбы общественных

---

\* Присущей, находящейся в самом произведении (нем.).

слоёв, стремлений и идеалов, на вершинах чистой красоты, они скрывают тем самым от взоров публики или своё непонимание жизни, или свой циничный индифферентизм. И что же дают ей взамен? В лучшем случае — бесцельную игру слов и форм, красочные контрасты, яркие декорации, за которыми нет ничего живого и реального. А это та же тенденциозность, которой хотели избежать ради поэтичности. Поэтическая красота — это не только красота поэтической формы, не нагромождение каких-то якобы эстетических и красивых образов, не комбинация громких слов. Все эти компоненты только тогда создают подлинную красоту, когда являются частями высшего целого — духовной красоты, идейной гармонии. А здесь, как и на любом поприще человеческого творчества, главным, решающим моментом является именно душа, индивидуальность, чувство поэта. Недаром Гёте призывает всех этих поэтов или, лучше сказать, виртуозов поэтической формы: «Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen» \*.

1898

---

\* Если вы этого не чувствуете, то и не уловите (нем.).



---



## МАКСИМ ГОРЬКИЙ



зоры всего просвещённого мира, всех свободолюбивых людей обращены сейчас к русской столице. Именно к одному месту в ней, страшному, построенному на костях... издавна покрытому проклятиями, омытому слезами и полному стонов и вздохов несчастных жертв царского и чиновничьего произвола.

В самом центре Петербурга, недалеко от царского Зимнего дворца, на маленьком острове стоит страшная каменная крепость с двумя высокими башнями, острыми, как штыки карабинов. В передней части этой крепости расположен земной ад, страшная тюрьма, сверху донизу заполненная политическими узниками.

Все, кто чем-нибудь провинился перед правительством, кто посмел свободно мыслить, трудиться явно или тайно над освобождением народов России из-под тяжкого ярма, все эти смельчаки с давних пор попадали в стены и казематы этой крепости.

Много их вошло в неё, чтобы не выйти больше никогда. Многие вошли туда молодыми, здоровыми юношами, а вышли седыми стариками, сломленными страшными муками или тяжкой долголетней неволей.

Здесь в 1847 году страдали и апостолы лучшей доли Украины: Шевченко, Костомаров, Кулиш <sup>1</sup> и другие участники Кирилло-Мефодиевского братства.

Не избежали этой Петропавловской крепости и лучшие сыны великорусского народа, такие как Бакунин, Чернышевский, Достоевский <sup>2</sup>, Михайлов и многие другие борцы, прокладывавшие дорогу нынешнему движению масс.

И теперь глаза всего цивилизованного мира обращены на это проклятое место, потому что в его стенах сидит и страдает ещё один из светочей русского народа, краса русской литературы — Максим Горький.

Кто такой Максим Горький?

Собственное имя его Алексей Пешков. Ещё несколько лет назад он был простым рабочим, а ещё раньше — оборванным бродягой, который пешком исходил огромные просторы от Одессы до Нижнего-Новгорода, испытал и голод, и холод, и всяческую нужду; однажды он даже поднял на себя руку, не видя никакой надежды на лучшую жизнь. Но в этом жалком, оборванном босяке горела искра великого таланта, его душа рвалась к чему-то высокому, неведомому. Где только мог, он добывал книги и газеты, читал, учился, в чём ему помогала исключительная память.

Но гораздо важнее для него была та тяжкая школа, через которую проводила его жизнь. В беспредельных степных просторах и в грязных избах и квартирах, где ютится городская беднота, по трактирам и тюрьмам, в лесах и на морских пристанях он присматривался к природе и людям, знакомился с жизнью, муками и радостями народа, особенно того, самого низкого, слоя, той накипи общества, у которой нет ничего своего и которая даже на мужика смотрит снизу вверх, как на какого-то богача, мало отличая его от прочих богатеев и одаряя его своею ненавистью наравне с прочими, а то и ещё больше, потому что с ним чаще сталкивается.

Но вот молодому Пешкову улыбнулось счастье. Им заинтересовались некоторые интеллигенты, приохотили его к писательству. Первые его рассказы («Челкаш», «Макар Чудра») привлекли внимание своим необычайно ярким рисунком и новизною предмета. Горький — под таким именем он стал известен всему миру — рисует в них людей из этого самого низкого слоя, босяков и бедняков, без кола и двора, но рисует их не как несчастные жертвы общественного порядка, плачущие и сетующие и взывающие к миру порядка и счастья, который закрыт для них. Нет, Горький рисует этот мир нужды и падения совсем иначе, как мир и уклад сам по себе, враждебный нашему, но законченный сам в себе, со своими радостями и печалью, со своими порядками, не похожими на наши.



То, что у нас считается преступлением — кража, разврат, пьянство, разбой, лень и так далее, — там вовсе не имеет этого значения, измеряется иною моральною мерою. У людей этого мира совершенно свои идеалы, отличные от наших, и в первых рассказах Горького порою чувствовалась бóльшая склонность к этим босаяцким идеалам (вечные скитания, полная и ничем не связанная жизнь босняка), чем к идеалам городской жизни. Но со временем, когда вслед за славою Горькому улыбнулась и фортуна, его взгляды очистились и расширились, и в своих последних произведениях он выступал как вдохновенный апостол человеколюбия, того подлинного, не фарисейского, которое обнимает равно сердечно и самых бедных, и порочных, и искалеченных общественным строем. Одновременно у него с каждым разом всё громче звучала ещё одна струна — горячий призыв к борьбе с нынешними гнилыми порядками в России, при которых все люди, бедные и богатые, слишком часто оказываются вне закона, отданные на милость и немилость тупой, тёмной силы — произвола.

Это и было главной причиной его заточения.

Предъявят ли ему какое-нибудь особое обвинение, кроме того, что он в решительные минуты, перед резнёй 22 января, вместе с несколькими другими людьми осмелился выступить перед всемогущими хозяевами России и предостеречь их, чтобы не перетягивали струны, — это неизвестно. Известно только, что Горький болен чахоткой, что он был уже близок к смерти и только усилиями умелых врачей и пребыванием под тёплым небом Крыма удалось спасти его жизнь. В Петропавловской крепости его без тёплой одежды, в арестантском халате посадили в холодную, сырую, ниже уровня земли расположенную камеру, что может быстро подорвать его здоровье. Вот почему взоры всего мира обращены сегодня на Горького. Все чувствуют, что его смерть в этом каземате подлила бы масла в огонь, который разгорается сейчас в России, и, лишив Россию одного из светочей её свободы, явилась бы, возможно, той искрой, какие зажигают великий пожар народного бунта.

1905





## МАНИФЕСТ «МОЛОДОЙ МУЗЫ»



публикованный в № 249 «Діла» 18 ноября манифест «Молодой Музы» за подписью О. Луцкого породил у меня некоторые мысли и раздумья, которыми я рад поделиться с читателями «Діла» и которые, надюсь, не будут лишены интереса также для широкой публики.

На арену нашей литературной жизни вступает группа молодых людей, проникнутых общими взглядами, решившихся, невзирая на всякие сторонние обстоятельства, служить своей идее, работать для неё и привлекать в свою среду другие творческие личности, создавая новую литературную школу, которая со временем может дать всей нашей литературе новое, доньше небывалое направление. Явление во всяком случае симпатичное, как симпатичен всякий порыв человеческого духа, индивидуального или общего, к самостоятельному полёту.

С самого начала XX века почувствовалось в нашей, точнее галицко-украинской, литературе влияние этого нового духа, хотя симптомы, предвещавшие его появление, были и ранее. Первым отчётливым признаком нового направления в нашей литературе был сборник стихотворений Василя Пачовского «Рассыпанные жемчужины», изданный как раз в момент памятного исключения наших студентов из Львовского университета. Я тогда с полной симпатией откликнулся<sup>1</sup> на это новое явление, но целиком отверг его дух и тенденцию и, одоблив технику стиха, язык,

его певучесть и мелодичность, не скрыл от читателей некоторых важных — ибо они коренные — идейных ошибок нового направления. Было в нём нечто такое, что сразу расхолаживало пылкие ожидания, но я не считал себя вправе выступать как ментор против молодого поколения и надеялся на то, что недостатки со временем под влиянием новых мыслей и опыта сами собой исправятся.

Я не буду здесь характеризовать постепенный рост этого молодого литературного движения; этим я, быть может, займусь при случае. Отмечу здесь только самую последнюю фазу его, то есть возникновение оформленной организации, литературного кружка наших молодых поэтов, и те основные мысли, какими он оправдывает своё сокрушительное выступление по адресу нашей литературы.

О. Луцкий начинает свою статью короткой характеристикой того морального и духовного кризиса, который прошёл над Западной Европой, а в особенности над Францией и Германией в последнюю четверть XIX века. Характерным для этой эпохи, по мнению г. Луцкого, было то, что «во всех областях человеческой мысли ломаются старые истины и понятия», «настала пора аналитической проверки многих наших понятий о наиболее интересных для нас житейских делах». Действительно, «началась новая лихорадочная проверка, догма за догмой падали в пропасть забвения, а под этим всем бился главный источник современного кризиса и бедствия: язва всего современного строя. В современном человеческом обществе всё чаще стал появляться тип человека, утратившего всякую веру и надежду...». «Если же,— говорит дальше г. Луцкий,— отбросим прочь всё царство современных сомнений и скрепляющих зовов в сфере нашего познания и ограничимся лишь пределами человеческого чувства в области литературы и философии, то достаточно будет назвать только Ницше, Ибсена и Метерлинка и старика Бодлера, чтобы всем ярко припомнилось живое биение современного, может быть, чрезмерно впечатлительного человеческого сердца и чтобы припомнились нам все его обитатели там, где — хотя бы в облаках нового мистического неба — могло оно найти своё тепло и покой в бурные дни».

Вот и вся, так сказать, теоретическая сторона выступления г. Луцкого. «С умным человеком приятно побеседовать», — говорил когда-то Достоевский, и я также искренне хотел бы понять философию г. Луцкого. Итак, в Европе прошёл большой кризис духа и чувств. Что же с ним случилось? Продолжается ли он и поныне или окончился? По мнению г. Луцкого, началом, а может быть только наиболее отчётливым проявлением этого кризиса было явление «Заратустры» Ницше. Ну, явление это не столь давнее, помним его хорошо, и нам кажется, что явление это нигде никакого кризиса не вызвало. Конечно, не один «Заратустра», но вообще все писания Ницше задали умным людям не один вопрос, требующий разрешения, но умные люди и умны знанием, что эти вечные, как всё человечество, вопросы возникали в умах людей на всех стадиях человеческого развития, доводили до катастроф, вроде смерти Сократа и Христа, проявлялись в египетском аскетизме и крайностях французской революции, — чтобы передать лишь наиболее характерные проявления борьбы человечества с пределами возможного и с неразрешёнными загадками собственной души. Ницше действительно пережил такой кризис, и он довёл его до сумасшествия. Но Ибсен, скептик и циник, почти до последнего года своей долгой жизни игравший роль фата и любивший часами разглядывать себя в зеркале! Или Метерлинк, популярный адвокат в Брюсселе, или Анатоль Франс, холёный и вечно улыбающийся член французской Академии, — это свидетели и выразители какого-нибудь душевного или сердечного кризиса? Ну, шутить изволите, господин Луцкий!

«Догма за догмой падали», — категорически утверждает господин Луцкий. Любопытно было бы знать, пала ли хоть одна единственная догма в пору этого кризиса? Основанный на догмах католицизм и не думал пошатнуться, а наоборот, в последние годы властвования папы Льва XIII вырос в неслыханную силу и теперь ещё не останавливается в своём росте. Какие же ещё догмы пали? Либеральные, или социал-демократические, или даже аристократические? Ни одна не пала! Разве что г. Луцкий хочет под «догмами» разумеать некоторые эстетические теории. Ну, да это мухи-однодневки, которые возникают с каждым

значительным талантом, служат ему, наилучшим образом выявляя именно его свойства, и гибнут вместе с ним, как гибли их предшественницы.

Но г. Луцкий в конце своей вышеприведённой тирады делает внезапный поворот влево и «отбрасывает» вдруг всё «царство современных сомнений и скрещивающихся зовов в сфере человеческого чувства». Что это значит? Право, ничего не понимаю. «Царство современных сомнений» — это, очевидно, отнюдь не материальное тело, которое можно было бы взять на лопату и сбросить в канаву, чтобы не мешало на дороге. Это нечто духовное, имманентное, присущее нашей собственной душе, — если только действительно присущее, а не являющееся пустой фразой. Так как же должны мы «отбросить» вдруг этого демона или ту отравленную атмосферу, в которой приходится нам жить? Кто серьёзно говорит о чём-нибудь, что он действительно понимает и чувствует, тот говорит коротко и ясно, так, что другим легко понять его, а фразеологию г. Луцкого я и вправду не понимаю.

Но, пробираясь наощупь в шуме фраз, которые, может быть, и в самом деле имеют какое-то значение, только недоступны моему пониманию, натыкаюсь ещё на одну загадку. В Ницше, Ибсене, Метерлинке и Бодлере (французский лирик-сатанист восьмидесятых годов, теперь во Франции почти позабытый, — забыли же французы такого гиганта, как Виктор Гюго!) «всем ярко припомнилось живое биение современного, *может быть, чрезмерно впечатлительного* человеческого сердца и чтобы припомнили: нам все его обители там, где — хотя бы в облаках нового мистического неба — могло оно (то есть современное сердце) найти *своё* тепло и покой в бурные дни».

Кое-что в этой фразе понятно, но неверно. Сердце не требует поисков *своего* тепла вне пределов собственного организма, потому что оно в этом организме само — источник тепла. Сердце не требует и не выносит покоя, ибо покой для него — смерть. Это всё ясно. Но что это за «облака нового мистического неба», и что это за «новое мистическое небо», и чем оно ново, а не старо, и какова разница между новым и старым, на это г. Луцкий должен был бы ответить — не мне, я не любопытен! — но всему обществу перед которым он завёл весь этот разговор. Обществ

после этого вправе и обязано спросить его и других членов «Молодой Музы»: как же это вы, господа, вербуете в свой кружок молодые души, то есть наших детей, наших юных братьев и сестёр? Куда же вы думаете вести их? В каком «новом мистическом небе» вы обещаете им тепло и успокоение?

Теперь перейду к более ясному. В дальнейших абзацах своего труда г. Луцкий говорит о наших литературных авторитетах последних лет. «Первой ласточкой» нового литературного направления была Ольга Кобылянская, а «по её пути пошли другие», и «одновременно психика современного поколения впервые начала переживать всё то внутреннее горькое беспокойство, под бременем которого страдали значительные круги современной мировой общественности. Новое течение вошло в будничные комнаты, и появились новые люди с новыми думами, тревогами, страданиями и с новыми запросами для удовлетворения своих мыслей и мечтаний». Я ни на минуту с момента появления Ольги Кобылянской на литературном горизонте не сомневался в её таланте. Правда, первый её рассказ, написанный для «Первого венка» по-немецки, я нашёл не заслуживавшим напечатания из-за его слащаво-сентиментального, марлиттовского стиля, и г-жа Кобылянская впоследствии примирилась с моим суждением. Но её позднейшие рассказы, такие как «Человек», «Битва», поражали меня своей необычайной талантливостью. Я искренно радовался, когда она согласилась печатать свою «Землю» в «Литературно-научовому віснику», и на редакционном совете был первый за то, чтобы назначить ей высокий по тому времени гонорар в четыреста гульденов, какого, например, я никогда ни за одно своё беллетристическое произведение не получал. Я и позднее давал ей доказательства своего расположения, между прочим и тем, что на основании моего отзыва, частным образом написанного для проф. Ягича (по его просьбе) как члена жюри, она получила австрийскую литературную премию. Говорю это не для самовосхваления, а потому, что г. Луцкий уже однажды публично упрекал меня, будто бы я «уничтожаю, уничтожаю Кобылянскую». Это была инсинуация, недостойная честного человека, и она не забудется г. Луцкому. Но при всём моём признании таланта Кобылянской,

который проявился в полном блеске в некоторых её лучших рассказах, кто не признает, что этот талант теперь значительно поблёк и ослабел? Конечно, это вина не одной Кобылянской, а вина нашей, главным образом буковинской, обстановки, которая душит всё лучшее, наиболее талантливое, наиболее оригинальное.

И ещё одно можно было бы заметить представителям «Молодой Музы»: какое вам дело до Кобылянской? Чему вы научились у неё? Каких идей набрались? Как известно, Кобылянская охотно рисует тип женщины, которая восстаёт против установившейся традиции и так или иначе завоёвывает себе право на свободную жизнь. Где у вас такие типы и вообще как вы изображаете женщину? Мы это скоро увидим, но уже сейчас можно сказать, что Кобылянская с полным правом могла бы просить вас, чтобы вы не отождествляли себя с нею.

Но последуем дальше за рассуждениями г. Лудкого. «Эта минута (то есть появление Кобылянской) настала для нас тогда, когда в литературе царил общепризнанный у нас реализм. Его утверждали такие имена, как Нечуй-Левицкий, Мирный, Франко, Карпенко-Карый. Преодолён был прежний слащаво-наивный сентиментализм, и все спешили сказать своим убитым горем братьям слово жизненной правды и подать эту правду так, чтобы из этого вышла *польза хотя бы на ближайшие дни*. Каждое описанное ими событие можно было проверить аршином и каждую их тенденцию будничным рассуждением». Читаешь это и сам себе не веришь. Значит, произведения Мирного, такие, как «Злые люди», «Разве режут волы», «Гулящая», значит, «Кайдаши», «Микола Джеря» и «Бурлячка» Левицкого, значит, «Бесталанная», «Наймичка», «Савва Чалый» и «Суета» и мои «Панские забавы», «Бориславские рассказы», «Ради семейного очага», «Моисей» — были произведениями узко утилитарными для «убитых горем братьев»? Разве все эти и другие произведения не были вдохновлены высокими идеалами, до понимания которых ещё не доросла наша «Молодая Муза»? Разве в основе этих произведений не лежал идеал человека деятельного и полноправного, идеал общественного строя, основанного на справедливости, горячее желание устранить ту «язву всего современного общественного строя», о которой с лёгким

сердцем бросает свою фразу г. Луцкий. Это для него всё «польза на ближайшие дни», узкий утилитаризм! Ну, г. Луцкий, должно быть, не дорос ещё до того, чтобы отличать деловую критику от прямой, ординарной клеветы.

Посмеявшись над «впрочем заслуженными гг. Гринченками»... г. Луцкий доходит, наконец, до *succus rei* \*: «Настала пора, когда эта разумная правда перестала удовлетворять. Новое поколение творцов и читателей поняло и почувствовало, что искусство нельзя запереть в тесной материалистическо-позитивистской клетке, что нельзя зажимать рот творцу, когда он говорит о том, что кровью сердца или беспредельной тоскою в душе его засветилось». Ну, кровь сердца не очень-то светится в душе и самого большого творца, а к тому же, кто, где, когда был в состоянии зажать рот подлинному творцу? Кто мог зажать рот Шевченку даже под рекрутским ранцем и капральской палкой? Какой это «творец» может у нас в Галиции пожаловаться, что его лишили голоса?

«Воля и свобода в содержании и форме, но прежде всего искренность в чувствах человеческих, и тепло сердечное, и понимание всей нежности чувств человеческих и тончайших движений природы — вот и весь девиз молодого литературного тона». Так формулирует г. Луцкий свою программу, и мы приглядимся поближе к этой формуле. «Воля и свобода». Какая разница между двумя терминами? Если её нет, то это пустая тавтология, а если есть, то как представить себе «волю в содержании и форме» и «свободу в содержании и форме»? Каждый может «волить» или желать такого содержания и формы, какое ему понравится. Желать всего вольно. Свобода переносит нас в иную область, в область практического исполнения того, чего захотелось. Здесь уже одна «воля», одно хотение ничего не даст, здесь нужны сила и борьба, чтобы проложить «*die Freiheit eine Gasse*»\*\*, как выражались революционеры 1848 года. А в таком случае что означает первый постулат г. Луцкого? Или вовсе ничего, или нечто такое, что чувствует испокон века любая человеческая

\* Суть дела (лат.).

\*\* Дорогу свободы (нем.).



единица, когда от чисто абстрактного, волевого напряжения хочет перейти к делу.

«Искренность в чувствованиях человеческих и тепло сердечное» — что это за постулат? Разве подлинная поэзия с самых ранних времён человеческого развития не была всегда искренней и продиктованной сердечным теплом? Какой же ещё новой искренности желают себе наши творцы? Искренность — личное, индивидуальное свойство, и её нельзя ставить в программы. Будьте искренни, и мы почувствуем вашу искренность.

«Понимание всей нежности чувств человеческих и тончайших движений природы» — уже тут что-то не в порядке. Прежде всего «нежность» нельзя понять, её нужно почувствовать, если кто может; во-вторых, далеко не все человеческие чувства бывают нежными, значит, что же делать с не нежными, такими, как гнев, возмущение, зависть и тому подобное? Подлежат ли они ведению наших новых «творцов» или исключаются? И вообще вся человеческая жизнь так полна разнообразия и противоречий, — подходит ли это для их поэзии, или им хочется какой-то *ad hoc* \* препарированной, неземной жизни? Г-н Лудкий оговаривается ещё, что единственным побуждением для поэтического творчества молодых «творцов» «является лишь внутренняя душевная потребность творца, которую ни в какую шкатулку разума запереть не удастся». Значит, эта потребность может быть совершенно неразумна и абсурдна, но «творец» вправе удовлетворить её. «Если когонибудь не удовлетворяет круг позитивного мира, то в творчестве художественном, как в мечте, перед ним свободно открывается путь даже в метафизические, мистические края». Это значит, попросту говоря: вольно ему повеситься. С полным основанием!

А придя счастливо к такому результату, г. Лудкий внезапно спрыгивает с этих высоких котурн, становится в позу газетного рекламиста и с вежливым поклоном коммивояжёра объявляет: «Имею честь уведомить, милостивые государи, что мы — такие-то и такие-то — основали свою особую будочку, издали уже восемь книжечек под общей фирмой. В их содержании, может быть, найдётся

---

\* Для данного случая (лат.).

кое-что неприятное, но не исключено и приятное — такие участники, как А. А. и Б. Б., дают полную гарантию. Мы уже разослали своих агентов и за пределы нашего кружка, привлекли и мастеров других категорий, мы уже и поспорились слегка между собой, но это не мешает, ей-ей, не мешает! Искренние друзья говорят друг другу правду. Пожалуйста сюда! Пожалуйста сюда!».

1907 ·





ПАВЕЛ АРСЕНЬЕВИЧ  
ГРАБОВСКИЙ







## ДРУЗЬЯМ



Привет вам, гордые бойцы!  
Мужайся, юность удалая,  
И вы, невольные жильцы  
Людьми отверженного края!

Всем, всем горячий наш привет,  
Кому сковали злобно руки

На слово истины в ответ,  
Кого гнетут отчизны муки.

Вперёд! Святой зари лучи  
Над миром ярко разольются,  
И животворные ключи  
Из сердца вашего пробьются.

Вперёд! Заря недалека...  
Привет, друзья, до вольной встречи,  
Когда могучая рука  
Пожмёт вам руки в вихре сечи.

Пуškai же дикая тайга  
Вас оживит на подвиг новый,  
И навсегда сразит врага  
Венец ваш чистый и терновый.

Да будет свят свободы свет!  
Привет наш братский вам, привет!



## ИЗ СОВРЕМЕННЫХ РАЗДУМИЙ



апорожье и казачество  
Отлетели в царство сна...  
Век иной, панове братство,  
И другие времена!

Мы немало отдавали  
Уваженья казаку, —  
Заглянуть нам не пора ли  
Нынче в хату к мужику?

Всё увидеть ясным взором!  
Ведь, взглянув издалека,  
Пан поэт окутал флёром  
«Богоносца» мужика.

Наш мужик невежда тёмный,  
Вечный труженик, а наг,  
И таинственно огромный  
Для господ источник благ.

Мы его, держа построже,  
Били, как раба, кнутом;  
Стали издеваться позже;  
Пали в ноженьки потом.

Ибо дни пришли другие —  
Нас раскаянье взяло;  
Чувства самые святые  
Всколыхнули жизни зло.

Хоть высокой, без сомненья,  
Искренней любовью была,—  
Всё же преувеличенья  
Явные она внесла.

Человек внезапно сгинул;  
Розовый возник туман;  
Но прошли года, и минул  
Возвышающий обман...

Перед нами — брат несчастный,  
И каков он есть, живой:  
Терпит горе ежечасно,  
Проклинает жребий свой.

Век он спрашивает небо:  
«Палачи ль отпустят прочь?»  
Вот ему, в его нужде бы,  
Надо раньше .всех помочь!

Показать ему бы смело,  
Где сокровище лежит,—  
Это стоящее дело,  
Им заняться надлежит!

Наш мужик, панове братство,—  
Вот кто кличет на борьбу...  
Запорожье ж и казачество  
Пусть покоятся в гробу!





## Б. С — МУ



рощай, поляк, товарищ милый, —  
Разлука наша так близка!  
Как сердце больно защемило,  
Какая в нём теперь тоска!

Мечтали об одном мы оба,  
Искали общего пути, —  
И вот сошлись в остроге, чтобы  
Недолю злую обрести.

Мечты, в своём великолепье,  
Умчались птицами давно,  
Неволя вечная да цепи —  
Нам только это суждено!

Но даже ужас злого плена  
Делить не доведётся нам:  
Ты — за Байкал, а я — за Лену...  
Размечет нас по сторонам!

Кто знает? Вновь за всё, что свято,  
Придётся ль стать когда-нибудь?  
Или навеки, без возврата,  
Для нас зарос тернистый путь?

Вот так-то, друг, мой голубь ясный!  
Тебе — рудник, а мне — тайга!..





ПАВЕЛ АРСЕНЬЕВИЧ  
ГРАБОВСКИЙ

Но сердце наше не подвластно  
Цепям насильника врага!

Давно в оковах наши руки,  
Но дух не ведает оков!  
Роднят нас думы и в разлуке —  
Не затравить их своре псов!

Не зависть ксёндза, туши жирной,  
Не кривда пьяных богачей, —  
Слеза тоски людской, всемирной  
Ведёт нас против палачей.

Во дни безумного проклятья  
Рекою лили кровь отцы;  
То — в прошлом; мы родные братья,  
Мы неразлучные бойцы!

За что? За то, чтоб дух свободы  
И дружбы просветил умы,  
Чтоб наши бедные народы  
Так побратались, как и мы!



---

## ПОЭТАМ-УКРАИНЦАМ



лю вам, украинцы-поэты,  
Послание,— простите мне;  
Хочу вам передать приветы,  
Потолковать наедине.

Порою песен ваших звуки  
Доходят в этот край глухой —  
Их чары лечат боль разлуки,  
Путь облегчают горький мой.

От вас оторван без возврата,—  
Я ваш и в мыслях, и в борьбе...  
Примите ж с лаской строки брата  
О нашей будущей судьбе!

Да, я могу сказать поэтам,  
Что нет гражданских благ в стране,  
Но от себя кой-что при этом  
Хотелось бы прибавить мне:

Не всё цветами любоваться  
Да воспевать красу Днепра...  
Пора за просвещение взяться,  
Народу счастье дать пора!

Пора навек покончить с жутким  
Стенаньем, что звучит средь тьмы;

Пресечь дорогу предрассудкам  
И знаньем укрепить умы.

И чувство самоуваженья,  
Самосознанья пробудить,  
Цель указать и направленье,  
Чтобы не зря во тьме кружить!

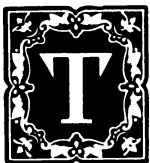
. . . . .



---

## ПЕСНЯ КОЛОДНИКОВ

*(Из братского послания)*



ам, где сопки сплошь покрыты  
Панцырем студёных льдов,—  
С головой полуобритой,  
В кандалах, среди штыков,  
В полумраке шахты душной,  
Не жалея сил и рук,—

Мы долбим гранит бездушный

Безотрадным стук да стук!

Вы растаяли уныло,

Грёзы правды и добра!

Стала раннею могилой

Каторжная вам нора.

Нет обманов светлых боле,

Знамя вырвано из рук...

Заглушаем сердца боли

Однозвучным стук да стук!

Но едва начнут отсюда,

Из пустыни, вьюги дуть,—

Этот стук дойдёт до люда,

Западёт он многим в грудь,

На борьбу за наше дело

Вышлет сотни свежих рук...

Бейте ж, братья, бейте смело,

Неустанно стук да стук!





\* \* \*



е раз мы пускались в дорогу,  
Не раз мы ходили напрасно,  
Но снова брели от порога  
На поиски цели прекрасной.

Смеялась судьба над борцами,  
Но их становилось всё боле,  
И были нам лозунг и знамя—  
Народное счастье и воля.

Борцов не пугают невзгоды.  
Путь жертвами устлан, но всё же  
Он выведет в царство свободы  
Не нынче, не завтра — так позже!

Труда избегать мы не будем,  
Легко нас удары не свалят,  
Когда мы к трудящимся людям  
Присмотримся, что их печалит.

Насильники все без изъятия  
Сидят у народа на шее...  
Так смело же двинемся, братья,  
Оковы разбить поскорее!





## ПЕВЕЦ

### I



е вспоминай о ночи гробовой,  
Не вспоминай о мёртвом сне  
могилы;  
Мрак неизвестности развей,  
о жизни пой  
И пробуди ты дремлющие силы!

Печали слабому не прибавляй,  
Не добивай неверием усталых,  
А на борьбу их смело увлекай;  
Их жизнь, их счастье — в светлых идеалах!

Тогда и наше сердце ты возьми:  
В нём жуткие заглохнут ощущения.  
Мы станем настоящими людьми,  
Век будем чтить тебя за песнопенья!

Держа свободы стяг, будь впереди!  
Насилие карай ты вещим словом,  
В мир красоты и горя нас веди  
И против зла восстань бойцом суровым!

Не вспоминай о ночи гробовой,  
Не вспоминай о мёртвом сне природы:  
Семян добра, посеянных тобой,  
Богатые зазеленеют всходы!

## II

Так вещала община поэту.  
Что же ей отвечает бедняга?  
Не однажды внимал он совету...  
Он — ревнитель народного блага.

Как же быть, если лучшие силы  
Выпивает обидчица — доля?  
И на жребий терпенья постылый  
Обрекла беспощадно неволя?

Он измучен под гнётом печали,  
Трупом пал, не пройдя всей дороги...  
Разве люди ему помогали,  
Ободряли в минуту тревоги?

Не судите ж певца так жестоко,  
Что поёт он печально средь ночи,  
Что на свете живёт одиноко,  
Что ослепли от слёз его очи!







## ПАРНАСЦАМ



ас чарует небес бирюза,  
Что, сверкая в стихах, каждый раз  
вам  
Не даёт, ослепляя глаза,  
Приглядеться к убийственным  
язвам.

Всё вам снятся цветы да луга  
И любви безграничной улады.  
В тине видите вы жемчуга  
И счастливых — среди страшного ада.

Жизнь — лишь радостный праздник для вас,  
Воплощенье гармонии, блага...  
Братцы, панский оставьте Парнас,  
Нарядитесь в простую сермягу!

Пусть поёт соловей вечером —  
Не делите с ним нежных мелодий,  
А народным, простым языком  
Укажите дорогу к свободе!





## ВПЕРЕД



руг, вперёд, против зла,  
За простой, подъяремный народ, угнетенья,  
Хоть страданья нас ждут и  
Хоть награда за труд нас не ждёт! лишенья,

Друг, вперёд, беззаветно и дружно!  
Многочисленна чёрная рать.  
Жизнь — борьба, нам покоя не нужно,  
Жизнь заставит оружие взять.

Гей, вперёд, кто не хочет смердящим  
Стать при жизни своей мертвецом!  
Слово служит нам пулей разящей,  
Дело наше нам служит мечом.

Друг, вперёд, в бой за право народа,  
В бой за честь и за счастье людей,  
Если жаждем всем сердцем свободы,  
Если рабских стыдимся цепей.

Друг, вперёд к нашей цели великой,  
Что нам дал девятнадцатый век:  
Кончим с властью кровавой и дикой,  
Человеком чтоб стал человек!

Друг, вперёд! Мы не будем рабами,  
Хватит с нас омерзительных пут!  
Наши гнёзда нам станут гробами,  
В них стремления наши умрут.

Гей, вперёд! Пусть не медлит усталый:  
Мировое движение не ждёт;  
Новый строй, новый мир небывалый  
В человеческом сердце живёт.

Друг, вперёд против сеющих беды!  
Побеждает иль гибнет солдат —  
Вносит лепту он в дело победы,  
Ею люди вовек дорожат!





\* \* \*



не певец красавицы природы,  
Холодной, равнодушной ко всему;  
Измученные вижу я народы:  
Они — родные сердцу моему.

Среди залитых золотом просторов  
Того я вижу, кто всего лишён.  
Лазурь... но в трели соловьиных хоров,  
Как нож, врезается мужичий стон.

Пускай вокруг цвет разума, услада —  
Не в силах я их воспринять теперь,  
Когда повсюду только муки ада  
И брата брат на части рвёт, как зверь!

И пусть поют на все лады поэты,  
На лиры нежно возложив персты,  
Об уголках блаженных в мире где-то...  
Где есть страданье — нет там красоты!

Пусть у природы, зря теряя время,  
Они забвенья ищут без конца, —  
Забвенья нет: страданиями всеми  
Стучится мир настойчиво в сердца!





## НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ



Чернышевский родился 19 июля 1828 <sup>1</sup> года в городе Саратове, где его отец был соборным протопопом. Это был человек очень умный и образованный. Николая с малых лет пестовали, как единственного сына, особенно мать. Грамоте его обучила двоюродная

сестра; от неё он проникся любовью к музыке и выучился играть на фортепиано, от неё же приобрёл привычку к чтению книг. Отец его собрал значительную библиотеку, которой пользовался даже Н. Костомаров в период пребывания в Саратове. В 1842 году Николай Гаврилович поступил в саратовскую духовную семинарию; получив хорошую подготовку от своего отца, он свободно владел греческим и латинским языками и мог переводить древнеклассическую литературу.

В семинарии он взялся изучать одновременно несколько языков: французский, татарский, арабский и еврейский; немного погодя бегло читал также по-английски, по-немецки и по-польски. В семинарии Чернышевский был тихим, застенчивым юношей, не решался первым заговорить с товарищем, держался как-то на отшибе. Его прозвали господским сынком и тоже сторонились; дружил он только со старшим Левицким, любил с ним спорить, приглашал к себе домой, но Левицкий, бедный и нелюдิมый бурсак, не имел ни подходящей одежды, ни привычки к обществу. Желая сблизиться с лучшими учениками семинарии, Чернышевский иногда заходил с ними в кабаки, вступал в беседу, однако не пил водки в компании. Не найдя друга,

он сблизился в конце концов со своим двоюродным братом Пыпиным, который был моложе его на четыре года.

В семинарии Чернышевский не выпускал книги из рук, делал выписки, объяснял, когда к нему обращались товарищи, никогда не ходил без дела. Когда никто не мог ответить на какой-нибудь вопрос, учитель обращался к Чернышевскому: «Вы, может быть, читали?» Чернышевский, что-нибудь писавший до этого в своих тетрадях, поднимается и начинает: «Немецкий писатель Н. об этом говорит так, французский объясняет это по-другому, а английский...» и т. д. Все слушают и удивляются: действительно, он отличался от всех своими глубокими познаниями и развитием: его литературные работы бывали обычно образцовыми.

Из семинарии Чернышевский сначала предполагал пойти в духовную академию, но кто-то из его родственников посоветовал ему поступить в университет; родители не перечили, зная, как «унижен сан духовный»; поэтому в ноябре 1844 года Чернышевский покинул семинарию и стал готовиться дома к испытаниям, а в 1846 году поступил в Петербургский университет. Там он занимался главным образом древними языками, литературой и славянскими наречиями под руководством известного славяноведа Измаила Срезневского; с его помощью Чернышевский составил словарь к Ипатьевской летописи, напечатанный в приложении к «Известиям II отд. Акад. наук» в 1853 году. В 1850 году Чернышевский закончил университет и был оставлен при нём для подготовки к профессуре, но в 1851 году любовь к родителям потянула его в Саратов, где он стал учителем гимназии. В Саратове Н. Г. жил отшельником и сблизился только с Н. Костомаровым. Вскоре умерла его мать; Чернышевский женился, переехал в Петербург, где был назначен преподавателем Второго кадетского корпуса. Педагогическая деятельность его продолжалась недолго, ибо он вскоре целиком отдался литературе. С литераторами он начал знакомиться ещё в университетские годы, часто бывая у Введенского, с которым его познакомил Срезневский.

Литературную деятельность Чернышевский начал с составления библиографических заметок для «Отечественных записок» Краевского в 1853 году и с переводов романов для этого же журнала; так в 1854 году был напечатан

в его переводе роман Чарлза Ливера «Семейство Доддов». Работая без передышки, Чернышевский в это же время подготовил диссертацию на соискание степени магистра под заглавием «Эстетические отношения искусства к действительности», а в 1856 году<sup>1</sup> блестяще защитил её на диспуте; она была одобрена и подписана Учёным советом университета, однако министр просвещения Норов на это не согласился, приказал её конфисковать, и Чернышевский таким образом не получил заслуженной степени. Этот случай сблизил его с редакцией «Современника», и он сделался с того времени постоянным сотрудником этого журнала, взял на себя отдел критики, поместил множество критических статей и, кроме этого, две больших работы: «Очерки гоголевского периода» (характеристика Белинского) и «Лессинг и его время» (здесь он тоже сравнивает Белинского с Лессингом).

В 1858 году Чернышевский передал отдел критики Добролюбову, а сам взялся главным образом за публицистику и работал в этой области до 1864 года. За это время он напечатал, между прочим, такие работы: «Экономическая деятельность и государство» (по поводу «Очерков Англии и Франции» Чичерина), «Капитал и труд» (по поводу книжки Горлова «Политическая экономия»), перевод «Основ политической экономии» Милля с подробными примечаниями, которые принесли Чернышевскому европейскую славу, ряд переработок из Маколея под заглавием «Рассказы из истории Англии», «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Июльская монархия», «Кавеньяк», «Антропологический принцип в философии», «О причинах падения Рима» и роман «Что делать?». В это же время Чернышевский редактировал и перевод «Всемирной истории» Шлоссера, которую начал было издавать Серно-Соловьевич<sup>2</sup>, далее совместно с Добролюбовым издал биографию Пушкина и Кольцова для детей с выборкой из их произведений: первую биографию написал он сам, а вторую — Добролюбов. В 1858 году Чернышевский некоторое время был также редактором «Военного сборника». Именно тогда Катков приглашал Чернышевского сотрудничать в своём журнале «Русский вестник», но Чернышевский не принял вообще участия в московских изданиях, за исключением «Атеней», где напечатал в 1858 году

прекрасную статью «Русский человек на rendez-vous» по поводу повести Тургенева «Ася»: это был горячий призыв к быстрейшему уничтожению постыдного крепостничества.

В 1862 году Чернышевский был арестован, а в 1864— осуждён на 15 лет<sup>1</sup> каторжных работ за воззвание к освобождённым крепостным, которое ему приписывали, и за вредное направление «Современника». Тогда же появился в печати и текст доклада (реляции), составленного секретарём сената относительно дела Чернышевского (по-современному это «обвинительный акт»). В нём говорилось следующее. Офицер гвардии Всеволод Костомаров был этапирован в Тобольск как политический преступник. В дороге он перебирал свою поклажу, а из неё будто бы выпало письмо Чернышевского в Москву к поэту Плещееву (петрашевцу). Чернышевский якобы писал, что воззвание к крепостным подготовлено, но так как в Петербурге нет типографии, где можно было бы напечатать его, то он просит разыскать в Москве Плещеева.

Костомарова сразу же возвратили в Петербург, где Чернышевский уже был в заключении, и стали допрашивать. Костомаров показал, что когда летом 1862 года он ездил в Москву, то Чернышевский просил его отвезти письмо Плещееву; это письмо он положил в свой чемодан, а приехав в Москву, не мог отыскать, потому что оно как-то затерялось между карманов чемодана, где и находилось всё время. Это письмо Чернышевский будто бы передал ему в какой-то беседке, во время их разговора о воззвании к крепостным крестьянам, которое имело целью разъяснить им их печальную будущность, созданную тяжёлыми экономическими условиями господской реформы; этот разговор будто бы слышали два московских мещанина, которые случайно оказались позади беседки.

В этом и была главная вина Чернышевского.

Студент Ященко (если только не ошибаюсь, украинский писатель) вывел на чистую воду всю нелепость этой истории. В 1864 году он сидел за политическую провинность в московском «смирительном доме»; вместе с ним отбывали наказание и двое каких-то «босяков», к которым часто навещался агент тайной полиции и подолгу с ними беседовал. Как-то один из них с горечью признался Ященко в том, что его с товарищем уговаривают показать под



присягой против Чернышевского то, что им будет велено, а за это они получают награду. После некоторого колебания «мещане» согласились, и их отправили в Петербург. Подобная же история была и с Костомаровым: по дороге в Сибирь он беседовал с жандармским офицером и подбирал способы добиться для себя облегчения.

«Напрасно и думать,— заметил жандарм, — а вот в Петербурге ломают голову, как бы упечь Чернышевского, но ничего не получается. Сделайте вот так и так — будут очень благодарны». И Костомаров, не размышляя долго, покати́л в Петербург. До этого он был известен как неплохой поэт-переводчик, однако довольно подлый и слабый человек, предатель и лжец; он наклеветал даже на одного из своих родственников, но у того при обыске ничего преступного не нашли. В докладе находим также приписку какого-то неизвестного доносчика из Москвы (подозревали Каткова), где читаем: «Спасите Россию от этого умного социалиста, искусного софиста, имеющего огромное влияние на молодёжь, который способен затопить страну в крови». Приводилась записка Герцена, который приглашал Чернышевского в Женеву издавать «Современник», если нет больше возможности выдержать в России. И мало ли ещё чего было нагромождено...

Чернышевский отрицал и своё авторство письма, найденного у Костомарова, и свой разговор с ним в беседке, подтверждённый, однако, под присягой обоими мещанами. Обвинением против Чернышевского также послужило и большое количество отрывков из его легальных произведений, по поводу которых он вынужден был давать из крепости объяснения. В конце концов пятнадцатилетняя каторга была уменьшена наполовину, и осенью 1864 года Чернышевского повезли в Сибирь в город Кадай на китайской границе; там он жил вместе с Михайловым, который при нём и умер; там написал свои лучшие романы: «Пролог к прологу», «Дневник Левицкого» и «Пролог»<sup>1</sup>; там и Михайлов написал немало своих переводов, которые принадлежат к лучшим переводам в русской литературе. Вначале в Кадае жилось не очень тяжело, так как военного начальства не было, а смотрителем служил простенький, добродушный старичок. Литератор Шелгунов приезжал со своей женой проводить Михайлова; она даже поселилась

на некоторое время в селе близ острога и прожила там почти полгода, пока не проведало начальство.

Прискакали жандармы и повезли её в Петербург, Шелгунова сослали в Тотьму, Вологодской губернии, а старичка-смотрителя прогнали с должности.

В конце лета 1866 года Чернышевского перевели из Кадая в Александровский завод, Забайкальской области. Сюда приезжала его жена, но ей разрешили побыть только три дня — встречи их происходили в присутствии офицера и продолжались не больше двух-трёх часов. Потом жандармы повезли её в Петербург, несмотря на то, что она ехала сюда с дозволения министра внутренних дел. Пребывая в Александровском заводе, Чернышевский жил в узкой длинной комнате с единственным окном. Это были когда-то сени, из них сделали кладовую, забив окно решёткой; там всегда было темно, а зимой к тому же и холодно: Чернышевский никогда не снимал длинного тулупа, надетого прямо на рубашку, и смушковой шапки. В других пяти камерах рядом с Чернышевским помещались человек шестьдесят-семьдесят поляков-повстанцев, преимущественно простые люди, солдаты, мастеровые и т. д.; постоянно стояла страшная духота. К Чернышевскому все относились с уважением, прекращали шум, когда вечерами он садился за книги да бумаги, прекращали пение и музыку, хотя Чернышевский просил их не стесняться, потому что очень любил слушать песни; ремесленники, чтобы не мешать его занятиям, переходили в дальние камеры; каждый старался, как мог, услужить ему: починить одежду, подмести пол; еле-еле Чернышевский отвоёвывал себе право самому ставить самовар.

Двумя годами ранее, до Чернышевского в этой тюрьме сидели Стахевич, Муравский и человек пять поляков, киевские студенты; все они очень сдружились между собой, вместе читали различные произведения по общей экономике (между прочим и Милля с примечаниями Чернышевского), наконец, организовали даже бытовой коллектив — коммуны. Но в тюрьме было также и человек десять шляхтичей с застарелыми польско-католическими тенденциями; они подняли ропот против объединившихся, обвиняя их в безбожии, а поляков, кроме этого, ещё и в предательстве за их дружбу с русскими. Остальная часть заключённых

в силу низкого уровня своего развития пошла за шляхтичами; коммунары решили перейти в другую тюрьму, но из этого ничего не вышло: кое-кого из шляхтичей отпустили на поселение, потом дошли слухи об известном забайкальском бунте, и это событие отвлекло на себя всё внимание. Поэтому-то Чернышевского и встретили без враждебности, а когда рассмотрели, что это был за человек, уважению не было конца. К нему шли за советом, за разрешением споров при возникавших принципиальных вопросах; авторитет его не вызывал сомнения. Через некоторое время в Александровский завод прибыло несколько каракозовцев<sup>1</sup>, которые внесли известное оживление в скучную, однообразную тюремную жизнь. Но Чернышевскому не пришлось долго сидеть с ними: зимой 1867 года, закончив срок испытания, он был выпущен из тюрьмы и получил разрешение поселиться на частной квартире поблизости. Он снял комнату у заводского дьячка и часто прогуливался по окраине посёлка, поправляя своё здоровье, купался, бродил по сопкам и т. п., в тюрьме он много терял из-за отсутствия простора для прогулок, а на работы, как других заключённых, его не посылали. Ему довольно часто разрешали навещать заключённых товарищей, а на рождество и пасху 1867 года он пробыл в тюрьме даже несколько дней. Здесь он читал свои романы, рассказывал планы не написанных ещё произведений, посещал тюремные спектакли, для которых и сам написал три пьесы. Содержание одной из них следующее: офицер имеет жену, которую держит взаперти, бьёт, издевается над ней. Но вот появились двое либералов-литераторов и решили освободить несчастную женщину или пристыдить тирана. Но офицер нагнал такой страх на либералов, что они спрятались под стол. После этого офицер бросил свою плеть, которая была у него в руках, и приказал угостить либералов водкой; один из них прочитал в честь офицера даже оду. Офицер напился и снова начал поучать свою жену. Присутствующий при этом слуга делал знаки литераторам, чтобы они отняли плеть у офицера и самого его выгнали, но те стояли около него в подобострастной позе; тогда слуга сам расправился со всеми тремя.

Вторая пьеса называлась «Мастерица варить кашу», а третья, самая большая, в трёх актах, — «Другим нельзя».

Содержание её, говоря вкратце, таково: муж советует жене сойтись с приятелем, и сам остаётся жить вместе с ними; она же одинаково любит обоих. В этой комедии, как разъяснил Чернышевский товарищам, он вывел не типы, а двух-трёх знакомых ему особ, которых, может быть, уже и нет, не придерживаясь никакой тенденции, ибо выведенные события случайны.

Чернышевский был прекрасным рассказчиком; экспромтом сочинял перед слушателями целые повести, словно читал по книге. Ещё раз назовём написанные Чернышевским романы, которые были задуманы им ещё в Кадае в 1865 году, а закончены в 1868 году в Александровском, а именно: «Пролог к прологу», «Дневник Левицкого» и «Пролог». Из них, насколько нам известно, только первый был напечатан за границей (Лондон, 1877). Во всех трёх романах героями являются те же люди начала шестидесятых годов; действия происходят в провинции и в Петербурге в то бурное, кипучее время. Любопытно, что в романе «Пролог к прологу» Чернышевский изображает среди прочих и себя с женой, а в образе Левицкого — Добролюбова, которого очень любил и уважал. Под именем Соколовского выведен известный польский повстанец Сераковский, повешенный Муравьёвым. В 1869—1870 годах Чернышевский начал в Александровском заводе писать ещё и четвёртый роман, за который принимался несколько раз, но который в конце концов должен был сжечь; события, описанные в нём, касались 1862—1863 годов; назывался он «Рассказы из белого зала».

В ноябре 1871 года пришёл царский указ освободить из каторги каракозовцев и оставить их на поселении. Их выслали в Якутскую область: двое из них (Николаев и Шаганов) попали в Вилюйск, а остальных разогнали по улусам; в город Вилюйск прибыли они в апреле 1872 года и встретили здесь Чернышевского, которого они оставили в Александровском заводе, не думая снова встретиться. Как поселенец он имел право жить на частной квартире, но его запрятали в тюрьму и для надзора приставили жандарма. Для товарищей это было полной неожиданностью. Они попросили у исправника разрешения повидаться с Николаем Гавриловичем, но исправник не решился удовлетворить их просьбу. Тогда они стали искать случайных

встреч и действительно встретили Чернышевского недалеко от тюрьмы.

Вот что рассказал им Николай Гаврилович: спустя две недели после того, как уехали товарищи, к нему явился жандармский офицер и велел собираться, потому что он должен был быть переведён в другое место. Куда — он не спрашивал, а на второй день утром его уже мчали на почтовых.

Город Вилуйск расположен среди лесов и болот на берегу довольно большой реки чуть ли не за тысячу вёрст от Якутска. Дорога страшно тяжёлая, окрестности безлюдны, станции разбросаны на пятьдесят-шестьдесят вёрст. Кругом болото или непролазный кустарник; летом — тучи мошкар, от которой в домах окуриваются дымом. Почта ходит раз в месяц, а в то время — раз в два месяца. В эту глушь и повезли Чернышевского. В Вилуйске ему заявили, что свободных квартир в городе нет, но что пустует каторжная тюрьма, и там «чисто и просторно». Волей-неволей, а пришлось принимать неожиданную любезность.

Тюрьма, в которой так долго пришлось страдать Чернышевскому, стоит в нескольких саженях за городом в степи, на самой круче берега Вилуя. Это мрачное и тёмное продолговатое деревянное здание, разделённое на несколько клеток — тюремных камер, с частыми слепыми окнами, забитыми железными решётками. Перед самыми окнами вздымается ввысь высокий частокол, который закрывает от глаз человека чуть ли не всё здание, и только верхушка его маячит где-то высоко в небе. В конце двора имеются две постройки — баня да кухня — теперь полуразваленные. За частоколом рядом с тюрьмой выглядывает, как какое-то злое пугало, казарма для стражи; в ней застрелился почтмейстер, и это до сего времени наводит страх на вилуйцев. Тюрьму начали строить в 1861 году, рассчитывая заключать в неё политических каторжников; в неё, между прочим, хотели посадить и каракозовцев, но почему-то оставили эту мысль, и тюрьма некоторое время пустовала. Потом из Александровского завода перевезли сюда поляков Огризка и Дворжечка и держали их там до конца 1871 года. Постройка тюрьмы обошлась правительству свыше двадцати тысяч рублей. Чернышевский занимал достаточно просторную для одного камеру с двумя окнами против дверей, страшно

тёмную (не видно и клочка неба!) и сырую: даже в конце мая нельзя было снять валенок, так как сразу же начинало ломить ноги. Камера Чернышевского имела такой вид: справа от двери стояли деревянные нары и небольшой столик, а слева через всю длину камеры другой стол, заваленный книгами и всякой мелочью. В тюрьме, кроме Чернышевского, помещался также жандарм, казачий урядник и слуга якут.

Недолго довелось товарищам видаться с Чернышевским: жандарм сразу же настрочил донос, исправник очень перетрусил и решил как можно быстрее выслать их из города в улусы (волости). Это распоряжение возмутило Чернышевского, он побежал к исправнику и долго стыдил и упрекал его. Но ничего не помогло. Товарищи вскоре были высланы из города; живя в разных местах, они обменивались книгами, но это было очень трудно, потому что полиция не пропускала ни одной строчки написанного одним к другому, даже известий о получении книг. Так было до самого конца 1874 года. Чернышевский остался в Виллюйске совершенно одиноким, а товарищей отправили в Якутский округ. Жизнь Чернышевского стала невыносимо тяжёлой. Жандарм начал запира́ть тюрьму, когда уходил пьянствовать с казаками, а потом стал делать это ежедневно в десять часов вечера; так понемногу вырабатывались новые, действительно каторжные условия, совершенно неслыханные с правовой точки зрения. С жандармом Чернышевский совершенно перестал разговаривать; тот чинил всякие гадости, но, наконец, был заменён другим, человеком достаточно порядочным; Чернышевский даже столовался у него около двух лет, пока не прислали опять нового. В городе Чернышевский почти ни к кому не ходил, за исключением старухи-чиновницы, у которой вначале столовался, он больше любил прогуливаться в одиночестве вблизи тюрьмы и по берегу Виллюя или прочищал канавки во дворе (одна сохранилась и до сего времени); от некоторых навязчивых виллюйцев ему даже приходилось удирать, особенно от купцов, которые своим любопытством не давали покоя.

В октябре 1872 года в Виллюйск явился адъютант генерал-губернатора Синельникова князь Голицын и обещал всех политических ссыльных, будто бы желая

разузнать об их нуждах и желаниях, а на самом деле выискивая, не скрывается ли в этих местах Герман Лопатин, который имел намерение организовать побег Чернышевского, был арестован в Иркутске и бежал из тюрьмы. Появление Голицына имело одно последствие: Чернышевскому вместо 11 рублей стали выдавать 17 рублей в месяц казённой помощи. Чернышевский просил Голицына узнать у генерал-губернатора, нельзя ли ему получать из Виллюйска книги для перевода и посылать переводы в печать; Голицын ответил, что это совершенно невозможно. С собой Чернышевский привёз книг не очень много, между прочим *Conversations lexicon* и три тома атласа Брокгауза; вскоре после приезда в Виллюйск он получил русские переводы Лассаля, Вермореля, Тэна, Бёрне и др.; получал «Отечественные записки» и «Вестник Европы», газету «Спб. ведомости». Вообще книг до него доходило мало, а это была самая большая утрата в неволе. Для того чтобы браться за литературную работу, вначале просто не хватало сил. Услышав о приезде на Александровский завод жандармского офицера, Чернышевский подумал, что у него сделают обыск, и сжёг все рукописи, в том числе и упоминавшиеся выше «Рассказы из белого зала», о которых потом очень жалел.

«Надо писать всё сызнова, — с отчаяньем говорил он товарищам. — Неужели решиться?» Но неуверенность в том, что из этой работы что-нибудь выйдет, останавливала руку. В декабре 1873 года в Виллюйск прискакал из Иркутска жандармский полковник Купенко и среди ночи — прямо в тюрьму: до ниточки обыскал Чернышевского и, не найдя ни одной строчки написанного, начал разорять казацкие избы в городе, лазил по погребам, срывал полы и т. д. — разыскивал, видите ли, Лопатина, который снова был арестован и снова бежал, уже бесследно, чтобы освободить, как думали, Чернышевского.

В конце концов Чернышевский принялся всё же за повесть «Рассказы из белого зала», но постоянно рвал и сжигал рукописи; окончательно утратив веру в возможность продолжать эту работу беспрепятственно, он отвратительно чувствовал себя при одной мысли, что налетит вихрем какой-нибудь мерзавец и начнёт всё перерывать. Задумывал, между прочим, написать историю в рассказах

для детей; часть её была даже готова, но пришлось сжечь при приезде Купенко.

Нужно ли говорить, насколько была тяжёлой и трудной, сколько таила в себе трагизма жизнь Чернышевского? Но вот в 1875 году в Вилую приехал Мышкин, чтобы освободить Чернышевского, но ничего не сделал и был арестован. Жить Чернышевскому стало ещё горше: вокруг тюрьмы поставили военную охрану. Целых полгода Чернышевского не выпускали за ворота тюрьмы, а потом его стал сопровождать жандарм везде, куда бы он ни шёл. Познакомился Чернышевский с каким-то священником, стал иногда навещать его — священника выслали ещё дальше в глушь. Навязывался какой-то придурковатый исправник с панибратством, а когда Чернышевский уклонился от этой «чести», тот начал чинить ему всякие притеснения, и так без конца.

Вилуюцы вспоминают Чернышевского как человека чрезвычайной простоты и правдивости, не помнят, чтобы он когда-нибудь представлялся другим, чем был на самом деле. Так называемому «высшему обществу», которое настаивало на свидании с ним в тюрьме, он отказывал в приёме, зато всегда был ласков и внимателен к простому человеку, с большим и малым кланялся при встречах, вступал с ними в разговор, расспрашивал о жизни, интересовался всем, как говорят. Если узнавал, что кто-нибудь болеет, то присылал к нему доктора или сам водил его к доктору, просил позаботиться, проверял, чтобы тот не отделывался обещаниями. Больше всего любил детей, охотно навещал избы, где было много детворы. В тёплую погоду любил погулять по городу и окрестностям, иногда бродил целыми днями, разговаривая сам с собой или громко распевая песни, — пел, как говорят местные жители, «по-немецки»; когда замечал, что навстречу ему идёт «знатная» или неприятная особа, сейчас же сворачивал в сторону и шёл другой дорогой. Одевался довольно просто: полотняные брюки и рубашка, сверху халат, небольшая шапка «блином» — вот и вся обычная его одежда. Среди лета надевал иногда валенки, ворот рубахи всегда расстёгнутый, — таким показывался он всюду. Господскую одежду, которую присылали ему из России, раздавал беднякам. Питался главным образом молоком и ржаным



хлебом, а обед хотя и заказывал, но чаще отдавал прислужнику; когда заходил к кому-нибудь, то обычно ничего не ел и не пил: нальют стакан чаю, он так и остынет. В камере у Чернышевского постоянно был подвешен под самым потолком небольшой бочонок с водой, вероятно, чтобы не напоздали туда тараканы, которых в камере было видимо-невидимо.

Не любил Чернышевский, чтобы убирали у него, — это, вероятно, потому, что ему было неприятно, что за ним могут подглядывать. Этими соображениями нельзя ли объяснить и то, что Чернышевский сворачивал в сторону, увидя незнакомого человека. Вначале он пожимал руку каждому якуту, но потом перестал и советовал то же делать и другим, чтобы предупредить возможность распространения заразы. Ни с кем из обывателей Чернышевский никогда не говорил о политике. Один интеллигент как-то высказался, что стихи — бред, что в скором времени станет господствовать одна лишь проза. «Каково ваше мнение?» — спросили у Чернышевского. «А как вы думаете, перестанут ли когда-нибудь люди петь песни?» — ответил Чернышевский. Один собеседник сказал, между прочим, Чернышевскому, что его брат занимается в университете; на это Чернышевский только тяжело вздохнул. «Почему вы так вздыхаете?» — спросил собеседник. «Кто знает, что ожидает его на этом пути», — якобы ответил Чернышевский. Несчастливого молодого человека действительно в скором времени расстреляли.

Насколько нам известно, переписывался Чернышевский только с женой; письма как от него, так и от неё пересылались через полицию и губернатора, тщательно прочитывались (закон о проверке писем государственных преступников действует и до сего времени, являясь одним из злейших скорпионов; Чернышевский, если нам передавали правду, обычно писал по несколько строк, но и тут не минула его беда: за какое-то «злодейское» письмо губернатор приказал однажды посадить его на трое суток под арест — арест в аресте). Нам рассказывали, что этот арест страшно возмутил Чернышевского, что это возмущение он проявил очень горячо и несдержанно, несмотря на то, что выглядел уравновешенным; да смог ли бы кто не возмутиться?

Летом 1883 года в Виллюйск налетели жандармы, чтобы забрать Чернышевского: он получил разрешение возвратиться в Россию. Чернышевский был уже стариком и верхом ехать не мог, поэтому его повезли на санях (на повозках тут не ездят). Тюрма осталась пустой. В 1889 году в неё вновь заключили человек двадцать политических каторжников, однако месяца через два их перевезли за Байкал в Акатуйский рудник. Грустно глядеть на ограду, которая была могилой такого мирового разума, как Чернышевский, за которой мучилось и погибло столько молодых душ. Весной, когда разливается Виллюй, волны со страшной силой бьют о берег, они подмывают и сносят крутой склон; не пройдёт, может быть, и двух-трёх лет, как тюрма, где загублено столько утаённых от мира дум, загремит на веки вечные в бездну, не останется и следа от позорной жестокости людской.

Возвратившись в Россию, Чернышевский первое время жил в Астрахани, избегал общества, любил одиночество и снова весь отдался литературной работе. Основным трудом этого периода является перевод двенадцати томов (по тысяче страниц в каждом томе) «Всемирной истории» Вебера, причём Чернышевский добавил свои примечания и целые исторические экскурсы, а во втором издании первого тома поместил «Очерки научных понятий о возникновении обстановки человеческой жизни и о ходе развития человечества в доисторические времена». Кроме этого, Чернышевский сумел поместить в «Русских ведомостях» обширную статью «Характер человеческого знания», а в «Русской мысли» стихотворение «Гимн деде неба», исследование «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» и «Материалы к биографии Добролюбова». Подписывался чаще всего псевдонимом «Андреев».

В 1889 году Чернышевский переехал в свой родной город Саратов и там умер с 16 на 17 октября в 12 часов 35 минут ночи; болел издавна катаром желудка, перед смертью потерял сознание, очень мучился, цитировал из Вебера; наконец кровь бросилась в мозг — и его не стало, навсегда закрылись глаза, навеки остановилось сердце человека такого, какие не часто рождаются на свет. Пухом земля пусть будет мученику хоть после смерти, если довелось ему так терпеть и страдать в жизни! А за что?

Чернышевский никогда не призывал к бунту или к восстанию<sup>1</sup>, но с неумолимой логикой и ясностью раскрывал глаза каждому на действительное положение современности, стоя главным образом на почве социально-экономической, мало касаясь вопросов политических, хотя из его произведений ясно было, как смотрит он на эти условия. Центр тяжести Чернышевский видел в народе, и в первую очередь в его материальном благополучии. Вся вина Чернышевского перед правительством состояла в том, что это был человек непоколебимой логики, страшный для тех, кто боится света критики, а держится лишь насилием и темнотой. Чернышевский был именно всеозаряющим светом, а это сама по себе немалая вина. Кроме того, ему приписывали действия, к которым он не имел ни малейшего отношения. Его считали человеком, способным на всё против существующего строя. В мае 1862 года (рассказывал сам Чернышевский товарищам), в разгар петербургских пожаров, к нему в квартиру влетает Достоевский с такими словами: «Николай Гаврилович! Ради самого господ бога прикажите остановить пожары!» Никакие заверения Чернышевского, что он не имеет связей с поджигателями, не убедили Достоевского, он ушёл с отчаянием и прежним возбуждением. Что же могли думать о Чернышевском другие, а тем более правительство, да ещё в такое бурное, богатое событиями время? Те, кому надо было, выбрали для себя наидрагоценнейшую жертву и подкосили гиганта, который, живя в другой стране, мог бы повернуть колесо истории по другому пути. Вместо этого на его долю выпала каторга, которая приневолила молчать, сковала мысли. Двадцать лет беспросветных мучений не погасили, однако, этот великий светоч, не притупили пылкой любви к родному народу, для которого он работал до самой смерти. Человек — достойный удивления, пример — достойный подражания!.. С чувством глубокой благодарности и любви вспоминаем родного!

*Ноябрь 1894*



---

## СЛОВО НА СЛОВО

Учітєся, брати мої,  
Думайте, читайте,  
І чужому научайтесь,  
І свого не цурайтесь<sup>1</sup>.



спомнились мне эти слова, когда прочитал я критическую статью г. Вильховского об Иване Левицком в связи с двадцатипятилетием литературной деятельности последнего. Справедливо говорит Вильховский о нашей интеллигенции, с болью отмечает в ней недостаток национального самоуважения. «У нас известны, — пишет он между прочим, — такие повседневные литературные сотрудники московские, как Сибиряки, Решетниковы, Потапенки, а не знают такого таланта, как Левицкий, не знают романов Мирного, не знают произведений Федьковича или Франка». Действительно — грустно. Но, разделяя глубокое сожаление по поводу нашей украинской беззаботности ко всему родному вообще, а к литературе в частности, мы удивлены той лёгкостью, с какой Вильховский приводит к одному знаменателю Сибиряка (Мамина) с Потапенко и ещё Решетниковым впридачу, мешая в кучу людей, которых никак не следует смешивать. И Сибиряк, и Потапенко, и Решетников — каждый имеет своё отличительное, определённое лицо. Зачем же мерить их на один аршин, зачем вносить сумбур в сознание галицкого общества, которое и без того не очень-то знакомо с действительным положением русской литературы? Если можно с натяжкой сравнивать Сибиряка и Потапенку, то уже никаким образом не скажешь этого о Решетникове, так как Решетников в России был один и, к сожалению, преждевременно умер (1841—1871), после чего на его месте мы не видим и

не видели никого ему подобного. Решетников не «подённый литературный сотрудник московский», чью работу сегодня прочтёшь, а завтра забудешь. Нет, такие не часто рождаются, а, появившись, надолго остаются живыми в впечатлительном сознании людей, звездой сверкают в темноте, учат (а это — главное) искренней любовью любить приниженного брата, служить лучшему делу своего отечества. Таких писателей, которые писали бы «кровью сердца и соком нервов», которые плакали бы чистыми слезами над несчастной долей человека, этого забитого, затоптанного в грязи раба божьего, — таких писателей, повторяю, немного, а именно таким был покойный Решетников, который заставляет нас рыдать над своими обездоленными «подлиповцами», овладевает нашей душой, пробуждая в ней самые святыя чувства к ближнему — забытому, униженному, обманутому, к тому, кого даже и за человека не считали. Пройдёт время, Потапенко и Сибиряк станут «преданьем старины глубокой», но имя Решетникова беспристрастная история сохранит от забвенья вместе с небольшим рядом подлинных борцов за лучшее будущее и освобождение человечества, подлинных защитников той части общества, которая дольше всех и тяжелее всех стонала в цепях бесправья.

Решетников не витал в облаках фантазии, не подделывал свой язык под господский, не заносился в поднебесье, а держался ближе к земле с её горем и нуждою, с её беспросветной темнотой, с её адом крошечным. Выходец из простой и бедной среды, Решетников до самой смерти болел муками своей среды, жил её жизнью, рассказывал миру о ней в своих произведениях, чтоб хоть чем-нибудь принести ей пользу, и рассказывал к тому же своим собственным языком, как поступают настоящие писатели, которые не отрываются от действительности, как делал и наш Шевченко. Уместно ли Решетникова сравнивать с Потапенко или Сибиряком?

Потапенко — писатель малозначительный с точки зрения идейно-общественной, но не без таланта, которому вредит только чисто сказочная плодовитость; однако из кучи мусора или мякины у него можно выбрать несколько зёрен, наскрести единичных весьма ценных эпизодов, даже для перевода на украинский язык, например из по-

вести «Генеральская дочь». Сибиряк — не менее плодотворный рассказчик, преимущественно на этнографическом материале, иногда очень скучный, иногда интересный, не без тёплого чувства к простому человеку, но — повторяем — общество забудет их обоих<sup>1</sup>, как только они перестанут писать, хотя среди современных писателей русских они занимают не последнее место. Мы, украинцы, ровным счётом ничего не потеряем, ежели вовсе обойдем обоих, чего никак нельзя сказать о Решетникове, которого не следует объединять с ними, как это делает г. Вильховский. Наоборот, мы посоветуем — хоть наш совет может показаться непатриотичным — украинцам читать Решетникова наряду с Левицким, Мирным, Федьковичем и Франко — и особенно отдать предпочтение ему перед некоторыми нашими писателями, ибо произведения Решетникова могут зажечь любовь в сердце читателя, любовь к родному народу, внедрить мысль писать о нём его же языком, то есть, в частности, украинцу писать про свой народ и страну по-украински, тогда как такие перлы, как наши «мешки смеха»<sup>2</sup> или подобные им, только компрометируют украинскую литературу и способны иногда оттолкнуть человека от дальнейшего знакомства с украинской культурой.

Должен признаться, что на меня самого не раз подобное впечатление производили некоторые украинские книжки. А между тем я плакал настоящими слезами, читая Решетникова, с любовью прижимал к взволнованному сердцу «Пилу» и «Сысойку», а мысленно переносился в родное село, где умирали и мучились, правда, несколько по другой причине, точно такие же «подлиповцы». Да простит г. Вильховский мне за слово на слово. Трактовать одинаково всех трёх писателей — дело, противоречащее действительности и совершенно безосновательное, а высокомерный взгляд на Решетникова не имеет под собой никаких оснований. Недаром Тургенев в письме Анненкову говорит о Решетникове: «Я его ценю высоко». «Не чужайтесь своего, но и чужому учитесь, если оно того заслуживает», — закончим мы мудрым завещанием батька Тараса.





## КОЕ-ЧТО О ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТИЧЕСКОМ



Недавно довелось мне перечитать в одесском журнале «По морю и суше»<sup>1</sup> критическую заметку г. М. К.<sup>2</sup> о сборнике Грицька Кернеренко<sup>3</sup> «В досужий час». Я не видел этого сборника, как и предыдущих произведений автора, потому и не знаю, насколько действительно они заслуживают такой острой критики. В данном случае этот вопрос меня мало тревожит — относительно значения и ценности творческой я готов даже целиком согласиться с мнением г. М. К. Другая сторона обратила на себя моё внимание и заинтересовала, а именно та сторона, с какой г. М. К. берётся критиковать автора и подходит к его произведениям. «Стремления его, то есть автора, — говорит критик, — не всегда, пожалуй, были удачными, а потому, несмотря на чары «кругленьких личек и карих очей», к которым у поэта большое пристрастие, он рисует женщин большей частью «холодными, бездушными, изменчивыми кокетками». Может, оно так и есть в действительности, но такие предположения совершенно необоснованны, совершенно излишни и неопределённы как основание для критики, тем более, что никогда не смогут достичь цели. Нам нет нужды вмешиваться в личное поведение автора, тем более, что его произведения не дают для этого достаточно бесспорных доводов, — да это не может серьёзно нас интересовать. Человек может быть добрым семьянином, скромным, далёким от всяких увлечений и

жеребятины и вместе с тем писать такие вещи, как кернеренковский сборник «В досужий час», дающий критику повод для досадных догадок в отношении личности автора. Тут можно — повторяю — и попасть в точку, но чаще придётся попадать пальцем в небо с такими обоснованиями критическими. Столкнувшись с тем или иным взглядом автора, с тем или иным недостатком его произведений, необходимо искать не надуманные причины, а твёрдо обоснованные, опирающиеся на бесспорные данные, которые имели бы общественную весомость или убедительность; ознакомившись с произведениями, необходимо установить, есть ли у автора хоть что-нибудь из тех обязательных признаков, которые и создают поэта в подлинном смысле слова, без которых даже сильный природный талант может увянуть и погибнуть; тем более необходимо обладать такими признаками людям среднего таланта. Обладает ли ими Кернеренко?

Что говорят об этом его произведения? А говорят они, несомненно, то, что у автора не хватает трёх основных вещей: общего всестороннего образования, трезвого цельного мировоззрения общественного и достаточного понимания значения и целей деятельности поэтической. Без этих трёх вещей никогда нельзя стать поэтом подлинным; а если у него и талант к тому же не яркий, то и думать нечего, чтобы его работа имела какую-то ценность или приносила пользу обществу. Отсутствие этих вещей обезличивает поэта или писателя вообще, и эту мысль мы могли бы подтвердить соответствующими примерами из истории всемирной литературы.

Отсюда, разумеется, слабые и отрицательные стороны произведений Кернеренко; такую же мерку, не говоря уже о таланте, мы считаем необходимым применять и ко всяким другим произведениям поэтическим. Как бы ни калялся в своих неудачных увлечениях автор, надлежащий уровень всестороннего образования всегда удерживал бы его на определённой высоте современных взглядов на женщину, выработанное передовое мировоззрение придало бы его произведениям многокрасочное содержание, а правдивое понимание своей роли, своих задач и цели направило бы его на полезный путь труда общественного, натолкнуло бы на исследование явлений и обстоятельств



безусловно жизненных, вместо того чтобы чирикать, как птичка божия в роще, лепетать всякую чепуху, пришедшую внезапно в голову. Так лепечут только дикари, у которых нет ещё поэзии: гору увидел — о горе поёт, лес — о лесе, дерево — о дереве и т. д. Но современный поэт не должен возвращаться к состоянию первобытному, ибо какой же он после этого поэт, какой современник? А если он стоит ниже общего уровня, то каким общественным вожаком может он быть или что скажет он интересного, полезного другим? К каким серьёзным действиям или просто мыслям направит он читателя? Какую струну в человеческом сердце своим словом затронет? Какое горе хоть на минуту облегчит, усладит? Какую дорогу и цель укажет тому, кто очутился на распутье, не зная куда идти? Вот мысли, которые должен обдумать каждый поэт, выступая со своими произведениями перед обществом, если только он осознаёт свои высокие задачи; его обязанность — не брэнчать без смысла, а вести совместную общественную работу, применяя и свои способности и свои знания, — в противном случае на кой чёрт он нужен? Интересное, истинно человеческое содержание вместе с выработанной, художественно законченной формой составляют главные достоинства всякой истинной поэзии. Этих достоинств и должен прежде всего искать в поэтических произведениях критик. Их дают поэту талант, с одной стороны, с другой — те условия, отсутствия которых мы отмечали у Кернеренко. «Искусства для искусства» не было, нет и не может быть в действительности: это — пустопорожняя, пустозвонная фраза — не больше. Она, наоборот, всегда прикрывала собой самые тенденциозные направления мысли, проповедовала самую грубую тенденциозность в литературе. «Искусство для искусства» — это в устах проповедников означало: заткни уши и закрой глаза на вопиющие нужды жизни, убегай от её прозы, летай над миром на крыльях лёгоньких, заманчивых мечтаний, щекочи потихоньку нервы, поэзию преврати в барскую прихоть — таковы их закон и требования. Не нужна, говорят, тенденциозность в искусстве! А это требование разве не тенденциозность, отвратительная, вредная, эгоистичная? Пора благоглупостей прошла! Работать на барина перестали уже и в поэзии, не только на поле. Поэзия должна быть

одним из стимулов человеческого прогресса, а в родной стране — и общенародного, средством борьбы с мировой неправдой, смелым голосом за всех угнетённых и обиженных. Такова её задача! Но что уж нетенденциозным, говорят, был поэт Кольцов, пел без лишней мысли, как пташка лесная; но можно ли и его поэзию назвать «искусством для искусства»? Нисколько! В свои произведения Кольцов вкладывал не только чувства, но и глубокую мысль, то есть тенденцию, почти всегда видел перед собой определённую цель, то есть грешил против основных требований барской теории, да и не мог не грешить, родившись среди простого народа. Он пел про людское горе, ибо оно задевало его за живое и возмущало; он пел о лучшей доле, ибо всею душой хотел, чтоб она восторжествовала над горем; он отлично понимал, о чём, как и для чего поёт. То-то! О чём, как и для чего! А это, к великому сожалению, не всегда понимают наши украинские поэты и писатели, а потому появляются такие произведения, как вот у Кернеренко.

Не так творили настоящие поэты, не так пел Шевченко; о нём и подавно не скажешь, что он был поэтом «искусства для искусства», так как вся его творческая деятельность полностью противоречила этому вздору. Шевченко был поэтом-борцом, виднейшим общественным деятелем; он всегда знал, куда идёт и зачем. В своей поэтической работе он имел в виду только человека и его счастье; поэтому он является для всех нас самым лучшим примером, даёт вернейший образец не в мелочах, которые мы стремимся перенять, а всем направлением своего поэтического творчества, направлением своих мыслей и чувств общественных, на что у нас до сих пор мало обращали внимания. Темы, бывшие когда-то актуальными, отживают свой век, но остаётся общий дух и направление произведений, остаётся тенденция; на неё преимущественно мы и должны обращать внимание. А тенденция произведений Шевченковых — повторяем — совсем не та, какую порой мы замечаем у поэтов нынешних, у которых — ни содержания, ни формы, а какая-то пустота и мыслей и выражений. Не перенять таланта, если его нет, но всё остальное можно до известной степени перенять, выработать, необходимо только настоящее просвещение, настоящий интерес

к жизни и сознательный труд над поставленными задачами. Вот тогда поменьше у нас будет и сборников таких, как Кернеренков, а авторы их свои способности или охоту писательскую сумеют использовать с большим успехом для себя и с большей пользой для общества. В противном случае вся их работа сведётся к нулю. Мотивы поэзии должны быть подлинно жизненными; а эта жизненность придаст им до некоторой степени живую, богатую и оригинальную форму, примером чего могут служить прекрасные народные песни. Форма их и в самом деле богаче произведений отдельных поэтов, достаточно пересмотреть хотя бы не очень давно изданный сборничек песен «Живые струны»<sup>1</sup>. Какая мелодичность и красота, не говоря уже о классической простоте и непосредственности вдохновения! Это — источник, из которого на здоровье долго ещё будут пить потомки! Точность выражений чрезвычайна, а сжатость порой просто непередаваема! Такая форма нам и нужна: форма, говорю, ибо содержание и мотивы — это вопрос времени, они переменны, как само время. Форма тоже движется вперёд, но форма народной песни нашей не стала ещё воспоминанием прошлого, а придала бы и теперь красоты какому хотите произведению поэтическому. Необходимо только понимать что и к чему.

Мысли о мотивах украинской поэзии не раз занимали меня. Действительно, интересно было бы проследить её путь от Котляревского до наших дней: какими мотивами воодушевлялась и жила наша поэзия? Что в этих мотивах своего, истинно народного, вызванного совокупностью жизненных обстоятельств, присущих нашей стране, а что заимствовано у соседей? Какого характера были те заимствования? Насколько они соответствовали сложившимся местным условиям или, наоборот, не имели никаких связей с жизнью украинского народа и его нуждами? Можно заимствовать определённое направление мысли и пересадить его на местную почву, руководить им вполне самостоятельно; но можно заимствовать и такое, что никак не приспособишь к жизни нашей, что навеки останется для нас чужим, мёртвым. А бывали и такие заимствования, которые в мотивах украинской поэзии не были непосредственным, ярким признаком переживаемого вре-

мени, а являлись результатом той или иной моды, держались по традиции, когда уже исчезла с глаз даже почва, на которой та традиция выросла? А то, что некоторые мотивы у нас держались в поэзии исключительно по традиции, это совершенно бесспорно. Достаточно только вспомнить, как наши поэты до последнего времени перепевали кое в чём Котляревского и его подражателей; достаточно обратить внимание на то, что наши писатели и до сих пор ещё не освободились от слащавого, несвойственного нашему времени сентиментализма, хоть жизнь наша не даёт для этого никаких оснований. Проследить всё это было бы очень интересным и полезным делом для того, у кого есть к тому талант и возможность. Вместе с тем напрашивается первостепенный вопрос: какую роль играла украинская поэзия в нашей общественной жизни? Именно, какую?





## К ПУШКИНСКОМУ ВЕЧЕРУ В НАРОДНОЙ АУДИТОРИИ



настоящем году вся Россия праздновала столетний юбилей со дня рождения Пушкина. Сегодня пушкинский вечер устраивается и у нас, в Тобольске. Чем же был велик Пушкин? За что мы чтим его память? Ответим кратко: Пушкин был величайшим нашим

поэтом, гениальнейшим творцом в области родного слова, — творцом, составившим славу и гордость России. Только Пушкин создал литературу истинно русскую, литературу в полном смысле этого слова. Ложноклассицизм старых писателей породил лишь жалкое подражание сомнительным иностранным образцам. Романтизм, возникший в Европе на почве живых общественно-политических отношений, явившийся реакцией чувства против рационализма XVIII столетия, протестом личности против нивелирующих социальных теорий, в России отразился крайне односторонне, уродливо и не имел ничего общего с действительностью. Были у нас писатели, были литературные произведения, но литературы как живой общественной силы не было. Державинская муза, отмеченная печатью несомненного поэтического таланта, витала далеко от земли с её будничной прозой и мелочами. Жуковский, писавший таким лёгким, таким красивым стихом, всецело ушёл в дебри немецкого романтизма, в мир фантастических грёз и призраков. Батюшков прекрасно владел формой, но от его произведений так же веяло мертвечиной и безжизненностью, как от всей вообще литературы того времени. Но вот является Пушкин с могучей

силой своих песнопений,— и сразу все почуяли что-то новое, свежее, оригинальное и близкое в его чарующих звуках; чем-то неведомым, но всякому понятным дохнуло от этих пленительных звуков. А дело было просто: Пушкин, воспитанный на лучших европейских образцах, руководимый гениальным чутьём творца-художника, сразу спустился в сферу подлинной, обыдённой действительности, сблизил поэзию с жизнью, первый из русских писателей внёс в свои произведения живое конкретное содержание, какого наша литература до того времени не имела и не могла иметь. Нужен был гений Пушкина и его высокое литературно-эстетическое образование, чтобы, не колеблясь, стать на этот новый, «еретический» по тому времени, путь поэтического творчества. Родная почва, родная стихия чувствовалась в каждой строке Пушкина. Писал ли он сказки — перед вами открывался знакомый мир народной старины и народных преданий; вы чувствовали, что вокруг вас живёт и дышит что-то вам родственное, всюду слышится «русский дух», всюду «Русью пахнет». Бряцал ли он на лире, это не было олимпийское пустозвонное бряцание наших одописцев,—нет, лирика Пушкина затрагивала в вас все лучшие струны сердца, будила в нём светлые человеческие чувства, мечтой влекла вас к небу, а взоры обращала на вопиющие аномалии жизни, скорбь и плача над людскими страданиями. Пушкин не был политическим борцом и не мог быть им по натуре, но он был передовым человеком своего времени, по своим общественным идеалам он стоял значительно выше своего века, наряду с достойнейшими людьми будущего; передовая часть общества двадцатых и тридцатых годов вдохновлялась его поэзией, вырастала под её благотворным влиянием, черпала из неё лучшие свои заветы и вожеления. Пушкин не был равнодушным созерцателем общественных зол своего времени; нет, он задыхался в тяжёлой атмосфере аракчеевщины и крепостного права, негодовал и возмущался. Достаточно прочесть его стихотворение «Деревня», написанное в 1819 году.

...Но мысль ужасная здесь душу омрачает:  
Среди цветущих нив и гор  
Друг человечества печально замечает  
Везде невежества губительный позор.

Не видя слёз, не внемля стона,  
 На пагубу людей избранное судьбой,  
 Здесь барство дикое, без чувства, без закона,  
 Присвоило себе насильственной лозой  
 И труд, и собственность, и время земледельца.

Увижу ль я, друзья, народ неутнетённый  
 И рабство, падшее по манию царя,  
 И над отечеством свободы просвещённой  
 Взойдёт ли, наконец, прекрасная заря?

Император Александр I, прочитавши это стихотворение, просил благодарить Пушкина за те добрые чувства, которые оно вызывает. В этой способности вызывать добрые чувства, будить лучшие помыслы в умах современников и заключалось, главным образом, общественное значение Пушкина как поэта-гражданина. Что сам Пушкин так понимал своё значение, показывают следующие строки из его стихотворения «Памятник»:

...И долго буду тем любезен я народу,  
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
 Что в мой жестокий век восславил я свободу  
 И милость к падшим призывал...

Не многие из русских поэтов могут похвалиться такой завидной общественной ролью. Но роль поэта-гражданина всё-таки ступёвывается у Пушкина перед ролью его как первого истинно русского, истинно народного поэта-художника. «Евгений Онегин» является, по нашему мнению, лучшим образцом художественного творчества во всей поэтической литературе русской, — произведением, которое мы смело можем поставить в одном ряду с классическими произведениями главных европейских писателей. Мы имеем солидные исследования по истории нашего общественного развития и, вероятно, будем ещё иметь; они выяснят нам как постепенный рост этого развития, так и его действительные факторы, не над одним тёмным вопросом поднимут завесу таинственности и неведения. И всё же широкая картина русской жизни начала XIX столетия, русская психика и русские нравы — всё то, словом, что нашло себе художественное отражение в «Евгении Онегине», навсегда останется наглядным памятником прошлого, настолько живым и рельефным, что серьёзному

историку придётся не раз с ним считаться; в самом деле: кто такие Онегин, Ленский, Татьяна, как не создания горькой русской действительности? Кто это, как не последующие Рудины, Обломовы, Ольги, Елены и пр. и пр.? Только русская жизнь могла их создать, и никакая другая. Не беда, что Онегин щеголяет в гарольдовом плаще: гарольдовского в нём только и есть, что этот именно плащ с чужого плеча, эта вывеска — и ничего более. Онегин не является и не мог явиться созданием европейского байронизма; нет, он органически вырос на почве родной действительности, явился плотью от её плоти и костью от её костей точно так же, как и все эти Ленские, Ларины, Заречские. Разочарование Байрона и разочарование Онегина — две вещи разные. Байрон разочаровался в европейской цивилизации, в возможности воплотить идеалы широкой политической свободы в жизни, мучился запросами высшего порядка и в конце концов бросился освобождать порабощённых греков. Онегин в сущности ни в чём не разочаровался, а просто не знал, что с собой делать, за что приняться. Крепостное право позволяло Онегиным жить не работая, и они обыкновенно ничего не делали, мыкались по свету, били баклуши, сокрушали сердца и искали развлечений. Но развлечения рано или поздно приедались — Онегины теряли цель жизни, скучали, чувствовали себя людьми лишними и даже несчастными, изнывать в тоске было их обычным занятием. Таков и Евгений. Неглупый и незлой от природы, читавший Руссо и Адама Смита, человек, в котором Татьяна признавала «и гордость и прямую честь», он в то же время не только влачит бессмысленное существование, не только не желает никому ничего доброго, но убивает даже друга, к которому сердечно относится... и всё это так — от нечего делать... В какой другой стране возможны подобные типы, кроме России? Их и не было нигде больше. «Лишний человек» — это чисто русское явление, выросшее на почве тяжёлых общественных условий, обрекавших на бездействие большинство Онегиных, людей с недурными задатками и незлой волей, часто неглупых и даже просвещённых. Печальная это страница нашей истории, и вполне понятно поэтому то грустное впечатление, какое остаётся по прочтении Онегина.



Не будем говорить много о той важной роли, которую сыграл Пушкин также в создании художественного русского языка. Красиво писали и до него, но только он смог извлечь из русской речи всю чарующую прелесть её звуков.

Был ли Пушкин по достоинству оценён современниками? Нет,— таково наше мнение. Он убит на дуэли французом Дантесом, но то, что убийцею явился француз, чистейшая, конечно, случайность: с лёгким сердцем его мог бы также убить и кто-нибудь из русских, как позднее Мартынов убил Лермонтова. «Чужой язык» и «чужие нравы» здесь ровно не при чём.

Оценён ли Пушкин по достоинству хоть в наше время? Некоторые прискорбные факты не позволяют нам дать утвердительный ответ и на этот вопрос.

Закончим нашу юбилейную заметку пожеланием лучшего будущего для деятелей родного слова и воскликнем словами Пушкина из послания его к Чаадаеву:

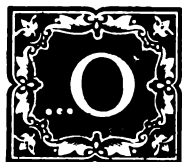
Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы!..





## ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО

(Отрывок)



Отличительными чертами поэзии Шевченко являются его глубокая, но в то же время здоровая народность, — и в этом отношении, по признанию великорусских критиков, например Добролюбова, мы не имеем равного ему во всей литературе российской, — тот широкий гуманизм и любовь, которыми дышит каждая строка поэта, те идеалы человеческого братолюбия, которые подготовили и воспитали целое поколение людей, так беззаветно послуживших народу в период освобождения. По силе и глубине лиризма, по художественной яркости и красоте образов, по чарующей прелести и мелодичности стиха Шевченко стоит наряду с величайшими поэтами славянского мира — Пушкиным и Мицкевичем, а непосредственной искренностью чувств и обаятельной безыскусственностью выражения иногда даже превосходит их. Поэзия Шевченко показала, чем может и должна быть малорусская литература, поставила её на высоту общеевропейского творчества, внесла в неё богатый запас лучших общечеловеческих идей, из предмета «барской потехи» сделала её живым органом жизни и указала ей единственно достойный путь служения родине. В этом отношении Шевченко шёл рука об руку с лучшими умами и деятелями России в эпоху, предшествовавшую периоду реформ, и делал на Украине то великое общерусское дело обновления, которое без него не имело бы здесь своего апостола.

Но не только в этом заключается общерусское значение поэта; его творчеству главным образом и его идеям обязана своим возрождением австрийская Русь — Галичина, Буковина и отчасти Угорщина. Оторванная историческими событиями от Киевской Руси, австрийская Русь пришла в совершенный упадок под владычеством польских магнатов и окончательно погибала; дворянство и высшее духовенство скоро забыли о своём русском происхождении, в значительной степени ополячились, а частью обрумынились и мадьяризовались, относясь с презрением к собственной нации, как к нации «мужицкой», и в особенности к русинскому народу. Русскими по языку и по духу оставались низшие слои населения — крестьянство, часть мещанства и малопросвещённое сельское духовенство; «русин» и «хлоп» сделались синонимами, вследствие чего главным образом и отвернулись высшие классы от всего русского. О просвещении никто не заботился, несмотря на то, что само австрийское правительство, благоволившее одно время к русинам, открыло в 1784 году при Львовском университете несколько кафедр с преподаванием на русском языке; русины не только не пошли навстречу начинаниям правительства, но не воспользовались даже тем, что им уже было дано, и «русский» университет вскоре прекратил своё существование. Деятельность Маркиана Шашкевича, первого воскресителя Галицкой Руси, и его кружка в тридцатых годах не имела большого успеха: семена национального пробуждения были брошены на каменистую почву, сам Шашкевич вскоре умер, его друзья рассеялись, снова восторжествовала реакция и презрительное отношение к русинской массе.

Но вот в начале шестидесятых годов в Галичину проникают произведения Шевченко и производят неслыханный переворот в умах сначала молодёжи, а потом и остального общества. Чем в 1845 году Шевченко был для Киева, тем ещё в большей степени он стал в шестидесятых годах для Львова и всей австрийской Руси; имя его стало лозунгом, под знаменем которого начало группироваться всё пробудившееся и мыслявшее; вспомнили ополяченные русины, кто они, «чиїх батьків діти», и, естественно, обратились к своему забытому народу. С произведениями Шевченко в первый раз проникли из России в Галичину

лучшие веяния освободительной эпохи, в первый раз произошло на почве этих веяний истинно братское единение между австрийской и российской Русью, — то мощное духовное единение, которое спасло русинское общество в Австрии от окончательного слияния с польско-мадьярско-румынско-шляхетскими элементами, а русский народ, кроме того, и от социального порабощения «своими» и «чужими». И этих результатов русины достигли в недолгий сравнительно срок путём просвещения крестьянской массы и постепенного усвоения тех демократических тенденций, которые через Шевченко и малорусскую литературу проникли из России. Русины поняли понемногу, что их спасение не в «панской ласке» извне, а в общественной самодеятельности, на которую и обратили все свои усилия. Стала развиваться прогрессивная литература, возникли просветительные общества, было обращено внимание на безотрадное экономическое положение крестьянской массы и её умственную темноту: интересы народа были поставлены на первом плане, и в этом направлении пошла дальнейшая работа интеллигенции. В настоящее время на малорусском языке ведётся преподавание в двух университетах, нескольких средних учебных заведениях и во всех народных школах; «Товариство імени Шевченко» развило широкую научную, а общество «Просвіта» — просветительную деятельность среди русского населения; издаётся больше двадцати газет и журналов; кроме того, в малорусских переводах появляется всё наиболее интересное из области науки и литературы других народов. Чувство презрения к низшим классам, а также проповедь племенного антагонизма и национальной нетерпимости уступили место чувствам человеческого единения и солидарности, в чём наиболее всего сказалось влияние гуманной поэзии Шевченко. С особой силой отразилось оно на произведениях таких талантливых бытописателей, как Франко, а в последнее время Бордуляк, Стефаник и некоторые другие, с глубоким сочувствием и беспощадным реализмом рисующие перед нами тяжёлую судьбу галицийского крестьянства. В этом отношении писатели галичане стоят неизмеримо выше российских украинцев, усвоивших слабые стороны музыки батька Тараса, вроде идеализации прошлого, и всё ещё упражняющихся в словосочинении

псевдоисторического и псевдонационалистического свойства.

Як би ви знали, паничі,  
Де люди плачуть живучи,  
То ви б ідилій не творили<sup>1</sup>,—

говорил некогда Шевченко, но «паничі» забыли эти замечательные слова своего учителя и продолжают творить идиллии, не справляясь ни с правдой, ни с наукой, о которых так сокрушался Тарас Григорьевич в своём лаконическом, но необычайно сильном стихотворении:

І день іде, і ніч іде,  
І, голову схопивши в руки,  
Дивуешся, чому не йде  
Апостол правди і науки!<sup>2</sup>

Да, почему не идёт? Произведения Шевченко навсегда останутся для нас источником светлых мыслей и гуманных чувств, и в этом их великое общечеловеческое значение. Нельзя поэтому не пожелать им самого широкого распространения. Потребность в дешёвом издании «Кобзаря» для народа чувствуется прежде и настоятельнее всего: потребность эта тем более осуществима, что с конца 1898 года в Петербурге образовалось, по инициативе и под председательством генерала Федоровского, официально утверждённое Общество имени Шевченко для издания дешёвых и полезных книг на малорусском языке; к обществу принадлежит немало лиц с положением и материально обеспеченных.

Обніміте, брати мої,  
Найменшого брата,—

вот завет, унаследованный нами от поэта.

Рассказывая о жизни Шевченко, мы убеждены, что одно воспоминание о подобных людях способно возвысить и облагородить нашу душу, хоть на мгновение оторвать нас от дрызг и мелочей жизни и унести в заманчивую область идеала. Без таких людей давным-давно очерствело бы человеческое сердце и заглохла нива жизни. Пусть же их образ всегда живёт и сияет перед нами в нетленном венце духовной красоты и обаяния!





## ИЗ ПИСЕМ К Б. ГРИНЧЕНКО

[2 января 1900 г. Тобольск]



се книги «Лит[ературно]-н[аучного] вестника» за прошлый год достал. Очень неприятно поразила меня там статья И. Ф.<sup>1</sup> о народниках и марксистах; такой статьи не следовало писать, если бы г. И. Ф. понимал суть дела. По поводу этой статьи я хочу послать письмо в редакцию, так как для более обстоятельного ответа нет ни времени, ни необходимых источников. Зачем морочить голову читателям? Г-н И. Ф. говорит, что один только Левицкий<sup>2</sup> делает национальное дело на Украине своими товариществами. Это чистейшее недоразумение. Практически эти объединения, о которых растрезвонил повсюду сам Левицкий, не что иное, как фикция; крестьянам надобны деньги, а банк не даёт ссуды до тех пор, пока несколько крестьян не назовут себя членами товарищества, вот они и пишут для вида договор, уверяя, будто они объединились, а получив ссуду, сразу же рассыпаются, ибо никакого товарищества в действительности и не было; поэтому-то и объединяются в товарищества в большинстве случаев зажиточные крестьяне и крепче держатся его, всё отчётливее и заметнее отмежёвываясь от беднейшего крестьянства и содействуя его растущей пролетаризации. Таким образом, товарищества Левицкого — это организация кулачества ради наживы и скорейшей пролетаризации части крестьянства, столкнутой на этот путь условиями «народного производства»<sup>3</sup>. Иначе: Левицкий

фактически делает то самое дело, которое, по его неумной мысли, якобы хотят делать марксисты, то есть: пролетаризирует крестьянскую массу на пользу кулацкому меньшинству. С теоретической стороны он не только не является украин[ским] националистом, а, наоборот, выступает сторонником великодержавных реакционных шовинистов, враждебных всему украинскому<sup>1</sup>. И это делает не один Левицкий, а все украинцы, склоняющиеся к русскому народничеству, которое всегда исходило из стремления к великорусской самобытности и по сути было враждебно всякому национальному движению и полезно русскому самодержавию; чем дальше, тем больше оно становится реакционным, отстаивающим допотопные формы жизни во имя всё той же самобытности, вредным по своей практической деятельности для народа, и если бы у украинцев были нюх и чутьё, то они не становились бы защитниками этих антинародных мероприятий... Теперь украинские руссификаторы изменили формы и проявляют себя в идеализации русского псевдонародничества, идеи которого давно обанкротились, и во враждебных отношениях к марксизму. Надо заметить, что марксистом в России называют всякого, кто не разделяет русских псевдонароднических иллюзий и современного великодержавного шовинизма, кто не докатывается вместе с В. В.<sup>2</sup> и его единомышленниками до реакционных, антинародных выводов из теории великодержавной богоизбранности, для которой законы общечеловеческого прогресса не писаны совершенно. Без всяких к тому оснований г. И. Ф. смешивает в одну кашу немецкий социал-демократизм, догматический марксизм и русский марксизм, а ведь это вещи совершенно различные. Теперь всё, что только есть в России живого, подвижного и деятельного, идёт под знаком марксизма, именно — под знаком, и надо хорошо разбираться в том, чего хотят эти люди, и чётко отличать их стремления как от стремлений марксизма европейского, так и от догматизма чисто научного. Если русские псевдонародники хотят насильно навязать всем народам России допотопные формы русской жизни, так как эти допотопные формы, дескать, превыше всего западноевропейского прогресса, если они бичуют украинцев за их национальную деятельность, так как эта деятельность якобы распыляет силы, необходимые

«для общего дела», то марксисты требуют прежде всего политической свободы и независимости для отдельных народностей, ибо реальные условия прогресса того требуют, и указывают практические границы для национальной работы. Если только украинцы будут и впредь поддерживать великорусское псевдонародничество, шовинистическое по своей природе и реакционное, так только на свою голову. Как вы думаете? А я готов спорить.

[17 марта 1900 г. Тобольск]

Дорогой брат! Последнее Ваше письмо вызывает немало вопросов, но, к сожалению, всего не скажешь в один приём. Я тоже мог бы заявить, что не являюсь ни марксистом, ни народником, но это ничего решительно не разъясняет: не о либерии<sup>1</sup> речь; не в том суть, что кобыла серая, а в том, как она везёт; не о масти говорим, а о конкретной работе, вот и надо показать, какова эта работа. Вы говорите, что у нас есть свои, особые самостоятельные задачи, — этого я не понимаю и не разделяю; в моём представлении — это общие фразы без всякого смысла, национальная идея без конкретного содержания. Но пусть будет и так. Вы скажете — просвещать массы, а я спрошу, в каком направлении, как и кому; Вы скажете — грамотность и просвещение на родном языке, а я опять: о чём мы будем писать, какие идеалы пропагандировать? Вы скажете — поднять экономическое благосостояние народа (хотя националисты не очень-то говорят об этом, думая больше о духовной пище), а я спрошу: что это значит? Поддерживать артель, домашние промыслы, «общину», рисовать сельские идиллии и проклинать городскую цивилизацию или, может быть, что-либо другое? Распространять общечеловеческие стремления в обществе или проповедовать, что законы мирового прогресса не про нас писаны, ибо мы особая нация и сотворены для того, чтобы идти своей самостоятельной дорогой да ещё и других тянуть на этот путь, перешагнув через все культурные завоевания для нас, мол, ненужные. Таким образом мы и подойдём к практическому вопросу: какой деятельности нам держаться, — той, что советуют марксисты, или той, что проповедают народники (я говорю об общих тенденциях доктрин,



а не об отдельных взглядах); Вы говорите, что надо выработать что-то третье, хорошо. Но мы живём не на небе, а на земле: если что-либо делаем, то в том направлении, которое показывает нам та или иная тенденция движения, а свои усилия реализуем в меру той возможности, которую даёт нам почва. Что же должно быть для нас почвой? Самые наиболее интересные интересы масс (народа) или, может быть, интересы самодержавия, православия и господствующей нации? А ведь доктрина великорусского народничества (даже радикальнейшего) ведёт именно к тому, чтобы укрепить господствующую нацию. На что нам опереться в своих усилиях? На опыт и принципы общечеловеческого передового движения и современные достижения науки или, может быть, на реакционные устремления русских самобытников, хотя бы они и выступали под знаменем народничества? Украинцы<sup>1</sup> выбирают последнее, ибо как были рабами, так и остаются, — выбирают именно то, что по своей сути враждебно всяким национальным стремлениям, враждебно прогрессу времени и подлинным интересам низших сословий.

Народники, говорите Вы, не враждебны к украинцам, но, добавлю, и не очень благосклонны. Напишите побасенку, — они сразу же напечатают её, а заговорите об украинской науке, школе, внедрении украинского языка во всех делах общественных, — то увидите, какой они поднимут вой, сразу же завопят о распылении сил, отвлечении народа от «единого общего дела». Разве не правда? И это вытекает из самой сути их доктрины. Марксисты не могут так смотреть хотя бы потому, что стоят на почве классово-вой борьбы, не признают «неделимых наций», пока среди этих наций существует антагонизм с точки зрения классовых интересов. Доказательство того, что украинцы поддерживают великорусских псевдонародников, можно найти в их статьях, хотя статья И. Ф. не является таким доказательством. А в последней брошюре разве не читали: «В наше время жесточайшего марксизма и всяческого декадентства не часто можно сыскать такого идеалиста-юношу»<sup>2</sup>. Безусловно, это чепуха и глупое невежество: приравнивать марксизм к декадентству или считать идеализм несогласным с марксистской доктриной...<sup>3</sup> а разве мало украинцев, которые также болтают своим языком

без костей и мелют попусту? Во имя чего? Всё во имя той же «единой, неделимой».

Что артели Левицкого являются либо фикцией, либо, в лучшем случае, товариществом для получения денежной ссуды, это подтверждают не только фактические сводки земских управ и разных лиц, а даже и его собственные слова. Разве, например, не смешно, когда Левицкий с пафосом раззванивает на весь мир, что тут или там два человека из одной семьи организовались в артель, и выводит из этого доказательство огромного артельного движения среди нашего крестьянства? В том, что он от чистого сердца разбивает лоб перед великорусскими богами, в этом я не сомневаюсь, но от этого дело не улучшается. Что Костомаров и Кулиш были православниками (не христианами, а именно православниками) в наихудшем значении этого слова, то есть суеверно-обрядном, так это, по-моему, не требует никаких доказательств: вся их жизнь, деятельность и взгляды свидетельствуют об этом. Кост[омаров] отроду был человеком кроткого, консервативного, суеверно-религиозного характера и умер таким. Кулиш — человек более сложного характера, непостоянный и задиристый, который иногда широко мыслил, видел много такого, чего не видели другие, ум острый и критический; но вообще сторонник православия и реакционер в общественно-политическом отношении, он до самой смерти оставался верен этой реакционности, а если он сгоряча бросался то к полякам, то к русским, а от русских к полякам, так в этом не было ничего противоречивого: он менял господ, а как человек непостоянный, делал это чаще, чем другие, вот и всё. Подлинный украинский национализм <sup>1</sup> начался с того времени, когда украинская интеллигенция доросла вслед за другими до мысли, что основа не в господах с их богами, а в народе, что просвещение не в рабском подражании, а в науке и свободной мысли... А как Вы думаете, что проповедуют современные украинцы, когда оплакивают в своих псевдоисторических произведениях «веру предков»? И какова цена такой национальной идее? Ну, да чёрт с ним, знаю, что такой разговор ни к чему не приведёт. Имейте в виду: не только тот любит свою страну, кто всё захваливает и не сводит зачарованных очей с неё, но также и тот, кто иногда проклиная и ненавидит, как бы

горько ему ни было это. Трудно высказать всё в письме, останутся недоумения, — лучше брошу.

[31 августа 1900 г. Tobольск]

...Что касается марксизма, так я не сторонник догматического марксизма, как вообще не сторонник догмы и ортодоксий; но я не разделяю тех иллюзий, вредных для развития масс, которые не имеют под собой почвы ни в жизни, ни в науке. Говоря о ненаучности и безрассудности того социологического мировоззрения, которого придерживается «Вестник», я этим самым не говорю о невежестве его сотрудников, ибо не столько мы придерживаемся той или иной доктрины по мотивам научным, сколько исходя из взглядов и интересов классовых, слугою которых мы делаем всегда и науку. Удивительная вещь: «Вестник», такой радикальный в делах поверхностного национализма и заклятый враг русской реакционной прессы, враждебной нашему национальному вопросу, в делах социологических очутился в компании небольшой, но честной, с «Новым временем» в лице Фаресова, одного из нововременских молодцов, который, после выступления журнала, только и мог «спокойно и объективно» (ещё бы, «Нов[ое] время» и «Мос[ковские] вед[омости]»<sup>1</sup> да не оценили бы спокойно и объективно) оценить знаменитые начинания Левицкого и брошюру которого «Народники и марксисты» «Вестник» рекомендует читателям, хотя это, как известно, такая брошюра, что о ней стыдно всерьёз и говорить. Чтобы быть последовательными, сотрудникам «Вестника» надо было бы объединиться с «Нов[ым] врем[енем]» и в национальных вопросах, так как это вопросы наиболее социологические. Этим я хочу только сказать, на какой шаткой почве стоят украинцы в компании с гг. Фаресовыми!

Спрашиваете Вы меня, как я перевожу стихи — с оригинала или нет? Всякое бывает. Чаще всего так: товарищи, которые хорошо знают многие языки, переводили для меня буквально, а я по этим подстрочникам делал литературные переводы стихов. Кроме того, я много выписывал книг по истории литературы различных народов, много читал статей об иностранной поэзии и в этих произведениях немало находил дословных прозаических переводов, кото-

рыми и пользовался. Так перевёл я большую часть стихотворений. Бывало и так, что английские стихи я переводил с немецкого, грузинские с польского и пр. Когда же приходилось иностранные стихи переводить с русских стихотворных переводов, то я обычно имел перед собою несколько разных переводов и сравнивал их. С чешского, сербского и болгарского языков, что имел под рукой, переводил с оригинала, с польского — всё. В произведении для меня главное — это основная мысль и общий характер, мелочи для меня — ничто, ведь я не антикварий, поэтому считаю такой способ работы вполне возможным, лишь бы была хороша работа. Жуковский, как известно, перевёл «Одиссею» не с греческого, а с немецкого; Минаев большую часть своих переводов делал по подстрочникам, которые ему представляли за плату студенты. Аду Негри перевожу с оригинала, но сначала, когда ещё не имел оригинала, несколько стихотворений перевёл по подстрочнику, — некоторые из них я переводил снова уже с оригинала, все остальные также буду переводить снова.

Переводов собралось у меня немало, между прочим, с языков народов, литература которых мало нам известна, — армянского, мадьярского, грузинского, шведского, финского, эстонского, а также многих славянских народов. Жаль только, что мне приходится работать одному, не с кем посоветоваться, некому прочесть, чтоб послушать, что скажут добрые люди, и воспользоваться их советами. Этого мне больше всего недостаёт. Переводить мне не тяжело, и эту работу я не думаю бросать и в дальнейшем; давно уже я мечтаю написать для украинцев хоть коротенькую историю мировой поэзии, и не только историю, а чтобы в ней были и переводы произведений более или менее виднейших авторов...

[6 января 1901 г.<sup>1</sup> Tobольск]

...Я никогда не говорил Вам и не скажу, что не надо писать о казачестве; наоборот, нужно и очень нужно, потому что у нас не сказано ещё правдивого слова об этом историческом явлении; нужно только отбросить тот туман, химеры и небылицы, какими наши писатели размалёвывают прошлую и современную Украину. О казачестве у нас пишут обычно так, как писали сто лет тому назад, как

велит традиция, а не научные исследования об эволюции общественных движений. Наибольшей из небылиц является та, будто бы Украина когда-то была единым и неделимым организмом с точки зрения национальных интересов и усилий, как хотят уверить наши псевдопатриоты, — такой Украины никогда не существовало и не существует. В представлениях наших историков, а особенно повествователей и драматургов, Украина как была, так и остаётся абстракцией, выдуманной ярыми, хотя и неразумными вздыхателями; эту абстракцию сотворил у нас шляхетский (дворянский) патриотизм — реальный (с точки зрения потребностей господствующих сословий) и книжный (во имя идей), одинаково вредный как для истинного национально-украинского дела, так, может быть, ещё больше для жизненных интересов народных масс. Второй выдумкой является то, что якобы Украина (опять-таки какая-то фикция, если брать её единой) боролась с врагами за «веру отцов» и «волю родной страны»; такие «благоглупости» писались на знамёнах главарями и политическими интриганами, так как никогда те, которые борются из-за узких, эгоистических интересов, не скажут, что они борются именно за это, а наговорят «благородных слов огромное количество», думая, что неразумное потомство так сразу и поверит им; это обычный ход истории. Никогда Украина не боролась во имя какого-то ясного общеукраинского идеала и никогда не существовало ясного общеукраинского патриотизма, потому что никогда интересы и потребности различных сословий украинского народа не были одинаковы, а, наоборот, были антагонистичны, и говорить о какой-то целостной Украине, об её борьбе за судьбу родного края — значит, сочинять ложь сознательно или несознательно. Каждый боролся только за себя, за свою «долю», то есть за свои интересы, и стремился использовать силу и «патриотизм» зависимых сословий для удовлетворения этих интересов. Не за веру отцов и не за «неньку Украину» боролось высшее укр[аинское] дворянство, а за своё господство на Украине, и старалось вырвать это господство из рук поляков и других «врагов»; не за Украину, а за свои «привилегии» боролось и казачество, которое выезжало на шее народа, с презрением глядя на него; не за Украину боролась и верхушка украинского духовенства, защищая

независимость укр[аинской] церкви, а за своё господство в этой церкви; поэтому она склонялась и к Польше, ибо католическая Польша более обеспечивала ей эту самостоятельность господства, нежели православная Москва, под властью которой верхушка украинского духовенства должна была сойти на второстепенные роли, как это потом и получилось; по этой же самой причине простое духовенство и монашество, не очень материально обеспеченные, зависимые от высшей иерархии, скорее подчинённые, чем господствующие, тянулись к московскому православию и белому царю, так как надеялись на большую милость и улучшение своего благосостояния, которого им трудно было добиться под польским или каким-либо другим господством. Трудовой народ также тянулся к православию и белому царю, ибо не имел спокойной жизни среди непрерывной казацкой завирухи, являясь лишь пушечным мясом в руках всех сословий, которые стояли над ним, и боролся за привилегии этих сословий, вечно горел в адском огне и вечно бедствовал, а когда поднимался гайдамацкими отрядами, так не против Польши, а вообще против угнетателей — виновников социального гнёта, из какого бы колена — польского или украинского — они ни происходили. Наши писатели очень легко разрешают этот вопрос, зачисляя кое-кого из исторических укр[аинских] деятелей в разряд «предателей», «оборотней» и тому подобное, думая таким способом преодолеть все истор[ические] недоразумения и приписывая предательству отдельных личностей, в лучшем случае — кучки, всю тяжесть сложных социальных событий. Не в предательстве здесь дело, это чепуха и больше ничего; основа в противоречии классовых интересов, в том, что каждое сословие тянуло в свою сторону и пыталось, если имело силу, потянуть в ту же сторону и всех других — каждое сословие, таким образом, делалось предателем по отношению к другому, а это как раз приводит вопрос о предательстве *ad absurdum*; господствовала «украинская» идея того сословия, которое имело в тот или иной момент больше возможности использовать другие сословия во имя своих собственных интересов. Украинское дворянство ближе стояло по своим стремлениям, материальным и духовным потребностям к польскому дворянству, больше сроднилось с ним, чем с укр[аинским] простым народом, с которым у

него не было ничего общего, кроме зависимости, устанавливавшей привилегии одной части украинцев над другой. За эти привилегии и боролись укр[аинские] господствующие слои против польских или московских, боролись за владение хлопами, поместьями, землями и за власть, а совсем не за свободу отечества или веру. И «воля» и «вера отцов» у каждого класса были свои и проявлялись они не в чём ином, как в реальных жизненных запросах, за которые по существу только и шла борьба. А «ненька Украина» была для них только лозунгом, под которым господствующие слои грели себе руки. Сказать, что украинский дворянин, иерарх или казак стремились к той же цели, что и посполитые, что все они были охвачены едиными мыслями и стремлениями, одинаково боролись за укр[аинскую] идею,— значит, тепшить и себя, и читателей сказками, закрывать глаза на события действительной жизни, затыкать уши, чтобы не слышать голоса науки и разума. А наши писатели так и пишут, набивая головы ерундой, которой и так уже слишком много. Вот если бы они показали нам не абстрактное казачество, а такое, каким оно в действительности было, с его реальными интересами и стремлениями, отбросили пустословие о вере отцов и свободе «неньки Украины», спустили казака, как и всякого украинца, с небес на землю,— так это было бы действительно полезное дело, которое можно было бы назвать и национальным, и патриотическим, а тот «патриотизм», который вертится только на словах и повторяет старые небылицы, хотя б он был даже действенным, всё-таки останется «пустым» и вредным для нашего национального развития. Те же самые взгляды на Украину господствуют в значительной мере и в наших произведениях, даже реалистических, о современной жизни, не говоря уже о том, что все они не обходятся без любви, которая обычно описывается так, как описывал Карамзин <sup>1</sup> влюблённых барышень, то есть так, как люди никогда в действительности не любят. Этим грешат, между прочим, произведения Кропивницкого, не говоря уже о менее талантливых наших писателях. На этом основании я и считаю произведения галицких прозаиков (Стефаника <sup>2</sup>, Франко, Бордуляка <sup>3</sup> и других) выше украинских...

[16 марта 1902 г., Тобольск]

...Достал вторую книжку «Киев[ской] старины» и прочёл начало Вашей новой повести<sup>1</sup>. Простите, что буду говорить правду. Повесть не везде производит одинаковое впечатление: там, где Вы рисуете правдивую сельскую жизнь и выводите правдивые типы крестьян, ничего не подкрашивая, проявляется обычное Ваше художественное дарование; читается легко, даже с увлечением: здесь Вы целиком овладели темой, и люди, как живые, встают перед глазами у читателя. Такое впечатление производят «Чёрная туча» и «Общество» (эта глава написана очень хорошо). Но совсем иначе получается там, где Вы рисуете бытовые картины и людей не такими, какими они бывают в жизни, а идеализируя, желая, чтобы они такими были; оттого-то эти места вышли какими-то бледными, мёртвыми и читаются тяжело, как и всё «выдуманное». Вот хотя бы «Зинько» (II глава), это не живой человек из тела и костей, а какая-то абстракция без типических выразительных черт. На 241-й странице Вы с излишним сентиментализмом рисуете сельскую идиллию; в селе (или в поле, около села — одинаково), по-Вашему, всё такое хорошее, радостное, весёлое... «и небо смеётся, и поле смеётся, и смеётся счастье... жить на свете легко... на свете много счастья... хочется жить и работать, делать что-то хорошее, как прекрасные поля...». Ещё раз простите, дорогой брат, но только это не чувства крестьянина, а наивные мечтания интеллигента-горожанина, который наглотаётся городской пыли, нарабатывается в четырёх стенах в духоте и сплошном отупении и рад вырваться на свежий воздух, на простор степей и полей, отдохнуть и душой и телом. Не удивительно, что в его измученном воображении село представляется каким-то раем в сравнении с городом, поля кажутся золотистыми или алыми или ещё какими-то:

А подивися та спитай,  
Що діється у тому раї...<sup>2</sup>

В моём воображении, например, чаще вставали такие картины (и весной и осенью): на дворе слякоть и очень холодно; небо хмурое и заплаканное, и беспрестанно сеет мелкий колючий дождь, сырой и холодный ветер пронизывает до костей; кругом — лужи и непролазная грязь



такая, что глянуть страшно, на пашне, залитой водой, еле вытаскивая ноги, с утра до ночи бьётся человек — не человек, а какое-то подобие человека, чёрное тряпье на нём промокло, взгляд отупелый, тоскливый. Замученная сухорёбрая «коняга», выбиваясь из последних сил, не может тащить соху (сделанную ещё при Адаме), человек всей грудью налегает на соху, старается помочь, но откуда у него возьмётся сила... А придёт косовица, жатва... Эти идиллии более обычны, чем те, которые Вы рисуете. Мимоходом, однако, Вы сами бьёте себя: Ваша повесть повествует о том, что село держит человека в темноте и рабстве, рождает живодёров и бессердечных зверей, что иные типы и иные мысли начинают возникать в селе под влиянием просветительной работы и общественного сознания, которые идут из города, село же не только консервативно само по себе, но и борется с малейшими проявлениями передового общественного движения, и мне кажется, что в последующих главах Вашей повести немало будет для этого доказательств: варварское село засосёт носителя передовых городских идей, Зинька, — проглотит, съест и не скривится, а съест с торжествующим смехом и жестокостью, — это только в селе можно увидеть. Искренних поборников передовой мысли село никогда не давало и не могло дать: оно всегда отстаивало то, что «велось от деда-прадеда», как то: неподвижность и мысли и жизни <sup>1</sup>. Односторонность и буквоедство крестьянского сектантства дали нам яркий пример полного бессилия доморощенной мысли, мало направляемой или совсем не направляемой просветительно-культурными городскими идеями и стремлениями. Единомышленники Зинька читают Оуэна, их захватывает его сочувствие к простым людям, — как бы Вы ни умаляли достижений городской культуры, а это не что иное, как культурное влияние города на село. Дело только в том, я это очень большая утрата, что 1) деревня мало ещё приблизилась к городу; 2) деревня, в результате своей темноты и малокультурности, перенимает от города худшие стороны городской культуры, потому что они роднее крестьянству, нежели действительная культура; но, по мере того как деревня будет становиться городом в значении общепросветительном, она воспримет и лучшие передовые мысли и идеи... Такое моё предвидение...



МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ  
КОЦЮБИНСКИЙ





---

## ИВАН ФРАНКО

(Биографическая заметка)



Иван Франко, наиболее популярный и талантливый представитель современной малорусской литературы, родился в с. Нагуевичах, в Галиции (Австрия), в семье довольно зажиточного крестьянина-кузнеца. Из коротенькой автобиографии Франко, помещённой в сборнике его рассказов «В поті чола», узнаём, что уже в шестилетнем возрасте он начал посещать школу в соседней деревушке Ясенице-Сельной, где пробыл два года, научился читать (в 10 дней) и писать по-малорусски, по-польски и по-немецки. Спустя два года отец Франко поместил его в нормальную школу отц. Василиан в г. Дрогобыче. Одетый в крестьянскую одежду, робкий, смирный, часто неумытый, мальчик весь год был посмешищем класса и, натерпевшись досыта от жестоких учителей, неожиданно к концу года, на удивление себе и всему классу, очутился первым учеником. Эту горькую науку, не заглушившую, однако, необыкновенных способностей мальчика, Франко описал потом в своих рассказах «Schönschreiben» [«Урок чистописания»] и «Олівець» [«Карандаш»].

Получив на экзамене первую награду за успехи, девятилетний Франко два месяца спустя остаётся сиротой. Смерть отца неблагоприятно отразилась на благосостоянии семьи. Молодая мать с четырьмя детьми на руках не в состоянии поддержать распатавшегося хозяйства и вынуждена в скором времени вторично выйти замуж. С этого

времени семейная атмосфера в обновлённой семье Франко меняется. «Во времена отца,— рассказывает он,— у нас бывало много народа, шло гостеприимство, водились знакомства, чисто бескорыстные и поэтические, кормилось в доме много бедной и не имевшей определённых занятий отцовской родни, которая после смерти отца принялась расхищать оставшееся имущество. Отчим постепенно всё это прекратил. Это натура насквозь практическая и реальная, без искры поэзии, но со значительной дозой скептицизма и вольнодумства, человек сильной воли и энергии. Я и до настоящего времени очень уважаю его, как обыкновенно уважают человека, отличающегося качествами, каких у нас самих мало».

Благодаря стараниям отчима Франко окончил нормальную школу и в 1868 году поступил в гимназию. В гимназии повторилась с ним та же история, что и у Василиан. На него не обращают внимания, он весь год сидит где-то в углу, на «ослиной скамье», и ковыряет пальцем дырку в стенке. Экзамен опять показывает, чего стоит этот деревенский мальчишка, и опять выдвигает его в первые ряды, откуда уже он не уходит на протяжении всего гимназического курса. Школьного ученья Франко не любил, зато чтение совершенно поглощает его. Ещё в низших классах гимназии, раздобыв «Кобзаря» Шевченко, он выучил его наизусть; в старших классах Франко с жаром набрасывается на Шекспира, Шиллера, Клопштока, Красицкого<sup>1</sup>, Гёте, Сю, Коцебу, Мицкевича и др. (причём наиболее сильное влияние на него имели Гомер, Софокл, Тацит и библия) и уже с шестого класса начинает собирать собственную библиотеку, заполнившую за три года целый шкаф произведениями европейских классиков. Из малорусских писателей кроме Шевченко и Марка Вовчка наибольшее впечатление произвёл на Франко Панас Мирный своим рассказом «Лихий попутав» [«Бес попутал»].

Первые пробы писать стихи и прозу относятся к тому времени, когда Франко был ещё в низших классах гимназии. Ещё тогда начал он собирать народные песни, сначала от своей матери, а потом и от других людей, ремесленников и пр., так что в скором времени обладал двумя мелко исписанными толстыми тетрадами с восемьюстами песен. Когда Франко, окончив в 1875 году гимназию, отправлялся

во Львов с целью вступить в университет, в его литературном багаже имелось всё: и любовные стихотворения, и драмы, и поэмы; главным же образом переводы: «Антигона» и «Электра» Софокла, часть «Иова», несколько глав «Исайи», «Одиссеи», «Уриэль Акоста» Гудкова, целая «Краледворская рукопись» и т. п.

Во Львове в университете девятнадцатилетний «академик» (студент) вступает в «академический кружок» и принимает живое участие в редактировании журнала «Друг», в котором ещё в 1874 году начали помещать первые стихотворения Франко.

Живая фантазия молодого писателя под влиянием фантастических рассказов Гофмана находит широкий простор в сенсационной повести «Петрії і Добушуки», написанной Франко для «Друга». Сотканная из всяких ужасов, заколдованных кладов, разбойников, привидений, убийств и оживающих мертвецов, окрашенная кое-где мистицизмом, повесть эта не чужда, однако, социальных мотивов, сыгравших немаловажную роль в позднейшей литературной и общественной деятельности Франко, искрится блёстками истинного таланта, выросшего и окрепшего со временем.

К этому времени (первые годы университетской жизни) относится начало влияния на молодого писателя М. Драгоманова<sup>1</sup>. Письма Драгоманова в редакцию «Друга» открывают Франко более широкие горизонты, заставляют его познакомиться с лучшими из современных писателей, взяться за науку. Он набрасывается на Золя, Флобера, Шпильгагена, Толстого, Тургенева и др., вырабатывает литературный вкус и манеру и уже в половине 1876 года выступает с первым не фантастическим, а реальным произведением из народной жизни: «Лесишина челядь» [«Лесихина семья»] и «Два приятелі», а в 1877 году печатает картинки из жизни рабочего люда под заглавием «Борислав».

В июне того же года над Франко стряслась беда: его и всю редакцию «Друга» арестовали. «Бестолковый процесс, — пишет он, — свалившийся на меня, как среди улицы кирпич на голову, и окончившийся для меня обвинением, хотя у меня не было за душой и тени того греха, какой приписывали мне (ни тайных обществ, ни социализма; я был социалистом по симпатии, как мужик, но я далёк был от понимания научного социализма), был для меня

тяжёлым испытанием. Девять месяцев, проведённых в тюрьме, были для меня мучением. Ко мне относились, как к обыкновенному преступнику, посадили вместе с ворами и бродягами, которых бывало в одной камере со мной по 14—18 человек, переводили из камеры в камеру, производя постоянные обыски и придираясь (это, видите ли, потому, что я «писал» — записывал на случайно раздобытых клочках бумаги случайно раздобытым карандашом — песни и пословицы из уст товарищей заключения или собственные стихотворения), а несколько недель я просидел в камере, имевшей только одно окно и помещавшей 12 человек, из которых 8 спало на нарах, а 4 — под нарами, за отсутствием места. По протекции «товарищи» уступили мне «наилучшее» место под окном против двери, а так как окно вследствие духоты днём и ночью было открыто, то я каждое утро просыпался, имея на голове покров снега, нанесённого из окна.

Однако не лучше, а может быть и хуже, жилось Франко по выходе из тюрьмы. Лойяльное общество отвернулось от него, как от прокажённого. Его удалили из общества «Просвіта», запретили посещать «Бесіду» (клуб, в котором собираются малорусские патриоты), а те, кто желал иметь с ним сношения, старались делать это тайно и осторожно, чтобы никто не заметил. Только небольшой кружок молодёжи не покидал его. Несмотря на это, Франко, переживая тяжёлые дни, не опускает рук. Он слушает в университете лекции, совместно с другом своим М. Павликом<sup>1</sup> издаёт журнал «Громадський друг» [«Друг общества»], пишет рассказы, обдумывает план целого цикла новелл, в которых хочет изобразить все стороны жизни простого люда и интеллигенции: отношения экономические, юридические, политические и др. С неиссякаемой энергией хватается он за сотрудничество в польских журналах и газетах, не оставляя в то же время переводов на малорусский язык поэм Гейне, «Фауста» Гёте, «Каина» Байрона, Шелли и др. Но не прошло и двух лет этой кипучей деятельности на свободе, как Франко опять арестовывают и запирают на три месяца в тюрьму. Выпустив из тюрьмы, его, больного, в жару, отсылают пешком с полицейским агентом в Нагуевичи, в родное село поэта, причём гонят его по атапу, из тюрьмы в тюрьму. В дороге, захваченный проливным дождём и про-

мокший, что называется, до костей, Франко заболел ещё серьёзнее и, пролежав некоторое время дома в тяжёлой обстановке, отправился в Коломыю, чтобы оттуда направиться к своему приятелю, сидевшему с ним в тюрьме. В Коломые прожил он неделю в гостинице, где написал свою повесть «На дні», яркими красками изобразив в ней тюрьму в Дрогобыче, потом прожил три дня на три цента, найденные им на берегу Прута на песке, а когда и их не стало, заперся в номере и полтора дня лежал в жару, голодая и ожидая смерти. Здесь спасает его от смерти один из товарищей и приглашает к себе в деревню, где Франко прожил несколько недель отдыхая. Но и там администрация не оставляет его в покое. Староста коломыйский приказал жандармам доставить Франко в Коломыю, а так как у Франко не было средств нанять подводу, то жандармы, несмотря на болезнь Франко, в летнюю жару погнали его в Коломыю пешком. «Тяжёлая это была дорога, — вспоминает Франко в своей автобиографии, — после которой у меня на обеих ногах отвалились ногти на пальцах».

Староста, увидев у Франко паспорт, отпустил его на волю. Франко возвратился во Львов и опять поступил в университет.

С этого времени, борясь беспрестанно с нуждой, живя часто впроголодь, Франко с удивительной энергией проявляет разнородную деятельность во всех родах литературы, не уставая в то же время вести борьбу за лучшее будущее близкого и дорогого ему рабочего люда, не страшась

Проти рожна перти,  
Проти хвиль [воли] плисти.  
Сміло аж до смерти  
Хрест святий нести...

Сторонник социально-демократических теорий, Франко близко сходится сначала со львовскими рабочими, а потом и с крестьянами и ещё в 1878 году составляет краткий катехизис экономического социализма и читает лекции по политической экономии в рабочих кружках самообразования, издаёт начиная с 1881 года журналы и газеты: «Світ», «Літературно-наукову бібліотеку», «Народ», «Життя і слово» и др., пишет повести, драмы, рассказы, стихотворения



и научные статьи, заполняет своими работами чуть не все галицкие малорусские периодические издания, помещает корреспонденции, статьи и переводы с иностранного в польских и русских журналах, читает публичные лекции — вообще проявляет необыкновенную плодовитость, отличаясь разносторонними талантами и большой эрудицией.

Весною 1886 года мы встречаем Франко в Киеве, где он женится на г. Ольге Хоружинской. В следующем году Франко вступает в качестве соредактора в состав редакции польской газеты «Kurjer Lwowski». Место это, до недавнего времени, обеспечивало ему существование, но Франко теряет его, поместив характеристику Мицкевича как певца измены.

В довершение ко всем бедам, пережитым Франко в течение его недолголетней жизни — в настоящее время ему всего 44 года, — в 1889 году Франко опять арестуют вместе с приехавшими из России Дегеном, Кистяковским и Моршанским. Франко продержали около трёх месяцев и, наконец, освободили. Но за что именно арестовали его, какой факт послужил причиной лишения его свободы, Франко не мог узнать, и до сих пор, как сознаётся, ему это неизвестно. Близкое знакомство с тюрьмой, с её нравами и обычаями дало ему возможность подарить малорусской литературе несколько прекрасных очерков из жизни арестантов («На дні», «До світла»), а также ряд тюремных советов.

Как общественный и политический деятель Франко пользуется широкой известностью среди молодёжи и галицких крестьян, для развития самосознания которых он так много потрудился совместно с небольшим кружком необыкновенно активных членов украинской радикальной партии. Выборы 1897 года, на которых Франко ставил свою кандидатуру в парламент, показали значение и силу этой партии. Франко, однако, не был избран благодаря неблагоприятным манипуляциям на выборах противной партии. В настоящее время доктор философии, Франко не оставляет литературной нивы, принимает живое участие своими работами в изданиях «Наукового товариства імені Шевченка» и состоит одним из редакторов «Літературно-наукового вісника».



МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ  
КОЦЮБИНСКИЙ

Точно живой стоит у нас перед глазами Иван Франко, каким видели мы его несколько лет тому назад во Львове! Небольшого роста, всегда скромно одетый, он своим духовным обликом производит сильное впечатление. Глядя на его высокий, благородно очерченный лоб, в его серые, острые и умные глаза, в глубине которых таится грусть, невольно забываешь его неказистую фигуру, рыжие волосы, рыжие с красноватым оттенком усы, обильно покрывающие лицо веснушки.

Сила, закалённая в боях, несокрушимая вера в победу идеи, его сердечность и в то же время как бы затаённое презрение к людям — плод, быть может, горького опыта — всё это очаровывает, располагает к Франко. В 1898 году Украина праздновала юбилей 25-летней литературной и общественной деятельности Франко.

Трудно, конечно, втиснуть в узкие рамки биографической заметки такую крупную литературную фигуру, какою является Франко, да и не настало ещё время делать полную и разностороннюю оценку писателя, живущего и работающего среди нас, в то же время — и кто знает — не достигшего, быть может, кульминационного пункта развития творческих сил.

Но пока настанет время, когда на фоне истории литературы отчётливо вырисовется силуэт борца-поэта и определится его место среди семьи малорусских писателей, бросим беглый взгляд на те произведения Франко, в которых наиболее ярко проявляется его талант со свойственными ему особенностями.

Кто не знаком со сборником новелл Франко под заглавием «В поті чола», тот едва ли знает этого писателя.

Здесь, на протяжении двадцати картин из жизни рабочего класса, дефилируют пред читателем живые люди, тёмные, угнетённые жертвы социального строя, что в поте чела зарабатывают хлеб не только себе, но и другим, более счастливым слоям общества. Здесь, в этих рассказах, весь Франко, с его любовью к народу, с энергическим протестом против всякого рода обид, гнёта и несправедливости, с горячим призывом к работе на благо угнетённым и оскорблённым.

Кто из нас, обеспеченных тёплым углом и ежедневным обедом, не ощущал глухих упрёков совести, читая такие

рассказы, как «Муляр» [«Каменщик»], «Сам собі винен» [«Сам виноват»], «Цигани», «Ліси і пасовиська» [«Леса и пастбища»] и пр.

Не встают ли живым упрёком перед нами, культурными и просвещёнными, люди и события в рассказах «На дні», «Хлопська комісія» [«Мужицкая комиссия»], «До світла», «Олівець» и др.?

Поэтический флёр «Лесишиної челяди», психология «Малого Мирона», здоровый юмор в очерке «Грицева шкільна наука» вместе с прекрасными описаниями природы приковывают читателя к книжке, вызывают художественные эмоции, будят мысль...

«Такие литературные работы,— говорит Драгоманов по поводу сборника «В поті чола»,— пробуждают симпатии к простому люду и зовут просвещённую интеллигенцию во имя самого просвещения относиться к этому люду, как к брату».

Мы умышленно остановились на упомянутых выше рассказах, так как, по нашему мнению, они наиболее характеризуют направление и литературную манеру автора их. С одной стороны, примыкают к ним, поскольку они охватывают те же сферы жизни рабочего класса и отличаются реализмом изображения, такие рассказы и повести, как «Boa constrictor», «Борислав» (картины), «Борислав сміється» (повесть), «Яць Зелепуга», «Полуйка» и пр. С другой стороны, мы имеем позднейшие работы Франко — его большие повести и романы: «Основи суспільності» [«Столпы общества»], «Для домашнього вогнища» [«Ради семейного очага»], «Перехресні стежки» [«Пути-дороги»] (печатаются в настоящее время в «Літературно-науков. віснику»), талантливо и увлекательно написанные, в которых Франко вводит читателя в буржуазные и аристократические кружки, уже не в такой мере знакомые ему, как простой сельский народ.

В «Boa constrictor» и «Бориславських образках» мы видим широкую картину эксплуатации народа, тут уже показываются когти капитализма, в новейшее время так сильно отрастающие и заостряющиеся. Но, изображая жизнь угнетённых, автор освещает и душу угнетателя, даёт интересную психологическую картину, что делает произведения его ещё ценнее.

Беря для своих беллетристических работ сюжеты из современной нам жизни, Франко не отказывается и от исторических тем. Так, его исторический роман «Захар Беркут», награждённый премией на литературном конкурсе, изображает последние дни вечевоего строя на Украине, который падает в борьбе с княжеской и боярской властью. Роман этот, не лишённый романтической окраски, принадлежит к первым молодым работам Франко.

Мы не можем, не утомляя читателя, перечислить здесь всех или по крайней мере большинство беллетристических произведений Ивана Франко, разбросанных в малорусских периодических изданиях и вышедших в свет отдельными изданиями за 27 лет его литературной деятельности.

Заметим только, что произведения эти, написанные рукою истинного художника, почти все отличаются артистическим исполнением, теплотой, правдивостью и колоритностью рисунка, свидетельствуя о крупном таланте этого писателя.

Хороший прозаик, Франко не менее известен как поэт. Первым произведением его было стихотворение, и с того времени, более четверти века, муза не покидает Франко. Ограничиваясь в первое время горячими призывами общества к идейной работе, поэзия Франко из агитационной становится со временем более общей, в ней слышатся иные мотивы, она блещет богатством красок и форм. Некоторые лирические стихотворения Франко — истинные шедевры. Мы имеем в настоящее время 4 сборника его стихотворений: «3 вершин і низин» (большой том, заключающий в себе, между прочим, поэму «Панські жарти [забавы]»), «Зів'яле листя», представляющую нечто целое — лирическую драму, и сборники «Мій ізмарagd» и «Поеми».

Богатая образами и идеями, колоритная и ароматная, как цветущий луг, поэзия Франко обнимает различные сферы чувства, блещет оригинальностью и силою.

В драматической литературе Франко тоже не новичок. Его драма «Украдене щастя», получившая премию на драматическом конкурсе, создала ему славу драматурга. Написанная на оригинальную тему — деморализующее влияние жандарма в деревне, в семье крестьянина, — она отличается тонкой обсервацией жизни, рельефным

изображением характеров, живостью акции. Остальные драматические произведения Франко — «Сон Святослава», «Кам'яна душа», «Учитель» — далеко слабее, хотя последняя и до сих пор не сходит со сцены в Галиции.

Франко известен и в детской литературе. Кто не читал его прекрасной, блестящей переделки из Гёте под заглавием «Лис Микита», тот много потерял. Написанная для детей, она с интересом читается взрослыми; также интересна, хотя и менее, по сравнению с предыдущей, восточная сказка «Абу-Каземові капци», написанная лёгким, изящным стихом. Нельзя не упомянуть также о стихотворной переделке «Дон-Кихота» и массе мелких рассказов, сказок, стихотворений и т. п.

Отдаваясь творчеству в области изящной литературы, Франко задался целью сделать доступными своему народу богатства европейской классической литературы. Только широкое ознакомление с общечеловеческими идеями, воплощёнными в артистическую форму литературными талантами всего цивилизованного света, воспитывает человека, даёт возможность лучше узнать то, что творится вокруг нас, с большей пользой отдать силы своему народу. И Франко переводит на малорусский язык «Фауста» Гёте, «Каина» Байрона, Гейне, «Мёртвые души» Гоголя и множество произведений других писателей...

Приходится удивляться, если вспомним, что при такой продуктивности во всех отраслях изящной словесности, при его политической и общественной деятельности Франко работает и для науки. Оставляя в стороне целый ряд его статей и исследований фольклористического, публицистического, критического, исторического и политико-экономического характера, отметим хотя бы его литературно-историческую монографию «Иван Вишенський і його твори» и «Варлаам і Йосафат — старохристиянський духовний роман», свидетельствующие о громадной эрудиции автора и ширине кругозора.

Такая разносторонность литературного творчества объясняется, по сознанию Франко, его темпераментом, его горячим желанием объять весь круг человеческих интересов.

Необыкновенно плодовитый, о чём свидетельствует хотя бы указатель его произведений, изданный 2 года

тому назад и представляющий 128 печатных страниц, отличающаяся разнообразием затронутых им тем, знанием человеческой души, колоритностью языка и умением в дивной гармонии сливать национальное с общечеловеческим, Франко является самым крупным, самым выдающимся из современных малорусских писателей.

В последнее время произведения его усиленно переводятся на немецкий, венгерский, польский, русский и другие языки.

[1900 г.]





## СВЕТ И ТЕНИ РУССКОЙ ЖИЗНИ



омнится, один из педагогов в своём учебнике, одобренном кем следует для употребления в школах, поучает молодое поколение, что инородцы навсегда останутся пасынками России. Как это ни дико звучит в наш век, век гуманизма и толерантности, однако приходится сознаться, что инородцы, живущие на наших окраинах, представляют из себя пасынков если не России, то по крайней мере судьбы.

Стоит лишь вспомнить картину современного быта северных инородцев, рисуемую газетой «Сибирь»: голод, обеднение, эксплуатация, водка, сифилис и, наконец, вымирание целого народа, вызванное не физиологическими причинами, а экономической руиной...

Но, может быть, нуждаясь в поднятии экономического благосостояния, в медицинской помощи и других благах цивилизации, инородцы удовлетворены в своих просветительных стремлениях?

На это красноречиво ответит нам г. И. К., корреспондент журнала «Образование».

«Систематическое обучение якутов русскому языку началось,— пишет г. И. К.,— только с 70-х годов, когда министерством народного просвещения было основано несколько улусных школ».

(Раньше заводили школы для якутов священники, но попытки их не увенчались успехом вследствие разбросанности посёлков прихожан в радиусе 15—400 вёрст.)



«Казалось бы, что министерские школы должны принести больше пользы, чем прежние церковные, но в действительности школьное дело в улусах и в настоящее время является чем-то чужим, навязанным. Объяснить это легко: стоит лишь познакомиться с историей возникновения и существования улусных школ. Эта история прекрасно иллюстрирует многочисленные попытки нашей администрации привить культуру диким инородцам, а также и те приёмы, которые для этого употреблялись.

Задавшись целью научить грамоте якутов, администрация не ассигновала для этого необходимых средств, а сделала лишь для этого соответствующее распоряжение. Получив предписание, местные чины полиции немедленно приступили к воздействию на инородцев, между которыми неожиданно оказались поборники просвещения, строившие школьные дома и дававшие деньги на школьные нужды. Такими жертвователями обыкновенно являлись богатые инородцы, нуждавшиеся в покровительстве начальства или желавшие получить какой-либо знак отличия.

Содержание же открытой школы относилось всецело на средства улусных якутов, которые с этой целью облагались определённым налогом как деньгами, так и натурой. Обложение это, конечно, совершалось помимо желания якутов, относившихся к школе как к бесполезной затее и крайне тяготившихся возложенными на них обязанностями. Дело в том, что инородцы должны были также доставлять для школы учеников, так как иначе большая часть школ оставалась бы пустыми. Не видя никакой пользы от грамоты, якуты редко отдавали своих детей в русские школы, и последних приходилось брать почти силой. Обыкновенно набирались дети бедняков, и последние, чтобы избежать этой повинности, прибегали даже к уродованию своих детей.

Так, один из них отрубил своему сыну палец; другой научил своего сына притворяться глухим и так его вышколил, что даже врач не мог открыть симуляции, хотя и знал о ней. Но когда попечитель училища призвал его к себе и сказал как бы про себя: надо его взять к себе да полечить, буравчиком провертеть отверстие в ухе, то мальчик расплакался и стал кланяться в ноги.

Обязанные доставить определённое число учеников, якуты выбирали самых бедных... Вот как описывает их очевидец: «Тонкие, как соломинка, руки и ноги; огромный живот, который буквально «с коры распучило»; какой-то мутный не то задумчивый, не то мрачный взгляд; никакой улыбки, никаких признаков игривости, присущих детскому возрасту. Дети эти никогда не играют, никогда не говорят — всё молчат, всё будто о чём-то думают. Все они хорошо знают счёт до десяти, но представления их чрезвычайно ограничены».

Отрицательному отношению инородцев к грамоте немало способствовала и самая постановка школьного дела. Во многих училищах не было учебников, и в одном из них, например, буквы заучивались «по печатным листкам, хранящимся в конторке и когда-то составлявшим какие-то книги». В Сундарской школе, как и в большинстве других, никакой методы преподавания не было, и учитель «по имению программы ничем не руководствовался». В отчёте директора училищ встречается следующая интересная характеристика: «Хотя в каждом училище ревизующий находит все три отделения (так как ученики распределяются не по своим знаниям, а по числу лет, проведённых в школе), но после тщательной проверки он бывает вынужден большинство мальчиков записать в младшее отделение, лишь одного-двух отнести к среднему, а некоторых даже вовсе поставить вне отделения, образовав из них przygotowательную группу, долженствующую ещё сколько-нибудь научиться пониманию, если не употреблению, русской речи. Но вот проходит год, и опять отделения обращаются в номинальные, по познанию учеников и по степени выполнения программы отнюдь не соответствующие своим названиям». Подобные условия обучения вели обыкновенно к тому, что ученики едва выучивались читать, но далеко не всегда понимали прочитанное и могли передать его, хотя некоторые из них учились от 3 до 5 лет. Подобные результаты обучения в дорого стоящих школах могли лишь усилить нерасположение инородцев к школе, что действительно и замечается по числу обучавшихся учеников. В 1879 году обучалось 293 ученика инородца, в 1885 году — 277 человек, с этого года число учеников постепенно уменьшается, доходя до 180 в 1890 году и 216 — в 1892 году. Число

окончивших курс также повышалось до 1885 года, а затем начало понижаться и дошло в 1891 году до 7 человек.

При том составе учителей, каким обладали инородческие училища, и нельзя было достичь других результатов. Большинство их получили образование в уездных и духовных училищах или вышли из 2—3-го класса прогимназии и далеко не всегда были подготовлены к своему делу. Некоторые из них даже не умели грамотно писать. Неумелость учителей особенно сильно проявлялась благодаря отсутствию хорошо составленных учебников. Бюрократия, заботившаяся о заведении школы, совершенно упустила из виду то обстоятельство, что учение должно быть прежде всего понятным. Якутские дети, совершенно незнакомые с русским языком, до сих пор обучаются по тем же учебникам, по которым обучаются дети русских крестьян. Между тем подобные учебники совершенно непригодны для якутов, живущих в других условиях, и создают для учащихся массу затруднений. Самым подходящим учебником был бы учебник, составленный по-якутски, но хотя вопрос о нём поднимался уже несколько раз, однако до сих пор обучение производится по старым русским пособиям. В этом вопросе вполне проявилось бюрократическое отношение нашей администрации, подгоняющей всё под один шаблон и мало сообразующей свои мероприятия с местными особенностями. Зато мы видели выше и результаты подобных попечений начальства о просвещении якутов. С одной стороны, заботливое начальство, насаждающее просвещение и облагающее для этого бедное инородческое население, с другой — инородцы, всякими способами старающиеся избавиться от попечителей и тяжёлых налогов, — такова история «просвещения» якутов. История эта невольно заставляет задуматься над вопросом о том, что дало якутам двухсотпятидесятилетнее владычество русских?»

Бесспорно, только поднятием туземной культуры, а не навязыванием своей, хотя бы и высшей, можно добиться желаемых результатов, т. е. такой степени развития инородцев, чтобы они, как губка влагу, могли воспринять плоды цивилизации.



Времена <sup>1</sup> рабства прошли, крепостничество отошло в область преданий, а между тем рабы существуют и до сих пор.

Присмотритесь к жизни бездомного рабочего пролетариата, вечно живущего в атмосфере всяких «урезок», «вычетов», «недоплат», «штрафов», «тридцатичасовых рабочих дней» и т. п. прелестей, — и вам жутко станет за человека, за свободного гражданина страны, в которой рабство отошло в область преданий...

В последнее время закон старается взять под свою защиту эксплуатируемых фабричных и заводских рабочих, но что значат эти старания в сравнении с непомерно быстро растущим аппетитом капиталистов на счёт крох рабочего класса?

Корреспондент «Сев[ерного] Кавк[аза]» рассказывает обыкновенную, но грустную историю об отношениях железнодорожного начальства (в г. Новороссийске) к своим служащим и рабочим. Вот эта история:

«В декабре прошлого года в железнодорожных вагонных мастерских произошла самая обыкновенная история с дядей Макаровым. Он подавал на площадку, в рост человека от земли, куски чугуна весом от одного до двух пудов каждый. Один кусок чугуна, второпях нехорошо положенный на площадку, сорвался и упал на ногу Макарова. Удар двухпудовым куском был так силен, что бедный Макаров и через месяц ещё не ступал свободно на больную ногу. «Начальник» в этом «случае» увидел коварство Макарова и «циркулярно» объявил во всеуслышание, что Макаров «за непредусмотрительность при опасной работе штрафует-ся однодневным окладом жалованья в 65 коп.». Рабочие по этому поводу иронизировали, говоря: хорошо, что двухпудовый кусок чугуна по «шивороту» не задел Макарова, тогда непременно начальник оштрафовал бы двухдневным окладом жалованья.

В 1895 году служащие в качестве смазчиков, сортировщиков и подавальных при элеваторе подали докладную записку своему «начальнику», в коей просили дать им квартиру или квартирные деньги. Оснований для просьбы у них было три. Во-первых, что другие служащие при эле-

ваторе пользовались железнодорожной квартирой, вторых, что их оклад жалованья состоял, и теперь состоит, из 23 рублей в месяц — такой суммы, которая не может удовлетворить насущные потребности. Правда, им выдавалась за напряжённый двадцатичасовой, почти ежедневный, труд какая-то математическая дробь, выражающаяся рублями в 3—5 в месяц на каждого. Но зато этот труд загнал многих в гроб, как, например, Щербину, Галдина и пр., предварительно получивших чахотку. И, наконец, в-третьих, квартиру им обещали. Проходит два с лишком года, а квартир им не дали. В конце прошлого года они вторично подали коллективную докладную записку, прося квартир или квартирных денег, но вместо удовлетворения просьбы главный дипломированный «начальник» назначил для расследования этого дела двух своих «адъютантов». Под новый год назначено было строгое и решительное следствие. Подписавших докладную записку призывали поодиночке. «Допрос» начинался с того, кто давал призванному лицу подписать эту докладную, а затем начиналось запугивание. «Как ты смел подписать? — кричит с пеною во рту адъютант, обращаясь к каждому, призванному для следствия. — Ты знаешь, что за это тебя могут в тюрьму заточить, в Сибирь и каторжные работы отправить!! Да ты знаешь, такой-сякой...» И пошёл, и пошёл всё на эту тему. Некоторые из стоявших перед грозным «судилищем» как лист дрожали и готовы были плакать; другие молчали и про себя стонали и скрежетали зубами. Запугивание возымело на некоторые забитые натуры своё действие: они называли тех своих товарищей, кои предлагали подать и подписать докладную записку... На столе судилища лежали табель, деньги и готово написанные листы об отречении от квартир и всяких претензий за свою прошлую службу. Это немногое, что лежало на столе, должно было иметь решительное отношение к судьбе злополучных тружеников, пожелавших иметь железнодорожные квартиры. «Адъютанты» в конце концов каждому из них предлагали подписать отречение или сию же минуту получить расчёт. Думать в данном случае или что-нибудь выбирать, конечно, некогда. Завтра годовая праздник, а в кармане ни копейки денег и оставить свою семью на новый год без какого бы то ни было хлеба совсем будет безрассудно. Другого исхода для

18 человек, подписавших докладную, не было, как подписать отречение и с проклятием выйти из камеры «адыю-тантов»».

А вот и продолжение из этого же Новороссийска.

«В железнодорожных вагонных мастерских,— повествует корреспондент,— в ночь на 7 ноября прошлого года два человека рабочих несли рельсу длиною около десяти футов и весом пудов шести. Шедший впереди споткнулся и упал, вследствие чего рельса одним, передним, концом ударилась о землю, а другим, задним, о плечо рабочего, несшего рельсу, и пополам перебила его ключицу. Больного отправили в лазарет и на основании того, что причиною перелома ключицы был виновником сам несчастный, ему «начальство» выдавало плату только за четверть рабочего дня. В мастерских существует «устав», по которому окалечившихся разделяют на две категории: на лиц, получивших увечье по собственной вине, и лиц, свернувших себе шею по вине несчастного случая. Первым, если они живы, платят за половину рабочего дня, но если они лежат в железнодорожном лазарете, то платят за четверть рабочего дня, а другую четверть удерживают за пользование услугами лазарета... О второй категории, свернувших себе шею по несчастному случаю, и говорить нечего, так как, по всей вероятности, их совсем не бывает. Перебивший себе ключицу в железнодорожном лазарете долго не вылежал, «потому что там толку не особенно много; и притом нужно платить четвертью рабочего дня». Потерпевший теперь лечится дома, так как правая рука у него ещё не действует, и получает плату пока за половину рабочего дня. Будет ли рабочий попрежнему свободно действовать своею правую рукою — сомневаюсь. Но если останется на всю жизнь калекой, то обеспечит ли его управление чем-нибудь? В противном случае возбудит ли калека против управления гражданский иск? Вопросы, конечно, остаются открытыми, но при этом «случае» произошло нечто до того страшное, что умолчать о нём равносильно преступлению. Другому рабочему, споткнувшемуся с рельсой, но уцелевшему, «начальство» предложило подписать условие, по которому он обязуется, не то перед перебившим ключицу, не то перед «начальством», платить по пять коп. в день в продолжение всей своей жизни!.. Рабочий отказался под-

писать условие на всю жизнь, почему «начальство» приказало ему взять расчёт. Дипломированное начальство слишком подозрительно и осмотнительно. Оно подумало, что шедший с рельсой впереди нарочно споткнулся, а потому должен быть ответствен... Но рабочий не счёл себя виновным и отказался от дипломированной удочки — условия на всю жизнь. Тогда начальство нашло виновным самого пострадавшего, почему и выдаёт ему плату только за полдня. Хорошо ещё, что так, а то могло быть, что и совсем не платит».

Знакомые виды, знакомые картины!



---

## ЛИРИКА ФИЛЯНСКОГО

(Т. 1, 1906 г., CLX стр., ц. 1 руб. 50 к.)



Мы внимательно просмотрели книжку г. Филян-ского <sup>1</sup> и должны признаться, что легче перейти большое только что вспаханное поле, постоянно спотыкаясь о комья земли, нежели перебраться через белую пустыню этой книги с песчаными холмами стихов. Автор открывает свой сборник циклом «От Екклезиаста», и кажется, что чёрная тень Екклезиаста упала на все CLX римских страниц книги, — так всё темно, мутно, хаотично в ней: и когда, возведя очи, автор видит «в обрах неба озій зорь» <sup>2</sup>, и когда их опускает на грешную землю, где все «услади», и «весілля» (радости?), и «серця перебор», — всё тлен и суета. Густая мгла нависла так же и над теми 10 страницами (XXXV — XLIV), где он, воспевая хвалу господу богу, начинает к нему «устаи блідлими взивать», причём с этими устаи творится что-то странное. Г. Филянский заявляет, что его «устаи пройде сон півночі и стане серце пеленать». Вообще поэт держит себя довольно неуравновешенно. Вот что он пишет:

Я даль небес Твоїх і славлю й вихваляю,  
І мудрість мудрую таємную Твою,  
І лоно хвиль земних, де серцем я гадаю(,) <sup>3</sup>  
Пишаюсь, радуюсь, ридаю, продаю <sup>3</sup>.

Будем надеяться, что в день страшного суда господь бог простит поэту его грехи и не вспомнит о его стихах.



По г. Филянський не тільки філософ і набожний чоловік. Он ще і гарячий патріот. В безкінечному стихотворенні на стр. XLIV—LIII он описує старі кургани в степах України, які сплять і все ж слухають, «як рокіт хвиль, на хвилях грає», і грустить, що ми не зберегли ці кургани нетруненими для своїх потомків:

Без дум, без жалю і без муки  
Ми сонним варварам науки  
Даєм могил за рядом ряд,  
І нам — не вернути їх назад...<sup>1</sup>

Но стає страшно від пророцтва г. Філянского, коли він закінчує стихотворення наступними словами:

І внук, наш дальній внук, чий ясногородий ум  
Пролине піснею над лоном сонних дум,  
Ланами рідними він пройде в ясний час,  
Луни колишньої заче сумний глас  
І згадку тяжку положить він на нари (Sic!),  
Синів України безкровну отару...<sup>2</sup>

Столь серйозно настроєний поет через 20 сторінок впадає, однак, в досить фривольний тон. Зде він навіть стає на диво зрозумілим, як зараз побачимо:

...Жартуй... жартуй, щоб сон дівочий  
Весь перемигся в ласках ночі.  
Щоб каплі з сонного листа  
Молили жадні уста  
І не вмовивши, збідли зранку (,)  
Віддавши чар останки...<sup>3</sup>

Но навіть такої прозорості хватає поету не надолго. Якщо читач не боїться за своє здоров'я і ясність голови, нехай прочитає вірші на стр. LXXIV, LXXXIII, CVI, CXXVIII, CXLI, CXLV (ми сміло, нарешті, могли б вказати на стр. I—CLX).

Щоб познайомити з пластичністю малюнка і мелодією вірша читачів, які не вирішили б послухатися нашого порад, ми приводимо одну (не з найкращих) невелику річ:

### Meleagrina Margaritifera

На фарчі, фарбах, на малюнках  
Я бачу жарти й поці(!) лунки,  
І коливання сонних віт (,)  
І хвиль високих ясний слід (,)

І темінь ночі й досвіт ранній (,)   
 Що зве до себе жарт останній (,)   
 І струн вечірніх тихий ряд.   
 Що кличе серце сонних лад,   
 Кого ж під рокіт хвиль зазвала,   
 Під ким убрання ти скидала,   
 І де перлин подівся ряд —   
 Навіщо стану я питать? <sup>1</sup>

Полное незнание языка, убожество мысли и образов, механическое соединение отдельных строк стихотворения, отсутствие свежих рифм! Не приходится уже и говорить о таких выражениях, как «І буде тінь моя між вас луною [эхом] линуць [летать] раз у раз», или когда поэт, обращаясь к вечерней звезде, заявляет: «луною [эхом] рідною в душі менше лунаеш [раздаёшься]». От свободного (даже от знаков препинания) поэта не приходится требовать чего-нибудь большего. Но даже в выборе рифм г. Филянский обнаруживает неслыханную небрежность. К слову «ніч» он ни разу не может подобрать другой рифмы — кроме «серця міч»(?) (см. стр. V, XIV, XVI, XLI, LI, LXIX, CV, CVIII). А слово «чари» постоянно рифмуется с неуместным «на-ри», хотя эти нары за сто миль от всяческих чар. От таких выражений, как «оклик дум», «сонний шум» и т. п., прямо в голове мутится.

Мы не можем решить, кто г. Филянский, — ещё молодой человек, который в чаду юношеской самоуверенности неустрашимо бросил на литературный рынок первую пробу пера, либо пожилой человек, который под гнѣтом цензурных условий в письменном столе скрывал до лучших времѣн плоды своей сумеречной музыки. В первом случае мы бы могли посоветовать г. Филянскому не торопиться с изданием второго тома до тех пор, пока его муза не перебродит, не выбросит за пределы творчества этот «сонний шум». Только серьёзная работа над собой может дать право на публичное выступление.

Во втором случае советы излишни.

Книга издана прекрасно, на дорогой, хорошей бумаге, но орфография сборника весьма странная, — это смесь фонетического правописания с «ярыжкой». Корректурой довольно небрежна.





## ПИСЬМА

### И. Я. ФРАНКО

11. III. 1903  
Чернигов

Милостивый государь!



В последнее время литературное движение на Украине заметно оживляется. Об этом свидетельствуют и рост литературной продукции, и расширение издательской деятельности, и распространение украинской книги не только среди народных масс, но и в интеллигентных кругах.

Как русская, так и европейская критика всё чаще обращает свои взоры на нашу литературу и предъявляет ей свои требования.

За сто лет существования новейшая литература наша (по причинам, объяснить которые надлежит истории) питалась преимущественно деревенской, деревенским бытом, этнографией. Крестьянин, условия его жизни, его несложная в большинстве случаев психология — вот почти и всё, над чем работала фантазия, чем оперировал до сих пор талант украинского писателя. Об исключениях, очевидно, не говорится.

Такое ограничение сферы творчества неоднократно подчёркивалось не только критикой, но и интеллигентным читателем, который, кстати говоря, последнее время значительно вырос... Наш интеллигентный читатель имеет право ждать и от родной литературы более широкого поля наблюдения, верного изображения разных сторон жизни всех, а не только одного какого-нибудь слоя общества, он хотел бы встретиться в беллетристике нашей с обработкой тем философских, психологических, исторических и т. п.

Относясь с полным уважением к изучению жизни проstonародья и даже полагая, что литература наша далеко не исчерпала для своих целей этой жизни, нижеподписавшиеся, однако, берут на себя смелость скромным начинанием удовлетворить, с одной стороны, потребность современного интеллигентного читателя, а с другой — вызвать среди украинских писателей больший интерес к вышенамеченным темам.

Говоря точнее, наша цель издать литературный сборник (стихи, новеллы, повести, драматические произведения), в котором хотелось бы поместить новые, нигде ещё не печатавшиеся произведения, главным образом из жизни современной интеллигенции, а также на темы социальные, психологические и исторические.

Чистый доход от издания мы намереваемся употребить на премии за выдающиеся произведения украинской беллетристики, объявив в своё время конкурс.

Если Вы, м[илостивый государь], сочувствуете нашей цели, то не откажите в любезности принять участие в сборнике и присылайте материал не позднее 1 мая 1903 г. ст. ст. по адресу: г. Чернигов, Северянская ул., соб. д., Михаилу Михайловичу Коцюбинскому.

Надеемся, что дело украинской литературы дорого и Вам и потому просьба наша не останется без ответа.

С совершенным почтением

*М. Коцюбинский.*

*М. Чернявский.*

## ПАНАСУ МИРНОМУ

3. VII. [1]903

Чернигов, Северянская, 3, соб. д.

Глубокоуважаемый Панас Яковлевич!

Не мог до сих пор ответить на Ваше последнее письмо по многим причинам, между прочим и потому, что был тяжело болен.

Спасибо большое за присланный материал, хотя, по правде сказать, надеялся от Вас получить рассказ.

К сожалению, не могу согласиться с высказанными Вами мыслями о задачах нашей литературы. Прежде всего должен заметить, что мы совсем не имели в виду вообще отказываться от произведений из жизни деревни, как Вы поняли из нашего письма. Боже сохрани! Ограничивать источники творчества совсем не наша программа, мы, как раз наоборот, хотим расширить и углубить их. Об этом говорилось и в письме <sup>1</sup>, где мы писали, что жизнь деревни ещё не исчерпана целиком нашей литературой. Задумав издать сборник, в котором почти не было бы произведений из жизни крестьян, мы только хотели произвести опыт, хотели обратить внимание наших литературных сил на другие слои общества, на интеллигенцию, фабричных рабочих, армию, высший свет и т. п. Я никак не могу согласиться, что нам не следует брать темы из жизни нашей интеллигенции на том основании, что её будто бы у нас нет... Выработка культурного типа, как известно, зависит не только от национального или политического сознания. Культурный тип складывается в зависимости от историко-культурных, географических, климатических и других условий. По психологическому и культурному складу украинский интеллигент, Вы сами это признаёте, отличается от интеллигента великорусского, немецкого, английского и т. д.

То, что наш интеллигент будет пользоваться украинским языком или разделять те или иные политические взгляды, мало изменит дело. «Каждая литература, — пишете Вы, — если она не хочет быть мёртвой, а живой, сможет передать только то, что даёт сама жизнь». Сушая правда! Но именно потому, а также потому, что она зеркало *каждого мгновения жизни*, она не обязана ограничиваться крестьянским бытом, а должна давать правдивый образ жизни всех слоёв общества. Ведь если бы литература *ждала* каких-то условий соответственно каким-либо планам или программе, то ничего бы не дождалась (ведь и планы и программы находятся в движении), она погибла бы навсегда и перестала бы быть литературой. Тредьяковщина вырабатывается не оттого, что литература стремится охватить более широкий круг наблюдения и занимается «высокими материями» (как Вы пишете), а оттого, что она отдаляется от живых источников жизни. Согласитесь, что последнее

зависит больше от автора, так как можно писать только о деревенской жизни и всё-таки быть Тредьяковским.

Потому-то мы и не страшимся выйти из тесных границ современного литературного направления и хотим произвести опыт. Может быть, этот опыт не удастся, но намерения у нас хорошие.

У нас уже есть значительный материал для сборника, особенно много стихов. Принимая во внимание последнее, я просил бы Вашего разрешения печатать не все Ваши стихи, а часть. Если разрешите, благоволите уведомить. Когда сборник будет готов, я сообщу Вам его содержание. Как же Ваше здоровье, дорогой и уважаемый Опанас Яковлевич, пишете ли что-нибудь новое? Меня это очень интересует.

Будьте же здоровы. Сердечно желаю Вам всего наилучшего.

С совершенным почтением, искренне преданный Вам

*М. Коцюбинский.*

## В. М. ГНАТЮКУ

20 ст. ст. XI.[1] 905  
Чернигов

Дорогой пан Володимир!

Наконец-таки получил от Вас несколько слов и сердечно благодарю за них. Хотел бы только, чтобы причина Вашего молчания была иная, а не болезнь, я просто не могу слышать, что Вам опять хуже. Берегите здоровье, дорогой пан Володимир, помните, что это близко касается не только Вас и Вашей семьи, но и всех, кто любит родину и её лучших людей.

Не ответил я Вам тотчас, ибо всё ждал посылки («Вісник», «Записки»), наконец получил её. Прошла цензуру, хотя там её даже не разворачивали, не просматривали, писем не вскрывали. На бандероли стоит только антихристова печать «Д. Ц.» — и всё. Итак, теперь можете свободно высылать что угодно, я уверен, — всё получу, как получил уже несколько отправлений от разных людей из Галиции, из Кракова. Спасибо Вам большое за присланное.

Пожалуйста, вышлите, что думали послать, а также те книги, которые я оставил у Вас, покидая Львов.

Жду теперь, как не знаю чего, закона о свободе печати, а его нет как нет. Да и вообще у нас ничего из обещанных свобод нет. У нас конституция только на бумаге, она фактически упразднена всем поведением правительства. Нас просто обманывают и бессмысленно играют с огнём, который охватил всю Россию. Положение очень неясное, не знаешь, чем всё кончится, по крайней мере в ближайшее время. Борьба идёт упорная, завязтая, каждый день на историческую арену выступают новые факторы, революция охватывает войска, в Севастополе сейчас идёт настоящая война — войск с войсками! У нас повсюду господствует мнение, что, прежде чем добьёмся спокойной и культурной жизни, будет общее восстание, которое сметёт весь старый политический строй. Сейчас никакая культурная работа попросту невозможна. Все, без различия национальности, накапливают силы, чтобы свалить общего врага.

Не знаю, когда настанет время сменить свою теперешнюю работу на более продуктивную и соответствующую мне. Украинские периодические издания не выходят, так как их сразу бы конфисковали. В Лубнах (Полтавщина) вышел 1 № «Хлібороба», газеты для крестьян (видели? Если не видели, напишите, пришлю), без разрешения, но второго номера уже нет, наверно конфискован. «Громадське слово» ещё не выходит. В надежде, что вскоре выйдет закон о свободе печати, у нас появилось несколько объявлений о выходе украинских периодических изданий. С третьего декабря будто должна в Киеве выходить «Праця», орган социал-демократов. В Москве некий адвокат Оппок напечатал объявление о том, что с 1 января [1]906 г. издаёт газету «Україна» с иллюстрированным еженедельным приложением «Зоря» и ежемесячником «Хата». В Петербурге объявлено об издании с нового года ежемесячника «Вільна Україна». А пока ничего нет. Пробуйте продвинуть к нам свои издания, это теперь было бы очень хорошо.

В Чернигове пока ничего делать нельзя. У нас теперь (около месяца) т[ак] наз[ываемая] «усиленная охрана». Мы не имеем права даже собираться, хотя бы и частным

образом, под страхом наказания тюрьмой или штрафом до 3 000 руб. Каждого из нас без суда могут арестовать и выслать бог знает куда в 24 часа. Могут лишить места одним росчерком пера, искалечить нагайками или саблями.

Мы сейчас вне закона.

Нервы так напряжены, что по ночам не могу спать.

Письмо от Мочульского<sup>1</sup> получил и завтра отвечу, если только кончится почтовая забастовка.

Отца Борачека попросите сердиться не на меня, а на мороз, который в мае уничтожил у нас всю фасоль, в том числе и японскую. Я не собрал ни зерна, поэтому не мог выслать ему. Кланяйтесь ему от меня. Напишите при случае хоть два слова.

Гл[убокоуважаемой] супруге Вашей моё совершенное почтение.

Целую Вас и обнимаю.

Деток целую.

Ваш *М. Коцюбинский*.

## А. М. ГОРЬКОМУ

23.X. [1]909

Чернигов, Северянская, 3

Большое спасибо Вам, дорогой Алексей Максимович, за Ваше хорошее письмо и за всё то доброе, что видел в Вас и от Вас. Право, при одном воспоминании о Капри, а в особенности о нашем знакомстве, как-то теплее и светлее становится на сердце. Думаю, что могу прямо, без страха быть ложно понятым, признаться, что крепко полюбил Вас и чувствую благодарность к случаю, который нас свёл.

Не отвечал Вам сейчас же по получении письма, так как был болен. Теперь настолько лучше чувствую себя, что могу писать, и первое моё письмо — к Вам. Лёжа в постели, я с упорством больного всё думал, что Вы вспомните своё обещание и пришлёте мне «Лето»<sup>2</sup>. Статья Амфитеатрова<sup>3</sup> обострила моё желание, так как из неё я узнал, что по-



весть уже напечатана. Если это не особенно затруднительно для Вас, я очень и очень просил бы Вас, дорогой Алексей Максимович, прислать мне «Лето» в конвертах или иным путём, какой найдёте удобным. Так хочется отдохнуть после раздражающих, с нездоровым запахом, недоносков Андреева.

Как Ваш «Уездный город» <sup>1</sup>?

Чем больше думаю над Вашей темой, тем более она кажется мне интересной, стоящей самого серьёзного внимания и труда.

В последнее время я чувствовал себя очень плохо и ничего не писал.

Посылаю Вам одновременно с этим письмом книгу Клоутона <sup>2</sup>. Очень буду рад, если она пригодится Вам. Надеюсь, что Вы не забудете искренне преданного Вам

*М. Коцюбинского.*

Многоуважаемой Марии Фёдоровне <sup>3</sup> мой сердечный привет.

Вся семья наша от души желает Вам быть здоровым.

## А. М. ГОРЬКОМУ

7. XII. [1] 1910  
Чернигов

Дорогой Алексей Максимович!

Я очень виноват перед Вами, и мне самому совестно, что так поздно отвечаю на Ваше письмо, что только теперь собрался поблагодарить за присланное. Большое спасибо, дорогой Алексей Максимович. Хочется верить, что мысли и чувства передаются на большое расстояние — тогда Вы должны были бы почувствовать, как я Вам благодарен за внимание ко мне. «Встречу» прочёл с двойным удовольствием: каждое слово напоминало мне Ваш голос, движения — и так ярко встал в памяти тот вечер на Капри, когда Вы читали её.

Я сейчас под большим впечатлением от «Вассы Железновой» <sup>4</sup>, глубокой, сильной и оригинальной вещи. И как это удивительно сделано! Взят комок грязи — а из него

брызжут яркие искры и освещают такие тайники, что даже жутко становится. Вот оно — это бездонное, тёмное материнское чувство — начало всего живущего! По-моему — создана *большая* вещь. И хочется сказать: спасибо — во имя искусства!

Больно мне было читать, что Вы так тяжело пережили смерть Толстого. Не удивляюсь, конечно, а всё же ухудшение в Вашем здоровье сильно меня обеспокоило. Как Вы сейчас чувствуете себя? Лучше ли?

Мне тоже тяжело было, но (не знаю, стыдиться ли?) и хорошо было, что на свете бывает большое. Смерть как будто вернее определяет размеры, чем жизнь.

Читаю Сургучёва и Шмелёва <sup>1</sup> (опять спасибо!). Сургучёв мне меньше нравится, чем Шмелёв. Шмелёв, по-моему, сильнее, глубже и ярче. Во всяком случае очень хорошо, что «Знание» издало их; есть надежда, что оба выпишутся.

Томик А. Толстого лежит у меня на столе, ждёт очереди. Этот автор мне очень нравится, я уже как-то делился с Вами своим впечатлением от его рассказов.

А со мной что-то неладно. Нездоровится, не работается, нет бодрости. Хочу надеяться, что всё это скоро пройдёт, но пока — довольно скверно. Вот почему даже Вам не мог своевременно ответить, хотя перекинуться с Вами словом доставляет мне большую радость. Так хотелось бы взглянуть на всех вас, как Вы теперь поживаете, как Мария Фёдоровна, Зиновий Алексеевич <sup>3</sup> (с супругой, конечно). Всё ли ещё на старом месте, всё ли любуетесь, как Иския ежедневно пожирает солнце, или перешли в виллу «Serafina»? Удобно ли Вам там? Не удивляйтесь, что меня интересуют даже мелочи. Это бывает, когда сердце с чем-нибудь срастается. Ну, будьте здоровы, прежде всего здоровы. Сердечно целую и обнимаю Вас. Не забывайте. Марии Фёдоровне искренний привет и лучшие пожелания. Всего хорошего Зиновию Алексеевичу с супругой.

Ваш М. Коцюбинский.

Вся наша семья посылает приветствие всем вам и благодарит за память. Оксанка в восторге от Вашего письма. Она сейчас больна горлом, лежит. Не забывайте преданного Вам М. К.

## А. М. ГОРЬКОМУ

7.IV. [1]1911  
Чернигов

Дорогой Алексей Максимович!

Пишу под впечатлением от II части «Кожемякина». У меня всё время, до прочтения её, было странное чувство боязни: а что, если после того высокого подъёма, с каким написана I часть, тон упадёт — и хотя будет хорошая вещь (плохой, конечно, нельзя было ждать), но всё же не то? Дочитав до конца, я облегчённо вздохнул с чувством полного удовлетворения. Слабо будет сказать: хорошо. II часть так же великолепна, как и первая. Эпопея русского города, уездной жизни развернулась и вширь и вглубь. Жутко и страшно стало от той обыдённости, которую так спокойно записывал Кожемякин. Будто развернулась страница истории жизни народа, уходящая началом в тёмное прошлое, а концом задевающая вчерашнее, близкое, знакомое, но плохо сознанное. Фон так хорош, что лучшего трудно желать. А какие чудные люди на этом фоне, везде мрамор, везде резец! Удивительно удался Вам, в частности, Маркуша. И всё — люди, чувства, природа — всё так воздушно, солнечно, ярко и до боли живо переживается. И за всем чувствуется какое-то проникновение, до конца продуманный синтез. Неподражаемо хороши сравнения. Я считал большим мастером в этом отношении Аннунцио. Но теперь вижу, что у него сравнения часто слишком искусственны, деланны, вычурны, тогда как у Вас они так же непринуждённы, свободны и красивы, как прыжок дикой степной лошади (простите за сравнение). О красоте языка нечего и говорить: это школа для русских беллетристов.

Пишу Вам свои впечатления, дорогой Алексей Максимович, не как критик (я этим не грешен), а как простой читатель Ваш, один из многих, и ещё по праву человека, которому не чуждо чувство красоты. Мне просто хотелось выразить Вам свой восторг и свою глубокую благодарность. Конечно, повесть ещё не окончена. От души желаю Вам здоровья и сил для дальнейшей работы. А дорогую Марию Фёдоровну хочется мне сердечно поздравить с Вашей

чудной вещью. Не знаю только, захочет ли она принять мои поздравления.

О себе ничего хорошего сообщить не могу: попрежнему хвораю и нервничаю, работать не могу. Впрочем, всё это неважно. Совестно только перед А. В. Амфитеатровым, которому, несмотря на обещание, ничего до сих пор не мог дать для «Современника».

Будьте здоровы! Сердечно обнимаю Вас, а Марии Фёдоровне целую руку. Привет Зиновию Алексеевичу с супругой и Константину Петровичу <sup>1</sup>. Наша семья шлёт всем вам привет и добрые пожелания.

Не забывайте Вашего *М. Коцюбинского*.

P. S. Всё забываю спросить, пригодились ли Вам посланные мною книги. Простите, что не всё удалось выслать, некоторых книг не раздобыл.





ЛЕСЯ  
УКРАИНКА







## ПРЕДРАССВЕТНЫЕ ОГНИ



глубокая ночь изнемогших в  
бессилье  
Под чёрные спрятала крылья.  
Повсюду погасли огни;  
Все спят в этой чёрной тени,  
Всех властная ночь покорила.

Кто спит, кто не спит, — покорись тёмной силе.  
Блажен, кого сны посетили.  
Тем снам не витать надо мной...  
Вокруг всё окутано тьмой,  
Вокруг всё молчит, как в могиле.

Дурные виденья мне душу терзали,  
Казалось — не встать от печали...  
Вдруг, ясным сияньем маня,  
Лучи разбудили меня, —  
Огни вдалеке заблестали.

Огни предрассветные, солнце пророча,  
Прорезали тьму этой ночи.  
Ещё не вставала заря, —  
Они уже блещут, горя,  
Их люд зажигает рабочий.

Вставайте, живые, в ком дума возсталала!  
Пора для работы настала!  
Гони предрассветную сонь,  
Зажги предрассветный огонь,  
Покуда заря не взыграла.







\* \* \*



Слово, зачем ты не сталь босвая,  
Что среди боя горит, как живая,  
Или не острый безжалостный меч,  
Тот, что сечёт вражьи головы с плеч?

Ты мой клинок, закалённое слово,  
Я тебя вынуть из ножен готова,  
Только ты кровь мне из сердца прольёшь,  
Вражьего ж сердца клинком не пробьёшь!

Выточу, выострю меч для сраженья,  
Не пожалею ни сил, ни уменья,  
Будет сверкать на стене эта сталь,  
Вам на забаву, а мне на печаль.

Слово, оружие, готовое к бою,  
Мы не погибнем напрасно с тобою!  
Может, в руках неизвестных друзей  
Станешь мечом ты на их палачей.

Звякнет клинок и о цепи ударит,  
Эхо к твердыням тиранов направит,  
Встретит бряцание братских мечей,  
Звуки иных, не тюремных, речей.

Мстители сильные вместе с тобою  
Выступят дружно, готовые к бою...  
Слово моё, послужи ты бойцам  
Лучше, чем служишь ты слабым рукам!

*25/XI 1896*





ЛЕСЯ УКРАИНКА



\* \* \*



стрым блеском вдруг волны  
заискрились  
После бури в прозрачную ночь,  
Будто войско мечами булатными  
Хочет снять вражьи головы прочь.

Блеск оружия, рокот раскатистый...  
Будто встал возмущённый народ,  
Будто сила народа могучая  
Непреклонно на приступ идёт.

Каждый меч — луч светила небесного —  
Вниз упав, снова блещет во мгле,  
Каждый звук — отзвук силы бунтующей,  
Изменяющей жизнь на земле.

Море, море людское, народное,  
Из чего ж ты оружие скуёшь?  
Что же будет, что встанет на пустоши,  
Вместо мира, что ты разобьёшь?..

*Сан-Ремо*  
8/XI 1902





## ДЫМ

(Отрывок)



я смотрела  
На сёла итальянские без дыма  
(Огня не много для поленты <sup>1</sup> нужно),  
Смотрела на туманные ризацца,  
Где малярия невидимкою летает,  
Ни дыма не пугаясь, ни огня,

И в мыслях слово грустное «чужбина»  
В такт перестукам поезда звенело.  
Туннель! И горьким облачком ко мне  
В окно дымок ворвался, едкий дым,—  
Таков уж, видно, уголь итальянский,—  
Так даже и в курной полесской хате  
Дым не душил нас,— ведь, бывало, дружка  
Так пел на свадьбе, что звенела хата,  
И голос чист был, даром что лицо,  
Как в облаке, маячило неясно:  
Тот дым нам ел глаза, но всё ж не так,  
Должно быть, потому, что был родной, древесный...  
Sampierdarena! <sup>2</sup> — Вот и слава богу!  
Уж близко Генуя, а там и отдых,  
Там будет море под весёлым небом  
И старый город — гордость и краса  
Отважного и вольного народа.  
«Вот наша Генуя», — старик рукою  
Показывает мне куда-то вдаль.  
Смотрю я и не вижу — мгла покрыла.  
«Скажите, господин, здесь часто с моря  
Таким туманом тянет?» — я спросила.  
«Туман? То не туман, а только дым.  
Здесь так всегда. Да это и понятно.

Взгляните!» Я взглянула: точно мачты  
 У пристани огромной, там виднелись  
 Сквозь мглу седую заводские трубы.  
 Да сколько! Целый лес... «Богатство наше  
 Растёт здесь», — важно господин ответил.  
 Но стены фабрик были непрозрачны,  
 А из окон богатство не светилось,  
 За ними что-то тёмное мелькало.  
 Мне вспомнился иной приморский город, —  
 Не итальянский, — и другой, и третий,  
 Четвёртый, — все над нашими морями, —  
 И, наконец, ещё один, над быстрой  
 Большой рекой, гремющей на порогах,  
 Как рейнская скала <sup>1</sup>, где днём и ночью  
 Глушат колёса рокот водопада...  
 Затем село, простор полей курчавых  
 От свекловицы... А над этим всем  
 Лес тонких труб, высоких непомерно, —  
 Как сосны горные, без хвои только...  
 Мы въехали в предместье. Там стояли  
 Задымленные, чёрные домишки,  
 Суровые, глухие. Окна были  
 Покрывают пеплом, цепким, точно горе,  
 Которого не выгонишь из дома.  
 За окнами мелькали очертанья  
 Каких-то лиц невольничьих, бескузовных,  
 А надо всем тот дым, тот лёгкий дым,  
 Что глаз не ест как будто и не душит,  
 А только небо ясное скрывает  
 И у людей крадёт сиянье солнца,  
 Пьёт кровь усталых лиц и гасит взоры  
 И все цвета окрашивает серым.  
 Никто его не слышит, но всегда —  
 И день, и ночь, и каждую минуту —  
 Бесшумно и таинственно, но ясно  
 Он говорит: «Я здесь, я вечно здесь».  
 Тот итальянский дым проник мне в сердце,  
 И сердце больно сжалось, онемело,  
 И уж не говорило мне: «чужбина».

*Сан-Ремо, 1903*

---

## НАДПИСЬ В РУИНЕ

(Из цикла «Египетские барельефы»)



, царь царей, я, солнца сын  
могучий,  
Гробницу эту выстроил себе,  
Чтоб прославляли многие народы,  
Чтоб помнили во всех веках  
грядущих,

Чтоб знали имя...» Дальше сбита надпись,  
И даже самый мудрый из потомков  
То имя царское прочесть не может.  
Кто сбил её — завистливый властитель  
Иль просто время мощною рукою, —  
Никто не знает. Росписью узорной  
Под нею слов начертано немало  
Про славу безымённого владыки,  
И царские показаны деянья:  
Вот царь сидит высоко на престоле,  
Народы с драгоценными дарами  
Идут покорно, головы склоняя,  
А он сидит, как истукан из камня,  
Над ним цветные перья опахал.  
Лицо его похоже на Тутмеса  
И на Рамзесса, и на всех тиранов.

Вот ухватил он за волосы сразу,  
Одной рукою, несколько повстанцев,  
И меч кривой над ними он занёс.

Лицо его похоже на Тарака,  
На Менефта, как и на всех тиранов.  
С лицом всё тем же львов он убивает,  
Левиафанов ловит, птиц он бьёт,  
Полями едет по телам убитых,  
И веселится по своим гаремам,  
И подданных на битву посылает,  
И мучит он работой свой народ,  
Той страшною египетской работой,  
Что имя царское должна прославить.

Народ идёт, как волны в океане,  
Без края, без числа, на поле битвы  
И стелется под ноги коням царским.  
А кто в живых из тех людей остался,  
Тот гибнет на египетской работе.  
Царь хочет для себя на их могилах  
Построить памятник — да сгинет раб!  
И раб копает землю, тешет камень,  
Кирпич для стройки делает из глины,  
Возводит стены, статуи большие,  
Сам на себе, запрягшись, возит, строит  
И создаёт великое навеки,  
Прекрасное творит неповторимо —  
Резьбу, картины, статуи, узоры.  
И каждая колонна и рисунок,  
Резьба и статуя, и даже камень  
Незримыми устами произносят:  
«Меня творил египетский народ».

Давно в могиле царь с лицом тирана,  
И от него осталась только надпись.  
Певцы, учёные, мечтая, не старайтесь  
Найти царя исчезнувшее имя:  
Судьбою создан из его могилы  
Народу памятник — да сгинет царь!

28/VIII 1904





---

## ПАН-НАРОДНИК



от послушайте, Иваныч,—  
Вам же в пользу это:  
Я мужицкую надумал  
Издавать газету...

Вам в политике мудрёной  
Надобность какая? —  
Только споры с ней да ссоры,  
Трата сил пустая.

Пусть паны стремятся в Думу,  
Сушат мозг напрасно,—  
Я ж хозяйские вопросы  
Освещу вам ясно.

Научу вас урожаи  
Увеличить вдвое.  
Нет земли, вы говорите?  
Это чушь, пустое!

Расскажу, какие в мире  
У людей покосы...  
Нет у вас и сенокоса?  
В том ли суть вопроса?!

Расскажу, какие сеять  
Для скотины травы...  
Пастбища вам не хватает?  
Э, неважно, право!

Научу вас, как лесную  
Увеличить дачу...  
Нет у вас уже и леса?  
Эка незадача!

Ну, тогда я обучу вас,  
Как сушить болото.  
Как? болота нету тоже!  
Чёртова забота!

Но послушайте, любезный,—  
Вам же в пользу это!  
Хоть сожгите, а купите  
Вы мою газету.





## АФРА\*



ишь и безмолвие. Кажется воздух водою  
стоячей.  
Оцепенели бананы, не вздрогнет их треснувший  
лист.  
Даже мимозы — и те изнывают в истоме  
горячей.

Млеют без грёзы...

Откуда же грохот и свист?

Слышится дробь барабана, трубы раздаётся звучанье!  
Эй, замолчите! Кому эта мука нужна?

Им всё равно! Маршируют, гремят англичане,  
Грозно вдоль Нила идут, чтобы вся трепетала страна.  
Только прошли, тишина опустилась за ними,  
Будто завесой упала огромной, тяжёлой, глухой.  
Пальмы послушно, печально поникли ветвями сухими,—  
Можно подумать, сам бог придавил эти ветви рукой.  
Небо от жара белеет и вот уже в пепле седеет,—  
День без остатка сгорел в напоённой огнём тишине.  
Бледная ночь; темнота растерялась, не смест  
В жгучую тишь снизойти. Ни единой звезды в вышине  
Мир будто мёртв. Перед сном не откликнется птица.  
Всюду летучие мыши бесшумно шныряют одни,  
Будто восток призывают признать тишину и смириться.  
Бархатным, тихим крылом тишину умножают они.

---

\* Афра — тяжёлая горячая тишина.



## ГОЛОС ОДНОЙ РУССКОЙ УЗНИЦЫ

Маленькая поэма в прозе, посвящённая поэтам и артистам, которые имели честь приветствовать российскую императорскую чету в Версале.



еликие имена и громкие голоса. Слава о них разносится по всему миру... Конечно, слабая песня одной узницы не в силах привлечь внимание этих увенчанных лаврами и розами величественных полубогов. Но мы, мы, несчастные поэты-узники, привыкли к песне без отзвука, к тщетным просьбам, к бессильным проклятиям, к безутешным слезам, к приглушённым стонам. Можно всё заглушить, кроме голоса сердца, — он заставит себя слышать и в дикой пустыне, и среди толпы, и даже перед царями. И чело, никогда не знавшее лавров, не менее гордо, не менее чисто, ему не нужны лавры, чтобы скрыть какое-то бесчестие. И голос, который никогда не вызывал позолоченное эхо и тем не менее свободный, тем не менее искренний, не нуждается в знаменитых истолкователях, чтобы быть хорошо понятым.

Позвольте же нам петь! Песни — это единственное наше богатство, потому что можно всё заглушить, кроме голоса сердца.

Позор лицемерной лире, лъстивые струны которой наполняли аккордами залы Версаля. Позор чарам вероломной нимфы, которая из хаоса веков вызывала призрак. Позор вольным поэтам, которые перед чужеземцем бряцают звеньями добровольно надетых на себя цепей. Неволя ещё мерзостней, когда она добровольна. Позор вам, актёры, когда вы своими кощунственными устами произносите

великое имя Мольера, который некогда своей ядовитой насмешкой подтачивал страшного великана, созданного во Франции покойным королём-солнце<sup>1</sup>. Призрак этого короля, столь бледный накануне, покраснел от радости, услышав ваши песни в Париже, этом городе-царевубийце, каждый камень которого кричит: «Долой тиранию!» Горе тем древним городам, где покрытые мхом камни, ржавые фонари и тесные площади являются красноречивыми ораторами и не умеют молчать...

Добрые французы, отведите нашего царя подальше от этого города привидений, в Шалон, в Трианон, всё равно куда, но дальше, ибо здесь, в комнатах Антуанетты и Людовика<sup>2</sup>, кошмары могут нарушить его отдых после такого триумфа, после жертв, подобных тем, что устилали дорогу колеснице Цезаря, попиравшей мёртвых. Не зря после вашей пламенной марсельезы прозвучал унылый напев «Боже, царя храни!»

Стройте же крепко мост, который соединит народы, пусть он будет не менее прочен, чем старинные царские мосты в Париже и в Москве. Они же прекрасно выдержали неукротимый танец освободившегося от цепей народа, возбуждённого ненавистью, освещённого пожарами. Позаботьтесь же, чтобы ваш мост вскоре не обрушился во время одного из этих великих народных празднеств, войн или революций...

Великие поэты, великие художники, какая прекрасная маска прикроет во время этих великих празднеств ваш прославленный облик! Какой, какого века, какого стиля будет ваш наряд, который вас прославит в эти неистовые дни! Что касается нас, таких сейчас неизвестных, никому неведомых, которых великие мира сего даже не изволят замечать, — мы выйдем без масок в эти страшные дни, ибо железные маски не могут превратиться в лицемерный бархат.

Знаете ли вы, знаменитые собратья, что такое убожество, убожество страны, которую вы называли такой великой? Это же ваше излюбленное слово, это бедное слово «величие», вкус к величеству — врождённое свойство французов. Да, Россия величественна, русского можно сослать даже на край света, не выбрасывая за государственные границы. Да, Россия величественна: голод, не-

вежество, преступления, лицемерие, тирания без конца, и все эти страшные несчастья огромны, колоссальны, грандиозны. Наши дари превзошли египетских своею склонностью к монументальности. Их пирамиды высоки и очень прочны. Ваша Бастилия была ничто по сравнению с ними. Что ж, великие поэты, великие артисты, ступайте, взгляните на величие ваших твердынь, ваших Бастилий, сойдите с эстрад, снимите ваши котурны <sup>1</sup> и осмотрите нашу прекрасную тюрьму. Не бойтесь, собратья, тюрьма поэтов, любящих свободу, родину и народ, не так тесна, как другие места заключения, она просторна, и её славное имя — Россия. Поэт может там жить, и даже в безопасности, лишившись только имени или лишившись всего.

Живите спокойно, собратья, прославленные вашими великими именами. А ты, французская муза, прости безымённой узнице-певице. Всё-таки я меньше оскорбила тебя своей бедной прозой, чем твои свободные друзья своими прекрасными льстивыми стихами.

*Узница.*





## НЕ ТАК ВРАГИ, КАК ДОБРЫЕ ЛЮДИ



олго звучали в моей памяти слова Шевченко: «Не так тії вороги, як добрії люди», пока рука не отважилась нанести их на бумагу. В мыслях возникли они сразу после прочитанной статьи «Под конец года», а на бумагу легли много позднее: всё хотелось проверить эту мысль, справедливость этих слов. Но человек не судья своим мыслям, пусть судят о них другие. Я только попрошу принять во внимание мои слова не как коллективное «заявление», а высказывание человека, близкого делу радикалов, желающего этому делу успешного развития, следовательно, пишущего в его интересах.

Имя автора статьи «Под конец года» говорит само за себя. Без сомнения, никто не станет подозревать Франко в том, что он «враг» украинским радикалам, а не «добрый человек», с добрыми намерениями. Беда только в том, что добрые намерения не всегда приводят к хорошим результатам; бывает это тогда, когда в самих намерениях кроются ошибки. Так произошло и на этот раз. Позволю себе разобраться в этих ошибках.

Франко, обвиняя украинских радикалов, справедливо указывает на то, что они мало работают, мало хотят работать и, наконец, что их самих мало; а затем неожиданно ставит им в пример галицких радикалов, о которых он ещё недавно мог сказать не много хорошего, и даёт далеко не проверенные рецепты спасения души и родного края.

Никто не должен отрещиваться от искренней, хотя и суровой критики, но всякий считающий себя взрослым не может молча выслушивать проповеди «ученьица» à la Толстой и считать образцом совсем не авторитетных людей. Пусть бы Франко критиковал украинцев, но не миловал бы и своих; кстати, это ему более знакомое дело. Интеллигентное галицкое общество радикального направления никак не может импонировать украинскому радикалу. Никто из нас, побывав во Львове и в Вене и имея возможность познакомиться с теорией и практикой студентов-русинов радикального направления, не был ими особенно очарован. Кому случалось переписываться и лично сталкиваться с галицкими деятелями-радикалами, тот не может утверждать, что они ему показались исполинами, достойными удивления и подражания. Несомненно, есть между ними люди достойные уважения, они имеются всюду. Но вообще нас всегда неприятно огорчало, что в Галиции, стране всё же конституционной, так мало людей становится под знамя освободительного движения, да и те так редко держатся стойко. (Мы говорим здесь только о радикальной интеллигенции, так как у нас не было удобного случая присмотреться ближе к крестьянскому радикальному движению.) Если же недавно родившееся радикальное движение всё-таки понемногу ширится среди галицкого, галицко-украинского крестьянства, то это происходит главным образом потому, что тяжело угнетаемые, выведенные из терпения крестьяне сами идут навстречу интеллигентным радикалам-пропагандистам. Это обстоятельство и некоторая гарантия свободы пропаганды, которую всё-таки даёт австрийская конституция, помогают немногочисленным и недостаточно преданным делу галицким радикалам достигать в своей работе видимых результатов. Этого последнего условия, т.е. минимальной гарантии свободы слова, у нас совсем нет. Если бы Франко принял это во внимание и выступил не односторонним обвинителем украинских радикалов, а суровым критиком обеих сторон, тогда можно было бы прекратить полемику хоть по этому пункту, а то Франко только и твердит: «Вот что делаем мы, почему не могли бы и вы», а на всевозможные возражения заранее отвечает: «Трудно нам этому поверить. Это не может быть правдой, или это просто неправда!» Это такой



argument suprême\*, против которого не приходится возражать, если не хочешь прибегнуть к авторитетному свидетельству господ бога или к аргументации женщин «из народа». Никто больше нас не признаёт и не понимает собственных промахов, но на упрёки Франко можно сказать не только mea culpa\*\*, так как не все заповеди Франко входят в религию украинских радикалов и не против всех они согрешили.

Главная заповедь Франко — *это непосредственная пропаганда среди народа* (слово «народ» Франко употребляет не в общепринятом понимании, а в народническом: «крестьяне»). Учиться этому делу он отсылает украинцев к латышам, полякам и другим не имеющим самостоятельности народностям России. Почему же не к самим русским? Ведь были когда-то люди, которые начали проводить эту работу на всём пространстве Европейской России. Мы, собственно, не будем говорить исключительно об Украине, хотя в ней было немало борцов, в большинстве украинцев, но они были людьми без отчётливого национального самосознания, следовательно у них и не могло быть таких идеалов, которые опирались бы на исторические примеры (движение Пугачёва, Разина). Все эти люди не создавали теорий в кабинетах, а просто шли в народ, неся и книги и живое слово. Необозримые российские степи не защитили этих людей от оков и каторги! Да они и не боялись этого и несли незаслуженную кару с таким героизмом, какой и не снился галицким радикалам. А что вышло из их пропаганды? Хотя большинство областей в Европейской России с русским и украинским населением дало не меньше интеллигентных деятелей, чем даёт нынешняя Галиция, и хотя всё это движение продержалось не меньше, чем ныне существующее радикальное движение в Галиции, однако оно вынуждено было изменить направление. Отсутствие элементарных прав, свободы слова и личности заставило этих деятелей признать, что нельзя освобождаться исключительно при помощи крестьянства, даже поставив на первом плане борьбу за интересы всего народа, и, прежде чем действительно послужить своему народу, интеллигенция должна

---

\* Крайний довод (франц.).

\*\* Моя вина (лат.).

завоевать себе возможность свободного доступа к нему. Тогда принципиальные социалисты становятся практическими политиками, являются Желябов с товарищами добывать политическую свободу, это *conditio sine qua non* \* возможности полезной работы в интересах наиболее угнетённого класса народа. Такое изменение деятельности было неизбежной эволюцией, и нам странно, что Франко не видит этого и обвиняет Желябова и товарищей в том, что они изменили направление своей работы, чтобы завоевать всероссийскую политическую свободу. Франко почему-то думает, что если бы эти люди остались на Украине искать среди крестьянства национальные идеалы, основанные на свободолюбивых мыслях, то Украина была бы теперь страной сознательной и готовой выполнить те задачи, какие перед ней поставит политическая свобода. А политическая свобода якобы должна наступить не сегодня-завтра. Вашими бы, Франко, устами да мёд пить. Но мы смотрим на положение вещей печальнее и думаем, что вам ещё не год и не два горе мыкать, пока мы добьёмся хоть какой-нибудь, если не идеальной, политической свободы... И вовсе не муки апостолов-борцов пугают теперешнюю русскую оппозицию, а тщетность их труда. Потому-то, наверное, и украинские радикалы не могли так отчётливо поставить в своей программе непосредственную пропаганду среди крестьян, не говоря уже о том, что некоторые радикалы считают не крестьян, а рабочих более удобной почвой для своей пропаганды. Всякий радикал будет проводить такую работу, где только возможно, одновременно с работой среди интеллигенции, но делать её своим единственным *sine qua non* \*\* он не может и не обязан. Если в Галиции основная почва для работы радикалов — крестьяне, то у нас, на Украине, прежде всего необходимо захватить в свои руки интеллигенцию, вернуть нации «мозг» (лишь бы не было так, что есть над чем работать, да некому), а потом вместе с соседями добывать те права, которые галичане давно уже приобрели чужими руками. Только мы обязаны при этом постараться, чтобы добытые таким путём права не послужили главным образом интересам господствующей в госу-

---

\* Необходимое условие (лат.).

\*\* Убеждение (лат.).

дарстве народности, а пошли на пользу всему громадному и разнообразному составу российского государства, следовательно, чтобы политическая свобода была краевой, национальной, децентрализованной и одинаково для всех демократической. Такой работы требует, между прочим, и драгомановская программа; отмечается это здесь потому, что Франко пользуется словами «драгомановец» и «радикал» как тождественными. Следовательно, Франко был бы прав, если бы упрекал украинских радикалов за недостаточно интенсивную работу среди интеллигенции и недостаточно решительные мероприятия для завоевания прав. Получается же так, что он целился в радикалов, а попал в народников, так как каждый отвечает за то, что сам обещал.

А вот ещё один пункт, о котором нужно сказать, что Франко «ломится в открытую дверь», если не шутит. Он доходит до подлинно патетического тона, чтобы уговорить украинских радикалов не ждать «разрешения начальства» для своей работы, и указывает на благой пример галицких радикалов, которые не боятся своей мачехи-конституции, а идут тернистым путём, куда зовут их высокие задачи. Может быть, Франко хотел пошутить перед новым годом, а юмор производит больше впечатления при серьёзном тоне, только время для этого он выбрал слишком неблагоприятное, именно такое, когда некоторые из этих товарищей поселились на бесплатное жительство «с разрешения начальства». Украинцы выбирали для шуток с галичанами лучшие времена. Если же Франко не шутил, то, наверное, кто-нибудь подшутил над ним, рассказав ему небылицы о каких-то в действительности никогда не существовавших среди украинских радикалов намерениях посылать петиции и отдавать своё дело на царскую милость.

Вообще нужно сказать, что Франко слишком уж часто намекает «на страх иудейский» украинских радикалов. При частом повторении шутка теряет свою соль, об этом нужно помнить шутникам.

Ну, прошу прощения за слишком длинное отступление и перехожу к другим темам.

Один из важнейших вопросов — как сделать теперь же Украину политической силой. Один «стыд», очевидно, тут немного поможет, так как его украинцы чувствуют ещё

со времён Шевченко, а спасения души до сих пор не снискали. Франко советует нам прежде всего не быть «дураками» и стать готовой силой, не ожидая конституции. Постараемся! Только любопытно для примера знать, какие это были готовые силы в русской Галиции, в то время когда на неё свалилась конституция? Разве был тогда хоть один радикал на всю Галицкую, Буковинскую и Угорскую Русь?

Наконец, Франко не верит в самый факт существования «украинских радикалов-драгомановцев или как бы они себя ни величали». (По мнению Франко, им только и следует называться «настойкою на радикальных идеях».) Видно, для него украинские радикалы — такой же миф, как для нас те радикальные группы, которые спорят, давать ли украинскому мужику русскую книжку или нет, и посвящают всю свою жизнь единственно собиранию денег *pour les beaux yeux* \* заграничных братьев. Позволю себе сказать, что вообще статья «Под конец года» в той части, где Франко говорит об украинцах, кажется мне написанной очень небрежно. Казалось бы, если обвинять украинских радикалов, то следовало бы привести примеры только из их собственной деятельности, вместо того чтобы бросать обвинения всей украинской интеллигенции, — пусть, дескать, «пуля найдёт виновного». Поэтому иногда и выходит так, что по смыслу фраз обвинения, направленные против украинских радикалов, в сущности попадают совсем в другой лагерь. Что сказал бы Франко, если бы кто-нибудь, полемизируя с галицкими радикалами, упрекнул их в заискивании у польских феодалов и клерикалов и вообще стал бы их упрекать за такие действия, которые могут характеризовать только партию «русско-католического союза», но никак не галицких радикалов? Поэтому, к сожалению, и украинским радикалам приходится не принимать всерьёз урока Франко по поводу работы «с позволения начальства» или обращения петиции к царской милости.

Теперь несколько слов о «домашних» делах, и довольно утомлять внимание читателей и Франко. После добрых советов Франко говорит нам: «Сидите, добрые люди, дома, не лезьте к нам с вашими деньгами, так будет лучше и для

---

\* Ради прекрасных глаз (*франц.*).

нас, и для вас, а то ваша «помощь со стороны» нас деморализует, а вас приучает «откупаться от обязанностей».

Действительно, «помощь со стороны» не то что товарищеская братская помощь, она должна деморализовать, как это видно на примере москвофилов. Те люди, которые до сих пор помогали галицким радикалам, не считали себя «помощью со стороны», каким-то славянским благотворительным обществом, они давали деньги не на «благотворительные дела», а на общее родное дело, и то преимущественно в критическую минуту, когда дело приходило в упадок из-за галицкой финансовой несостоятельности. О таком характере украинской помощи Франко должен бы прекрасно знать. Если бы речь шла о «благодетении», то можно было бы сказать словами некоего Мазура: «Nie miła księdzu ofiara, idź, ciele, do domu»\*, и когда уже ясно, «что с воза упало, то пропало», то хоть в дальнейшем не следует оказывать «своей мелкой денежной помощи». Только, что касается этой «помощи», опять-таки Франко не следовало бы называть её «10 или 100 рублями», так как Франко хорошо известно, что их, этих 10 или 100 рублей, ежегодно набиралось не меньше чем полторы-две тысячи (говорю об одном достаточно известном мне источнике помощи Украины галицким радикалам), а в иной год и больше. Так вот и следовало бы Франко, если уж он считал нужным затронуть этот вопрос, говорить о нём обстоятельней, чтобы на Украине из-за его неверных замечаний не возникло каких-нибудь недоразумений в этом и без того щекотливом деле. У галичан тоже дело простое: если деньги деморализуют, ну их, не принимать! Лишь бы только это было сделано не из амбиции, вызванной обидной полемикой, и не во вред общественному интересу; ибо если дело из-за этого замрёт, да ещё и на несколько лет, до тех пор, пока галичане соберутся с собственными деньгами, то для украинцев такой выход вовсе нежелателен. Но если бы дело обошлось по-хорошему, то украинцы не были бы опечалены, и, конечно, они и сами найдут применение своим деньгам. Напрасно галичане думают, что у нас деньги собираются только для них и только для того, чтобы купить себе на

---

\* Не по вкусу попу приношение, ступай, телёнок, домой (польск.).

них индульгенцию от греха лени. Такие индульгенции продаются не только в Галиции.

Наконец, отмечу любопытный факт: статья «Под конец года» дождалась высокой чести быть гектографированной руками врагов радикальной партии. Ещё ни одна статья из «Життя і слова» не заслужила такой чести. Гектографированные экземпляры продаются по 25 и по 35 копеек. Статья имела настоящий триумф среди этих новых украинских издателей, так как им не удалось до сих пор самим написать ничего такого, что попало бы радикалам не в бровь, а в глаз, или, по крайней мере, чтобы это им так казалось, не даром ведь они «враги», а вот нашёлся, спасибо ему, «добрый человек», да ещё редактор радикального журнала. Если бы только Франко видел «победоносные» взгляды своих издателей и слышал их тон, с каким они спрашивают радикалов при встрече: «А вы читали «Под конец года»? Что отвечать радикалу на такую *anzügliche Frage* \* — «не так враги, как добрые люди!»

---

\* Язвительный вопрос (нем.).





## УКРАИНСКИЕ ПИСАТЕЛИ НА БУКОВИНЕ



наше время наряду с колоссальным развитием так называемых «мировых» литератур замечается одно интересное явление: литературы маленьких народов, даже небольших этнографических групп, начинают всё громче и увереннее поднимать голос, защищая своё «право меньшинства». С этим голосом уже принуждена считаться, так или иначе, критика мировых литератур. Вопрос о праве на существование той или другой из маленьких литератур решается не столько теорией, сколько практикой, то есть присутствием в данной литературе сильных и оригинальных талантов. Таким образом завоевала себе право на существование и на внимание со стороны других литература одной небольшой ветви украинского племени, благодаря трём своим главным представителям. Эти писатели пользуются гораздо большей известностью в Австрии и Германии, чем в России, для которой в сущности они могли бы иметь больше интереса и значения. Речь идёт о писателях, принадлежащих к тем австрийским украинцам, или, как они себя называют, «руси́нам», которые живут среди Карпатских гор, в австрийской провинции Буковине. Главный город этой провинции, Черновицы (Czernowitz), интересен для украинцев в том отношении, что он является единственным значительным европейским городом, где украинский язык принят повсюду, в домах и на улице, как *langue parlée*\*. Говор буковинских русинов очень мало

---

\* Разговорный язык (франц.).

отличается от того украинского языка, на котором говорит большинство украинцев. Кто слышал, как говорят в так называемой «руській Буковині» (то есть части Подольской губернии, которая примыкает к австрийской границе), тот имеет точное понятие о говоре буковинских русинов.

Буковина — провинция, более обособленная от остальной Австрии, чем даже Галиция; это замкнутый, малодоступный для посторонних влияний мир. В нём беспрерывно идёт глухая национальная борьба между отдельными населяющими его племенами: русинами, румынами, венграми, немцами, но племена эти слишком резко отличаются друг от друга, чтобы ассимилироваться. В наше время уже существует известное культурное взаимодействие между русинами буковинскими и галицкими и отчасти украинцами, но во время первого национального пробуждения австрийских русинов, то есть в 30-е годы, между ними было полное отчуждение, и так продолжалось вплоть до 60-х годов, когда украинское литературное движение приняло более широкие размеры и захватило даже изолированную Буковину. Таким образом, начало буковинской литературы было свободно от влияния тогдашних галицких и украинских авторитетов, и в этом, как мы увидим дальше, была своя хорошая сторона. Единственными образцами для народных буковинских писателей была долго только чудная буковинская природа и народная поэзия.

Первый замечательный буковинский беллетрист Юрий Осип Федькович родился в 1834 году на Буковине, среди карпатских горцев (гуцулов), в округе Кимполунге (Довге Поле), который принадлежит к живописнейшим местностям Карпат. Семья Федьковичей принадлежала к мелкоземлевладельческим; образ жизни таких семей только тем отличался от крестьянского, что мальчики получали некоторое образование, как это было в семье нашего писателя. Сам Федькович всегда считал буковинское крестьянство своей родной средой. Старший брат Федьковича принимал участие в депутации, которая была отправлена в новооткрытый парламент и подала императору петицию о правах буковинского крестьянства. В 1848 году Федьковичу пришлось некоторое время жить в Молдавии, где один немецкий художник принял в нём большое участие и познакомил



его с немецким, а также с испанским языком и литературой. Под влиянием этого художника, о котором Федькович навсегда сохранил самые тёплые воспоминания, Федькович начал заниматься литературой, но вначале писал только по-немецки, так как ему не приходило в голову, чтобы его родной язык мог годиться для художественных целей. Национальное чувство заговорило в нём впервые, когда в 1852 году он попал на военную службу, причём участвовал в итальянской кампании — в битвах при Мадженто и при Сольферино.

Там же, в Италии, Федькович написал своё первое украинское стихотворение «Ночлег», но не придавал тогда этому никакого значения.

В 1859 году Федькович вернулся на родину офицером и в Черновицах познакомился с немецким профессором Нейбауером, который очень поощрил его литературные опыты на немецком языке, особенно его переводы буковинских народных песен. Около того времени Федькович стал печатать свои немецкие произведения, но особенного успеха они не имели. Тогда же в Черновицах познакомился Федькович с русином-патриотом Кобылянским, который убедил его, что естественнее всего русину писать по-украински. Под влиянием этих убеждений Федькович стал снова писать украинские стихи (перевёл, между прочим, немецкий народный гимн на украинский язык) и даже издал маленький сборник этих стихов в очень ограниченном количестве экземпляров для раздачи своим бывшим товарищам солдатам. Эти первые стихотворения проникли в Галицию и там сразу обратили на себя внимание всех, кто сколько-нибудь интересовался украинским словом. Дидыцкий, литератор старой школы и старого, шляхетско-униатско-славянофильского направления, был так тронут непосредственной и свежей поэзией Федьковича, что забыл свои чопорные эстетические требования и мечты о создании какой-то особенной, «образованной», а не народной литературы, и в 1862 году издал во Львове новый сборник стихотворений Федьковича, выразив в своём предисловии к ним надежду, что Федькович будет вторым Шевченко австрийской Руси. Надежде этой не суждено было сбыться: поэтический талант Федьковича не прогрессировал, и его первые стихотворения так и остались лучшими. Особенно

хороши из них те, которые относятся к воспоминаниям о тяжёлых годах жизни поэта в Италии.

Поэтического таланта Федьковича хватало на воспроизведение непосредственных впечатлений жизни в безыскусственной форме; стиль народной песни лучше всего давался ему, но едва поэт переходил к отвлечённым темам или сложным сюжетам, пытался усвоить себе форму сонета и книжный стиль, как получались произведения безжизненные, мало чем лучше произведений того же Дидыцкого и других галицких поэтов того времени, из которых ни один не возвышался над посредственностью. Быть может, этому причиной то, что тогдашний литературный украинский язык был совершенно не выработан и красиво писать на нём не мог бы даже гений. Впрочем, впоследствии народный стихотворный стиль тоже изменил Федьковичу, и в этом был виноват, по иронии судьбы, именно тот образец, на который указывал поэту его первый ценитель — Дидыцкий. Влияние поэзии Шевченко на Федьковича было роковым: эта сильная поэзия слишком поразила ещё не окрепшего буковинского поэта; чем более Федькович увлекался Шевченко, тем более терял свою оригинальность и, наконец, совершенно подчинился ему, а если порой освобождался, то только для подражаний галицким «баянам», что, конечно, было совсем не лучше. Сонеты Федьковича похожи на плохие подражания Мицкевичу, а в поэмах чувствуется влияние второстепенных немецких романтиков. Что же касается сложных сюжетов и философии тем, то для них необходима была большая степень культурного развития, чем та, какою обладал Федькович, получивший в молодости незначительное образование, которое он ревностно старался дополнить чтением, будучи на военной службе; но это чтение — главным образом немецкой литературы, — конечно, не могло быть систематическим при бивуачной жизни.

Недостаток широты мысли и глубины понимания особенно сказывается в тех поэмах Федьковича, в которых затронуто интересное и сложное явление буковинской жизни начала XIX столетия, а именно разбойничество. «Опришки», как называет буковинский народ своих разбойников, напоминают украинских эпигонов гайдамачины типа Кармелюка, который остался в памяти народной

не как простой грабитель, а как противник экономического и социального неравенства. Федькович даёт в своих поэмах только анекдоты в романтическом вкусе из жизни знаменитых опришков, но глубокие причины и внутренний смысл самого явления, видимо, были совершенно неясны для него.

Итак, Федьковичу, при несомненном поэтическом даровании, не суждено было сделаться большим поэтом; хотя на родине его и в Галиции стихи его до сих пор пользуются популярностью и многие из них положены на музыку галицкими композиторами, но за пределами Австрии они совершенно неизвестны. Более широкую и прочную известность создала Федьковичу его проза.

Свои прозаические произведения Федькович писал вначале тоже по-немецки, но, ободрённый успехом своих украинских стихов, он начал и в прозе писать на родном языке, причём стал помещать свои рассказы в галицких украинских журналах. Это сотрудничество познакомило Федьковича с тогдашними галицкими литераторами.

Развитию у Федьковича народнических <sup>1</sup> идей способствовало и то, что, вышедши в 1863 году в отставку из военной службы, он вошёл в более близкое соприкосновение с народной жизнью, служил выборным от крестьян своего округа в сервитутной комиссии, был войтом (старшиною) своей общины, потом инспектором народных школ. В это время Федькович написал свои лучшие повести, которые создали ему имя и возбудили интерес к его родине за пределами Австрии. Федькович воспроизводит в художественной форме воспоминания юности, впечатления походов, разные, поразившие его воображение события; всё это проникнуто тёплым, глубоким чувством, любовью к изображённым людям и буковинской природе. Эти повести своим красивым, чисто народным стилем и трогательной манерой напоминают украинские повести Марко Вовчка. Можно сказать, что лучшего стилиста, чем Федькович, не было и нет среди буковинских и галицких писателей, и вообще сочинения Федьковича можно поставить наряду с лучшими образцами украинской — и, пожалуй, не только украинской — народнической литературы. Сквозь лёгкую, а подчас и довольно густую дымку идеализации вырисовываются яркие, живые картины, метко, изящно

очерченные силуэты; на всём чувствуется присутствие жизни.

Федькович не чужд недостатков, свойственных вообще тогдашней народнической литературе: он часто впадает в сентиментальность и этнографичность; кроме того, на нём отразилось влияние европейского, особенно немецкого, романтизма; пристрастие к декоративной стороне народной жизни, к исключительным сюжетам, к необыкновенным натурам мешало ему остановиться на глубоких, основных явлениях этой жизни. В изображении Федьковича, несмотря на печальные сюжеты, Буковина является всегда в несколько праздничном виде, его герои страдают больше от любви, чем от тяжёлых экономических и общественных условий, а это едва ли так было в Буковине даже в более счастливые для буковинского крестьянства 60-е годы. Как в поэзии, так и в прозе широкие темы не давались Федьковичу: он не успел достаточно развиться для них. Для такого развития, которое равнялось бы его природному таланту, необходима была более культурная среда, которой не было тогда ни в Буковине, ни в Галиции, куда было переселился Федькович в 1872 году. Переселился он во Львов, чтобы работать при обществе «Просвіта» по изданию книг для народного чтения. Там он издал около пяти книг своего сочинения, проникнутых клерикально-буржуазным духом, который если и проявлялся иногда в его беллетристике, то в очень слабой степени. Львовская народническая интеллигенция, далеко не свободная от клерикально-бюрократических предрассудков, проникнутая филистерством, ничего не дала Федьковичу, а скорее даже имела дурное влияние на выработку его литературного вкуса. Сам Федькович писал, что он прожил во Львове «14 чёрных месяцев, чтобы до крайности разочарованным возвратиться под свою родную кровлю». Возвратясь на родину, этот писатель, открывший, так сказать, Буковину для литературного мира, жил почти в полном одиночестве и нравственном отчуждении от своих интеллигентных соплеменников.

Первый сборник его прозаических произведений был издан в 1876 году Драгомановым в Кисеве, и переводы этих рассказов появились в русских, сербских, чешских, немецких и других периодических изданиях. Полное же

собрание сочинений Федьковича вышло в Черновицах только в 1896 году.

По смерти Федьковича долго не было ему преемников на Буковине. Долго не являлось ни одного писателя, который не то чтобы превзошёл Федьковича талантом, а хотя бы только сравнялся с ним. Наконец, в 90-е годы выступили на литературную арену молодые силы: Ольга Кобылянская и Василь Стефаник.

Ольга Кобылянская — ближайшая землячка Федьковича, так как выросла в том же Кимполунгском округе, только ближе к румынской части Буковины; отец её служил чиновником в окружном городке Кимполунге. Образование она получила в немецкой школе, а потом пополняла его сама чтением книг, главным образом на немецком языке, на котором, подобно Федьковичу, писала свои первые произведения, да пишет иногда и теперь, так как владеет этим языком в совершенстве и имеет литературные связи в немецкой Австрии и Германии. Она сотрудница штургартской «*Neue Zeit*»\*, а также берлинской «*Gesellschaft*»\*\*, редакция которой очень ценит произведения Кобылянской и ставит их наряду с лучшими произведениями молодых немецких модернистов.

Кобылянская — наследница Федьковича по таланту, но не продолжательница его манеры. Она воспитанница немецкой культуры, и этого не могут ей простить её галицкие критики, так как немецкое влияние до сих пор заметно на её стиле. Но если немецкий язык и был действительно вреден для её стиля, то он был не только полезен для общего развития, но даже спас её от умственного застоя и нравственной спячки в мелкобуржуазной, чиновничьей среде маленького буковинского городка, где единственным очагом культуры была библиотека, состоявшая почти исключительно из немецких книг. По крайней мере Кобылянская сама находит, что эта «неметчина», к которой так презрительно относятся галицкие собратья, вывела её в люди, открыла для неё мир идей, познакомила её с мировой литературой и научила любить и понимать искусство. Действительно, эстетический и идейный уровень развития

---

\* «Новое время»

\*\* «Общество».

у Кобылянской гораздо выше, чем у тех буковинских и галицких писателей, которые развивались под влиянием только исключительно местной и польской литературы, а если и есть у неё кое-какие неровности и пробелы, то причины этому надо искать не в «неметчине», а в недостатке систематичности, которым неизбежно страдает всякое самообразование.

Писательница вначале видела от своих земляков больше огорчений и разочарований, чем помощи и нравственной поддержки; она сама сознаётся, что это иногда вызывало у неё желание бросить навсегда украинскую литературу и уйти в «неметчину»; конечно, хорошо, что она этого не сделала, так как в немецкой литературе она всегда оставалась бы гостьей, хотя и желанной, тогда как в украинской она дома и может проявить свой талант более разносторонне. К тому же начиная с 1895 года она стала, наконец, признанным членом семьи в украинской литературе и теперь уже не может пожаловаться на невнимание редакторов, критиков и особенно читателей.

В своих сочинениях Кобылянская затрагивает самые разнообразные темы. Больше всего отмечен ею тип интеллигентной женщины, борющейся за свою индивидуальность против нивелирующей и засасывающей среды австрийской буржуазии, погрязшей в безнадежном филистерстве. Этой теме посвящён рассказ «Людина» и большой психологический роман «Царівна», который при многих несовершенных формах и слишком подчёркнутой феминистической тенденции, что часто мешает художественному впечатлению, всё же остаётся одним из самых замечательных романов этого рода. Он стоит гораздо выше по смыслу и по исполнению, чем романы на подобную тему немецкой писательницы Рейтер «Aus guter Familie» \* и итальянской беллетристки Несры «Teresa», с которыми галицкая критика сравнивала «Царівну». Сравнивая эти три произведения, мы видим, что героиня-русинка вышла с большим успехом из борьбы, которая превратила немку и итальянку в несчастных, истеричных старых дев. Это объясняется тем, что русинка постаралась победить в самой себе те враждебные начала, с которыми приходилось ей бороться

---

\* «Из хорошей семьи».

в окружающей среде, тогда как итальянка и немка не имели на это ни мужества, ни сил, ни даже ясного сознания необходимости такой самопобеды.

В то время, когда создавался роман «Царівна», Кобылянская была очень увлечена идеей женского движения; находясь под сильным влиянием феминистки г-жи Кобринской, между прочим, выступила в 1894 году в «Товаристві русских жінок в Чернівцях» с рефератом по женскому вопросу («Дещо про ідею жіночого руху»<sup>\*</sup>). Впоследствии она значительно охладела к феминизму, быть может, потому, что он стал для неё «пережитым моментом», а самая идея женской равноправности представилась не требующей теоретических доказательств.

После «Людини» и «Царівни» Кобылянская писала много мелких рассказов, из которых большинство принадлежит к лирическим стихотворениям в прозе. Этот род литературы, не встретивший особенного сочувствия у галицкой критики, проникнутой в большинстве принципами натурализма, тем не менее наиболее удаётся писательнице, так как её натуре очень свойственны лиризм и музыкальные настроения. Самые реальные картины она постоянно сопровождает лирическими отступлениями, которые напоминают симфонии, где впечатление пейзажа и движения души сливаются в одну нераздельную гармонию. В сборнике рассказов Кобылянской, вышедшем в прошлом (1899) году во Львове, большая часть принадлежит к этому «симфоническому» жанру. Один из таких рассказов под заглавием «Битва» рисует картину гибели громадного девственного леса в кимполунгских горах, павшего под топорами промышленных культуртрегеров, нещадно грабящих «зелену Буковину» своим хищническим хозяйством. Из простого факта уничтожения заповедного леса известной торговой фирмой писательница сумела создать истинно трагическую и высокохудожественную картину.

Вообще лес и горы — это родная стихия Кобылянской, где она даёт полный размах крыльям своей фантазии и увлекает за собой читателя. За эти размахи писательнице иногда жестоко достаётся даже от доброжелателей, которые ставят ей в вину, что она подобно немецким модернистам

---

<sup>\*</sup> «Нечто об идее женского движения».

слишком залетает в заоблачную высь, гораздо выше, чем достигают вершины буковинских гор, и потому не видит и не хочет видеть, что делается в долинах, где страдает буковинский народ. Для этих упреков есть известное основание.

Протест личности против среды и неизбежно сопровождающие его порывы *ins Blaue* \* составляют необходимый момент в истории литературы каждого народа; этот момент, повидимому, только теперь наступил для украинской литературы, по крайней мере для той, которая развивается в австрийской обстановке. Подобное литературно-общественное настроение вызывало в своё время необычайный подъём художественного творчества у других народов; можно думать, — так как на это есть указания, — что такое настроение не пройдёт бесплодно и для украинской литературы.

Лучший из рассказов Кобылянской, навеянных этим настроением, — это «*Valse mélancolique*» \*\*, где с большой пластичностью изображены три женских типа: скромной, трудолюбивой и непритязательной девушки с инстинктами семейственности и симпатичным, но не широким кругозором, затем лирически восторженной и безнадежно-тоскующей музыкантши с порывами к «сверхчеловеческому» и эмансипированной художницы, служащей только искусству, берущей от жизни всё, что она может дать, и спокойно презирающей окружающих её филистеров.

Упрекающие Кобылянскую за порывы в заоблачную высь могут утешиться, так как писательница не всегда чуждается «долин»; доказательством служит прекрасная повесть под названием «Некультурна», где под чисто симфонический аккомпанемент рассказывается очень реальная, способная скандализировать благовоспитанных австрийских читателей история крестьянки-гуцулки, эмансипированной не по теории, а по инстинкту. Сильная, способная ко всем мужским работам, красавица, с врожденным чутьём изящного, эта «некультурна» отстаивает свою личность от грубого ухаживателя, который в сущности ей нравится, но возмущает её самоуверенной навязчивостью. Наперекор

---

\* В голубую высь (нем.).

\*\* «Меланхолический вальс».



ему и точно под влиянием какого-то гипноза она выходит замуж за первого попавшегося человека, но сразу занимает самостоятельное положение относительно мужа. По смерти мужа она переживает первую серьёзную любовь к человеку, который оказывается негодяем с разбойничьими замашками, живёт на её счёт в её доме, а вместе с тем изменяет с её родной сестрой. Но «некультурна», с трудом спасшись из ловушки, в которую вовлекает её изменник, выгоняет от себя своего милого и живёт одна, не подчиняясь больше ни одному из своих ухаживателей. Несчастья не порабощают, а закаляют её; несмотря на пережитые драмы, она твёрдо верит в своё «счастье», — в этой уверенности утвердило её предсказание одного старого «ворожбита» (предсказателя), а ещё более собственное сознание своей несокрушимой физической и нравственной силы, воспитанной в борьбе с дикой горной природой. В этой повести, причудливо сотканной из поэзии и прозы, собственно, две героини: гуцулка и карпатская природа.

Эскиз «Банк рустикальный» даёт нам выхваченную прямо из жизни картину горя крестьянина, подавленного непонятной для него математикой крестьянского банка и понимающего только одно, что он из хозяина превращается в нищего. Эта картина написана совсем в иной манере, чем все другие рассказы Кобылянской. Впрочем, она редко берёт сюжеты из крестьянской жизни; ей более знакома жизнь интеллигенции, и поэтому сюжеты из этой жизни легче поддавались описанию, дают более простора изящному таланту писательницы.

Василь Стефаник с большим основанием, чем О. Кобылянская, может быть назван продолжателем Федьковича: он так же близок к крестьянской среде, так же любит её, так же усвоил язык её и проникся её чувством. Он сын крестьянина, родом из галицкого Покутья, из села Русова, которое отделяется от Буковины только рекою Прутом и относится этнографически не к Галичине, а к Буковине. Сам Стефаник причисляет себя к буковинцам. Из биографии Стефаника известно, что он студент-медик, что начал свою литературную деятельность на Буковине (первый его сборник издан в Черновицах) и что с первых же шагов был восторженно принят буковинской и галицкой критикой и публикой. Ему не пришлось ощупью искать дороги по-

добно Федьковичу или бороться за своё литературное существование подобно Кобылянской. Яркость ли таланта, или доступность тем создали сразу популярность молодому писателю, — трудно решить; вернее всего и то и другое. Как бы то ни было, но не прошло и трёх лет со времени первого появления Стефаника в литературе, как он уже стал известностью на своей родине. Литературные друзья Стефаника опасаются, как бы такой быстрый успех не повредил выработке таланта молодого беллетриста; но, говорят, сам Стефаник не придаёт большого значения похвалам друзей и критики. Надо надеяться, что пример Федьковича не прошёл даром для его продолжателей, что они не остановятся на полпути подобно ему, а сумеют с образностью, колоритностью формы и с теплотой чувства соединить глубину и широту мысли, недостаток которых отозвался роковым образом на деятельности Федьковича.

Стефаник при некотором сходстве внешних приёмов с Федьковичем сильно отличается от него настроением и восприимчивостью. Если у Федьковича выступала главным образом этнографическая, казовая сторона народной жизни, романтические сюжеты, то у Стефаника, наоборот, мы видим изнанку этой жизни. Собственно, эти два писателя выбирают свои сюжеты из разных слоёв крестьянства, Федькович изображал зажиточное крестьянство, страдающее только от рекрутского набора да от случайных катастроф, не считая, конечно, общечеловеческих, всегда и всюду существующих страданий. Стефаник изображает крестьян, стоящих на пороге к полной пролетаризации или уже переступивших этот порог; впрочем, переходное, самое болезненное состояние почти исключительно занимает молодого писателя. В маленьких набросках, которые своим чёрным колоритом, отчётливостью и вместе небрежностью письма похожи на рисунки пером, Стефаник даёт нам целую коллекцию силуэтов, несколько напоминающих силуэты итальянских пролетариев в описательных стихотворениях Ады Негри. Но Стефаник не любит лирических аккордов и поэтических украшений, в этом отношении он противоположность Кобылянской, — он, подобно Брет-Гарту, совсем прячет свою авторскую личность. Он обладает трудным секретом передавать настроение в разговорах и в обстановке, а при этом, рисуя свои персонажи в

самом неприглядном виде, возбуждает симпатии к ним у читателя, совершенно не вдаваясь в характеристику от автора.

В таких коротких набросках Стефаник собрал нам целую коллекцию рисунков с натуры: новобранец, солдат, самоубийца, умирающая баба-одиночка, — много таких скорбных образов проходит перед нами. В более длинном рассказе «Каменный крест» Стефаник показывает нам поражающую и хватающую за душу картину переселения в Канаду разорившейся крестьянской семьи; взят момент прощанья переселенцев с родным селом и горе главы семьи, которому невыносимо жаль и родной избы, и села, а больше всего песчаного холма, на котором поставлен каменный крест на память о долголетнем, упорном труде, превратившем песок в пахотную землю.

Рассказы Стефаника при всей их реальности не фотография, а именно рисунки, как бы эскизы для будущей картины. Читая их, приходит в голову, что если бы связать их общей фабулой, то получился бы роман толпы.

У всех героев Стефаника одинаковая психология, изменяются только условия, действующие на неё. Главные черты этой психологии — пассивность, перемещающаяся стихийным движением по инерции. Ни одно из действующих лиц в рассказах Стефаника не возвышается над уровнем остальных, а вместе они составляют одну коллективную личность. Этим я не хочу сказать, что типы Стефаника шаблонны, лишены индивидуальности; нет, они так похожи между собой, как живые листья с одного дерева, а не как искусственные, выбитые по шаблону в одном размере. Все наброски Стефаника проникнуты тем животворящим духом участия автора к своим персонажам, который придаёт непреодолимое обаяние художественным произведениям и которого не может скрыть даже самая объективная форма (чтобы доказать это, достаточно вспомнить «Ткачей» Гауптмана); герои Стефаника пассивны или инертны, но они полны такого живого захватывающего страдания, перед которым невозможно остаться спокойным.

Стефаник не народник; его «народ» не является носителем каких-то «устоев» и добродетелей, неизвестных «гнилой интеллигенции», но именно отсутствие этих устоев и добродетелей, раскрытое умелой и любящей рукой, производит

на мыслящих и чувствующих читателей более сильное, более глубокое и более плодотворное впечатление, чем все, проникнутые, конечно, наилучшими намерениями, панегирики идеализированному народу в народнической литературе.

Стефаника упрекают, и не без основания, в односторонности и даже однотонности его рисунков. Действительно, у него преобладают мрачные краски, а при этом в сюжетах его нет ничего необычного, романтического. Он рисует обыденную жизнь серого люда, но не только внешнюю обстановку этой жизни, а самое содержание этой жизни. Двумя-тремя быстрыми штрихами он необычайно ярко изображает нам целые драмы, и благодаря именно тому, что все его наброски имеют общий тон, они, давая нам одну общую картину жизни сельского люда, показывают коллективную душу его.

Яркий, оригинальный талант Стефаника привлёк внимание не только соотечественников автора; переводы его рассказов начинают появляться в польских и немецких изданиях. В конце прошлого года в берлинской «Gesellschaft» был помещён перевод одного рассказа Стефаника («Письмо арестанта») с восторженным примечанием от редакции. Между тем немцы не очень щедры на похвалы писателям новых литератур, и только выдающиеся представители таких литератур имеют шансы на успех у немецкой критики. Как мы видим, все три главных писателя маленькой Буковины завоевали себе симпатии богатой талантами, а потому требовательной немецкой печати. Уже один этот факт доказывает, что молодая литература маленькой украинской ветви представляет вовсе не малую художественную ценность. Кроме художественного эта литература имеет и общественное значение. Три главных буковинских писателя, взаимно дополняя друг друга, дают интересную картину жизни всех слоёв населения своего края. Невольно является мысль: если малочисленное население захолустной провинции, поставленной в невыгодные условия для развития литературы, могла дать за короткое время своего национального пробуждения три сильных таланта и обратить на себя внимание даже современной посторонней критики, то какими творческими силами должен обладать народ, к которому принадлежит это маленькое

племя, и как развернулись бы эти силы при лучших условиях. Нам кажется, что как бы кто ни относился к этнографическим и историческим теориям, касающимся украинской национальности, но если ему интересно видеть жизнь всей украинской нации в широком изображении и всестороннем освещении, то он должен пожелать этому народу или племени, языку или «наречию» богатой и правильно развивающейся литературы.





## ЗАМЕТКИ О НОВЕЙШЕЙ ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

од словами «польская литература» подразумевается обыкновенно польская беллетристика, и это не без основания: до сих пор в польской литературе беллетристика играет главную, руководящую роль. В силу особых условий жизни польские писатели издавна должны были себе усвоить или «язык богов», или эзоповский, если хотели, чтобы «имеющие уши» их слышали, поэтому поэтический памфлет и художественная полемика нигде не достигли такого совершенства, как именно в польской литературе.

Замечательный пример соединения самой высокой поэзии и самой страстной публицистики мы видим во всей литературной деятельности Мицкевича и его современников. Необычайное развитие и серьёзное значение польской изящной литературы настолько поражает воображение польской критики, что ей очень трудно бывает отрешиться от дифирамбического, преувеличенного тона, особенно по отношению к романтическому периоду родной поэзии. Даже у такого серьёзного и добросовестного критика-учёного, как Хмелевский, оценка нередко превращается в славословие, которое у критиков-дилетантов положительно не имеет пределов. Так, например, в одном критическом очерке проводится мысль, что история человеческого духа знает только два чуда: древнегреческую классическую литературу и польскую романтическую поэзию. Греческая

литература является чудом, так как она вполне самобытна, независима от каких бы то ни было посторонних влияний; польская романтическая поэзия хотя далеко не так самобытна, но может быть названа чудом, потому что её расцвет не только не соответствовал окружавшим её условиям жизни, но прямо противоречил им: эта поэзия расцвела вдруг, на развалинах классицизма, среди литературного застоя и всеобщей спячки. Едва ли надо ещё опровергать суждение о безусловной независимости греческой литературы от посторонних влияний; что же касается второго «чуда» — появления польской романтики на руинах классицизма, то тут именно вспоминается пословица немецких ученых: «В том-то и чудо, что на свете нет чуда». Везде в Европе романтизм вырос на руинах классицизма, везде он являлся протестом личности против инертной или угнетающей среды, везде, наконец, он носил ясно выраженный национальный характер при всех своих aspirations к экзотизму и космополитизму. Польская романтика не составляла исключения.

Катастрофа 1861 года, поколебав идеалы, возвеличенные романтикой, нанесла ей страшный удар. С трудом оправившись от тяжёлых болезненных разочарований, польское общество заговорило о том, что пора освободиться от неограниченной власти поэзии, так как она не может служить надёжным маяком, а скорее похожа на блуждающий огонь, сбивающий с пути и ведущий к гибели; что спасение не в мечтах, как бы ни были они возвышенны, а в «органическом труде» на пользу родной страны. Литература подхватила этот новый лозунг — «органический труд» (*praca organiczna*), и вот вместо неограниченной власти поэзии наступило неограниченное царство прозы: публицистика заняла более независимое положение, повесть и роман, до тех пор почти не известные в польской литературе, стали быстро развиваться. Вслед за Крашевским, работавшим и до 60-х годов, но в одиночестве почти абсолютном, стали появляться на ниве польской изящной прозы всё новые и новые силы. Места романтических героев, поэта, пророка, рыцаря, политического заговорщика заняли новые герои, пионеры органического труда — инженер, механик, агроном, учёный, наконец, благодетельствующий миллионер и обожаемый крестьянами крупный землевладелец.

Беллетристика стала также часто вторгаться в область науки, как прежде поэзия вторгалась в область публицистики. Писатели полемизировали многотомными романами и пятиактными драмами за или против Дарвина, О. Конта, Спенсера; «позитивизмом», «реализмом» или гордились, или бранились все писатели и их герои. Такое брожение умов и увлечение научными проблемами охватило тогда всю Западную и Восточную Европу, но в Польше благодаря особым условиям оно выразилось совершенно оригинально: в то время как во всей Европе новое умственное движение вызвало движение политическое, склонность к новаторству, в Польше именно позитивисты и реалисты являлись противниками всяких «теорий катастроф» в политике; эти теории были гораздо более по сердцу ультрамонтанам и патриотам старого закала, знать не хотевшим Дарвина, Конта и Спенсера и упрекавшим «молодых» в подрывании патриотических традиций, в отречении от национальных идеалов. Борьба «отцов и детей» в польском обществе и литературе проявлялась именно в том, что отцы бранили детей за умеренность и аккуратность, а дети упрекали отцов в легкомыслии и расточительности своих собственных и народных сил. Только в среде австрийских поляков споры отцов и детей носили характер, более сходный с такими же спорами во всей остальной Европе, так как в Австрии не 1861, а 1848 год был решительным политическим моментом: впечатление катастрофы успело уже сгладиться, создались условия, благоприятствующие спокойному настроению среди «отцов», увидевших возможность согласить племенной патриотизм с патриотизмом государственным, всеавстрийским, тогда как «дети» начали уже усматривать новые перспективы и создавать новые идеалы.

Сообразно условиям жизни разных частей польского общества, взглядам и aspirations разным его групп видоизменился и расчленился новый идеал «органического труда»; вначале под этим термином подразумевались все виды практической деятельности, заключённой в пределах родного края, но вскоре некоторые из героев органического труда, показавшие себя уже не в литературной фракции, а в конкретных условиях жизни, заставили усомниться многих пропагандистов нового лозунга в безусловной



идеальности всех «органических тружеников» без исключения. Начались оговорки, запутывавшие дело до такой степени, что невозможно было подчас разобрать, кто же, собственно, считает себя реалистом, а кто идеалистом и в каком смысле надо понимать эти термины.

Мало-помалу из этого хаоса выделилось одно более определённое направление, народническое, первые проблески которого можно проследить ещё в романтической польской поэзии, в её пристрастии к этнографии, особенно же в том её направлении, которое известно под именем «украинской школы».

Украинская народная словесность и трагическая история заняли воображение молодых поэтов-романтиков, к тому же демократическое настроение должно было увлекать сердца молодых «хлопоманов» из «панской» Польши в «хлопскую» Украину, что, впрочем, не мешало молодым польским украинцам считать себя, так же как и всю Украину, неотделимыми от «общего отечества» — Польши. Украинская школа была довольно осторожна в выборе сюжетов: она разрабатывала балладные, фантастические мотивы народной украинской поэзии, как раньше Мицкевич и его подражатели разрабатывали народные польские темы; если же иногда приходилось касаться исторических воспоминаний, то молодые поляки-украинцы или уходили во тьму времён общеславянских, или ограничивались временем первых татарских набегов, раннего периода казачества или редкими моментами польско-украинской солидарности и таким образом избегали всяких «раздражающих моментов». Правда, от этого произведения украинской школы, напоминающие отчасти юношеские баллады Шевченко, отчасти ранние повести Гоголя, выходили довольно искусственными и слишком идиллическими, но это был единственный способ угодить «и родине, и отечеству». Такое литературное направление, которое подчас даже польская критика называла «танцем между яйцами», не могло иметь будущности; и действительно, «украинская школа» так же скоро отцвела, как расцвела. Последние отголоски её прозвучали в поэмах умершего лет пятнадцать назад киевского поэта Владимира Высоцкого.

Чисто народническое направление обнаружили не столько поэты, сколько прозаики, продолжавшие тради-

цию украинской школы. Если в исторических романах, появлявшихся в 50-е годы, всё ещё преобладает романтическое увлечение легендой и авантюрой, то уже в романах Ежа и в драме Корженевского «Гуцулы» («Kagrasu gó-gale») видна сознательно проведённая демократическая тенденция и переход от шаблонов к пробам если не решения, то постановки серьёзных вопросов, касающихся сословных отношений. Еж в своих повестях из жизни беглых крепостных украинцев в Добрудже горячо защищает, иллюстрируя трогательными примерами, то положение, что «неотесаний хлоп» обладает таким же умом и сердцем, как и все другие люди, а кроме того, ещё отличается простой, *неиспорченной* натурой и способностью к безграничному всепрощению; если же этот кроткий «хлоп» иногда превращается в беглого или, как в драме Корженевского, в разбойника, то это значит, что он поставлен в совершенно невыносимые условия, которые требуют безотлагательной реформы или по крайней мере некоторых наиболее необходимых улучшений.

С первого взгляда кажется странным, что начало польского народничества так тесно связано с влиянием украинской школы на романистов и драматургов переходного между романтизмом и реализмом периода. Выходит, как будто польские писатели раньше заметили существование украинского «хлопа», чем своего, польского. Да, это действительно так и было, потому что украинский «хлоп» настойчиво напоминал о своём существовании в течение многих веков, украинский вопрос стоял грозным призраком перед польскими деятелями всех направлений, даже трудно было заговорить об украинской этнографии или истории, чтобы не наткнуться на подводные камни. Поэтому, наконец, и писатели, вовсе не принадлежащие к украинской школе, как, например, Захарьяевич, и совсем не украинофильские органы, как, например, «Kurjer Lwowski», нашли необходимым заговорить об урегулировании украинско-польского вопроса, ставя на вид, что «хорошо направленные русины» (выражение «Kurjer'a Lwowsk'ого») могли бы послужить своими силами, «теперь расточаемыми напрасно», делу прогресса на «общей родине русинов и поляков». Практические пробы этого общего служения делу прогресса, впрочем, до сих пор не отличались

особенным успехом, разбиваясь главным образом о несогласия в понимании терминов «общее дело» и «хорошо направленные силы»; достаточно было малейшей невыдержки, ошибки такта с той или другой стороны, чтобы с большой торжественностью заключённый мир переходил в ожесточённую войну.

Прозаики, находившиеся под влиянием поэзии «украинской школы», скоро освободились от этого влияния, — слишком уже трудна была задача согласить патриотизм двух национальностей, примирить разные исторические традиции, отделить классовые стремления от национальных. Особенно это трудно было для писателя, слишком серьёзного, чтобы обходить всё это при помощи утопии или идиллии, но недостаточно отважного, чтобы «смотреть волку прямо в глаза». Кстати, польский «хлоп», мазур, наконец, напомнил о своём существовании, по крайней мере в Австрии в 1848 году; потом события 1861 года, освобождение крестьян, германизация Познани, значительно обусловленная слишком низким культурным уровнем польского крестьянина в сравнении с немецким, — всё это заставило польских писателей-народников заняться исключительно изучением и изображением своего родного «народа» (раньше это если и бывало, то только спорадически, как бы случайно). К тому же русский идеализм вначале, а потом французский натурализм помогли польским писателям привыкнуть различать людей не только в исторических, театрально-этнографических и салонных костюмах. Впрочем, и в польской литературе был великий образец для молодых реалистов, а именно «Пан Тадеуш» Мицкевича; оставалось только реалистический способ описания, применённый гениальным поэтом к мелкодворянской среде, употребить при изображении крестьянской среды.

Народническое направление имело огромное значение для польской литературы: оно сразу открыло новые горизонты, обновило и форму, и содержание польского романа и повести, вызвало к жизни новеллу. Оно, наконец, дало определённые контуры идее «органического труда». Органический труд, основанный на принципе служения народу, уплаты вековых долгов всеми забытому польскому крестьянину, удовлетворял одинаково реалистов и идеалистов и выделял карьеристов и отсталых (Zasorancy) в особый

лагерь, который мог бы себе выбирать какое угодно имя.

Время расцвета народничества совпадает с началом деятельности таких талантов, как Болеслав Прус, Элиза Ожешко, Генрих Сенкевич, Клеменс Юноша; все они достаточно известны русской читающей публике, и поэтому вдаваться в подробную характеристику их произведений было бы излишне. Кто внимательно следил за литературным развитием этих писателей, тот мог заметить, как народническая тенденция мало-помалу ослабевала у них.

Э. Ожешко, никогда, впрочем, не бывшая ярой народницей, в продолжение своей долгой и плодотворной литературной деятельности постоянно меняла поле своих наблюдений (в этом, между прочим, её большая заслуга и интерес), смотря по тому, какая среда привлекала в данный момент её внимание или какие идеи носились в воздухе. Таким образом, в её произведениях отразились: женский вопрос, еврейский вопрос, идея органического труда (это главным образом), идея культурного поднятия крестьянства и уплаты дворянских долгов, то есть народническая идея, потом тревога перед надвигающейся массой пролетариата и т. д. Народничество было только одним из моментов, и Э. Ожешко могла перестать интересоваться этим моментом, ничуть не изменяя своему гуманизму, которым проникнуты все её произведения.

Б. Прус, будучи юмористом с склонностью к карикатуре, скоро увлёкся больше формой, чем содержанием, и его сочинения замечательны скорее неподражаемо схваченным народным говором, чисто национальным юмором, чем глубиной идей. Последние его произведения уже не имеют никакого отношения к народничеству, как, например, его последний большой роман «Эмансипантки» (вышедший недавно в русском переводе), где он является противником эмансипации женщин.

Клеменс Юноша, натолкнувшись при изображении жизни всякой бедноты на еврейский вопрос, увлёкся им и посвятил почти всю свою деятельность анализу и освещению еврейской среды. Так как эта среда не относится непосредственно к земледельческому сословию, хотя и связана с ним тысячью нитей, то К. Юноша, избирая её главным объектом своего наблюдения, уклонился, таким

образом, от прямого народнического пути и приблизился к демократам последующего направления.

Генрих Сенкевич взял сначала народнический тон гораздо более решительно, чем все его товарищи по направлению. Наверное, его «Эскизы углем» ещё не изгладились из памяти русских читателей, но я позволю себе привести одну тираду, которой он заключил свой набросок «Репиха» («Rzerowa»), где изображена горькая судьба униженной и оскорблённой крестьянки: «Ах, если бы это панна Ядвига очутилась в подобном положении, то-то бы я написал сенсационный роман, которым постарался бы убедить самых ярых позитивистов в том, что ещё существуют идеальные создания на свете. Но в панне Ядвиге каждое впечатление дошло бы до самосознания; отчаянные мечтания души выразились бы в не менее отчаянных, а вместе с тем и в очень драматических мыслях и словах. Этот заколдованный круг, глубокое и крайне болезненное чувство беспомощности, бессилия и насилия, эта роль листа среди бури, глухое сознание, что нет ниоткуда спасенья: ни от земли, ни от неба,— всё это вдохновило бы, конечно, панну Ядвигу на не менее вдохновенный монолог, который мне довольно было бы только записать, чтобы составить себе репутацию. А Репиха? Этот простой народ, когда страдает, то только страдает, и больше ничего».

Эту тираду, звучащую глубокой иронией, можно бы поставить в эпиграфе к теперешнему новому юбилейному собранию сочинений Г. Сенкевича,— этот эпиграф подошёл бы так или иначе ко всем произведениям талантливого писателя. После «Эскизов углем» — и довольно скоро — Г. Сенкевич оставил Репих, Янков, Бартков, которые «только страдают и больше ничего», и обратился к изображениям исторической национальной славы, в которой участие Янков и Бартков было невелико, к созданию эпопеи начала христианства вполне согласно учению римско-католической церкви и, наконец, к описанию «отчаянных мечтаний души», если не панны Ядвиги, то других людей её сословия, и составил себе во всех этих направлениях вполне заслуженную и громкую репутацию.

Такое отступление от первоначального направления корифеев народнической литературы хотя и не сопровождалось упадком их таланта и значения, но во всяком слу-

чае ускорило упадок самого направления, которое едва успело пустить корни в польском обществе и в чистом своём виде существовало очень недолго. Сбивчивость понятий «народ», «народность», «нация», «национальность», «национализм», «патриотизм» постоянно сводила польских народников с определённого прямого пути и в теории и на практике.

Национальный вопрос всегда занимал первое место в польской литературе, и если в последнее время раздаются, с одной стороны, сожаления в критике и публицистике об охватившем будто бы поляков увлечении космополитизмом, а с другой стороны, выражения радости, что это увлечение уже проходит, то, собственно, трудно понять, где и в чём выразился этот космополитизм. Приверженцы «органического труда» всех толков им не грешили, народники тем менее. «Народ» интересовал народников не только как «меньшой брат», как «неиспорченная натура» и т. д., но и как оплот национальности. Главной задачей «органического труда» было не только экономическое благосостояние и повышение культуры народа, но и защита территории от экономического вторжения иноплеменных элементов. Крестьянство должно держаться за свои наделы, чтобы их не отняли немцы, — вот тенденция наиболее замечательного романа Б. Пруса «Форпост» («Placówka»), в котором изображается познанский крестьянин Слимак, выбивающийся из сил, чтобы только не отдать своего надела немцам. В поэмах Марии Конопницкой<sup>1</sup> крестьяне говорят (это, конечно, идеал поэтессы-народницы): «Кто продаст надел свой, тот не нашей веры».

Этот принцип — «не выпускать земли из рук» — заставляет идти на компромиссы. На Слимаков при их бедности и некультурности надежда в борьбе против более культурных соседей плоха, а наверстать вдруг вековую отсталость невозможно: на это нужен долгий срок, а время не терпит — приходится обратиться к другим сословиям за помощью. Пусть мелкая шляхта сохраняет землю сообща с более крупной, забывая спесивые споры о разнице в «благородстве происхождения» («Над Неманом» Э. Ожешко), кстати, ведь «шляхтич на загроде равен воеводе», как говорит историческая пословица. Пусть дворянство землевладельческое заботится прежде всего об уплате долгов

своим кредиторам, чтобы они не продали с публичных торгов «родной земли» («Дикарка» Э. Ожешко, «Семья Поланецких» Г. Сенкевича, «Паненка» Еленской — роман, премированный на литературном конкурсе, «Девайтыс» Родзевич, тоже премированный, и масса беллетристики на эту тему). Как совместить интересы кредиторов, помещиков и крестьян, об этом народническая литература или умалчивала, или давала очень уклончивые ответы (вначале было предлагала кооперацию, потом как-то забыла о ней), или отмахивалась от назойливого вопроса, откладывая его «на завтра», а «сегодня» рекомендовала помещикам труд, конечно, не физический, но и не умственный, а труд управляющего большим имением, крестьянам тоже труд, конечно физический, а кредиторам, по возможности, терпение, особенно если эти кредиторы — евреи. Но, если кредиторы принадлежат к той же народности, что и должники, что тогда? Ведь «органический труд» ставит и другую задачу, с точки зрения национальной не менее серьезную: не допускать вторжения иноплеменных капиталистов. «Не выпускать денег из рук» — принцип сам по себе ничем не хуже принципа собирания и сохранения земли, но он не так пришёлся по сердцу народникам, которым недвижимая собственность как-то больше импонировала. Капиталист в изображении бывших и настоящих народников является в общем типом отрицательным. Впрочем, в последнее время и этот тип находит себе апологетов. Известный писатель Север, обнаруживающий большую идиллическую симпатию к «народу», печатает в журнале «Ateneum» большой роман под заглавием «Свыше сил» («Ponad siły»), где идеализирует польских капиталистов и предпринимателей-нефтепромышленников в качестве культуртрегеров Восточной (русинской) Галиции. Эти нефтепромышленники являются с целыми артелями рабочих (мазуров, бывших крестьян) эксплуатировать бориславскую нефть и благотворствовать местное население, русинов, давая заработок при поставке необходимой утвари и подвод. Русины относятся с недоверием к новым благодетелям, чем прекрасно пользуются более привычные «культуртрегеры» — евреи, раздувая вражду русинов не только к предпринимателям, но и к рабочим-мазурам. Делу культуры и собирания капиталов ещё мешает недостаток солидарности и понимания своих

же собственных интересов некоторыми капиталистами, никак не умеющими «и честь спасти, и капитал приобрести». Интересна в этом романе, между прочим, антитеза русинов и мазуров, несколько напоминающая обычную антитезу «злых и добрых» детей в правоучительных книжках. Русины «злые»: они недоверчивы, не любят панов вообще, пьют водку, ленивы, лишены инициативы, угрюмы, неповоротливы, ревнивы, не умеют даже нравиться женщинам; мазуры, наоборот, «добрые», характер открытый, преданы своим панам телом и душой, пьют только пиво, трудолюбивы, предприимчивы, веселы, беззаботны, бравы и нравятся всем русинкам безусловно. Характеристика мазуров у Б. Пруса, Сенкевича, Конопницкой и др. была несколько иная: там они приближались к типу русинов Севера, но, может быть, времена изменились, а может быть, тут виновата литературная антитеза, эта «коварная сирена», по выражению французских учителей словесности.

В романе этом, как во многих других, где идеализируются новые герои «органического труда» — капиталисты-промышленники, мы видим новую пробу практического решения трудного вопроса: как можно «не выпускать денег из рук» и вместе с тем по-христиански отпускать долги своим соотечественникам? Ответ простой: покрывать дефицит на счёт какой-то другой земли, лучше всего какой-нибудь «провинции», например Восточной Галиции; кстати, это будет даже благодеянием для этих некультурных русинов, которые, правда, страшно неблагодарны по своей натуре, но всё же создания божии. Решение довольно стройное с национальной точки зрения, но не вполне удовлетворительное с точки зрения демократизма или хотя бы общего гуманизма.

Так как роман «Свыше сил» очень типичен в смысле «последнего слова» проповеди «органического труда», то можно заключить, что это направление, пережив народнический период, возвратилось к прежнему хаосу, из которого начинает выделяться нечто новое и... бесконечно буржуазное.

То же случилось и с другими принципами, которые некогда были гордо выставлены на знамени молодой народнической школы: реализмом и позитивизмом. После громкого, отзывающегося молодым задором провозглашения нового



среди наступили моменты сомнения, мучительного анализа, началась работа мысли. Чем больше развенчивались и теряли обаяние западные учителя позитивизма и реализма у себя на родине, тем тревожнее становился дух их учеников в Польше. К общему для всей мыслящей Европы страху перед мрачной пустотой, грозящей воцариться на месте разрушенных верований и отвергнутых общественных привычек, присоединялся ещё страх за своё национальное существование, лишшающееся поддержки вековых устоев в виде исторических и религиозных традиций. Человек «без догмата», Леон Плошовский, чувствовал себя несчастнее, чем «ученик» детерминизма Грелу, так как на родине Грелу «бездогматизм» — довольно обыденное явление, а на родине Плошовского люди «без догмата» являются чужеземцами. И вот Плошовские бросаются, очертя голову, заглушая в себе дух анализа, в море догматов, над которым ещё так недавно высоко парил их всеотрицающий дух. А если их скептическая совесть упрекнёт, что это не совсем искреннее «обращение», они могут ответить цитатой из Асныка, поэта поколения Плошовских, который так говорит о «людях печальных»:

Жизнь им не даст утешений небесных,—  
 Ангельских надо явлений чудесных  
 И провиденья защиты высокой,  
 Надо им вечной любви, хоть далёкой.

Этот поэт прошёл всю школу Плошовских: разочарования «теории катастроф» он вылил в мрачной поэме «Сон гробов»; затем, спасаясь от отчаянья, грозящего безумием, он настроил свою лиру на анакреонтический лад, пробовал отнестись с бравурой к тому, что ещё так недавно наполняло его душу ужасом:

Лес винных лоз на кладбище!  
 Ты на них смотришь со страхом?  
 Я себе кровь полирую  
 Дедовским прахом!

«Органический труд» казался ему слишком прозаическим, к проповеди покаяния и уплаты долгов он относился с презрением:

Каётся пусть в сокрушенье,  
Кто собрался,  
Я на его погребенье  
Выпью фалерно!

Но гимн оргии кончался страшным диссонансом. Пришли на праздник какие-то бледные тени; поэт «знал их когда-то... недавно»; их кровавые слёзы, их молчаливые рыдания отравили заморское вино ищущим забвенья живым их собратьям, и вот анакреонтический мотив превращается в жуткую бравуру «танца смерти»:

В пьяном чаду проклянём мы  
Счастье за то, что неверно.  
Завтра взорву себе череп,  
Выпив фалерно!

Но «завтра» оказалось не так трагично — нашлись другие утешения, как мы видели. Примирившись с догматами, поэт к концу жизни после утешительных мыслей о том, что

Прекрасного волшебство бесконечно,

обратился со словами ободрения к падающему и изнемогающему сыну века:

Не говори, от жажды умирая,  
Что в мире нет живой воды ключей:  
Среди пустынь, ища в миражах рая,  
Ты проглядел оазиса ручей.

Непримиримому и духом мятежному он давал совет, отзывающийся совсем не поэтическим филистерством, но заправленный лёгкой иронией:

Являясь в общество, ты за пороги дома  
Не приноси с собой пугающего грома.  
Орлиных взоров, вдохновенных бредней  
Оставь величие с калошами в передней.

И все эти заветы поэта поколения Плошовских не пропали даром: анакреонтизм и набожность умирающего, стремления к новым надеждам и филистерское довольство малым раздаются то с той, то с другой стороны на польском

Парнасе; иногда одна и та же лира издаёт все эти аккорды попеременно.

В общем польская поэзия, пробуждающаяся только теперь после тридцатилетнего состояния полусна, настроена мрачно, и все пессимистические течения мировой поэзии находят в ней себе отголосок: демонизм Байрона, стремящийся к нирване, пантеизм Шелли, холодный космический пессимизм Леконт де Лилиа и Хозе-Мария-Эредиа, сатанизм Бодлера, сверхчеловеческая презрительность Ницше, тоска пресыщения и набожность отчаянья Верлена, нравственный нигилизм Рембо, вечно страдающий эстетизм Д'Аннунцио, безумный лунатизм Сар Пеладана — всё это отражается, как в зеркале, в созданиях краковской школы поэтов, сотворивших себе кумир из поэтической прозы неистово вдохновенного Станислава Пшибышевского. Но под всеми этими трагическими масками, созданными космополитической мировой скорбью, чувствуется другое лицо с чисто польскими чертами, лицо безумца-импровизатора Густава<sup>1</sup>, героя пламенных галлюцинаций Мицкевича, только ещё более бледное, со взором, остановившимся от ужаса перед призраками или от гнетущего кошмара, сковывающего его члены и часто превращающего речь его в бессвязный бред.

Прозаики польские ещё находят жизнерадостные или, по крайней мере, трезво-весёлые ноты, утешаясь мыслями об «органическом труде», воспоминаниями о былом величии, надеждами на будущее или, наконец, просто юмористическим отношением ко всему; горизонт поэтому гораздо мрачнее: «органический труд» кажется им пошлой прозой, — да эту доктрину им действительно не за что благодарить, — воспоминания и надежды, едва зазвучав, прерываются диссонансом или ироническим вопросом, напоминающим знаменитую загадку: что лучше — ждать и не дожидаться или иметь и потерять?

Даже поэты-народники, среди которых самое видное место занимает Мария Конопницкая, от более или менее удачных проб поэтизации труда и повседневных страданий человеческих уходят часто в мечты о нирване, раздражаются проклятиями земле и упрёками небу или ищут успокоения в философском равнодушии ко всему.

Ян Каспрович, поэт, стоящий на рубеже между на-  
родничеством и другим демократическим направлением,  
бросил недавно в свет такое своего рода *pronunciamento*:

Я отдавал себя во снедь толпе позорно,  
Я звал её, как раб, царицею царей, —  
Теперь моя любовь не ляжет так позорно  
На ступенях её безбожных алтарей.  
Остатком сил теперь воздам я ей суд правый,  
Слабеющей рукой я сокрушу кумир.

Пожрала сердце мне толпа, молох кровавый,  
И высосала мозг души, как злой вампир!

Затем его мысль идёт зигзагами, как блуждающий  
огонь: он то взывает к чарам природы и духу Винкель-  
рода, то провозглашает, что «истина в любви, и только  
в ней», то поэтизирует разбойничество как выражение  
общественного протеста, то называет себя «гадиной» и  
«волом покорным», то клянётся, что душу не продаст  
«ради выгоды лакейской», что никогда не оставит забытой  
самим богом «земли печали» и не сойдёт «с полных терния  
дорог», то, преисполняясь презрения ко всему на свете,  
заявляет:

Меня не тронет кровь и побеждённых стои!  
Где жизнь идёт, там счастье неизвестно.  
Пусть гибнет мир, — на то и создан он.

Поэт-идеалист Пшерва Тетмайер говорит от лица своих  
собратьев в стихотворении «*Poesi idealisci*»:

Идея — бог наш — будет век царить  
На троне наших чувств и помышлений.  
Лишь тот достоин быть её жрецом,  
Кто скажет, как Христос перед своим отцом:  
«Я за тебя готов на смерть среди мучений».

Но в чём же эта «идея», если, по словам поэта, его по-  
колению (значит, и поэтам-идеалистам) уже «нечего те-  
рять», — так оно изверилось во всём на свете? Что из того,  
что эти поэты «горды и дерзки, словно полубоги, грозящие  
рукой Олимпу самому», когда они сами убеждены, что  
теперь поэзия — «для людей забава»? Отчего же в таком слу-  
чае так высокомерно «ногами попирает предшественников

трупы», преграждающие потомкам дорогу — дорогу к чему?

Ведь сами идущие говорят:

Уже вечерняя ложится тень.  
Где дверь, куда бы мы войти хотели?  
Мы шли без остановки целый день.  
Да не напрасно ли мы этот зной терпели?  
Воистину напрасно: нет нам цели.

Не лишено мрачного величия сгедо этого «идеалиста» (Тетмайера), которое начинается так:

Завтра? Не верю, чтобы лучше было.  
И незавидно мне, что в это верят дети.  
...Мы верим в голос, нас во тьме зовущий  
К борьбе со злом, не ради возрожденья,  
А просто ради зла, из ненависти к злу,  
Да из врождённой жажды разрушенья.  
Вот наша вера.

Поэт верит, что «пока жить людям, быть на свете злу», что «ненависть — вот мировой рычаг», что «бессмысленное, тёмное и бездушное человечество» было бы совершенным ничтожеством, если бы гении время от времени не отдавали ему свой дух и свою мысль (стихотворение «Geniusze»). После такого мрачного, высокомерного и смелого в своём отрицании сгедо как-то странно читать жалобы этих «идеалистов» на людей толпы:

Вы к нам взываете: «Мы выбились из сил.  
Вы дайте веру нам и слово утешенья!»  
А кто же нам самим хоть слово подарил,  
Когда наш дух был слаб? Нам не было спасенья!

Гениям ли духа и мысли жаловаться на то, что их не умеет поддержать «бессмысленное, тёмное и бездушное» человечество? Гораздо последовательнее уже обращение к мистицизму:

Тоскую о чём-то мистическом, тайном, сокрытом,  
О чём-то, во мраке безбрежном предвечно закрытом,—  
Быть может, оно после ряда веков возвратимо.  
Быть может, оно в этот миг незаметно идёт себе мимо!

Очень возможно также, прибавим от себя, что это «что-то» усталые «поэты-идеалисты» найдут опять-таки

в тех догматах, к которым так склонно обращаться второе поколение Плошовских.

Уже один из этих поэтов, Глинский, говорит:

Смерть от отчаяния? Нет, лучше жизнь в обмане.

Он же изображает в своём стихотворении «Ничто» («Nic») такое положение: поэт смотрит, как строят костёл; этот вид сначала настраивает его на более чем скептический лад, но затем путём длинных и софистических рассуждений поэт уверяет себя, что «то, чего нет, умом постигнуть я сумел»; затем обращается к строящим с вопросом, на какие средства воздвигается костёл. «Даёт, кто в бога верит», — отвечают ему. «Дам и я», — решает поэт, очевидно, уже не сомневаясь, что он имеет нравственное право участвовать в созидании храма, основанного на том догмате, который есть для поэта «ничто» или «ненужная необходимость».

Есть, впрочем, попытки создать новый догмат. Один из наиболее искренних и серьёзных поэтов-идеалистов, Жулавский, исходит из ещё более безрадостного пессимизма:

Нет в этой жизни ни добра, ни зла,  
А только суэта и пустота без меры.

Пробует утешиться обманом, но сразу как-то чувствуется, что он не верит в это средство:

Мы лгать должны и душу убеждать,  
Что жалкий труд её даёт мирам блаженство.

В большой философской поэме «Над морем», где изображается спор позитивизма с идеализмом, среди проклятий позитивной науке («Будь проклят, кто в душе возбуждает жажду, но утолить не в силах»), среди пантеистических сомнений и надежд прорывается один возглас, вызванный красотой моря при лунном свете, полный светлой, неудержимой радости и какого-то непосредственного убеждения:

Прекрасен мир! Жить стоит!

Это первый член нового *credo* модернистов, признающих религию красоты выше всех догматов. Быть может, это *credo* не вполне удовлетворяет все запросы челове-

ской души, но оно по крайней мере звучит искренно, интересно, во всяком случае, насколько гармонически будут согласоваться между собою дальнейшие члены этого credo, об этом теперь ничего нельзя сказать, так как слишком ещё мало данных.

Быть может, хоть этот культ красоты спасёт, наконец, польскую поэзию, как спас уже немецкую, от неотвязной галлюцинации смерти, вечного разрушения, гибели всех миров. Эта галлюцинация всецело овладела поэтами Ланге, Пшесмыцким (популяризатор Метерлинка, пишущий чаще под псевдонимом *Miriam*), Россовским, не говоря уже о Тетмайере, наконец, даже Щепанским, вначале довольно весёлым поэтом, основателем краковского журнала «*Zycia*» («Жизнь»), вокруг которого группировались молодые поэты-модернисты. Журнал этот, недавно прекративший своё существование, дал возможность проявить себя многим теперь уже известным поэтам, в том числе Пшибышевскому, который вскоре затмил славу всех своих собратьев, сотрудников «*Zycia*», и сделался для них образцом, вызывающим подражания.

Пшибышевский — поэт не в техническом смысле этого слова, так как он не пишет стихов и только изредка снисходит к ритмической прозе, но он поэт, и притом поэтом-импрессионист по своим приёмам и по своему способу мышления. Благодаря тому, что он как поэт очень талантлив, владеет образами, умеет создавать из них новые (более или менее) комбинации, только и можно понять его значительное влияние на направление новейшей польской поэзии. Пшибышевский в своём сборнике quasi-критических статей «На путях души» («*Na drogach duszy*»), который считается манифестом польской «модерны», сам заявляет, что в его теории нет ничего нового, а есть только синтез мыслей, к которым он пришёл, хотя и одновременно с другими, но вполне независимо, самобытно. С тем, что теория не нова, мы охотно соглашаемся, но против этой самобытности, на которой Пшибышевский так настаивает, можно было бы возразить очень многое, так как «совпадений» у него слишком уж много — даже в терминологии — с его предшественниками из французской *décadence* и немецкой *moderne*, только едва ли стоит предпринимать этот неблагоприятный труд: если с успехом подражать можно только

родственным по духу образцам, то тогда и подражание имеет независимое значение, так как оно определяет личность подражающего, а Пшибышевский подражает с большим успехом, пожалуй, даже с слишком большим: его сознательная нелогичность мысли и намеренная бессвязность образов, как того требует его заимствованная у декадентов и отчасти у импрессионистов теория, напоминают безумие Гамлета, о котором ни действующие лица в драме, ни читатели, ни критика не могут решительно сказать, было ли оно притворным или действительным.

Попробуем изложить взгляды Пшибышевского, насколько они поддаются изложению.

В основу положен принцип «искусство для искусства», искусство же само не есть ни «красота», ни «часть познания»; к нему не приложима ни одна из донныне созданных эстетических формул. «Искусство есть воссоздание того, что вечно, независимо от всяких изменений и случайностей, от времени и пространства, следовательно, оно есть воссоздание сущности, то есть души, где бы она ни проявлялась: во вселенной ли, в человечестве или в отдельном индивидууме».

«Искусство поэтому есть воссоздание жизни души во *всех* её проявлениях, независимо от того, хороши ли они или дурны, прекрасны или безобразны».

На этом последнем положении Пшибышевский настаивает много раз, повторяя, что принцип новой эстетики не красота и не этика, а *сила*, энергия самодовлеющая, ничему не подчинённая.

«Искусство не имеет никакой цели,— оно само в себе цель, оно абсолютно, так как оно отражение абсолютного— *души*».

«И так как оно абсолютно, то оно не может быть заключено ни в какие рамки, не может быть слугой никакой идеи,— оно власть, оно источник, из которого вышла вся жизнь».

Искусство, сколько-нибудь служащее общественности или морали, не есть искусство — это «*biblia pauperum*», заменяющая учебники недомыслящим и необразованным людям.

Особенно низко стоит «искусство демократическое, искусство для народа», так как оно служит плебейскому



устремлению сделать доступным то, что по самой природе вещей малодоступно.

«Народу не искусство нужно, а хлеб; когда у народа будет хлеб, то он сам себе найдёт дорогу».

Жрец этой новой религии искусства, артист, точно так же не имеет никаких обязанностей и целей, он сам себе доволен, «ipse philosophus, daemon, Deus et omnia»\*, — он стоит выше жизни, всегда чист и свят, не знает ни прав, ни ограничений и ничего не признаёт, кроме силы, в чём бы она ни проявлялась (почему, собственно, он должен признавать силу? — это ведь несколько мешает *абсолютной свободе*).

Итак, искусство и артист *свободны абсолютно*.

Можно бы, пожалуй, заключить из этого, что новая теория признаёт, кроме принципа силы, ещё и принцип свободы, но, увы, мы видим нечто прямо противоположное.

Что может изображать неограниченно свободный артист в своих творениях? Казалось бы, ответ ясен: всё. Какими приёмами может он пользоваться? Казалось бы, какими угодно: ведь он абсолютно свободен.

А между тем он не имеет права изображать толпу и обращаться к ней — это дело агитатора; не имеет права входить в художественное общение с каким-нибудь определённым человеческим обществом — это дело учёного; не имеет права обращать внимание ни на политику, ни на всякие «внешние перемены» в жизни народа, а может только основываться на «неизменном и вечном» расовом отличии одного народа от другого (должно быть, знать о том, что *раса* тоже не вечна и не неизменна, — тоже дело учёного); не имеет права создавать идеалов, должен только исследовать душу, быть натуралистом-метафизиком (это выражение не принадлежит Пшибышевскому, но да позволено будет употребить его здесь), изображать только «обнажённую душу», в её обнажённых состояниях; не имеет права изображать *вещи*, а только чувства, из них только бессознательные, так как только в них проявляет себя «абсолют»; отыскивание таких чувств позволяется даже называть стремлением к идеалу; особенно строго воспре-

---

\* Сам себе философ, демон, бог и всё (лат.).

щается свободному артисту иметь что бы то ни было общее с «реализмом», к которому относится «всё до сих пор существовавшее искусство» (за очень немногими гениальными исключениями), потому что этот реализм есть «бездорожье души».

Таким образом, «абсолютно свободный артист» является чем-то вроде лишённого всех прав состояния. Судя по тем положительным примерам, на которые указывает Пшибышевский в своих критических очерках, бедному свободному артисту даже выбор тем предоставляется очень небольшой: любовь, смерть... и, кажется, это всё. Вокруг этих двух тем позволено группировать «чувства, мысли, впечатления, сны, видения», лишь бы только изображать всё это «непосредственно, как оно проявляется в душе, без логической связи, со всеми внезапными прыжками и сцеплениями», бояться же упреков в «смешном идиотизме» нечего, так как, во-первых, свободному артисту вообще нельзя заботиться о славе или успехе — это позорное плебейство, а во-вторых, «под тем, что жалкому мещанскому мозгу представляется смешным идиотизмом, скрывается всегда глубина».

После изложения этих взглядов — *vogue, la galère!*\* — Пшибышевский пускается в открытое море противоречий собственной теории, которые перечислять было бы слишком долго и в которых упрекать совсем нечего, так как, во-первых, метафизический натурализм в принципе признаёт всякую нелогичность, а, во-вторых, в этих противоречиях всё его спасение. Цепляясь за эти противоречия, как за спасательный круг, носится поэт-метафизик по морю своих критических импровизаций и лирических настроений. Благодаря этому кругу оказываются благополучно возвращёнными в лоно церкви истинного искусства национальные гении Мицкевич, Словацкий, Шопен, которым прощены (по крайней мере не поставлены в строку) и «Пан Тадеуш», и «Отец зачумлённых», и навеянные «внешними переменами» полонезы, и многие другие грехи реализма. Можно надеяться, что не всё ещё погребено даже для бедных, лишённых прав состояния, им всё-таки позволены сны и видения, а ведь «нет ничего прекраснее грёз

---

\* Плыви, галера! (франц.).

о минувшем великолепии, покрытом вековой паутиной, об изъеденных ржавчиной королевских коронах, о земном блеске заплесневевших воспоминаний», — возможно, что эти грёзы приведут польских натуралистов-метафизиков к тому же, к чему привели приверженцев «органического труда» всех оттенков, идеалистов, реалистов, народников, а именно к воссозданию одной из частей вечности — народа, говоря стилем Пшибышевского. И тогда «свободный артист», протестовавший против всех традиций, подобно автору поэмы «Над морем» скажет: «Я вдруг всё понял. Я всё знаю. Я не был богом, я не был властелином, я никогда не покидал того берега, на котором стоит моя избушка...».

Против этого метафизического натурализма, или декадентизма, или модернизма, которого передовым бойцом является Пшибышевский, началась уже реакция. В театре «обнажённые души» выставляются в виде «Карикатур» — такое заглавие дал своей комедии молодой драматург Киселевский, культивирующий на польской сцене стиль французской натуралистической комедии, так называемой *comédie rosse* (от слова *rosse* — кляча). Киселевский — начинающий драматург, это всего вторая его пьеса; по первой — под заглавием «В сетях» — можно было думать, что он относится с симпатией к модернизму и его представителям, но в «Карикатурах» он выставляет их согласно названию этой комедии. Эти «обнажённые души» являются там людьми, у которых *ni foi ni loi*\*, а к тому же им совершенно недостаёт даже силы, которой требует их доктрина. Герой комедии портит жизнь двух девушек, швей и барышни, и свою собственную, совершает вместе со своими товарищами всякие гадости, но всё это так бессильно, безвольно, трусливо, что даже речи не может быть ни о какой силе. Силу — по крайней мере силу любви и «собачьей» привязанности — проявляет только бедная швейка, единственный симпатичный тип в комедии. Автор, повидимому, считает своих героев-модернистов карикатурами на их же собственную доктрину.

Точно так же относится к модернистам (толка «обнажённой души») и Немоевский в своём романе «Письма

---

\* Ни веры, ни закона (франц.).

безумного человека» («Listy człowieka szalonego»), написанном с явно полемической целью. Немоевский выступает и против теории, и против практики артистов новой школы. В романе представлены признающие девиз «искусство для искусства» со всеми его комментариями à la Пшибышевский. В громадном большинстве они, по мнению автора, лишены таланта, и даже немногие талантливые лишены силы и всякой инициативы и ждут себе спасения из Парижа или от пришествия какого-то мессии искусства, который должен вдохнуть жизнь в мёртвую форму; так мечтают более искренние, другие же вполне довольны своим «новым искусством», которое хорошо оплачивается всякими «графинями Жоглинскими» и подражающими им богачами, а кроме того, доставляет им развлечения в виде хорошеньких натурщиц. Одна из таких натурщиц, героиня романа, увлечённая, изломанная, оскорблённая и даже разорённая «жрецами искусства», после тщетной попытки стряхнуть с себя тину этой «артистической» жизни, бросается в Вислу, что, конечно, очень мало трогает её «покровителей», разве что даёт им повод заметить, что Висла на то только и годится, «чтобы в ней тонули сентиментальные девушки», она даже как пейзаж неинтересна — «совершенно фальшивого тона»; то ли дело Сена.

Что касается девиза «искусство для искусства», то он «так же хорош, как и всякий другой», только «если бы, например, я сказал нищим, калекам и хромым, что бог для бога, а не для них, то я отнял бы у них единственную опору и утешение». Впрочем, «в искусстве всякие теории и выводы не имеют ни малейшего значения» — всё дело в практике, а на практике мы видим, что «новое» направление создало «литературу самых низких инстинктов без всякого критического выбора» (совершенно то же говорили в своё время противники позитивного натурализма), сами же «свободные артисты» продали себя всяким набобам — кто же может лучше платить — и наложили на себя невидимые цепи, «обманивая свет теориейками о независимости». Да если бы даже их искусство действительно заслуживало этого названия (хотя бы только в виде «отрывка искусства»), то, раз для его понимания необходима роскошная обстановка, не лучше ли подождать с

пропагандой его до того времени, «когда в жизни не будет голых калек, оборванных ребятишек и швеек с красными веками»? Артист, видящий всё это и работающий только для виновников всей этой нужды, должен обладать каменным сердцем. Если эти артисты боятся прозы жизни, то напрасно, так как «только хороший поэт ценит надлежаще прозу». Если же эти артисты служат только горсти избранных, из презрения к «подлой черни» — человечеству, которое, однакоже, обращается с ними вежливо, несмотря на их высокопарную ругань, то пусть эти «сверхлюди» устроят отдельное государство, работают там сами на себя, не брезгая никаким трудом, чтобы ни в ком из «черни» не нуждаться, а в свободное от занятий время пусть предаются «чистому искусству». Тогда покинутое человечество, быть может, упадёт на колени и в сокрушении сердечном будет слушать «голос, гремящий с высоты»:

«Подлая чернь, тёмная толпа, филистерский сброд...»

«Иначе, пожалуй, выведенное из терпения человечество начнёт их когда-нибудь взаимно... бойкотировать».

Как всякий памфлет, роман Немоевского страдает сильным сгущением красок и носит обличительный характер, придавая одностороннее освещение «новой школе» как собранию людей, прежде всего неискренних, корыстных, эгоистических. Если смотреть на дело не с точки зрения обличения, а только критического понимания, то можно допустить, что и самое притворство бывает притворством истерического больного, который в притворных припадках выражает свою действительно больную натуру, свою тоску, не умеющую найти себе естественного выражения. Быть может, для лечения таких больных необходимы иногда окрики и обличения, но для диагноза их болезни этого недостаточно. В минуты искренности они сами ставят себе диагноз лучше, чем их врачи. Примером такого диагноза может служить стихотворение Ланге «Ложь» («Klamstwo»), где поэт говорит, что всё его равнодушие, отрицание, ирония, космический пессимизм — всё это ложь, выдуманная им для того, чтобы заглушить в себе отчаяние перед страшными страданиями человечества и неразрешимыми загадками бытия; желая заглушить в себе жажду мученичества и любви, поэт уверял себя, будто ему «ни до чего на свете нет дела» и будто он

гордится тем, что он «подобен меди звенящей», но всё это неправда: он любил «больше, чем дозволено любить». Не в этом ли правильный диагноз болезни польской модерна, по крайней мере её лучших представителей?

Не производит впечатления здорового и сам обличитель больной модерна, Немоевский, как недавно оперированный больной, не может говорить сколько-нибудь спокойно о ранах; всё человечество представляется ему огромным лазаретом, где за недостатком медицинского и служебного персонала больные должны лечить и поддерживать друг друга; он добросовестно пробовал изучать их скорбные листы и сличать их со своим собственным, но, не видя конца этой печальной работе, он бессильно опускает руки и в отчаянии взывает: «Синтеза, синтеза!» — и крик этот повторяет вместе с ним почти вся польская литература. Но это не стремление к синтезу, которое свойственно человеку, видящему, что собранный им и другими громадный аналитический материал сам напрашивается на известный, определённый синтез, давно поставленный в гипотезе, — нет, это стремление человека, измученного изнуряющей работой, как-нибудь покончить с ней, ну, хоть сдать в архив, что ли, только бы избавиться от этого моря ужасных «человеческих документов». Но как избавиться? «Пусть человечество будет счастливо... пусть прежде всего будет счастливо!» Так кончает Немоевский свои «Письма безумного», но ведь это ещё не синтез, а только выражение желания.

Так же болезненно жаждет синтеза и другой, столь же талантливый, как и Немоевский, но ещё более измученный писатель — Жеромский. В своих новеллах, а особенно в своей последней повести «Люди бездомные», он раскрывает целый мир невыразимого страдания, именно невыразимого, так это чувствует автор, теряясь в нервных усилиях выразить весь ужас физических и нравственных, особенно нравственных, мук своих героев. Его манера письма напоминает отчасти Достоевского, отчасти Гейерстама; по внутреннему содержанию он тоже близок к этим обоим авторам, — с одной стороны, бесконечная жалость и сострадание ко всем униженным и оскорблённым, с

другой — чувство безысходного одиночества и самоуглубление, доводящее подчас до потери чувства действительности. «Синтез», к которому приходит герой «Бездомных», представитель сознательного интеллигентного пролетариата, заключается именно в усилении и сочетании этих двух элементов. Этот герой отказывается в конце повести от любимой девушки и от всякой перспективы личного счастья не потому, что этого требуют какие-нибудь реальные причины, а ради полной независимости совершенно одинокого человека, обречшего себя на служение страждущему человечеству. «Я не могу, — говорит он, — иметь ни отца, ни матери, ни жены, ничего такого, что прижимал бы с любовью к сердцу, пока с лица земли не исчезнут эти подлые кошмары. Я должен отречься от счастья. Я должен быть совершенно одинок. Пусть около меня никого не будет, кто бы меня удерживал».

Против «не могу» ничего нельзя сказать, так как если это — *чувство*, то оно так же законно, как и всякое другое. Но против «я должен» как доктрины можно возразить, что она прибавляет ко всем «кошмарам» ещё один, хотя, может быть, и не «подлый», а именно кошмар аскетизма, — это кошмар опасный, грозящий удушьем или параличом. К счастью, такой «синтез» невозможен для всех, а только для «избранных». Бедные избранные! *Les extrémités se touchent\**, Пшибышевский создаёт искусство «горсти», Жеромский — этику тоже «горсти», и в какие тяжёлые цепи заковывают они эту «горсть»! Пшибышевский отрекается от счастья и красоты во имя «силы», Жеромский — во имя «сострадания»; один хочет освободить искусство, другой — человечество, но кого может освободить невольник в цепях?

Писатели, подобные Немоевскому и Жеромскому, производят впечатление чего-то бесконечно нежного и любящего, но не сильного, не свободного духом. Совершенно противоположное впечатление производит столь же грустный и сосредоточенный, но мужественный и свободный талант Серошевского. К какой школе он принадлежит? Едва ли он сам задавался когда-нибудь этим вопросом.

---

\* Крайности сходятся (*франц.*).

По стилю и по чисто объективным приёмам изложения он резко отличается от всех новейших польских беллетристов с их преувеличенными фразами, стремлением к оригинальности и крайним субъективизмом. По внешней манере в сущности такие различные по духу писатели, как Пшибышевский и Жеромский, как Тетмайер и Каспрович, очень сходны между собой; они все пишут новоромантическим стилем и постоянно противопоставляют чувство рассудку. Серошевский по литературным приёмам ближе всего к русскому реализму тургеневского образца, но по пристрастию к исключительным темам, грандиозным контурам приближается опять-таки к романтизму. Никаких теорий искусства, никаких эстетических догматов он сам не развивает нигде, этических программ тоже не ставит в отвлечённой форме, разве что иной раз позволит какому-нибудь действующему лицу выразить такое мнение: «Надо, чтобы каждое действие, каждое движение наше заключало в себе ясную частицу идеала, иначе всё будет смертью... тщетой». Я не буду останавливаться на достаточно известных русским читателям повестях Серошевского из сибирской жизни, упомяну только об его последней повести «Риш-тау», которая, кажется, ещё не появлялась в русском переводе. Действие её происходит на Кавказе, в польской семье. Семья эта «села на землю», отчасти по необходимости, но ещё более по сознательному желанию её умершего главы, который был человеком вообще очень идейным, подчинявшим всё в своей жизни определённым «убеждениям», — главным его убеждением было, что «оставаться в согласии со своей совестью можно только будучи земледельцем. Земля — источник всяких богатств и нравственности». Согласно этому принципу, он устроил жизнь свою и своей семьи: детей никуда не отдавал в ученье, учил их сам и старался привить им свои принципы; но когда он умер, то сыновья его остались недоучками и далеко не убеждёнными. Им пришлось заниматься нелюбимым, навязанным им почти насильно земледелием в местности заброшенной, некультурной, где они чувствовали себя оторванными от всего мира; к тому же личная жизнь сложилась печально: оба брата влюбились в свою приёмную сестру, которая не любила ни одного из них, а увлеклась заезжим членом географического общества,



молодым поляком, преданным науке. Братья ищут забвенья: младший — в природе и в охотничьих приключениях, старший — в пьянстве и в одуряюще-тяжёлом труде.

К этой истории жертв навязанной идеи довольно механически присоединена история молодого члена географического общества, особенно своим финалом. Учёный вместе с проводником-черкесом сваливаются в пропасть во время экспедиции, убегая от наводнения, вызванного землетрясением (три катастрофы сразу — это и старому романтизму впору), однако остаются в живых в ожидании, пока их всё-таки зальёт вода, проникающая в пропасть от наводнения. Черкес рассказывает о судьбе своей семьи, об эмиграции в Турцию, о тоске по родине... Потом, проникнутый глубоким фатализмом, молится и спокойно ждёт смерти. Молодой учёный не находит в себе молитвы, но он как бы исповедывается перед собой в этот грозный час приближения конца и видит «грязь мелкой фальши, умолчаний, уступок, которые он должен был делать при разных обстоятельствах жизни», видит, что он не жил, а только собирался жить. Но вот теперь уже поздно, он упустил время и не будет жить никогда. «И всё летело в тёмную пропасть отчаяний перед этим одним словом: «смерть». Потом показалось ему, что с горных вершин какая-то туманная женская фигура наклоняется к нему и произносит его имя «в длинном ряду напрасно погибших сынов своих...» Учёного потом находит младший брат — земледелец, но живого или мёртвого, на это автор не даёт ответа.

Серошевский не патриот в ходячем смысле этого слова; он часто проводит идею, что нет тяжелее и бесплоднее жизни человека, чувствующего себя чужестранцем в родной ли, в чужой ли стране, всё равно. Сам он не относится как чужестранец ни к идеологам-полякам, ни к прокажённым якутам, ни к чукчам, ни к черкесам, но «туманная женская фигура» назовёт его имя не в ряду погибших для неё сынов.

«Синтеза», который старается найти у Серошевского критика, мы с своей стороны у него не видим, да и вообще едва ли скоро найдёт его польская литература, у которой аналитическая работа ещё далеко не кончена, так

как ей слишком часто мешали в работе более или менее не зависящие от неё обстоятельства.

Польская критика вслед за беллетристами взывает: «Синтеза, синтеза, во что бы то ни стало!» Но не лучше ли было бы заменять эти слова другими: «Свободы духа, отваги, во что бы то ни стало!» — быть может, это требование даже легче выполнить. Во всяком случае этих элементов наиболее недостаёт богатой, разнообразной и крайне интересной польской литературе нашего времени, а это элементы, необходимые, между прочим, и для синтеза.





## ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДРАМА КОНЦА XIX СТОЛЕТИЯ

(Критический обзор)



Новейшая драма — вот что может вызвать у литературного обозревателя больше всего оптимистических мыслей. Именно в этой области литература «конца века» действительно сказала новое слово, проложила новую тропинку «в мистическом лесу» литературных форм. В конце XIX столетия роман уже заканчивал свой утомительный путь, так бодро начатый в начале столетия; поэзия выбивалась из сил, стараясь заменить старые и давние темы «новыми, новейшими, самыми новейшими»; новелла утрачивала свежесть красок, и именно в эту минуту драма разбила, наконец, оковы мёртвой рутины, от которых так долго и отважно стремился её освободить единственный в своём роде, но неровный и негармоничный талант «северного богатыря» Ибсена. Хоть Ибсен и оставался всегда новатором в области идей и притом любил исключительно драматическую форму, но всё же не мог до конца освободиться от романа, философского трактата или моралистической проповеди. В его драмах читатель большей частью не замечает того, что *происходит* на сцене, сосредоточивая внимание на том, что там *говорится*. Этим я не хочу сказать, будто в драмах Ибсена нет действия, но только действие в них часто не зависит от диалога, как в старых операх либретто было независимо от музыки.

Вслед за Ибсеном бросились в широкое море к новым мирам Бьёрнстjerne, Гарборг, Стриндберг и целая плеяда

северных писателей, которых так часто сравнивали с викингами. Сравнение это довольно верно, не лишено полноты, так как эти викинги в одеждах протестантских пасторов почувствовали себя «новообращёнными» христианами со странным сочетанием прозелитизма и авантюризма, — это сочетание напрасно старались перенять другие люди, неудавшиеся викинги и не обращённые в протестантство.

Есть предание, будто викинги первые, ещё задолго до Колумба, открыли Америку, но Колумб всё же вторично открыл её словно неведомый край, потому что все открытия и славные подвиги викингов роковым образом оставались бесплодными для прочих людей. Так и теперь, независимо от блистательных открытий новых викингов, Гауптман и Метерлинк отправились искать «кратчайший путь в Индию»: один через необозримый океан психологии и социальных проблем, а другой — через туманное море мистики и легенды. Гауптман открыл в своих «Ткачах» драму толпы, а Метерлинк в «Слепых» — драму настроений. Хотя оба эти драматурга не сумели до конца использовать свои открытия (и в этом они схожи с Колумбом), хотя их наследники большей частью не талантливей и не оригинальней, чем незаслуженно прославленный Америго Веспуччи, но всё же новая земля открыта и вместе с нею — новое широкое поле для деятельности.

Характеристика обоих этих новых направлений в драме была бы слишком обширной темой для обзора, который должен быть сжатым, поэтому ограничиваюсь очерком одного только, самого продуктивного, направления, а именно — социальной драмы в новом значении этого слова, то есть драмы масс, драмы борьбы разных общественных групп между собой.

Несомненно, элементы такой драмы можно проследить в литературе древнейших времён, особенно в комедии. Намёки на общественную борьбу мы видим у Аристофана, затем в средневековых мистериях, вернее в их светской части — интермедиях и интерлюдиях, из которых возник так называемый «народный театр» марионеток; в этом народном театре отразились, хоть и в отрывочной и уродливой форме, исторический, политический, национальный и общественный антагонизм. В комедиях Мольера и

Бомарше большая драма борьбы аристократии с буржуазией вылилась в такую весёлую, анекдотическую форму, что, как известно, сами исполнители, являвшиеся прообразами героев, долго не понимали того, что они собственно играли трагедию. Масса, хотя бы как стереотипный «народ» драмы XIX века, почти не показывалась в театре с того времени, как исчез со сцены классический хор. Правда, мы её видим в драмах Шекспира («Кориолан», «Юлий Цезарь», хроники), но она выступает там эпизодически, играет подчинённую роль, являясь фоном для главных героев, хоть и это шаг вперёд по сравнению с греческим хором, потому что народ выступает уже не обезличенной толпой, которая произносит в унисон монологи, а собранием определённых индивидуальностей, хотя ей и отведено ещё очень незначительное и несамостоятельное место, особенно если принять во внимание, что такие темы, как «Кориолан» или «Король Джон», дают большой простор для создания массовой драмы. Но роль, отведённая толпе в драме XVII и XVIII веков, вполне отвечает тогдашним взглядам на народ, как на более или менее пассивный материал для разных политических комбинаций «сильных мира сего». Демократическая идея ошупью искала дороги и брала себе в поводыри другие, зачастую случайные, такие, как идеи национальной независимости, автономии провинций, свободы веры и др.

Вполне серьёзную трактовку массы как значительного драматического фактора мы впервые встречаем у Шиллера. Если в «Лагере Валленштейна», в этой живой жанровой картине тяжеловесного фламандского стиля, мы видим толпу только как пролог, как основу для дальнейших действий героев, то в драме «Вильгельм Телль» она занимает настолько большое место, что образ героя мельчает и никнет перед ней. Но это исключительная, необыкновенная толпа, вся из героев, которые выражают высоким стилем высокие чувства. И всё-таки она несамостоятельна. Как народная фантазия не могла допустить, что швейцарский народ сам мог освободиться от ярма, и поэтому придала ему героя-спасителя, так и Шиллер принудил свою героическую толпу пассивно ждать, пока перстом судьбы отмеченный герой не подаст ей сигнал к действию. Телль в действительности не пастырь, не организатор (он даже

не принимал участия в создании союза трёх кантонов), только меткий стрелок, а главное — отмеченный перстом драматурга избранник.

Как бы там ни было, это не пустой случай, что именно в такой драме, где демократическая идея выражена ясней всего, толпа впервые была выдвинута на первый план и даже идеализирована; не случайно и то, что роль этой толпы, хоть и очень значительная, всё же невыразимо запутана, и это зависело не от особенностей таланта драматурга, а от того, что для него была недостаточно ясна сама идея.

Сравнительно с «Вильгельмом Теллем» ни «Разбойники» и «Заговор Фиеско» Шиллера, ни «Гец фон Берлихинген» и «Эгмонт» Гёте не вносят ничего нового в развитие социальной драмы, хотя, сравнивая с другими драмами того времени, их скорей всего можно отнести к этой категории. Виктор Гюго был единственным романтиком, который сделал в своём «Кромвеле» солидную попытку создать социальную драму, но чрезмерное и притом сознательное подражание Шекспиру не столько в сильном, сколько в наиболее слабом из всего, что он создал, сделало форму этой драмы надуманной и неживой, а чрезмерное влияние идей Карлейля придало ей тенденцию, очень невыгодную именно для массовых драм, так как эта тенденция опять низводила массу на роль более или менее пассивного фона для знаменитых и исключительно добродетельных поступков героев. Другие драмы на социальные темы Виктора Гюго и его школы хоть и удачны по форме, но по содержанию и тенденции отступают ещё дальше, нежели «Кромвель», от идеала социальной драмы.

Вообще романтическая драма довольно часто затрагивала тему борьбы личности с окружающим обществом, разнообразно освещая только самого героя, тогда как его окружение, если оно состояло из толпы, она представляла какой-то однообразной, порой причудливой стихией с непонятными, беспорядочными и неведомыми приливами, отливами и течениями, которые по большей части оставляют после себя грязную пену на месте разрушенных дикой силою гордых скал. Иногда на поверхности поднимались кое-где прозрачные волны словно иной воды, из какой-то неведомой глубины, и снова исчезали, — это были силуэты

людей из народа, но не из толпы. Термины «народ» и «толпа» порой употреблялись как синонимы, порой как различные оттенки, иногда даже как противоположности — это понятно и без дальнейшего пояснения. Никто не давал себе труда исследовать источник тёмных и светлых течений, законов прилива и отлива, потому что литература лишь очень недавно признала их существование и передавала их только как непосредственное впечатление.

Бытовая драма и комедия (*drame du milieu*) также не превратились в социальную драму, так как изображали больше формы общественной жизни, нежели её содержание, ограничиваясь преимущественно одной какой-нибудь группой, и, наконец, выродились в так называемую народную пьесу (*pièce populaire*). Эта народная пьеса процветает теперь на всех третьеразрядных сценах Западной Европы. Такая смесь этнографии и маскарада, мелодрамы и фарса, по большей части вовсе лишённая художественности, рассчитана только на дешёвый эффект. Эта «народная пьеса», в лучшем случае, лишена всякой тенденции, до идеи же она никогда не поднимается.

Был, правда, драматург, который сделал довольно удачную попытку вывести «народную пьесу» из состояния упадка; это недавно умерший австрийский писатель Анценгрубер. В основу каждого его произведения всегда положена та или другая серьёзная идея, порой боевая тенденция, какая-нибудь злободневная тема. Его персонажи не куклы, которые танцуют, поют и кривляются, а тонко схваченные силуэты народных типов; правда, только силуэты, а не полноценные реальные фигуры. Он старательно избегал шаржа и двусмысленной шутки, хотя далеко не свободен от мелодрамы и даже водевиля. Так, в одной его пьесе, «*Das vierte Gebot*»\* (когда-то очень известной и теперь ещё идущей на сцене), где показан антагонизм между средней буржуазией и ремесленниками, видна мелодрама даже во внешних приёмах — в патетический момент, например в тюрьме перед казнью героя, играет музыка. Этот мелодраматизм мешает развитию главного мотива пьесы, классового антагонизма, превращая драму в изображение борьбы влюблённой пары (ремесленницы и мо-

---

\* «Четвёртая заповедь».

лодого буржуа) с деспотизмом родителей. Таким образом, драма сводится в конце концов к такому тезису: родителей следует слушаться не во всём и не до конца. Ради этого тезиса и вся драма названа «Четвёртая заповедь». В другой, не менее популярной, пьесе Анценгрубера «Gewissenswurm»\* мы видим чисто водевильный приём в ситуациях и злоупотребление тирольскими песнями. Здесь самые мрачные характеры внезапно, словно по волшебству, перерождаются в самые светлые под влиянием весёлой крестьянки Лизы Герлах (Herlachelies), которая больше всего привлекает к себе тирольскими песнями. Между тем мотив пьесы опять-таки серьёзный — отношение зажиточных крестьян к бедным и к батракам, то есть антагонизм между общественными классами, составляющими основу недавно появившейся социальной драмы. Анценгрубер был всецело народным писателем не только потому, что знал быт народной массы, но и потому, что знал народный вкус и умел ему угождать. Только иногда, к сожалению, это вредило искусству и правде.

Другой писатель, который тоже стоит выше группы поставщиков «пьес для народа», австрийский драматург Бар (Bahr), ещё менее значительный художник, нежели Анценгрубер.

Бар, собственно, публицист, только он придаёт своим передовицам драматическую форму. Его пьесы порой стяжают себе громкую, но всегда минутную славу и не держатся долго на сцене по той самой причине, по какой и передовицы быстро исчезают со стола даже благожелательных читателей<sup>1</sup>, редко перечитываются во второй раз даже теми, кому они нравились в первом чтении.

К такому типу пьес-передовиц значительно подходит и драма Октава Мирбо «Дурные пастыри», о которой речь впереди, так как её нельзя причислить вполне к «народным пьесам».

Подготовительной стадией к чисто общественной драме можно считать так называемую обличительную комедию (и драму), ведущую своё начало от древней сатиры. Обличительная пьеса царила под влиянием Дюма в середине

---

\* «Червь сомнения».



XIX столетия на всех сценах Европы, и царство её ещё далеко не прошло, хотя она уже отошла значительно в тень перед истинной общественной драмой, являющейся в некотором смысле синтезом материалов, доставленных аналитической обличительной пьесой. Обличительная пьеса тем отличается от общественной в новом смысле слова, что имеет в виду узко практическую (хотя и несбыточную) цель: исправление нравов данной среды (класса, группы, учреждения) в рамках существующего строя при помощи только морализующей проповеди или лёгкого изменения деталей общественной машины,— она обвиняет личности и охраняет или по крайней мере щадит учреждения, тогда как новая общественная драма имеет в виду именно критику самих учреждений.

Переходной стадией от старой обличительной драмы к новейшей общественной представляется нам скандинавская драма в лице Ибсена, Бьёрнстерна и их последователей. Все драмы Ибсена проникнуты обличениями, каждая из них написана на какой-нибудь нравственно-философский тезис, и только громадный художественный талант «северного богатыря» не допустил его превратить свои драмы просто в диалогические проповеди. Ибсен не столько излагает, исследует причины или решает дилеммы, сколько обличает, и драмы его часто напоминают суд, в котором процедура ведётся только для формы, так как всем заранее известен приговор. Несмотря на новаторство во внешних приёмах и в идеях, драмы Ибсена всё-таки принадлежат к старому типу: личная драма преобладает над общественной, и герои слишком доминируют над толпой, которая служит им как бы пьедесталом (даже в таких драмах, как «Бранд» и «Враг народа»).

Бьёрнстери уже гораздо ближе Ибсена подошёл к новейшей общественной драме. Если его «Столпы общества» можно ещё отнести к категории обличительных пьес, то вторая часть его «Свыше сил» всецело относится к разряду новейших общественных драм, но так как эта драма написана не так давно, гораздо позже «Ткачей» Гауптмана, то мы будем рассматривать её в ряду новых произведений этого рода, считая Бьёрнстерна, как автора драмы «Свыше сил», не основателем, а продолжателем направления, указанного впервые Гауптманом.

В то время как роман и повесть 70-х и 80-х годов шли рука об руку с научной психологией и социологией, заявляя претензии на чисто научную точность в данных и логичность в выводах, драма оставалась при старых рутинных приёмах условности и всепокоряющей себе интриги, продолжая быть, по выражению Сент-Бёва, «преувеличением кстади» (*une exagération à propos*).

Когда выработанная в науке теория эволюции проникла в изящную литературу, то роман и повесть, в которых царили тогда натуралисты, превратились как бы в ряд документов, иллюстрирующих теорию борьбы за существование в сё биологическом и особенно социологическом смысле.

Манера, выработанная этой «экспериментальной» беллетристикой, совсем не годилась для драмы, так как она требовала непременно большего нагромождения материала и кропотливой выработки деталей, особенно таких, которые совершенно непередаваемы на сцене. Поэтому большинство драматургов осталось в стороне от нового течения при старых традициях романтической техники.

Драматическая же литература натуралистов почти сплошь была не оригинальна, а состояла из переделок романов, которые не имели особенного успеха.

Из всех «человеческих документов» натуральной школы оказалось также невозможным создать драму, как невозможно было бы путём вырезки и наклейки составить из фотографических снимков картину. Истинный драматург может пользоваться этими документами только так, как истинный художник фотографиями: он может справляться с ними, чтобы помочь своей памяти, но не подчиняться им.

Первым таким независимым художником в общественной драме явился Гауптман. Свободный от буржуазных тенденций, которые всё-таки лежали в основе всех обличений натуралистических, Гауптман вступил на путь общественной драмы с новыми идеями, стремлениями и приёмами.

В его «Ткачах» мы видим тщательную отделку деталей. Техника этой отделки не уступает технике натуралистов, но его человеческие фигуры не сливаются с этими деталями и не представляют из себя однообразной массы: каждая из них вполне индивидуальна, ткачи и ткачихи

Гауптмана сохраняют до конца особенности своих характеров и ни разу не удивляют нас каким-нибудь неожиданным поступком. Уже в самой первой сцене расчёта ткачей толпа, вначале кажущаяся однообразной, выдвигает из себя яркую и оригинальную личность — «рыжего Беккера», которому только недостаток культурного развития мешает сделаться организатором, и личность эта не является светлой волной, неизвестно откуда идущей; понятно, почему этот человек так бравит перед своим патроном, в то время как все товарищи принуждены покорно склонять свои головы, — «рыжий Беккер» одинок, не связан семьёй, искусный ткач, уверенный в том, что им как мастером будет дорожить всякий хозяин; кроме того, он силен и крепок, вырос в горах, в лучших условиях, чем его товарищи, живущие в грязных деревнях долины; он может быть более уверенным, чем они все, в своей выносливости на случай безработицы или стачки. И действительно, он наиболее стойко держится до конца стачки вместе с Йегером, который уже совсем независим от окружающих условий, так как он солдат, вошедший во вкус городской жизни, не думающий снова приниматься за неблагодарное ремесло ткача и принимающий участие в стачке отчасти ради бравады, «из любви к искусству», отчасти из чувств справедливости и жалости к той среде, из которой сам недавно вышел. Организатором Йегер, хотя он и несколько культурнее Беккера, тоже не может быть именно потому, что он посторонний для своих недавних собратий, практически солидарным он уже не может быть вполне, а для идеолога он слишком неучён. Он, как и Беккер, может быть только зачинщиком, а не организатором.

Эти два зачинщика, Беккер и Йегер, занимают в драме подобающее им место — они бросаются в глаза, но они не герои. Герои там все те, в лице которых толпа переживает все перипетии страдания и борьбы. В лице детей, молодёжных девушек и древних старух толпа испытывает разные оттенки пассивного страдания; в лице молодых матерей она переживает порывы отчаяния, готового на самоубийство или на преступление; в лице взрослых мужчин и не совсем одряхлевших отцов семейств она действует и гибнет в неравном бою, увлекая на гибель и тех, кто не хочет

бороться ни с ней, ни против неё. Ни один из её членов не герой ни по характеру, ни по положению, но вся она вместе героична, потому что её страдание превышает среднюю меру человеческого страдания и судьба её слишком трагична для обыдённой жизни.

В драме «Ткачи» сказывается веяние новоромантизма с его стремлением к освобождению личности. Старый романтизм стремился освободить личность — но только исключительно героическую — от толпы; натурализм считал её безнадежно подчинённой толпе, которая управляется законом необходимости и теми, кто лучше всего умеет извлекать пользу из этого закона, то есть опять-таки толпой в виде класса буржуазии; новоромантизм стремится освободить личность в самой толпе, расширить её права, дать ей возможность находить себе подобных или, если она исключительна и притом активна, дать ей случай возвышаться до своего уровня других, а не понижаться до их уровня, не стоять перед альтернативой вечного нравственного одиночества или нравственной казармы. В драме «Ткачи» это веяние сказывается в том, что личность в толпе освобождается отвлечённым образом, то есть признаются её права в литературе; личность, какова бы она ни была и какую бы скромную роль ни играла, не стоит уже в новейшей общественной драме на степени аксессуара, бутафорской принадлежности или декоративного эффекта; как бы ни была она связана окружающими условиями и зависима от других личностей, она всё же наделена своим личным характером и имеет интерес сама по себе; ей не надо ни ходуль, ни магниева света, чтобы быть заметной; таким образом уничтожается *толпа* как стихия, и на место её становится *общество*, то есть союз самостоятельных личностей. С этого момента начинается *общественная* драма в полном смысле этого слова.

Драма «Ткачи» послужила не только эрой, но и до значительной степени прямым образцом для большинства новейших общественных драм. Намеченных в ней тем хватило на несколько отдельных сочинений разных авторов.

Так, в драме Октава Мирбо «Дурные пастыри» взята та же тема, что и в «Ткачах», — борьба рабочих с предпринимателями, только в несколько изменённых условиях. Дело

происходит на фабрике очень организованной и централизованной\*. Вместо зачинщиков Беккера и Йсгера у рабочих есть организатор — агитатор по специальности, Жан Руль, и вдохновительница Мадлена, возлюбленная Руля и его эхо, повторяющая его же фразы, только более кротким тоном. Кроме этих двух личностей, рабочие Мирбо не представляют существенно новых типов по сравнению с ткачами драмы Гауптмана, не говоря уже о том, что обрисованы они несравненно бледнее, да и вся драма не может идти в сравнение с «Ткачами». Где у Гауптмана трагизм, там у Мирбо мелодрама или публицистика.

Единственный вполне художественный во всей пьесе эпизод — это сценка рисования молоденькой дочерью хозяина этюда «продавщица апельсинов» в итальянском живописном костюме с голодной, истрадавшей старухи-работницы, которая вместо требуемого от неё «печального лица» делает злое и устремляет неподвижный, полный ненависти взор на глупенькую дилетантку-художницу.

К сожалению, и этот художественный момент испорчен резонёрским вмешательством брата художницы, молодого идеолога, тщетно стремящегося к примирению борющихся классов.

Роль этого молодого идеолога вообще незавидна, как и роль его прототипа в «Ткачах» — домашнего учителя в семье фабриканта; правда, учитель едва осмеливается произнести два-три слова в защиту ткачей, а идеолог Мирбо, Роберт Гарган, ведёт длинные и тщетные диалоги со своим отцом, хозяином фабрики, но обоих их в конце концов выгоняют из дома, потом Роберт Гарган гибнет на баррикаде во время усмирения стачки, стараясь под градом пуль примирить усмиряемых с усмирителем, гибнет без всякой пользы для той или другой из борющихся сторон.

Гауптман не показал нам, что делал домашний учитель после своего изгнания из хозяйского дома, и вообще эта личность у него едва намечена; Мирбо посылает своего идеолога к рабочим, которые устроили стачку против его отца, но молодой идеолог попадает к ним в момент, очень трудный для кроткой деятельности примирителя, как раз

---

\* Речь идёт об организованном коллективе рабочих.

во время горячей перестрелки на баррикадах. Ни рабочие, ни умиротворяющие их войска не слушают криков Роберта: «Остановитесь! остановитесь!» — и он погибает незаметно, бесславно и напрасно от чьей-то шальной пули. Смерть его вызывает раскаяние отца, но примирения не достигает, так как рабочие не склонны забыть вражду.

Капиталисты Мирбо, которых он попытался выставить как толпу буржуа против толпы рабочих, не толпа и не общество, — это вырезки из газетных статей на экономические темы. С другой стороны, речи Жана Руля — настоящие цитаты из агитационных брошюр.

Заглавие драмы, «Дурные пастыри», повергло в недоумение многих зрителей и критиков, которые спрашивали себя: кто же, собственно, дурные пастыри? Идеолог ли Роберт, не умеющий даже приступить к «пастве»? Организатор ли Жан Руль, не имеющий ничего в перспективе, кроме самой минимальной программы улучшения рабочего быта, играющий роль какого-то пришельца и кое-как поддерживающий своё влияние на толпу благодаря разительному, но в сущности вовсе неубедительному экстазу Мадлены? Капиталисты ли, считающие себя призванными «пасти стадо сие»? Или, наконец, депутаты демократического направления в парламенте, которые на сцене не появляются, но которых зато Жан Руль прямо называет дурными пастырями, решительно отрицая их деятельность, как, впрочем, и вообще всякую политику? Возможно, что все эти люди являются, по мнению Мирбо, дурными пастырями, во всяком случае едва ли он имел в виду исключительно парламентских деятелей, о которых только вскользь упоминает Жан Руль, сам всё время действующий, то есть говорящий, «как депутат», по едкому, но справедливому замечанию одного из недовольных им рабочих.

Гораздо определённое проведена антиполитическая тенденция в комедии Доннея и Декава «La clairière» («Просека»), где выставлена группа рабочих и интеллигентов, основавших ремесленно-земледельческую колонию на чисто коллективных началах. Говорят, эта комедия списана с действительного факта и некоторые из живых прототипов пьесы присутствовали даже на её первом представлении.

В «Clairière» мы видим изображение попытки осуществить утопию в жизни. Организатор колонии, фанатично убеждённый «новокоммунист», прежде всего отрицает попытку и всякие программы улучшения быта рабочих и земледельцев, требующие увеличения платы, уменьшения налогов и т. д., считая, что всё это деморализующая благотворительность, освящающая в принципе те несправедливые учреждения, которые она стремится улучшить.

Колонисты постоянно впадают в противоречия со своей теорией: произносят длинные речи, протестуя против всякой пропаганды словом, набирают себе членов при помощи воззваний в печати, в силу которой не верят, покупают для колонии землю на средства, завещанные одним благотворителем, хотя не признают ни благотворительности, ни купли, ни продажи, и, стремясь к упразднению податной системы, продают значительную часть своих продуктов для уплаты податей или работают на стороне за деньги для той же цели, несмотря на своё отвращение к деньгам. Отрицая всякую власть и главенство, они фактически находятся под властью организатора, который *выбрал* первых членов, а потом остался среди них чем-то вроде судии во Израиле.

Колония, наконец, распадается, частью благодаря таким существенным противоречиям собственным принципам, частью благодаря противодействию окружающей среды, частью же благодаря несогласиям и раздорам среди членов, из которых далеко не все оказались на высоте своего призвания.

В колонию намеренно набирались люди разных профессий, чтобы всесторонне провести принцип обмена труда без денег, но это и было главной причиной раздора. Каждый принёс в колонию запас предрассудков и привычек той общественной группы, из которой он вышел, и старые антагонизмы повторились в новой обстановке.

В этой пьесе слишком заметно, что её писали два автора, которых мысли не слились в одно стройное целое. Один из авторов, видимо, на стороне фантастического организатора колонии, другой на стороне скептика, бывшего анархиста и дезертира по принципу, который говорит: «Нечего вбивать гвоздь в гнилую доску: надо прежде доску

переменить», и сравнивает отношения колонии к обществу с отношениями разведённого мужа к жене, которую он продолжает содержать на свой счёт, не пользуясь супружескими правами.

Таким образом, идея пьесы от начала до конца колеблется и оставляет впечатление сильной качки, при которой линия горизонта и точка зрения никак не могут прийти в согласие.

В комедии «*Clairière*» видны иностранные влияния как в содержании, так и в форме. Сами авторы подчёркивают русское влияние на идеи своих колонистов. Так, в колонии в зале общих собраний написано мелом на чёрной доске изречение Толстого: «Богатство — главная причина нищеты», и главные члены колонии постоянно цитируют Толстого, не указывая только источники, хотя не могут усвоить себе вполне главных толстовских принципов: опрощения и непротивления. Они все желают сохранить для колонии достижимые при наличных в ней силах блага цивилизации; принцип же непротивления грубо нарушают именно самые интеллигентные члены.

Русскую идею «хождения в народ» открыто и определённо признают доктор и его жена в разговоре с отцом доктора. Жена доктора заявляет, что она готова сопровождать своего мужа в колонию так, как русские девушки следовали за своими братьями в деревню и на фабрику. Затем молодые супруги рассчитывают свою прислугу (в колонии прислуга упразднена), забирают с собой свою мебель и фортепиано и отправляются «в народ».

Такой вид приняла в французской обстановке русская идея ремесленно-земледельческой колонии интеллигентов, которая лет 10—15 назад была довольно популярна в русской литературе и жизни.

При чтении «*Clairière*» невольно вспоминается один из давних рассказов Каронина «Борская колония», написанный на подобную тему, хотя в развитии темы французская версия представляет значительные различия от русской. Основателями «Борской колонии» являются не рабочие, а интеллигенты, стремящиеся прежде всего к опрощению и признающие исключительно за земледельческим трудом обновляющие качества; они меньше думают о воздействии на окружающую среду, чем об удовле-



творении своей нравственной потребности, и хотели бы смыть с себя малейший след своих прежних профессий (впрочем, у некоторых из них вовсе не было никакой определенной профессии раньше); общее у них с инициаторами «Clairière» и приставшими к ней интеллигентами то, что все они одинаково усталые, изверившиеся во всякой «политике», выбитые из колеи люди, ищущие в колонии прежде всего убежища от угнетающей лжи и зла обычных общественных отношений; но французские колонисты сохраняют ещё фонд непочатой энергии, они новаторы, утописты, у них даже скептицизм принимает беспокойную, стремящуюся к совершенству форму, тогда как русские в сущности консерваторы, желающие возвратиться вспять к хозяйственному строю и нравственному укладу русского крестьянства; скептицизм их совершенно обесиливает, потому что приводит в глухой тупик, из которого уже выхода нет никуда.

Среда оказывает разрушающее действие на колонию «Clairière», тогда как борские колонисты сами в конце концов наносят непоправимый ущерб радушно отнёсшейся к ним крестьянской среде. Против выродившихся интеллигентов «Борской колонии» её члены из крестьян являются идеальными типами, что очень характерно для русской народнической литературы, тогда как в «Clairière» именно крестьянин является самым несимпатичным, что очень типично для французской демократической литературы.

Наконец, история «Clairière» всё-таки производит впечатление хотя неудавшегося, но серьёзного опыта устройства жизни на новых началах, в то время как «Борская колония» является чем-то вроде покушения с негодными средствами.

Наконец, в «Clairière» уже чувствуется присутствие новоромантической освободительной идеи: её члены, так же как и авторы, пуще всего боятся, как бы колония не походила на фаланстер или на казарму, тогда как в «Борской колонии», да и во всей современной ей русской литературе на подобные темы, царит затхлая атмосфера насильственной нравственной нивелировки, постоянных обысков чужой души и несносного педантизма так называемых «учителей жизни».

«Просека» представляет больше художественного интереса, чем «Дурные пастыри», в ней больше живых типов и живых сцен. Живее всего в ней вышли второстепенные типы, двое молодых жизнерадостных рабочих, жёны колонистов (кумушки-сплетницы) и «благодетель города» Вердье, антагонист колонии, выскочка делец, любящий повторять, что он вышел «из народа» и гордится этим, издающий республиканско-демократическую газету, считающий время по республиканскому календарю, вместе с тем очень нечистый на руку в политике и в частной жизни, настоящий тип политика-интригана, каким так богата политическая практика Франции. Это французский вариант типа, истинная родина которого Америка и который известен в Европе под американской кличкой *self-made'man*\*.

Тип этот и литературно разработан лучше всего именно в Америке. Там вышел недавно роман рано умершего писателя Весткотта, названный по имени главного героя, такого «самодельного человека», «David Hagum»; роман этот, теперь переделанный в драму, в смысле фабулы и руководящей идеи довольно нескладный, но он очень интересен благодаря центральной фигуре, которая изображена с почти диккенсовским юмором и добродушием. Автор относится к своему герою с нескрываемой симпатией, и тем оригинальнее получается впечатление от этого жилистого, цепкого и крепкого потомка полунищих фермеров, сколотившего себе миллионное состояние всякими правдами и неправдами. David Hagum, как и Вердье в «Clairière», не только не стыдится своего плебейского происхождения, но даже щеголяет им, преувеличивая свой простонародный говор и неджентльменские манеры, которые представляют яркий контраст его безукоризненному костюму и вполне комфортабельной обстановке.

Своим самодурством David Hagum напоминает самодуров комедий Островского, только американский самодур всегда имеет в виду какую-нибудь определённую цель. Без нужды он никому не вредит, разве так иногда немножко, для спорта, для упражнения смошенничает иной раз; он даже не лишён порывов великодушия. Старый Дэв,

---

\* Человек, всем себе самому обязанный (англ.).

как фамильярно называют его во всём околоте, самоуверен, самонадеян и самодоволен, он *self-made'man* в полном смысле слова.

Роман «David Harum» имел колоссальный успех в Америке, где имя героя его сделалось нарицательным для людей его типа.

Таким же громадным успехом пользуется драматическая переделка его на американских и английских сценах.

Тип «самодельного человека», так любовно обрисованный американским романистом, обыкновенно не пользуется симпатиями европейских писателей. Кроме «Набоба» Додэ, кажется, нельзя указать ни на одно выдающееся сочинение, где бы этот тип был идеализирован.

Прототипом «самодельного человека» новейшей общественной драмы является конторщик Пфейфер из «Ткачей» Гауптмана, этот пронырливый, беззастенчивый пройдоха, правая рука эксплуататора Дрейсигера, безжалостный притеснитель нищих ткачей, из которых он сам так недавно вышел.

Впрочем, тип «самодельного человека» нашёл себе в последнее время идеализатора в итальянской литературе в лице молодого писателя Энрико Коррадини, первый роман которого «*Santamauga*» сразу привлёк к нему внимание литературного мира. В романе этом изображена была судьба мечтателя, всю жизнь занимавшегося филантропией и насаждением новаторских общественных принципов среди своих сограждан и под конец жизни увидевшего, что он всё время «метал бисер перед свиньями», которые попрали дар ногами и, обратившись вспять, не прочь были растерзать благодетеля.

Теперь Энрико Коррадини написал драму, как бы в *pendant*\* к роману «*Santamauga*», в которой победоносным героем является человек совершенно противоположного типа, чем мечтатель-филантроп из Сантамавры. Джакомо Веттори, по имени которого названа пьеса, есть итальянский *self-made'man* ломбардного типа. Это фабрикант, вышедший «из народа», создавший своєю энергией образцовую фабрику, которую он блюдёт пуще глаза и соби-

\* В дополнение (франц.).

рается передать со временем своему сыну, когда сам устанет от дел. Но сын этот возымел желание сам себе проложить дорогу в жизни, потерпел фиаско во всех своих стремлениях к самостоятельности, а когда вернулся в качестве блудного сына к отцу, то отец запер свою дверь перед ним.

Возвращение сына совпало с началом стачки на фабрике отца (как ни была она образцова, но и в ней не всегда царила тишь да гладь), и вот рабочие, так же как в драме Мирбо, берут сторону сына против отца. Но старик не сдаётся, сжимает всю фабрику в ежовых рукавицах, побеждает стачку, приводит сына к повиновению и тогда уже, убедившись в его совершенной покорности, передаёт ему ведение фабрики, а сам удаляется на покой. Джакомо Веттори поступает так, как поступил бы, наверное, David Hagim на его месте; у них обоих характер сильный, смелый и совесть не страдает большой чувствительностью; они не плачут в критические минуты, как старик Гарган в «Дурных пастырях», не дрожат и не бледнеют, как Дрейсигер в «Ткачах», не стужёвываются трусливо, как Вердые в «Просеке»; они серьёзная сила, к которой принуждены серьёзно относиться читатель и зритель, к какому бы направлению они ни принадлежали.

Наоборот, молодой Веттори подобно всем интеллигентам-«примирителям» новейших драм оставляет какое-то жалкое впечатление своей пассивностью и растерянным метанием между двух враждующих сторон; он не производит даже впечатления утописта-мечтателя, бесплодного, но по-своему сильного типа, а просто представляется какой-то нравственной амфибией, расплывчатой и дряблой. Скорее всего этому типу суждено навсегда остаться таким в литературе, ибо таким он является в жизни.

К типу «самодельных» примыкает в литературе один тип, тоже намеченный Гауптманом в «Ткачах», — тип женщины «из народа», случайно, путём замужества, попавшей в класс привилегированных. В большинстве случаев она быстро приобретает привычки и проникается инстинктами своей новой среды благодаря свойственной женщинам эластичности. Такова жена фабриканта Дрейсигера в «Ткачах».

Но есть и другой тип, соответствующий уже скорее «примирителям». Такова героиня новой драмы под загла-

вием «Schlagende Wetter»<sup>\*1</sup> молодой немецкой поэтессы Делла-Грациа. Эта героиня — дочь внука углекопов, отец которой погиб в шахте благодаря преступной небрежности старого хозяина копей, «самодельного человека» Либмана; за сына и наследника этого Либмана выходит по любви замуж молодая работница. Вначале либеральничавший муж подаёт ей надежду на возможность примирения её нового положения хозяйки с её врождённой любовью к своим бывшим братьям и к оставшимся в прежнем положении родным. Но при первом же столкновении между её мужем и рабочими все её надежды рушатся. Рабочие посредством стачки хотят добиться оздоровления шахт, хозяин же, одержимый врождённой жаждой барышей, старается убедить не только рабочих, но и себя, что их требования несправедливы, для доказательства этого спускается в шахту сам вместе с первой партией побеждённых стачечников и вместе с ними погибает от взрыва подземных газов. (Эти подземные газы имеют в драме и некоторое символическое значение, поэтому их названием озаглавлена драма — «Schlagende Wetter».)

Героиня, в конце драмы отступающая на второй план, оказывается в печальном положении страдающей зрительницы, вызывающей только подозрения и даже ревность мужа своими попытками заступничества за бывших товарищей, в то время как она не в силах даже помочь своей больной сестре и деду, который, будучи главарём стачки, не может ничего принять из дома своего противника, боясь связать себя благодарностью или навлечь подозрения в подкупности.

Делла-Грациа вообще пессимистка, поэтому в её драме много искренней, горячей симпатии к угнетённым, переходящей в страстную жалость, так как она не видит никакого выхода всем этим страданиям, кроме катастрофы, после которой уже ничего не видно за удушливым дымом.

«Schlagende Wetter» — её первая драма, до сих пор она отдавалась исключительно поэзии, но, несмотря на все промахи и недочёты, свойственные вообще первым драматическим начинаниям, драма эта сразу обратила на себя

---

\* «Гремучий газ» (нем.).

внимание критики всех лагерей искренностью и мрачной отвагой молодого таланта.

Настроение драмы Делла-Грациа напоминает скорее скандинавские образцы, чем немецкие. Хотя здесь не может быть речи о прямом заимствовании, но есть что-то родственное между драмой немецкой поэтессы и последним драматическим произведением Бьёрнстерна «Свыше сил». То же мрачное настроение, те же реально-символические диалоги, то же отчаянное решение вопроса всеразрушающей катастрофой, только драма Бьёрнстерна глубже, разностороннее и ещё мрачнее драмы Делла-Грациа.

Первая часть драмы «Свыше сил» относится, собственно, к типу личной, психологической драмы — это история пастора, творящего чудеса силою своей веры и гибнущего от чрезмерного нравственного усилия совершить чудо над своей неверующей женой в присутствии скептически настроенных дочери и сына. Вторая часть драмы, или, лучше сказать, вторая самостоятельная драма под тем же заглавием, есть история последующего поколения. Скептические дети страстно веровавшего пастора, разочаровавшись в христиански-религиозной деятельности отца, сохранили его идеализм и жажду служения человечеству. Дочь ушла в чистую филантропию, выстроила госпиталь и предалась медицине и благотворительности. Сын сделался издателем демократической газеты крайнего направления и отдал все свои силы на служение рабочим массам.

Драма начинается стачкой рабочих, которые надеются отстоять свои права при помощи широкой и крепкой организации. Журналист жертвует всё своё громадное состояние (какое-то американское наследство) на поддержку стачечников и напрягает все силы для поддержания духа стойкости и веры в победу. Но предприниматели задумали всемирный синдикат предпринимателей против рабочих. Рабочие понимают, что против такого синдиката, ворочающего миллиардами капитала, им не устоять, и молодой журналист видит, что он напрасно напрягал все свои силы для мирной борьбы с неукротимым и безжалостным врагом. Остаётся или сложить совсем оружие, или бороться свыше сил. Потеряв союзников среди честных рабочих, отчаявшихся в победе, молодой идеалист наперекор своему сердцу соединяется с самыми тёмными личностями из

пролетариата и подготавливает катастрофу. Заговорщики минируют замок местного предпринимателя, в котором собрался совет капиталистов, устраивающих синдикат против рабочих. Подготовив катастрофу, все заговорщики спасаются, остаётся только журналист, переодетый слугой, да его неотступный товарищ — сумасшедший, которые и производят самый взрыв. Замок рушится и хоронит под развалинами гордый синдикат вместе с пылким идеалистом. Так кончилась борьба свыше сил...

Эта небольшая драма в трёх действиях захватывает так много типов, вопросов, загадок, трагедий, что если бы вдаваться в её подробный анализ, то пришлось бы посвятить ей одной целый доклад. За неимением времени приходится уделить ей гораздо меньше внимания, чем она заслуживает, и только указать на то новое, что она даёт.

Ново прежде всего то, что драма затрагивает вопрос об анархизме как религии отчаяния. Почти в каждой из разобранных нами драм стачка является наиболее резкой формой борьбы классов; вслед за тем оставался открытым вопрос, что станут делать стачечники на другой день после подавления стачки. — Они будут бороться свыше сил, — отвечает Бьёрнстьерн своей драмой, и в этом его новое слово. Правда, и другие драмы показывали нам неизбежные кровавые катастрофы и взрывы «убивающих газов», но то были финалы чисто оборонительной борьбы стачечников, финалы, совершенно не зависящие от их воли. Бьёрнстьерн показывает нам начало наступательной борьбы людей, отчаявшихся в мирных средствах.

Новы у него и типы предпринимателей, борющихся массой против массы, организацией против организации, а не вразброд и без системы, как то мы видели в других драмах. Особенно нов тип местного предпринимателя, своего рода идеалиста, мечтающего о всемирной международной капиталистической монархии, независимой от всех местных государственных органов власти. Этот идеалист тоже задумывает борьбу свыше сил, также теряет приверженцев среди более честных капиталистов и находит их среди наиболее низких, которые в критическую минуту не прочь бы оставить его в огне взрыва одного, если бы их только не заперли заговорщики в замке.

Ново также намеченное в драме отношение церкви официальной и неофициальной к великой борьбе двух классов. Официальная церковь сознательно занимает выжидательное положение, готовая стать на сторону того, кто окажется сильнее, неофициальная же, в лице сельских проповедников, разбивается на два лагеря — примирителей и подстрекателей, агитируя священными текстами вместо прокламаций.

Новы и намеченные, но, к сожалению, не выведенные на сцену силуэты двух женщин: один силуэт серьезной филантропки (не барыни-благотворительницы), занявшей в общественной войне нейтральное, но ответственное и опасное положение, подобно сестре милосердия на перевязочном пункте; другой силуэт сознательной, крайне фантастической мученицы из рабочей среды, которая уморила себя и детей, чтобы избавить комитет стачечников от лишних забот и чтобы смертью своей подать товарищам сигнал к более деятельной борьбе.

Нова, наконец, и сама форма «Свыше сил», то есть, пожалуй, она не нова, так как её наметил Ибсен, а довершил Метерлинк; эта форма драмы настроения, символически-реальная, — ново применение её именно к социальной драме; применение удачное и нашедшее себе талантливых приверженцев не только в драме, но даже в опере.

Талантливый французский композитор и вместе драматург Шарпантье сделал серьезную и удачную попытку привить новейшую общественную драму на оперной сцене.

Опера Шарпантье «Louise» в смысле содержания имеет то же значение для оперы, что «Ткачи» для драмы. В обоих этих произведениях совершенно несходная фабула, но очень родственный дух.

Герои оперы: поэт из предместья, за ним вся масса ему подобной аристократической богемы с анархическим настроением, презирающей филистерство, где бы оно ни проявлялось, в буржуазной ли, в рабочей ли среде, и украшающей поэзией все неприглядные стороны своей жизни; героиня оперы — швейка Луиза, а за ней все её товарки, вечно сжигаемые жаждой к удовольствиям и блеску парижской жизни, рвущиеся на свободу из-под ферулы семьи, из тисков фабрики и мастерской. Луиза борется между привязанностью к строгим в правилах поведения



отцу и матери и любовью к поэту, который в её глазах является освободителем, Prince Charmant\*, выводящим красавицу из сонного царства на свободу, в этот блестящий, заманчивый Париж.

Париж имеет в опере Шарпантье мистическое значение, подобно тому как святой Грааль в рыцарском цикле опер Вагнера. Весёлый Париж остаётся победителем в борьбе разных групп пролетариата с буржуазией и между собою.

В опере «Луиза» резко отмечен антагонизм богемы и рабочего пролетариата, тогда как до сих пор обращалось внимание только на антагонизм богемы с буржуазией, между тем этот класс или группа недаром назван «богемой» (цыганами), так как он занимает в больших городах именно то положение, которое занимают цыгане в деревне, — это настоящие *déclassés*, выбитые из колеи и не желающие, а часто и неспособные вернуться в неё.

Новейшая драма затронула и этот тип настоящего цыгана в деревенской среде. Таков герой драмы Карла Гауптмана (брата Гергарда), которая названа «Ephraïms Breite»\*\* (то есть «Brigitte»), по имени героини-крестьянки, вышедшей по любви замуж за цыгана. При всей взаимной любви супруги принуждены разойтись, так как жена и её семья едва мирятся с цыганскими наклонностями мужа, а ему претит хозяйственность и филистерство жены и её презрительное снисхождение, да, кроме того, он не выносит жизни без свободы, не терпит тисков обычая и деревенских приличий.

---

\* Прекрасный принц (франц.).

\*\* «Размах Эфраима».





## ПОСЛЕСЛОВИЕ К УКРАИНСКОМУ ПЕРЕВОДУ БРОШЮРЫ «КТО ЧЕМ ЖИВЁТ»



Конечно, нужно уметь самому уладить своё собственное дело, но чтобы *уметь*, нужно сначала научиться.

Может быть, скажут: как же научиться освобождаться от рабства, если от него ещё никто не освободился?

Да, действительно, ещё никто не освободился от рабства до *конца*, но начало такого освобождения мы видим в разных странах, например в Германии, где рабочим живётся всё-таки лучше и свободнее, чем у нас, и если бы нам добиться хоть половины того, чем они сейчас располагают, то для начала и это было бы не худо. А ведь рабочие начали там освобождаться благодаря тому, что стали объединяться в хорошо организованные группы и общества (в организации, как их называют по-книжному). Кстати, всегда находились понимающие, образованные и доброжелательные люди, которые, интересуясь рабочим вопросом, объясняли в книгах и с помощью живого слова, как нужно защищаться рабочим от врагов и каким способом им лучше объединяться. Из таких людей больше всего прославился учёный Карл Маркс и его ученик и товарищ Фридрих Энгельс, которые многому обучали рабочих живым словом и написали книги, где совсем иначе изложена политическая экономия, чем она излагалась до сих пор, и где высказаны такие же мысли, как и в этой книжечке, только более глубокие и научно обоснованные. Оба эти учёные (теперь уже умершие) много сделали для того, чтобы в Германии, да и во всех других странах, возникли **большие рабочие объединения для защиты от всякого насилия**

и рабства, поэтому память о Марксе и Энгельсе в большом почёте среди всех сознательных рабочих.

Сознательный рабочий — это такой рабочий, который понимает свои права и не надеется ни на кого, кроме себя и своих товарищей, таких же рабочих, как и он. (К рабочим относятся и те, которые занимаются писательским трудом, если только они не продали своей совести богачам и идут вместе с рабочими, как Маркс, Энгельс и многие другие, хотя они и воспитаны в господских школах и образованные люди.) Сознательные рабочие не должны обращать внимание на то, кто из них какой веры или какой национальности (рабочий-немец, например, не должен считать, что он лучше поляка, поляк — русского, русский — украинца и т. д.), они должны единомышленно держаться вместе, так как у них у всех один враг — класс богачей, капиталистов, который пользуется трудом рабочих. Вот потому-то для каждого рабочего должны быть святы слова: *рабочие всех стран, соединяйтесь!* Ибо только тогда свобода рабочих становится прочной, когда она во всех странах одинакова, когда никто не может придти со стороны и уничтожить её.

Но мир велик, да к тому же и языки в мире разные, что ни народ, то другой язык, как же на таком огромном пространстве объединиться и договориться?

А хоть бы и так: пусть сначала на отдельных фабриках, в экономиях и сельскохозяйственных обществах люди как следует договорятся и объединятся друг с другом, пусть на время тайно, но и это уже много бы значило; потом такие кружки объединились бы между собой в большие группы, а эти в ещё большие объединения (в большие и маленькие организации, как называют их по-научному), и из них мог бы возникнуть целый рабочий союз (партия). Что люди не могут все собраться в одно место и говорить на одном языке, это не беда, — ведь вот же богачи как-то договорились не давать свободы рабочим? Пусть же и рабочие договорятся против богачей, как противостоять им, чтобы не быть их жертвой.

Пусть каждый кружок или группа выбирает представителей в краевое объединение, а среди выборных, несомненно, найдутся люди, которые знают чужие обычаи и другие языки, кроме своего. Этих людей будут посылать на съезды, где они встретятся с такими же представителями

иностранных рабочих объединений, таким способом образуется всемирная рабочая партия, составленная из партий различных стран; и в этой большой партии какое-нибудь краевое объединение не будет угнетать другие, меньшие, как это делается у богачей в их государствах, а все должны относиться друг к другу, как равный к равному, свободный к свободному, ибо, если сами рабочие будут угнетать друг друга, они не освободятся от рабства, пока светит солнце.

Всё то, что тут говорится, не пустые мечты, — так уже и делается во всём мире. Во всех государствах рабочие основывают кружки, группы и объединения, есть они и в русском государстве, только не во всех областях их одинаковое количество, больше всего их в Польше, немало и на Украине; к ним принадлежат главным образом не украинцы или те, кто не считает себя украинцами (или, как русские говорят, «малороссами»), но уже и украинцы начинают шевелиться, да и пора! И скоро в русском государстве они объединятся в группы так, как это делают галицкие русины (это тот же народ, что и украинцы), которые уже входят в союз с другими объединениями, как равный с равными, свободный со свободными, не перенимая иностранных обычаев и не враждуя с рабочими других народов. Эти краевые объединения уже и теперь посылают своих представителей на большие рабочие съезды, которые собираются ежегодно где-нибудь в большом городе, конечно не в России, так как в России запрещено собираться на совещания даже десятку рабочих, какие уж тут могут быть «съезды»! Совещаются на этих съездах, потом об этом пишут в рабочих газетах и книжках на разных языках, и всякий это может прочитать.

Какой же толк от этих съездов, скажет, пожалуй, кто-нибудь, совещаться-то не штука, но что могут рабочие сделать против богачей, если будут разговаривать, совещаться, писать и читать книги и газеты, в то время как деньги, войска, полиция и правительство в руках богачей?

Собственно, объединённые (организованные) рабочие тоже располагают деньгами уже и теперь, хотя объединения их далеко не так велики, как следовало бы, так как не все к ним присоединяются; эти деньги идут в помощь тем рабочим, которые бросают на некоторое время работу, чтобы не терпеть безмерной эксплуатации и заставить

богачей пойти на уступки (такое прекращение работы называется в России стачкой, или забастовкой, а повсюду в других странах стрейк, или страйк, или штрайк); идут эти деньги и на всякую другую помощь и нужды рабочим.

Что касается войска, из кого же оно главным образом набирается, как не из трудящихся, только не всегда сознательных. Нужно стараться, чтобы эти трудящиеся — солдаты — стали сознательными и хотя бы не стреляли в своих же товарищей при «усмирении бунтов». Что касается полиции, то без неё рабочим жилось бы значительно лучше, нежели с нею, правительство же, если нужно, каждая партия может сама себе выбрать.

Всё это хорошо, снова может возразить кто-нибудь, но ведь сказано, что в России и десяти рабочим запрещено собираться на совещания, откуда же возьмутся эти объединения? Точь-в-точь так же было когда-то и во всех других государствах, но потом стало иначе, и там объединения и тому подобное не с неба упали, а добыли их люди просьбой или угрозой (больше угрозой, нежели просьбой или уговором, или оружием, как где пришлось)\*. Так же, если мы захотим, будет и у нас.

Ведь и сейчас в российском государстве возникают кое-где рабочие группы, о которых мы упоминали. Пусть пока они собираются украдкой, сначала тайно, а потом будут и явно; явно — когда наступит благоприятное время, а это благоприятное время настанет тогда, когда рабочие станут сознательными, поймут и свои права, и своё единство, и свою силу. Это благоприятное время не за горами, если мы поможем ему прийти.

А для того, чтобы пробил час полного освобождения всех рабочих из рабства,—

*Рабочие всех стран, соединяйтесь! Соединяйтесь, как свободный со свободным, равный с равным!*

Чья правда, того будет и сила!

---

\* О том, как люди в каждой стране добывали свободу, много написано, кое-что можно прочесть и на нашем языке.



---

## ПИСЬМА

И. Я. ФРАНКО

20.IX.1901  
Черновицы

*Cher maître!\**



всё-таки не еду во Львов, а через три часа двигаюсь на Украину через Новоселицу. Так обернулись некоторые мои дела, что нужно ехать напрямик в Киев. Если бы я была уверена, что приеду и застаю всех, кого мне нужно, то как-нибудь два дня я бы у себя украла, а так, без этой уверенности, не решаюсь тратить время, средства да и здоровье (оно у меня очень не любит усталости). Мне жаль, что я теперь не увижу Вас и Павлика<sup>1</sup>, но пусть уж до другого раза: я уже узнала эту дорогу «через пропасть» и, наверно, буду ездить чаще.

Что касается дел, которые Вы были любезны принять на себя, то я попрошу Вас, нельзя ли их устроить следующим образом.

Когда придет Ганкевич<sup>2</sup>, скажите ему, что я горько сожалею о той минуте, когда передала ему эти злополучные рукописи, но уж так «получилось»; итак, я требую сейчас от него, чтобы он сделал отдельный оттиск перевода Дикштейна «Кто чем живёт»<sup>3</sup>, напечатанного в «Воле»; пусть скажет, сколько будет стоить оттиск, а деньги ему будут высланы сразу. Я думаю, что имя его ещё так мало известно российским «властям предержащим», что можно деньги прямо на его адрес выслать. Остальные переводы—Лабриолы, Энгельса, «Коммунист[ический] манифест»,—

---

\* Дорогой учитель (франц.).

если он ещё не начал печатать, то пусть не печатает, а передаст Вам. Вы же будьте любезны переслать их Василию Симовичу<sup>1</sup> (Черновицы, ул. Русская, д. 12), и больше ничего. Если же Ганк[евич] паче чаяния начал их печатать, то пусть назовёт: «Издание группы укра[инских] соц[иал]-демокр[атов]» и скажет, сколько будет стоить издание всего и каждого отдельно, причём, если будет писать мне по почте (я прошу Вас, cher maître, напишите мне сами, а Г[анкевич] пусть только Вам на словах скажет, что нужно), так как иначе не дождусь, то пусть «Кто чем живёт» называет «Над морем», Лабриолу — «Атта Тролем», «Коммунистический манифест» — Ратклифом, исследование Энгельса — балладами, чтобы казалось, что речь идёт о моих собственных литературных делах с редакцией «Вестника». Пишите мне: Киев, Мариинско-Благовещенская, 97. Когда вышлете пере[вод] Симовичу, то напишите: «Ваши стихи отдал в ред[акцию] «Буковины»».

Что касается каталога украинск[их] книг (о которых говорил с Вами Квитка), то, когда он будет у Вас готов в рукописи, пришлите мне, а я, сделав добавления, опять вышлю Вам (или всё, или только добавления). Издавайте этот каталог, где хотите, под какой угодно фирмой, мы в это не вмешиваемся, — на Укр[аине] как-нибудь выпустим.

Извините за путаное письмо, страшно тороплюсь. К. Квитка искренне приветствует Вас, он также сегодня возвращается на Укр[аину].

Поздравляю Вас, семью и знакомых... Жму Вашу руку.

*Леся Украинка*

Р. S. Замечания по пов[оду] Ваших статей в «Вестн[ике]» пришлю с Украины.

**О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ**

26.II.1902

San-Remo, villa «Natalia»,  
corso Cavallotti

...Если нужно, чтобы кто-то объективно высказал, что он думает о спиритизме, то можно сказать так: я допускаю, что в спиритизме не всё шарлатанство и самообман,

возможно, что законы эти мало исследованы. Спиритизм, «исследованный» экспериментально учёными внимательно и беспристрастно, при помощи научной сухой критики, может когда-нибудь пригодиться для новой психологии или, скорее, нейропатии, подобно тому как в своё время средневековая алхимия послужила современной химии. В нынешнем состоянии спиритизм как полузабава, полубользнь, полущарлатанство меня не интересует... Я думаю, что если бы духи, которые обычно показываются во время салонных сеансов, и в самом деле существовали, то они меня также мало бы интересовали, по крайней мере не больше, чем обыкновенные, бесспорно существующие, но смешные людишки, которые до старости увлекаются маскарадами и мистификациями. Если эти духи и в самом деле существуют, то они злые и лживые: если они всё знают, то почему не говорят открыто, без загадок, без обманов, а при помощи каких-то дурацких столиков, тарелочек и т. д.? Если же не знают ничего, то почему открыто не признаются: «Не спрашивайте, люди добрые, так как мы не умнее вас». А если знают и им не дано открыто высказаться, то почему же не молчат, а кокетничают с бедными людьми: «А я что-то знаю, а тебе не скажу!» Может быть, у духов другая этика, и я до неё не доросла?! Я вообще давно уже потеряла веру в духов и спиритических и всяких других, добрых и злых, небесных и подземных (да, собственно, сознательно у меня никогда не было этой веры). По временам, в минуты нервного возбуждения, что-то отзывается во мне, как, например, страх перед зеркалом ночью, неприятное чувство в темноте и т. д. Вероятно, это какие-то воспоминания фантастических надстроек моего детства; но я знаю, что это всё «пережитки»; *верю* же я только в одного духа, того, о котором пел Гейне в своей «Горной идиллии» и которому служили все светлые людские души, и с меня этой веры достаточно. Тот дух может заменить всех духов, которые играют на столиках, ибо тот дух играет на человеческих сердцах, и что может, то делает открыто, без мистификации, и создал он величайшие произведения человеческого искусства трудами своих избранников. А что создали спиритические духи, кроме истерических припадков? («По делам их узнаём их», сказано в евангелии)...



## И. Я. ФРАНКО

13.I.1903

San-Remo, villa «Natalia»,  
corso Cavallotti

Дорогой товарищ, если Вы уж позволяете себя так называть, что я и делаю с охотой. Слова «с Новым годом», по какой-то старой, привычной ассоциации идей, наводят на меня грусть...

Поэтому прошу Вашего позволения не говорить Вам их сейчас не потому, что я не хочу Вас поздравить, а потому, что мне не даётся этот стиль, да и... не слишком я верю в силу новогодних пожеланий.

Возможно, что это письмо получится длинным, но я не винюсь в этом, только очень прошу, если у Вас нет времени, сохранить его для прочтения в более свободную минуту. Я сейчас настроена для разговора на затронутые Вами темы, вот и буду писать «сгоряча», — как напишется, так пусть и будет. Может быть, и выйдет то, что Вы от меня хотели, а если нет, то всё же будет искреннее слово, хоть, может, и нескладное, но Вы меня простите.

Сначала на вопрос: статью Вашу в «Zeit» о Кон[опницкой] читала, она мне всё же понравилась, хотя мне и кажется, что она написана несколько поспешно. Вы обошли кое-что в интимной лирике Кон[опницкой], хотя она звучит приглушённо, но всё же довольно любопытно показывает, как на лирических поэтах-общественниках отражаются и не дают заглушить индивидуальность даже самые широкие общественные интересы: *chassez la par la porte, elle revient par la fenêtre\**.

Это, однако, не упрёк Вам, ведь в статье Вы должны были ограничиться наиболее характерным в деятельности Конопн[ицкой]. Моя статья хоть и длинней, но будет менее полной, так как я поздно сообразила, что мне недостаёт некоторых важных подлинников; кое-что восстановила по памяти, а кое-что обошла, хоть и понимаю, что это не годится. Ну, да я вообще на свою критику в рус[ских] журналах надежд не возлагаю — я не из того мира (собственно «божьего»), а принимаюсь за это больше по необходимости, чем по доброй воле.

---

\* Гоните её в дверь, она вернётся в окно (франц.).

У Делла-Грация я была, но не застала её дома, она выступала в Бреславле. Мне было очень досадно, но ждать её в Вене дольше я не могла, главным образом из-за ненастья, которое начало вредно сказываться на моём здоровье. Я написала недавно письмо этой поэтессе, но ответа ещё не получила, хоть и думаю, что она должна была бы ответить, так как у меня к ней важные дела, которые требуют ответа. Подожду, а если не ответит, так не мне, а ей хуже будет. Если она сообщит что-нибудь любопытное, то, если угодно, я напишу Вам об этом.

Теперь о Вашем «Из дневника». Я понимаю Ваше чувство: словно Вы стыдитесь немного за эти стихи, но понимаю не потому, что вижу достаточно основания для такой стыдливости, а только потому, что мне самой знакомо это чувство. Я думаю, что именно эти мысли и чувства чего-то стоят; если нам или страшно, или «немного стыдно» выносить их «на людные перекрёстки», значит, это искренние, сильные чувства, или горячие, или до боли холодные, но не тёплые. Автор апокалипсиса дал хороший совет не столько людям вообще, сколько поэтам и художникам: будь горячим или холодным, но не тёплым... Я скажу прямо: далеко не каждое Ваше стихотворение отзывалось у меня где-то в глубине сердца, как эти строки «Из дневника». Я не знаю, что было с Вами в тот страшный день, которым датированы стихи, только понимаю, ибо ясно чувствую, что он был страшен. И я понимаю Ваши стихи широко — может быть, слишком широко, скажете Вы, но помните, что я всегда ищу в произведениях поэта не автобиографии (особенно если он не хочет её дать), а нечто такое, что не только его одного коснулось. И я, кажется мне, нашла это сразу, без усилий.

И Вам припомню и расскажу нечто давнее, забытое, а может быть, просто придуманное, а Вы подумайте и скажите сами себе, правда ли это. Если захотите, скажите и мне, я буду благодарна, но просить об этом не имею права. Это, собственно, «отголосок», поэтому не удивляйтесь, если в нём недостаёт объективности, ибо я не столько думаю, сколько чувствую, что должна сказать. При чтении Ваших стихов я вспомнила, как когда-то давно, ещё в Колодежном, Вы рассказывали мне план одной драмы, который мне показался необычайно интересным и оригинальным.

нальным, потом элементы его я узнала в «Каменной душе» и искренне призналась Вам, что от плана я ожидала большего. Вы сказали, что действительно должны были «свернуть голову» плану по не зависящим от Вас причинам: «условия моей работы... условия моей жизни... условия нашей сцены...» Что я могла на это сказать? Но мне было жаль этого плана со «свёрнутой головой», как чего-то родного.

Ещё раз, тоже давно (кажется, когда я первый раз была во Львове), Вы говорили, что собираетесь писать какой-то роман, что он Вам очень по душе; темы не назвали. Позже я спросила, что с Вашим романом? Вы ответили что-то безнадёжное... Как раз тогда я прочитала где-то в «Kugjerie», что ли, описание какой-то сельскохозяйственной выставки, signé\* Франко! Тогда же шла полемика, где Вас наделяли всякими «салонными» эпитетами. Тогда же Вы писали по всякому поводу множество мелких корреспонденций. Мне неизвестно, что вышло из плана Вашего романа, ибо не знаю его темы. И часто я думала об этих «свёрнутых головах», и об этих корреспонденциях, и об этой полемике. Думала и тогда, когда писала свою драму о скульпторе среди пуритан в дебрях первых американских колоний. Думала и тогда, когда некоторые из товарищей упрекали меня в том, что я из-за поэзии отхожу от реальной, полезной работы. Я пробовала говорить, что, быть может, это у меня профессиональный грех, мне же ставили в пример Вас, и, знаете, у меня действительно много «горячего» в натуре: задумано — сделано! И я не одну «голову свернула», думая, что выполняю гражданский долг, отдавая своё время и свои очень ограниченные силы «полезной» и никому, даже мне самой, не заметной работе. Я и до сих пор не знаю, хорошо ли я или плохо делала, но только когда я прочитала крик и жалобы Ваших «детей», то и мои отзывались тем же голосом...

И ещё одно воспоминание. В позапрошлом году по дороге в Италию я остановилась во Львове; мои нервы были тогда очень непослушны, и у меня была склонность к откровенным беседам. Однажды я в течение целого вечера спорила с Трушем<sup>1</sup> и Ганкевичем о Вас. Они говорили о

---

\* Подписанное (франц.).

Вашей универсальности и радовались, что у Вас такой талант — беллетристический, научный, поэтический, публицистический, практический и т. д. — всё в одном лице. Я же сетовала, что наша жизнь требует от одного человека сразу стольких добродетелей, и сравнивала судьбу всякого писателя (живого, конечно, а не покойного) с судьбою Mädchen für alles\*, причём — «могущий вместить да вместит». И сколько бы ни вмещал, никто ему не скажет: довольно, отдохни, я тебя сменю! Вспоминая снова Ваше описание сельскохозяйственной выставки, всякие entre-filets\*\*, наряду с этим «свёрнутые головы», разнервничалась до крайности, а мои собеседники укоряли меня в писательском аристократизме. Я заметила Трушу: «Если бы вас заставили малевать вывески да вагоны красить для общественной пользы и для хлеба насущного, а пейзажам «свернуть головы»? — «Это совсем другое дело!» — обиделся художник. «А вам бы приказали площади для митинга подметать, «свернувши головы» вашим речам», — обратилась я к Ганкевичу. У него хватило мужества ответить: «Что ж, если нужно...» — «Мне было бы вас очень жаль!» — вырвалось у меня. «Это значит, вы хотите уберечь Франко от практической работы». — «Разумеется!» — я начала нечто среднее между иеремиадой и филиппикой. «Франко бы вас за это не поблагодарил», — уверяли меня мои оппоненты и прочитали мне нечто вроде нотации, что такой писатель, как Франко, наверно, никогда не жалуется «на подметание площадей», потому что знает, что этим он «прокладывает путь» для других, может быть больших, талантов, которые лучше разовьются при благоприятных условиях: что «подмести площадь», даже с точки зрения обыкновенной публики, — честь для гражданина, что и Геркулес чистил конюшни; что «свёрнутые головы» ещё неизвестно, какую бы имели ценность; возможно, о них не стоит и жалеть; что к вещам нельзя подходить с абсолютной оценкой, как это делаю я. Для меня, напр[имер], «Увядавшие листья» больше значат, чем все entrefilets того же автора, а для нашего общества, для нашей эпохи, может быть, именно описание сельскохозяйственных

---

\* Служанка для всего (нем.).

\*\* Газетные заметки (франц.).

выставок значительно нужнее, полезнее и интереснее; никто не виноват, что вы родились слишком рано, и, защищая Вас, я оказываю очень плохую услугу, если такая защита Вам совсем не нужна, а может быть, и обидна. Естественно, всё это было сказано не так сжато и последовательно, потому что со мной трудно было говорить по-человечески в тот вечер, и я долго потом бранила себя за отсутствие выдержки и объективности. Но самого худшего мои собеседники не видели: полночи проплакала я после этого спора, но не потому, чтобы я чувствовала себя оскорблённой или «разбитой по всем пунктам», нет. Мне всё грезилось эти «свёрнутые головы», те самые, которые Вам казались «утопленными детьми», и я была уверена тогда, что Вы поняли бы мои слёзы и не оскорбились бы ими, но мне было тяжело от этой уверенности. Было бы легче, если бы Вы действительно оказались таким «неуязвимым», каким представляли Вас тогда Труш и Ганкевич. Легче, но это не значит честнее или героичнее. Ведь топят в болоте или в чистой воде (всё равно) своих детей с лёгким сердцем не герои и не честные люди, а совсем иные (среди зверей есть такие, которые их просто пожирают). Так пусть же никто не думает, что украинские поэты нашего времени были *infanticides\** с лёгким сердцем! Пусть знают, какие были страшные времена, когда писатель *должен* был быть детоубийцей. От одной страницы такого дневника стынет кровь! И нет стыда писать такие страницы, нет стыда показать это людям. Почему все имеют право на слёзы: и материнская скорбь, и несчастная любовь, и народная печаль, а только душа поэта, которая потеряла своих детей, должна молчать?.. И скажут когда-нибудь люди: если этот народ пережил даже такое время и не погиб, то это сильный народ.

И знаете что? Ваши дети не погибли, они уже громко откликнулись не тем, желанным для Вас голосом соловьиных песен, но человеческим голосом, человеческой скорбью, и кто знает, может быть, песни соловьёв не проникли бы так в сердце, как этот стон утопленных детей Ваших. Всё равно, какой момент вызвал со дна страшной глубины эту жалобу, но она отозвалась не только за Вас одних,

---

\* Детоубийцы (*франц.*).

не только за Ваших детей, это De profundis<sup>1</sup> каждого, кто утопил своих детей, это акт обвинения против всех, кто виновен в этом злодействе, против всего, что вызывает эти злодейства. Почему же об этом нужно молчать?

Я пишу это, а мысленно всё повторяю: «Рахиль рыдает и не может утешиться в скорби по детям своим, ибо их нет...» Кто была эта Рахиль? Может быть, какая-нибудь неизвестная женщина времён Ирода? А может быть, «строительница дома Израиля»? Какие были у неё дети? Какими были бы они, если бы выросли невредимыми? Помнили бы их люди? Вспоминали бы до сих пор их мать? И чем помянули бы их потомки? Кто знает!.. Но теперь они бессмертны, ибо бессмертна скорбь их матери, и они живут в её скорби. Что случилось бы с их бессмертием, если бы их мать не убивалась, если бы она захотела утешиться тем, что их всё равно не вернёшь, ибо их нет? Сколько матерей утешаются этим! Но «Рахиль рыдает и не может утешиться в скорби по детям своим, ибо их нет...»

...Вы, наверно, знаете легенды об узниках-богатырях. Вот сидит такой узник в темнице не год, не два, и кажется ему, что он ослеп, но это слепа ночь, окутавшая его; и кажется ему, что он стар, но это стара темница, скрывающая его; и думает он, что кандалы его прочны, но давно уже ржа переела железо, только узник не верит своим рукам и не пробует их силы. И нужен для этого какой-то освободитель из-за Черноморья, чтобы воскликнуть: «Встань!» Чтоб от клича вздрогнул узник и распались оковы на руках, и тогда свободными руками узник сам выбьет двери старой темницы и увидит, что солнце светит и для него... О, какое это счастье быть таким «черноморцем», иметь такой голос, чтобы крикнуть: «Встань!» О, если бы у меня был такой голос здесь, у Лигурийского моря! Я бы так воскликнула, как сейчас это море кличет (а на море буря), и далеко-далеко покатилося бы через горы: «Встань!»

Нет, в самом деле кажется мне, что в этих легендах много правды. И я думаю, что если по слову чудотворца «Встань и иди!» — мёртвые и больные действительно вставали и шли, то, наверно, они не были мёртвыми и такими больными, как казалось. Мечтающий для себя о таком чуде не выражает ли то бессознательное чувство,

что ему действительно достаточно только услышать слова: «Встань и выйди!» — встать и выйти? Коли так, то зачем ждать «барки с Черноморья»? Зачем выжидать эти каббалистические «три дня», а не выйти немедленно, в первый день, лишь только стража хоть немного приоткроет дверь?

Ну, видите, я на легенды отвечаю легендами.

Ist es eine Antwort? \* Но ведь вы не ответа, а «отклика» хотели. Как откликнулось, так пусть и будет.

14.I.1903

Вы словно сожалеете, что выдержали там, где другой надломился бы или разбился вдребезги. Конечно, «разбиться» лучше, если уж дошло до такой дилеммы, но это зависит от характера и обстоятельств. Я никогда не могу вытерпеть до конца фальшивого или принижающего меня положения; и если не могу просто встать и уйти, то вырываюсь, разбивая своё сердце, ранив, верно, и чужое. Но я знаю, что и вырываться не всегда можно. А если поставить дилемму: надломиться или перенести горе и вылить его пену на бумагу, то всё же почётнее, хотя и без меры тяжелей, именно выдержать, не надломившись. Только это не пена, дорогой товарищ, то, что вылилось у Вас на бумагу. Если сердце «кипит», то, конечно, не пеной, а кровью. Мне Ваши стихи показались красными, а пена обычно бывает серой или порой белой. Будем ли сетовать на себя, что не умеем молча терпеть, «как мужу пристало», ведь такова судьба поэтов, которые должны кричать на площадях и «проричать как одержимые» в то время, когда хотелось бы в землю уйти от печали и замолчать навсегда. Вы вот говорите, что в моей «Одержимой» не выдержан эпический тон и даже она лирична. Дело сегодня пошло на откровенность, и признаюсь, что я писала в такую ночь<sup>1</sup>, после которой, верно, долго буду жить, если уж тогда жива осталась. И даже писала, не исчерпав скорби, а в самом её апогее. Если бы меня кто-нибудь спросил, как я из этого всего живой вышла, я бы могла ответить:

---

\* Разве это ответ? (нем.).

«J'en ai fait un drame»\*, значит судьба. Это довольно страшная судьба, потому что она претворяет дела в слова! Если моя одержимая разбила голову слуге синедриона, то зато у всех моих знакомых головы и до сих пор целы, да, верно, и будут целыми, насколько это от меня зависит. Зато, правда, наши слова становятся нашими делами, и судят нас люди «по делам нашим», а у кого судьба не такая, тот болтает себе сколько захочет, и никто с него ничего не спрашивает. И думается мне: если наша судьба неизбежна, то напрасно и бежать от неё, а кто не хочет покоряться ей, пусть оседлает эту судьбу, вместо Пегаса, да и поедет куда захочет. А впрочем, не мне учить, как Вам следует себя держать с этой судьбой, не Вы ли сами сказали о поэтах: «Пусть будут искренни, искренни, искренни!» В этом весь закон и пророки!

Что сказать Вам о Вашей поэме? Она ещё не завершена, и мнение моё о ней не сложилось. Во вступлении (к Вороному) мне не всюду нравится стиль; но об этом, если бы Вы захотели, мы поговорили бы с книжкой и с карандашом в руках, а в письме пришлось бы говорить о мелочах; письмо же моё и без того растягивается *ad infinitum*\*\*. Пролог мне очень понравился вначале (до диалога), даже ничего не могу возразить со стороны стиля. Что касается формы, то есть одна слишком длинная строфа: «вона лиш те жівить, що має міць тривать»; стоило бы её исправить, чтобы не нарушать суровых правил октавы (мне было бы в ней тесно!). В диалоге мне постоянно приходилось *при-нуждать* себя верить, что лес может так долго и складно рассказывать все происшествия с князем и княгиней etc. Сам по себе рассказ неплох, но чтобы его Вам лес так *knapp und gebunden*\*\*\* рассказывал, это не укладывается в моём воображении. И ритм леса я себе представляю не октавами,— океан ещё может жить октавами, так как в волнах есть какой-то строй и закон, а лес мне кажется «верлибристом»<sup>1</sup> и никогда не скандирует своих стихов. Ещё две-три октавы лес может дать при погожем ветре,

---

\* Я из этого создала драму (франц.).

\*\* До бесконечности (лат.).

\*\*\* Чётко и связно (нем.).



но шестнадцать? Естественней (я употребляю это слово в особенном значении) показалось мне там, где лес рассказывает о собственном истреблении, а когда рассказывает о том, чего не мог видеть (о будуаре княгини, о разделе наследства), то мне казалось, что говорит не он, а Вы сами. А нельзя ли было бы так построить рассказ, чтобы каждый говорил от своего лица? Я, собственно, не знаю, как это сделать и можно ли, но только высказываю свои соображения.

Я не помню, чтобы я читала Вашу «Новую жизнь», где она была напечатана?

Признаюсь Вам по правде: я не понимаю вкуса в современных поэмах; вот и «Бразилия» Конопн[ицкой] как-то мне не по душе, хотя даже не могу сказать, какие я в ней нахожу недостатки. Даже прозаические романы и повести в нескольких частях редко люблю. Может быть, у меня действительно слишком лирическая натура! Я свой вкус совсем и не пытаюсь обосновать принципами, не этим он обусловлен, а просто это мне присуще. Вот и пушкинского «Евгения Онегина» я всегда уважала, но не любила. К Вашим «Господским шуткам» у меня тоже холодное уважение, да и к «Путям и перепутьям»<sup>1</sup>, за исключением нескольких страниц, которые вызывают прежнюю симпатию к Вашим произведениям. В Вашей новой поэме я люблю то, что в ней, вероятно, должно быть второстепенным — именно лирические нотки. Что делать! Натуру изменить трудно! Но я охотно с Вами поговорила бы о Вашей поэме с технической и стилистической стороны, может быть, в самом деле Вам было бы хорошо «подумать вслух» в моём присутствии. Я хоть и не могу так любить эпiku, как лирику, но, может быть, всё же поняла бы её объективно. Во всяком случае, если захотите спросить моё мнение и сообщить взамен Ваше, то я с превеликой охотой Вам отвечу, как и теперь, и Вам не придётся упрекать меня в том, что я «ни горяча, ни холодна». Это относится не только к профессиональным вопросам.

Свою «поэму» я уже окончила, получилась, собственно, не поэма, а лирико-драматическая сцена à la «Одержимая»; в них даже есть нечто общее. Я не особенно претендую на эпичность, и если мне этот «высший род поэзии» не даётся, то не буду этим очень терзаться. Не дано, так не дано,

fiat voluntas dei!\* Я знаю, что когда я эту последнюю поэму писала, то была «искренна, искренна, искренна», и горело что-то во мне, и не давало покоя, пока последнее слово не легло на бумагу. А что из этого вышло, это уже не в моей власти. Впрочем, Вы сами увидите, так как я скоро Вам вышлю эту поэму, если стоит, дайте её в печать, а если нет, то всё-таки прочитайте и скажите мне своё мнение о ней.

«Всё на свете имеет свой конец» — это неоспоримая истина, потому и моё письмо заканчивается — кто бы мог ожидать?

Может, Вам моя беседа и надоела, — что же делать! Я же Вам ещё никогда таких длинных писем не писала, так должны же и Вы хоть однажды испытать, что значит затронуть меня! Мне доставит радость, если Вы решитесь ещё раз так меня затронуть. Будьте здоровы. Жму Вашу руку. Excelsior!\*\* Спасибо за приветы.

Леся Украинка.

## О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

12. III. 1903  
San-Remo

...Написала ответ Ефремову<sup>1</sup>, но «Киевская старина» не захотела его печатать (ответ был написан в форме письма в редакцию), хотя *кто-то*<sup>2</sup> выдержал вполне учтивый, корректный тон по отношению к реда[к]ции и самому Ефр[емову]. Даже Ефр[емов] писал этому *кому-то*, что он был за напечатание ответа, но редакция решила *никаких* ответов на статьи своих сотрудников не помещать: довольно глупый принцип, но что поделаешь! Мой ответ отправился в «Мир божий», да, наверно, и там ничего не выйдет, так как полемика на специально украинские темы с никому не известным критиком, повидимому, не может заинтересовать прессу и русскую публику. Может быть, *кто-то* напишет ещё на эту тему в «Вестник», но не сейчас, потому что нет ни времени, ни сил и боязно снова разнервничаться — этот неприятный ответ в «К[иевскую] ст[ари-

---

\* Да будет воля божья! (лат.).

\*\* Всё выше! (лат.).

ну]» кому-то очень дорого обошёлся, и кто-то не осмелывается делать вторую попытку...

...Если Ефр[емов] снова не заденет кого-то лично и будет придерживаться приличного тона в своих выступлениях против «новых», то и кто-то не будет иметь охоты и нужды выдвигать свою особу на первый план, так как вообще личной полемики не любит. Кто-то решительно убедился в том, что в литературных взглядах резко и диаметрально расходится с Ефр[емовым] и его единомышленниками, следовательно, это, наверно, не последняя битва, ибо кто-то не думает складывать оружия...

...Кроме этого полемического выступления кто-то написал по-русски статью о Конопницкой, и она также не была принята в «Мир божий», потому что в ней кто-то оказался слишком самостоятельным критиком. Поэтому кто-то охладел к «М[иру] бож[ьему]», передал свою статью в другой журнал (ещё не знает, будет ли там напечатана) и теперь ищет себе заработка в другом месте, но ещё не нашёл и терзается этим. (Кто-то чёрненький хорошо понимает, как неприятно жить «без собственных фондов», кто-то беленький не считает нужным об этом распространяться.)

«Zeit» почему-то не присылает мне журнала, не отвечает на моё письмо, посланное вместе со статьёй, так что я не знаю, принята ли она или нет, и это начинает меня раздражать. Если бы не заработок, то кто-то покончил бы с критикой и публицистикой по «чужим хатам», а остался бы поэтом в «родном доме» и меньше бы имел неприятностей.

Впрочем, кто-то — человек беспокойного характера. Вот недавно написал полемическую статью в «Молодую Украину»<sup>1</sup>, захотелось поспорить с М. Ганкевичем о терроре и политической этике. Ещё не имела времени переписать, но отправлю, как только перепису. Это уже не для заработка и не для самообороны, а так, «за правду», не стерпела душа, что лидер социал-демократии такое плетёт, да ещё в органе для молодёжи! Знаю, что это его сильно заденет, пусть! Я не затрагиваю его личность, а его ошибки. Кроме того, кто-то написал небольшую драматическую поэму и несколько стихотворений. Хочет написать ещё одну, даже две поэмы (тоже драматические), но позже, так как нет времени и нужно всё-таки немного отдохнуть...

## А. Е. КРЫМСКОМУ

3.XI.1905

Киев, М[ариинско]-  
Благов[ещенская], 97.

Уважаемый и дорогой мой товарищ!

...Тут у нас проектируются целых три украинских газеты, и я, может быть, впрягусь в какую-нибудь из них, тогда прощай свобода! Хоть из меня такой же журналист, «как из денежки пистоль», но на безлюдье и Фома — дворянин; к тому же меньше буду чувствовать свой «паразитизм», как говорил Ваш Лаговский<sup>1</sup>, так как возьму на свою долю самую чёрную работу в мужицко-пролетарской укр[аинской] газете, оставив белую работу чистой идеологии в двух «интеллигентских органах» не поэтам. Такую газету, к которой я хочу присоединиться, давно уже настойчиво требуют «голоса из народа»; народ готов даже деньги на это давать, значит, моя работа там бесспорно «паразитарной» не будет, а за определённое количество часов такого труда надеюсь купить себе *право неограниченной свободы* в области поэзии и *belles lettres*\*, за которую пусть меня судит история литературы, если у неё будет время заниматься такими мелочами, а на все другие суды и пересуды не буду обращать внимания, принимая советы, да и то только те, которые захочу. Это будет попытка практического решения одной из тех трагедий, из которых состоит моя жизнь. Решение неглубокое, так как слишком практическое, но пусть будет пока хоть такое («временные меры» теперь в моде), а там посмотрим... Люди меня пугают, что не хватит времени на «свободную» поэзию; я защищаюсь словами Ламартина: «a-t-on besoin du temps pour prier dieu?»\*\* А сама думаю: как-нибудь хватит!

Между тем в поэзии я достигла неожиданной гармонии между настроением моей музыки и общественным настроением (это далеко не всегда бывало!). Мне как-то не приходится даже напоминать этой своевольной богине об её «общественном долге» — так очаровал её суровый багрянец

---

\* Беллетристики (франц.).

\*\* А нужно ли время, чтобы молиться богу? (франц.).

красных знамён и говор бурной толпы. Я даже не понимаю, что за удовольствие этой *citoyenne Muse\** возиться теперь с таким немощным созданием, как я: на её месте я избрала бы поэта с такой героической фигурой, как V. Hugo, с голосом, как у Стентора<sup>1</sup>, приложила бы ему рупор к устам и вещала бы через это усовершенствованное приспособление свою волю на весь мир. Но, видно, у богов никогда не было и не будет логики, *c'est à prendre ou à laisser\*\**.

Однако и у меня логики немного: хотела говорить о Вашей уже законченной работе, а заговорила о своей не сделанной, что, по франц[узской] пословице, к лицу дуракам. *Confiteor! Mea culpa!\*\*\**

Ваш роман я не перелистала, а прочитала *durch und durch\*\*\*\**, хотя, простите за правду, сделать это было не всегда легко. Не могу сказать, хоть Вы об этом просите, что будет делать «читатель» с Вашей книжкой, то есть тот читатель, для которых обыкновенно пишутся всякие «предисловия», так как я, к сожалению, к таким читателям давно уже не принадлежу и забыла их психологию. Я читатель-литератор, а это порода «ненормальная», лишённая спасительной «непосредственности», отравленная профессиональной болезнью анализа, и нужно необыкновенно гармоничное произведение, чтобы захватило такого читателя и не дало ходу его тысячгранному анализу. Ваше произведение к гармоничным не принадлежит (таково моё искреннее мнение), следовательно, я не могу никак гармонизировать мои впечатления (пользуюсь *pluralis\*\*\*\*\**) намеренно и сознательно. В связи с этим и буду излагать их обособленно, оставляя, конечно, за Вами право не читать этого отзыва, если Вы не найдёте в нём для себя «ни пользы, ни отрады».

Прежде всего меня раздосадовало Ваше предисловие. Хоть Вы там и уверяете, что Вы ни перед кем не оправдываетесь, однако нельзя иначе понять это предисловие, как только так: верьте совести, люди добрые, это не автобио-

---

\* Гражданке Музе (*франц.*).

\*\* Это нужно принять или отвергнуть (*франц.*).

\*\*\* Признаюсь! Моя вина! (*лат.*).

\*\*\*\* От доски до доски (*нем.*).

\*\*\*\*\* Множественным числом (*лат.*).

графия! И Вы и Франко (предисловие к «Увядшим листьям») создаёте плохие прецеденты всем нам, писателям-субъективистам, словно мы обязаны давать отчёт, «кому о том ведать надлежит», как мы распоряжаемся нашим собственным автобиографическим материалом. Ведь ответом на литературные, как и на всякие другие сплетни, возможен только суд чести или молчание, а всё иное может только ухудшить дело. Собственно говоря, Вы имели бы право привлечь к суду чести кое-кого из Ваших «критиков», но так как Вы этого благодаря Вашему миролюбию не делаете, то Вам остаётся только по отношению к ним «перейти к порядку дня», так как они Вашего слова недостойны. Вот мне и досадно, что Вы их удостоили слова.

Опасаясь этих господ, Вы вынуждены были допустить одну непоследовательность, рисуя тип Вашего профессора: формально сделали его профессором математики, а придали ему все черты филолога или белой вороны, так как математиков, знающих разные языки, лингвистику и фольклор, мир ещё не видел. Наконец, может быть, Вы и не для «критиков» это сделали, а для того, чтобы дать своему герою по мере возможности самую отвлечённую специальность, но только он Вас не слушался и совсем не заботился о математике, а всё лез не в своё дело, разбирая всякие «фонемы», совсем как лингвист! Разрешите же ему перейти на другой факультет в последующих частях Вашего романа, ведь жалко смотреть, как этот человек закапывает свой лингвистический талант в землю из-за ультраплатонической любви к математике! Дайте ему кафедру сравнительной филологии или ещё что-либо — он её вполне заслужил, а Вы обязаны сделать ему какое-нибудь добро, ибо и так до конца его безвинно измучили. Однако простите, дорогой товарищ, может быть, Вам этот тон не нравится, он невольно вышел таким, а я вполне серьёзно отношусь к Вашему произведению и вполне серьёзно *страдала* над ним. Да, страдала, не в ироническом, а в простом и искреннем значении этого слова. Те «страницы», на которые Вы намекаете в Вашем последнем письме ко мне, причинили мне *боль*. «Господи, да за что он мучает так самого себя?» — думала я о Вас, так как чувствовала, что Вам было очень больно, когда Вы писали эти страницы. Не могло быть иначе, ведь их и читать больно. Вы хотели, наверно,

добиться этим *правды* — так ведь? — хотя бы и ценой муки своей и читателя, но Вы правды не достигли, ибо превысили её пределы. Скажите, разве *vivisection in anima vili*\* или хотя бы *nobili*\*\* даёт *картину* этой души или помогает хотя бы представить эту картину? Я думаю, нет. Думаю, что если подробно описать прекраснейшего и благороднейшего человека, как он ест, как он жуёт, как он переваривает и тому подобное, то он может опротиветь окончательно. И, может быть, найдётся такой впечатлительный читатель, который скажет: «Не станем есть, люди хорошие, помрём лучше с голоду, так как это всё же эстетичней, нежели мерзость с пережёвыванием пищи и т. п.». А другой, менее впечатлительный, скажет: «Нет, не так! Все жизненные процессы неэстетичны, особенно если присмотреться ближе, все они «животны», но из них нет выхода даже в смерти, ибо и она «животна», неэстетична и ведёт за собой множество дальнейших, быть может ещё менее эстетичных, животных и растительных процессов, — мы не властны над ними, мы можем возводить только «надстройки» (или, по другой терминологии, здания) на этом фундаменте, а фундамент останется таковым, каков есть, и нам остаётся только присыпать его землёй, чтобы не торчал голым перед нашими глазами. Достаточно будет у нас труда и трагедий с этими зданиями, и некогда нам будет думать о фундаменте». Так скажет «невпечатлительный», и я принимаю его сторону, насильно укротив свои нравы, тянувшие меня совсем в другую сторону. И если бы Ваш роман занимался только «фундаментом», то я бы считала, что напрасно мучилась над ним, но он затрагивает и здание, даже украшения затрагивает оригинально и проникнут такой искренней жертвенностью, что я не жалею ни времени, ни сил, затраченных мною на «одоление» его. Мне только жаль, что этот «фундамент» не дал Вам возможности дольше и полнее заняться остальной частью здания. Вот и Ваш профессор так засмотрелся на основы поведения своего приятеля Владимира, что вовсе утратил критическое чувство и забыл, за что, собственно, он этого приятеля судит и в чём оправдывает его. Мне даже странно

---

\* Вивисекция ничтожной души (лат.).

\*\* Благородной (лат.).

было, как такой человек — Ваш Лаговский — не видит (и до самого конца) главного *существа* — грубости натуры этого Владимира и основного симптома этой грубости. Ведь грубость эта — совсем не в тех неэстетических сценах, в которых он, может быть, и не виноват, как не виноват и в том, что их заметил профессор; грубость его в *трактовке «объекта» этих сцен*, этой несчастной Амалии, к которой почему-то и Вы немилостивы, хотя она всё же заслуживала бы какого-то человеческого отношения, ну хоть такого, как Зоя (хотя и ей не бог знает какую честь Вы воздаёте!). Почему это барчонок Владимир настолько уверен, что он для «такой» Амалии как раз «рылом вышел»? А может быть, если бы она была «трошки багатенька» (ну, хоть так, как Зоя), то «наплювала би на нього й на його батенька», как поётся в песне. Может быть, её влечёт к таким барчукам иной «животный» инстинкт — голод, но чем же этот инстинкт хуже, чем у барчука, который так свысока относится к этой девушке? А если её натуре тоже физически необходимы именно такие сцены, то тем более не ему бросать в неё камнем или грязью. Он *ни на одну минуту* не задумался над тем, сколько дней она будет переживать такую сцену (а может быть, не дней, а лет, да ещё и не одна...), ведь и она же, по меньшей мере, *animal\**, а не автомат. В какой форме выражается у неё эта реакция? Он («рабовладелец») заплатил, вероятно, деньги за товар, а *graeusculus* у\*\* за комиссию, и больше его не интересуют эти «объекты». Нет, он ещё словно обвиняет за что-то один из объектов, Амалию, — право, не пойму за что. Примитивность его не в том, что он *не умеет* разрешить основной *désharmonie de la nature humaine\*\*\** (и более умные, чем он, люди не всегда удачно с ней справлялись), а в том, что он во всей дилемме видит *только себя*. (Если бы не «*tristitia*\*\*\*\*», он бы и в ус не дул!) Он даже профессора заражает на некоторое время этой примитивностью, так как и тот начинает отождествлять понятие «грех» с понятием «неэстетичность», и уже даже не скоро, и то не до

---

\* Живое существо (лат.).

\*\* Греку (лат.).

\*\*\* Дисгармонии человеческой природы (франц.).

\*\*\*\* Печаль (лат.).



конца, додумывается, в чём, собственно, заключался «грех» отношений с Зоей; а то ему, проф[ессору], долго казалось, что этот грех заключается в неэстетичности сцен да в физической реакции после них (как раз в этом и нет никакого греха!), и, естественно, он искал спасения от такого греха в аскетизме. Что говорить, если этот Владимир даже автора немного заразил, потому что я не понимаю несправедливого безразличия автора к «козлу отпущения» — Амалии. Вы даже не сочли нужным информировать своих читателей о том, кто она: гречанка или немка? Красива или уродлива? Молода или стара? (Скорей можно думать, что красива и молода, так как иначе барчук, может быть, не купил бы её.) Одно можно сказать наверное, что она самая несчастная из всех действующих лиц романа, так как ей даже от благодеяний профессора как-то ничего не перепало, а таким *Mädchen für alles* обычно хозяева мало платят, поэтому можно догадываться, почему она даёт себя обмануть подобным барчукам. Ещё можно догадываться, что она лучше этих барышень-гречанок с античными именами и во всяком случае деликатнее их, потому что на их доподлинно двусмысленные шуточки реагирует просто стремительным бегством; нужды нет, что в беде она должна была привыкнуть ко всякой всячине. Эта чёрточка, брошенная Вами, может быть и не намеренно, немного скрашивает печальный, униженный образ этой девушки, но всё же, по-моему, Вы должны дать удовлетворение этому безвинно очернённому человеку. Это слишком жестоко — выставить человека на натуралистическое позорище и заставить его «без исповеди» погибнуть во мнении читателя, и всё это только ради иллюстрации наименее интересного персонажа романа. Ведь в самом деле Владимир малоинтересен, и все исповеди его не спасают, по крайней мере в моём мнении. Я всецело согласна с ним, что он эгоист, но это не повредило бы его занимательности, если бы он не был столь примитивен; ведь его сальные шуточки своим убожеством содержания доводят прямо до отчаяния, а многочисленные и однообразные переходы от *tristitia* к *laetitia et vice versa*\* вызывают раздражение особенно потому, что Вы им даёте слишком простое, физиоло-

\* Печали к веселью и наоборот (лат.).

гическое объяснение. Конечно, против голой физиологии литература ничем помочь не может, так как это не её специальность, здесь нужны Мечников или Крафт-Эбинг, или я уже не знаю кто, только не беллетрист. Единственно, что интересно у этого барчука, это его идейно-научный нигилизм, и, мне кажется, Вы ошиблись, отыскивая его корни всё в той же *tristitia*. Скорей она от него происходит, нежели он от неё, так как на это есть намёки в исповедях Владимира. Но Вы этих намёков не развили до конца, и поэтому вся фигура вышла малопонятной, потому и обидно, что она занимает столько места.

С гораздо большим чувством меры Вы описали фигуры младших Шмидтов. Это грациозные силуэтики, и вполне понятно, почему профессор мог сначала ими очароваться, а потом разочароваться. (Между тем с Влад[имиром] дело неясно.) Только *генезис* всего отношения проф[ессора] к Шмидтам мало проанализирован. «Читатель» его, наверно, не поймёт. Но я, кажется, понимаю, так как мне близка психология Вашего профессора. Он, кажется, принадлежит к тем натурам, которые, полюбив хотя бы случайно («по несчастью»), испытывают уже такое чувство, словно они под присягой обязались любить до гроба под угрозой стать «изменником» в собственных глазах. Только для этого «случая» надо что-то большее, чем обычная приветливость, которую сначала показали Шмидты. Вы здесь пропустили какой-то момент — по большей части связывает или «общность» судьбы, или «гармония душевных струн», хотя бы только иллюзорная, а Ваш профессор, кажется, сразу увидел, что он и Шмидты, собственно, люди различного типа. Кроме упомянутого момента вся дальнейшая история отношений профессора со Шмидтами понятна, тонко написана и интересна со всех точек зрения. Однако она не доказывает, а скорей проваливает ту аскетическую идею, которую Вы сделали *leitmotiv*'ом своего романа. Мне кажется, что только с аскетами случаются подобные истории, какие случились у Лаговского со Шмидтами и Зоей. Единственный способ, чтобы «природа» не лезла «без доклада» в окно, — это пускать её в дверь; может быть, тогда она будет больше уважать назначенные ей *Sprechstunden*\*.

---

\* Часы приёма (нем.).

В противном случае она придумывает всяческие «искушения св[ятого] Антония», которые и не снятся обыкновенным, не святым смертным. Если отыскивать «мораль» в этом романе, то она выступает *malgré vous*\*.

Но мораль никогда не достигает глубины, а Ваш роман глубже: он показывает *причины* аскетизма, условия его развития и психологию человека, который не по собственной воле попал в положение аскета, не свойственное ему по природе. Самые интересные места Вашего произведения — это те, где Вы раскрываете социологическую и психологическую подкладку такого аскетизма, и менее интересны те, где Вы «бичуете» истерию и физиологию, так как их, бедных, во всей этой истории не за что бичевать. Истерия здесь не причина, она следствие несчастья, а физиология — что с неё возьмёшь? Она женщина простая и мало смыслит в идеалах. Пусть она и виновата в том, что Ваш герой был способен чувствовать голод и должен был удовлетворять его и поэтому расшатал свои нервы такими лекциями, как с этим «Пьером», — так ведь ей всякие обвинения, что горох об стену, она знает одно: «Если не будешь есть, то будешь голоден», и больше ей ни до чего дела нет. А «нервы» и вовсе не виноваты, что они разбиты. Что касается вины таких Бобровых и подсудимых, то тут уже дело не так просто, — они могут искать спасение в социологии, и кто знает, какое спасение она им даст...

А какой у Вас прекрасный эпизод с этим «генералёнком»! Все грехи Вашей книжки да простятся Вам за него! Вот где трагедия, и какая глубокая! Нет, здесь уже не истерия виновата, что Лаговский не находит выхода из этого контраста, не знает, что с ним делать. Ведь это дилемма классового антагонизма и всечеловеческой солидарности! И как она у Вас кристаллизовалась в такой чудесно-прозрачный, поэтический образ? Это уже настоящий «секрет поэтического творчества»... Мне даже жалко, что этот эпизод мелькнул, как искорка, и что Вы показали так мало *видимой* связи между ним и дальнейшим повествованием, хоть связь эта безусловно есть. Возможно, если бы этот «генералёнок» был не столь небесно-симпатичен, то все отношения Лаговского к генеральской семье

---

\* Против вашей воли (*франц.*).

Шмидтов сложились бы сразу иначе; тогда, может быть, для разрушения иллюзии было бы достаточно сцены «найма» школы... Мне кажется, что Лаговский пробыл столько времени в плену у генеральского сына Владимира Шмидта (это было подлинно египетское пленение!) только за то, что в своё время не хотел спеть этому «генералёнку» «Ах ты, воля, моя воля...». Разве Вы с этим не согласны?

Они действительно «генералы», эти Шмидты, а всё же Вы немного к ним несправедливы, особенно к Владимиру. Нужно было полнее показать, *почему* они такие, получилось бы и объективней и интересней. А эта совсем непонятная *incohérence\**, как, напр[имер], изгнание учителя с маленькими больными малярией детьми, казалось бы, такими не жестокими и не плохими людьми, как Шмидты. Трудно также понять, почему у Владимира уж слишком «пошлый» стиль, в то время как его братья вполне «хорошо воспитаны». Неужели потому, что он самый некрасивый в семье? Его цинизм скорее приказничьего, нежели генеральского, *стиля* (именно *стиля*, так как *содержание* бывает у циников всякого воспитания одинаковое), — от него действительно «уши вянут».

Несправедливы Вы, кажется мне, и к Зое. Не верится мне, что она действительно только из «женской гордости» отдалась профессору; ведь «гордость» эта была бы ярче выражена, если бы Зоя не отдавалась, — ведь она сама это признала. Пусть это был бы «животный инстинкт», всё же это нечто лучшее, нежели холодное кокетство. Она за этот инстинкт уже достаточно наказана реакцией холодного отвращения со стороны профессора, а для «гордости» нет ничего хуже! Всё же она была деликатнее с Лаговским, чем он с нею, она хоть *стремилась* говорить с ним «будто искренне, будто волнуясь», а он говорил «тупо и индифферентно», совсем не заботясь о её «женской гордости», которую она презрела ради него. Пусть у него это был эгоизм больного, но здоровые, чрезмерно здоровые люди также имеют свои права, каких мы, люди больные, иногда, как должно, не уважаем, и тогда здоровые становятся жертвами больных. Зоя оказалась жертвой, нужды нет, что Владимир, забыв о себе самом, осмеливается называть её

---

\* Непоследовательность (*франц.*).

«такой-сякой», нужды нет, что весёлой «трапезундской вдовушке» словно и не к лицу быть «жертвой», но так получилось. Все четыре барчука говорили ей наперебой комплименты, раздражая этим «животные инстинкты» в этой примитивной натуре (а это ведь сразу было видно, насколько она примитивна), попросту *играли с нею*, а когда у бедной гречанки заговорила кровь, то её за это наказали безразличием и эпитетом «такой-сякой» (ведь это истинный крик муки: «Господи, когда этому будет конец?»). Профессор сравнивал её с цветком, а когда этот цветок утратил для него свои чары, то он, освобождая свою душу исповедью, разболтал о своём приключении с ней Владимиру, хорошо зная его «стиль», забывая, что Влад[имир] совсем чужой для Зои и что она, наверно, совсем не хотела исповедоваться перед циником Влад[имиром] в своих интимных делах, хотя она и «легкомысленна». Это бросает тень на образ профессора (вообще очень симпатичный и человечный), и в этом, собственно, заключается его *грех* против Зои и против себя — он оскорбил в ней *человека*, иначе это был бы не грех, а просто ошибка. Не знаю, было ли Вашим сознательным намерением бросить эту тень на Вашего героя — Вы, кажется, несколько иначе понимаете его «греховность», но таково моё впечатление. То, что он называет своим «грехом», по-моему, вовсе не грех, а просто несчастье, так как полюбить только тело, не зная души, должно быть, очень горько и страшно. Он корит себя за то, что идеализировал Зою, ну что ж, если он смотрел через такую призму, конечно, следовало бы ему узнать сначала её мировоззрение, мысли и чувства (а «прошлое» можно было бы во всяком случае оставить в покое, если бы Зоя не имела желания исповедоваться), но у профессора не было времени на это, так как этот порыв налетел на него, как вихрь, не дав и опомниться. Профессор точно так же «виноват», как «виноваты» бывают шестнадцатилетние девушки. В этой истории более похож на грех факт декламации турецкой песни (тогда проф[ессор] ещё будто был «в здравом уме и твёрдой памяти» и мог бы понимать, что так можно вскружить голову «вдовушке»); ничего не значит, что этот факт выглядит вполне эстетичным... А всё остальное, неэстетичное, по-моему, не грех, так как делалось в состоянии аффекта. Грех только в том, что профес-

сор и *потом* забыл поискать в Зое человека, чтобы судить её по-человечески, коли уже хотел судить; точно так же, как и Вы забыли человека в «объекте» — Амалии, чего я до сих пор не могу Вам простить.

Что профессор Лаговский до конца не совсем понимает своих Шмидтов — это естественно и не портит впечатления; но что автор их не понимает до конца, а поэтому и читателям не объясняет, это уже вредит роману. Разрешите мне дать свою интерпретацию. Мне кажется, что немецкое или русское происхождение имеет небольшое значение, разве только как колорит для темпераментов, но и темпераменты здесь не столь важны. Мне кажется, что всё происходит от недостатка ясного смысла их жизни, они все более или менее «нигилисты», оторванные от живой почвы глубоких интересов. Их родители, вероятно, не были такими, но своего духовного содержания не сумели им передать, возможно, потому, что их дети попали в другие условия, отличные от тех, в которых развивались отцы. Вот поэтому эти потомки — нынешние Шмидты — и стали дилетантами во всём. Неизвестно, для чего управляют «культурными участками» на Кавказе, хотя им этот Кавказ с его культурой или бескультурьем совершенно безразличен, от него им и «не холодно и не жарко»; неизвестно, почему старший сын — юрист, другой — медик, а третий — поэт, для них, собственно, безразличны все эти специальности, они первые готовы издеваться над всем (искренне убеждённый декадент был бы оскорблён «амеопой без музору»<sup>1</sup>, а младший Шмидт тешится ею, как игрушкой). Иногда им неприятен их собственный нигилизм, например Влад[имиру], но они не знают, почему неприятен, почему следовало бы жить им иначе, а так как их никто не научил углубляться в такие вопросы, то они пытаются попросту стряхнуть с себя подобные настроения, отыскивая себе новые развлечения. Они совсем не злые люди, только слишком привыкли считать самих себя субъектами, а всех прочих — объектами и, если временами любят эти объекты (ведь Лаговского они, несомненно, любили), всё-таки не способны считать их *равными себе*, а подавно высшими, и отсюда вся их грубость. Это правда, что Лаговский во время болезни мог показаться каждому скучным, но Шмидты не дали бы ему это так ясно понять,

если бы считали его совсем равным себе, а не только объектом своей дружбы. Они бы тогда уважали право каждого человека быть иногда больным, неинтересным, даже нудным в обществе близких и равных себе людей. Они бы меньше согрешили против своего друга, если бы просто сказали ему: ты извини, но мы люди молодые, ухаживать за больными не привыкли; когда ты выздоровеешь, мы будем опять с тобой, потому что мы тебя очень любим, но только не способны тебя развлекать. И он, наверно, простил бы им, но не простил бы в то же время «тонких» цитат из Надсона и Пушкина, что действительно трудно было простить. Поэтому они не виноваты в том, что направление общим беседам давал он, а не они, и поэтому не из-за чего было ему в них «разочаровываться»; что же делать, если он был умнее и одарённое в беседе, чем его друзья, ведь он их не за беседы любил, а прежде всего за их любовь, только в этой любви можно было действительно «разочароваться» после «поэтических цитат». Но всё же он не вполне прав по отношению к ним: он сам разбаловал ещё больше этих и без того избалованных жизнью людей. Он только развлекал и нежно пестовал их, но ни разу не исполнил тяжёлой обязанности друга — *être parfois incommode\**; защищая сознательно свою иллюзию, он не только не открывал им глаза на их бесчеловечные поступки и чувства, но и сам старался их не видеть. Поэтому исповеди Владимира принесли такую же пользу этому барчуку, какую приносят они дамам-католичкам в модных исповедальнях перед галантным *abbé\*\**. Лаговский ни разу не сказал Влад[имиру]: оставьте в покое эту *tristitia\*\*\** и эстетические самоугрызения из-за физической «грязи» вашего поведения, а вспомните хоть раз про обыкновенную человечность, быть может, хоть немного чище станете. Каждый имеет право на эгоизм, но пусть же и чужой эг[оизм] уважает. Нет, Лаговский ещё и хвалил Влад[имира] за циничное «распоясывание» своей «души» и не видел, что душа в этом никакой роли не играла, так как ещё сильней закутывалась в неведение от этих исповедей. Лаговский не помог Влад[имиру] в борьбе с нигилизмом — это была

\* Быть иногда докучливым (франц.).

\*\* Аббатом (франц.).

\*\*\* Печаль (лат.).

действительно серьёзная болезнь, — отделялся шутками по поводу *tristitia*, в то время как совсем не в ней был корень (иначе большинство людей было бы такими нигилистами). И кто знает, может быть, Лаговский помог этим *загасить* ту искру божью, которая временами вспыхивала в душе Влад[имира], как, напр[имер], после чтения политических стихов Гейне и журнала «Право»; возможно, какой-нибудь Прометей и сумел бы из этой искры разжечь целый костёр, но Лаговский не был таким Прометесом; и это уже не вина Владимира, может быть, и не вина Лаговского, но и не заслуга, за которую стоит любить. Лаговский мог бы просто сказать: «Вы на самом деле больны душой, но я лечить вас не умею, я только люблю вас и хотел бы помочь вам найти лучшего врача, нежели я». Может быть, только это положило бы начало выздоровлению Влад[имира] и не привело бы их к взаимному «разочарованию». Но Лаговский сам немного заразился от своих друзей (потому что сам по себе он не такой по натуре) этим взглядом на людей как на «объекты», которые существуют для нашего развлечения или удовольствия; и в его тоске по ним мне слышится только тоска ребёнка по сломанной игрушке; нет, ребёнок часто бывает более альтруистичен, ибо не раз, разбив куклу, плачет по ней: «Бедная куколка!» А Лаговский плакал: «Бедный я!» И не жаль ему было ни Зои, с её сломанной гордостью и загрязнённой репутацией (ведь он сам добавил ей этой грязи), не жаль ему было и Шмидтов, которые бессознательно утратили самое большое в мире сокровище — дружбу. А может быть, и их самих мучила эта утрата? Мы этого не знаем, так как ни Лаговский, ни автор об этом не вспомнили. Правда, есть какой-то намёк и на это, но поверхностный и неясный... А жаль, — роман вышел бы более глубоким, если бы все его действующие лица не оказались такими крайними «субъективистами». Но и так это вышла не «амеопа без музору», а вдумчивое и чуткое произведение с телом и кровью, с сердцем и душой. Прямоты бы только (*всяческой* прямоты) и больше, больше гармонии! Но на это есть надежда. Что Вы скажете, товарищ?

Вот Вам и целое исследование из моих «впечатлений» вышло. Только хватит ли у Вас терпения прочитать его?

А что касается практического совета, о котором Вы



меня просили, то я Вам вот что скажу: не мешало бы вырезать несколько страниц из Вашего романа. Вы сами знаете, какие. Не все же «читатели» такие «стреляные птицы» в литературе всякой школы, как я, поэтому, может быть, у иного книга выпадет из рук, а это, по-моему, будет жалко. Да и идея Вашего произведения совсем не требует такого *naturalisme à outrance\**, скорей даже затемняется им. Не мучьте так себя в следующий раз, искренне прошу Вас, дорогой товарищ, потому что я ясно *чувствую*, как трудно Вам даётся этот натурализм (хотя бы в сцене с прокусыванием пальца)!.. А тем временем в Ваших лирических стихах (ведь они Вас меньше мучат?) значительно больше живой правды, чем в этих натуралистических «протоколах вивисекции». Может быть, поэтому я способна *любить* Ваши стихи так, как, наверно, никогда не смогу полюбить этот роман, хотя он достоин всякого уважения.

Наверно, Вы скажете (или только подумаете), что в моих «впечатлениях» есть много чисто женского. Не раз, когда писала это письмо, припоминала Вашу остроту о женщинах: «Вы правы, но мне *кажется* это иначе», только это не такая глупая фраза со стороны женщины, как это сразу может показаться. Видите ли, мужская «правота» во взгляде на некоторые вещи очень однобока, поэтому мы дополняем её своей «правотой», может быть тоже однобокой, но *только* из них обеих может выйти нечто целое и правильное, мы только не привыкли смело говорить: «Я права», а говорим робко: «Мне кажется», *mais c'est une façon de parler\*\**. Вот, напр[имер], во взгляде на Амалию и Зою Вы с Вашими героями *una pars\*\*\**, а я и эти женщины *altera pars\*\*\*\**. Следовательно, не забывайте известного юридического правила...

Написала я недавно одну небольшую драматическую поэму<sup>1</sup> и хотела бы её посвятить Вам, но только в том случае, если она Вам действительно по душе придётся, а не только «так себе» покажется. Я слишком горела, когда писала, и её идея слишком мне близка, чтобы я посвящала

---

\* Натурализма, доведённого до крайности (франц.).

\*\* Но это манера выражаться (франц.).

\*\*\* Одна сторона (лат.).

\*\*\*\* Другая сторона (лат.).

поэму тому, кто будет к ней «ни горяч, ни холоден». Будьте ей врагом или другом и скажите мне *искренно*, что и как Вы о ней думаете (вот так же, как я сказала о Вашем романе). Я Вам её погода пришлю, а Вы мне потом вернёте (как это уже было однажды), только очень долго не держите, ибо она рвётся в мир, хоть я и не знаю, суждено ли ей увидеть его скоро. Я удерживать её не буду, пусть летит,— если попы не заедят, так как она затрагивает религиозно-социальную тему ещё «сильней», чем «Одержимая». И Вы немного виновны в её рождении, так как пробудили во мне мысли в этом направлении своим письмом, в котором Вы упомянули о евангелии и о споре о нём с Вашим старым учителем. Поэтому мне кажется, что моя поэма близка Вам, и я бы хотела связать как-нибудь Ваше имя с нею. Но это только если Вы захотите и позволите.

Ваших «Сассанидов» я ещё не читала, однако благодарю за них, как и за роман. Вы знаете, я люблю Ваши научные труды, хотя я и круглый невежда в подобных материях. Я люблю их стиль и тон. Куда деваются Ваши нервы, когда Вы пишете это? Вы пишете такие вещи, словно Вы античный, уравновешенный телом и духом эллин. Такой колорит я только на Акрополе видела!

Впрочем, не пора ли мне умолкнуть, как Вы думаете? Ну, да уж, верно, нескоро я напишу второе такое письмо— вот как приму на себя «обязанности», то будет не до болтовни... А всё-таки иногда неплохо запрячься, лишь бы по своей воле. Проживём как-нибудь, товарищ. *Envviva la vita!*\*

Здесь много отталкивающего в отношениях между земляками, но я не хочу на это обращать внимания и думать об этом...

...Знаю, что вот сейчас, когда лягу спать, будут сниться мне алые знамёна,— преследует меня этот сон!..

Будьте здоровы, товарищ милый.

Л. Косач

---

\* Да здравствует жизнь! (*итал.*).







# ПРИМЕЧАНИЯ







В текстах в подстрочных сносках даются примечания авторов статей.

### *Т. Г. ШЕВЧЕНКО*

(стр. 51)

Тарас Григорьевич Шевченко (9 марта н. с. 1814—10 марта н. с. 1861) родился в с. Моринцы на Киевщине, в семье крепостного крестьянина. В 1838 г. передовыми русскими писателями и художниками (В. И. Григорович, В. А. Жуковский, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов) Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости и стал студентом Академии художеств в Петербурге.

Первый сборник стихотворений Шевченко под названием «Кобзарь» вышел в Петербурге в 1840 г. Он состоял из 8 произведений—«Перебендя», «Катерина», «Раина», «Тарасова ночь», «Иван Подкова», «Думы мои...», «К Основьянсенку», «На что чёрные мне брови». В 1841 г. Шевченко опубликовал поэму «Гайдамаки». В 1844—1847 гг. творчество Шевченко было особенно плодотворным. В это время им написаны «Сон», «Кавказ», «Еретик», «Ведьма», «Слепой», «Наймичка» и много лирических произведений. В 1847 г. за революционные произведения и участие в тайной политической организации «Кирилло-Мефодиевское общество» был отдан в солдаты и сослан в Оренбургский отдельный корпус, где пробыл десять лет.

Во время ссылки, несмотря на запрещение писать и рисовать, поэт создаёт много прекрасных стихотворных произведений, выражающих его непримиримость к поработителям. Он также пишет прозой повести на русском языке, которые содержат много автобиографического материала и направлены против крепостничества и самодержавия: «Художник», «Музыкант», «Княгиня», «Несчастный», «Капитанша», «Близнецы», «Прогулка с удовольствием и не без морали». Большой интерес представляют письма поэта из ссылки и его «Дневник». В 1857 г. Шевченко возвращается

из ссылки в Нижний-Новгород, а затем в 1858 г. (27 марта) приезжает в Петербург. По возвращении из ссылки он написал большую поэму «Неофиты», в которой в аллегорической форме отразил и осудил современную ему крепостническую действительность: стихотворение «Юродивый» и ряд других произведений острой антикрепостнической направленности. Из драматических произведений Шевченко необходимо прежде всего отметить его пьесы «Назар Стодоля» и «Никита Гайдай».

Тексты Т. Г. Шевченко печатаются в настоящем издании по его «Собранию сочинений в пяти томах» (Гослитиздат, т. I, II, V, М. 1948—1949), кроме «Писем», которые воспроизводятся по III тому сочинений Шевченко «Повна збірка творів в трьох томах» (Государственное издательство художественной литературы, Киев 1949).

ДУМЫ МОИ, ДУМЫ МОИ...

(стр. 53)

Произведение написано в 1839 г. в Петербурге. Автограф не обнаружен. Стихотворение явилось как бы поэтическим введением к первому изданию «Кобзаря», П. 1840.

ГАЙДАМАКИ

(стр. 57)

Гайдамаки — крестьяне-повстанцы на Правобережной Украине в XVIII в. Автограф поэмы не обнаружен, впервые издана отдельной книгой в Петербурге в конце 1841 г. Поэма является одним из крупнейших произведений Шевченко. Помещённый отрывок (из выступления к поэме) свидетельствует о понимании поэтом вечности и бесконечности мира.

К стр. 57

<sup>1</sup> Григорович Василий Иванович (1786—1865) — конференц-секретарь Академии художеств. Шевченко находился с ним в дружеских отношениях, называл его своим «ширим батьком».

<sup>2</sup> В память 22 апреля 1838 г. — день выкупа Т. Г. Шевченко из крепостного состояния.

<sup>3</sup> Ни глупый, ни умный об этом не знает. — Высказывание, законченное этими словами, направлено против религиозно-мистических воззрений о начале и конце мира; всё творчество поэта свидетельствует о признании им за человеческим разумом великой познавательной силы.

С О Н

(стр. 59)

В поэме «Сон», написанной в Петербурге после поездки Шевченко на Украину в 1843 г., ярко проявились революционно-демократические настроения поэта. В этом произведении он выступает против всей системы крепостнических порядков царской России, бичуя социальное и национальное угнетение народов царизмом. Чтобы подчеркнуть сатирический характер произведения, Шев-

ченко назвал его «комедией». Революционная поэма «Сон» послужила главным основанием для осуждения и ссылки поэта. Здесь публикуется начало поэмы. Автограф датирован: «8 июля 1844 г. С.-Петербург». Впервые опубликована отдельной книгой во Львове в 1865 г. Изд. К. Климковича.

К стр. 64

<sup>1</sup> Леса, болотные места — Сибирь.

<sup>2</sup> Только слышу звон цепей неожиданный под землей. — Здесь и дальше Шевченко имеет в виду сосланных в Сибирь декабристов.

К стр. 65

<sup>1</sup> Царь всемирный! Царь свободы — обобщённый образ декабристов.

#### НЕ ЗАВИДУЙ БОГАТОМУ

(стр. 66)

Стихотворение написано 4 октября 1845 г. в Миргороде; в нём выражен протест против угнетения народа «богатыми и могучими». В последних строках стихотворения явно звучит атеистический мотив революционно-демократической поэзии Шевченко. Впервые опубликовано в Петербурге в журн. «Основа» за 1861 г., кн. III, вскоре после смерти поэта.

#### ЕРЕТИК

(стр. 67)

Поэма написана в с. Марьинском и датирована 10 октября 1845 г., вступление написано в Переяславе (ныне Переяслав Хмельницкий) 22 ноября 1845 г. Вступление и первая часть поэмы впервые опубликованы в Петербурге в журн. «Основа» за 1861 г., кн. I и VIII. Вторая часть впервые опубликована в 1906 г.: в Петербурге — в журн. «Былое», кн. VI, и в киевском журнале «Нова громада», кн. VIII. Полностью поэма впервые опубликована в «Кобзаре» в Петербурге в 1907 г. Это произведение, посвящённое национально-освободительной борьбе чешского народа против немецких феодалов и продавшихся им чешских господ, является страстным призывом к объединению всех славянских народов на демократической основе. Поэт выступил против духовного гнёта Ватикана и его захватнической политики.

К стр. 67

<sup>1</sup> Шафарик Павел Иосиф (1795—1861) — чешский буржуазный учёный, филолог-славист, историк литературы, поэт и общественный деятель. Шевченко в посвящении к поэме несколько идеализирует и преувеличивает значение деятельности Шафарика.

К стр. 69

<sup>1</sup> Мученика Гуса — Ян Гус (1369—1415), вождь реформации в Чехии, по приговору высшего церковного суда в 1415 г. в Констанце был сожжён на костре как «еретик».



<sup>2</sup> *Монах раскормленный* — папа римский.

*К стр. 70*

<sup>1</sup> *Вифлеемская каплица* — церковь в Праге, в которой Ян Гус был священником.

*К стр. 73*

<sup>1</sup> *Уж гогочут гуси* — подразумевается движение гуситов.

<sup>2</sup> *Кесарь* — германский император Сигизмунд Люксембургский (1368—1437), принимавший активное участие в Констанцском соборе.

<sup>3</sup> *Вячеслав* (Вацлав IV) (1361—1419) — чешский король, брат Сигизмунда Люксембургского.

*К стр. 75*

<sup>1</sup> *Аутодафе*. — Сожжение на костре.

*К стр. 76*

<sup>1</sup> *Te deum* — католическая молитва.

*К стр. 77*

<sup>1</sup> *Жижка из Табора* — Ян Жижка (ок. 1360—1424), вождь левого, крестьянского, крыла гуситов в Чехии.

## КАВКАЗ

(стр. 78)

Поэма написана в г. Переяславе и датирована 18 ноября 1845 г. Впервые опубликована в сборнике «Новые стихотворения Пушкина и Шевченко» (Лейпциг 1859).

В произведении «Кавказ» поэт разоблачает крепостническую и колониальную политику царизма. Справедливо осуждая социальный и национальный гнёт царской России, Шевченко, однако, в данном случае недооценивал огромную прогрессивную роль России по отношению к народам Кавказа и несколько идеализировал вожakov горских племён, толкавших эти племена на войну с Россией.

*К стр. 78*

<sup>1</sup> *Де Балмен* Яков Петрович (1813—1845) — художник, иллюстратор произведений Шевченко, погибший во время военных действий на Кавказе.

*К стр. 79*

<sup>1</sup> *Господа-владыки*, бог — образы, употребляемые Шевченко для обозначения справедливости, правды, добра, революции.

*К стр. 80*

<sup>1</sup> *Чурек* — пшеничные лепёшки.

<sup>2</sup> *Царь свиней когда-то пас...* — библейская легенда о царе Давиде.

## ХОЛОДНЫЙ ЯР

(стр. 83)

Стихотворение написано в с. Вьюнища 17 декабря 1845 г. Впервые опубликовано в сборнике «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки» (Лейпциг 1859).

Стихотворение является ответом на книгу реакционного историка А. Скальковского «Наезды гайдамаков на Западную Украину в 1733—1768 гг.», изданную в 1845 г. Протестуя против реакционно-помещичьей историографии, усматривавшей в гайдамаках «разбойников» и «воров», революционный демократ Шевченко доказывает историческую закономерность и справедливость борьбы крестьянства против помещиков, как чужих, так и своих, украинских. В стихотворении Шевченко проводит мысль, что враги угнетённого крестьянства как в период гайдаматчины, так и в его время одни и те же — помещики-крепостники и им, «людоедам лихим», не миновать новых гайдамаков.

К стр. 83

<sup>1</sup> *Холодный Яр* — овраг в лесу под Чигирином, где лагерем стояли гайдамаки.

<sup>2</sup> *Монастырь Матрёны* — Мотронинский монастырь, расположенный вблизи Холодного Яра в Чигиринских лесах, поддерживал восстание гайдамаков, был связан с его вождём М. Железняком и с Запорожской Сечью.

К стр. 84

<sup>1</sup> *Железняк витает... Гонту поджидает.* — Запорожец Максим Железняк (Залізняк) и уманский сотник Иван Гонта были руководителями гайдамацкого восстания 1768 г., получившего название «Колиивщина». Это восстание, в котором участвовали крестьянская беднота и низовое казачество, было самым крупным и грозным на Украине в XVIII в.

## ЗАВЕЩАНИЕ

(стр. 86)

Это широко известное стихотворение Шевченко написано 25 декабря 1845 г. в г. Переяславе. Впервые опубликовано за границей в сборнике «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки» (Лейпциг 1859).

## КОГДА МЫ БЫЛИ КАЗАКАМИ

(стр. 87)

Стихотворение написано в 1847 г. в Орской крепости; в Москве 14 марта 1858 г. Шевченко внёс в него небольшие поправки. Впервые опубликовано в Петербурге в 1867 г. в «Кобзаре». Изд. Д. Кожанчикова.

К стр. 87

<sup>1</sup> Уния.— Поэт имеет в виду Брестскую унию 1596 г., согласно которой украинская православная церковь на Правобережной Украине переходила в подчинение римскому папе. Брестская уния была одним из средств социального и национально-религиозного порабощения польскими магнатами и шляхтой украинского народа.

<sup>2</sup> Вот так, поляк, и друг и брат мой.— Здесь, повидимому, поэт обращается к Брониславу Залесскому (1820—1880), прогрессивному польскому политическому деятелю, сосланному за революционную деятельность в Оренбург.

П. С.

(стр. 89)

Стихотворение написано в ссылке в 1848 г., в Кос-Арале. Впервые опубликовано в Петербурге в 1867 г. в «Кобзаре». Изд. Д. Кожанчикова.

К стр. 89

<sup>1</sup> П. С.— Пётр Скоропадский, богатый украинский помещик-крепостник, выдававший себя за «либерала».

<sup>2</sup> Дурень с булавою — бездарный украинский гетман (1708—1722) Иван Скоропадский.

К стр. 90

<sup>1</sup> Пётр хромой — П. Скоропадский.

И В Ы Р О С Я В К Р А Ю Ч У Ж О М

(стр. 91)

Стихотворение написано в ссылке в 1848 г., в Кос-Арале. Впервые опубликовано в Петербурге в 1867 г. в «Кобзаре». Изд. Д. Кожанчикова.

К О Г Д А Б Ы З Н А Л И, Г О С П О Д А

(стр. 93)

Стихотворение написано в 1850 г. в г. Оренбурге. Впервые опубликовано в пражском издании «Кобзаря» 1876 г., т. II, и в львовском журнале «Правда» 1876 г., № 4.

О П Я Т Ь Н А С Т А Л О В Р Е М Я З Л О Е

(стр. 96)

Стихотворение написано, ориентировочно, в 1854 г. в Новопетровском форте. Автограф не обнаружен. Впервые опубликовано в 1878 г. в сборнике «Кобзар Тараса Шевченка. Частина перша», Женева, типография «Громады».

К стр. 96

<sup>1</sup> *Грызутся снова.*— Вероятно, Шевченко имеет в виду Крымскую войну.

## ЮРОДИВЫЙ

(стр. 97)

Стихотворение написано, вероятно, в конце 1857 г. в Нижнем Новгороде. Впервые опубликовано в 1901 г. во Львове в «Записках наукового товариства імені Шевченка» в статье А. Кониского «Недруковані поезії Т. Г. Шевченка».

Произведение «Юродивый» является отрывком задуманной, но не написанной Шевченко поэмы «Сатрап и Дerviш». В «Юродивом» Шевченко открыто восстаёт против царя и его сатрапов, разоблачает лживость религии, прославляет декабристов.

К стр. 97

<sup>1</sup> *Фельдфебелья царя.*— Речь идёт о царе Николае I.

<sup>2</sup> *Капрал Гаврилович Безрукий* — Д. Г. Бибилов, киевский военный губернатор и генерал-губернатор Юго-Западного края в 1837—1852 гг.; в войне 1812 г. потерял левую руку.

<sup>3</sup> *Унтер-планы Долгорукий* — Н. А. Долгоруков, в 1840—1847 гг. — генерал-губернатор Харьковской, Полтавской, Черниговской губерний.

<sup>4</sup> *Ефрейтор* — Писарев Н. Э., правитель канцелярии Бибилова.

К стр. 98

<sup>1</sup> *Вашингтон* (1732—1799) — первый президент Соединённых Штатов Америки, руководитель освободительной войны против Англии.

<sup>2</sup> *Поляне, дулебы и древяне* — славянские племена, населявшие в древности территорию Украины. В данном случае употреблено в переносном смысле, для обозначения украинцев.

<sup>3</sup> *Профосы* — солдаты, в обязанность которых входила очистка отхожих мест.

<sup>4</sup> *В морду дал капралу.*— Случай, описанный Шевченко, действительно произошёл с Н. Э. Писаревым. В «Дневнике» (запись 19 июля 1857 г.) Шевченко рассказывает, что Писарев «переведён в Вологду гражданским губернатором и что в Вологде какой-то подчинённый ему чиновник публично в церкви во время обедни дал ему пощёчину».

<sup>5</sup> *Сарданпал* (VII в. до н. э., ассирийский царь-деспот).— Здесь у Шевченко речь идёт о Николае I.

К стр. 99

<sup>1</sup> *Поборников священной воли.*— Речь идёт о декабристах.

Я, ЧТОБ НЕ СГЛАЗИТЬ, НЕ ХВОРАЮ

(стр. 100)

Стихотворение написано 22 ноября 1858 г. в Петербурге. Впервые опубликовано в 1867 г. во Львове в подготовленном К. Сушкевичем двухтомнике «Поезії Тараса Шевченка».

МАРКУ ВОВЧКУ

(стр. 101)

Марко Вовчок (Мария Александровна Вилинская-Маркович, 1834—1907) — известная украинская писательница революционно-демократического направления. 24 января 1859 г. она впервые встретила Шевченко, который высоко ценил её творчество. Поэт посвятил и подарил Марку Вовчку свой «Кобзарь» издания 1860 г. Стихотворение написано 17 февраля 1859 г. в Петербурге. Впервые опубликовано в Петербурге в 1867 г. в «Кобзаре». Изд. Д. Кожанчикова.

ИСАИЯ. ГЛАВА 35

(стр. 102)

Стихотворение написано 25 марта 1859 г. в Петербурге. Впервые опубликовано в Петербурге в журн. «Основа» за 1861 г., кн. XI—XII.

*К стр. 102*

<sup>1</sup> *Исайя* — библейский пророк, порицавший жадность богатых.

*К стр. 103*

<sup>1</sup> *Святая на землю правда прилетит...* — поэт мечтает о новом, справедливом устройстве общества, в наступление которого он глубоко верил.

МОЛИТВА

(стр. 104)

Стихотворение написано в 1860 г. в Петербурге, отдельные отрывки датированы 24, 25, 27 и 31 мая. Впервые опубликовано в пражском издании «Кобзаря» 1876 г., т. II. Революционно-демократические призывы, изложенные в форме «молитвы», носят атеистический характер.

СВЕТЕ ТИХИЙ! СВЕТЕ ЯСНЫЙ!

(стр. 107)

В стихотворении, написанном 27 июня 1860 г. в Петербурге, ярко выражен атеизм Т. Г. Шевченко. Впервые опубликовано в книге А. Партицкого «Провідні ідеї в письмах Т. Шевченка» (Львов 1872).

## И АРХИМЕД, И ГАЛИЛЕЙ

(стр. 108)

В стихотворении, написанном 24 сентября 1860 г. в Петербурге, звучит твёрдая уверенность поэта в неизбежности гибели всех «супостатов»-угнетателей. Впервые опубликовано в пражском издании «Кобзаря» 1876 г., т. II.

## САУЛ

(стр. 109)

В стихотворении «Саул», написанном 13 октября 1860 г. в Петербурге, поэт, используя библейскую легенду, гневно клеймит царизм. Впервые опубликовано в пражском издании «Кобзаря» 1876 г., т. II.

*К стр. 109*

<sup>1</sup> *Саул* — по библейской легенде, первый иудейский царь.

*К стр. 110*

<sup>1</sup> *Самуил* — легендарный пророк.

*К стр. 111*

<sup>1</sup> *Давид* — царь древнего Израиля.

## ХОТЯ ЛЕЖАЧЕГО НЕ БЬЮТ

(стр. 113)

Стихотворение написано в Петербурге 20 октября 1860 г., в день смерти царицы Александры Фёдоровны. Впервые опубликовано в пражском издании «Кобзаря» 1876 г., т. II.

## О ЛЮДИ! ПРОСТАКИ СЛЕПЫЕ!

(стр. 114)

Стихотворение написано 3 ноября 1860 г. в Петербурге. В нём Шевченко описывает, как девочек-сирот из приюта «гонят долг отдать» умершей царице Александре Фёдоровне. Впервые опубликовано в Петербурге в журн. «Основа» за 1861 г., кн. V.

## И ДЕНЬ ИДЕТ, И НОЧЬ ИДЕТ

(стр. 115)

Четверостишие написано 5 ноября 1860 г. в Петербурге. Впервые опубликовано в Петербурге в журн. «Основа» за 1861 г., кн. V.

## О Д Н А Ж Д Ы   Н А Д   Н Е В О Й   И Д У

(стр. 116)

Стихотворение, написанное 13 ноября 1860 г. в Петербурге, является выражением протеста Шевченко против рабской идеологии непротивления своим угнетателям. Стихотворение имеет также глубоко атеистический смысл. Впервые опубликовано в пражском издании «Кобзаря» 1876 г., т. II.

## П И С Ь М А

(стр. 117)

Помещаемые в настоящем издании письма Шевченко к разным лицам написаны по-русски, кроме одного письма к А. И. Козачковскому от 14 апреля 1854 г., которое переведено на русский язык для настоящего издания сотрудниками Государственной публичной библиотеки УССР. Сверил с украинским текстом А. Деев.

*К стр. 117*

<sup>1</sup> В. Н. Репниной. — Кн. Репнина Варвара Николаевна (1808—1891), племянница декабриста Сергея Волконского, находилась в дружеских отношениях с Шевченко и хлопотала об облегчении его участи.

<sup>2</sup> Я был определён в Киевский университет. — Шевченко был назначен в Киевский университет учителем рисования 21 февраля 1847 г. благодаря хлопотам Репниных.

<sup>3</sup> День для меня чрезвычайно памятный. — 22 апреля 1838 г. Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости.

<sup>4</sup> Строки из поэмы «Войнаровский» К. Рылеева Шевченко цитирует не точно. У Рылеева:

О, как неверны наши блага!  
О, как подвластны мы судьбе!

*К стр. 118*

<sup>1</sup> Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — либерально-буржуазный историк, националист, вместе с Кулишом П. А. (см. стр. 660 настоящего издания, примечание к статье И. Франко «Хуторская поэзия П. А. Кулиша») возглавлял правое крыло Кирилло-Мефодиевского общества.

<sup>2</sup> Письма к друзьям — «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя.

<sup>3</sup> «Чтение московского археологического общества» — «Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете», издававшиеся профессором О. М. Бодянским (1808—1877), одним из основателей отечественного славяноведения. Бодянский находился в дружеских отношениях с Шевченко.

*К стр. 119*

<sup>1</sup> Сю Эжен (1804—1857) — французский буржуазный писатель, автор романов «Парижские тайны», «Агасфер» и др.

## К стр. 120

<sup>1</sup> *Козачковский* Андрей Иосифович (1812—1889) — врач в г. Переяславе; познакомился с поэтом приблизительно в 1842 г. в Петербурге.

<sup>2</sup> *Шишков* Александр Семёнович (1754—1841) — президент Российской Академии наук и министр народного просвещения, перевёл прозой «Слово о полку Игореве».

<sup>3</sup> *Максимович* Михаил Александрович (1804—1873) — выдающийся биолог, историк, археолог, украинский фольклорист, профессор Московского и Киевского университетов.

<sup>4</sup> *Гербель* Николай Васильевич (1827—1883) — русский поэт-переводчик, переводил и произведения Шевченко.

<sup>5</sup> *Осинов* Николай Иосифович — художник.

## К стр. 121

<sup>1</sup> *Овидий* Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский поэт, сосланный императором Августом в местность близ русла Дуная, где в то время жило воинственное племя гетов.

<sup>2</sup> *Дармограй* — псевдоним Т. Г. Шевченко.

<sup>3</sup> *Карл Павлович Брюллов* (1799—1852) — знаменитый русский художник, один из инициаторов выкупа Т. Г. Шевченко из крепостной неволи, друг украинского поэта, оказавший влияние на развитие Шевченко как художника.

<sup>4</sup> *Великий шотландец* — Вальтер Скотт (1771—1832), английский писатель, происходивший из Шотландии.

<sup>5</sup> *Логановский* Александр Васильевич (1810 или 1812—1855) — скульптор, член Академии художеств.

<sup>6</sup> *Пименов* Николай Степанович (1812—1864) — скульптор, член Академии художеств.

<sup>7</sup> *Рамазанов* Николай Александрович (1815—1867) — русский скульптор.

## К стр. 122

<sup>1</sup> *К. И.* — Карл Иванович — так Шевченко называл Николая I.

<sup>2</sup> *Прадье* (1792—1852) — французский скульптор. *Делякруа* Эжен (1798—1863), *Делярош* Поль (1797—1856) — французские художники.

<sup>3</sup> *Жак* Шарль Эмиль (1813—1894) — французский художник. *Лядурнер* (1789—1855) — скульптор-академик.

<sup>4</sup> *Мельников* Абрам Иванович (1784—1854) — русский архитектор, ректор Академии художеств в Петербурге.

<sup>5</sup> *Институт благородных девиц* — сооружён по проекту В. И. Беретти в Киеве.

<sup>6</sup> *Лазаревский* Михаил Матвеевич (1818—1867) — «попечитель прилиженных киргизов» в с. Троицком, Оренбургской губернии. С 1847 г. был знаком с Шевченко, хлопотал об облегчении его участи.

<sup>7</sup> *«Матроз»* — повесть Шевченко, в последней редакции получившая название «Прогулка с удовольствием и не без морали».



## К стр. 123

<sup>1</sup> *Летопись Самовидца* — относится ко второй половине XVII — началу XVIII в.; автор её — Роман Ракушка-Романовский.

<sup>2</sup> *Соловьёв* Сергей Михайлович (1820—1879) — известный историк, автор многотомной «Истории России с древнейших времён».

<sup>3</sup> *Лаватер* (Лафатер) (1741—1801) — автор книги «Физиогномика».

<sup>4</sup> *Писемский* Алексей Феофилактович (1820—1881) — русский писатель.

<sup>5</sup> *З графиню Т.* — А. И. Толстая, жена Ф. П. Толстого, вице-президента Академии художеств, принимавшая горячее участие в судьбе украинского поэта.

<sup>6</sup> *Настасия Ивановна* — А. И. Толстая (см. предыдущее примечание).

<sup>7</sup> *Щепкин* Михаил Семёнович (1788—1863) — выдающийся русский артист, происходивший из крепостных; близкий друг Т. Г. Шевченко.

## К стр. 124

<sup>1</sup> *Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791—1859) — русский писатель; Шевченко познакомился с ним в 1858 г.

## К стр. 125

<sup>1</sup> *Михаил Семёнович* — Щепкин (см. примечание 7 к стр. 123).

<sup>2</sup> *Новорождённое чадо.* — Поэт имеет в виду стихотворения «Доля», «Муза», «Слава», написанные 9 февраля 1858 г. Впервые напечатаны: «Доля» — в альманахе «Хата» за 1860 г., «Муза» и «Слава» — в Петербурге в журн. «Основа» за 1862 г., кн. V.

<sup>3</sup> *Вашу книгу.* — Речь идёт о книге С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука».

## ДНЕВНИК

(стр. 126)

«Дневник» Шевченко вёл в 1857—1858 гг. на русском языке. Впервые опубликован в Петербурге в журн. «Основа» за 1861—1862 гг. Здесь помещаем отрывки из «Дневника».

## К стр. 126

<sup>1</sup> *Поэт наш* — Алексей Васильевич Кольцов.

## К стр. 127

<sup>1</sup> *Казак Луганский* — псевдоним Владимира Ивановича Даля (1801—1872), составителя «Толкового словаря живого великорусского языка».

## К стр. 128

<sup>1</sup> *Межигорский спас* — древний монастырь под Киевом.

<sup>2</sup> *Дзвонковая криница* — источник возле Межигорского монастыря.

<sup>3</sup> *Выдубецкий монастырь* — монастырь в Киеве, сооружён в XI в.

*К стр. 130*

<sup>1</sup> *Назон* — см. примечание 1 к стр. 121.

<sup>2</sup> *Христианин N* — царь Николай I.

<sup>3</sup> *Данте Алигьери* (1265—1321) — великий итальянский поэт, создатель литературного итальянского языка; его гениальная поэма «Божественная комедия» положила начало гуманистической поэзии эпохи Возрождения; в 1302 г. за участие в антиправительственной партии Данте был изгнан из Флоренции.

*К стр. 131*

<sup>1</sup> *Бездушному сатрану и наперснику царя.* — Имеется в виду гр. Перовский Василий Алексеевич, командир Оренбургского отдельного корпуса, генерал-губернатор Оренбургской и Самарской губерний (1833—1842, 1851—1856).

*К стр. 133*

<sup>1</sup> *Обручев* Владимир Афанасьевич (1795—1866) — с 1842 по 1851 г. командир Оренбургского отдельного корпуса и генерал-губернатор Оренбургской губернии.

<sup>2</sup> *Эрмитаж, ещё мною не виденный.* — Эрмитаж в новом здании был открыт в 1852 г.

*К стр. 134*

<sup>1</sup> *Гравюра акватинта* — способ гравировки.

<sup>2</sup> *Теньер Младший* (1610—1690) — фламандский художник.

<sup>3</sup> *Брюллов* — см. примечание 3 к стр. 121.

<sup>4</sup> *Федотов* Павел Андреевич (1815—1852) — русский художник.

*К стр. 135*

<sup>1</sup> *Островский* Александр Николаевич (1823—1886) — выдающийся русский драматург.

<sup>2</sup> *Тму-мну* — ничего не означающие слоги, при помощи которых обучали чтению по церковнославянскому букварю.

*К стр. 136*

<sup>1</sup> *Ригельман* Александр Иванович (1720—1789) — военный инженер и историк.

<sup>2</sup> «Эстетика или наука о прекрасном» Карла Либельта. — Либельт (1807—1875) — польский теоретик искусства и философ-идеалист.

*К стр. 137*

<sup>1</sup> *Галич* Александр Иванович (1783—1848) — профессор философии Петербургского университета, идеалист.

*К стр. 138*

<sup>1</sup> *Иосиф Вернет* (Клод Жозеф Вернэ) (1714—1789) — французский художник-маринист.

<sup>2</sup> *Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852) — русский поэт.

<sup>3</sup> *Корнелиус* Петер (1783—1867) — немецкий художник-идеалист, стремившийся возродить искусство XV в.

<sup>4</sup> *Гесс* Петер (1792—1871) — немецкий батальный живописец.

<sup>5</sup> *Штернберг* Василий Иванович (1818—1845) — художник-пейзажист, один из ближайших друзей Шевченко в годы пребывания его в Академии художеств.

<sup>6</sup> *Гольбейн* Ганс (1497—1543), *Дюрер* Альбрехт (1471—1528) — немецкие художники эпохи Возрождения.

<sup>7</sup> *Кленце* Лео (1784—1864) — немецкий архитектор, принимавший участие в строительстве Исаакиевского собора и Эрмитажа.

*К стр. 139*

<sup>1</sup> *Вяземский* Пётр Андреевич (1792—1878) — русский поэт, критик и журналист, близкий в своё время к А. С. Пушкину.

<sup>2</sup> *Бруни* Фёдор Антонович (1799—1875) — русский художник академического направления в искусстве.

*К стр. 141*

<sup>1</sup> *Зарянко* Сергей Константинович (1818—1870) — художник-портретист, почти фотографически копировавший оригинал.

<sup>2</sup> *Шопен* Фредерик (1810—1849) — гениальный польский композитор и пианист.

<sup>3</sup> *Паганини* Никколо (1782—1840) — знаменитый итальянский скрипач и композитор.

*К стр. 142*

<sup>1</sup> *Фультон* Роберт (1765—1815) — изобретатель парохода.

<sup>2</sup> *Уатт* Джемс (1736—1819) — один из изобретателей паровой машины.

<sup>3</sup> Здесь Шевченко явно недооценил значение Степана Разина.

*К стр. 143*

<sup>1</sup> *Семён Степанович Разин* — имеется в виду Степан Тимофеевич Разин.

<sup>2</sup> *Барбье* Огюст (1805—1882) — французский поэт.

<sup>3</sup> *Бенедиктов* Владимир Григорьевич (1807—1873) — русский поэт.

<sup>4</sup> *Искандер* — псевдоним А. И. Герцена (1812—1870). «Тормозом» Герцен называл царя Николая I.

*К стр. 144*

<sup>1</sup> *Салтыков-Щедрин* Михаил Евграфович (1826—1889) — выдающийся русский писатель-сатирик, революционный демократ.

*К стр. 145*

<sup>1</sup> *Анненков* Иван Александрович (1802—1877) — декабрист, член «Северного тайного общества», приговорённый к 20 годам каторги.

<sup>2</sup> *Чернышёв* Александр Иванович (1786—1857) — военный министр.

<sup>3</sup> *Левашёв* Василий Васильевич (1783—1848) — председатель Государственного совета и комитета министров.

<sup>4</sup> *Тургенев* Николай Иванович (1789—1871) — декабрист, член «Союза благоденствия», находившийся во время восстания 1825 г. за границей и заочно приговорённый к пожизненной каторге. В Париже в 1847 г. издал на французском языке трёхтомную работу «Россия и русские», в которой большое внимание уделил крестьянскому вопросу в России.

*К стр. 146*

<sup>1</sup> *Портреты первых наших апостолов-мучеников.* — На обложке журнала Герцена «Полярная звезда» были помещены в медальоне портреты казнённых декабристов: Пестеля, Рылеева, Бестужева-Рюмина, Муравьёва-Апостола и Наховского.

<sup>2</sup> *Снага* (укр.) — сила; в данном случае употребляется в смысле: промотался в пух и прах.

*К стр. 147*

<sup>1</sup> *Неудобозабываемый дрессированный медведь* — царь Николай I.

#### А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

(стр. 148)

Написана Шевченко на русском языке в первой половине января 1860 г. по просьбе издателя журнала «Народное чтение», выходившего в Петербурге. Впервые опубликована в «Киевской старине», кн. XI, 1885 г., под заглавием «Автобиография Т. Г. Шевченка, писанная для «Народного чтения».

*К стр. 148*

<sup>1</sup> *Родился... в селе Кирилловке.* — Здесь неточность. В действительности Шевченко родился в с. Моринцы, а в соседнем с ним с. Кирилловке (теперь Шевченково) провёл свои детские годы (1816—1829).

*К стр. 149*

<sup>1</sup> *Кульнев* Яков Петрович (1763—1812) — русский генерал.

<sup>2</sup> *Кутузов* Михаил Илларионович (1745—1813) — великий русский полководец.

<sup>3</sup> *Платов* Матвей Иванович (1751—1818) — русский казачий генерал.

<sup>4</sup> *Ресурсы* — дворянское собрание.

*К стр. 150*

<sup>1</sup> *Сошенко* Иван Максимович (1806—1876) — художник, друг Шевченко.

<sup>2</sup> *К. П. Брюллов* — см. примечание 3 к стр. 121.

<sup>3</sup> *Виельгорский* Михаил Юрьевич (1788—1856) — русский музыкант и композитор.

## ПАНАС МИРНЫЙ

(стр. 153)

Панас Мирный — Афанасий Яковлевич Рудченко (13 мая н. с. 1849—28 января 1920) родился в Миргороде, в семье мелкого чиновника. После окончания гадячского уездного училища четырнадцатилетний Рудченко вынужден был «ради куска хлеба» поступить на службу канцеляристом. С 1871 г. и до конца жизни он безвыездно жил в Полтаве, работал чиновником в губернском казначействе, в Полтавской казённой палате, при Советской власти — в полтавском губернском финансовом отделе. В произведениях «Голодная воля», «Горе давнее и нынешнее», «Вор», «С кем поведёшься, от того и наберёшься» (цикл) Мирный выступил с резким осуждением крепостничества, с острой критикой реформы 1861 г. В крупнейших своих произведениях — романах «Пропащая сила» («Разве ревут волы, когда ясли полны?», «Гулящая», в повести «Лиходей», в рассказе «Народолубец» и др. писатель показал проникновение новых, капиталистических отношений в общественную жизнь Украины, отобразил нарастание протеста угнетённых крестьянских масс против эксплуататоров.

На революционные события 1905—1907 гг. Панас Мирный откликнулся целым рядом произведений («Сон», «К современной музе», «Уже седьмой месяц пошёл, как его посадили в тюрьму...», «Пустяк» и др.). Эти произведения, отразившие процессы буржуазно-демократической революции в России, являются свидетельством несомненно положительного отношения писателя к революции. Мирозрение писателя наиболее ярко выражено в произведениях «Искушение», «В степи» и др.

Тексты Панааса Мирного в настоящем издании печатаются по его «Собранию сочинений в четырёх томах» (Гослитиздат, т. 3 и 4, М. 1951), кроме произведений «Сон» и «Родной язык» (см. примечания к стр. 167 и 181).

## ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПОЛТАВЫ В ГАДЯЧ

(стр. 155)

Очерк написан в 1874 г. Впервые напечатан в львовском журнале «Правда» в 1874 г. без подписи. Публикуется в сокращённом виде. Описываемая в очерке история с Василием Гнидкой послужила канвой для большого романа Панааса Мирного «Разве ревут волы, когда ясли полны?». Василь Гнидка — прообраз главного героя этого романа Чипки Вареника.

Правильно отмечая темноту, забитость, бесправие трудящихся в городе и деревне, Панас Мирный, однако, допускает ошибку, считая, что в городе трудящиеся разных национальностей теряют свои национальные черты.

## В СТЕПИ

(стр. 165)

Первый вариант рассказа написан в 1885 г. Впервые рассказ опубликован в киевском альманахе «Дубове листья» в 1903 г.

## С О Н

(стр. 167)

Рассказ написан в 1905 г. Впервые напечатан в полтавском журнале «Рідний край» в декабре 1905 г. Для настоящего издания сверен с украинским текстом переводчиком А. Деевым.

## Р А Б О Т А

(стр. 178)

Набросок написан в декабре 1909 г. Впервые опубликован с некоторыми сокращениями в «Літературній газеті» от 12 мая 1949 г., № 19/320.

*К стр. 178*

<sup>1</sup> Слава — *эта пьяная шинкарка* — выражение из стихотворения Т. Г. Шевченко «Слава».

## Р О Д Н О Й Я З Ы К

(стр. 181)

Статья написана в 1914 г. по случаю столетнего юбилея со дня рождения Тараса Шевченко. Впервые опубликована в Киеве в «Літературній газеті» от 23 ноября 1950 г., № 47 (400). Печатается по-русски впервые. Перевод осуществлён по первой публикации сотрудниками Государственной публичной библиотеки УССР и сверен с украинским текстом А. Деевым.

*К стр. 183*

<sup>1</sup> Панас Мирный цитирует произведение И. С. Тургенева «Русский язык»; в настоящем сборнике цитата дана по русскому изданию произведений Тургенева (Соч., т. X, 1930, стр. 333).

## И. Я. ФРАНКО

(стр. 185)

Иван Яковлевич Франко (27 августа 1856—28 мая 1916) родился в с. Нагуевичи, Дрогобычского уезда, в Галиции, в семье сельского кузнеца. Учился в Львовском университете. За революционную деятельность трижды сидел в тюрьме и всегда находился под строгим полицейским надзором. Франко был одним из основателей мелкобуржуазной демократической «Украинско-русской радикальной партии», принадлежал к крайнему левому её крылу. Он был вдохновителем и активным участником прогрессивных западноукраинских журналов «Друг», «Громадський друг», «Давін», «Молот», «Світ», «Життя і слово». Перу Франко принадлежит огромное количество произведений самых различных жанров — художественная проза, стихотворения, пьесы, общественно-политические и научные работы. Наиболее значительными

сборниками его стихотворений являются: «Вершины и низины» (сюда вошли циклы: «Excelsior!» («Выше!»), «Думы пролетария», «Тюремные сонеты», «Кровавые сны», «Галицийские картинки» и др.), «Мой Измарагд» (циклы: «Притчи», «В Бразилию» и др.), «В дни печали», «Semper tiro» («Всегда начинающий») (стихотворения: «Конквистадоры», «Пойми, поэт», «Я в чистом поле убираю ишеницу» и др.), «Увядавшие листья».

Лирика И. Франко проникнута острым сочувствием к угнетённому народу и жгучей ненавистью к его поработителям. Из поэм И. Франко выделяются «Смерть Каина», «На Святоюрской горе», «Иван Вышенский», «Моисей», особенно последняя, написанная под впечатлением революционных событий 1905 г. В этой поэме, проникнутой пафосом революционной борьбы, Франко проводит мысль о народе как решающей силе исторического развития. В «Бориславских рассказах», в повестях «Воа constrictor» («Удав»), «Борислав смеётся» И. Франко первый в украинской литературе создал образы рабочих, показал борьбу пролетариата против капитала. Крупными прозаическими произведениями Франко являются «Захар Беркут. Картина общественной жизни Карпатской Руси в XIII веке», «Столпы общества», «Пути-дороги», «Ради семейного очага», «Конторщица», сборник рассказов и повестей «В поте лица», очерки тюремной жизни — «На дне». Из сатирических произведений необходимо отметить следующие: «Сказка про Добробыт», «История кожуха», «Две конституции», из драматических — «Украденное счастье» и «Будка № 27». Франко перевёл на украинский язык сочинения свыше 60 авторов с 10 иностранных языков. Из публицистики Франко наиболее значительными произведениями, кроме приводимых в данном сборнике, являются: «Чего хочет галицийская рабочая партия», «Катехизис экономического социализма», «Наука и её отношение к трудящимся классам», «Несколько слов о том, как упорядочить и вести наши народные издательства», «Вне пределов возможного», «Критические письма о галицийской интеллигенции» и др.

В настоящем издании произведения И. Франко воспроизводятся по «Избранным сочинениям» (Гослитиздат, т. I, V, М. 1945, 1951), кроме статей «Католический панславизм», «Мысли об эволюции в истории человечества», «Тарас Шевченко» и «Слово о критике» (см. примечания к этим статьям).

## СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихотворения «Прогрессист», «Батрак», «Товарищам из тюрьмы», «Каменоломы», «Наука», «Гимн», «Моя любовь», «О. О.», «Идеалисты», «Покой», «Тюрьма народов» вошли в книгу «З вершин і низин» («Вершины и низины»), первое издание которой относится к 1887 г., второе, значительно дополненное, — к 1893 г. Оба издания — львовские. Книга «З вершин і низин» — значительнейшая в поэтическом творчестве И. Франко. В ней ярко проявились революционно-демократическая идейность, народность и реализм великого украинского писателя.

О. О.

(стр. 201)

Стихотворение написано в 1881 г., оно направлено против украинских эстетов-идеалистов, сторонников «чистого искусства».

## ТЮРЬМА НАРОДОВ

(стр. 205)

Стихотворение написано 4 октября 1889 г., оно направлено против угнетения национальностей Австрийской империей; прямо об этом Франко не мог сказать из-за цензурных соображений.

## ДЕКАДЕНТ

(стр. 206)

Стихотворение напечатано в книге «Мой Измарагд», вышедшей во Львове в 1898 г.; в этой книге ярко выражена гражданская лирика И. Франко.

Стихотворение является ответом украинскому поэту и исторiku литературы В. Г. Щурату, который в статье о книге Франко «Зів'яле листя» («Увядшие листья») назвал его декадентом.

## СЕДОГЛAVOMY

(стр. 208)

Стихотворение из книги «Мой Измарагд» представляет собой ответ западноукраинскому националисту Ю. Романчуку, который писал, что «д-р Франко, к сожалению, не знает, что такое любовь, и не чувствует любви к народу».

Этот выпад Ю. Романчука был вызван статьёй И. Франко «Дещо про себе самого» («Кое-что о самом себе»), в которой Франко клеймил квасной, «патентованный патриотизм» буржуазно-националистической интеллигенции.

Термины «Русь», «русины» в Галиции употреблялись в смысле «Украина», «украинцы».

ЛИТЕРАТУРА, ЕЁ НАЗНАЧЕНИЕ  
И ВАЖНЕЙШИЕ ЧЕРТЫ

(стр. 210)

Статья И. Франко написана и впервые опубликована во Львове в 1878 г. (журн. «Молот»). Она является ответом на националистическую статью И. С. Нечуй-Левицкого «Сьогочасне літературне прямування» («Современное литературное направление»), которая была опубликована без подписи автора, как редакционная, в львовском журнале «Правда» № 11 за 1878 г. В своей статье Нечуй-Левицкий стремился оторвать украинскую литературу от русской,



посеять отчуждение между передовыми литературами двух братских народов, проповедовал националистические взгляды на развитие литературного процесса.

В публикуемой статье И. Франко выступил поборником единения русской и украинской литератур; реакционным эстетическим взглядам националистов он противопоставил демократические принципы критического реализма.

*К стр. 211*

<sup>1</sup> «Літературної Правди» (правильное название — «Правда») — журнал, издавался во Львове с 1867 по 1898 г. с некоторыми перерывами; с 70-х годов стал органом украинских буржуазных националистов

*К стр. 212*

<sup>1</sup> Это выражение И. Франко, безусловно, надо понимать как ироническое, ибо вся его статья направлена против доводов Нечуй-Левицкого, стремившегося разъединить украинскую и русскую литературу.

*К стр. 214*

<sup>1</sup> *Народовцы* — западноукраинская буржуазно-националистическая партия, ориентированная на австрийскую монархию, выступавшая против сближения украинского и русского народов.

## КАТОЛИЧЕСКИЙ ПАНСЛАВИЗМ

(стр. 221)

Статья написана и впервые опубликована во Львове в 1881 г. (журн. «Світ» № 7).

В эпиграфе к статье не совсем точно цитируется четверостишие из стихотворения Н. М. Карамзина «Илья Муромец». Поводом к написанию статьи явился устроенный Ватиканом в Риме праздник в честь Кирилла и Мефодия — первых славянских «апостолов». В статье Франко ярко показывает враждебность Ватикана к славянским народам.

Печатается по-русски впервые. Перевод осуществлён сотрудниками Государственной публичной библиотеки УССР и сверен с украинским текстом А. Деевым.

*К стр. 224*

Świątopietrza — пожертвования, собираемые среди католиков якобы на содержание собора Петра в Риме.

## МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН)

(стр. 229)

Статья написана и впервые опубликована во Львове в 1881 г. (журн. «Світ» № 10).

Произведения великого русского писателя, революционного демократа М. Е. Салтыкова-Щедрина, оказали огромное влияние на формирование мировоззрения и литературно-художественное творчество И. Франко. Франко очень высоко ценил общественно-политическую направленность его сатиры; ряд произведений его он перевёл на украинский язык.

*К стр. 232*

<sup>1</sup> Салтыков-Щедрин оставил государственную службу и вошёл в состав редакции «Современника» в 1862 г.; печататься же в «Современнике» он начал ещё раньше.

## ТЁМНОЕ ЦАРСТВО

(стр. 233)

В 1881 г. Франко написал большую работу в двух частях «Материалы для оценки поэзии Тараса Шевченко», которая впервые была напечатана в львовском журнале «Світ» в 1881—1882 гг. В настоящем сборнике даётся вторая часть работы с некоторыми сокращениями.

*К стр. 233*

<sup>1</sup> Эпиграфом взято стихотворение Т. Г. Шевченко «І небо невмите, і заспані хвилі» («И сонные волны, и мутное небо»), написанное в ссылке, в Кос-Арале, в 1848 г.

*К стр. 234*

<sup>1</sup> Франко ошибается относительно роли Бакунина, в действительности он не имел влияния на формирование революционно-демократического мировоззрения Белинского.

<sup>2</sup> Ламенне Ф. Р. (1782—1854) — аббат, французский реакционный публицист, представитель «христианского социализма».

*К стр. 235*

<sup>1</sup> В устах Франко слова «узкий украинский национализм» не имеют того значения, которое придаётся им марксистами. Этим выражением Франко хотел подчеркнуть увлечение Шевченко в первый период его творчества украинской тематикой, что нашло своё выражение, по мнению Франко, в «Гайдамаках», навеянных якобы «староказацкими идеалами».

*К стр. 237*

<sup>1</sup> Оценка Франко идейно-политического содержания раннего творчества Шевченко и, в частности, «Гайдамаков» в данном случае неправильна. Франко недооценил революционное содержание «Гайдамаков»; впоследствии он отказался от этого своего ошибочного взгляда.

*К стр. 241*

<sup>1</sup> Из поэмы Т. Г. Шевченко «Кавказ» (см. наст. изд., стр. 80).

<sup>2</sup> Из стихотворения Шевченко «Я, чтоб не сглазить, не хеораю» (см. наст. изд., стр. 100).

<sup>3</sup> См. наст. изд., стр. 65.

*К стр. 242*

<sup>1</sup> См. примечание к стр. 235.

<sup>2</sup> Из поэмы Шевченко «И мёртвым, и живым, и нерождённым землякам моим, на Украине и не на Украине сущим, моё дружеское послание».

*К стр. 245*

<sup>1</sup> Эпиграф из поэмы Шевченко «Сон» (см. наст. изд., стр. 62).

*К стр. 246*

<sup>1</sup> Франко цитирует здесь произведения Шевченко «Холодный яр» и «Кавказ» (см. наст. изд., стр. 85 и 81).

<sup>2</sup> Франко допускает неточность, утверждая, что приведённый отрывок из поэмы «Сон» Т. Г. Шевченко, а также его поэмы «Ведьма», «Марина», «Княжна» являются первым в России смелым и прямым ударом по гнили и неправде крепостничества. Первый в России смелый удар по самодержавию и крепостничеству был нанесён в литературе А. Н. Радищевым его революционным произведением «Путешествие из Петербурга в Москву», вышедшим в 1790 г.

*К стр. 248*

<sup>1</sup> Из поэмы «Сон».

<sup>2</sup> Из стихотворения Шевченко «О, люди! Простакі слепые!» в переводе С. Вышеславцевой (см. наст. изд., стр. 114). В «Избранных сочинениях» И. Франко, т. V, Гослитиздат, 1951, стр. 161, напечатано: несчастный инвалид.

<sup>3</sup> Оценка деятельности Петра I в данной статье И. Франко грешит односторонностью. Франко здесь, так же как Шевченко в поэме «Сон», справедливо критиковал самодержавно-крепостнические порядки, но недооценил прогрессивной роли реформ Петра I. Строительство Петербурга на берегу Балтийского моря сыграло важную роль в развитии экономики России, её внешней торговли,

а также в обороне страны. В статье «Иван Сергеевич Тургенев» II. Франко отмечает прогрессивное значение деятельности Петра I, «могучая рука» которого всколыхнула русское общество, вырвала его «из векового сна».

*К стр. 249*

<sup>1</sup> Из поэмы «Кавказ» (см. наст. изд., стр. 81).

*К стр. 251*

<sup>1</sup> Из поэмы «Сон».

*К стр. 253*

<sup>1</sup> Из поэмы «Сон».

#### МЫСЛИ ОБ ЭВОЛЮЦИИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

(стр. 256)

Статья была написана в 1881 г., опубликована в львовском журнале «Світ» № 3, 4, 6—12 в 1881 г. и в № 2 в 1882 г. Переведена впервые на русский язык для настоящего сборника по первоначальному тексту с некоторым сокращением (опущен IV раздел) И. И. Бражником и В. И. Коробко. Перевод сверен с украинским текстом А. Деевым.

Выступая в данной статье против голого эмпиризма буржуазно-помещичьей историографии, И. Франко отстаивает идею о закономерном характере развития общества, высказывает мысль о партийности исторической науки. В статье ярко проявилось стремление украинского революционно-демократического мыслителя понять историю общества как историю борьбы народных масс. Статья свидетельствует об известном влиянии идей марксизма на мировоззрение И. Франко.

В этой статье вместе с тем проявилась противоречивость, непоследовательность социологических воззрений И. Франко. Высоко оценивая экономические труды Маркса, И. Франко, однако, не понял коренного, качественного отличия марксизма от буржуазной социологии Бокля, Лёббока, Тейлора, Мэна, Спенсера и др. Под влиянием произведений последних И. Франко приходит к ряду ошибочных положений, наиболее существенным из которых является перенесение эволюционной теории Дарвина на область общественных явлений и на историю общества в целом.

*К стр. 257*

<sup>1</sup> *Моммазен* Теодор (1817—1903) — немецкий реакционный буржуазный историк, юрист и филолог; принадлежал к партии национал-либералов. Важнейшие произведения: «История Рима», «Римское государственное право».

<sup>2</sup> *Зибель* Генрих (1817—1895) — немецкий историк-идеалист, выразитель интересов реакционного пруссачества. Важнейшая его работа: «История революционного времени от 1789 до 1795».

<sup>3</sup> *Гервинус* Георг Готфрид (1805—1871) — немецкий буржуазный историк, литературовед и политический деятель, сторонник конституционной монархии. Важнейшее произведение: «История девятнадцатого века от времени Венского конгресса».

*К стр. 260*

<sup>1</sup> *Бокль* Генри Томас (1821—1862) — английский буржуазный историк и социолог-позитивист, сторонник географического направления в социологии. Важнейший его труд: «История цивилизации в Англии».

<sup>2</sup> И. Франко имеет в виду труд К. Маркса «Капитал», кн. I, «Процесс производства капитала».

<sup>3</sup> *Лэббок* Джон (1834—1913) — английский буржуазный историк, археолог и этнограф, социал-дарвинист. Важнейшие работы: «Доисторические времена», «Начало цивилизации и первобытное состояние человека».

<sup>4</sup> *Тейлор* Эдуард (1832—1917) — английский буржуазный историк-идеалист, занимавшийся преимущественно историей материальной культуры и первобытной религии. Пытался создать всеобщую науку о развитии человека и его культуры — «антропологию», ставшую популярной среди буржуазных социологов и философов.

<sup>5</sup> *Мэн* Генри Сомнер (1822—1888) — английский буржуазный историк права, юрист и политический деятель.

<sup>6</sup> *Спенсер* Герберт (1820—1903) — английский философ-позитивист, представитель «органической школы» в социологии, сторонник эволюционной теории развития общества. Важнейшие произведения: «Основные начала», «Основания биологии», «Основания социологии».

<sup>7</sup> *Мак-Леннан* Джон Фергюсон (1827—1881) — шотландский юрист, один из первых историков брака и семьи. Важнейшее его произведение: «Исследования по древней истории».

<sup>8</sup> *Лекки* Уильям (1838—1903) — английский буржуазный историк и этнограф. Важнейшие произведения: «История возникновения и влияния рационализма в Европе», «История нравственности», «История Англии в XVIII веке».

*К стр. 261*

<sup>1</sup> «Contrat social» — «Общественный договор».

<sup>2</sup> *Де Местр* Жозеф (1753—1821) — французский реакционный писатель, монархист-абсолютист, выступал против французской буржуазной революции и её идеологов.

*К стр. 264*

<sup>1</sup> *Шеффле* Альберт Эбергард (1831—1903) — немецкий буржуазный экономист, представитель катедер-социализма, сторонник органической теории в социологии; выступал с критикой марксизма.

*К стр. 273*

<sup>1</sup> *Катрфаж* де Брео (1810—1892) — французский зоолог и антрополог, выступавший против эволюционной теории развития органического мира. Основные произведения: «Единство рода человеческого», «Метаморфозы человека и животных».

*К стр. 275*

<sup>1</sup> *Раса Фурфос* — одна из древних рас. Остатки черепа человека этой расы были найдены около местечка Фурфоз (Бельгия, провинция Намюр, близ Гренелля, поэтому иногда говорят «греллельская раса»).

*К стр. 277*

<sup>1</sup> Выводы Франко о происхождении человеческих рас в настоящее время надо признать устаревшими. Так, например, советская антропология различает не две, а три большие человеческие расы — монголоидную, европеоидную и негроидно-австралоидную, причём в основу деления человечества на расы берётся не один признак (строение черепа), а целый ряд второстепенных признаков физического типа — цвет кожи, волос и глаз, форма волос, верхнего века, носа, губ и проч. Советские учёные стоят на точке зрения моногенизма, то есть признания происхождения современного человечества от неандертальского предка. Исходя из этого, нельзя согласиться со взглядом Франко, согласно которому имело место «двойное начало людей» (полигенизм).

*К стр. 277—278*

<sup>1</sup> *Лучше будет... отказать первобытному человеку в... общительности.* — В данном случае, как и в рассуждении о расах в предшествующем, III разделе, нельзя согласиться с И. Франко. История человечества опровергает взгляд Канта. Изолированный от общества человек беспомощен перед силами природы. Труд создал человека, и для развития материального производства, необходимого для жизни людей, требовалось установление тесных общественных связей между людьми.

*К стр. 316—319*

<sup>1</sup> Чтобы подчеркнуть, что излагаемые основы «научной теории общества, которую отстаивают рабочие», принадлежат не ему (хотя он и сторонник её), И. Франко заключает основные положения этой теории в кавычки. Указывая, что это «говорят экономисты и рабочие», И. Франко по существу даёт вольный пересказ марксистских положений.

ХУТОРСКАЯ ПОЭЗИЯ П. А. КУЛИША

(стр. 320)

Статья написана и впервые напечатана во Львове в 1882 г. (журн. «Світ» № 3(15)).

*Кулиш* Пантелеймон Александрович (1819—1897) — литератор и публицист, типичный представитель либерально-буржуазного направления в общественной мысли Украины, националист. Принимая участие в Кирилло-Мефодиевском обществе, Кулиш вместе с Н. Костомаровым возглавлял правое, либеральное крыло, враждебное революционно-демократическому направлению, возглавляемому Т. Г. Шевченко. В сборниках своих стихотворений 80—90-х годов — «Хуторна поезія», «Дзвін» — Кулиш открыто выступает против революционных демократов Шевченко и Чернышевского, воспекает патриархальщину, преклоняется перед монархическим строем.

Разоблачение И. Франко реакционной, антинародной сущности творчества П. Кулиша имело большое значение. Однако нельзя считать верным сравнение И. Франко «Хуторской поэзии» П. Кулиша с произведением Т. Шевченко «И мёртвым, и живым, и нерождённым землякам моим, на Украине и не на Украине сущим, моё дружеское послание». И совсем уж нельзя согласиться с тем, что «Хуторская поэзия» Кулиша — это «расширенное шевченковское «Послание», хотя и ухудшенное (см. наст. изд., стр. 322).

В противоположность реакционным воззрениям П. Кулиша Т. Шевченко в произведении «И мёртвым, и живым...» резко выступил против украинских помещиков-крепостников и «либералов», подобных Кулишу:

«Вы кричите всем,  
Что бог вас создал не зтем,  
Чтоб вы неправде поклонялись!  
Чем были вы, тем и остались,  
Всё гнётесь. С тех, кто слеп и нем,  
Дерёте с братьев-гречкосеев  
Три шкуры...»

(Т. Г. Шевченко, т. I, стр. 322).

Возвращаясь к анализу творчества Кулиша в других своих произведениях, И. Франко справедливо подчёркивал, что Кулиш до самой смерти «воевал с шевченковскими понятиями и образами Украины, казачества, гайдамачества, панства и простолюду».

*К стр. 321*

<sup>1</sup> Франко не понял в данном случае подлинного смысла слов Шевченко, направленных против низкопоклонства перед Западом, поэтому он даёт неправильную оценку этого места стихотворения Шевченко. Усматривать у Шевченко славянофильство и мистицизм нет оснований.

<sup>2</sup> *Наумович* Иван Григорьевич (1826—1891) — галицийский писатель «москвофильского» направления (см. примечание 1 к стр. 362).

<sup>3</sup> «Слово» — львовская реакционная газета «москвофильского» направления, издавалась на так называемом «язычии» (смесь украинского, русского и церковнославянского языков).

К стр. 323

<sup>1</sup> *Кружок украинофилов.* — Так называет Франко Кирпелло-Методиевское братство. Утверждение Франко, что этот «кружок... был насквозь религиозным», нуждается в уточнении, член его Т. Г. Шевченко был воинствующим атеистом.

К стр. 326

<sup>1</sup> У Шевченко (как и у И. Франко) были отдельные неправильные оценки деятельности Богдана Хмельницкого. В целом же поэт высоко ценил его роль в истории Украины. В «Дисвнике» (запись 22 сентября 1857 г.) Шевченко называет Хмельницкого «гениальным бунтовщиком».

<sup>2</sup> *Чарнецкий* Степан — польский военачальник XVII в., непримиримый враг украинского народа.

К стр. 328

<sup>1</sup> И. Франко иронизирует над Кулишом, считавшим польскую шляхту «просветителями Украины».

<sup>2</sup> *Симония* — торговля церковными должностями.

<sup>3</sup> *Могила* Пётр (1596—1647) — митрополит киевский и галицкий. Будучи киево-печерским архимандритом, создал на основе Киево-братской школы в 1631 г. Киево-Могилянскую коллегию.

<sup>4</sup> *Скорина* Францишек-Георгий (род. в 1490 — год смерти неизвестен) — белорусский учёный и типограф, напечатал первую книгу на белорусском языке — «Библию» — в 1517 г. в Праге.

<sup>5</sup> «*Пересопницкое евангелие*» написано в 1556—1561 гг.; язык «евангелия» близок к обиходному украинскому.

<sup>6</sup> *Галатовский* Иоанникий (год рождения неизвестен — ум. в 1688 г.) — украинский писатель, архимандрит, ректор Киево-Могилянской коллегии.

<sup>7</sup> «*Апокризис*» — антиуниатское полемическое произведение (Вильно 1597) Христофора Филалета (Бронского).

<sup>8</sup> «*Литос, или камень из пращи*» — церковно-полемическое произведение XVII в.

К стр. 329

<sup>1</sup> «*Записки о Южной Руси*» — сборник в двух томах этнографических и фольклорных материалов, изданный в 1856—1857 гг. П. Кулишом.

<sup>2</sup> *Замойские, Сапег и Жолкевские* — выходцы из украинской шляхты, принявшие католичество и ставшие крупными польскими магнатами.

К стр. 330

<sup>1</sup> В оценке произведений П. Кулиша у И. Франко здесь допускаются противоречия и непоследовательность: критикуя рели-



гиозные, националистические, антинародные взгляды Кулиша, он допускает ошибку, утверждая, что Кулиш, — этот помещичье-буржуазный либерал, — более остро борется против панов, чем Шевченко.

*К стр. 333*

<sup>1</sup> Текст даётся по «Полному собранию сочинений и писем А. И. Герцена», под ред. Лемке, т. VII, Петроград 1917, стр. 282—283. Слова, заключённые в угловые скобки, были при печатании до революции изъяты цензурой.

*К стр. 334*

<sup>1</sup> Франко имеет в виду статью Н. А. Добролюбова «Собеседник любителей русского слова».

*К стр. 336*

<sup>1</sup> «*Prasa*» («Труд») — львовская рабочая газета, в которой сотрудничал И. Франко.

*К стр. 338*

<sup>1</sup> Франко прав, говоря, что исчезновение на Украине польских панов украинского происхождения — Острожских, Замойских, Сапег и т. п. — имело положительное значение для развития прогрессивной украинской культуры. Но И. Франко забывает в данном случае, что вместо Замойских, Сапег и других польских панов на Украине появились новые паны, не скрывавшие своего украинского происхождения. Подобный ошибочный взгляд для И. Франко не типичен, в целом он правильно рассматривал всю историю Украины как историю классовой борьбы.

#### ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

(стр. 340)

Статья написана и впервые напечатана во Львове в 1883 г. (журн. «Зоря» № 20—22).

Выдержки из произведений Тургенева сверены по Собр. соч. И. С. Тургенева в 12 томах, т. 1, 5 (Гослитиздат, 1953—1954).

*К стр. 354*

<sup>1</sup> Роман «Новь» был напечатан через пятнадцать лет после «Отцов и детей».

<sup>2</sup> «Народные рассказы» Марка Вовчка вышли на русском языке отдельной книгой в 1859 г. в Петербурге под названием «Украинские народные рассказы», в переводе и с предисловием И. С. Тургенева.

*К стр. 355*

<sup>1</sup> «*Prasdi*» — см. примечание к стр. 211. Рассказы «Хорь и Калиныч» и «Бежин луг» перевёл на украинский язык и написал предисловие Иван Билык (Иван Яковлевич Рудченко).

## ФОРМАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ

(стр. 356)

Статья написана в 1889 г. Впервые опубликована в львовском журнале «Назустріч» за 1938 г., № 11.

К стр. 356

<sup>1</sup> «Правда» — см. примечание к стр. 211.

<sup>2</sup> «Ognisko» — польский социалистический журнал.

<sup>3</sup> Чудак — псевдоним М. Драгоманова, поместившего в № 8—11 «Зорі» за 1889 г. статью «В справі відносин українців до російської літератури» («К вопросу об отношении украинцев к русской литературе»). (См. примечание к стр. 384).

К стр. 360

<sup>1</sup> «Киевское княжество». — Немецкий философ-идеалист Гартман опубликовал в 1888 г. проект создания «самостоятельного» «Киевского королевства».

К стр. 361

<sup>1</sup> Шашкевич Маркиан Семёнович (1811—1843) — прогрессивный западноукраинский поэт и фольклорист, член литературного кружка «Руська трійця» («Русская троица»), возглавлявшегося кроме него Иваном Вагилевичем и Яковом Головацким. «Руська трійця» восстала против господствовавшего в то время в западноукраинской литературе так называемого «язычия» (смесь русского, украинского и церковно-славянского языков). «Руська трійця» ставила себе целью просвещение народа посредством народного языка. В 1837 г. ими был издан сборник фольклорных материалов и собственных стихотворений «Русалка Дністровая», который был первой ласточкой новой украинской литературы в Галиции.

Однако значение кружка «Руська трійця» не исчерпывается новаторством в области литературного языка. Это подчёркивал И. Франко в статье «М. Шашкевичи галицийско-русская литература»:

«Новым у Шашкевича в сравнении с предшествующей галицийско-русской литературой является не только язык — красивый и чисто народный... Новым был дух поэзии Шашкевича... В своей поэзии он не становился на котурны, не одевал масок и не позировал, а говорил так же просто, от души, как бы говорил устно в минуты аффекта и подъёма чувств, — и это его великое новаторство в галицийско-русской поэзии, это начало действительно новой, действительно народной литературной школы» (перевод В. Евдокименко).

К стр. 362

<sup>1</sup> И. Наумович, В. Дидыцкий — вместе с И. Гушалевичем и др. были идеологами так называемого «москвофильства» — реакционного политического течения в западной Украине. Они ориентировались главным образом на царское самодержавие, на русскую дворянско-помещичью культуру. В своём художественном творчестве они культивировали «язычие» (см. предыдущее примечание). Используя любовь галицийских крестьян к русскому народу, «москвофилам»

удавалось широко распространять свои издания. «Москвофилы» противопоставляли себя другому реакционному течению в Галиции, представителями которого были буржуазные либералы австрийской ориентации, называвшие себя «пародовцами».

Оценка И. Франко значения «москвофилов» в культурной жизни Галиции, безусловно, преувеличена.

<sup>2</sup> «Наука» — журнал «москвофилов», издававшийся поочерёдно во Львове, Коломые, Вене, Черновцах.

<sup>3</sup> Купчанко Григорий (1849—1900) — буковинский этнограф и фольклорист.

#### ТАРАС ШЕВЧЕНКО

(стр. 366)

Статья написана и впервые опубликована во Львове в 1891 г. (журн. «Зоря» № 5). Печатается в сокращённом виде. Перевод на русский язык впервые выполнен для настоящего издания по книге И. Франко «Літературно-критичні статті», К., Гослитиздат Украины, 1950 г., сотрудниками Государственной публичной библиотеки УССР и сверен с украинским текстом А. Деевым.

#### С Л О В О О К Р И Т И К Е

(стр. 369)

Статья написана и впервые опубликована во Львове в 1896 г. (журн. «Життя і слово» № 5, издававшийся И. Франко).

Перевод на русский язык впервые выполнен для настоящего сборника по книге И. Франко «Літературно-критичні статті», К., Гослитиздат Украины, 1950 г., сотрудниками Государственной публичной библиотеки УССР и сверен с украинским текстом А. Деевым.

#### ЛЕСЯ УКРАИНКА

(стр. 375)

Статья написана и впервые напечатана во Львове в 1898 г. (журн. «Літературно-науковий вісник», т. III, кн. 7).

К стр. 375

<sup>1</sup> Леся Украинка с детства болела костным туберкулёзом.

К стр. 378

<sup>1</sup> Милый казак, почему ты бродишь,  
Грустный, по тёмному лесу?  
Слушай, казак, песню русалки!  
Ведь это я для тебя пою!

<sup>2</sup> Если не забыл ты, приди ко мне,  
Я твоя первая любовь!  
Измену забуду, любить буду  
Тебя, как прежде любила.

У меня палаты краше царских,  
Из драгоценного хрусталя,

У меня венок из чистого золота,  
Из жемчуга и кораллов.

*К стр. 379*

- <sup>1</sup> Чужда мне моего народа судьба,  
Твои люди стали для меня родным,  
Одна твоя, Самсон, воля  
Для меня всегда будет милее всего,  
Для тебя я отеклась от семьи.

*К стр. 380*

- <sup>1</sup> — Прощай, Самсон! — крикнула изменница: —  
Ты думал, что я для тебя забуду  
Семью? Нет. Ты гибнешь, — это благодарность  
От меня за гибель моего народа.

*К стр. 382*

- <sup>1</sup> Дальше, всё дальше! Вот заплатки пив,  
Словно плахты, раскинулись кругом,  
После всё укрыли седые тучи  
Густого дыма, из глаз скрылся лес,  
Горы весёлые и зелёные долины  
Исчезли вдруг, как милые сыны,  
Ещё час, и ещё минута —  
Будут далёко, далёко они!
- <sup>2</sup> И всё чужбина! Ох, беда одинокому  
В городе широком  
Чувствовать своё одиночество!  
И хорошо тому, кто может к чьему-нибудь очагу  
Приникнуть слухом и глазом.
- <sup>3</sup> Нет, мысль! напрасно в мировом просторе  
Приюта искать,  
В бездну нырять напрасно,  
Любовь и надежда не в звёздах, не в море!  
Среди людей ищи поддержки!

*К стр. 383*

- <sup>1</sup> Дальше, дальше от душного города!  
Сердце жаждет впитать на просторе.  
Вижу издали — волна, искрясь,  
Играет свободно по синему морю.
- <sup>2</sup> Хочу хотя бы на время, на час  
Не видеть ничего на свете,  
Только видеть осиянную долину  
И теряться в прозрачной лазури.
- <sup>3</sup> Вырос там цветок в темнице, в яме.  
Мы его сорвали, пускай будет с нами.  
Цветок этот, может, вырос из какого-нибудь

Казацкого сердца, искреннего, пылкого.  
 Думал ли тот казаченько, идя на чужбину,  
 Что вернётся из его сердца цветок на Украину?

*К стр. 384*

<sup>1</sup> Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895) — украинский историк, публицист, национал-либерал. Реакционные стороны его мировоззрения В. И. Ленин критиковал в «Критических заметках по национальному вопросу» и в статье «О праве наций на самоопределение». «Драгоманов вполне заслужил восторженные поцелуи, — писал В. И. Ленин, — которыми впоследствии награждал его ставший уже национал-либералом г. П. Б. Струве» (Соч., т. 20, стр. 403). Влияние Драгоманова на творчество Леси Украинки И. Франко преувеличивает.

*К стр. 387*

<sup>1</sup> Свободные напевы, звучные, громкие  
 В родном краю хочу я услышать, —  
 Слышу повсюду скорбные рыдания.  
 Ох, неужели у тебя, родной мой край,  
 Только и слышатся свободные песни  
 Во сне?

*К стр. 389*

<sup>1</sup> Леопарди Джакомо (1798—1837) — реакционный итальянский поэт-романтик.

<sup>2</sup> Из стихотворения «Бессонная ночь».

*К стр. 392*

<sup>1</sup> Противопоставление И. Франко в этой статье идейности и тенденциозности основано, как видно из его рассуждений в разделе III данной статьи, на ошибочном смешении рассудочного дидактизма, чуждого художественному творчеству, с тенденциозностью. В других своих произведениях, например в статье «Литература, её назначение и важнейшие черты», Франко верно понимает тенденциозность как партийность литературы, видит неразрывную её связь с научным реализмом.

*К стр. 394*

<sup>1</sup> Приведённые слова не вполне совпадают с некрасовскими. В действительности Некрасов пишет:

Но, ты знаешь, кто ближнего любит  
 Больше собственной славы своей,  
 Тот и славу сознательно губит,  
 Если жертва спасает людей.

<sup>2</sup> Шлю проклятье жалкой кровп,  
 Не за честный стяг пролитой.

## МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(стр. 399)

Статья в защиту А. М. Горького, заключённого царским правительством в Петропавловскую крепость, написана и впервые напечатана во Львове в 1905 г. (журн. «Новий громадський голос» № 9).

*К стр. 399*

<sup>1</sup> Оценка Костомарова и Кулиша, данная в этой статье Франко, неправильна. Они были представителями буржуазно-либерального, националистического направления в Кирилло-Мефодиевском обществе. Революционное направление в этом обществе возглавлялось Т. Г. Шевченко.

<sup>2</sup> Франко не прав, рассматривая Бакунина и Достоевского как борцов, прокладывавших «дорогу нынешнему движению масс».

## МАНИФЕСТ «МОЛОДОЙ МУЗЫ»

(стр. 402)

Статья написана и впервые опубликована во Львове в 1907 г. (газета «Діло» № 263). Она представляет собой выступление против западноукраинских декадентов, сгруппировавшихся в 1906 г. в кружке «Молодая муза» во Львове. Участники этого кружка объявили себя сторонниками «чистого искусства».

*К стр. 402*

<sup>1</sup> *Я тогда с полной симпатией откликнулся.* — И. Франко написал статью «Наша поезія в 1901 році», помещённую в журнале «Літературно-науковий вісник», т. XVII, кн. 1, 1902 г.

## П. А. ГРАБОВСКИЙ

(стр. 411)

Грабовский Павел Арсеньевич (11 сентября н. с. 1864—12 декабря н. с. 1902) родился в селе Пушкарном, Ахтырского уезда, Харьковской губернии, в семье пономаря. В 1879 г. Грабовский поступил в харьковскую семинарию, а в 1882 г. за принадлежность к революционному кружку народнической организации «Чёрный передел» был исключён из семинарии и выслан в родное село под надзор полиции. За революционную деятельность в 1886 г. был арестован и сослан на пять лет в Балаганский округ, Иркутской губернии; через несколько месяцев ссылки его посадили в Иркутскую тюрьму на три с половиной года, после чего сослали в Вилуйск, Якутской губернии. В тюрьмах и ссылках он пробыл 20 лет. Умер в Тобольске. Тюрьма и ссылка, где Грабовский общался с передовыми русскими революционерами, были для него, по его словам, настоящим университетом.

Грабовский начал печатать свои стихотворения в 90-х годах XIX в. во Львове, в журналах «Зоря», «Народ», «Правда» и «Життя і слово». Сборники его стихотворений вышли отдельными изданиями: «Пролісок» («Подснежник»), Львов 1894; «З півночі» («С севера»), Львов 1896; «Кобза», Чернигов 1898. Поэт много зани-

мался переводческой деятельностью. Он переводил произведения прогрессивных славянских, особенно русских, а также грузинских, эстонских, французских, немецких, итальянских, английских, американских, норвежских писателей (см. сборники: «Твори Івана Суріка», Львов 1894; «З чужого поля», Львов 1895; «Доля», Львов 1897; «Хвиля», впервые опубликован в серии «Библиотека поэта», Киев 1941). Грабовский написал ряд статей о Пушкине, Чернышевском, Шевченко, Решетникове, Михайлове и др. Большое значение для понимания мировоззрения Грабовского имеют его письма к И. Франко, Б. Гринченко и др. Многие произведения поэта были изданы лишь после Октябрьской революции.

В настоящем издании произведения П. А. Грабовского печатаются по его книге «Избранное», Гослитиздат, М. 1952.

### СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихотворение «Друзьям» (стр. 413) написано на русском языке 24 июня 1888 г. Впервые опубликовано в 1939 г. Оно посвящено политическим ссыльным, с которыми впервые встретился поэт на этапном пути в Сибирь.

Стихотворения: «Из современных раздумий» (стр. 414), «Б. С.—му» (стр. 416, обращено к одному из близких друзей П. Грабовского по ссылке, поляку Брониславу Серошевскому), «Поэтам украинцам» (стр. 418, печатается сокращённо), «Песня колодников» (стр. 420), были напечатаны в сборнике «Пролісок» («Подснежник»). В предисловии к книге П. Грабовский писал: «Всё, что в «Подснежнике», написано мной начиная с 1890 года, стихотворения разве два-три составлены раньше, но потом переделаны...».

Стихотворения: «Не раз мы пускались в дорогу» (стр. 421), «Певец» (стр. 422), «Парнасцам» (стр. 424), «Вперёд» (стр. 425), — были напечатаны в сборнике «З півночі» («С севера»). В этом сборнике опубликованы стихотворения, написанные Грабовским в основном в 1895 г.

Стихотворение «Я не певец красавицы природы» (стр. 427) было опубликовано в сборнике П. Грабовского «Кобза». Это стихотворение является литературно-художественным *credo* поэта-революционера.

### НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

(стр. 428)

Статья написана в ноябре 1894 г. в Виллюске. Впервые опубликована во Львове в журн. «Життя і слово» № 6 за 1895 г., в разделе «Современные деятели славянской науки и литературы». В Виллюске Грабовский жил рядом с тюрьмой, в которой был ранее заключён Чернышевский; при написании статьи Грабовский использовал воспоминания местных старожилов о Чернышевском. В статье имеются некоторые неточности.

К стр. 428

<sup>1</sup> Чернышевский родился не 19 июля, а 24 июля 1828 г.

*К стр. 430*

<sup>1</sup> Диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевский защитил не в 1856 г., а в 1855 г. (10 мая).

<sup>2</sup> *Серно-Соловьевич* Николай Александрович (1834—1866) — русский революционер, публицист и поэт, один из организаторов и руководителей организации «Земля и Воля», ближайший соратник Н. Г. Чернышевского.

*К стр. 431*

<sup>1</sup> Чернышевский был осуждён не на 15, а на 14 лет.

*К стр. 432*

<sup>1</sup> «Дневник Левицкого» и «Пролог пролога» являются составными частями романа «Пролог», а не отдельными произведениями, как полагал Грабовский.

Эти неточности объясняются тем, что Грабовский не располагал проверенными данными о жизни Чернышевского, так как сведения о Чернышевском стали пробиваться сквозь преграды царской цензуры в основном только с начала XX в. Статья Грабовского является одной из первых работ о великом русском революционном демократе.

*К стр. 434*

<sup>1</sup> *Каракозов* Дмитрий Владимирович (1840—1866) — революционер-террорист, стрелявший в 1866 г. в царя Александра II.

*К стр. 442*

<sup>1</sup> Слова Грабовского о том, что Чернышевский «никогда не призывал к бунту или к восстанию», безусловно, являются данью цензуре, в условиях которой публиковалась эта статья.

## С Л О В О   Н А   С Л О В О

(стр. 443)

Статья написана и впервые напечатана во Львове в 1895 г. (журн. «Життя і слово» № 3). Она направлена против третирования русской литературы украинскими писателями буржуазно-националистического направления — И. С. Нечуй-Левицким, Б. Гринченко (Вильховский) и др.

*К стр. 443*

<sup>1</sup> Эпиграф из произведения Т. Г. Шевченко «И мёртвым, и живым...».

*К стр. 445*

<sup>1</sup> П. Грабовский даёт здесь ошибочную оценку Мамину-Сибиряку (Дмитрий Наркисович Мамин, 1852—1912), выдающемуся русскому писателю, реалистически изобразившему развитие промышленного капитализма на Урале. В произведениях Мамина-Сибиряка, писал В. И. Ленин, «рельефно выступает особый быт Урала, близкий



к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с «добросовестным ребяческим развратом» «господ», с отсутствием того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России» (Соч., т. 3, стр. 427).

<sup>2</sup> *Мешки смеха* (по-украински «торбѣя реготу») — юмористические рассказы из народной жизни, часто довольно плоские и грубые.

#### К О Е - Ч Т О О Т В О Р Ч Е С Т В Е П О Э Т И Ч Е С К О М (стр. 446)

Статья написана и впервые напечатана во Львове в 1897 г. (журн. «Зоря» № 3). В ней чётко выражены революционно-демократические эстетические взгляды П. Грабовского.

*К стр. 446*

<sup>1</sup> *«По морю и суше»* — журнал, выходивший с 1893 по 1895 г. в Киеве, а затем в Одессе.

<sup>2</sup> *М. К.* — Комаров Михаил Фёдорович (1844—1913), украинский библиограф; наиболее значительные его работы: «Библиографический указатель новой украинской литературы. 1798—1883» и «Т. Шевченко в литературе и искусстве».

<sup>3</sup> *Грицько Кернеренко* — малоизвестный украинский поэт, уходивший от социальных вопросов в область «чистой лирики».

*К стр. 450*

<sup>1</sup> *«Живые струны»* — сборник народных песен, изданный в 1895 г. в Чернигове.

#### К П У Ш К И Н С К О М У В Е Ч Е Р У В Н А Р О Д Н О Й А У Д И Т О Р И И (стр. 452)

Статья написана в 1899 г. на русском языке; посвящена столетнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина. Впервые опубликована в тобольской газете «Сибирский листок» № 76 за 1899 г.

Пушкин был одним из самых любимых поэтов П. Грабовского, он оказал огромное влияние на творчество украинского поэта-революционера. Грабовским были переведены на украинский язык первая глава «Евгения Онегина» и «Послание в Сибирь» Пушкина.

#### ТА Р А С Г Р И Г О Р Ь Е В И Ч Ш Е В Ч Е Н К О (стр. 457)

Статья написана на русском языке. Впервые напечатана в тобольской газете «Сибирский листок» № 22 за 1900 г.

Первая часть статьи, содержащая биографические сведения о Шевченко, в настоящем издании опускается.

К стр. 460

<sup>1</sup> У Грабовского неточно, следует читать:

Когда б вы знали, господа,  
Где плачут люди, вы тогда  
Своих элегий не творили б...

(См. наст. изд., стр. 93.)

<sup>2</sup> И день идёт, и ночь идёт.

За голову схватившись в муке,  
Всё думаешь: когда ж придёт  
Апостол правды и науки!

(См. наст. изд., стр. 115.)

#### ИЗ ПИСЕМ К В. ГРИНЧЕНКО

(стр. 461)

Гринченко (1863—1910) — украинский писатель, буржуазный националист. Будучи знаком с Гринченко, П. Грабовский по принципиальным вопросам резко выступал против него. Письма к Гринченко говорят о революционно-демократическом характере общественно-политических воззрений П. Грабовского и свидетельствуют о влиянии на его мировоззрение марксистских идей. Впервые опубликованы в журн. «Радянське літературознавство» № 5—6, К. 1940.

К стр. 461

<sup>1</sup> И. Ф. — Речь идёт о положительной рецензии И. Франко на книгу А. Фаресова «Народники и марксисты», направленную против марксизма.

<sup>2</sup> *Левицкий* (Левитский) Николай Васильевич — украинский либеральный народник, организовавший на Украине ряд сельскохозяйственных товариществ кулацкого типа. Артельное движение кулачества, по мнению П. Грабовского, красноречиво говорит о развитии капитализма в сельском хозяйстве страны. В статье «По поводу одной газетной заметки» В. И. Ленин писал, что проповедь Н. Левитским артельного движения представляет собой «пример того поистине маниловского прожектерства, к которому приучили русскую публику публицисты народничества» (Соч., т. 2, стр. 292).

<sup>3</sup> Грабовский понимал, что за выдуманым либеральными народниками термином «народное производство» скрывается «капитализм в наиболее разбойничьей форме».

К стр. 462

<sup>1</sup> В слова «украинский националист» П. Грабовский вкладывает здесь положительное содержание: по его мнению, это человек, борющийся за социальное и национальное освобождение украинского народа.

<sup>2</sup> В. В. — псевдоним Василия Павловича Воронцова, одного из идеологов либерального народничества 80—90-х годов, которого критикует В. И. Ленин в работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

*К стр. 463*

<sup>1</sup> *Либерия* (укр.) — сказочное одеяние царей; в данном случае употреблено в переносном смысле.

*К стр. 464*

<sup>1</sup> *Украинцы*. — П. Грабовский имеет в виду украинскую либерально-буржуазную националистическую интеллигенцию.

<sup>2</sup> Эти слова взяты из некролога В. Мировца «Осип Осипович Доброхольский» (см. журн. «Літературно-науковий вісник», кн. IV, Львов 1900).

<sup>3</sup> Слово «идеализм» здесь П. Грабовский употребляет не в философском смысле, а как понятие, обозначающее глубокую идейность, страстный порыв, благородную возвышенность.

*К стр. 465*

<sup>1</sup> См. примечание 1 к стр. 462.

*К стр. 466*

<sup>1</sup> «Новое время» и «Московские ведомости» — реакционные русские газеты.

*К стр. 467*

<sup>1</sup> Это письмо является ярким свидетельством враждебности Грабовского буржуазно-националистической концепции о бесклассовости, безбуржуазности украинской нации.

*К стр. 470*

<sup>1</sup> *Карамзин* Николай Михайлович (1766—1826) — русский писатель и историк, основатель и наиболее яркий представитель русского сентиментализма.

<sup>2</sup> *Стефаник* Василий Семёнович (1871—1936) — выдающийся украинский писатель-демократ, реалистически изображавший жизнь западноукраинского крестьянства.

<sup>3</sup> *Бордуляк* Тимофей Игнатьевич (1863—1936) — украинский писатель демократического направления. В сборниках его рассказов «Ближние» (1899) и «Рассказы из галицийской жизни» (1903) отражена тяжёлая жизнь крестьянства в Галиции.

*К стр. 471*

<sup>1</sup> Речь идёт о повести Б. Гринченко «Під тихими вербами».

<sup>2</sup> Из стихотворения Т. Г. Шевченко «Когда б вы знали, господа» (см. наст. изд., стр. 95).

*К стр. 472*

<sup>1</sup> Справедливо отмечая темноту, забитость, бескультурие крестьян, порождённые условиями их жизни при крепостничестве, П. Грабовский вместе с тем несколько недооценивает здесь революционные возможности угнетённого крестьянства.

## М. М. КОЦЮБИНСКИЙ

(стр. 473)

Коцюбинский Михаил Михайлович (17 сентября н. с. 1864—25 апреля н. с. 1913) родился в г. Виннице, в семье мелкого служащего. Закончив Шаргородскую бурсу, много работал над самообразованием и в 1891 г. сдал экзамен на звание народного учителя. В 1892—1897 гг. работал в комиссии по борьбе с вредителями виноградников в Молдавии и Крыму. С 1898 г. и почти до самой смерти Коцюбинский работал статистиком в земской управе Чернигова.

Изучение современной действительности и произведений русских и украинских революционных демократов приводит Коцюбинского на революционный путь. «В 17 лет,— писал он в 1905 г.,— у меня уже был политический процесс, и с того времени до последних дней жандармы не лишают меня своей любезной опеки» (М. Коцюбинский, Собр. соч. в трёх томах, т. 3, 1951, стр. 11).

Если в ранних своих произведениях — «Андрій Соловейко, или ученё свет, а неученё тьма», «Харитя», «На веру», «Ёлочка», «Пятизлотник» — писатель стоит ещё на позициях мирного просветительства, то в произведениях «Хо», «Куколка», «Для общего блага» он уже отрешается от своих прежних иллюзий и с революционно-демократической позиции развенчивает либерализм и народничество.

С конца 90-х годов XIX в. под влиянием обострения классовой борьбы и роста пролетарского движения Коцюбинский в своих произведениях гневно обличает весь буржуазно-помещичий строй царской России и призывает трудящихся к революционной борьбе. В 1910 г. он заканчивает крупное произведение «*Fata morgana*» (первая часть написана в 1903 г.), реалистически отобразившее крестьянское движение в период первой русской революции. Лучшие произведения написаны Коцюбинским в последние семь лет жизни — «Смех», «Он идёт», «Intermezzo», «В дороге», «Persona grata», «Тени забытых предков», «Подарок на именины», «Лошади не виноваты». Огромное влияние на творчество Коцюбинского в этот период оказал основоположник пролетарской литературы Максим Горький.

Произведения М. М. Коцюбинского воспроизводятся в настоящем издании по его «Собранию сочинений в трёх томах», т. 3, Гослитиздат, М. 1951.

## ИВАН ФРАНКО

(Биографическая заметка)

(стр. 475)

Статья, написанная в 1900 г. на русском языке, при жизни Коцюбинского не была напечатана.

Коцюбинский с любовью относится к И. Франко, взгляды которого имели большое влияние на мировоззрение Коцюбинского. Кроме публикуемой биографической заметки Коцюбинский написал реферат об Иване Франко, который был прочитан им в 1908 г. в черниговском обществе «Просвіта». В этом реферате Коцюбинский подчёркивает революционно-демократический характер творчества И. Франко, особенно проявившийся в «Бориславских

рассказах». «Рисуя во всём цикле «Бориславских рассказов» войну между капиталом и трудом, — пишет Коцюбинский, — Франко не может оставаться только холодным, объективным наблюдателем. В этих рассказах вы видите самого Франко — Франко-борца, который не скрывает своих симпатий и антипатий, борца, который иногда побеждает в нём художника». Коцюбинский обращает также внимание на интернационализм И. Франко. «У него нет шовинизма; — пишет Коцюбинский в реферате, — люди делятся на два лагеря: на угнетателей, против которых он точит, как меч, своё слово, и угнетённых, которым он отдаёт своё сердце». Обе работы о Франко явились формой выражения собственных взглядов М. Коцюбинского.

В биографической заметке Коцюбинского использовано автобиографическое письмо И. Франко к М. Драгоманову от 26 апреля 1890 г.

*К стр. 476*

<sup>1</sup> *Красицкий* Игнацы (1735—1801) — польский писатель-сатирик.

*К стр. 477*

<sup>1</sup> *Драгоманов* — см. примечание к стр. 384. Влияние Драгоманова на Франко здесь Коцюбинский преувеличивает.

*К стр. 478*

<sup>1</sup> *Павлик* Михаил Иванович (1853—1915) — прогрессивный западноукраинский этнограф, литератор, публицист и общественный деятель.

## С В Е Т И Т Е Н И Р У С С К О Й Ж И З Н И

(стр. 486)

Под этим названием М. Коцюбинский опубликовал в конце 1897 — начале 1898 г. серию статей на русском языке в газете «Волынь», в которой он работал редактором отдела хроники. Статьи проходили строгую цензуру, поэтому писатель не мог открыто и беспрепятственно излагать свои взгляды. В настоящем издании публикуются лишь две статьи этой серии. «С этими «Св[етом] и тен[ями]» настоящая беда, — писал Коцюбинский жене 15 декабря 1897 г. — Приходится быть очень осторожным, не проявлять себя, хотя временами так и подмывает осветить как следует факты... Сами факты так любопытны, что и освещать их не надо. Фидлер (ответственный редактор. — В. Е.), вероятно напуганный моим отказом вести этот отдел газеты, принял статью, хоть и очень вертел носом: «Это положительно нецензурная статья... Это слишком смело, слишком сильно, в особенности для нашего края... Киевские газеты ни в коем случае не поместили бы такой идейной вещи... Впрочем, я возьму... у нас цензура слишком глупа, может быть, пропустит...».

Посмотрим, пропустит ли; мне хотелось бы — факты уж очень интересные».

Статья была напечатана в газете «Волынь» № 234, 17 декабря 1897 г.

К стр. 490

<sup>1</sup> В этой статье Коцюбинский освещает тяжёлые условия жизни рабочих в России. Она была напечатана в газете «Волянь» № 32, 10 февраля 1898 г.

# ЛИРИКА ФИЛЯНСКОГО

(стр. 494)

Статья напечатана в журнале «Літературно-науковий вісник» за январь 1907 г., направлена против декадентства в украинской литературе.

К стр. 494

- <sup>1</sup> *Филианский Микола* — украинский поэт-декадент.  
<sup>2</sup> *В обрах неба озій зорь* — на горизонтах неба громады звёзд.  
<sup>3</sup> Я даль небес твоих и славлю и прославляю,  
 И мудрость мудрую и тайную твою,  
 И лоно волн земных, где сердцем я размышляю,  
 Горжусь, радуюсь, рыдаю, продаю.

К стр. 495

- <sup>1</sup> Без дум, без жалости, без муки  
 Мы сонным варварам науки  
 Даём могил за рядом ряд,  
 И нам их не вернуть назад.
- <sup>2</sup> И внук, наш дальний внук, чей ясногордый ум  
 Прольётся песнею над лоном сонных дум,  
 Родными нивами пройдёт он в ясный час,  
 Былого эха он услышит скорбный глас,  
 Воспоминаний груз положит он на нары (Sic!),  
 Сынов Украины бескровную отару...
- <sup>3</sup> Шутя, шутя, чтоб сон девичий  
 Преодолён был в ласках ночи,  
 Чтоб капли сонного листа  
 Молили жадные уста,  
 Не умолив, побледнели спозаранку,  
 Отдавши чар останки...

К стр. 496

<sup>1</sup> Прозаический перевод стихотворения «*Meleagrina Margaritifera*»: «На фарчи [?], красках, на рисунках я вижу шутки и поцелуй, и колыхание сонных ветвей, и волн высоких ясный след, тьму ночи и утренний рассвет, к себе зовущий последнюю шутку, и струн вечерних тихий ряд, что кличет сердца сонный лад. Кого ж под рокот волн зазвала, пред кем одежды ты снимала, и где жемчужин делся ряд — зачем мне расспрашивать?».

П И С Ь М А  
И. Я. Ф Р А Н К О  
от 11 марта 1903 г.  
(стр. 497)

В письме речь идёт о подготовлявшемся М. Коцюбинским сборнике «З потоку життя». С этим письмом Коцюбинский обратился ко многим демократическим украинским писателям. Сборник, программа которого изложена в данном письме, Коцюбинский хотел противопоставить декадентскому сборнику «З-над хмар і долин».

П А Н А С У М И Р Н О М У  
от 3 июля 1903 г.  
(стр. 498)

*К стр. 499*

<sup>1</sup> *Говорилось и в письме* — см. письмо (наст. изд., стр. 497) к И. Франко от 11 марта 1903 г., такие же письма были разосланы многим украинским писателям, в том числе и Панасу Мирному.

В. М. Г Н А Т Ю К У  
от 20 ноября 1905 г.  
(стр. 500)

*Гнатюк* Владимир Михайлович (1871—1926) — западноукраинский учёный и общественный деятель, соратник И. Франко, секретарь издательства «Українсько-руська видавнича спілка»; после Великой Октябрьской революции был избран действительным членом Академии наук СССР.

*К стр. 502*

<sup>1</sup> *Мочульский* М. М. — галицийский писатель и литературовед, писавший работу о Коцюбинском.

А. М. Г О Р Ь К О М У  
от 23 октября 1909 г.  
(стр. 502)

Коцюбинский познакомился с А. М. Горьким в 1909 г. на острове Капри (Италия); с тех пор между ними завязалась тесная дружба, которая сыграла большую роль в идейном развитии украинского революционно-демократического писателя.

«Мы читали друг другу черновики наших работ, и оба очень искренно говорили друг другу, что каждый думает о работе другого, — писал М. Горький, вспоминая о Коцюбинском. — Если говорить о «влиянии» — оно, вероятно, было взаимным».

*К стр. 502*

<sup>2</sup> «*Лето*» — повесть М. Горького.

<sup>1</sup> *Амфиотров* Александр Валентинович (1862—1923) — русский буржуазный беллетрист, редактор либерального журнала «Современник», в котором некоторое время печатали свои произведения М. Горький и М. Козюбинский.

К стр. 503

<sup>1</sup> «Уездный город» — повесть М. Горького «Жизнь Матвея Кожемякина».

<sup>2</sup> *Клоустон* В. — автор труда «Народні казки та вигадки, як вони блукають та перевертаються». З додатками й увагами переложив з англійської мови А. Кримський, «Літературно-наукова бібліотека», кн. 6, Львов 1896.

<sup>3</sup> *Мария Фёдоровна* Андреева — жена М. Горького.

А. М. ГОРЬКОМУ  
от 7 декабря 1910 г.,  
(стр. 503)

К стр. 503

<sup>4</sup> «*Васса Железнова*» — пьеса М. Горького.

К стр. 504

<sup>1</sup> *Сургучёв* И. Д. и *Шмелёв* И. С. — молодые писатели, печатавшиеся в сборниках издательства «Знание».

<sup>2</sup> «Знание» — издательское общество, основанное в 1898 г., объединяло демократических писателей. С 1900 г. в нём активное участие принимал М. Горький.

<sup>3</sup> *Зиновий Алексеевич* Пешков — приёмный сын А. М. Горького.

А. М. ГОРЬКОМУ  
от 7 апреля 1911 г.  
(стр. 505)

К стр. 506

<sup>1</sup> *Константин Петрович* Пятницкий (1864—1938) — один из основателей издательства «Знание».

## ЛЕСЯ УКРАИНКА (стр. 507)

Леся Украинка (Мария Петровна Косач, 25 февраля н. с. 1871 — 1 августа н. с. 1913) родилась в Новограде-Волынском в интеллигентной семье. Заболев ещё в детстве костным туберкулёзом, Леся Украинка должна была по состоянию здоровья совершать частые поездки в Крым, на Кавказ, в Закарпатье, в Италию, в Египет.

С первых шагов своей литературной деятельности поэтесса выступила продолжательницей революционно-демократических традиций Шевченко. На поэзию она смотрела, по словам И. Франко, как на «горячий призыв к битве за свободу». Из первого сборника её стихотворений «На крилах пісень» (Львов 1893) наиболее значительны: «Порою», «Мой путь», «Повсюду плач», «Предрассветные огни»,



«Contra spem spero». В 1899 г. Леся Украинка издала сборник стихотворений «Думи і мрії» («Думы и мечты»), куда вошли, в частности, циклы стихотворений: «Мелодии», «Крымские отзвуки»; в 1902 г. вышел сборник «Відгуки» («Отзвуки»), где помещены циклы: «Мгновения», «Легенды», «Ритмы» и т. д.

Большое место в творчестве поэтессы занимает драматургия. Её перу принадлежат такие драматические поэмы, как «Одержимая», «Вавилонский плен», «На руинах», «В пуще», «Триптих», «Лесная песня», «Каменный хозяин» и др.

Всё творчество украинской поэтессы проникнуто духом революционно-демократической идейности, любви к угнетённому народу, веры в его светлое будущее. В середине 90-х годов Леся Украинка испытывает влияние идей марксизма, изучает и переводит на украинский язык ряд марксистских работ. Откликом поэтессы на революцию 1905—1907 гг. были такие произведения, как фантастическая драма «Осенняя сказка», драматические поэмы «В катакомбах», «Кассандра», «Адвокат Мартиан», драматический этюд «На поле крови» и др., главным героем которых выступает народ. Леся Украинка воспекает стойкость и мужество в борьбе, клеймит позором трусов и предателей. Большое значение для понимания мировоззрения Леси Украинки имеют её публицистические работы: «Не так враги, как добрые люди», «Утопия в беллетристике», послесловие к украинскому переводу брошюры польского писателя Шимона Дикштейна «Кто чем живёт» и др.; некоторые из них приводятся в данном сборнике.

В настоящем издании произведения Л. Украинки воспроизводятся по её «Собранию сочинений в трёх томах», т. I и III, Гослитиздат, М. 1950.

## ПРЕД РАССВЕТНЫМИ ОГНЯМИ

(стр. 509)

Стихотворение написано в 1892 г., впервые напечатано в сборнике «На крилах пісень», вышедшем во Львове в 1893 г.

СЛОВО, ЗАЧЕМ ТЫ НЕ СТАЛЪ БОЕВАЯ...

(стр. 511)

Стихотворение написано 25 ноября 1896 г., впервые напечатано в журн. «Життя і слово» № 1, Львов 1897.

ОСТРЫМ БЛЕСКОМ ВДРУГ ВОЛНЫ ЗАИСКРИЛИСЬ

(стр. 513)

Стихотворение написано 8 ноября 1902 г., впервые напечатано в журн. «Молода Україна» № 5, Львов 1902 г.

## Д Ы М

(стр. 514)

Стихотворение написано в Сан-Ремо (Италия) в 1903 г., впервые напечатано в 1924 г. в Собрании сочинений Леси Украинки, т. I, изд. «Книгоспілка».

*К стр. 514*

<sup>1</sup> *Полента* — итальянское национальное блюдо из маисовой муки.

<sup>2</sup> *Ризацца (итал.)* — рисовые поля.

<sup>3</sup> *Sampterdarena* — железнодорожная станция в Италии, близ Генуи.

*К стр. 515*

<sup>1</sup> *Рейнская скала* — скала Лорелей на Рейне, прорезана железнодорожными туннелями.

## НАД П И С Ь В Р У И Н Е

(стр. 516)

Стихотворение написано 28 августа 1904 г., впервые напечатано в «Літературно-науковому віснику» за 1905 г., кн. IV.

## П А Н - Н А Р О Д Н И К

(стр. 518)

Стихотворение написано 10 марта 1906 г., впервые напечатано в журн. «Шершень» № 16 и 17, Киев 1906.

## « А Ф Р А »

(стр. 520)

Стихотворение из цикла «Весна в Египте», написано 22—30 марта 1910 г. в Египте и опубликовано в том же году в журн. «Рідний край» в Киеве.

В этом цикле стихотворений Леся Украинка показывает тяжёлые условия жизни египетских крестьян, разоблачает хищническую колониальную политику английских империалистов в Египте.

## Г О Л О С О Д Н О Й Р У С С К О Й У З Н И Ц Ы

(стр. 521)

Статья написана в 1896 г. по-французски для опубликования в одной из газет радикального или социалистического направления во Франции. В статье поэтаessa разоблачает продажность французских буржуазных литераторов, художников и артистов, славословивших царя Николая II, посетившего с женой в 1896 г. Париж.

Впервые статья увидела свет в переводе на украинский язык в сборнике «Леся Українка, Неопубліковані твори. Вільна Україна, Львів 1947».

К стр. 522

<sup>1</sup> *Король-солнце* — Людовик XIV.

<sup>2</sup> *Людовик* — имеется в виду Людовик XVI, казнённый в 1793 г.

К стр. 523

<sup>1</sup> *Котурны* — обувь древнегреческих и древнеримских актёров на толстой подошве и высоких каблуках.

## НЕ ТАК ВРАГИ, КАК ДОБРЫЕ ЛЮДИ

(стр. 524)

Статья написана в 1897 г., впервые опубликована в журн. «Життя і слово» № 3 за 1897 г. Она направлена против ошибочной статьи И. Франко «Под конец года» (журн. «Життя і слово» № 6, 1896 г.), которая, как известно, была осуждена В. И. Лениным в замечаниях на книгу С. Щёголева. В данной статье Леся Украинка высказывается за единство украинских и русских трудящихся в борьбе против общих угнетателей. Поэтесса преувеличивает значение деятельности народовольцев и, в частности, А. И. Желябова. Некритически оценивается в этой статье программа М. Драгоманова (см. примечание к стр. 384).

## УКРАИНСКИЕ ПИСАТЕЛИ НА БУКОВИНЕ

(стр. 532)

Статья написана в 1899 г. на русском языке, прочтена как доклад 9 декабря 1899 г. в киевском литературно-артистическом обществе, впервые опубликована в 1900 г. в марксистском журнале «Жизнь», IX. Данной статьёй Леся Украинка знакомила русского читателя с передовой украинской литературой на Буковине. В целом правильно оценивая общественное значение и художественные особенности буковинских писателей, Леся Украинка несколько преувеличивает влияние немецкой литературы на Ю. Федьковича и О. Кобылянскую.

К стр. 536

<sup>1</sup> Здесь и дальше под словом «народнический» надо понимать «народный».

## ЗАМЕТКИ О ПОВЕЙШЕЙ ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(стр. 547) .

Статья написана в 1901 г. на русском языке, впервые опубликована в журн. «Жизнь» № 1 за 1901 г. В этой статье Леся Украинка подвергает критике польских декадентов-модернистов, вскрывает идеалистическую сущность теории «искусства для искусства». Безусловно осуждая идеализм в искусстве, поэтесса неправомерно противопоставляет ему позитивизм, ошибочно усматривает в нём реализм.

ческий подход к действительности. Позитивизм, как известно, является разновидностью субъективного идеализма. Отрицание всякой философии, проповедь голого эмпиризма позитивистами является лишь попыткой скрыть свой идеализм.

*К стр. 555*

<sup>1</sup> Конопницкая Мария (1842—1910) — прогрессивная польская писательница.

*К стр. 560*

<sup>1</sup> *Густав* — герой поэмы Мицкевича «Дзяды».

#### ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДРАМА КОНЦА XIX СТОЛЕТИЯ

(стр. 576)

Статья была написана осенью 1901 г. Опубликовано в «Творах», т. XII, изд. «Книгоспілка», Киев 1930.

*К стр. 581*

<sup>1</sup> До слова «читателей» включительно статья написана на украинском языке, дальнейший текст — по-русски.

*К стр. 594*

<sup>1</sup> «*Schlagende Wetter*» — пьеса была издана в русском переводе под заглавием «Катастрофа».

#### ПОСЛЕСЛОВИЕ К УКРАИНСКОМУ ПЕРЕВОДУ БРОШЮРЫ «КТО ЧЕМ ЖИВЁТ»

(стр. 599)

В 1901 г. по совету марксиста С. Мержинского Леся Украинка перевела с польского на украинский язык популярную в 90-х годах брошюру польского социалиста Ш. Дикштейна «Кто чем живёт» и написала к ней послесловие. Однако послесловие опубликовано не было и дошло до нас не полностью. Впервые опубликовано в журнале «Радянське літературознавство» № 7, 8 за 1947 г. в Киеве.

П И С Ь М А  
И. Я. ФРАНКО  
от 20 сентября 1901 г.

(стр. 603)

*К стр. 603*

<sup>1</sup> *Павлик* — см. примечание к стр. 478.

<sup>2</sup> *Ганкевич* — в то время западноукраинский социал-демократ, впоследствии изменнически перешёл на службу к польской реакции.

<sup>3</sup> «*Кто чем живёт*» — см. примечание к стр. 599.

К стр. 604

<sup>1</sup> *Василий Симович* — западноукраинский публицист, буржуазный либерал.

О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

от 26 февраля 1902 г.

(Отрывок)

(стр. 604)

*Кобылянская* Ольга Юлиановна (1863—1942) — украинская писательница демократического направления, реалистически отобразившая в своих произведениях жизнь украинского народа на Буковине. Дружба Кобылянской с Лесей Украинкой (они познакомились в 90-х годах XIX в.) имела большое значение для формирования демократического мировоззрения Кобылянской. Самое значительное произведение Кобылянской — повесть «Земля», опубликована в 1902 г.

И. Я. ФРАНКО

от 13—14 января 1903 г.

(стр. 606, 612)

К стр. 608

<sup>1</sup> *Труш И.* — западноукраинский художник, написавший портрет Леси Украинки.

К стр. 611

<sup>1</sup> *De profundis* (лат.) — за упокой. Начальные слова похоронного гимна у католиков.

К стр. 612

<sup>1</sup> «Одержимая» была написана ночью у постели умирающего С. К. Мержинского, с которым Леся Украинка была очень близка. Мержинский Сергей Константинович — член Киевского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», пропагандист марксизма.

К стр. 613

<sup>1</sup> «Верлибрист» — поэт, пишущий свободным стихом.

К стр. 614

<sup>1</sup> «Господские шутки», «Пути и перепутья» — произведения И. Франко.

## О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

от 12 марта 1903 г.

(Отрывок)

(стр. 615)

К стр. 615

<sup>1</sup> *Ефремов* Сергей Александрович — махровский украинский буржуазный националист.

<sup>2</sup> *Кто-то* — Леся Украинка подразумевает себя.

К стр. 616

<sup>1</sup> *«Молодая Украина»* — приложение к журналу «Рідний край», издание которого с 1907 г. было перенесено из Полтавы в Киев. Журнал и приложение издавались под редакцией Олены Пчилки, писательницы буржуазно-националистической ориентации.

## А. Е. КРЫМСКОМУ

от 3 ноября 1905 г.

(Отрывок)

(стр. 617)

*Крымский Агафангел Ефимович* (1871—1941) — учёный, востоковед и славяновед, писатель; после Октябрьской революции — действительный член Академии наук СССР.

К стр. 617

<sup>1</sup> *Лаговский* — герой романа А. Крымского «Андрей Лаговский».

К стр. 618

<sup>1</sup> *Стентор* — герой гомеровского эпоса.

К стр. 627

<sup>1</sup> *«Амеопой без музору»* — перестановка букв в названии произведения «Поэма без смысла» («Поэма без разуму»).

К стр. 630

<sup>1</sup> *Написала я... драматическую поэму.* — Речь идёт о поэме Л. Украинки «В катакомбах».





## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>М. ИОВЧУК. РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ И МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ НА УКРАИНЕ В XIX в. . . . .</b> | <b>5</b> |
| <b>ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО</b>                                                                             |          |
| Думы мои, думы мои . . . . .                                                                                  | 53       |
| Гайдамаки ( <i>отрывок</i> ). . . . .                                                                         | 57       |
| Сон. Комедия ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                                                                     | 59       |
| Не завидуй богатому . . . . .                                                                                 | 66       |
| Еретик . . . . .                                                                                              | 67       |
| Кавказ . . . . .                                                                                              | 78       |
| Холодный Яр . . . . .                                                                                         | 83       |
| Завещание . . . . .                                                                                           | 86       |
| Когда мы были казаками . . . . .                                                                              | 87       |
| П. С. . . . .                                                                                                 | 89       |
| И вырос я в краю чужом . . . . .                                                                              | 91       |
| Когда б вы знали, господа . . . . .                                                                           | 93       |
| Опять настало время злое!.. . . .                                                                             | 96       |
| Юродивый . . . . .                                                                                            | 97       |
| Я, чтоб не сглазить, не хвораю . . . . .                                                                      | 100      |
| Марку Вовчку . . . . .                                                                                        | 101      |
| Исайя. Глава 35 . . . . .                                                                                     | 102      |
| Молитва . . . . .                                                                                             | 104      |
| Свете тихий! Свете ясный! . . . . .                                                                           | 107      |
| И Архимед, и Галилсей . . . . .                                                                               | 108      |
| Саул . . . . .                                                                                                | 109      |
| Хотя лежачего не бьют . . . . .                                                                               | 113      |
| О люди! Простакі слепые! . . . . .                                                                            | 114      |
| И день идёт, и ночь идёт . . . . .                                                                            | 115      |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Однажды над Невой иду . . . . .                               | 116 |
| <i>Письма</i> . . . . .                                       | 117 |
| В. Н. Репниной, 24 октября 1847 . . . . .                     | —   |
| В. Н. Репниной ( <i>отрывок</i> ), 7 марта 1850 . . . . .     | 118 |
| А. Казачковскому ( <i>отрывок</i> ), 14 апреля 1854 . . . . . | 120 |
| Н. О. Осипову ( <i>отрывок</i> ), 20 мая [1856] . . . . .     | —   |
| М. М. Лазаревскому, 8 декабря 1856 . . . . .                  | 122 |
| Н. О. Осипову, 23 декабря 1857 . . . . .                      | 123 |
| С. Аксакову, 16 февраля 1858 . . . . .                        | 124 |
| <i>Дневник</i> . . . . .                                      | 126 |
| 13 июня 1857 ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                     | —   |
| 14 июня ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                          | 127 |
| 18 [июня] . . . . .                                           | 128 |
| 19 [июня] . . . . .                                           | 129 |
| 20 [июня] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                        | 131 |
| 25 [июня] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                        | 132 |
| 26 [июня] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                        | 133 |
| 29 [июня] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                        | 135 |
| 5 [июля] . . . . .                                            | 136 |
| 10 [июля] . . . . .                                           | 137 |
| 11 [июля] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                        | 139 |
| 12 [июля] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                        | 140 |
| 27 [августа] . . . . .                                        | 141 |
| 29 [августа] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                     | 142 |
| 2 [сентября] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                     | 143 |
| 5 [сентября] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                     | 144 |
| 19 [сентября] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                    | —   |
| 11 [октября] . . . . .                                        | —   |
| 16 [октября] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                     | 145 |
| 23 [октября] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                     | —   |
| 3 [ноября] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                       | —   |
| 7 [ноября] . . . . .                                          | 146 |
| 29 [марта] 1858 ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                  | —   |
| 30 [марта] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                       | 147 |
| 31 [марта] ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                       | —   |
| Автобиография . . . . .                                       | 148 |

## ПАНАС МИРНЫЙ

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Путешествие из Полтавы в Гадяч ( <i>отрывок</i> ) . . . . . | 155 |
| В степи ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                        | 165 |
| Сон . . . . .                                               | 167 |



|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Работа . . . . .      | 178 |
| Родной язык . . . . . | 181 |

## ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ ФРАНКО

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Прогрессист . . . . .                                 | 187 |
| Батрак . . . . .                                      | 189 |
| Товарищам из тюрьмы . . . . .                         | 192 |
| Каменоломы . . . . .                                  | 194 |
| Наука . . . . .                                       | 196 |
| Гимн . . . . .                                        | 197 |
| Моя любовь . . . . .                                  | 199 |
| О. О. . . . .                                         | 201 |
| Идеалисты . . . . .                                   | 203 |
| Покой . . . . .                                       | 204 |
| Тюрьма народов . . . . .                              | 205 |
| Декадент . . . . .                                    | 206 |
| Седоглавному . . . . .                                | 208 |
| Литература, её назначение и важнейшие черты . . . . . | 210 |
| Католический панславизм . . . . .                     | 221 |
| Михаил Евграфович Салтыков (Щедрин) . . . . .         | 229 |
| Тёмное царство ( <i>отрывки</i> ) . . . . .           | 233 |
| Мысли об эволюции в истории человечества . . . . .    | 256 |
| «Хуторская поэзия» П. А. Кулиша . . . . .             | 320 |
| Иван Сергеевич Тургенев . . . . .                     | 340 |
| Формальный и реальный национализм . . . . .           | 356 |
| Тарас Шевченко . . . . .                              | 366 |
| Слово о критике . . . . .                             | 369 |
| Леся Украинка . . . . .                               | 375 |
| Максим Горький . . . . .                              | 399 |
| Манифест «Молодой музы» . . . . .                     | 402 |

## ПАВЕЛ АРСЕНЬЕВИЧ ГРАБОВСКИЙ

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Друзьям . . . . .                      | 413 |
| Из современных раздумий . . . . .      | 414 |
| Б. С—му . . . . .                      | 416 |
| Поэтам-украинцам . . . . .             | 418 |
| Песня колодников . . . . .             | 420 |
| Не раз мы пускались в дорогу . . . . . | 421 |
| Певец . . . . .                        | 422 |
| Парнасцам . . . . .                    | 424 |
| Вперёд . . . . .                       | 425 |
| Я не певец красавицы природы . . . . . | 427 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Николай Гаврилович Чернышевский . . . . .               | 428 |
| Слово на слово . . . . .                                | 443 |
| Кое-что о творчестве поэтическом . . . . .              | 446 |
| К пушкинскому вечеру в народной аудитории . . . . .     | 452 |
| Тарас Григорьевич Шевченко ( <i>отрывок</i> ) . . . . . | 457 |
| <i>Из писем к Б. Гринченко</i> . . . . .                | 461 |
| 2 января 1900 . . . . .                                 | —   |
| 17 марта 1900 . . . . .                                 | 463 |
| 31 августа 1900 . . . . .                               | 466 |
| 6 января 1901 . . . . .                                 | 467 |
| 16 марта 1902 . . . . .                                 | 471 |

## МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ КОЦЮБИНСКИЙ

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Иван Франко . . . . .                        | 475 |
| Свет и тени русской жизни . . . . .          | 486 |
| Лирика Филянского . . . . .                  | 494 |
| <i>Письма</i> . . . . .                      | 497 |
| И. Я. Франко, 11.III. 1903 . . . . .         | —   |
| Панасу Мирному, 3.VII. 1903 . . . . .        | 498 |
| В. М. Гнатюку, 20 ст. ст. XI. 1905 . . . . . | 500 |
| А. М. Горькому, 23.X. 1909 . . . . .         | 502 |
| А. М. Горькому, 7.XII. 1910 . . . . .        | 503 |
| А. М. Горькому, 7.IV. 1911 . . . . .         | 505 |

## ЛЕСЯ УКРАИНКА

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Предрасветные огни . . . . .                                         | 509 |
| Слово, зачем ты не стала боевая . . . . .                            | 511 |
| Острым блеском вдруг волны заискрились . . . . .                     | 513 |
| Дым ( <i>отрывок</i> ) . . . . .                                     | 514 |
| Надпись в руине . . . . .                                            | 516 |
| Пан-народник . . . . .                                               | 518 |
| Афра . . . . .                                                       | 520 |
| Голос одной русской узницы . . . . .                                 | 521 |
| Не так враги, как добрые люди . . . . .                              | 524 |
| Украинские писатели на Буковине . . . . .                            | 532 |
| Заметки о новейшей польской литературе . . . . .                     | 547 |
| Европейская социальная драма конца XIX столетия . . . . .            | 576 |
| Послесловие к украинскому переводу брошюры «Кто чем живёт» . . . . . | 599 |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <i>Письма</i> . . . . .                   | 603     |
| И. Я. Франко, 20.IX. 1901 . . . . .       | —       |
| О. Ю. Кобылянской, 26.II. 1902 . . . . .  | 604     |
| И. Я. Франко, 13.I.1903 . . . . .         | 606     |
| И. Я. Франко, 14.I.1903 . . . . .         | 612     |
| О. Ю. Кобылянской, 12.III. 1903 . . . . . | 615     |
| А. Е. Крымскому, 3.XI. 1905 . . . . .     | 617     |
| <br><i>ПРИМЕЧАНИЯ</i> . . . . .           | <br>633 |

Избранные общественно-политические и философские произведения украинских революционных демократов XIX века

Редактор *В. Козерук*

Оформление художника *М. Чубасова*

Технический редактор *А. Данилина*

Ответственные корректоры *А. Левина* и *Ю. Корнеевкова*

Сдано в набор 12 марта 1955 г. Подписано в печать 5 июля 1955 г.  
 Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Физ. печ. л. 21<sup>1</sup>/<sub>2</sub> + (6 вклеек) <sup>3</sup>/<sub>8</sub> л. Условн. печ. л. 35,875.  
 Учётно-изд. л. 32,95. Тираж 15 тыс. экз. А02552. Заказ № 246.  
 Цена 9 р. 20 к.

Государственное издательство политической литературы.  
 Москва, В-71, Б. Калужская, 15.

Министерство культуры СССР.  
 Главное управление полиграфической промышленности.  
 Переплет Образцовая типография имени А. А. Жданова. Москва, Ж-54,  
 Валовая, 28.

ИЗБРАННЫЕ  
ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
И ФИЛОСОФСКИЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
УКРАИНСКИХ  
РЕВОЛЮЦИОННЫХ  
ДЕМОКРАТОВ  
XIX ВЕКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
1953